



М.М.
ПРИШВИН

2

Александр Пришвин

М. М. ПРИШВИН
Собрание сочинений

М.М.ПРИШВИН

Собрание сочинений

В ВОСЬМИ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. В. Кожин, В. В. Круглеевская, Ю. С. Мелентьев,
В. О. Осипов, П. В. Палиевский, В. М. Песков,
Л. А. Рязанова, А. А. Сурков



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

М.М.ПРИШВИН

Собрание сочинений

ТОМ ВТОРОЙ

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ
МИРСКАЯ ЧАША
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1914—1923 ГОДОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Подготовка текста

В. Н. Чувакова и Л. П. Платоновой

Комментарии

В. Н. Чувакова

Оформление художника

А. В. Лесятского

Иллюстрации художника

Ф. В. Лесятского

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ

Роман



ЗАЙЧИК

Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотой тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц...

Я не поверил своим глазам, — подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.

Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно, как

духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием *«Двенадцать добрых дел»* и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика: невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было еще довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.

«А что, — подумал я, — случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: «Смирись, мол, писатель, не умствуй, герой — это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зайчишке».

— Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячихина мать.

— Марья Васильевна, — сказал я, — слышали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?

Старуха всмотрелась и вникла.

Я подсказал:

— Заяц ли это?

Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.

— Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?

Старуха еще раз перекрестилась, уж не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала:

— И очень просто, — прикинулся, да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужикам.

Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и прах.

После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти

посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!

К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки заячье: Курымушка.

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и всё приняли как автобиографию и семейную хронику.

Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты — не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Вот пенёк огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.



КНИГА ПЕРВАЯ

КУРЫМУШКА

ЗВЕНО ПЕРВОЕ

ГОЛУБЫЕ БОБРЫ

ВЕТОЧКА МАЛИНЫ

В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось «уличным»: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины — у всех решительно были вторые «уличные» имена.

Разделение купеческих имен — явление до того заметное и всюдное, что, наверно, есть этому и какое-то разумное объяснение, но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому объяснить, и не знаешь, для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенности на суд общества, пусть хотя бы и уличного.

Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит, и когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя

пришло, опять не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может, очень отдаленного, предка. Третье — твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением.

Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним он родился, другое ему пришло с улицы, а третье, его собственное, личное, живое «я», каждый чувствует, и отвечает за него, и создает с помощью его небывалое.

С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко, очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве: я признался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин.

— Кому ты говоришь! — ответил мой друг, — я ли не знаю, что вас, Пришвиных, на улице везде называют «Алпатовы»?

— Вот еще! — воскликнул я почти обиженно, — я тебе хотел свою большую тайну открыть, а ты говоришь о том, что всем известно: Алпатовы — это наша старинная уличная кличка.

— А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты?

— А вот угадай, — ответил я.

И прочитал ему первое мое стихотворение:

Скажи мне, веточка малины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

— Понимаешь меня теперь? — сказал я. — Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины» и мое «Веточка малины» так близки друг другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых, что скорей всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов.

— Позволь, — сказал мой друг, — твоя «Веточка малины» всего только двумя словами разнится от Лермонтовой «Ветки Палестины», так может каждый подделаться легко, и от этого сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина.

Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической.

Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писательству, и не только в стихах, но и в прозе: только после тридцати лет я решился попробовать писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд не только за себя, но и за всякого порядочного человека: я краснею за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою «Веточку малины».

Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоящего, и, в свете этого настоящего, какое высокое представление о настоящей поэзии: что чуть только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно!

И все это оттого, что автор, даже такой, как маленький я со своей «Веточкой малины», сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим словом нечто новое, небывалое.

Мало того! Если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий очень скоро переменялся бы.

И вот что тоже замечательно: сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь после того вернулся в конюшню. Но мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу: мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор, и так будет всегда.

Так было и с этой оглушительной оплеушиной в самое место начала сознания своей личности, когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей «Веточкой малины» оторваться от родового имени Пришвиных, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой части ткацкого станка, *пришвы*.

Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя не связанным родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем.

ХРУЩЕВО

Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы.

Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью — «Поповка», где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке и третья — в усадьбе.

Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина, кажется, генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину.

Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.

В барском имении мой отец вел себя не по-купчески: весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная¹, поперек под углом — старая маточная и за нею — варок². В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней,

¹ М а т о ч н а я — помещение для кобыл с маленькими жеребятами (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)

² В а р о к — огороженное место для выгула коней

написанные знаменитым в то время художником Сверчковым.

Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.

А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского «принца».

Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».

Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.

Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и, мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника.

Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе! Черноземная земля под Ельцом представляет собою край того обезлешенного, выпаханного чернозема, где богатейшая

когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек «культурный» укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах.

Совсем другое — родная земля на родине моей матери, легкая, покрытая лесами земля по Оке.

Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.

КУРЫМУШКА

В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и за то получил с малолетства прозвище «Курымушка».

Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал.

Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле.

Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная оболочка складного пасхального яйца; кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, — раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было: все отлетело и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала:

— Папа просит тебя на постель, полезай к нему!

Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: *голубые бобры*.

Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога, — нет ответа! Так всю ночь муха хрипит,

и только под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

— Царство небесное! — перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

— Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота*.

— Ну, что ж, — ответил Курымушка, — зато у меня вот что есть!

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры.

— Фантазер был! — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Курымушки.

— И правда — одни голубые бобры! Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной закладной, пять человек детей!

— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле — и это у него естественно; разорится и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.

— Хотят жить, как господа!

— Вот и пожил: все профуфукал покойник, и, правда, остались какие-то голубые бобры.

— Сиротка, — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. — Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина.

Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:

— Теперь всю жизнь работать на банк!

— Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.

— Ну, вы — дворяне, вас все-таки опекают.

— Зато вы такая здоровая и сильная.

— Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было

нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.

— Почему вы так думаете?

— Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.

Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму, и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он — сирота, что «мы — купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобыры, но и то над этим смеялись.

БЛЕДНЫЙ ГОСПОДИН

Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидать Курымушке. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.

— Рыжка — того?

— Причинает, Марья Ивановна!

— А Бурышка?

— Не того!

— Опять ты за свое: «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурышка... того?

— Пошла в передой.

— Вот те раз! Ну, как же ты это допустил?

— Да это не я.

— А кто же, не ты?

— Бык ослабел.

— Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел.

И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.

Кто это Банк и где он? (На небе господь живет, а Банк — в городе, на синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там — Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк, — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.

Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до

самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку и о том, как можно освободиться от Банка.

— На ле-галь-ном положении,— говорит Дунечка,— я долго работать не буду, это я временно.

— Да, только бы освободиться от Банка! — постоянно говорит мать.

— Нужно терпеть,— учит Софья Александровна,— наша вся жизнь есть долг и терпение.

Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.

Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал,— если велят по-хорошему, то хочется идти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин — и это хуже всего — был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему. «Сама виновата,— ответил старец,— не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца.

Все это шепотком от прислуги.— это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:

— У вас почему стала рожь?

— По восемнадцать копен.

— Хорошо! Вязь большая?

— Не обхватишь снопища.

— Как все у вас ладно выходит!

— Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащут у вас?

— Мешками тащут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.

— Я научу вас, как нужно.

— Нуте-с?..

— Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не

вижу, а сама покажусь, когда им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду будто отдохнуть на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересижу, зашевелиятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание — и время потеряли, и мешки.

«Вот какой хитрый старец, — думает Курымушка, — и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться старца?»

Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила: «Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, — почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.

— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?

— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю — из них могут потом выйти очень хорошие, умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смиряются и будут умные люди.

— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, — он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за богом, шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.

— Не говорите так, Мария Ивановна!

— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.

— Да разве так можно?

— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за большую собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.

— Не-ле-галь-но, — твердит Курымушка.

— Что ты там шипишь? — спрашивает его мать. — Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро ужинать.

И опять Софье Александровне:

— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, *пока...*

— А потом?

— У них про-грам-ма: жить без царя.

— А потом?

— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ни-а-тю-р-ная, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.

— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?

— Симментала? Нет еще.

— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.

Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуссохший господин,—

Курымушка понял, что *бледный господин* и есть он, тот самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», — думал Курымушка.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи — все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля — сокол поднебесный,
Воля — светлая заря.

Матери песенка эта очень нравится, она говорит:

— Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.

А за дверью громкие вздохи и кашель.

— Кто там?

— Я!

— Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что, Гусёк?

— К вашей милости.

— Ну, что?

— Землицы!

— Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?

— Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.

— Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов ловить.

И просветлив потемневшее лицо:

— Нуте-с?

Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».

— Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще слово-ер.

— Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.

И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит:

— Нуте-с?

Прежний голос поет:

Не с росой ли ты спустилась,

Не во сне ли вижу я?

Знать, горячая молитва

Долетела до царя.

Дунечке это не нравится, она не любит царя:

— Какое старье ты поешь!

И читает:

Добрый папаша! К чему в обаянии

Умного Ваню держать,

Вы мне позвольте при лунном сиянии

Правду ему показать.

— Какую же правду? — спрашивает Софья Александровна.

— Правду какую? Вот:

В мире есть царь, этот царь беспощаден...

— Ты, Дунечка, — говорит тот голос, певший «волю», — вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двухлошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.

И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слышал:

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

А мужик все вздыхает в передней.

— Ты разве не ушел, Гусёк?

— Никак нет.

— Что тебе от меня надо?

— Землицы.

— «Землицы, землицы»! Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоём месте и носа не показала сюда. Ты намедни скородил?

— Скородил.

— Борону ты сломал?

— Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.

— Кто же сломал?

— Сама сломалась.

— Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех земель наделить.

— Сделайте божескую милость.

— Ухо-ди! Нет у меня земли.

— Какую-нибудь завалящую.

— Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою, ни отдыха! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!

Только собралась опять с духом и сказала свое «путе-с» — в передней новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко *приоткрыл* дверь.

— Что там?

— Мужики пришли.

— Вот те раз! Те?

— Те самые, намеднишние.

— Что им надо?

— Земли просят: запольный клин.

— Рожна им! Запольный клин хотят *энти* снять.

— *Энти* посильнее.

— Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята».

И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять *приоткрынул* двери.

— *Энти!* — шепнул.

Мать моргнула.

«*Энти*» — богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.

— Что вы пришли?

— К вашей милости.

— Ну что... к милости?

— Пожалейте нас!

— Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте.

Перечисляет все их преступления за лето.

— Это не мы, — защищаются «энти» мужики, — это те, они разбойники, а мы...

— Те, те! — сердится мать. — А чьих загоняли лошадей?

— Мы прикоротим!

— И в саду копыта видела!

— Это те.

— Ваши копыта!

А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, довольная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижних полочках за дверцами — четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попадает в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уже настежь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.

— Все?

— Никишке красное.

Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, что пьет! — в стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.

— Извините, я сейчас! — повторяет хозяйка гостям.

И последнее — короткий наряд на завтра:

— Хватаю — солому возить, Кузьме — дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?

— Слушаю.

— Ступай!

Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: «Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой глаз» тревожно смотрит на дверь.

— Там кто?

— Я!

— Кто ты? Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что?

— Землицы!

Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «заваливающий клок» под работу *в кружок*, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: «Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим Гуськом».

ГУСЕК

Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие — на полях они — те же самые мужики. «Это не они виноваты, — решил Курымушка, — это наш дом такой: мы купцы».

Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:

— Посторонись, барин!

— Какой он барин, — сказал Павел, — он купец.

— А что значит купец? — спросил Курымушка.

Павел ответил:

— Индюх!

Было очень обидно.

— Нет, брат, — успокоил Гусёк Курымушку, — ты не горюй — купец нам с тобой самый хороший человек; купец — человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит птицу.

— Какую птицу?

— Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.

И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть, но Гусёк подводит к любимому.

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела — перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.

— Люб ли тебе?

— Они все одинаковы.

— Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попава огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусёк?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый. Перепела в поле разные, хорошие — редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат — залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать — и в поля. В прежнее время, — рассказывает Гусёк, — купцы к нам в каретах съезжались, с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это — богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.

— Озолотит?

— Озолотит! Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий — *белый*.

— Белый?

— Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— Погоди, — шепчет Гусёк, — соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть...

— Закричит

— Во-она!

Гусёк шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное «ма-ва».

Стихают один за другим соловьи: «чмок-чмок», и конец. И кажется, звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чему-й-то много жундит жуков,— шепчет Гусёк.

— К чему?

— Да бог его знает к чему. Молчи.

Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Ку-а, ку-а! — передразнивает недовольный Гусёк.

Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.

Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю — от попова огорода и по Горелый пенё, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, — крикнул перепел.

— Голосистый? белый?

— Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще.

Голосистый не шутит: бьет — в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусёк напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусёк свою кожаную тюколку и тюкает.

Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:

«Тюк-тюк!»

И наступает решительный миг, самка взяла:

«Тюк-тюк!»

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:

«Пить-полоть!»

А она в ответ тихо:

«Тюк-тюк!»

Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно, ему!

Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник — колко! На прошлогоднюю полынь — гнется! Хочет крикнуть — голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» — хриплое и неслышное, страстное — «ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!

— Летмя, летмя! — шепчет Гусёк, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшится — и не может. Хочет быть как перепел — тесно.

И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

«Ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

«Иди, иди, любезный перепел», — замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью — плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

«Видит или не видит?» — замирает охотничье сердце.

Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для

питья, а он — тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи. клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу. Думать тут нечего!»

Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.

Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусёк будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит!

Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.

— Поймай, Гусёк. Христа ради!

— Сию минуту, — отвечает Гусёк, — не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусёк и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство, купеческие перепела — белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете!

Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.

Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.

— Во-она!

— Что ты, Гусёк? Покажи.

— Серый, — качает головой Гусёк. — Опять мимо капнуло — русака ловили.

Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

— Так и нет их на свете?

— На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места.

— А где новые места?

— Известно, в Сибири.

— И там, верно, есть белые?

— Там перепела все белые.

— И бобры голубые?

— Синенькие, зелененькие. Там всякие есть — по дорожкам бегает. Надо бы и нам подаваться туда.

ТАЙНА СУШЕНОЙ ГРУШИ

На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду — сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что — трава на клумбах! Отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю — это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это — розы, это — вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья

Курымушки — гимназисты. Бывало, только слышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками, — тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:

— *Гости!*

Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: «Выйдут и попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека — и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и оттого-то все разбегаются и разлетается, когда слышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется... Обернулся — и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестик.

— Что с тобой?

— Ничего, я обедню служу.

Сбылось однажды тайное желание Курымушки, — всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.

Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну — и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.

— Стяни мне сухарь.

— Вот еще!

— Ну, так я покажу сейчас грушу.

И кончик ее показал ему под столом.

«Не покажет,— думает Курымушка,— не осмелится».

А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше.

«И вдруг покажет; нет, не осмелится!»

— Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?

— Не стяну.

— Не стянешь... Ну, так вот же тебе!

Кладет руку на стол и медленно открывает.

— Подожди, подожди!

— То-то.

Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава богу, благополучно сошло!

— Ну, отдавай теперь грушу.

— Как бы не так! Стяни мне конфетку.

Пришлось и конфетку стянуть.

И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши, Коля распоряжался Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще, отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.

ОЗОРНАЯ ТРОПА

В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:

— Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.

— Давай.

— И зажарим на вертеле, как Робинзон.

— Какого же гуся?

— Поповского. Поповские самые жадные!

Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови. Хватились — нет спичек. Один побежал добывать и вернулся:

— А не вытрем ли из дерева?

Долго трут палку о палку, ничего не выходит.

— Нет. ступай скорей за спичками.

Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что, если и его они палками: «Не подглядывай, не подсматривай!» Невозможно.

Вот бежит, запыхался.

— Добыл?

— Есть!

— Ура!

Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет. крадучись, а пшеница ему — как лес, конца этому лесу, кажется. нет, и только небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное, что пшенице конца нет, что тихо, а большой Голубой смотрит и все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади, давно уже сомкнулась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям, — будь что будет, — только бы не быть одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гокнул о сухую, набитую озорную тропу, гулко ударился и — как закричит! Братья от гусиного крика — прысь назад и, не посторонись Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услышав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка: «Избави нас от лукавого». Упадет, прошепчет молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица, дево, радуйся», — обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочел: «Господи, милостив буди мне, грешному», пшеница кончилась и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.

Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше, но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие — они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна

сушеной груши,— как бы просто, казалось, открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди открой,— ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у старших есть свои тайны,— у Софьи Александровны со старцем, у Дунечки с Бледным господином, и старец, и Бледный тоже, наверно, пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот скажи вслух про нее!

БОЛЬШОЙ ГОЛУБОЙ

До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика уносимой ястребом птицы: как услышу, так сиротю. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороться Голубого, я это знаю, не миновать этого. Но все-таки совсем он один, мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю: «Отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть Голубого, не сделай его напрасной жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой ястребом птицы».

Есть тайна у Курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы в пшенице кровавый гусак. Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собой говорили:

— Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством. Некогда за детьми посмотреть, и не на что, должно быть, гувернантку нанять. Дети совсем одиночки.

— А как хорошо бы здесь жить богатым! Это — настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна.

Ее звали Катя.

В другой раз Курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла — не было Маруси, она всегда была одна, и эта *она* так радовала и так мучила Курымушку. *Она* всему радуется и от всего спасает, но тайну эту никому

сказать нельзя, и если узнают, то пусть тогда лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся», и вдруг огненно покраснеешь, — раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда скажут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак», и тогда встают перед глазами ужасные картины: и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает:

— Что с тобой? Отчего ты такой бледный?

— Должно быть, муху проглотил, — отвечает Курымушка.

Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял. Кто этот желанный чудился Курымушке? Не отец ли?

Отец, отец, пожалей своего мальчика!

МАРЬЯ МОРЕВНА

Голубой слышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом вошла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах — настоящая Марья Моревна!

Она вошла и сказала:

— Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке, ей хочется побыть с родными, — у нас столько здесь воспоминаний.

Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина в черном.

Долго они потом ходили, обнявшись, по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой.

— Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня? — спросила дочь генеральши.

— А вон стоит.

— Возле нее был налив?

— И налив на своем месте.

«Не убежать ли, — схватился Курымушка, — а то еще вспомнят и Розанку». Но подняться было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было

смотреть на Марью Моревну и думать: «Вот это *она*, вот это она пришла, настоящая».

Генеральша говорила:

— Нужно отдать справедливость этим купцам: они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них, — у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня Розанка, и внизу в стволе ее было окошко.

— Помню, как же... Да вот и она стоит!

— Ну, пойдем посмотрим.

Курымушка не успел убежать. Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:

— Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.

Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:

— Мария Ивановна просит вас откусать, ваше превосходительство.

— Какая там уж превосходительство! — улыбнулась генеральша.

— Вот настоящие господа! — говорила няня после Курымушке.

— А мы-то не настоящие?

— Ну, какие мы господа, мы купцы!

Никто не мог так радоваться гостям, как мать. она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина!» Чего, чего тут для них не наготовили!

За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели, не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая *она*, про которую все говорят — кра-са-ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу — взглянут и скажут: кра-са-ви-ца! — об этом он так решил: «Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разное, а красавица одинакова со всеми — богатыми и бедными, большими и маленькими, да! вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит, совсем как с большими. Но что, если вдруг, — в ужасе подумал Курымушка, — она — эта настоящая и единственная она — за столом ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это *она*!» На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу пустить и

вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот, правда, Марья Моревна смотрит прямо на него, улыбается...

«Господи, милостив буди мне, грешному!» — готовит Курымушка своего гусака.

Марья Моревна спрашивает:

— Ты умеешь читать?

Курымушка сказал про себя:

«Ад, сатана!» — и сразу пустил гусака.

Земля, там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, — теперь ногти эти срastaются, и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обрываются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он победил. Мать говорит:

— Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел?

Курымушка ответил:

— Должно быть, муху проглотил.

— Вот всегда ты хапаешь ртом. Ну, выпей поскорей воды, может, пройдет.

Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:

— Я умею читать.

— Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен. Не читал?

— Нет, не читал.

После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.

БОЙ С ГОЛУБЫМ

В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел затрубил — он не слышал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поскорей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает — ужасно! Попробует

дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел — еще страшнее! Нет, дальше так нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не подходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась. Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее зеленый вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица — сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло.

— Ну, что? Читал мою книжку? — спросила Марья Моревна.

В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон уносимой ястребом птицы.

— Что с тобой? — спросила Марья Моревна.

— Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.

— Чего же ты дремлешь? Слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!

Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голубой, и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда за ястребом пустился Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях и вспомнил: нет у него крыльев, и ястреба ему невозможно догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по зарослям, прыгает; только что выбрался... что же там под голубым небом и палящими белыми лучами полдневного солнца? Там — то самое страшное, желтое, непреходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там, где-то в этом же поле, на одном месте все кричит и стонет жалобно птица. Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.

Большой Голубой стал против него: «Кто у нас одолеет?»

Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед — и ад, и сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рассекая

воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.

Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак; сюда, в этот овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет, и в этот самый овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один кустик, и прямо за ним слышно — пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями.

На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст.

За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впустив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных серых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнutoго клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, четвертый...

Умиравший пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле, «домой иду», и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она — хлоп! хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них тоже значит свое: «домой, домой улетаю». Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями оправляется, обирается и улетаёт жить в сад. Теперь все это разбросанное в мире: голубое небо — все, желтое поле — все, и лес далекий впереди — весь, и сад назади — весь, — все вместе собирается и летит сюда в голосе, и голос этот милый зовет и все близится, близится, и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:

— Ты — герой!

Счастливые проходят дни, и, как тяжелый сон иногда по

частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсен. Теперь там картинки больше уже не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка: на ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими крыльями.

— Знаю теперь, знаю, — говорит Курымушка.

— Что ты знаешь?

— Красавица, это значит — ты на картинке.

— Ну, и я хочу что-то сказать... хорошее.

— Я — гадкий.

— Почему ты это знаешь?

— Я видел себя в зеркале: я — Курымушка.

— А не смотришь в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.

Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.

— Ты лебедь?

— А ты — лебеденок. Я унесу тебя далеко.

— Где живут голубые бобры?

— Там все голубое.

ПЕЧЬ КАМЕР-ЮНКЕРА

Бывает летом, — накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, под навесом, чаю попить, но выходит мать, осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают, а на дворе работники только что запрягают.

— Что-то я заспалась сегодня, — говорит она, — мужики уж на работе. И все так: пока *сам* не проснешься, никто у нас не начнет.

Она всегда про себя говорит *сам*.

— Сам встал до свету, — ворчит она, — кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам.

Далеко видно с балкона в поля. из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени, под навесом балкона.

— Нельзя, — говорит мать, — там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Переносите все в комнату, живо.

— Мама,— просит Курымушка,— зачем в комнату? Мы же не будем работать, все равно будем чай пить. Стыдливо бормочет мать:

— Мало ли что!

И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами.

«Она боится мужиков,— думает Курымушка,— так же, как мы боялись раньше гостей, мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А чего их бояться?»

Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него есть тайна, и, должно быть, большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уж осенью, и сразу от него на дворе все стало не так.

— Вот конюх так конюх,— говорит мать,— и лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит, таких еще у меня не было!

Только одно плохо,— на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:

— Что тебе говорят, Иван! Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я тебе приказала починить колодезь.

А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу мать переменилась:

— Иван, *как бы* круг на колодезе починить.

С тех пор всегда говорит ему: *как бы*. А отойдет от него и жалуется:

— Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный.

Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:

— Ешь сам. Что, у меня рук, что ли, нету яблок нарвать?

— Тебя поймают.

— За что?

— Яблоки не твои.

— А твои, что ли, они?

— Мои!

Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:

— Ты — головастик.

С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок,— везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни возьмется: за дугу — в глазу его «ну, разве у *настоящих* такая дуга?». Конь застоялый взовьется у него

в руках, как огненный, а он хлестнет его, и так, будто это последняя кляча; и все так, и этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж, не за что ухватиться пока.

«Не Балда ли это? — думал Курымушка. — Тот ведь тоже был хороший работник, а что из работы вышло: от одного его щелчка поп улетел».

Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз «Балду» — и когда прочел:

— Нет, Иван не Балда.

Про Ивана каждый день говорили: *«Вылитый он»*.

А он — был Бешеный барин, атеист.

И это было как-то связано с тем, что постоянно бывало в кухне на печке, где спала горничная Настя, потом Дуняша, потом Катя. Одна горничная уходила, нанимали другую, а перед уходом всегда няня таинственно шептала матери:

— Зажгла свечку, а на печке коленки, красные.

— Кто же?

— Да все Кирюшка.

— Опять свалялись?

— Баламутный малый.

Что-то очень гадкое бывает на печке, и лица у мамы и Дунечки, когда про это говорят, бывают такие странные.

В этом ли была тайна Ивана?

Старшие говорили: «Их много. Едешь иногда, встречается, ну, вы-ли-тый, только одет мужиком». Но это говорили уже не про атеиста, а про самого большого барина — камер-юнкера. У него есть лакей тоже вылитый, и лакей ходит к дьячихе, и у дьячихи семь человек детей, и все вы-ли-тые. Многое множество вы-литых было, и Курымушка иногда думал, какая же огромная печь должна быть у камер-юнкера.

С тьмою зимних вечеров и ночей приходило это «на печке», когда сверчок неустанно поет, рыжие тараканы снуют на лежанке, неустанно щелкают счеты в комнате матери, и стук! стук! — оледенелые ветки и замороженное окно. Вздрогнет няня от стука, спустится с огнем посмотреть в кухню, вернется оттуда...

Курымушка спит и не спит, видит, как осторожно няня шевелит ручкой двери маминой комнаты.

Щелканье счетов обрывается.

— Тебе что, няня?

— Опять Баламутный на печке.

— Вот те раз!

И начинается долгое совещание.

Из всего этого вышел Иван, вылитый Бешеный барин.

ТАЙНА ИВАНА

Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний; где-то в гостях — очень редко случалось — были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла — не проверять ли, что было на печке? Совершенно один был в старом доме Курымушка, и вдруг слышит голос: «Царя убили!» Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя». Курымушка, услышав, подумал сразу о Дунечке: «Теперь Дунечке хорошо будет». Но за криком и плач начался, шум, топот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.

— Да вот убили царя-батюшку, — всхлипывает няня.

— Чего ты плачешь, няня? — спросил Курымушка. — Что будет от этого?

— Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.

«Топорами на печи сено косят раки», — подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления.

— Ай-ай-ай! — вдруг залился Курымушка.

Няня испугалась:

— Что? что ты?

— Как что? Мужики пойдут с топорами!

— А может, и не пойдут.

— Пойдут, непременно пойдут.

— Ты-то почему знаешь?

— Царя убили.

— Царя-то убили.

— И пойдут.

— Очень просто, пойдут.

Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.

— Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?

— Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков!

— Как мужиков?

— Наших ребят, наши смирные.

Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел.

Няня говорит Ивану:

— Теперь всех перечистят?

Иван отвечает:

— Всех под орех.

Курымушка:

— И нас?

— Какие же вы господа? — усмехнулся Иван.

— Слава богу, — обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: — Почему не тронут купцов, Иван, открой мне всю тайну!

— Купцы на капиталы живут, — сказал Иван. — Да ты этого еще не понимаешь, я тебе растолкую. Сотворил бог Адама на земле?

— Ну, сотворил.

— Адам согрешил, и бог его выгнал из рая. Знаешь?

— Слышал.

— А знаешь, что бог сказал человеку, когда выгнал из рая?

— Не знаю.

— Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.

— Это знаю.

— А вот Гусёк есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?

— Перешла к маме.

— Твоя мама купила у господ. А как она к господам от Гуська перешла? Они ее не покупали. Кто ее дал господам?

— Царь, должно быть?

— Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.

— Да вот, — сказал Павел, — у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к господам, а от господ к купцам.

— И теперь опять к вам перейдет?

— Вот будут землю столбить, тогда разберут.

— Как столбить?

— Ну, барин, тебе всего не расскажешь.

Иван усмехнулся по-прежнему:

— Барин, барин без портков, а пляшет.

— Как без портков? Я в штанах.

Все так и покатались со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:

— Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики говорят: барин, барин без портков, а пляшет.

КАЩЕЙ

С тех пор как Марья Моревна уехала, — обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, — собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, полях, а теперь стало в людях, и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются или говорят: «сам догадайся», а есть такое, — спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама, что бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила «энти мужики». И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от этого второго Адама начались, как мать называла, «те мужики», и вот те мужики задумали землю столбить.

Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить. Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.

— Куда увезли Ивана?

— Куда Макар телят не гонял.

— Какой Макар?

Все засмеялись, и это значило: «Сам догадайся!»

Царя убили, и опять стал царь, сразу большой, с бородой.

Мать раскладывает: «*Николай* умирает, *Александр* рождается». Не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся.

— Отчего это, мама, — спросил он, — все догадываются сразу, а я после?

— Оттого, что ты очень рассеян.

Вышла новая загадка, — все люди как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы хоть на один день увидеть Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.

Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали: «Как день-то прибавился!» Еще сказали: «Это весна!» А еще сказали: «Сегодня Маша приедет!»

Мать говорила:

— Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша, как они ее слушаются, скажет:

«Нарвите цветов», — и они собирают, но мало того: часами сидят, подбирают цветочек к цветку, — и букет выходит. Скажет: «Найдите хорошее яблоко», — и сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное.

Скупая Софья Александровна против этого:

— По-моему, и не очень хорошо.

— Как нехорошо? Что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам — и бежать. Теперь сами гостей встречают и радуются. Удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов.

— Очень горда. Она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному, а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.

Этому сама жизнь научит, а Маша... тургеневская женщина.

— Экс-пан-сив-на-я! Ее бросает в разные стороны: то она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на математическом, то в Италии, то доит корову у Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они не занимали?

— Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить: дети мои неузнаваемы, в гимназии начали хвалить.

— Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью. Но разве она пойдет? Я, право, не знаю, что ждет ее в будущем.

— Пустяки! Такая красавица и не найдет партии себе?

— Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас женихи.

— Женихи, правда, у нас никуда.

— Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собирается, каждая находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то, право, уж она чересчур горда.

А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек; он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кашеем Бессмертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня придет, и он все ей перешепчет. Марью Моревну он не отдаст Кашею Бессмертному.

Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем, — она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна Бешеному барину.

«А главное, — опасается Курымушка, — при гостях как я ей перескажу про заговор с Кашеем Бессмертным?»

Так он думал. Крикнули: «Едут!» Он бросился.

— Оденься, оденься!

Но было уже поздно. Курымушка, раздетый, без шапки, вылетел вон на снег и там машет, и пляшет, и поет, встречая Марию Моревну. Вон она выходит из саней, целует его, вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает:

— Какие удивительные перевероты бывают, я это знаю: он был настоящий *атеист*.

— Какой там атеист, — отвечает Дунечка, — просто и верно говорят мужики: Бешеный барин.

— Но все-таки Александр Михалыч в бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг...

— Как же это вышло? — спросила Маша.

— А так вышло. Очень странная история: после убийства царя он стал сам не *свой* и даже заболел, — на желудочной почве начались экс-цес-сы.

— Тетенька, — засмеялась Дунечка, — вы ужасно смешно рассказываете.

— Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая, — воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета. Ответ был, как всегда, лак-о-ни-чес-кий: «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете! Все у него прошло, настроение прекрасное, и говорит: «Православные посты — великое дело».

— И уверовал?

— Не сразу. К старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним *печки и лавочки*. Вот увидите: сегодня они вместе придут. Очень интересно.

Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя, и царь опять сразу явился, а Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении и по-прежнему стоит, маленькая, у печки, читает:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуссохший господни.

Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет, — украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает:

— Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму. Бывают все-таки и жандармы хорошие?

— Тетенька!

— Вот для примера становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде, — какое он сделал для крестьян *колоссальное* дело!

— Тетенька, это совсем другое.

— Но почему же другое, и как это у вас разделяется? Жандарм, положим, исполняет честно свои обязанности, чем он хуже других людей, а вы всякого жандарма презираете! Царь был тоже человек, освободитель крестьян, и его убили. Ну, как это понять? Объясни, пожалуйста, ведь я на медные деньги училась.

— Вы правы, — сказала Маша, — убийство — это несчастье, убийство задумывать нельзя, и если оно выходит, то это несчастье.

— Маша, Маша, — воскликнула Дунечка, — как ты этого не понимаешь! Это не убийство.

— А что же это такое?

— Это? Это — суд!

Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели, и обычный ужасный крик раздался, будто кого-то собака за ногу схватила:

— Гости идут!

— Тетенька, милая, отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать.

— Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду, что ты будешь одна сидеть, и знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескарпи. Накрывайте же на стол, няня, няня!

ОТКРЫТИЕ

Случилось это первый раз за все время: Софья Александровна вошла вместе со своим мужем Александром Михалычем, и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом — разговор обрывался, мать нетерпеливо говорит в дверь: «Ну, скоро ли у вас будет готово? Подавайте же!» И опять *занимает* гостей:

— У вас, Александр Михалыч, червяк сильно точил озими?

— Пустяки! У нас каждую осень бывает червяк.

— Осенью все-таки зеленыя очень зажухли, весной, вы думаете, отгрызнут?

— Какая будет весна.

— Я спрашивала и старца про это,— сказала Софья Александровна,— он тоже ответил: «Осень — выключу, а весна — как захочу».

— Разве старец и в этом понимает? — спросила Маша.

— Ну, как же, он все понимает, ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спрашивают,— в каком платье венчаться: в голубом или розовом, какого поросенка оставлять: белого или пестрого...

— А это уж глупо!

— Как вам сказать... Он так говорит о себе: монах — сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель, и для того существует монах, чтобы поддерживать хмель.

— Как это прекрасно! Какой он мудрый человек! Я только про баб думаю. Можно ли такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?

— Он отвечает всегда: «Ты сама как хочешь?» — и благословляет то, что они сами хотят.

У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями.

— Значит,— сказала она,— они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются?

— Конечно, так просто.

— И это он благословляет их собственную догадку в пути к нему?

— Их догадку.

— Так они и старца рожают в своем сердце? Как это прекрасно! Я непременно хочу видеть его поскорей.

— Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше.

«Конец, конец,— думает Курымушка, теперь все пропало, он не успеет ничего ей рассказать, она рано уедет, и Кашей Бессмертный никогда не выпустит от себя Марьи Моревны; но во что бы то ни стало нужно добиться разговора с ней и предупредить». Полный тревожных дум, рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно: шарик был один, а казалось — два.

— Убери руки со стола! — сказала мать. — Что ты там делаешь пальцами?

— Шарик катаю,— ответил Курымушка. — Удивительно: шарик один, а кажется — два.

— Как это? — спросил Александр Михалыч.

— Вот так.

— А и правда!

Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать шарики!

— Ну, молодец! Вот так открытие!

Как сказали *открытие*, высоко взлетел Курымушка, и так сладко стало ему там, наверху. «И почему бы, — думал он, — теперь не спросить их всех сразу обо всем, они все хорошие, и сам Бешеный барин катает шарики, как маленький».

«Спрошу! — решил Курымушка. — Может быть, и это будет *открытие*».

Уже хотел спросить про царя, почему он, не как все люди, рождается сразу большой, с бородой, про тайну Ивана, почему он вы-ли-тый Александр Михалыч, и про все, но раньше его мать свое начала:

— Я думаю завести четвертый клин с клевером и тимофеевкой, хочу посоветоваться с Данкевичем.

— Что же, посоветуйтесь,— сказал Александр Михалыч,— у него хозяйство образцовое. Он только что вернулся из Петербурга.

— Представлялся царю?

— Я его вчера видел, он в восторге от царя: «Лицо русское, борода широкая».

Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку, мать стеснялась Дунечки. Маше тоже отчего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно: «Спрошу! И, может, опять это будет *открытие*». Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем молчании:

— Царя убили, и он сразу родился с бородой, — как это может быть?

Вышло второе большое открытие: все, даже Дунечка, долго смеялись, и Александр Михалыч наконец объяснил:

— Царь рождается, как и все, маленьким и растет наследником, а потом, когда царь умирает, наследник прямо же становится на его место и делается царем.

— А если так,— спросил Курымушка,— если царь всегда, непременно рождается, то зачем же его убивают?

Тогда вдруг что-то злое стало в лице Александра Михалыча, он посмотрел на Дунечку и сказал:

— Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает.

Дунечка вся вспыхнула. Все глухо замолкли. Открытие было какое-то ужасное. Но Курымушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил про тайну вы-ли-тых.

— Бог сотворил Адама на земле?

— Ну, хорошо, сотворил.

— И велел землю пахать?

— Велел.

— Почему же он земли не дал?

— Вот ты какой! — удивился Александр Михалыч. — Неужели это ты сам догадался?

— Я не умею догадываться,— ответил Курымушка,— мне это Иван сказал.

— Тебе это Иван ска-зал?

— Иван, а про Ивана почему-то все говорят: вылитый Александр Михалыч.

Тогда случилось, как бывает часто во сне: по стеклянному полу в большом зале идет Курымушка, по сторонам много людей, смотрят на него, как он пройдет, а пол стеклянный вдруг наклоняется, и — «ай-ай-ай!» — он катится торчком головой и куда-то «бух!» — просыпается.

Пол наклонился, Курымушка полетел и видит, как моргает ему мать черными глазами, как махала ему белой салфеткой, слышал, как сказал Александр Михалыч: «Рано тебе за столом разговаривать, ты еще дурак!» Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго велели: «Ступай спать».

ТИХИЙ ГОСТЬ

Велика эта ночь вышла Курымушке, уснуть не мог и все думал, будто это он что-то неловко тронул, сорвался с цепи Кащей и теперь всех закует своей цепью, и с Марьей

Моревной теперь простись навсегда. В приоткрытой двери маминой комнаты светится лампада, и долго слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью.

— В письме так и сказано: «работать неопределенное время на легальном положении». Это значит — всю жизнь в этой тьме в глуши.

— Милая, посзжай в город.

— В городе таких, как я, много.

— Ну, не плачь, не плачь, привыкнешь, обойдется. Что же делать? Вот я работаю на банк, и, видишь, совершенно одна.

— Вы все-таки любили.

— Что ты! Как я любила? Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван, и увидела я черную бороду — вот и все.

— А потом?

— Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно — не это любовь.

— Не говорите так, у вас есть дети, мне и того не достанется.

— Полюбишь чужих детей, как своих.

— Полюблю, я знаю, но все это «не то».

«Бедная, бедная, — шепчет Курымушка, — всех вас опутал Кащей своей цепью, но как быть? Ведь это я виноват, это я выпустил Кащея. Как быть? Надо покаяться, — решил он, — во всем покаяться Марье Моревне, все ей сказать, и тогда будет опять хорошо, а главное, нужно открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню, «в маленькую комнату», разбудить? Она все поймет. Но как пробраться туда через мамину комнату, по коридору, и как дожждаться, пока все уснут?»

«Надо, надо!» — решил он, и с этой минуты началось ему это «надо» на всю долгую ночь.

Долго шепчутся мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаз и видит голубой снег, по снегу идет он к дереву и там у дерева долго стоит. Дед-Мороз спрашивает: «Тепло ли тебе, Курымушка?» — «Очень тепло!» — отвечает он Морозу, а со стороны голос: «Надо, надо!»

— Слышите? — спрашивает Дунечка. — Слышите?

— Кажется, плачет. Надо посмотреть. Вот всегда так дети при гостях нервничают, — что он сегодня раздelyвал!

— Ужас! Всегда один, вот нехорошо: в одиночку у детей складывается все особенно.

— Спишь? — тихонько спрашивает мать.

Курымушка нарочно сопит.

— Спит!

И обычное: рука на голове.

— Кажется, есть жарок, но это нервное, в другой раз непременно буду раньше укладывать. Давай-ка и сами ложиться, очень уж поздно.

Пока они раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном; ему представилось, будто он машет ладонями по воздуху, как крыльями, и поднимается, пробуя еще раз — выше поднимается, к самому потолку в зале, всю залу у самого потолка облетает, как муха. Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу собирается на двор посмотреть, как полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля, как магнитом, держит его ноги, и все хохочут, ругаются: «Вот собрались, дурака-то мальчишку послушались!» Но когда все разошлись, он попробовал и опять поднимается, и все выше и выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие. Было бы так хорошо всем летать.

— Опять плачет, слышишь? — говорит Дунечка.

— Не дать ли ему брому? — спрашивает мать.

— Нет, подождите, — кажется, опять спит.

Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает и опять видит белую поляну, спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной, Иван-царевич подходит к ней, и надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и чтобы не испугалась, так и стоит и стоит Иван-царевич возле спящей красавицы, вот-вот и сам заснет. Вдруг как из пушки ударило: «Надо, надо!»

Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло и не надо. «Нет, надо!» — опять вспомнил он и прислушался: все спят, слышно даже, как Настя в коридоре храпит, и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. Нет, надо идти, надо, надо! Холодно в одной рубашке, но где тут искать штаны в темноте! Открывает дверь, громко скрипнула под ногой половица, он сел и ползет между кроватями. Мать спит, и Дунечка спит. Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбудить. Эту самую ручку и он теперь шевельнул.

— Ты что, няня? — спрашивает мать.

— Живот болит, не знаю, что делать, — отвечает Курымушка. Кажется, сказал вслух, а ничего не сказал, и мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот, темный и длинный, где Настя храпит и крыса скребет. Вот «маленькая комната», и у нее ручка точь-в-точь такая же, точно медный пестик, но тут хорошо, пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она не слышит — спит. Открывает дверь и вдруг, как сон: на белом лежит спящая красавица, и темные ее волосы разметались и даже свесились с подушки, и он, как Иван-царевич, стоит, хочет, и страшно будить: она вскрикнет на весь дом — и все откроется, и что тогда скажешь при всех? Иван-царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке. «Не убежать ли?» — спрашивает себя. «Надо, надо!» — кто-то велит.

Тихо шепнул он:

— Марья Моревна!

Открыла глазок и закрыла.

— Марья Моревна!

Опять открыла глазок.

— Марья Моревна!

Другой.

— Ах, как я долго спала! Кто это? Ах ты, Курымушка?

Странно смотрит, и страшно от этого. И уже хочет сказать Иван-царевич в ужасе: «У меня живот болит, не знаю, что делать».

«Надо, надо!» — требует ночной голос.

И падает маленький гость, как в «Отче наш», на колени:

— Прости меня, прости меня, милая Марья Моревна!

— Ну, что ты, родной, что, милый мальчик? — шепчет Марья Моревна. — Иди сюда на кровать, ложись. Вот так. Ну что? Рассказывай все!

Про Кашея Бессмертного рассказывает Курымушка, — как он спустил его сегодня с цепи и что там уже есть заговор на нее, — отправить завтра к старцу, а старец и есть Кашей, и что он велел себе не упустить Марью Моревну, — все рассказал, все тайны открыл и даже, как он во сне куда-то летал, и при людях это не удалось, и его засмеяли.

— Не уезжай, не уезжай к старцу!

С улыбкой счастья глядя куда-то, кажется на эту картину прекрасной дамы с младенцем на руках, Марья Моревна сказала:

— Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю: никто никогда меня не возьмет.

— Не поедешь завтра к старцу?

— Зачем теперь мне к старцу ехать, я без него знаю, что мне нужно делать.

— Неужели ты пойдешь в гувернантки?

— И в гувернантки не пойду. Я всегда буду с такими, как ты; кто меня будет любить и звать, к тому я и буду ходить.

— Я всегда тебя буду любить и звать.

— И я всегда буду с тобой.

Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит.

— Кто это?

— Кого ты видишь?

— Вон, Голубой!

— Ах, это уже рассветает. Спи, сыночка!

— Но отчего же там голубое?

— Это всегда так, весной на рассвете так голубеют снега.

— Мне показалось, будто кто-то вошел.

— Сыночка, спи дорогой, ничего не бойся и не летай во сне без меня; может быть, когда-нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться.

— И все полетят?

— Все, все полетят!

— Куда же? в рай?

— Какой тебе рай, это близко,— далеко за рай,— в страны зарайские!

— Где живут бобры голубые?

— Там все голубое.

Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кащееву цепь?!»



ЗВЕНО ВТОРОЕ

МАЛЕНЬКИЙ КАИН

ОТ АВТОРА

С тех пор как я задумал свой старый роман «Кашеева цепь» сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе героем.

Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла. Вот почему, наверно, она и постучалась.

Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает, пока я не принесу свое горючее — вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее, так самолет поднимается на воздух.

Это значит, что без моего вымысла правде определено неподвижно лежать на земле.

То же самое и блестящий-разблестящий вымысел рассыпался бы весь малыми искрами в глазах самых

ничтожных людей, если бы у нас исчезла последняя надежда всем вместе сойтись и дружным усилием поднять нашу правду на воздух и всем полететь.

Давно я так про себя думаю о правде и вымысле. До сих пор, когда собираюсь что-нибудь написать, пользуюсь пониманием правды в ее устремлении лететь и моим собственным вымыслом как горючим для правды. Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изменяла мне: отдаешься одной правде — вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле — она поступится.

Так вот, когда я выдумал сделать себя самого по всей правде героем романа, забытая правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что роман «Кашеева цепь» был написан больше тридцати лет тому назад.

Вместо Кашеевой цепи я стал воспевать радость жизни в природе под предлогом охотничьих рассказов, приближая мало-помалу к моим рассказам внимание людей, ничего не имеющих общего с охотниками.

Так я приспособлялся к новой читательской среде, не рассчитывая ни на что, отдаваясь только чувству той современности, где рождается наше будущее.

Пришло время, правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что не довел до конца давно когда-то начатый роман.

Бывало часто со мной как писателем, что вскоре после окончания своей какой-нибудь работы являлся тот, скажем, символический читатель: вопрос о том, будет жить моя вещь или заляжет в темном углу, как залегла безответно «Кашеева цепь»?

Символический читатель — это, конечно, я же сам. Можно же себе представить, в какого читателя разросся я, не издавший тридцать лет текста своей собственной книги! Взять хотя бы только одну бомбу, брошенную в царя в 1881 году! Она залегла неподвижной правдой в сердце мальчика Курымушки, и во что она разрослась потом! А так ведь и за тридцать-то лет разлуки романа с автором сколько было перемен всяких, сколько пар очков надо было переменить, чтобы почувствовать жизнь в ее цельности!

Читая по-новому «Кашееву цепь», я только слушал правду, которая стучалась ко мне независимо от горячего *текущего* времени.

И я что-то услышал.

Вот почему теперь и пришлось мне затянуть эту оговорку о собственном творчестве. Роман, получив назначение автобиографического, требует там и тут указаний, а я все эти тридцать лет — подумать только, наших революционных лет! — ни разу не прочел «Кашеевой цепи», написанной в первые годы революции.

Как это могло случиться, что автор за тридцать лет революции ни разу не прочел свой роман?

Мне кажется, это произошло оттого, что по выходе книги я не нашел на месте своего читателя. Раньше со мной всегда было так, что, написав частичку, какую можешь написать в один раз, ты поневоле расстаешься с написанным и потом возвращаешься к нему не писателем, а читателем. Бывает, что сам как писатель вчера наслаждался написанным, а когда пришел как читатель, то сгоряча разорвал рукопись и бросил ее в корзину.

Это самое случилось с «Кашеевой цепью». Написав роман, я не почувствовал на обычном месте своего читателя.

К этому надо понять, что я сейчас говорю о читателе не в смысле читателя-потребителя. Книга неплохо написана, и по литературному каналу тиражи ее разбегались в какие-нибудь две-три недели. Я говорю сейчас не о читателе, который кушает книгу, вернее слизывает ее вкусную часть для своего личного отдыха. Мой же органический читатель книгу не кушает, а переживает ее и вовлекает себя в сотворчество.

И вот этого-то органического читателя не было при выходе в свет книги, и мне это передалось: в воздухе что-то не то, и дым несет с другой стороны.

Это расхождение с читателем-другом не повергло меня в отчаяние, потому что литературная жизнь не закрывала мне собою всю человеческую жизнь и бесконечную радость в природе.

Вместо «Кашеевой цепи» я стал писать охотничьи рассказы, прославляющие радость жизни, а «Кашеева цепь» эти все тридцать лет так лежала и лежала без движения, ждала меня как современного автора, и я хочу теперь получить право врываться в рассказ, где мне только захочется, и тем самым сохранить в творческом соотношении и правду, и вымысел.

1954

Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь встает перед глазами, деревья густолиственные собираются, кивают и шепчут: «Жалуй, жалуй, гость дорогой!» Являешься на зов домой и там будто забытую страну вновь открываешь. Но как малы оказываются предметы в этой открытой стране в сравнении с тем, что о них представляешь: комнаты дома маленькие, деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава росла до крон, и все дерево — как большой зеленый шатер; теперь, когда сам большой, все стало маленьким: и комнаты, и деревья, и трава далеко до крон не хватает. Может быть, так и народы, расставаясь со своими любимыми предками, делали из них богатырей — Святогора, Илью Муромца? А может быть, и сам грозный Судия стал бесконечно большим оттого, что бесконечно давно мы с ним расстались? Так и случается, как вспомнишь, будто вдвойне: одно — живет тот бесконечно большой Судия, созданный всеми народами, и тут же свои живут на каждом шагу, на каждой тропинке, под каждым кустом маленькие боги-товарищи. Никогда бы эти маленькие свои боги не посоветовали ехать учиться в гимназию, это решил Судия и велел: «Собирайся!»

Милый мой мальчик, как жалко мне с тобой расстаться, будто на войну провожаю тебя в эту страшную гимназию. Вчера ты встречал меня весь мой, сегодня я не узнаю тебя, и новые страхи за твою судьбу поднимаются, как черные крылья.

Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. Изредка в безлесных полях, как островок, показывалась усадьба с белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда, будет казаться, будто много там всего и самое главное — там; а если выехать, то главное кажется тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба — просто кучка деревьев. «Неужели и у нас так же?» — подумал Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хорошей: «У нас лучше всех». Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор».

Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог — тоже церковь; среди зеленых садов покраснелись крыши; сказали: «Вот и гимназия!» В это время на большак с проселочных дорог выехало много деревенских подвод, растянулись длинною цепью, и это стало — обоз. Помещичьи тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих вожжах, в синих поддевках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал перед Курымушкой собор, и тут на соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.

— Необходимо свидетельство о говении, — говорила тетушка Калиса Никаноровна. — Неужели он у тебя еще не говел?

— Не говел. Какие у него грехи, вот еще глупости!

— Ну, да, конечно, ты — ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всенощной, сговоришься с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.

Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилась теперь Курымушке, но совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы поют, — тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать, как это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом; в голове стало тоже все быстро крутиться, как в молотилке. Даже и в соборе это не успокоилось, — напротив, тут уже совсем разбежались глаза — столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то. Чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил господина, тот улыбнулся и ничего не сказал. Другой показал на малиновую дорогу, и Курымушка по дороге этой идет вперед, всех спрашивает: «Где моя мама?» Ничего не отвечают, а только улыбаются, а он все дальше

и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму. Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо идти, узнать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат: «Куда, куда, вернись, стой!» — но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от страшной толпы. И когда он прошел в царские врата, — «ах!» кто-то сзади. Кто-то фыркнул, батюшка обернулся, спросил:

— Тебе что, мальчик?

— Маму потерял, — ответил Курымушка.

И только он сказал, мамин голос зовет: «Иди, иди сюда скорей, я тут!» Хотел броситься назад, но батюшка ухватил его сзади за пискун-волос, потом за руку, ведет его куда-то, ставит перед иконой на колени, велит строго положить двенадцать поклонов. «Господи, милостив буди мне, грешному», — шепчет Курымушка свою любимую молитву. Через какие-то боковые двери батюшка ведет его, и тут ожидает мать.

— Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? — спросил батюшка.

— Мы в деревне живем, — конфузливо ответила мать, — в городе никогда не бывал.

— Ну, ничего, — заметив смущение матери, сказал батюшка, — всему свое время, а признак хороший — через царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет.

— Архиерей, архиерей! — засмеялись на клиросе певчие.

И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:

— Архиерей, архиерей!

На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по-другому: ни малиновой дороги, ни огней, ни толпы, и только черные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка стал, подражая старушкам, так же вливаться в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть: все грехи, все тайны. Вот думать про это стало почти непереносимо, — разве можно так вдруг все и открыть, а если что-нибудь забудешь?

— А если забудешь, — спросил он, — господь покарает?

— Забудешь, ничего, — ответила мать, — а будешь помнить, да утаишь, то покарает.

Но легче не стало от этого: «захотеть», — казалось ему, — можно все вспомнить, а можно не захотеть и будто все забыл; как же тогда быть, — за это покарает господь, что захотел или не захотел?

— Надо полное раскаянье, — сказала мама.

— С чего же начать?

— Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все: «Грешен, батюшка».

Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:

— Если я не грешен и скажу «грешен, батюшка», за это покарает господь?

— Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники.

Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала: «Иди», — а потом: «Стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь».

Так было с этим «грешен, батюшка» все хорошо наладилось, и вдруг этот несчастный двугривенный все дело испортил, явилась дума: «Когда отдать его и как отдать, а главное, если надо говорить «грешен» и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке двугривенный и думать, как его отдать?»

— Веруешь в бога? — спросил батюшка.

— Грешен! — ответил Курымушка.

Священник будто смешался и повторил:

— В бога отца, сына и святого духа?

— Грешен, батюшка!

Священник улыбнулся:

— Неужели ты сомневаешься в существе божием?

— Грешен, — сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: — Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

— Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава тебе, господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а господь опять простит.

Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это,

верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:

— Ну, как, все свои тайны открыл?

— И открывать-то нечего было,— победно ответил Курымушка,— он их и так все простил, он добрый.

— И ты отдал двугривенный?

— Нет, не отдал, это не нужно.

— Не взял?

— Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть — все прощается.

— Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.

— Не пойду!

— Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!

Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяснить даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.

— Ничего, ничего, бог простит,— ответил батюшка, поглаживая его по голове,— и смотрите еще — он у вас архиереем будет.

На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.

КОРОВЬЯ СМЕРТЬ

Бывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второгодником, по прозвищу Ахилл. Гигант второгодник был всем хорош, слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.

— Директора, — сказал он, — ты не бойся — он справедливый латыш! Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты, не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое — к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, — он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться. Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его *Обезьян*. Есть еще надзиратель *Заяц*, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. *Козел*, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому — что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики *Коровья Смерть*; тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая — начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.

— Почему же он называется Коровьей Смертью? — спросил Курымушка.

— Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.

— Ты сам — корова?

— Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.

Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.

— Это вызубри, — учил Ахилл, — назубок, тебя завтра

первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет — много лишних коров наделает.

«Не подвести бы класс!» — опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и боже сохрани подвести. А что учителя — враги классу, то это само собой понятно. Зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию шел, все твердил: «Сложение есть действие...»

— Хорошо вызубрил? — спросил Ахилл.

— Хорошо.

— Ну-ка!

— Сложение есть действие...

И стал.

— ...посредством которого... — подсказал Ахилл.

— Да, да... посредством которого...

— Стой, идет!

— Идет, идет, идет! — прошумело в классе и стихло, как перед грозой.

Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было: *Алпатов*.

— Тебя, тебя! — шептали вокруг.

— Алпатов здесь?

— Здесь, здесь! — крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.

— Дай тетрадь!

Курымушка подал.

— Что есть сложение?

— Сложение есть действие...

Запнулся.

Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:

— ...посредством которого, посредством которого...

— Молчать! — крикнул Коровья Смерть.

Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.

— Долго ли ты будешь молчать?

Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стучалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.

Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась... и — вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута, — эта левая нога теперь метнулась, как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.

Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у! — что там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражая такое презрение, такую ненависть, будто это не человек стоял перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась — в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно — раз птица шевельнулась, стойка мгновенно кончается. Коровья Смерть спросил:

— Отец есть?

— Нет отца, — ответил тихо Курымушка.

— Мать есть?

— Есть!

— Несчастливая мать!

Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал:

— Стань в угол коровой.

Вот если бы теперь, в этот миг, Коровья Смерть не грозил каждому в классе, с какой бы беспощадной жестокостью все крикнули бы Курымушке: «Корова, корова!» — но уже и другой стоит, потупив глаза.

— Отец есть?

— Есть.

— Несчастный отец. Стань в угол коровой.

Третий потупился.

— Мать есть?

— Есть.

— Несчастливая мать. Стань в угол коровой.

Вторая корова, третья, четвертая, и Ахилл тут с разорванной тетрадкой на второй год в коровы попал.

«Раз это так водится,— подумал Курымушка,— то с этим ничего не поделаешь, я тут не виноват, так и маме скажу: не виноват, и, конечно, она это поймет».

— Теперь, брат Алпатов,— сказал после урока Ахилл,— можешь не учить правила совсем; выучишь, не выучишь — на весь год пойдет единица: ты теперь — корова.

И правда: на другой день у Курымушки было опять то же, очень коротко и легко, на третий, на четвертый; в субботу выдали «кондуит», и единицы в нем стояли, как ружья.

С легким сердцем возвращался домой Курымушка, решив твердо, что он не виноват: только эта легкость была совершенно особенная, не прежняя птичья, а вот как полетчик в цирке на канате: можно и оборваться. Но и это все прошло. Как только он увидел на дворе Сокола, все забыл и бросился на лестницу наверх и на ходу уже чуял носом: яблоки, яблоки, яблоки. Мать тоже услышала его и тоже бросилась к лестнице, тут они и встретились и слились, как два светлых луча.

Только скоро набежала туча на солнышко.

— Как твои дела? — спросила мать.

— Ничего,— ответил Курымушка,— дела как дела.

— Кондуит отдали?

— Отдали.

— Покажи!

Тучка растет, растет, и вот они, единицы, как ружья, стоят.

— Что же это такое?

— Я не виноват,— сказал Курымушка,— учителя несправедливые.

Мать заплакала. Курымушка бросился к ней и вместе заплакал.

— Мама, милая, ты не на меня это... не на меня... это они несправедливые, я не виноват.

И этого она понять не могла. Как она не могла этого понять! Ее лицо говорило: «Может быть, это правда,— ты не виноват, но мне-то что! Мне нужно, чтобы у тебя выходило».

Сразу она стала будто чужая, так и уехала будто чужая. Сухими глазами провожал ее из окна Курымушка на Чернослободскую гору, предчувствие тогда не обмануло его, маму он теперь совсем потерял.

Грустно качала головой добрая Вильгельмина.

В актовом зале, где каждый день в без четверти девять вся гимназия, от пригостишек до восьмиклассников, выстраивалась на молитву амфитеатром, большое огорчение Зайцу доставляло параллельное отделение первого класса: великаны этого класса каким-то островом торчали среди всей мелюзги первых рядов, и на острове этом Рюриков был еще головой выше всех. Случилось, кто-то при постройке колонны задел этого Рюрика, тот ударил ответно и нечаянно сильно задел Курымушку. В этот самый момент проходила колонна восьмиклассников, и Курымушке при них особенно стыдно показалось спустить Рюрику свою горячую затрещину. Маленький Курымушка разбежался и со всего маху ударил Рюрика в ноги; тот хлопнулся плашмя — лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам: вот тебе, вот тебе!..

— Молодец, свалил Голиафа! — одобрил весь восьмой класс.

В это время звякнул камертон инспектора и запели: «Царю небесный...»

— «...иже везде сый!» — подхватил Курымушка, стараясь как бы спрятаться от инспектора громким пением.

Но это было напрасно. Как только певчие дотянули: «...твое сохраняя крестом твоим жительство», — Обезьян обернулся и сказал:

— Рюриков и Алпатов за драку на молитве отправляются в карцер, — там они могут драться весь день.

Сказав это, Обезьян сам первый засмеялся, а за ним, доставляя ему удовольствие, засмеялась и вся гимназия, и у Зайца по всему лицу пошли мелкие бороздки, будто лицо его было полем, по которому неумелой рукой пахарь накривил бог знает сколько борозд и огрехов.

Карцер был просто пустой класс. Рюрик и Курымушка сначала сели, как враги, в разные концы. Однако молчание в пустом классе было непереносимо.

— Ты за что меня ударил? — спросил Курымушка.

— Я нечаянно, — ответил Рюрик. — А ты меня за что?

— За то, что ты меня нечаянно.

— Ну, давай мириться.

— Давай!

Враги помирились и сели рядом.

— Ну-ка, посмотри эту штуку, — сказал Рюрик.

И вынул из кармана настоящий шестизарядный револьвер. Мало того, он сказал, что отец его — офицер и дома у них еще есть три револьвера, четыре охотничьих ружья, три сабли.

Из того же кармана, где был револьвер, Рюрик вынул жареную навагу, очень пострадавшую от падения. Пощелкали револьвером, закусили навагой. Курымушка, достав из ранца любимую свою книгу «Всадник без головы», спросил:

— Не читал?

— Нет, не читал.

— Ну, брат, что теперь с тобой будет!

И зачитал ему.

Прошел и час и два. Читали напеременку, и так, будто сами там, в Америке, все и переживали, без отрыву на все пять часов, не слыхали звонков, не заметили, как Заяц ключ повернул в двери: им хоть бы и совсем не выпускали, хоть бы так и всегда жить.

— Знаешь что, — сказал на улице Рюрик, — давай-ка завтра на молитве опять подеремся.

— Рано, — ответил Курымушка, — дня два поучимся, а то выгонят.

— Нас с тобой все равно выгонят.

— Ну?! — удивился Курымушка.

Эта мысль ему еще не приходила в голову, и он про себя решил этим заняться, но сейчас из осторожности сказал:

— Все-таки, брат, лучше денька два погодим.

Дома он засел учить географию. Задано было нарисовать границы Америки. И вот когда он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из «Всадника без головы», и стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн-Ридом.

Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок или не выучил.

На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые. зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час.

— Почему он Козел? — спросил Курымушка.

Ахилл ответил:

— Сам видишь почему: козел.

— А географию он, должно быть, знает?

— Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.

— Про Америку?

— Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает и, говорят — он сумасшедший.

— Правда, какой-то чудной. А что не понимают, мне это нравится, милый Саша,— ты этого не замечал, как тебе иногда хочется сказать что-нибудь и знаешь, ни за что тебя никто не поймет; вот бы хорошо иметь такую книгу для понимания.

Ахилл на это ничего не сказал, верно ему не приходилось страдать болезнью непонимания, а Козел обвел своими зелеными глазками класс пронзительно и как раз встретился с глазами Курымушки. Так у него всегда выходило,— встретится глазами и тут же непременно вызовет.

Ни имен, ни фамилий он не помнил; ткнет пальцем на глазок, и выходит.

Курымушка вышел к доске.

— Нарисовал карту? — спросил Козел.

— Сейчас нарисую,— ответил Курымушка.

Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки. Козел очень удивился. А Курымушка отчего-то стал смел — у него из головы не выходило: «Все равно выгонят». И он это не серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн-Рида и учебника.

Козел удивлялся все больше и больше, и глаз его стал такой, будто видит свое, а ухо, может быть, и не слышит. Курымушке отчего-то страшно даже стало, он остановился, покраснел.

— Ну, ну! — сказал Козел.

Курымушка молчал.

— Ты, брат, молодец.

А Курымушка сильнее покраснел и рассердился на это.

— Знаешь,— продолжал Козел,— из тебя что-то выйдет.

Тут и случилось с Курымушкой его обыкновенное: вдруг самая ходячая фраза явится ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется.

— Как же это из меня выйдет? — спросил он, все гуще и гуще краснея, представляя себе приблизительно, как няня ему говорила, будто у одной барыни в животе развелись лягушки и потом вышли через рот.

— Как же это выйдет? — спросил он, краснея и ширя глаза.

— Через верх, конечно, — ответил Козел, — то каждый день через низ выходит, а то через верх.

«Не вырвет ли?» — про себя подумал Курымушка и хорошо еще — вслух не сказал, а то и так в классе все засмеялись; но Козел, как все, не умел смеяться, у него на лице вместо смеха делалось так, будто он ест что-то очень вкусное, сладкое и облизывается, — это и был его смех.

Козел облизнулся и сказал:

— Вот, вот выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником. Садись. Очень хорошо.

И поставил пять.

— Ну, и счастливцев, — сказал Ахилл, — в тебя, кажется, Козел втюрился.

— Вот, Саша, — сказал Курымушка, — я тебе говорил насчет понимания, как это трудно взять и понять. Помоему, это у него хорошая книга о понимании, и вовсе он не сумасшедший.

— Кому как, — ответил Ахилл. — Тебе вот вышло счастье, тебя он понял, а меня не понимает и все единицы жарит, — одному хорошо, другому плохо, это, брат, тоже непонимание.

ЗАБЫТЫЕ СТРАНЫ

Занимаясь теперь с большим удовольствием и даже наслаждением картой Америки, Курымушка все раздумывал, что это значит — быть знаменитым путешественником. Явилась перед ним какая-то страна еще без имени и без территории; вот там, в этой стране, думал он, и есть настоящая жизнь, а тут у нас жить не стоит, тут — ненастоящее.

Он стал догадываться, где находится такая страна, и вспомнились ему голубые бобры, что они в Азии. Не в Азии ли и эта его страна? По карте он стал искать себе путь в Азию и, пока разыскивал, совершенно уверился, что желанная страна без имени и без территории находится в Азии. Путь туда он установил простой: по реке быстрой Сосне в Дон, из Дона — в Азовское море, в Черное, и потом уже и начнется Малая Азия; большую часть пути можно совершить даже просто на лодке; и хорошо, если к лодке приделать колеса, как у речных пароходов, и вертеть его с кем-нибудь поочередно; оружие можно достать у Рюрика.

Вот это и значит быть знаменитым путешественником.

В эту ночь Курымушка уснул очень поздно, все рисовал

берега Азии, обводил лазурью моря Индии и Китая, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться, и тогда все это будет ясно, как в обыкновенной жизни, только для этого поделиться с кем-нибудь планом надо непременно. И он решил встать и пойти в гимназию как можно пораньше, там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. С этим он уснул поздно ночью, и виделась ему одна из золотых березок, такая же, как в кладбищенской роще, но только действительно золотая, и чудесно звенит она своими нежными тонкими лепесточками.

«Не сон ли это?» — думает он во сне и берет за пазуху несколько золотых листиков.

— Auf, auf! Пора в гимназию идти! — услышал он над собой голос доброй Вильгельмины. — Hallo, hallo! — Исхватился за пазуху, стал искать там золотые листики, посмотрел на простыню, под подушкой — нигде ничего не было.

— Что ты ищешь, милый мой? — спросила хозяйка.

— Ах, это было во сне, — догадался он.

И потом со страхом подумал, не во сне ли была ему и та удивительная страна без имени и территории.

— Nun, nun, и карту нарисовал. Вот это мастер. Wunderschön! — сказала немка, и Курымушка очень обрадовался: неизвестная страна не была сновидением. Одно было плохо, что проспал. Он попал в гимназию, когда уже пели «...сокровище благих и жизни подателю», невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мелькнул ему другой план: взять и вызваться на уроке географии, а потом вместо Америки показать карту Азии, рассказать путь туда, и если Козел одобрит — значит, верно, а после, на большой перемене, можно и с Рюриком подраться, и в карцер попасть. Для первой пробы он показал свою карту в классе, там сразу все задивились и, когда Козел пришел, стали ему показывать: им хотелось оттянуть время и заговорить его.

— Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? — спросил очень удивленный картой учитель.

— Америка открыта, — ответил Курымушка, — а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

— Нет, в Азии все открыто, — сказал Козел, — но там много забыто, и это надо вновь открывать.

Тогда Курымушка про себя стал вспоминать, когда это

он видал сон про забытые страны, и так это его обрадовало, что исполняется наяву.

— Нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии? — робко спросил Курымушка.

— Можно, только почему же именно с Малой Азии?

— Потому что туда легче всего проехать по реке быстрой Сосне в тихий Дон, в Черное море, и там прямо и будет Малая Азия.

— Отлично. можно начать с Палестины и, как делали рыцари, поклониться сначала там гробу господню.

Козел увлекся, забылся и стал рассказывать о тайнах Азии, что там находится колыбель человеческого рода, исторические ворота, через которые проходили все народы. Неузнаваем был Козел, и так выходило из его рассказов, что гроб господень и есть как бы могила человечества, а колыбель его где-то в глубине Азии, что все это забыто и нужно все вновь открывать.

— Вот вам пример, — сказал он в похвалу Курымушке, — как нужно учить географию. Вы занимайтесь, как он, вообразите себе, будто путешествуете, вам все ново вокруг в неизвестной стране, вы открываете, и будет всегда интересно.

«А почему бы и не поехать?» — чуть-чуть не сорвалось с языка у Курымушки, едва-едва он успел удержаться и прикусил язык.

— Садись, — сказал Козел, — я тебе еще пятерку поставлю, очень уж ты хорошо занимаешься.

— Ну, и счастливцев, — приветствовал его на задней скамейке Ахилл.

Не знал только Ахилл, чем был счастлив Курымушка, так был счастлив, что больно становилось, и так непременно нужно было, чтобы и Ахилл был счастлив.

— Почему ты не хочешь быть счастливым? — спросил он.

— Не могу.

— Почему ты не можешь? Откройся мне, милый Саша, скажи, ну...

— Ну, я скажу: она меня не любит.

— Вера Соколова?

— Она!

— Ну, вот что я тебе посоветую, если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну. Поедем с тобою в Азию открывать забытые страны.

— Я бы поехал. Но как же уедешь?

— А вот подумаем.

На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в карцер.

Счастливо все шло необыкновенно; было так удивительно Курымушке, что Рюрик и Ахилл сразу все поняли. Как только он сказал про экспедицию в Азию через Иерусалим в забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:

— Это можно.

Ахилл еще короче:

— Ну, что ж.

Курымушка даже опешил и спросил:

— А как же оружие, лодка, съестные припасы?

— Оружие, — ответил Рюрик, — у меня есть на всех троих: три ружья, три сабли, три револьвера, у отца я стащу золотые часы, — на это дело не грех и стащить, — сегодня же я их продам, куплю лодку, припасы.

— Только надо делать как можно скорее, — сказал Курымушка, — чтоб успеть до замерзания рек пробраться в южные теплые моря.

— Завтра поедem! — сказал Ахилл.

Рюрик остановил:

— Не успеем завтра. Послезавтра.

— Я напишу прощальные стихи, — сказал Ахилл.

— Я составляю подробный план путешествия, — вызвался Курымушка.

— Тогда за работу немедленно, — распорядился Рюрик. — Ты, Алпатов, черти план, ты, Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой, послезавтра едем.

КУМ

Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святое святых, где я сам с собой и, значит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей

судьбы. Это сразу почувствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые страны. Начались заботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души повторяющий: «Не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает».

Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково, как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов, — чем не путешественник в забытые страны? Он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев, деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбовал себе в полях и лесах все цветки и хворостинки, ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему путешествие, и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой, он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать четыре часа, чтобы о них не тревожились. Стоило бы Сереже сказать: «Я с вами», — и он тоже бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы. В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный, на бочках лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдвигали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята на лодке.

— В деревню на мельницу.

— Кто же у вас там на мельнице?

— Тетушка Арина Родионовна.

— Не слыхал. Есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слыхал.

— Мало ли ты чего не слыхал, отстань, не до тебя!

Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любитесь далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую гладь воды, как Сережа тоже поднялся

сюда, на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.

Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец, увидев одну, похожую на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию. За ним вплотную сзади шел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии, и только Синий за ним туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:

— Иван Парамонов!

Первый Синий обернулся.

— Бежи скорей, свиней резать начали.

Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где начали резать свиней.

Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знаменитый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимназисты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в коем случае не применять оружия.

Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:

— Едрёна муха!

И, не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и покатил. За ним покатила телега с полицейскими.

— В Азию поехали! — сказали гимназисты.

От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию.

— Как бы не вернули в гимназию?

— Ну, уж, брат, нет, — вспыхнул какой-то горячий гимназист, — теперь уж их не догонят.

Мало того гимназисты — синие прасолы сошлись опять, обсуждали дело серьезно.

— Конечно, — говорил один, — Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.

— Опять, у них вода, — говорил другой, — река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно погонять и погонять.

Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.

Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой пишут и мечтают на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном, через теплые моря, на берега Малой Азии. Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками на воде, выставляя на своем берегу сторожей.

Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных пород, еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой воды.

Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, исполненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воздухе не просто кричат, а, так же как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет бывал на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить, скажет: «Лебеды!» — и Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что это значит; скажет: «Гуси!» — и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусяного полета. Какие-то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая, штук сорок зараз, как стая стрел просвистят; подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки, выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть не подкрасться, — где тут подкрасться в открытом, безлесном поле, — а просто посмотреть, как без

людей хозяевами в полях ходят на длинных ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера; столбом взвилась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе с цаплями, не понравилось вместе, и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в степь. Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не подал, туго прижал ложе к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул вовремя: «Мушку, мушку!» Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоединили к мясному запасу в корме. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как все говорят, а вестник прекрасного мира, и что этот мир существует.

Под вечер странно стали смыкаться впереди берега, кажется кончилась река, вот-вот лодка в берег уткнется, а смотришь — опять берега широко расступаются, проехали, и опять смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку: тростники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка стоит и вокруг все идет и ее окружает.

В темноте ночью, еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы и часто шлепались в воду на отдых. Дикие гуси возле самой лодки иногда спускались всем кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было все это слушать, притаив дыхание, в надежде, что глаз каким-нибудь чудом в темноте рассмотрит и можно будет пальнуть из ружья.

Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было погам в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили его на дно лодки, легли, но сырость и холод мешали. Если бы на берегу костер развести! Но условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться, — это нельзя. И что это: сон, бред или явь? Слышно Курымушке самому себя, как сопит и как зубы вдруг будто сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все

время без перерыва где-то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и, — что делает этот полусон! — понятен бывает их разговор. Одна говорит: «Пересядь сюда, нам будет потеплее», — другая: «Убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!..» И так у них всю ночь: то кто-нибудь недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют, и сразу все заорут так, что и мертвый проснется. Много разных снов ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидел себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой наволочке; вот это настоящее было видение и открытие, — никогда в жизни ему не казалось, что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все, все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.

Ужасный утиный крик перебил его сон. Он проснулся, понял, где он, но подушка так и осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шепот Ахилла:

— Отпустите меня!

«Куда?» — хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов, челюсть о челюсть.

— И у тебя зубы трещат, — сказал Ахилл. — Ты их рукой придерживай, как я.

Курымушка попробовал, и, правда, вышли слова:

— Куда тебя отпустить?

— Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.

— Куда ты дойдешь?

— Домой.

— До-мой! Ах, ты...

Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уже и в Азию приехал.

— Баба, баба! — повторил он со злостью.

— От бабы бежал и к бабе тянет его, — сказал Рюрик.

— Ну, не буду, ребятушки, не буду, — спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал зубами, будто фунтами орехи посыпались.

— Ишь сыпет, ишь сыпет! — засмеялись товарищи.

А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только напрасно, — чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась: небольшая подушка, такая же чудесная, как на подушке чудесной

снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? — спросил Рюрик.

— Не знаю, а что-то случилось, и по всему берегу одно и то же.

— Это значит — скоро рассвет.

— А как будто еще темнее стало: звезд не видно.

— Всегда перед самым рассветом темнеет, и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.

Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар, и потом, когда солнце взошло, как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя, и как вкусен был чай с колбасой, и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое поднималось и летело на юг, в теплый край.

— Гуси, гуси летят!

— А там смотри, что там?

— Тоже гуси.

— А там?

— И там гуси.

— Ложись на землю, готовь ружье, криквы летят.

— Стреляй!

Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.

— А ты, дурак, хотел к бабам идти!

— Дурак я, дурак!

На охоте всегда так: нужно одну только удачу вначале, и потом пойдет на весь день, будто каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь прошла у костра в тепле, на сухом тростнике. И еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня путешественники услышали далеко на берегу колокольчики.

— Не становой ли нас догоняет? — спросил Курышка.

— Очень просто, — ответил Рюрик. — Вот сейчас я это узнаю, он нам кум. Кроме шуток, с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.

Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.

— Ну что, видно?

— Видно, едет шарабан.

- Становой?
- Не знаю, не разберу.
- Скорее же разбирай. Ну?
- Разобрал: становой!

И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.

- Скорей же слезай!
- Подожди: за ним в телеге два полицейских.
- Слезай же, слезай! Это за нами!

Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.

Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.

— Он нас не поймает, — сказал Курымушка, весь просияв, — слушайте только меня. Вытаскивай живо лодку на берег.

- Как вытаскивать, что ты? Удирать надо.
- Вы-тас-ки-вай!

Послушались, вытащили на берег лодку.

- Перевертывай вверх дном.

Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станowego. Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня, и лодка плотно закрыла путешественников.

Колокольчики все приближались. Вот если бы мимо промчался! Но нет, — колокольчики затихли, и голос послышался:

— Едрёна муха! Зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю.

Подъехали полицейские.

— Это их лодка! — сказал становой. — Только где же они сами?

— В деревне, ваше благородие, — сказал полицейский, — они там, наверно, заночевали, отдыхают, как-никак, а ночки зябкие.

— Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня к дереву, Кузька, подай сюда из шарабана кулек.

Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно и подумал, удивился: «Ночью дождя не было, а лодка мокрая».

- Вот едрёна муха! — сказал он.

Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды и уходят под лодку...

И запел почему-то:

Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил...

Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:

Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове.

— Молодцы,— сказал он вслух,— взяли себе да и поохотились, самое время: осень, перелет. Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.

— Слышишь? — шепнул Рюрик Курымушке. — Надо бы сдаваться.

— Да, надо бы,— шепнул и Ахилл.

В ответ Курымушка ткнул в нос сначала одному, потом другому.

— Вот как поймаю,— продолжал становой,— прежде всего им водочки, ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти — конокрады.

Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.

С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его товарищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию? Нет, если они сдадутся, он один убежит, но так не вернется.

А полицейские катили обратно.

— Вы, умные люди,— сказал становой,— хорошо сделали.

— Точно так,— ответили полицейские.

— И порядочные дураки.

— Точно так, ваше благородие.

— Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там, на траве, костер разведите, чайник согрейте. Так! Живо! Теперь нужно гостей звать.

— Слушаем.

— Куда же вы пойдете?

— Не можем знать, ваше благородие.

— Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.

— Слушаем! — сказали полицейские и, взяв лодку за край, повернули на бок.

— Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйста, гости дорогие.

— А! и кум тут! Ну, давай поцелуемся.

Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье, отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.

Ахилл как ослабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.

Не обращая внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и Ахилла и, увидев четырех убитых крикв, так и ахнул:

— Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.

И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей золой, костер над ними развели.

— А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка — едрёна муха, скажу я вам... Ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под ветчину, а потом и под утки начнем.

Выпили еще по стакану.

— Меня самого из шестого класса выгнали. Эх, было время! Вот было время! «Gaudeamus» знаете?

— Ну, как же!

И запели:

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus¹.

А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым выстрелом он думал убить станowego, вторым — полицейского, затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путешествие.

Так он думал вначале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали; они, пожалуй, пойдут за Кумом. Знал ли Кум его мысли? Верно, знал: он лежал на полушубке брюхом вниз, пел «Gaudeamus», а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал, потом вдруг крикнул Курымушке:

— Не зевай, не зевай!

А у воды совсем низко, будто катились, летели два чирка и прямо на Курымушку.

¹ Начальные строки студенческой песни «Гаудеамус»: «Будем радоваться, пока мы молоды» (лат.).

— Не зевай! — крикнул Кум. — Так-так-так-вот-вот-вот... стреляй!..

Курымушка выстрелил раз — промахнулся, два — чирок свалился в воду у самого берега. Сразу бросились и Курымушка, и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум дотянулся и, подавая ему утку, сказал:

— Молодец, азиат!

Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя: «Молодец, азиат», — усадил его возле костра на полушубок.

— Ну, ребята, — сказал он, — кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист, да из шестого класса.

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus.

Все выпили, Курымушка тоже первый раз хватил, и прямо целый стакан.

— Молодец, азиат! — похвалил становой.

Тогда мало-помалу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой наволочке; еще он сопротивлялся, отталкивал ее, а она все наседала, наседала.

— Нет, нет! — крикнул он.

— Добирай, добирай! — кричал Рюрик. — Мы без тебя сколько выпили, добирай!

Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая, сама легла ему под голову.

Хор пел:

Наша жизнь коротка, —
Все уносит с собой,
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой...

Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:

— Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?

— Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем — и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись.

ЛОБАН

Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судьбы, что та же волна еще придет, тогда совсем бы иначе с ней расставался,

а в том и беда: кажется, навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения; им хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является, как неповторимое. Долго не мог взять себе в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили и твердили: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей, то ведь от этого не исчезают забытые страны, — их можно открывать иначе. В чем же тут дело? «Уж не дурак ли я?» — подумал он. И стал эту мысль носить в себе как болезнь. Пробовал победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутная была догадка в душе, что если бы что-то не мешало, то мог бы учиться, как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит-не спит и ему просто видится решение отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:

— Алпатов вызывается!

— Ну, выходи, — сказал Коровья Смерть, — опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это тебе не Азия!

Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.

— Как же это так ты? — изумился учитель. — Откуда ты взял это решение?

— Из головы, — ответил Курымушка очень конфузливо, — мне так показалось. Это неверно?

— Вполне верно. Только ведь как же ты мог?

И, к великому изумлению всего класса, сразу после единицы поставил три, и не простое, а, как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить уроки, но так всего было много, что от силы было все выучивать только на три. Как учатся иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем и год за годом: глубоко где-то в душе как засыпанная пеплом страна лежала, дремала, и вот, — когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже, когда почти все

ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса, — будто из-под пепла вулкан вырвался, и опять пошло все кувырком.

Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила: он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие постоянно говорило, что все оборвется каким-то ужасным образом. На первых учеников он не смотрел с завистью, — они просто учились, и больше ничего, — но настоящие умные были в старших классах, и многим им он очень завидовал. Эти умные держались как-то совершенно уверенно, им было наплевать на гимназию, и в то же время они знали, что кончат ее и непременно будут студентами; это были настоящие умные — таких в его классе не было ни одного. Против его четвертого класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины, и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет, и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил:

— Тебе что, Купидоша?

Каким-то Купидошей назвал.

Робко сказал Курымушка, что хотелось бы ему тоже видеть машины.

Несговоров ему кое-что показал.

— Перейдешь в пятый класс, — сказал он, — там будет физика, все и узнаешь.

— А сейчас разве я не пойму?

— Отчего же. Вот тебе физика, попробуй.

Дома Курымушка нашел в книге одно интересное место про электрический звонок, стал читать, рисовать звонки, катушки. На другой день случилось ему на базаре увидеть поломанный звонок, стал копить деньги от завтраков, купил, разобрал, сложил, достал углей, цинку, банку и раз — какое счастье это было! — соединил проволоками, звонок задергался; подвинтил — затрещал, еще подвинтил, подогнул ударник — он и зазвенел. Через два месяца у него была уже своя электрическая машина, сделанная из бутылок, была спираль Румкорфа: в физическом кабинете Несговоров показал ему все машины, и при опытах он там постоянно присутствовал. Как-то раз он сидел у вешалок с одним восьмиклассником и объяснял большому устройству динамомашин. Несговоров подошел и сказал:

— Вот Купидоша у себя в классе из последних, а нас учит физике. Почему это так?

— Да разве нас учат? — вздохнул ученик и запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно...

Несговоров тоже запел какую-то очень красивую французскую песенку.

Когда ябедник Заяц показался в конце коридора, Несговоров перестал петь.

— Спой, пожалуйста, еще, — попросил Курымушка, — мне это очень нравится.

— Нельзя, Заяц идет: это песня запрещенная.

Так и сказал: за-пре-щен-на-я. С этого и началось. Запрещенная песенка навела на мысль Курымушку взять как-нибудь и открыться во всем Несговорову. Но как это сделать? Он понимал, что открываться нужно по частям, вот как с физикой: захотелось открыться в интересе к машинам, сказал, его поняли, а что теперь хотелось Курымушке, то было совсем другое: сразу во всем чтобы его поняли и он бы сразу все понял и стал, как все умные. Ему казалось, что есть какая-то большая тайна, известная только учителям, ее они хранят от всех и служат вроде как бы богу. А то почему бы они, такие уродливые, держали все в своих руках и их слушались и даже боялись умные восьмиклассники? Просто понять, — они служили богу, но около этого у восьмиклассников и было как раз то, отчего они и умные: им известно что-то *запрещенное*, и вот это понять — сразу станешь и умным. Каждый день с немым вопросом смотрел Курымушка во время большой перемены на Несговорова, и вопрос его вот-вот был готов сорваться, но, почти что разинув рот для вопроса, он густо краснел и отходил. Мучительно думалось каждый день и каждую ночь, как спросить, чтобы Несговоров понял.

— Чего ты смотришь на меня так странно, Купидоша? — спросил однажды Несговоров. — Не нужно ли тебе чего-нибудь от меня? Я с удовольствием.

Тогда желанный вопрос вдруг нашелся в самой простой форме.

Купидоша сказал:

— Я бы желал прочесть такую книгу, чтобы мне открылись все тайны.

— Какие такие тайны?

— Всякие-развсякие, что от нас скрывают учителя.

— У них тайн никаких нет.

— Нет? А бог! Ведь они богу служат?

— Как богу?

— Ну, а из-за чего же они и мы переносим такую ужасную скуку, и родители наши расходуются на нас; для чего-нибудь все это делается?

— Вот что, брат,— сказал Несговоров,— физику ты вот сразу понял, попробуй-ка ты одолеть Бокля, возьми-ка почитай, я тебе завтра принесу, только никому не показывай, и это у нас считается запрещенной книгой.

— За-пре-щен-ной!

— Ну, да что тут такого... тебе это уже надо знать: существует целая подпольная жизнь.

— Под-поль-на-я!

По этой своей врожденной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир Курымушка вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, наподобие крыс и мышей, страшную, таинственную жизнь, и как раз это именно было то, чего просила его душа.

— Та песенка,— спросил он,— тоже подпольная?

— Какая?

— Мотив ее такой: там-та-та-а-та...

— Тише! Это «Марсельеза». Конечно, подпольная...

— Вот бы мне слова...

— Хорошо, завтра я тебе напишу «Марсельезу» и принесу вместе с Боклем. Только смотри, начинаешь заниматься подпольной жизнью — нужна конспирация.

— Кон-спи-ра-ция!

— Это значит держать язык за зубами, запрещенные книги, листки — все прятать так, чтобы и мышь не знала о них. Понял?

— Понял очень хорошо, я всегда был такой...

— Конспиративный? Очень хорошо, да я это и знаю: не шутка начать экспедицию в Азию в десять лет.

— Еще я спрошу тебя об одном,— сказал Курымушка,— почему ты называешь меня Купидошей?

— Купидошей почему? — улыбнулся Несговоров. — У тебя волосы кольцами, даже противно смотреть, будто ты их завиваешь, как на картинке, и весь ты скорее танцор какой-то, тебе бы за барышнями ухаживать.

Курымушка посмотрел на Несговорова, и до того ему показались в эту минуту красивыми его живые, умные, всегда смеющиеся глаза и над ними лоб высокий, с какими-то шишками, рубцами, волосы, торчащие мочалкой во все стороны, заплатанные штаны с бахромой внизу и подметки,

привязанные веревками к башмакам,— все, все было очаровательно. Всех учеников за малейшую неисправность костюма одергивали, даже в карцер сажали, а Несговорову попробовал раз директор сделать о подметках замечание...

— Уважаемый господин директор,— сказал Несговоров,— вам известно, что на моих руках семья, и у сестер и братьев подметки крепкие; вот когда у них будет плохо, а у меня хорошо, то очень прошу вас сделать мне замечание.

— Вам бы надо хлопотать о стипендии,— робко заметил директор.

— Обойдусь уроками,— ответил Несговоров.— К Пасхе у меня будут новые подметки, даю вам слово!

Как это понравилось тогда Курымушке!

— Знаешь,— сказал он теперь,— я сегодня же остригу волосы свои под машинку, с этого начну.

— И очень хорошо; у тебя есть серьезные запросы.

Не так запрещенная книга и «Марсельеза», а вот совершенно новый мир, открытый этим разговором,— ведь только звонок на урок оборвал разговор, а то бы можно и все узнать у Несговорова, всю подпольную и нелегальную жизнь — вплоть до бога,— вот это открылось, вот чем был счастлив Курымушка.

«Начать, значит, с того,— думал он на уроке,— чтобы наголо остричься, это — первое; во-вторых, хорошо бы дать теперь же зарок на всю жизнь не пить вина...» Правда, вина он и так не пил, но хотелось до смерти в чем-нибудь обещаться и не делать всю жизнь. «Вот и вино — если обещаться не пить, то уж надо не пить ни капельки; а как же во время причастия пьют вино... правда, это кровь, но потом за-пи-ва-ют вином... Как это? Надо завтра спросить Несговорова, он все знает, и все теперь можно спросить».

Быстро проходил урок географии, ни одного слова не слышал Курымушка из объяснений Козла, и вдруг тот его вызвал.

— Чего ты сегодня смотришь таким именинником? — спросил Козел.

Но что можно снести от Несговорова, то нельзя было принять от Козла: «смотреть именинником» было похоже на «Купидошу».

— А вам-то какое дело? — сказал он Козлу.

— Мне до вас до всех дело,— ответил Козел,— я учитель.

— Учитель, ну так и спрашивайте дело. Зачем вам мои именины?

— Хорошо. Повтори, что я сейчас объяснил.

Курымушка ничего не мог повторить, но очень небрежно, вызываясь сложил крестиком ноги и обе руки держал фертм, пропустив концы пальцев через ремень.

Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

— Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!

То же сказал Несговоров — и ничего было, а Козел сказал, так всего передернуло, чуть-чуть не сорвалось с языка: «Козел!» — но, сначала вспыхнув, он удержался и потом побледнел; наконец и с этим справился и сделал губами совершенно такую же улыбку, как это делал Коровья Смерть, когда хотел выразить ученику свое величайшее презрение словами «есть мать?» и потом — «несчастливая мать!».

— Где ты научился такие противные рожи строить?

— В гимназии.

— Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет.

С каким счастьем когда-то Курымушка от того же Козла услышал, что из него что-то выйдет, а теперь ему было все равно: он уже почти знал о себе, уже начало что-то выходить, и уже не Козлу об этом судить.

Пока так он препирался у доски с учителем, на парту его Коля Соколов, брат известной всей гимназии Веры Соколовой, положил записку. Письмецо было очень коротенькое, с одним только вопросом: «Алпатов, согласны ли вы со мной познакомиться? Вера Соколова». Получить бы такое письмецо вчера — какие бы мечты загорелись! Ведь почти у каждого есть такая мечта — выше этого некуда идти, — как познакомиться с Верой Соколовой, да еще по ее выбору! С каким бы трепетом вчера он написал, что согласен, и просил бы назначить свидание. Но сегодня против этого, совсем даже поперек, лежало решение остричь наголо волосы и всю жизнь не пить вина; выходило — или то, или другое, а остричься и познакомиться с Верой Соколовой было невозможно. «Может быть, не стричься?» — подумал он и ясно представил, будто он с Верой Соколовой катается на катке под руку и шепчет ей что-то смешное, она закрывается муфтой от смеха и... «Нет, — говорит, — нет, не могу, я упаду от смеха, сядемте на лавочку». Садятся на лавочку под деревом, а лед зимний, прозрачный колыхается, тает, и волны теплые несут

лодочку. Кто-то загадывает ему загадку: плывет лодочка, в ней три пассажира, кого оставить на берегу, кого выбросить, а кого взять с собой. «Веру Соколову беру!» — отвечает он и плывет с ней вдвоем, а навстречу плывет Несговоров с Боклем в руке, поет «Марсельезу», посмотрел на Курымушку, ничего не сказал, ничего не показал на лице и все скрыл, но все понял Курымушка, как в душе больно стало этому прекрасному человеку.

Звонок последнего урока вывел Курымушку из колебания, он твердым почерком написал поперек письма, как резолюцию: «Не согласен», — передал письмо Коле Соколову и пошел из гимназии прямо в парикмахерскую.

— Nun, nun... wa-as ist's, o du, lieber Gott! ¹ — встретила его добрая Вильгельмина. — Такие были прекрасные русые волосы, и вот вдруг упал с лестницы: von der Treppe gefallen!

Курымушка посмотрел на себя в зеркало и с радостью увидел, что лоб у него такой же громадный, как у Несговорова, и тоже есть выступы и рубцы.

А прислуга Дуняша как увидела безволосого, так и руками всплеснула:

— Лобан и лобан!

ПОДПОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Бывало. бросишь камень в тихое озеро — он на дно, а круги идут далеко, глазом не увидишь, и только по догадке знаешь, что катиться им по всей воде до конца. Брошена была когда-то и где-то одна мысль, как камень в воду, и пошли круги по всему человечеству и докатились до нашего мальчика. Мысль эта была: законы природы.

То был закон божий, а то просто закон. В том законе нужно было только слушаться, в этом — узнавать, и когда узнал и стал жить по закону, то слушаться больше никого не нужно: это знание и дело.

День и ночь мальчик Бокля читает, много совсем ему непонятного было вначале, но когда ключ был найден — этот новый закон, то очень интересно было перечитывать и все подводить под него.

В том законе, которому учат в гимназии, есть какое-то «вдруг!», все учителя очень любят это слово: «и вдруг!» или... «а вдруг!», бывает даже: «вдруг — вдруг!». Каждый

¹ Что же это, боже мой! (нем.)

из учеников ходит в класс и учится, как машина, от часу до часу, но всегда ожидает над собой, или под собой, или возле себя это «...вдруг!». Надзиратель Заяц постоянно под страхом... «и вдруг!» оглядывается, прислушивается, лукавится. Козел, самый умный, и то, бывает, ни с того ни с сего мелко-мелко перекрестится, и Алпатов узнает в этих крестиках свое детское в саду, в полях, когда, бывало, идет по дорожке, и *вдруг* начинает из кустов такое показываться, чего отродясь не видал.

А если по новому закону жить, то никаких «вдруг» быть не может, всему есть причины. Так он, читая и думая, думая, потом добрался и к богу, что он есть тоже причина, но вспомнил о причастии, когда священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», — вот тут-то и может быть больше всего это «вдруг», об этом страшно и думать, и кажется, сюда не подходит новый закон.

Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец, восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они каждый день без умолку разговаривают.

— Последнее — это атом, — говорит Несговоров.

— Но кто же двинул последний атом? бог?

— Причина.

— Какая?

— Икс. А бог зачем тебе?

— Но ведь богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гимназическая пытка?

— В бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.

— Тогда все обман?

— Еще бы!

— Я сам это подозревал. Но неужели и Козел не верит?

— Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он — мечтатель.

— Что значит мечтатель?

— А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: «Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии».

— Но ведь это гадко, — почему же ты говоришь, что он умный?

— Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

— А умный, по-моему, — это и честный.

— Еще бы.

После этого разговора стало очень страшно; про это свое, что ему страшно, Алпатов ничего не сказал Несговорову, — как про это скажешь? Этот страх еще хуже, чем в лесу бывало: там догадываешься, а тут известно, что это старшие сговорились между собой и обманывают всех. Как тут жить среди обмана?

Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:

— Смотри!

— Нет, ты смотри!

— Господь тебя покарает!

— А из тебя на том свете черт пирог испечет.

Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, — значит, их всех обманывают?

«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» — спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..

«Козел виноват!» — сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.

«Что же делать? как быть дальше?» — спросил он себя, входя к себе.

— О мой милый мальчик, — сказала ему добрая Вильгельмина, — зачем, зачем ты остригся? Ты стал теперь такой умный.

— Чем же это плохо быть умным?

— Всею свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцевать, а ты по ночам книжки читаешь.

И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал... и что теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина.

А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-

нибудь, но делать сейчас же, немедленно... Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» — подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.

— Милый мой мальчик, — говорила она, — отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся?

Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, — вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.

— Можно. — сказал Калакутский, — только тебе первый раз надо выпить для храбрости.

— Ну, что же, давай напьемся.

— Приходи ко мне в сумерки.

Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего, — борол он свой страх, — когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.

Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.

— Ну, пойдем?

— Куда пойдем? — спросил Калакутский.

Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.

— А! — вспомнил он вдруг. — Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.

— И не пойдем?

— Нет, отчего же, пойдем, — там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, — они нас, мальчиков, очень любят. только надо теперь же идти, до их гостей. и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?

— Нет, я думал — нам это нельзя.

— Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?

— Да так, вижу. нет ничего — и вздумал.

— Как нет ничего?

— Учителя — обманщики. сами не верят, а нас учат.

— Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает. хохочет. Он страшный трус и тоже нашим путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал — они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.

«Вся надежда на водку!» — холодея от страха, думал Алпатов.

Шли сначала по улице. Алпатов спросил:

— А Козел тоже ходит?

— Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

— Как же это?

Калакутский расхохотался.

— Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.

— Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, — сказал Калакутский.

Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.

— Скоро весна, — сказал Калакутский, — коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и — в подворотню...

Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.

— Запомни теперь для другого раза, — шепотом учил Калакутский, — этот заячий путь — нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?

— Нет, не боюсь!

— Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.

В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погрел, шепнул:

— Отвори, Анюта!

— Это ты, Калакуша?

Она только проснулась, сидела на неубранной кровати в одной рубашке. Алпатову ничего не показалось в ней особенного: просто раздетая женщина и — ничего таинственного, как представлялось.

— Вот этот мальчик, — сказал Калакутский, — его надо просветить.

— Веди к Насте, она их страсть любит.

Пошли дальше по коридору. «Если так, — думал Алпатов, — то не очень и страшно». Но Настя оказалась большая фарфоровая баба с яркими пятнами на щеках.

— Поручаю тебе обработать этого кавалера, — сказал Калакутский.

И толкнул Алпатова в ее комнату.

— Раздевайтесь, — очень ласково сказала Фарфоровая. — Пива желаете?

— Водки, — ответил Алпатов.

Она вышла.

Тогда стала ему Фарфоровая, как на первых уроках в гимназии Коровья Смерть: страшно и слабо в себе. «Не убежать ли теперь?» — подумал он, но вспомнил, что еще будет водка и после нее все переменится. Тоже был страшный становой, а потом стал милым Кумом.

Она принесла графин с двумя рюмками, на блюдечке было нарезано мясо: закуска.

— Миленочек, ах, какой ты хорошенький! Пил ли ты водку когда-нибудь?

— Пил! — И налил две рюмки. — За ваше здоровье!

Чокнулся и выпил.

И вот странно — обжег себе рот, водка настоящая, а никакой перемены от нее не было.

Налил еще, выпил и — опять ничего, и еще налил и — опять ничего, и еще...

— Миленочек, ты очень уж скоро, так ты совсем опьянеешь.

— Водка на меня не действует,— ответил Алпатов,— мне надо много выпить.

— Вот ты какой!

Она села в кресло, притащила его к себе на колени, обняла.

— Ах, какой ты хорошенький, миленочек, знаешь, я тебе сделаю подарок — вот.

И дала ему небольшой перочинный перламутровый ножик.

— Подождите,— освободился Алпатов,— я сейчас на двор схожу, мне нужно.

Шинель надел, а пояс забыл. Выпитая водка стала действовать, только в другую сторону,— видно, напрасно грешат на этот хлебный напиток. Или, может быть, невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами. Водка действовала, но в другую сторону: бежать, бежать.

Он спрятался в тени ворот, собираясь перелезть в подворотню, но вдруг ему почудилось, что на той стороне есть кто-то.

«Не Заяц ли это лезет?»

Вылез кот и шарахнулся. другой кот бросился на первого, и оба с ужасным криком понеслись на крышу. Две старушки у других ворот разговаривали между собой.

Первая старушка сказала:

— Пост пополам хряпнул!

Вторая ответила:

— Коты на крыши полезли.

Первая сделала вывод:

— Значит, месяц остался до полной воды.

«Ведь вот как они странно выводят,— подумал Алпатов,— у них причины выходят совсем не так, как у Бокля».

Коты, сцепившись в клубок, лягнулись с крыши прямо ему под ноги и бросились в подворотню. За котом бросился в подворотню Алпатов — и на забор, по кустам до другого забора, по улице.

Добрая Вильгельмина ничего не заметила в дверях, и он прямо пошел в постель, но водка теперь только и начала свое действие; всю ночь ему чудится, будто Заяц его преследует, он в подворотню, и Заяц за ним; по пустырям,

по заборам, по крышам мчатся они всю ночь, только где-то у собора ему удалось наконец обмануть Зайца: с высокой горы он катился вниз кубарем, и там у реки опрокинутая лодка, под эту лодку нырнул он, а там... что там он увидел! Там сидел Козел и уединенно сам с собой занимался.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина.

С ужасной головной болью он встал и вышел к чаю.

— O mein liebes Kind ¹, — воскликнула добрая Вильгельмина, — ты совсем больной, не нужно ходить в гимназию!

Но Алпатов пошел, у него было какое-то смутное решение начать свою жизнь совсем по-другому. Первый урок был как раз география. Вошел Козел, сел, заложил ногу за ногу и задрожал, заходила кафедра, затряслась половица и через половицу — и парта. Алпатов стал испытывать точь-в-точь такое же невыносимо противное, как от фарфоровой дамы. Своими зелеными глазами учитель стал перекидываться от лица к лицу. Алпатов упорно смотрел, и когда встретил, то видел, как они зло вспыхнули и остановились, как две кометы — злейшие на всем небе светила. Алпатов опять скривил губы, как Коровья Смерть, и от этого Козлу стало, будто он яд принял.

— Ты опять рожи строишь? — сказал он.

— А вы опять дрожите, — ответил Алпатов. — Мне это неприятно.

Класс притих, как перед грозой.

Козел перестал дрожать ногой и даже как будто сконфузился, стал шарить глазами в журнале, слепо вызвал кого-то. Только Алпатову нельзя было так оставаться, было начертано совсем не тут, что идти ему в это утро, идти до конца: далеко где-то в других временах и в других странах камень упал, и пошли круги по человечеству и сегодня докатились до этого мальчика. Он поднял руку.

— Что тебе надо?

— Позвольте выйти.

— Не успели начать урок и уже выйти. Что с тобой?

Сердце у него стучало. Он вспомнил, что Вильгельмина, принимая бром, жаловалась на сердцебиение, и сказал:

— У меня биение сердца.

— Ну, что же, — ответил Козел, — сердце у всех бьется.

В классе засмеялись. Победа была за Козлом. Алпатов сел на свое место.

¹ О мое дорогое дитя (нем.).

Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

— Тебе что?

— Пост пополам хряпнул.

— Ну, так что?

— Коты на крыши полезли.

— Что ты хочешь сказать?

— Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

— Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя вон выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

— Вон вы опять дрожите, невозможно сидеть.

— Вон, вон! — кричал в бешенстве учитель.

Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

— Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

— Ты — маленький Каин! — прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

— Козел! Козел! — крикнул ему в спину Алпатов.

Через несколько минут в класс вошел Обезьян; у него было торжественно-мрачное лицо, и он сказал:

— Алпатов, возьми свой ранец, уходи из класса и больше не возвращайся.

Алпатов не надел на спину ранец, как это непременно требуется, а взял его под мышку портфелем, запел:

Allons, enfants de la patrie!

И пошел в коридор мимо директора, не поклонился и все пел:

Contre nous de la tyrannie...¹

¹ О дети родины, вперед!

На нас тиранов рать идет... (фр.)

По пути домой он зашел в лавочку, купил себе черные пуговицы.

— Что случилось? Что так рано? — спросила его добрая Вильгельмина. — Заболел?

— Меня исключили из гимназии, — сказал Алпатов.

— Wa-a-as-s?

Алпатов попросил ножницы, иголку с ниткой и пошел в свою комнату. Там он сел у столика, развернул свою заветную бумажку, положил на стол перед собой. И, отпарывая блестящие серебряные пуговицы, пришивая черные, зашел на весь дом:

Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé... ¹

Верно, из всех хозяек этого города одна добрая Вильгельмина понимала эту песню во всем ее ужасном значении.

— Alles verloren! — шептала она с ужасом. — Armes Kind! ²

А за дверью до самого вечера гремело:

Contre nous de la tyrannie...

ОТ АВТОРА

Так вот теперь мало-помалу определяется, что из моего натурального существа сначала еще в детстве вышло и сложилось стремление уйти куда-то в иную страну, в иное место, где создавалась потом «Ветка Палестины».

И эта первая неудача открыть в себе самом новую страну окончилась позором возвращения в свою конюшню.

Так точно вышло и с побегом в Азию. Все товарищи по классу с каким-то злорадством дразнили меня непрерывно: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Конец же пребывания моего в Елецкой гимназии был не чем иным, как продолжением неудачи побега в небывалое.

Писал я об этой страшной неудаче и с точки зрения натурального человека, и с точки зрения маленького поэта Курымушки, и с точки зрения автора «Кашеевой цепи» начала эпохи Октябрьской революции. Но теперь я чувствую, что мало мог тогда разобраться в себе и понять основы своего благодетельного стыда неудачи.

¹ О дети родины, вперед!
Настал день нашей славы... (фр.)

² Все погибло! Бедное дитя! (нем.)

Особенно сильный позор я переживал, когда, выгнанный из гимназии, сам своей рукой отпарывал блестящие серебряные пуговицы шинели и пришивал на их место обыкновенные черные.

При каждом выходе на улицу, при каждой встрече я чувствовал себя тем неудачником, тем отбросом гимназии, какие потом навсегда оставались в родном городке мелкими чиновниками на почте, в архиве и жили какие-то заскорузлые, покрытые чирьями и бородавками, в своем непомерном послушании темному быту.

Это была коренная неудача. Казалось тогда: сбили тебя в дорожную канаву на основном жизненном пути, а сами всей массой весело дальше идут по хорошей дороге, — с кого спрашивать?

Торчмя головой полетел ты в канаву, и мечта твоя о небывалом обманула тебя, как снежинка растаяла у тебя на ладони, — опять, с кого же спрашивать?

Но так уже устроена душа человека-неудачника, что он ищет виновника своей неудачи.

И так великое множество людей больших и малых выползают из канав своих только для того, чтобы рогом своим кого-нибудь чкнуть.

Вспомнить даже великого Пушкина, как он, будучи смертельно простреленным и при всей своей гениальности, не крикнул врагу: «Уходи!» — и не швырнул к его ногам пистолет.

Нет! Нет! Моя нравственная задача, как теперь я понимаю, была в том, чтобы вытравить из жизни своей самое влияние неудачи, чтобы самая кровь моей жизни текла совсем по иному руслу.

Мало того! Я знаю, теперь мой путь подходит и роднится с тем, за что страдал так сильно и теперь бьется весь родной мой народ, заявляя всему миру, что ему не нужно чужой земли.

В глубине души мне казалось и тогда, что от природы все люди достаточно награждены всякими талантами, что есть на свете у каждого человека в душе возможность творческого усилия, позволяющего выскочить каждому из тупика своей неудачи.

1954



ЗВЕНО ТРЕТЬЕ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

ОТ АВТОРА

Теперь, когда я пишу, поправляя и переделывая мой старый роман в автобиографический, не много осталось людей, кто бы со свежей головой мог бы рассказать о том, что видело старое дерево где-нибудь на большаке под Ельцом.

Вот это-то и дает мне смелость говорить о самом себе, что я хорошо помню слова последнего гуртовщика Алпатова Дмитрия Ивановича, перегонявшего скот из Украины в Москву.

Все я помню хорошо, но только последний гуртовщик, кто мне так чудно рассказывал, тоже умер, я и буду считать, будто он теперь обернулся в старую-престарую лозинку с окошком в стволе. Сквозь это самое окошко я смотрю из настоящего в далекое прошлое и рассказываю.

Так полагалось в то далекое время всем купцам, торгующим скотиной: при перегоне быков, овец, коров, коз из Украины в Москву непременно и самим лично двигаться

вместе со скотом одним шагом из Украины в Москву. Тот старый Алпатов, от кого я это слышал, ездил обыкновенно в плетеной, купленной на Макарьевской ярмарке тележке, и большей частью с кем-нибудь в паре из тех же елецких купцов. Вспоминаю, будто ездил он с Хренниковым. Или нет, кажется, с Ростовцевым, сосланным еще при Петре Первом из Ростова за медный бунт. А может быть, и дедушка мой, Алпатов Дмитрий Иванович, и Хренников, и Ростовцев или тоже и Горшков все в разное время рассказывали подобное, и все потом слилось во мне в общее дело перегона скота из Украины в Москву.

В плетеной корзине тележки сидели хозяева гуртов, и с ними находил себе место петух.

— Зачем петух-то? — спрашивал я дедушку.

— Не брать же с собой золотые часы! — отвечал он.

Выходило так, будто у хорошего купца, богатого, часы могли быть только золотые.

— Почему же, — спрашивал я, — нельзя брать с собой золотых часов?

— Убьют, — отвечал дедушка.

А что из-за часов людей убивают, слышал я много раньше при других случаях и делах купеческой жизни, и удивляться тут нечему.

Царем времени при перегонке гуртов был петух. Сам я никогда не пробовал определяться во времени по петуху, но по голосам диких птиц на охоте хорошо понимаю время и знаю, что по петуху определить во времени тоже не так легко, как оно представляется.

Вот когда закричит петух тем своим степным голосом, то надо непременно слушаться, поднимать стада и надевать козлу на шею звонкий колокольчик. Козел с колокольчиком идет впереди гуртов, и по звуку его колокольчика в строгом порядке идут украинские рогатые степные быки, бараны, коровы и овцы.

Козел у них всех самый умный и показывает им путь.

По крику петуха в полдневный зной снимают с козла колокольчик, стада останавливаются на отдых, и тут-то вот и становится понятным, почему большак делался таким необъятно широким. Конечно, широко стада идут, и много надо земли, чтобы скот не пустился в хлеба, но все-таки можно бы сделать для прогона скота и не такие широкие дороги.

А вот как поглядишь, как ведет себя скот на отдыхе, на полдневном привале, так сразу все и поймешь. Ведь белые

тропинки, пыльные дорожки — только ниточки на зеленом море всего большака; весь большак покрыт сладкой кудрявой травкой, и эта-то травка и держит гурты и не дает им охоты отрываться и терять золотое время на поиски пищи в хлебах.

Да и сами купцы, гуртовщики, в полдень не очень-то далеко отходят от своей тележки. Тут где-нибудь под старой лозинкой в тени на краю большака прикорнут сколько-то, и петух их опять поднимает, и опять звенит на шее умного козла его правильный колокольчик.

Но все это, конечно, только присказка, самое счастье, самый настоящий купеческий рай, о чем потом деды так сладко рассказывают своим внукам, самая соль бывает, когда гурты останавливаются для ночного отдыха, а купцы ставят свой знаменитый в то время «тройной» степной самовар.

Считаю за большое свое счастье, что мне самому не только довелось видеть, но даже в трудное время набега генерала Мамонтова на Елец раздобыть такой самовар и пользоваться им во время набега казаков. Самовар этот был сделан из красной меди ручным способом и разделялся перегородками на три отделения: в одном, соединенном с краном, варился чай, в другом обыкновенно наша елецкая белая просяная каша и в третьем какой-нибудь супишко.

Тут, наверно, где-нибудь под той старой лозинкой, купцы стелили себе коврик, и сама степь во мраке ночи осмеливалась приближаться к самовару, и обнимать, и нянчить людей и стада.

А чего стоит первый свет на утренней заре, и первый крик петуха, и потом опять колокольчик...

И вот где, очень может быть, и таится моя настоящая автобиография: ведь те же самые облака, та же самая мурава и ночные птицы...

Очень может быть!

Только можно сказать и так: та далекая поэзия моих прадедов чуть-чуть коснулась меня, когда по этому самому большаку ездили мы с моей матерью на своих лошадях в тарантасе. Украинский же скот поехал в то время в Москву в товарных вагонах по железной дороге.

Сказать, что большак без гуртов потерял всякий смысл, нельзя. Напротив, в базарные дни и особенно в ярмарку он наполнялся и людьми, и тоже всяким скотом. Глядя на все это непонятное движение, я мало-помалу уставал от него

и переводил глаза на мать, как бы стараясь по ней понять, к чему это все.

Она же все понимала, и это было мне до крайности удивительно, и я думал с завистью: «Вот бы и мне так научиться все бы, все до ниточки понимать на земле!» Не то чтобы она чего-то не знает, нет! Она не может не знать, но она это ей не нужное пропускает. Вот почему-то мама впилась глазами в идущего мужика на обочине...

— Стой, Глеб! — говорит она кучеру.

— Чего? — обертывается Глеб.

— Это не каменщик Стефан там теленка ведет?

— Он, пьянчужка! — отвечает Глеб.

— А теленок-то, кажется, поеный?

— Конечно, поеный, только что от него останется, пока он его доведет до Ельца!

Мать велит Глебу подъехать прямо к Стефану.

— Жена у него Христина? — спросила мать.

— Христинья из Красной Пальны, — отвечает Глеб.

Теперь мать все понимает. Христина поила теленка, а Стефан пришел домой к празднику без нее: может быть, Христина просто к обедне пошла. Всмотрев теленка, Стефан, не долго думая, привязал его на веревочку и потянул в Елец на ярмарку: продать и пропить.

Удивительно было, как мать о всем догадалась по одному только взгляду на теленка, хорошего, поенного чистым молоком, но еще недопоенного. Не просто от жалости к хорошей женщине, доставшейся пьянице, началось все в душе матери: пьяницам она даже немного сочувствовала. Началось в этом случае все у матери, конечно, через теленка: теленок был недопоен и на пути в Елец потеряет весь свой нагул. Ей было жалко теленка, но эта жалость текла к людям: устроить теленка бы, и люди сами устроятся. Так оно и выходило.

Разговор со Стефаном был недолгий: мать понимала цель Стефана и дала ему рубль; больше как на рубль ему и не выпить. А теленка мы усадили в тележку и поехали к Христине в Красную Пальну. Тут всем была радость, и первая, конечно, Христине, потом и Стефану, и сам рубль, отданный каменщику, радовался: он пойдет в задаток за новую ограду.

Так с самого раннего детства дивился я глазам своей матери: мне кажется, не было на большеке ни одного человека, ни одной судьбы даже какого-нибудь животного, чтобы в нее не проникал глаз моей матери.

Только много-много лет спустя я успел все-таки порадовать мать свою первой книгой моей о русской природе, и, может быть, она про себя тихонько даже и поняла, что я в своей книге на природу ее глазами глядел.

Погодите, вот вдруг вспомнилось, к чему я начал рассказывать о своих предках-купцах. Перед этим я рассказывал, как это было тяжело гимназисту спарывать пуговицы с форменной шинели, а самому думать о небывалой, неоткрытой стране, куда меня повлекло.

Мне вдруг пришло сейчас в голову: а что, если и это первое путешествие мое в небывалое и потом все эти годы странствий на русской почве и дальше, далеко за ее пределы, все это небывалое: на белых водах и в золотых горах началось и осталось в душе от предков-купцов, собиравших русскую землю? Что, если это еще идет у меня в душе от Садко, богатого гостя?

Что, если и все мое небывалое, как я привык думать, начало моего собственного и всякого творчества, есть не что иное, как замысел нового путешествия какого-нибудь Ермака или нашего Гуська на «новые места»?

Простите, не так-то легко после стольких лет жизни сразу вернуться к тому времени, когда Алпатов, исключенный из гимназии, поехал к своему дяде в Сибирь.

1954

САМЫЙ ВЫСШИЙ

Трудно было! Помню, тихо между собой беседуют мать, рано поседевшая от неустанной работы на банк, Дунечка, учительница «на легальном положении», верующая в старца Софья Александровна и еще новое лицо — дядя Курымушки, сибирский купец и пароходчик Иван Астахов, горбоносый, с пепельными кудрями, великан и красавец, если бы не темен в лице: не то разбойник, не то старый цыган-конокрад.

Вечереет. В окно смотрит голубая весна. В коридоре кто-то кашляет.

— Кто там? — спрашивает мать.

— Я.

— Кто ты? Гусёк?

— Так точно.

— Ты, наверно, опять пришел землю просить?

— Никак нет, покумекиваю подаваться к новым местам.

— Вали, вали,— сказал Иван Астахов,— голова на плечах, в Сибири все можно.

Сквозь тонкий сон Курымушка узнает голос Астахова и ужасно боится, что он скажет о чем-нибудь: «самый высший». Эти слова его в прежний приезд, сколько-то лет тому назад, подхватили братья и, бывало, только он выговорит «самый высший», зажимают носы и, лопааясь, фыркают. Грозно, орлиным взглядом оглядывает их Самый высший, а они все показывают на Курымушку и говорят, будто это он их смешит какими-то штуками. Вот как было страшно тогда ожидать взрыва смеха, что и посейчас осталось, и скажи дядя сейчас свои заколдованные слова, он непременно расхохочется в своем кресле. С полузакрытыми глазами он слушает разговор с Гуськом и один понимает трудное его положение: ведь это тот самый Гусёк, про которого говорили, будто он, как Адам, был изгнан из рая пахать, но землю всю отняли помещики. И вот он теперь стоит, хочет спросить сибирского купца про землю и не знает, что же именно спросить, с какого конца начать, и уж, наверное, больше всего ему хочется узнать, есть ли там белые перепелки и, может быть, даже голубые бобры.

Долго он мнется на пороге. Терпеливо ждет вопроса Самый высший.

— А есть на новых местах перепелки? — спрашивает наконец Гусёк.

— Вот он всегда так,— сердится мать,— ему бы только перепелок ловить, все хозяйство из-за таких пустяков пропадает.

Высший смеется. Гусёк просит прощения и уходит. Темнеет в комнате. Мать спрашивает:

— Няня, лампу заправила? Пора зажигать.

Няня приказывает:

— Дуняша, поди вздуй свет.

— Ах, тетенька,— просит Дунечка,— погодите немного, смотрите, как хорошо в окне голубеет снег, будто кто-то идет к нам сюда тихо-тихо.

Курымушка смотрит туда в окно, и там, правда, знакомый ему Тихий гость идет с голубых полей.

— Тише, тише,— просит мать,— кажется, бредит, слышали, сейчас сказал «Марья Моревна».

— А я и забыла,— шепчет Дунечка.— Вчера я от Маши письмо получила из Флоренции.

— Где это?

— В Италии.

— Вот куда прострунила! Ну-те!

— Тетенька, когда же бросите вы свое «нуте»?

— Прости, милая. Что же пишет тебе из Италии наша Марья Моревна?

— Живет в какой-то семье, моет полы, стирает, готовит, учит детей, видно ребятам вскружила головы не хуже нашего, и, заметно, ее там боготворят.

— Помните, Марья Ивановна, — вмешивается Софья Александровна, — я вам еще тогда говорила, что ее очарование вредное — настоящий яд для детей, видите сами, пример на глазах, и так ее дети все перестреляются.

— При чем же тут она, если учителя такие мерзкие?

— Мерзкие не одни учителя, в жизни надо уметь приспособляться. Знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, — видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования, — право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее.

— Как ты думаешь, Ваня? — спрашивает мать своего сибирского брата. — Что, если мы с тобой прокатимся к старцу? Там удивительно готовят уху из бирючков и просвирки пекут замечательно вкусные.

— К какому такому старцу? — спрашивает Астахов.

— К отцу Амвросию оптинскому: удивительная личность, он творит с людьми *феноменальные* вещи.

— Какие такие фено... Как ты сказала?

— Ну, просто сказать, чудеса.

— Чу-де-са?

Мать немного сконфузилась и посмотрела на Софью Александровну.

— Не говорю — прямо чудеса, а вроде этого.

— Иконы молодит?

— Не иконы, а вот случай был. Две барыни собрались к нему, сказали: «Конечно, чудес нет никаких, а все-таки поболтаем». Являются к старцу, он велит келейнику принести для них два стакана воды с ложечками и говорит барыням: «Я сейчас выйду к народу, а вы сидите тут и ложечками в стаканах болтайте».

— Молодец твой старец. Ну, что же барыни?

— Конечно, уверовали.

— Дуры твои барыни, тут и не мудрому просто: каждой такой скажи «поболтай», и верно придется. Ты лучше вот

что: поезжай к нему сначала одна, седая, приедешь черная, тут я поверю и отдам ему на монастырь все свои пароходы.

Вышло очень неловко при Софье Александровне; все замолчали, и Астахов одумался.

— Ты, сестра, — сказал он серьезно, — чем к монахам за советами ездить, лучше отдай-ка мне твоего мальчика, у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном, а то все у меня такая рвань и шпана, образованных людей у нас вовсе нет.

— У него же волчий билет, — ответила мать, — его с ним не примут ни в какую гимназию.

— В Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных. Покажи мне бумагу.

Мать приносит. Астахов берет и разрывает в куски.

— Что ты сделал? — ужасается мать.

— Какие вы все, барыни, чудные, — смеется Астахов. — Сама говоришь, с этим билетом никуда не принимают, так зачем же его нужно беречь? Ну, говори, отдаешь ты его мне?

— Я не против, только надо же мне и его спросить.

— Так разве это не тот мальчик, что когда-то убежал было в Азию? А если он, так и спрашивать нечего: Сибирь в Азии, — он рад будет ужасно.

— Конечно, будет рад, — согласилась Дунечка, — это единственный выход.

— У меня будто камень от сердца начинает отваливаться, — сказала мать. — Ты что? Серьезно, Ваня?

— А то как еще? Вот сейчас и выпьем отвальную.

Уходит в свою комнату и возвращается с большими гостинцами. Курымушка ни жив ни мертв: он хорошо знает, что «самый высший» всегда говорится при подарках: богатому человеку кажется, что бедные не поймут, какие это дорогие подарки, и потому, выкладывая, прибавляет: «самый высший».

Достает из кулька бутылку шампанского с этикеткой «сес» и говорит.

— Сек.

Не твердо, как по-французски — «сэк», а очень мягко — «сек», все равно как если что по-французски мягко, он непременно скажет по-русски и твердо: не Золя, а Зола. И не то чтобы не знал или не хотел, а просто ему стыдно быть не самим собой и произносить слова по-иностранному.

— Сек, — сказал он и сейчас же как будто и перевел это слово: — Са-мый вышший!

Внезапно на диване что-то зашипело, засвистало и лопнуло смехом.

Все с удивлением оглянулись туда.

— Ты чего это?

Курымушка ответил:

— Я слышал разговор и очень обрадовался, что меня отправляют в Азию.

Мать облегченно вздохнула:

— У меня будто камень отвалился от сердца.

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Про этого дядю, сибирского пароходчика, с малолетства в нашей семье был разговор в тех случаях, когда терялась всякая надежда на счастье.

— А как же дядя Иван Иванович, — говорил кто-нибудь в опровержение теории безнадежности.

И тогда начинался рассказ, построенный на сравнении староверского купеческого дома Астаховых в Белеве, на чудесной реке Оке, родине астаховского староверского дома моей матери, и дома Алпатовых в Ельце.

— Что это, — говорили, — елецкий чернозем степного вида — хорош чернозем, да в нем трещинки, куда все утекает. Вот и Михаил Дмитриевич (мой отец), чем бы дом в Ельце собирать, а он обратился в помещика и... разгуляй-гуляй — все в трещинку убежало.

— А вот в Белеве даже ни один ручей не пропадает даром: всё держат и охраняют леса, и сами люди держатся старой крепкой веры и молятся двумя перстами. И ведут себя люди по-другому, хотели было разделиться, да Иван Астахов не дал. Он забрал в долг у своих сколько-то денег, уехал в Сибирь и через какое-то, даже не очень и долгое время обратился в сибирского знатного пароходчика.

Как уж он сам в душе, был ли счастлив Астахов, но для родных счастье было в его сибирской стороне, и всем родным он помогал.

Сейчас вот только и догадываюсь: потому, может быть, он и помогал, что своей семьи не было, и жил он во дворце своем на реке Туре совершенно один.

Теперь выпало из моей памяти, почему же появился

Астахов как раз к тому времени, когда в доме переживалось несчастье.

Очень может быть, что мать написала ему о беде, и «счастливый человек», соединив ряд дел, присоединил и это: сделать из мальчика своего капитана.

Так скоро все было решено, и Алпатов поехал с дядей в Сибирь.

Правда же, другой раз лучше и много легче идти с поклажей за спиной набитой тропинкой, чем сидеть на бархатном диване скорого поезда против тяжелого человека и не осмеливаться раньше его слова сказать. И в голову не приходит, что тяжелый человек сам дожидается легкого, веселого слова: болтай, что в голову придет, и он будет рад. Но где было догадываться исключенному гимназисту! Тяжелый дядя навис над ним и подавил.

Ехали тяжелыми, черноземными почвами, перекрытыми красными глиняными балками, пересеченными широкими, гуртовыми, большими дорогами, узкими белыми проселочными и зелеными полынными рубежами. За весь день тяжелый дядя спросил:

— Ты ездил когда-нибудь по железной дороге?

— Нет, дядя, не ездил.

— Вот теперь едешь. Удивляйся!

Ехали почвами легкими, светлыми. Целый день мелькали в окне у ручьев скромные рощи, стада гусей, тихие заводы и поруби с немногими тонкими, уцелевшими на них склоненными березками. Тут на легкой почве за целый день тяжелый дядя сказал:

— Вот и леса пошли.

— Да, пошли, дядя. Где же они кончаются?

Дядя, подумав, сказал:

— Они не кончаются.

И опять замолчал. Купил на станции «Русские ведомости» и читал их до вечера, после со свечкой принялся за объявления и вдруг совсем неожиданно спросил:

— Что это значит: эн-цик-ло-пе-ди-чес-кий словарь?

Алпатов очень обрадовался вопросу и развязал язык.

— Вы, дядя,— спросил он,— знаете, например, слово «ал-геб-ра»?

— Что это такое?

— Вроде арифметики, только вместо чисел буквы.

— Ну-у-у-у-у...

— В энциклопедическом словаре все сказано про

алгебру и про всякое слово, какое только вам в голову придет; если бы хватило памяти, так выучить словарь, и все будешь знать.

— Тогда надо выучить, — сказал дядя. — А есть там, например, слово «пароход»?

— Не только пароход вообще, а все наши русские пароходы названы по именам, и, наверное, есть ваше имя.

— Кроме шуток говоришь? Вот бы все выучить!

— Для человека это невозможно, дядя: в большом словаре Брокгауза и Ефрона — очень много томов.

— Пустое! Захочется, все можно сделать и выучить. Вот тебе газета, вырежь объявление и напхни в Нижнем: купим и выучим.

— Есть малый словарь Павленкова. Не лучше бы нам сначала купить малый?

— Вот еще! Ты заметь себе правило в жизни и заруби это себе на носу: никогда не становись на второе место. Понял?

— Понял, дядя, и это мне нравится. Но что, если не придется на первое?

— Тогда живи дураком и подчиняйся умному. Еще надо тебе знать, что тише едешь, дальше будешь — от того места, куда едешь. Понял?

— Понял, дядя.

— А еще — и самое главное: не пей из колодца — пригодится плюнуть. Понял?

— Нет, не понял.

— Поживешь и поймешь, теперь ты только запомни, что тебе дядя говорил: не пей из колодца — пригодится плюнуть.

И опять замолчал до самого Нижнего. Там купили большой словарь и сели на пароход.

Словарь спас гимназиста от тяжелого дяди. Он, наверно, тут сто раз проехал, и неинтересно ему на чужом пароходе, — сидит весь день в своей каюте и с жаром учит словарь с буквы А. Алпатов обегал на пароходе все мышки норки и, как маленький мальчик, всех спрашивал о всякой безделице: и что это за конусы качаются на воде с фонарями наверху, и почему иногда кричат «под табак», и для чего люди плывут на связанных бревнах и так славно варят себе что-то на огне у самой воды, и почему это дерево не загорается?

— А какой груз на этой огромной барже?

— Живой груз: переселенцы.

— Куда они едут?

— В золотые горы.

Что он, серьезно сказал или пошутил? Неловко переспросить — засмеется, но и так остаться нельзя: вдруг окажется, правда есть золотые горы, и люди туда переселяются, и он это слышал и так пропустил. Вот какой-то человек, высокий, худой, подтянутый ремешком, сидит и читает такую огромную книгу, каких он в жизни своей никогда не видел, в нее войдет добрая половина энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, — вот бы кого спросить, но строг этот человек. Нет, его невозможно спросить. На другой стороне парохода в каюте первого класса у самого окошка дядя сидит и тоже учит свою огромную книгу. Спросить разве дядю? Нет, нет! Тот еще вслух заставит читать букву А. Лучше уж спросить незнакомого человека. Поколебавшись еще немного, решается и подходит.

— Какую вы, дяденька, книжку читаете, можно вас спросить?

— Можно: Маргарит-книга.

— Очень большая!

— Пуд десять фунтов.

— Вы ее взвешивали?

— Вешана книга не на казенных весах и меряна не казенным аршином.

— Можно спросить вас еще: тут говорят, будто переселенцы едут в золотые горы, в географии этого названия нет, а как вы думаете, есть золотые горы?

— Что скажет светская наука? Можно ли сосчитать песок на Волге и зачем это нужно? А *белые воды* есть.

— Белые воды? Я спросил вас — золотые горы.

— Золотые горы стоят на белых водах.

— А где же белые воды?

— Этого сказать нельзя. Пойдешь на восток с верой в сердце, найдешь белые воды и на белых водах золотые горы.

Алпатов замолчал, смущенный и растерянный: никогда еще в жизни ему не случалось встречать и даже думать, чтобы могли быть на свете люди взрослые и жили бы совершенно, как он хотел в первом классе гимназии, собираясь убежать в Азию.

— Есть еще что спросить? — сказал этот странный человек.

— Откуда вы едете? — спросил он первое, что пришло ему в голову.

— Этого, дитя, я тебе не скажу: мы, странники божьи, ни града, ни веси не имам.

— А куда вы едете — это можно спросить?

— Это можно: еду в Китеж, невидимый град.

— Как — невидимый?

— Был Китеж град большой, но, попущением божьим и грех наших ради, скрылся и невидим стал.

— Как же вы туда едете?

— Иду, дитя, иду, все молюсь и надеюсь: кто праведный, тот приходит, и святой град ему открывается. Так и на белые воды тоже надо с молитвой идти: кто праведный, приходит и видит золотые горы... Ну, еще есть что спросить?

Алпатов засмеялся, ему еще очень много хотелось спросить, но странник не понял его и, поправив веревочку от очков возле уха, продолжал читать свою огромную книгу.

Возле дядиной каюты он робко остановился и заслонил свет.

— Ты чего это?

— Вот тут говорят все про золотые горы... Есть, дядя, золотые горы на свете?

— Ну, как же. Алтай называется Золотые горы, мы туда возим переселенцев.

— А мне сейчас сказали, что на каких-то белых водах. Может быть, и это есть в географии?

— Нет, этого нет, тебе, наверно, старовер наговорил; и как ты от матери не слыхал: мы же прежде были староверами, я сам попал в Сибирь с беловодчиками. Это все сказки, и выкинь ты из головы эту дурь, в науке есть на все объяснение, верь в науку, учи — и все будешь знать. Стой, да ведь Алтай-то у нас с тобой есть, буква А, ну-ка иди сюда, читай, а я послушаю.

Читают географию и час и два... Пароход останавливается на маленькой пристани.

— Ну, ступай посмотри, передохни, — отпускает дядя своего чтеца.

И видит Алпатов, как со своей огромной книгой странник сходит по трапу на берег и тропинкою идет по цветущему лугу. Вот бы бросить мягкий диван каюты первого класса, тяжелого дядю с его ужасным словарем Брокгауза и тропинкой бы идти себе в какой-то невидимый

град с этим странником! Но что, если странник тоже заставит читать себе его огромную и, наверно, тоже страшно скучную книгу?

Смолоду суровая река эта Кама, на берегах только леса, и на лесных просеках изредка только увидишь след человеческий, могильник с восьмиконечными крестами или часовенку с позеленевшей крышей, но и то больше никого не хоронят на этом кладбище, никто не ходит молиться в эту часовенку: нельзя лежать больше в этой земле, опутанной цепью антихриста, нельзя тут молиться, дальше и дальше надо идти, в те леса, где еще не пролегла цепь землемера, где нет меры и счета с царской печатью. Идут, бегут куда-то на белые воды неизвестные люди, а за ними следом паутинною сетью ложится казенная мера и счет. Великих страстей мрачная история раскинулась по лесным берегам, и, верно, потому Кама-река смолodu выглядит такую суровой.

За Камой — тоже суровый Урал. Поезд незаметно ползет с горы на гору, и все только леса вокруг и кое-где долины, покрытые высокой цветущей травой. Сверкает смелая привольная коса, а позади ее — смиренная женщина с граблями. Он косит, она собирает; вечная пара, покорно выполняющая заповедь: в поте лица своего обрабатывай землю.

И вдруг конец библейской картины, показывается не писанное в Библии, товарный вагон все закрывает, и на нем мелом: «Теплушка для людей». В маленькое окошко высунулась всклокоченная голова с бородой и другая — в ситцевом платке, глядят, как лошади с темного двора на светлый день. И это тоже вечная пара — Адам и Ева. Их вот только-только что выгнали из рая, где было им так хорошо. Ева смотрит на угрюмые лесные уральские сопки и говорит своему старику:

— Як бы трошки землицы в Полтаве, так на щоб я в ту бисову землю поихала.

Кто-то ими интересуется, спрашивает кондуктора:

— Обратные?

— Нет, туда. До осени все туда, с осени до масленицы — назад; туда идет — думает, в золотых горах найдет золото, назад идет — лохмотьями трясет, вшей бьет.

Поезд трогается, и — будто занавес открывается: первый Адам и его Ева, прекрасные, косят у самого столба, где написано: *«Европа»*.

«Азия» — успел разобрать на другой стороне Алпатов мелькнувшую черную надпись на белом столбе.

И как же вдруг сердце запрыгало: вот наконец-то она, желанная Азия... куда хотелось давно убежать, открывать забытые страны, — то нельзя было попасть в нее с ужасным усилием воли, а то вот стоял себе на площадке вагона, и Азия сама пришла. Радость переливается через край, хочется непременно с кем-нибудь поделиться, сказать, что вот сию минуту мелькнул белый столб с надписью «Азия» и мы теперь уж не по Европе, а по настоящей Азии едем, но никого нет на площадке вагона. Он взялся уже за ручку двери, чтобы войти в вагон и крикнуть дяде про Азию, но вовремя одумался и остался на площадке: дядя сразу догадается, что Азия начинается с буквы А, и непременно заставит его читать букву.

Но ведь это же совершенно не та Азия, которой он теперь радуется: это он сам тут, а вовсе не географическая Азия.

Дядя никогда этого не поймет, да и сам он вовсе не отдает себе отчета. Это не мысли его, а какие-то лучи проходят через его голову куда-то, и от них остается не мысль, а только аромат ее, как от цветка: невозможное достигается, но не как у дяди, насильно. Нет, надо только вначале пожелать «до зарезу» сильно, а потом и забыть, как пахарь забывает посеянное, и оно потом само вырастает.

«Я счастливый, — думает Алпатов, — хотя и поздно, а у меня вырастает, но почему же вот эти настоящие сеятели бродят по всей нашей земле, и все нет им земли, чтобы посеять свое зерно, и как тут быть, если у меня будет счастье, — я стану на первое место, как дядя советует, а вокруг все будут несчастные, и я буду, как мать, прятаться от мужиков, бояться чаю напиться на балконе из-за того, что увидят эти люди с полей. Но все-таки хорошо, что это настоящая Азия и я своего достигаю. Та самая Азия — колыбель человеческого рода, и Урал — ворота, в которые вышли все народы Европы».

Прыгнула дикая коза на утес, и сверху глянули рожки; прыгнула на другой, подальше, остановилась опять, и рожки стали совсем маленькие и потом совершенно скрылись в лесах. Еще любопытно было смотреть, как стаи тетеревов, напуганные поездом, перелетали дальше и как поезд скоро опять их настигал и они опять дальше летели. Мерный стук поезда сбивает всякие мысли, путает их,

в бездумье начинается песня, и так он поет и час, и другой, все поет и поет.

Поезд незаметно спускается, долго бежит по равнине, покрытой перелесками; все реже и реже показываются между перелесками поляны, и, наконец, все смыкается, направо и налево невылазная чаща — начало великой сибирской тайги. Вот и кончился рельсовый путь, и с ним кончилась последняя теплота души, связанная с родными картинами; на великой сибирской тайге незримиыми буквами написано:

«Будь холоден или горяч».

Переселенцев выгружают прямо на рельсы; они в лохмотьях; и странно, зачем у них у всех столько ненужного, — даже со связкой самоварных лучинок не могла расстаться деревенская женщина и привезла их из Полтавы в тайгу. Ober-кондуктор брезгливо и осторожно шагает через лежащие на пути тела и очень боится замарать о них свои блестящие сапоги. Он говорит кому-то:

— Вот это самый выгодный груз на пароходе — не подмокнет, не украдут.

Пароход «Иван Астахов» стоит на парах. Переселенцев грузят в баржу, еще грузят керосин в огромных бочках, и масса над этой погрузкой работает каких-то особенных оборванцев с суровой печатью тайги: «Будь холоден или горяч»; они совсем не похожи на теплых Адама и Еву. На своем пароходе дядя совсем другой человек, по-прежнему молчит, но кругом все кипит от его страшного молчания, и бегают капитан бестолково, руки у него отрываются при страшных взглядах хозяина: ох, он что-то заметил и не спускает глаз с капитана!

Пароход плывет и пугает свистками диких уток, гусей и лебедей; на каждой остановке дядя выходит на пристань; точно такие же оборванцы, как и в начале пути, окружают Астахова, о чем-то тихо просят его, и он сажает их в баржу с переселенцами.

— Кто эти люди? — спрашивает дядю Алпатов.

Иван Астахов сверху измеряет его взглядом, как будто хочет сказать: «Вот еще какой щенок подвернулся», — но, как бы вспомнив и одумавшись, говорит:

— Отгадаешь загадку — скажу, не отгадаешь — никогда не смей ко мне соваться с вопросами, не будь сам дураком и сам догадывайся.

— Какую же загадку?

— Как перейти непереходимое болото?

— Неправильная загадка: непреходимое нельзя перейти.

— А вот и можно, отгадывай, буду считать до двенадцати: раз, два, три, четыре...

— Может быть, зимой на лыжах?

— Молодец! — сказал дядя и так лицом просветлел, что осветил и капитана.

— Кто же эти странные люди?

— *Шпана*, — сказал дядя. И на немой вопрос ответил: — Таежные жители: разбойники, воры, всякая рвань с волчьими билетами.

— Куда же вы их везете?

— К себе везу, пароходы строить.

— Но ведь они же с волчьими билетами?

— Ну так что? Ты же сам с волчьим билетом. Понял? Больше ты меня не спрашивай и сам догадывайся. Теперь ты отгадай мне другую загадку: первое ра, второе ки, что будет в целом?

— Раки, дядя.

— Ну, пойдём есть раки.

Чистит рака, а сам прислушивается, — на носу начинают кричать: «под табак», три, три, два с половиной, и как крикнули «два!» — что-то зашипело и затрещало на дне парохода. Астахов бросает раков, выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода баржу, кричит растерянному капитану:

— Полный ход!

Капитан кричит в машину:

— Стоп!

Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана, швыряет за борт и кричит в машину:

— Полный ход!

Пароход срывается с мели. На полной воде равняется с баржей, с борта на борт перекидывают трап. Астахов идет туда, на баржу, его окружает шпана.

— Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?

Выходит невзрачный человек желтого цвета, покрытый веснушками.

Астахов его мгновенно оглядывает, сразу что-то понимает и спрашивает:

— Политика?

Желтый кивает головой.

— Становись капитаном.

Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали из воды прежнего капитана или он утонул... Но это Алпатову кажется так странно: в большом деле трудно одной рукой бросать, другой то же спасать. Астахов бросал, конечно, зная, что другая рука должна вытащить из воды капитана. После раков князь сибирской шпаны, довольный, чувствуя каким-то шестым материнским чувством, что новый капитан ведет пароход очень хорошо, принимается учить из буквы А статью Абиссиния.

От всего чувствует себя Алпатов тем сморщенным темным комочком, который остается, если шилом проткнуть детский красный резиновый воздушный шар. И ему кажется, что все так возле тайги. Вон там на берегу тоже мечется между пнями какое-то существо, похожее на человека, машет руками, а пни огромных деревьев залиты черной водой, и черная вода курится белым паром; далеко эти пни куда-то уходят, до горизонта, и там, на горизонте, синяя полоса не тронутой топором тайги, но тоже, наверно, залитой такой же черной, дымящейся водой.

Человек все машет и машет рукой. Ему посылают лодку, сбавляют ход. Вот он уже лезет по трапу на палубу, и тут все объясняется: тоже второй Адам из Рязанской губернии, пришел ходок для своих земляков искать землю. Его спрашивает желтый капитан и дядя, нашел ли он землю.

Ходок руками разводит:

— Много искал, нет земли.

— Как нет земли? — не удержался Алпатов. — Вон все земля и земля.

Все засмеялись.

— Нет, вьюнош,— сказал ходок,— то не земля, много к ней нужно еще капиталу, чтобы вышла земля.

— Зачем же вы землю ищите? Ищите себе капитал.

— Умственный вьюнош! — засмеялся ходок.

И все засмеялись.

Но Алпатов не мог понять, чему же они смеялись и почему среди необъятных, никем не занятых земель все кричат: «Земли, земли!» — и никто не крикнет: «Капиталу, капиталу!»

А земля на берегах реки мало-помалу все преображалась, и в одно утро, выйдя на палубу, Алпатов не узнал ее, — все было теперь по-иному: не осталось и следа тайги, она ушла куда-то в другую сторону, а тут везде, казалось,

на весь мир раскинулась степь, но совсем не такая, как у Кольцова, желтая, с низенькой, глазу неотличимой от песка травкой,— это была бесконечная, как океан, глазастая степь-пустыня; на ней, как у таинственных каких-то животных, с телом, покрытым бесчисленными глазами, всюду сверкали светлые соленые озера со страшными фиолетовыми краями.

Многие от второго Адама тут выходят. Через большую реку перевозит «самолет» — плот с колесами, как у парохода. Ветер боковой. Самолет не смеет отчалить. Скопляются верблюды, много баранов, коровы. Сзади напирают все новые и новые стада, и, нечего делать, самолет отчаливает как-то сам по себе. Быки давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по монгольским лицам, желтым, как спелые дыни, с маленькими раскосыми глазами. И хохот, и дикие крики, и забавное стегание друг друга нагайками, и, кажется, такая мудрая беседа почтенных людей в чалмах и халатах, сидящих между верблюжьими горбами,— все ново и странно, в глубине сердца как-то знакомо, будто сам когда-то ездил в караванах через пустыни и кочевал, перегоняя баранов с летнего пастбища на зимнее стойбище.

Вот крик из трех согласных, упирающих на одну гласную, как растрепанные губы старой лошади:

— Тпру-у-у-у...

— Как? и у вас «тпру»?

— Да, и у нас «тпру».

Корова падает в воду. Плот трещит. Все орут. Верблюд падает. Сильнее орут.

— Господи! — шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. Плот кружится, все, кто близко, лупят нагайками усталых, изморенных лошадей, вертящих колесо самолета. Многие животные падают, одни покорно плывут рядом с плотом, другие, сильно фыркая, пробуют опять забраться на плот, и все вместе, и масса животных, и безобразно орущая масса людей, как будто все нарочно стараются поскорее разломить плот и все затопить, но плот все плывет и плывет через огромную реку.

И что удивительно: беседа мудрых людей на верблюжьих горбах продолжается. А еще больше удивительно, что многие шумят и говорят о пустяках, как будто не были у самого края гибели.

Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади на монгола.

— Брысь! — сказал азиат.

Кошка прыгнула на Адама.

— Брысь, — сказал Адам и тут же спросил монгола: Стало быть, и у вас тоже «брысь»?

Азиат не понял. Ева ответила:

— От сотворения веков было «брысь».

А на той стороне, куда, кружась, плывет самолет, новая собирательная гроза: там возле белых юрт скопилось много животных, и, уже приученные, все они стоят у самого берега в ожидании переправы, и только плот приблизится, все бросятся на него и затопят, может быть, возле самого берега. Но чем сильнее подпирают в бока бычьи рога, чем ближе к уху дышит горбатый верблюд, тем спокойнее на душе: ведь так на Руси вся жизнь проходит — вот-вот потонешь, а плот все плывет...

Как-то расходятся, как-то обходятся и вот уже спрашивают вежливо:

— Руки, ноги здоровы?

— Аман!

— Верблюды, кони, бараны здоровы?

— Аман!

Так соединяется караван и плывет по сухому желтому морю между солеными озерами со страшными фиолетовыми краями к одному всем известному дереву с пресным ручьем. Тут караван останавливается ночевать. Собирают кизяк, разводят огонь. Выходит пустынный месяц. Вырисовываются бронзовые профили кочующих народов.

А кто это бородатый там, у костра, с женщиной в платочке?

Все те же изгнанные Адам и Ева ищут себе земли. И повторяют:

— Никто как бог!

Верно, старому богу наскучили жалобы сотворенного им из глины Адама, и он создал другого человека и опять впустил его в рай, и опять этот второй Адам согрешил тем же грехом и с тою же старою заповедью был изгнан из рая в поте лица обрабатывать землю. Только, выгоняя второго Адама, бог забыл, что земля вся занята и новый человек, как забытый, пропущенный на страницах Священного писания, бродит пока с покорным желанием найти землю и выполнить заповедь божью, ищет везде, по тайге, по степям и по тундрам, но все напрасно, нигде не находит, — хорошая земля везде занята.

Легка ты, Русь, своими хижинами, сгорела — и будто слезла старая шкура змеи. Но и тяжела же ты своими каменными, похожими на сундуки, домами купцов: один в один и везде одинаково. А хуже того, как задумает купец выстроить что-нибудь свое, небывалое. Так выстроил себе пароходчик Иван Астахов, командир сибирской шпаны, двухэтажный дом с вышкой, огромный, неуклюжий и мрачный, ни на что не похоже: ни дом, ни корабль. Для чего, одинокий, холостой, устроил себе такое большое жилье с танцевальной залой, люстрами и канделябрами на стенах? Видно, в свое время у него тоже был свой расчет на хозяйку, на большое женское приличное общество, но могучий человек на сибирских реках не справился с таким, казалось бы, маленьким делом — разыскать себе подходящую женщину, и от всей этой мечты остался только нелепый дом, похожий на речной пароход.

Внизу двенадцать комнат и вверху столько же, на вышке подзорная труба — смотреть в степь, на пароходы и на пожары; Иван Астахов — создатель и до сих пор начальник вольно-пожарной дружины. Тут же, на вышке, знаменитая лейденская банка, от которой в городе началось просвещение.

Много лет тому назад вместе с солнечными часами и кучей разных разностей Астахов привез ее, как диво, из России, и долго весь город ходил смотреть удивительную лейденскую банку и пробовать своим пальцем силу электрической искры. Случались такие разряды, что у любопытного палец надолго оставался крючком, но хоть умри, а если уж зашел посмотреть лейденскую банку, Астахов непременно заставит на себе испытать силу разряда. Река вина была выпита за столом с лейденской банкой, горы пельменей были съедены — в уксусе, варенных в молоке и дорожных, сушеных, прямо из мешков. За сибирскими разговорами — кедровыми орешками — и родилась от лейденской банки и от одного ссыльного естествоиспытателя Барабина мысль открыть гимназию и так начать просвещение города, наполненного баранами и верблюдами кочующих народов.

Молчаливой тенью в мягких туфлях ходит по дому дрессированный лакей Александр, лимонно-бледный, с потаенными глазами. Он еще с полночи начинает готовить страшно крепкий чай своему господину: Иван Астахов

одинаково зимой и летом встает с петухами и до начала своих паровозных дел занимается чтением. Чего только он не нахватал для своей библиотеки!.. Много тут есть всяких романов, но не в них дело,— Астахову дорога в книге умственность, такое, чтобы можно было поломать свою голову и все-таки до конца не понять и оставить догадку себе: есть Дрепер и Бокль, есть Дарвин и Спенсер, из каждой такой книги выходит как бы вызов всему свету. Вот это и есть самое драгоценное, заманка всего чтения. Даже Апокалипсис у него не простой, а подделка под XVI век, проданный букинистом за большие деньги как оригинал; такую книгу читать совсем невозможно, а зато как хорошо показать гостям загадочное и шепнуть: «Эта книга тоже с душком». Но есть святая святых библиотеки, тайна из тайн, и показывается только избранным: роман «Что делать?» таинственного автора, «Знамения времени», Ренан «Жизнь Христа» и Кеннан «Сибирь и ссылка», две книги рядышком в одинаковых переплетах, будто два тома одного сочинения; есть и запрещенная «Крейцера соната» Толстого, переписанная со многими ошибками рукой легкомысленной свояченицы самого уездного начальника. Хорошо все-таки не знать методов научных исследований и до старости читать разные книги с постоянной надеждой,— что вот какая-то вдруг откроет сразу все; но без всякой связи этого чтения с делом даже Астахов устал и накинудся на энциклопедию, как ученый на метод. Он уже близился к половине тома, посвященного букве А, как вдруг ему предстала статья «Азбука» и читать ее не захотелось. Для отдыха он взял том с буквой П и сразу на все утро увлекся Платоном, потому что эта большая статья была ключом к загадочному и везде повторяемому: «любовь платоническая». Начитанный за ночь Платоном, он зовет к утреннему чаю своего племянника с лукавой затеей посрамить гимназиста.

На зов приходит Алпатов, робкий и смутный, как зверек, пойманный и посаженный в огромную клетку.

— Чай пить! — говорит ему дядя.

Пьет и, раздумывая о чем-то своем, забывает на время о племяннике, будто его тут вовсе и нет, и только на половине стакана вспоминает и говорит:

— Чай пить — не дрова рубить!

Но Алпатову кажется, куда легче бы рубить дрова, чем пить чай с тяжелым человеком, молчать и прислушиваться к мертвому ходу лакея Александра в его мягких туфлях.

От напряжения молчания у него начинают даже показываться в глазах прозрачные фигуры разного цвета и проплывать справа налево, и все больше и больше их, так что кажется, если не разогнать их словом и оставаться в молчании, то и тебя самого утянет в какую-то бездну. Нет, невозможно больше молчать, и Алпатов, с риском сказать непоправимую срунду, хватается за первое, что приходит ему в голову:

— Нас учили, дядя, что под землею огонь.

— Конечно, огонь, а то от чего же вулканы?

— Вулканы-то, говорят, могут быть и от воды: под землей вымываются громадные пещеры, своды их иногда обрушиваются, и с такой силой, что от удара вода обращается в пар и плавятся металлы, вот почему из вулканов показываются сначала газы, а потом лава, это называется нептуническая теория происхождения вулканов. А то есть еще теория плутоническая.

— Платоническая? — спрашивает дядя, очень довольный, что так можно связаться с Платоном и посрамить этого маленького разумника. — Так, стало быть, о вулканах еще Платон размышлял?

— Не Платон, дядя, а Плутон. Плутоническая теория строится на предположении, что под землею огонь. Плутон был бог огня, а Платон — греческий философ, ученик Аристотеля, он...

Дядя не выдержал, ему от слов Алпатова стало почти так же худо, как тому от дядина молчания.

— Ну, ты меня не учи, — перебил он племянника, — Платона я знаю, наверно, получше тебя. А до Плутона еще не дошел.

Испуганный наступлением ужасного молчания, Алпатов опять схватился за первую проходящую через голову мысль и сказал, никак не желая задеть дядю:

— Как это вы, дядя, так скоро могли пройти с буквы А до Платона?

Дядя встает страшно рассерженный: хотел поймать племянника на Платоне, а мальчишка сам поймал его на Плуtone.

В таком настроении Астахов идет в кабинет заниматься пароходными делами, и вот беда теперь, если придет к нему кто-нибудь в себе не уверенный и робкий, как несчастный капитан, чуть не погибший в воде Иртыша. И нужно ж было так случиться, как раз и приходит этот капитан Аукин просить прощения, о чем-то шепчется с Алексан-

дром, озирается, решается, идет по коридору в кабинет... А через минуту оттуда слышится удар железного костыля о пол и на весь дом:

— Ос-с-сел!

Аукин вылетел из кабинета, как из пушки ядро, и в передней встречается с тем самым желтым капитаном из шпаны, что сменил его на пароходе «Иван Астахов».

Кто он такой? Появляется откуда-то снизу по винтовой лестнице и там исчезает, живет там или приходит? У него какие-то отношения с Александром, и с поваром, и с женой повара Настей, и к дяде он входит просто и во всякое время.

— Вышло? — спросил он Аукина.

— Чуть не убил костылем.

— Погодите немного здесь.

Уходит в кабинет, и через минуту дядин голос оттуда:

— Александр, позови сюда этого осла.

Аукин крестится и просит Алпатова:

— Загляните поскорее в окошко, там дочка моя Алена...

Что, она стоит там? дожидается?

Алпатов заглянул. Там под тополями стояла девушка в шляпке с лиловыми цветами, с лицом, наполовину скрытым в русых кудряшках.

— Она здесь! — крикнул он.

Аукин еще раз перекрестился и шагнул в кабинет.

Кто же этот таинственный желтый капитан? Откуда у него такая чудодейственная сила? Выходит из кабинета с Аукиным, счастливым, сияющим. Снизу с тряпкой поднимается Настя, манит рукой; желтый капитан опять с ней исчезает по винтовой лестнице. Аукин делится радостью с Александром: он опять капитан «Ивана Астахова». Потом Алпатов видит из окна, как на радостях отец встречается с дочкой Аленой, выделывает ногами и руками какие-то вензеля, будто его дергают за веревочку, как бумажного акробата. Алена быстро, испуганно взглядывает вверх и встречается глазами с Алпатовым; на носу у нее и на щеках такие веснушки, будто из каждой скоро должна вылететь птичка с удивленными глазами и бархатным бантиком на белом горлышке. Она очень смутилась, увидев чье-то лицо в окне, и что-то строго сказала отцу. За тополями они быстро скрываются, но что, если побежать скорей на второй этаж и посмотреть сверху? Так и есть, идут по направлению к пристани по деревянным мосткам. Оглянется или нет? Если оглянется, будет хорошо, нет — худо. Оглянулась на повороте и скрылась

за стеной товарной конторы. А что, если теперь забраться на вышку? Бежит скоро туда, и опять видно. Смотрит в подозрную трубу, — вот бы теперь оглянулась: ну же! ну, ну, ну!.. Она оглянулась, и разом из всех ее веснушек вывелись птички, все сорок сороков полетели на вышку и на ту золотую луговину, где стоит певучее дерево; кто-то сорвал на лугу белую ромашку и загадывает: любит или не любит? А наверху-то, на певучем дереве, так хорошо звенят струны святого пчелиного труда, и ничего в том не понимающие шмели дураками густо басят: «Жениться, жениться...»

— Ты кого это смотришь? — грянуло сзади.

— Там в степи, дядя, кажется, дымок показался, — вы ожидаете «Лену»?

Астахов берет трубу — и очень радостный:

— Да, это «Лена» идет.

— «Лену» я еще не видал. Она большая?

— Сейчас увидишь.

Простым глазом видел Алпатов, как шла на пристань с отцом Алена, и думал: она большая, взрослая, барышня, какое ей дело до него, но все-таки почему же она все оглядывалась?

ФЕСТИВАЛЬ

— Ты сегодня, — сказал дядя Алпатову, — постриги свои лохмы и почистись немного к вечеру: у нас будет фестиваль.

— Фес-ти-валь?

— Ну, да. Гости соберутся, и директор приедет. Директор — умнейший человек. Все нонче будут, и немец. Ты по-немецкому как?

— Слабо.

— Я и попа позвал. По закону тоже плох?

— Плох и по закону.

— Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

— Каким безобразием?

— Обыкновенным безобразием, что бога нету, что царя не надо. Тебя с волчьим билетом выгнали. Все это, знаешь, они, пьяные, наверно, все будут ниспровергать, а ты не встревайся.

Астахов помолчал, приступая к самому главному.

— Вот еще что, должно быть, и уездный начальник

тоже будет. Человек он у нас свой. Только ему другой раз бывает неловко, над ним тоже есть начальник. Ты за столом не бултыхни про... нашего гостя.

— Про желтого капитана? — догадался Алпатов.

— Зови как хочешь. Только лучше забудь его совсем; нынче ночью он от нас пропадет.

— Куда же пропадет он, дядя, можно спросить?

— В степь пропадет.

— Дядя, — осмелился Алпатов, — вы напрасно со мной говорите, как с маленьким. В гимназии меня уже хорошо научили конспирации. Я хотел бы знать, как это можно пропасть в степи?

— А степь такое дело — в любую юрту пойдешь, и тебе барана зарежут. Все пастухи. Прибежешь к любому аулу и голай баранов, хоть год, хоть два... Один политик у нас так и вовсе пропал.

— Погиб?

— Зачем погиб. Живет где-нибудь. Слышали даже, что и женился. Только этот аул перекочевал далеко за Голодную степь, оттуда уж ничего не доходит. Другой политик через пятнадцать лет объявился, ребяташек с собой своих привез, желтенькие, косые. Ну, ладно! Лохмы свои ты ступай сейчас же подправь.

От этого разговора у Алпатова на сердце остается что-то хорошее, и по пути к парикмахеру он догадывается: отчего бы это так? Сначала он подумал на желтого капитана, что это от него: так свободно живет, захочет — с каторжниками в тайге, как и со всеми, все его и там слушаются; захочет — в степь, и там будет жить с пастухами. Вот бы уйти с ним. Разве уйти? Нет. Нельзя. Надо вперед непременно сделаться первым учеником и доказать. Кому доказать, — он не спрашивает себя, — куда-то в пространство, доказать, где судят и где — все. Надо всем доказать. Однако от мысли, что нужно себя всем доказать, явилось какое-то очень неприятное раздражение, и, значит, хорошее было не в этом.

— Вы мне волосы постригите, только чуть-чуть, — сказал он парикмахеру. И вдруг, глядя на свои волосы, вспомнил свое хорошее: дядя говорил, вечером будут капитаны с женами, значит, и Аукин будет, и с ним, может быть, придет и она. Нащупав в себе это верно-хорошее, он опять, как тогда на вышке, очутился возле певучего дерева и так и не расставался с ним до самого вечера. Близ заката солнца на эту золотую луговину с певучим деревом стали

приходить гости и бросать на цветы свою огромную тень. Пришел директор гимназии, такой же, как дядя, большой человек и тоже опасный. Он сел в кресло и, задумавшись, стал одной рукой на другую мотать свою длинную, как у Черномора, бороду, а глаза свои забыл на Алпатове. Несколько раз Алпатов украдкой взглядывал и каждый раз с отчаянием замечал, что глаза директора стоят на нем. Потом эти страшные глаза, не отрываясь, начинают смеяться и в то же время разглядывать в глазах Алпатова так пристально, как бывает, если задаться найти в глазу другого обыкновенного, опрокинутого в зрачке человека. Вот он, страшный Черномор, поймал его человека и потянул, потянул к себе. Алпатов, расширив глаза, открыто пошел в эти великаны глаза, и вдруг они стали изменяться и как будто смущенно отступать.

— С волчьим билетом, — сказал дядя.

— Вижу, — ответил Черномор.

— Ну, как же нам с ним?

— Ничего, *человечек* у него в глазу, кажется, цел, а другое все — пустяки.

И, подхрюкнув себе в бороду, быстро стал ее разматывать.

Астахов щелкнул ключом в таинственном шкапчике, где хранились драгоценные сорта вин для самых лучших приятелей, и, оглянувшись на племянника, сказал:

— Скажи там, чтобы начинали. Если Марья Людвиговна пришла, она уж знает, как нужно. А ко мне никого не пускайте — я занят.

Уходя из кабинета, Алпатов слышал, как директор сообщал Астахову важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь.

— Улита едет, когда-то будет, — ответил Астахов.

В передней лицом к лицу Алпатов встретился с Марьей Людвиговной. Играя черными своими глазами, сверкающими камешками на ушах и на шее, вся в чем-то белом с золотом, она подхватила юношу под руку, и ему стало, будто он вышел в какую-то богатую, веселую залу и в ней были все цветы и музыка. Марья Людвиговна достала гребешок, по-своему причесала Алпатова и дала ему роль, — он будет в передней встречать гостей, провожать в гостиную и всем говорить одно и то же: «Дядя извиняется, он сейчас выйдет». Никогда в своей жизни еще не видал Алпатов таких женщин, но знал, что есть такие: или

снились, или где-то читал. На мгновение ему стало на душе совсем небывало особенно: будто какой-то окончательный и настоящий праздник настал, и он теперь никого не боится и стал вдруг большим, как все. Но как только раздался звонок, он вспомнил про нее, и от этого стало ему больно. Предчувствие не обмануло: входит капитан Аукин.

— Пожалуйста в гостиную. Дядя извиняется. Он сейчас выйдет.

— Вот как-с, — растерянно улыбнулся Аукин.

В гостиной навстречу гостю встает Марья Людвиговна и встречает Аукина как настоящего гостя. Марья Людвиговна играет и сверкает для всех одинаково.

— Почему же не пришла милая Аленушка?

— Собиралась, да я отговорил, другим обидно очень.

— Вы бы и других взяли.

— Как их возьмешь, ведь их у меня одиннадцать номеров-с.

Печальный возвратился Алпатов в переднюю встречать гостей: она не придет, вечер будет пустой. Но все-таки хорошо было догадываться, что не придет она потому, что бедная и гордая, и он такой же, как она, бедный и гордый. После этого богатая и роскошная Марья Людвиговна стала ему враждебной, и он решил с ней бороться.

А гости начали звонить один за другим. Сначала шли все больше капитаны и управляющие пристанями, с сибирскими фамилиями — Россошных, Беспалых, Долгих. Потом начались учителя. Саратовский немец Яков Иванович Мюллер в форменном вицмундире; учитель словесности, тоже в форме, тонкий, как игла, с двоящимся взглядом, с кривыми губами и с рябою, похожей на картошку, женой; инспектор, молодой, ловкий, кругленький украинец Косач-Щученко; чахоточный учитель математики, чех Пикель; лохматый бурсак, учитель истории Смирнов. Роскошным явился уездный начальник, гигант с открытым лицом и двойной бородой.

— Дядя извиняется, — сказал уездному начальнику Алпатов.

Но тот, не слушая, прямо идет в кабинет и там скрывается от преследующего его Алпатова. Весь красный от гнева, Алпатов бежит к Марье Людвиговне и, запыхавшись, докладывает ей о «безобразии» уездного начальника.

— Пойдемте немного пройдемся, — сказала ему, улыбаясь, Марья Людвиговна.

И, взяв его под руку, идет с ним по коридору в переднюю.

Лакей Александр куда-то ушел, никого тут не было. Тут, обняв юношу, она сказала:

— Ты очень мил, давай поцелуемся.

Алпатов отпрыгнул в угол, как от змеи.

Но ей он от этого еще больше понравился. Она идет к нему, наступает ближе, и ближе улыбающиеся алые губы с маленькими черными усиками и белые хищные зубы.

— Марья Людвиговна, — говорит он, — я буду драться.

— Дерись, — отвечает она с хохотом, — я очень рада.

Запускает ему в волосы обе руки и тянет к себе голову.

Он сжал кулаки. Но вдруг все зазвенело.

— Звонок, — сказала она, — открой дверь, но только помни, я до тебя все равно доберусь.

Явился толстый протопоп Иоанн и тоже было направился в кабинет, но встретился в коридоре с директором и Астаховым. Все трое пошли в столовую. Алпатов идет за ними и на пороге стоит в изумлении. На большом столе посредине целая бочка с икрой, обложенная кедровыми шишками и потом дальше аршинными навагами, осетрами, стерлядями, нельмами; там дымились горячие пельмени; из кедровых темно-зеленых веток выглядывали бутылки. Так Марья Людвиговна по своему вкусу создала стиль сибирской тайги.

Из другой комнаты, от карточных столов, чуть видные в облаках табачного дыма, сходятся гости.

— Благорастворение воздухов и изобилие плодов земных! — сказал священник Иоанн.

— Приступим, батюшка, — ответил Астахов.

Директор хрюкнул, наматывая бороду. Священник Иоанн благословил все, начиная с икры, обошел вокруг стола, не забыл ничего. После этого все бросились к столу с тарелочками в руках.

— По случаю какого-нибудь события настоящее торжество? — спросил священник Иоанн.

— Определяю племянника в гимназию, — ответил Астахов, — это первое, а второе, по случаю грядущего проезда наследника цесаревича по Сибири и закладки железнодорожного пути.

Тогда, выпивая, все заговорили о значении пути для Сибири и, главное, для пароходчиков. Катаев и Китаев, два маленьких пароходо-владельца, каждый свое доказывал

Якову Ивановичу Мюллеру: Катаев — что парходчики выиграют, Китаев — что проиграют.

— Будет всем хорошо, — отвечал Яков Иванович, — Сибирь будет как Америка.

— Вы бы на эту тему речь за ужином сказали, — попросили Мюллера.

— Да, я собирался сказать маленькую речь, — ответил немец.

Аукин душевно открывался:

— Я своего мнения не имею, у меня одиннадцать номеров, и я не могу иметь мнения, я — не я, надо мной одиннадцать номеров!

— Саша, друг, — сказал управляющий Россошных, — лучше Расскажи потихоньку, как он тебя в Иртыше искупал.

Аукин боязливо оглянулся на Ивана Астахова и ответил:

— Кто вымочил, тот и высушил.

Все курили и постепенно скрывались в облаках вместе с бочкой икры. Но это было только началом пира — в это время Марья Людвиговна в другой комнате готовила другой стол для ужина в стиле сибирских степей, вкладывая в рот целому жареному барану букет с ковылем. Тут пир открыл Яков Иванович Мюллер своей маленькой речью о значении предстоящего проезда наследника по Сибири и связанной с этим железной дороги.

— Сибирь тогда будет, — говорил Яков Иванович, — совершенно как Америка.

Директор громко хрюкнул и пробормотал:

— Что, к нам Америка из Петербурга приедет?

— Ну конечно, — ответил Яков Иванович, — из Петербурга. Сибирь-колония совершенно соединится с метрополией, и всем будет хорошо, очень даже хорошо.

В середине ужина тонкий учитель словесности начал говорить длинную речь просветителю края Ивану Астахову. Но у него затянулось, и вдруг ловкий Косач-Щученко вырвал у него всю силу, крикнув:

— Выпьем за лейденскую банку!

Все крикнули «ура» и принялись качать Ивана Астахова.

Порядок исчез, места перепутались, капитаны сбились к одной стороне и запели «Вниз по матушке по Волге», учителя — «Не осенний мелкий дождичек». Те, кто не пел, обменивались через весь стол невозможными криками,

взятыми, наверно, у кочующих в степях полудиких народов:

— Эй, бер-ге-ле-гет! — кричали с одной стороны.

— А ба-ба-ба-гыы! — кричали с другой.

Усердно работая на той и другой стороне по восстановлению порядка, любитель застольного пения Косач-Щученко наконец захватил всю власть. Ему помогала Марья Людвиговна.

— Через тумба, тумба — раз! — пел Косач.

— Через тямба, тямба — два! — пела Марья Людвиговна.

— Через тумба, тумба — три! — схватили другие голоса.

— Телеграфный столб! — грянули все.

Мало-помалу из всего этого хаоса определилась любимая всеми «Зимушка» и, наконец, ее знаменитый куплет:

Как у нашего патрона
Черт стащил с башки корону.
И на нашем славном троне
Село чучело в короне!

Начали пощипывать Марью Людвиговну. Иван Астахов даже извинился:

— Это я по-стариковски.

Аукин давно лежал под столом. Из кучи красных, потных, волосатых рож Алпатов заметил, как дядя манит его к себе, протягивает ему двадцатипятирублевую бумажку и необыкновенно сердечным голосом говорит:

— На-ка вот, съезди, пора, брат, я сам начал с двенадцати лет.

Потные рожи советовали дяде:

— Вам бы надо самим, — в первый раз страшно.

— Ну, что же, я и сам свезу. Вели-ка заложить Червончика. Только надо бы директора вперед спросить, как он смотрит на это. Ступай-ка найди его.

Алпатов идет искать и верит, твердо верит, что директор этого не допустит. Только бы поскорей найти его. Проходя коридором, в полутемном углу он заметил и поскорее, испугавшись, что его заметят, бросился в темную комнату: он заметил — в углу Марья Людвиговна целовалась с Косачом. Алпатов приблизил лицо к окну, и там ему за окном открылся мир совершенно другой — там над степью открыто правил месяц и дрожала Алена-звезда, его Алена.

«А что, если,— схватился он,— дядя, не дождавшись директора, велит ехать? Да и непременно же велит. Одно спасенье — найти поскорее директора».

Возле кабинета он слышит возню.

— Это ты, Александр? Чего ты кричишь?

— Помогите,— просит Александр,— директора вынести, вот только ноги маленечко попридержите.

Тяжелы ноги директора, но Алпатову очень хорошо, он рад помогать ему, директор очень хороший, и много хороших неведомых тайн, кажется ему, скрыто в его огромной, волнистой, волочащейся теперь внизу бороде.

По винтовой лестнице они спускаются вниз, и там на помощь приходит еще желтый капитан с сумкой за плечами и нагайкой в руке; все вместе переносят директора на пролетку, и Александр, даже без шапки, садится проводить его на квартиру.

— Директор, должно быть, хороший человек,— говорит Алпатов.— Только почему он напился?

— Умный человек любит выкинуть штуку. А вы видели хороших людей? — спрашивает желтый капитан.

— Раньше их было много,— ответил Алпатов.

— Их и теперь довольно, только все они несчастные. Вот и директор такой.

— И я думал так.

— Вы много думаете?

— Да, я много думаю. Я постоянно думаю. Но бывают пустые минутки, и тогда мне бывает страшно.

— Чего вам страшно?

— Разное чудится; часто вижу, будто страшный китаец метится в меня из пистолета. Мне хочется, чтобы все время было наполнено.

— Как?

— Вот как эта звездочка — у нее нет темных мест. Капитан вдруг пожал ему руку и ничего не сказал. Сердце сжалось у Алпатова, и он не мог удержаться.

— Я все знаю,— сказал он,— мне дядя доверил, и я привык уже заниматься конспирацией: вы сегодня уезжаете в степь. Вот бы мне тоже с вами вместе пропасть.

— Я должен скрываться,— ответил капитан,— а вы еще подождите, вам надо жить иначе.

— Вы правы,— вздохнул Алпатов,— мне еще много нужно доказать.

— Кому и что вы будете доказывать?

— Всем. Я непременно хочу быть первым учеником.

— Первым? Чтобы настоящим быть первым, не нужно много думать о первенстве, а если станете это доказывать, то сверху только будете первым.

— Как это? — живо спросил Алпатов.

Но в эту минуту тихо подъехал верховой киргиз, с ним была другая оседланная лошадь.

— Помогите мне поднять сумку на плечи, — сказал капитан. — Вот спасибо, дорогой, милый юноша, прощайте же.

Алпатов долго стоял на крыльце и думал, что, если бы у него был такой отец, как легко бы жилось, как хорошо бы во всем с ним советоваться. Загадочны слова капитана! Он просит объяснить свою звезду, но она ему шепчет неясное. Слышатся отдельные крики в степи. «Кто это? — спрашивает себя Алпатов. — Может быть, все тот же второй Адам ищет себе землю, вот ищет же, нельзя ему иначе, так и я хочу быть первым, и буду, и докажу это всем».

КОМПАНИЯ

Бежит дорога — иди по ней, широко ляжет вокруг тебя земля, и высоко станут навстречу города. Но если на пути о себе задумался, то это как змея укусила, и в самое сердце. Тогда и дорога, радостно бегущая по зеленой земле к городам, свитком совется вокруг себя самой и закроет хороших людей и природу.

Любят причиной этого считать самолюбие. Скажут: «Потому что у него слишком большое самолюбие». А бывает, и обратно скажут: «У него нет никакого самолюбия». Можно вселенную мерить на свой аршин, а можно себя измерить вселенским аршином: мера одна и та же — аршин. Так, верно, и самолюбие.

Проходит и год, и два. Наступает последний сибирский год. Прекрасно, первым идет Алпатов в гимназии, но все учителя и ученики в один голос говорят про него: «У него слишком большое самолюбие». Сам Алпатов тоже хорошо знает, что причина его одиночества — самолюбие, но как же быть иначе, если задался целью всем доказать самого себя. Ему очень трудно дается положение первого в классе, но еще трудней, достигнув, удерживаться, — чуть отвлекся в сторону, и другой, тоже с большим самолюбием, настигает, и смотришь — четверть прошла, он не король, а принц и платит дань королю. Так все и уходит на

достижение первого, а вокруг самому заметно, как складывается среди других учеников интересная, таинственная и ему не доступная жизнь.

Из всей серой массы обыкновенных учеников мало-помалу выдалась группа, как все ее называли — *компания*, и директор был ее тайный руководитель; они все собирались у него, будто бы для занятий по естественной истории. Николай Опалин, смуглый юноша и крепкий, как камень, успевал все делать: и семью кормил уроками, и препарировал директору чучела сибирских птиц и зверей, и все книги перечитал, и вечера устраивал разные в пользу кого-то, и, чуть продремлет Алпатов, занимал в классе его первое место. Но только ему это давалось шутя, он все схватывал на лету, с губ учителя, и дома никогда не сидел, как Алпатов, за уроками. Настоящий ученый вырабатывался из сына директора Левы; он даже на переменах в классе все разглядывал в лупу жучка или цветок, и от него, такого тихого, на весь класс было высшее влияние, — все любили и уважали его. Еще был попович Фортификантов, переведенный за вольнодумство из семинарии, толстый, с квадратной головой, маленькими и страшно умными глазками. Фортификантов читал даже философию, и всякие ученые споры прекращал одной какой-нибудь коротенькой и по-своему сказанной фразой. Еще был украинец, здоровенный малый, лентяй, но зато развитой, и политику знал так, что в этом одним словом каждому рот зажмет. Семен Лунин, бледный, с горящими черными и в то же время добрыми кроличьими глазами, был весь в заплатах, самый бедный в классе, и тоже, как и Опалин, уроками кормил свою семью. Он занимался статистикой по книге Николая — она, в рассуждениях у него непременно были слова: безлошадные, бескоровные, однолошадные, двухлошадные. С компанией еще держался почему-то Соловей, вежливый, очень воспитанный юноша; никакого особенного в нем развития не было, но прекрасно он пел и выступал всегда на вечерах, устраиваемых компанией в пользу чего-то. Еще хорошо пел Земляк, с узенькими татарскими глазками, всем приятель, всем земляк. Эта компания в классе вся рассказывает рядом и на переменах ходит вместе, а на улице часто еще пристает к ним гимназистка Жучка, черненькая, с книжкой журнала «Вестник Европы» в руке. Жучка всегда идет впереди, а за ней вся компания. Алпатов слышал, как однажды Фортификантов сказал про Жучку: «Это — *женщина будущего*».

Кому бы, как не Алпатову, казалось бы, занять в этой компании самое почетное место, но вот как ни старался вначале он, а ничего не вышло. Он выбрал было себе Земляка, самого простого, рассказал ему, как выгнали его из гимназии, как он Бокля читал и понял законы исторические, а все, чему учили с детства, оказалось сказками. Земляк долго его слушал, и, видно, ему было как-то не по себе. Когда же Алпатов кончил, он ему вдруг и говорит:

— Тебе, брат, надо высморкаться.

Алпатов схватился за нос.

Земляк засмеялся.

— Дурень, дурень, ты и вправду подумал...

После Земляка Алпатов обратился к самому ученому — Фортификантову, и тот его долго, поощряя частыми репликами, выслушивал, а сам все смотрел своими маленькими глазками в одну точку и наконец осмелился спросить:

— У тебя, кажется, там колбаса? Дай мне немного.

Алпатов дал ему отломить от своего завтрака. Фортификантов стал есть и рассказывать, что исторические законы имеют под собою более глубокие — естественно-исторические, а чтобы приблизиться к их пониманию, нужно прочесть книгу Сеченова «Рефлексы головного мозга». Рассказывая, Фортификантов уплетал колбасу и не оставил Алпатову ни крошки. В другой раз было то же самое, и наконец, поняв, что Фортификантов расположен к нему только из-за еды, Алпатов попытался обратиться к украинцу. Широкий этот украинец и на вид такой открытый, как большая дорога: приходи и уходи, когда хочешь, и ночью и днем.

— Какие такие законы? — сказал он насмешливо.

Разговор был на улице, вся компания шла за Жучкой. Алпатов нарочно громко сказал, чтобы слышала Жучка:

— Ис-то-ри-чес-ки-е.

— Вздор, — ответил украинец, тоже так громко, что Жучка обернулась и внимательно поглядела на Алпато-ва.

— Ну, естественные, — сказал Алпатов, наверняка пуская в ход мудрость Фортификантова.

— Вздор и это, — воскликнул украинец, — никаких нет законов, все относительно.

— Ну, это вы чересчур, — обернулась Жучка, — есть же все-таки нечто.

— Нечто? — воскликнул украинец. — Я вам сейчас скажу, что это нечто.

— Что?

Украинец поднес палец к самому ее носу и, обрубая им каждый слог, отчеканил:

— Ав-то-ри-тет-с!

— А как же первая причина? Первое движение? — рискнул спросить Алпатов.

Украинец опять отчеканил, рубя пальцем перед самым носом Алпатова:

— Ме-та-фи-зи-ка!

Слово «метафизика» было сказано с таким презрением к ней, с таким авторитетом, что дальше спорить было невозможно.

Алпатов отошел от компании и слышал, как *женщина будущего* спросила:

— Кто этот франт?

— Купчик, — ответил украинец, — племянник Астахова.

Уничтоженный и подавленный, шел Алпатов, и казалось ему, какие-то шкуры стали слезать с него: конечно, у него было это чуть-чуть в уме, что он племянник самого богатого человека, но ведь это случайно. Он кончит гимназию, уедет, и опять он — бедный, просто Алпатов. И потом ведь это отец его был Алпатов, и он отца своего не знал, значит, он же и не Алпатов. Кто же он сам по себе? Как же украинцу нет никакого дела до этого и до самого главного? Смутно, как бы веянием пролетающих над ним мыслей, Алпатов чуял в этом «сам по себе» самую ту первую причину и самое важное, но тут же и упирался в то, чем его все упрекали, — в са-мо-лю-би-е.

Раз во время урока Алпатова осенило, что лучше всех из всей компании Семен Лунин, прекрасно бедный, каким бы и он хотел быть и когда-нибудь непременно и будет, вечно занятый своими любимыми вычислениями по статистике. На большой перемене Алпатов подходит к нему и заводит разговор, такой же, как с Фортификантовым. Семен, не отводя карандаша от своих вычислений, обертывается к нему и спрашивает:

— Читал ли ты Чернышевского «Что делать?»?

— Нет, не читал, — ответил Алпатов.

— Прочти, а потом приходи разговаривать.

И принялся за своих безлошадных.

У дяди в библиотеке книга «Что делать?» была на

почетном месте. Алпатов ее читает и никак не может понять, чем же эта книга замечательна и почему запрещена. Ему кажется, после социалистов и нигилистов, какими они изображены у Тургенева в «Накануне», в жизни уже не может быть таких людей, и зачем их повторять в жизни, если они уже кончились у Тургенева. Главное же понял Алпатов из чтения Сеченова, Дарвина, Чернышевского, Спенсера, что, должно быть, не развитие разделяет его с компанией. «Тут что-то в директоре», — решил он однажды во время обедни в гимназической церкви. Это он не раз замечал, что, когда священник Иоанн Лепехин говорит свою проповедь, директор вдруг подхрюкнет и начнет сматывать и разматывать свою бороду. Тогда непременно на лицах всей компании отражается та же самая насмешливая улыбка директора. Но Алпатов сначала никак не может понять, что же такого особенного в обыкновенной поповской проповеди, над чем можно такому, как директор, смеяться. Раз священник Иоанн говорил, что вода святая, крещенская никогда не портится; поставить две бутылки — с болотной и святой водой, одна непременно скоро испортится, другая — никогда. Мгновенно, без всякого намерения смеяться, Алпатов подумал: «Вот хорошо бы освящать воду в болотах, где разводятся комары и всякая нечисть, в них вода бы стала живой, как в реке». В то время как Алпатов подумал по-своему об осушении болот, директор хрюкнул, и на лицах всей компании появилась улыбка. Рядом стоял Николай Опалин, и Алпатов перешепнул ему свои мысли о святой воде. Очень понравилось Опалину средство от комаров, и, когда приложились к кресту, он сказал:

— Давай догоним директора и предложим ему твое средство от комаров, он естественник, ему это нужно.

Со смехом они побежали по коридору и настигли директора у самой его квартиры.

Опалин сказал:

— Алпатов сейчас выдумал средство оздоровления болот, я не мог утерпеть...

— Где тебе утерпеть!

— Нет, правда, замечательно: в Крещение нужно освящать не только реки, но и болота, а так как святая вода не портится, то комаров в болотах не будет.

— Комар — полезное насекомое, — ответил директор, — он жалит и спать не дает, вы бы что-нибудь от мух придумали, — те сладкое любят.

В это время Алпатов не принял замечания на себя, и, правда, директор, конечно, не намекал на Алпатова, что он, как муха на сладком, живет на всем готовом у богатого дяди.

— Тебе нравится директор? — спросил Алпатов при выходе из гимназии на улицу.

— Еще бы, — ответил Опалин, — наш директор — крупная политическая фигура, это у нас единственный человек с выработанным миросозерцанием.

Так и сказал, как обыкновенное слово: миро-со-зер-ца-ни-е.

Конечно, и Алпатову слово это встречалось в книгах, сам он еще ни разу не произносил его вслух. Краснея от волнения, чтобы как-нибудь не ошибиться в первый раз, Алпатов робко спросил:

— А какое это миросозерцание?

— *Человеческое*, — ответил Опалин.

Навстречу гимназистам по улице несли большую чудотворную икону, многие падали на землю и потом пролезали под нее.

— А разве может быть и нечеловеческое миросозерцание? — спросил Алпатов.

— Вот! — показал Опалин на икону и толпу. — Это нечеловеческое.

— Как нечеловеческое? — удивился Алпатов. — Это изображен Спас, он был человек.

— Надо сказать — «и человек», а главное — бог. Знаешь, тебе это не приходило в голову, что Христос если бы не захотел страдать, то всегда бы, как бог, мог отлынуть, и у него, выходит, страдание по доброй воле, а настоящий обыкновенный человек не по доброй воле страдает.

— По злой воле? — сказал Алпатов. — Да, мне это часто приходило в голову.

— Вот и директор нас так учил, что люди, берущие себе в образец бога-человека, совершают сделку с самими собою: когда им трудно быть, как бог, они говорят: «Мы же не боги, мы слабые человеки», — а когда им по-человеческому трудно, они прячутся на небеса. Но в человеческом миросозерцании вся ответственность падает на себя, тут человек заперт в себе, не увильнет. Так нас учил директор.

Опалину, верно, очень нравился Алпатов, и по мере того как он говорил, голос его становился все мягче и мягче, и вот какая-то большая тайна готова была сорваться с губ, он даже и начал было:

— Тебе бы тоже надо примкнуть к...

Но Алпатов, раздумывая о своем, не слышал Опалина и вдруг его перебил:

— Ты говоришь «человеческое миросозерцание». Но почему же все такие мысли мне приходят в голову днем, если я, задумавшись, смотрю на птиц, летающих в небе или отдыхающих в зеленых деревьях, а ночью на звезды, особенно звезды, и от них начинается, по-моему, миросозерцание. А ты любишь смотреть на звезды?

— У меня нет времени этим заниматься,— ответил Опалин сурово,— и птиц тоже не видно из моего окошка.

И уже больше не захотел продолжать свою начатую перед этим фразу.

— Так вот,— продолжал Алпатов,— ты сказал — у директора человеческого миросозерцание. Сколько времени прошло с тех пор, как я в первый раз его увидел, а только теперь я вполне понимаю, что он мне тогда сказал.

— Что он сказал?

— Он смотрел на меня долго, я рассердился и стал сам на него тоже смотреть, и после этого он сказал моему дяде: «Человечек у него в глазу, кажется, цел».

— Он это сказал? — удивился Опалин.

— Что же тут особенного?

— Ничего особенного, я сам знаю, что у тебя цел человек, но положение твое невыгодное: мы собрались вокруг него бедняки, дети ссыльных, а ты племянник самого богатого купца в Сибири.

Мигом вспомнил Алпатов, как Жучка сказала о нем *франт*, а украинец вслед за нею — *купчик* и что, может быть, директор своей мухой на сладком тоже намекнул на него. Вдруг ему стало понятно, почему он никак не может сойтись с компанией.

— Мне налево,— резко оборвал он разговор с Опалиным.

И пошел налево, по набережной.

А не оборви разговора, он не пошел бы один. Опалин уже с другого конца был опять близок к признанию.

Теперь же он шел совершенно один, возмущенный, погруженный в себя. «Они бедные дети ссыльных,— думал он,— а у меня такого отца не было, я *сам* себя сослал в Сибирь, я *сам* поднял бунт в гимназии, они получили от отцов своих это *даром*».

Вот когда свитком свертывается дорога вокруг себя: он идет по набережной и ничего не видит, он, как теленок,

привязанный на колу, кол — это *они*, теленок, идущий кругом, — я, и только всего существует в мире: я и *они*. «При чем тут Астахов, — говорит он кому-то, — это совершенная случайность, что я с ним, я — Алпатов... да нет, я и не Алпатов, это тоже случайность, я — это *я сам*, как *они* этого понять не могут, я сам — и больше нет ничего». И ничего больше не было, ничего вокруг себя он в эту минуту не видел; над необъятной степью-пустыней у берегов могучей бездушной реки носилось какое-то его «*я сам*», без Астахова, без Алпатова.

Послышались чьи-то шаги, такие гулкие на деревянных мостках набережной и такие страшные, как смерть.

Шел китаец.

Алпатов похолодел. Идет тот самый китаец, что видится ему часто во сне; китаец наводит на него пистолет, стреляет, Алпатов падает, и потом он, этот самый названный «я», с таким участием, с такой болью смотрит в щелку на ноги убитого Алпатова.

Китаец идет ближе, и ближе шаги, сейчас все так и будет, как во сне. Предсмертный холодный пот выступает. Но китаец проходит мимо, шаги удаляются и замирают. Предчувствие обмануло, и, может быть, это даже и не китаец мимо прошел.

А было воскресенье, и солнце, проникнув в пустой сучок одного забора, лучом своим ударило прямо в глаз. Алпатов очнулся, и мимолетное ощущение китайца-убийцы стало теми пустяками, какие бывают у всех и что здоровые люди отгоняют от себя, как святые — бесов. Так и у Алпатова убийца-китаец сменился радостью, широкой на весь мир; он увидел в пустой сучок, откуда на него вырвался солнечный луч, в саду с ножницами в руках бродит Алена и подрезает на яблонях лишние побеги — волчки. Все птички, что гнездились в ее веснушках, теперь вывелись, все щебетало и пело.

Вот бы сказать теперь Алене, открыться, что он не Астахов и не Алпатов, а кто-то совершенно новый и еще неведомый, неназванный. Поймет Алена? Конечно же, Алена все поймет. Но зачем ее беспокоить, искушать, пугать! Все равно она и так с ним идет и наполняет радостью. И туда она с ним идет, в этот большой мрачный дядин дом, и, конечно, это она дает ему смелость просто войти в кабинет дяди и звонко сказать:

— Будет вам, дядя, читать свою ужасную энциклопедию. Какую штуку я сейчас вам расскажу!

И рассказывает ему про святую и болотную воду.

— Вот чудо-то,— говорит дядя,— а ведь я тоже думал до сих пор, что святая вода не портится. Надо бы это попробовать.

— Зачем же пробовать, дядя,— смеется Алпатов,— вода портится оттого, что в ней есть гниющие вещества, и если бы молитвой можно было остановить гниение, то незачем бы и человеческие трупы зарывать в землю.

— А ведь и правда,— удивился Астахов и даже чему-то очень обрадовался.— Но почему же я всю жизнь считал, что святая вода не портится? Бывает же так, вобьют в детстве глупость, и потом всю жизнь ее колом не вышибешь. Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами.

ШКОЛА НАРОДНЫХ ВОЖДЕЙ

По всем рекам Западной Сибири и даже Восточной: по Оби, Иртышу, Лене и Енисею, от парохода на пристань и с пристани на другой пароход, всем на удивление, бежал слух, что могучий и непреклонный Иван Астахов, поднося хлеб-соль наследнику русского престола, струсил, не договорил свою речь и уронил к ногам его серебряное блюдо.

— Всей шпаной управлял,— удивлялись сибиряки,— а какого-то Николая струсил.

Удивлялись. Другие злорадно смеялись. Только один капитан Аукин сказал:

— Ничего нет удивительного: будь я на его месте, тоже бы уронил.

Директор сначала не поверил, а когда все заговорили и даже очевидцы приехали, объяснил это странное явление исторически:

— Все наши бесстрашные покорители сибирских татар — купцы — с великим страхом потом припадали к стопам царя. Наш весь купец такой и шебаршит только, если царь далеко.

После всех этих судов и пересудов явился наконец и сам Иван Астахов на пароходе своего имени. Никогда не видал Алпатов дядю таким. Казалось, он теперь с утра до вечера был сильно выпивши и всех встречал одними и теми же своими рассказами о наследнике. Начиналось всегда с глаз: какие у него чудесные глаза, какие глаза, потом, как хорошо он играет на заводной рояли.

— На заводной? — говорили гости. — Что же тут трудного — ручкой вертеть!

— Ты сначала поверти и потом говори, — отвечал недовольно Астахов.

И продолжал рассказывать, как ему раз случилось заглянуть в щелку царской каюты (камердинер устроил за хорошие деньги).

— И что же, — умиленно, как о собственном маленьком ребенке, говорит Астахов, — он протянул себе веревочку от дивана к дивану и прыгает себе, прыгает...

Но самый интересный рассказ был про пажика, что прехорошенький был с ним пажик.

— Конечно, это была девушка, — неожиданно и с тем же умилением, как о веревочке, объявлял он гостям.

Гости (были и дамы) этому очень дивились и почему-то все непременно в этом месте рассказа спрашивали:

— Как же так?

— Очень просто, — отвечал Астахов, — это хоть кому доведись, необходимо для здоровья, мне так и камердинер сказал.

После пажика следовал самый животрепещущий рассказ, из-за чего больше всего и собирались любопытные: о том, как Астахов подносил наследнику хлеб-соль.

— Я сказал кратко, — начинал он этот всеми жданный рассказ: — «Ваше императорское высочество изволили посетить наш отдаленный Север...»

На этом месте рассказа Астахов делал большую паузу, и гости с волнением ожидали, что вот теперь-то и будет сцена падения блюда, но Астахов делал паузу только затем, чтобы с силой ударить на следующее затем слово «мы».

— Мы, представители западносибирского пароходства, в ознаменование сего величайшего события, подносим вашему императорскому высочеству хлеб-соль.

— И все? — спрашивали разочарованные гости.

— Все, — отвечал Астахов. — Я сказал кратко: «Ваше императорское высочество изволили посетить...»

И повторял свою речь еще раз сначала.

Одни уходили, другие приходили, как на выставку, и рассказ повторялся с утра и до вечера. За обедом, за чаем, за ужином, ежедневно слушал все Алпатов, и даже когда забирался к себе наверх, то и туда долетала сильно ударяемая фраза: «Мы, представители западносибирского пароходства...»

Наконец, явился сам директор к Астахову и сразу все

прекратил. Увидев в окно директора, Алпатов спустился по лестнице послушать, как отнесется он ко всему.

— Стой! — крикнул директор во время паузы перед «мы». — Стой! стой! Сейчас же мне говори, что в это время случилось.

— Что случилось? — робким голосом переспросил Астахов.

— Ты уронил блюдо с хлебом и солью?

Молчание. Голос директора:

— Ты уронил?

— Ну да, уронил, — глухо ответил Иван Астахов.

У Алпатова сердце сжалось, до того ему стало больно за дядю, и, видно, директор тоже не смеялся и только вымолвил:

— Эх, ты...

Чтобы замять эту неловкость, директор сказал:

— А у нас для выпускного класса как раз на эту тему из округа прислали сочинение: «О значении проезда наследника по Сибири»...

— Как же так? — спросил дядя. — Выпускная тема присылается из округа в запечатанном конверте и распечатывается только во время экзамена при всем совете.

— В конверте, — ответил директор, — а умные люди и через конверт видят. Я мальчишек к экзамену вот как налажу.

— Но ведь это же нехорошо, — сказал Астахов.

Верно, директор на минутку смешался: было молчание.

— Я тебе не раз говорил, — начал директор небывалым голосом, без обычной насмешки, — школу в таком виде, как нам задают, я не признаю, внутри этой казенной школы я создаю школу народных вождей. Я делаю большое дело и держусь только тем, что моя гимназия первая.

Видно, и Астахову стало неловко или жалко директора, он сказал ему торопливо:

— Да я ничего. Разве я что... я это так... твое дело, конечно, большое, и не все же в кон, можно и за кон. Давай-ка вот еще...

Звякнули стаканы.

Ошеломленный услышанным, Алпатов идет к себе наверх, бросается в кровать.

«Школа народных вождей! — бормочет он. — А я тут рядом у всех на виду достигаю первого ученика и золотой медали в казенной школе и этим всем хочу себя доказать. И вот доказал — дурака доказал...»

Стало вдруг все понятно до мельчайших подробностей, почему все они презирали его достижения, почему смеялись, когда учитель словесности за его сочинения по русскому называл «единственный». Он истратил всего себя в течение трех лет на эти достижения, а они чуть-чуть занимались, только бы переходить из класса в класс, и потихоньку готовили себя к великому делу.

Странно, как долго лежат иногда в памяти большие слова без всякого понимания, будто ждут, когда спящий проснется и возьмет их с собой: три года тому назад желтый капитан сказал ему, и только теперь он понял его слова в полном значении: «Не нужно много думать о первенстве, а если это еще доказывать, то будете первым только на поверхности».

И опять он — второй Адам без земли.

Встает с кровати, садится к окну. Вон там, в степи, кочевники большими караванами покидают родную землю совсем, их место заняли русские, они уезжают куда-то на прежнюю свою родину — «Хребет земли», где люди еще вовсе не знают хлеба и, как Авель, только пасут стада, а тот, кто был вторым, теперь занял первое место и на их вольных пастбищах теперь сеет по-каински пшеницу. Но разве он стал оттого первым, что занял чужое место? Вон видны курные хутора, и долетает ругань соседей, а тут же вольные проходят караваны, и на ходу играет молодежь: вон девушка в красном мчится на коне, как огненный пал по суходолу, и за нею джигиты. Едут, играя, куда-то за Голодную степь, где вовсе нет земледелия, может быть, они там и погибнут, но вот они настоящие первые.

А он себе обдуманно устроил хутор с золотой медалью...

Что же делать?

Час и больше он ходит по комнате из конца в конец, открывает окно, в комнату врывается птичий щебет, и одна, совсем в наперсток, тикает возле самого окна; у нее пухлые щеки и на них смешные полосы, нос вострый, как шило. Алпатов долго и любовно ее разглядывал, и мало-помалу начинает ему показываться след какой-то огромной мысли и тут же дела. Он успевает схватить из этого могучего радостного источника только самое начало: что эта птичка, и зеленые сопки в степях, и все в природе уже дано в душе человека и радость оттого, что узнается свое же, родное. Больше он ничего не может развить, а знает, что если бы развить и записать, то и был бы в этом ключ ко всему. Опять он ходит, ходит, и вот вдруг мелькнуло все, — теперь бы

только бумаги. Хватается за тетрадку, вырывает лист. Но это очень мало, тут не упишется. Там у дяди, внизу, для чертежей пароходов приготовлены огромные листы. Вот какой нужен лист. Спускается вниз, тащит громадную бумагу, расстилает на полу и, окунув спичку в чернильницу, выводит ею заглавие:

М и р о с о з е р ц а н и е

Берет чертежную линейку, проводит две диагонали, находит центр всего листа; отсчитав от центра вправо и влево по ровному числу мест для букв, он опять тою же спичкой, но громадными буквами надписывает:

Ч Е Л О В Е К

Теперь от центральной черты проводит множество лучей во все стороны. И когда все готово и надо на каждом луче внизу что-то написать, вдруг все забылось. Он возвращается мыслью назад, от чего все началось, — к той маленькой птичке. Догадывается, что эта птичка прилетела от Алены, думает про Алenu и ее веснушки, берет фуражку, выходит, а чертеж человека так и остается на полу несовершенным.

Через две недели Алпатов приходит к дяде проститься: он окончил курс и уезжает в Россию.

— Достигать? — спрашивает Астахов. — А то, может быть, останешься у меня?

— Нет, я хочу достигать.

— Ну, с богом.

На пристани много народу и все прибывает, весною полгорода сходится провожать пароход. Алпатов сидит на палубе, ищет глазами Алenu и не находит. Второй свисток, третий — ее нет и нет.

Но что из этого? За годы сибирского одиночества он привык вызывать ее сам, когда только захочется, и она всегда приходит к нему, как весна. Теперь ему кажется — она села тут рядом с ним на лавочку и говорит с ним первый раз, как настоящая, живая Алена.

Пароход отчаливает. Вдали показывается, спешит к пристани девушка, ее лицо уже не узнать, но тем лучше — можно сказать себе, что это она.

Пристань скрывается из глаз; но она все ясней и ясней, она догоняет, она — здесь, рядом.

— Я вас знаю.

— Нет, Алена, вы меня не знаете. Меня никто не знает.

— Вы — Астахов.

— Астахов — мой дядя.

— Вспомнила. Ваша фамилия Алпатов: вы родственник Астахову по матери.

— Да, для всех я Алпатов, но вы должны знать мою тайну: я и не Алпатов. Это моя большая тайна.

— Но матушка ваша была за Алпатовым в законном браке.

— Алпатов — моя законная фамилия, но это ничего не значит, все-таки я не Алпатов.

— Ах, наконец-то я поняла...

В уголках ее синих глаз на белом мелькнуло желтенькое, то набитое, что непременно бывает у всех, кто вырос в маленьких мещанских домиках на краях городских слобод. Алпатов сразу понял это желтенькое пятнышко в синем глазу...

И так он предал свою мать, кто всю жизнь работал только для детей и, когда оставалось время, всех уверял, что любовь розовая. Но как же объяснить ей, этой мещанке с желтеньким пятнышком в синем глазу, что он не Астахов, и не Алпатов, и не побочный сын?

— Да нет же, нет, — говорит он в отчаянии, — мать моя святая, она себе даже не позволяла думать об этом.

— Как же иначе?

Желтое пятнышко все растет и растет, еще момент — и будет смеяться мещанка.

Во что бы ни стало надо Алену спасать.

— Как иначе? — говорит он сурово. — Что же, вы думаете, и я вас за этим искал и стерег вас из года в год у пустого сучка?

— Нет, нет! Ах, что я сказала, что я сказала!

Желтенькое пятнышко вдруг смыла слеза.

— Я вас совсем, совсем понимаю.

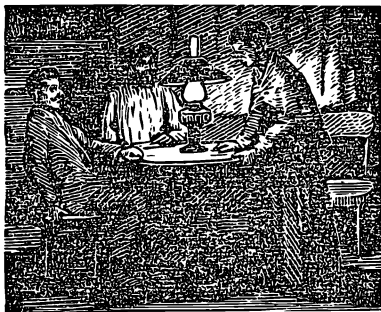
Какое великое счастье! Она единственная в мире теперь знает его тайну, и теперь он не один.

Она понимает, она не спрашивает, она знает, а для них пусть он будет Алпатов, племянник богатого купца Астахова. Это его теперь больше не будет задевать, рано или поздно он заставит их признать себя и без Астахова и без Алпатова, и потом, может быть, он и будет народным вождем.

Иван Астахов и виду не показал, что ему жалко

расставаться с племянником,— раз тот решил достигать, надо достигать.

Но почему же дымок давно скрылся в степи, а он все смотрит в подзорную трубу? Дрожит труба в старой руке, опускается. Глаза падают на огромный чертеж человека с заглавием *«Мирозерцание»* и лучами во все стороны от «человека». Астахов берет загадочный лист, уносит к себе, расчищает место на своем столе, расстилает. Астахов — большой любитель всяких шарад и загадок, он догадается, непременно догадается. Вот только надо выпить, только одну рюмочку. Идет к шкапчику, отпирает, выпивает рюмку, возвращается. Нет! еще нужно рюмочку. Еще выпивает и больше не закрывает шкапчика. Что-то знакомое шевелится в памяти. Он роется в книжном шкапу, достает том энциклопедии, слюнявя пальцы, долго перелистывает, наконец находит что-то, закладывает место, идет к шкапчику, захватывает с собой всю бутылку коньяку и, поставив ее на чертеж человека, принимается читать большую статью: *«Мирозерцание»*.



ЗВЕНО ЧЕТВЕРТОЕ

Б О Й

ЗОЛОТАЯ КНИГА

У Алпатовых умерла старая няня, и это, казалось бы, такое незначительное событие совершенно переменило все планы Марии Ивановны Алпатовой и даже грозило расстроить приближение ее юбилейных лет.

И, казалось бы, она заслужила это счастье здоровых и много порабатвавших в жизни людей, тот отдых с приятным чувством, когда все идет по своему загаду, и оттого является спокойное понимание жизни и способность дать хороший совет. Разумеется, это не шутка — остаться молодой женщине совершенно одной в глуши с кучей детей в заложенном и перезаложенном маленьком имении и в конце концов так устроить, что и залог почти снят, и дети получают высшее образование. Сколько за это время разорилось владельцев из дворян, сколько было споров и доказательств с *цифрами в руках*, что пореформенное хозяйство совсем невозможно, а вот *факт налицо* — Мария Ивановна не только выкупила имение, а все подновила, покрасила, переложила, завела машины —

сеялку, косилку, двухлемешные плуги, конные грабли, ввела четырехполье с посевом клевера, улучшила породу скота, смешав ярославку с симменталом, и — самое поразительное — своих сыновей определила в высшие учебные заведения. Все это совершалось постепенно и так, может быть, и осталось бы никому не ведомым, но случилось однажды — уездный предводитель Раменов, Александр Александрович младший, владелец пятнадцати тысяч десятин земли, разогнал своего жеребца и врезался в огромное стадо домашней птицы Марии Ивановны. За изувеченных и раздавленных птиц предводитель послал с кучером по три рубля с головы, но Мария Ивановна денег не взяла и велела только передать предводителю свой совет в другой раз не очень разгонять жеребца, когда едет усадьбой: птица-то не бог знать что стоит, а можно и самому разбиться. Александр Александрович — большой новый либерал, из которых потом вышли кадеты, впоследствии известный своим дерзким отказом от камер-юнкерского придворного звания, заехал к Марии Ивановне, побеседовал с ней, посмотрел хозяйство и всему удивился. Вслед за ним вскоре сделал визит брат его, губернский предводитель, Михаил Александрович, блестящий оратор, хотя и не такой либеральный, как брат его, но с более широкими идеями: всюду было известно, что он в мужицких лаптях ходил в Ясную Поляну, туда и назад пешком, и только проехал на извозчике по городу, чтобы не показываться в лаптях; злые языки, впрочем, говорили, что ехал он, все-таки свесив один лапоть на приступ пролетки. Вероятно, и Михаил Александрович увез особенное впечатление от Марии Ивановны, потому что вслед за ним явился и сам Александр Александрович старший, глубокий старец, друживший еще с первыми славянофилами. Но этот старичок уже ничего не осматривал, ничего не выпрашивал, а сам рассказывал долго о славянофилах. Потом начали показываться дамы: приехала строгая фрейлина Зося, верхом, с хлыстиком, приехала красивая жена предводителя, урожденная графиня, с французским акцентом, и, наконец, сама тата, важная кавалерственная дама. После этих визитов пришлось поехать к Раменовым и самой Марии Ивановне; чего стоило ей это в первый раз, знает только няня да еще дочь Лидия, но у Раменовых она держалась с большим достоинством, всем понравилось даже, что, когда после обеда лакей уже очень стал приставать к ней с душистой жидкостью для

полосканья рта, принятого в высшем кругу, Мария Ивановна гневно крикнула лакею: «Отвяжись».

Через Раменовых слава о Марии Ивановне разнеслась быстро, и стало общеизвестно, что знаменитых хозяек в уезде только две: Мария Ивановна Алпатова и Юлия Милитоновна Ростовцева, тоже вдова и тоже из купеческого сословия. Многие стали заезжать к Марии Ивановне из любопытства, другие серьезно посоветоваться; и так вот подошли было к Марии Ивановне ее почетные юбилейные годы, как вдруг умерла старушка няня, и все хозяйство из-за этого пришлось перестраивать. Все эти заезжие люди дивились, кажется, не тому, что, собственно, помогло Марии Ивановне сделать свое хозяйство доходным, секрет ее успеха был не в тех мерах *вообще*, к которым сводились все разговоры, а просто в умение держаться за случай. В парадных разговорах она часто употребляла слово «*мужики*», но на деле мужиков для нее не было, все мужики ей были хорошо известны: Павел, Кузьма, Никифор для нее были разные люди. Привычка разглядывать частности так у нее укоренилась, что и мужики других деревень были самые разнообразные люди, а не мужики вообще. Общие люди для Марии Ивановны были только цыгане и отчасти попы.

В деревне отлично знали, что секрет успеха Марии Ивановны был не в травосеянии и фосфоритах, а в *золотой книге*, куда Мария Ивановна записывала свои договоры с рабочими.

Таинственная золотая книга, о которой так хорошо знали в деревне, была обыкновенная заборная книга из мясной Багрова, Егора Иваныча. Когда-то, может быть тому назад лет двадцать, книга эта была взята в городе, но Егор Иваныч доставил тухлое мясо, отношения с лавкой из-за этого прекратились, а книга с золотыми буквами на переплете и, главное, с золотым быком, была приспособлена для записи договоров с рабочими. Вот тут-то, в золотой книге, и был секрет успеха Марии Ивановны. Записывались в эту книгу только раз в жизни: как записался, так уж на всю жизнь; с какими рабочими началось хозяйство, с теми же самыми и велось через двадцать лет. Исключением был, однако, рабочий, на котором и держалось хозяйство. Он поступал с условием держать при себе жеребеночка-сосунка до трехлетнего возраста: расчет был у Павла — вырастить себе за три года хорошего коня и заняться в деревне самостоятельным мужицким хозяй-

ством. Все так и было у него, не свяжись он на всю жизнь с дурной бабой: Фиона его — своенравная, вздорная и, главное, *транжирка*. Как уж она там умела сделать — неизвестно, только не больше месяца вел Павел свое хозяйство, потом конь продавался и начинался пир на весь мир. И очень скоро Фиона ведет опять своего великана на барский двор записывать на три года в знаменитую золотую книгу. На радостях Мария Ивановна всегда дарит Павлу сосунка от самой лучшей своей кобылы.

Вот если бы кто действительно вздумал вникнуть в секрет успеха Марии Ивановны, то надо бы заглянуть ему именно в тот месяц, когда хозяйка оставалась без Павла, как она тогда металась, как раздражалась, в какой тревоге ждала возвращения Павла! Всегда неизменно это бывало ранним утром, когда Мария Ивановна, вскипятив себе глиняный обливной горшочек сливок, садилась за чай. К звукам в коридоре у нее было такое же особенное шестое чувство, как у спящих матерей к ребенку. Никто бы ничего не услышал, но она вот повертывает голову к запертой двери и спрашивает:

— Кто там?

Отвечает:

— Я.

Конечно, она прекрасно знает, кто это «я», но боится радоваться и спрашивает:

— Кто ты?

Из коридора:

— Павел.

Но это не все. Если Павел пришел опять записываться в золотую книгу, то с ним непременно должна быть и Фиона.

Мария Ивановна спрашивает:

— Ты один, Павел?

Дверь открывается, и Павел с Фионой вступают в столовую.

Сдерживая свою радость, Мария Ивановна долго упрекает Фиону, всегда называя транжиркою, выпрашивает до точности, куда она истратила деньги, до того доходит, что возмущается: не сатин надо покупать ребятишкам на рубашки, а ситчик. Во время этого наставления всегда присутствует и няня и, с своей стороны, дает советы. Все кончается вопросом.

— Ну что же, записываться пришли?

Павел говорит:

— Сделайте божескую милость.

Тогда няня торжественно вносит книгу с золотым быком. Мария Ивановна дарит сосунка и вписывает его на трехлетие. Такой это работник, что раз в три года без него все хозяйство дрожало, и Мария Ивановна ужасно боялась остаться без Павла. Но никогда она не догадывалась, какую огромную роль играла в хозяйстве и няня.

С первых же дней после ее смерти вдруг оказалось, что Мария Ивановна могла вести полевое хозяйство только потому, что няня брала на себя все домашние мелочи, кухню, молочное хозяйство, присмотр на дворе, в птичнике, в саду, везде. И только потому, что няня смотрела за мелочами, а мать вела полевое хозяйство, третья женщина, взрослая дочь Лидия, могла заниматься в саду цветами, обшиваться, придумывать для приезда гостей особенные кофейные, ореховые и шоколадные торты. Когда все шло так ладно, Марии Ивановне не приходилось очень задумываться над жизнью дочери: и та ведь что-то делала, необходимо было, казалось ей, чтобы кто-нибудь украшал дом для приема гостей. Но когда на нее обрушилось огромное мелочное хозяйство няни, то совершенно бессмысленной предстала ей жизнь взрослой девушки, погруженной в бесполезные пустяки. Мария Ивановна принялась ворчать на Лидию, попрекать ее чуть ли даже не куском хлеба, под горячую руку называя ее прекрасные букеты цветов *вениками*. Да, она и умела-таки во время своих точений задеть за живую струну! Лидия отвечала криком, визгом, битьем посуды. Главное, плохо было, что почва, питающая эти скандалы, оставалась неизменною, а память о них изо дня в день царапалась, как алмазом стекло, и наконец дошло до того, что иногда одно какое-нибудь случайное слово с одной стороны обрушивало всю лавину боли и гнева с другой. Последний ужасный скандал вышел на первой неделе Великого поста, и — нужно же! — именно в тот день, когда Мария Ивановна собралась исповедоваться. В этот день поста и молитвы мать и дочь делали вместе миндальное молоко и заряжены были, как две разные тучи. Обе они делали множество неприятных друг другу движений и про себя вели им счет, и, может быть, это с лучшей стороны характеризовало натуру Марии Ивановны, что она первая бросила возмутительный мелочной счет про себя и, не посмотрев на неделю говенья, вдруг крикнула Лидии:

— Ах ты, поганка!

В ответ на это Лидия бросила на пол весь кувшин с миндальным молоком, закричала: «Меня оскорбляют!» — бросилась к себе в комнату и заперлась. Мать бросилась вслед за ней, чтобы перехватить и не дать ей запереться, но, не успев, забарабанила кулаком в дверь и закричала: — Вот я тебе дам, вот я тебе дам, негодница!

Вскоре она одумалась, вспомнила про исповедь, что перед этим необходимо даже у тех, с кем не ссорилась, просить прощенья. Спустя час подошла к ее двери и как будто обыкновенным веселым, но на самом деле в высшей степени фальшивым голосом сказала:

— Лида, отвори, пожалуйста, я у тебя забыла что-то. Не потрудились даже придумать что-нибудь.

Лида там промолчала.

— Лида, — сказала еще раз мать, — пусти, мне нужно.

— Не пущу, — отрезала Лидия.

А уже всю неделю Мария Ивановна постилась и только силой этого затраченного труда она удержалась от выражения гнева и удалилась, зачтя это себе в подвиг смирения.

Прочтенные две любимые главы из Евангелия совсем привели ее в покаянное состояние, она стала одеваться в черное, уверенная, что Лидия не посмеет идти против обряда и простит ее. Совсем уже готовая идти в церковь, она постучала к Лидии в дверь и сказала очень кротким голосом:

— Ну, Лида, я собралась в церковь, прости меня, милая.

Лидия молчала.

Мать струхнула, подумав про себя, не случилось ли с ней чего-нибудь, и повторила:

— Лида, ты слышишь, я говорю: прости меня!

На это Лидия отчетливо сказала за дверью:

— Не прощаю.

Тогда Мария Ивановна вдруг потеряла себя и, со всего маху ударив в дверь кулаком, закричала:

— Ах ты, поганка!

Лидия злобно захохотала.

Так была испорчена исповедь, и вся неделя строгого поста пропала.

Для говенья Марии Ивановне пришлось уехать в Шамордину пустынь, и оттуда она каждый день писала Лидии, и дочь тоже писала каждый день. И видно было из этих писем, что мать и дочь очень любили друг друга: мать больше жалела, а дочь больше уважала. Дочь писала о всех

подробностях деревенской жизни, мать — монастырской. Только одного не писала мать, что советовалась о дочери со старцем, как ее успокоить, — на курсы послать или выдать замуж, — причем совет у старца просила, подчеркивая, что дочь ее девушка, ей кажется, *обыкновенная*. Старец ответил: «Если девушка обыкновенная, и недурная собой, и приданое порядочное, то и надо стремиться устроить обыкновенное счастье».

Вскоре после Пасхи Мария Ивановна получила письмо из Сибири от младшего сына Михаила, что гимназию он кончает, но служить у дяди, как раньше думал, не хочет, а поступит в политехникум и сделается инженером. Конечно, радостно было узнать, что Миша хорошо кончает, но что он действительно сделается инженером, не поверила. «У него семь пятниц, — сказала она, — и еще сюда не доедет, что-нибудь придумает новое». Расстроенная мелочами упавшего на нее няниного хозяйства, Мария Ивановна при получении известия, что и четвертого сына ей придется содержать в высшем учебном заведении, смутилась: это, кажется, было уже не по средствам. Тогда с особенной тревогой стала она думать о Лидии: ведь она ничего не умеет делать и ничему не научится, пока будет жить с ней. А вдруг замуж не выйдет? Не вернее ли отдать ее в учебу, на курсы.

Мария Ивановна судила о курсах по семидесятым годам и по своей необыкновенной племяннице Дунечке, думала, что курсы существуют для исключительных, *идейных* женщин. Лидия, ей казалось, самая обыкновенная и может вполне удовлетвориться в замужестве. Она не красавица, но и не дурна, дородная — мужчинам это иногда нравится больше красоты; в приданое ей будет собственный незаложенный хутор не меньше как тысяч в десять ценой. Чего же лучше!

Мария Ивановна как-то проглядела, что на курсы стали ездить вовсе не исключительно за идеями, а самые обыкновенные девушки, чтобы потом зарабатывать себе кусок хлеба, и даже кто замуж хотел выйти, так и это стало гораздо удобней на курсах. Эту перемену в женском движении заметила даже Калиса Никаноровна, такая отсталая, презиравшая идейных курсисток семидесятых годов. «Идеи, идеи, — говорила она, — что ж тут хорошего?» А когда местные девушки, поехав на курсы, возвращались иногда через какой-нибудь год с мужьями, очень дивилась: «И где они их там подбирают! У нас хоть

шаром покати, ну просто жених стал никуда!» Совет старца на некоторое время совсем было успокоил Марию Ивановну, но когда в самые последние дни даже лакей Раменовых отправил свою дочь на фельдшерские курсы, она сильно задумалась, не отступить ли от прежнего плана и не устроить ли дочь на какие-нибудь курсы.

В трудных случаях Мария Ивановна всегда советовалась со всеми, ей было все равно, с кем бы ни советоваться, лишь бы свою мысль увидеть в зеркале и думать о ней, как о чужой. Решительно никого не упускала Мария Ивановна, чтобы не посоветоваться, и все, умные и глупые, ученые и невежественные, подтверждали ее мысль, что обыкновенное счастье для девушки лучше всего. Однажды старый князь заехал к ней, совершенный развалина и, как сама же Мария Ивановна говорила, «человек допотопный», но и его не упустила.

— Старее, князь, — сказала она, — работаю всю жизнь на банк и вот только одного достигаю: дети у меня получают высшее образование.

— Это не старость, — ответил князь, — это мудрость, Мария Ивановна. Для мужчин образование теперь дороже всего.

— Да ведь и девушки, — ввернула Мария Ивановна, — теперь очень многие едут на курсы.

Конечно, Мария Ивановна отлично знала, что князь большой враг женского движения, но, может быть, именно потому и подвинула сюда разговор:

— Я сама подумываю, не устроить ли мне свою Лидию на курсы.

— Что вы, что вы, Мария Ивановна!

— Да ведь все же едут!

— Пусть все едут, но я никогда бы не отдал свою дочь в *курсистки*.

И стал рассказывать долго и с ненужными подробностями, как однажды в Москве был свидетелем студенческого бунта, как нагайками загоняли казаки студентов и курсисток в манеж, и тут было бог знает что: студенты ехали верхом на курсистках, курсистки верхом на студентах.

— Что вы, что вы, князь!

— Ну да, конечно! Чему вы удивляетесь? То ли у них бывает. Нет, будь у меня взрослая дочь, я ни за что бы не отдал ее в *курсистки*.

Много переслушала Мария Ивановна разных советов, пока, наконец, пришла к убеждению большому, сложному,

связанному с переустройством всего хозяйства и всей жизни. Она продаст дубовый лес на своем хуторе и разделит деньги между сыновьями, этого им хватит кончить курс и устроиться. Деньги эти она отдаст сыновьям в уплату своего долга по отцовскому имени, которое она, таким образом, у них покупает, хутор она отдаст Лидии в приданое, имение сдаст в аренду мужикам, себе же оставит самую середочку, двадцать пять десятин. Этим решением она сразу всего достигает: у Лидии остается неприкосновенное приданое, сыновья получают самостоятельность и заботятся о себе сами, мужики будут платить аренду в банк, а на двадцати пяти десятинах скромно она может существовать, и хозяйство такое маленькое, что она спокойно поведет его, не чувствуя утраты няни.

Приятно было также подумать, что теперь она уже не будет опекуницей, а хозяйкой, и на старости будет совершенно независима от сыновей: вот это, может быть, и есть самое важное, чтобы не унижать себя на старости зависимостью от невесток, не становиться в положение тещи и свекрови. Порешив, что так этому быть окончательно, Мария Ивановна написала трем своим сыновьям, каждому совершенно одинаково, будто завещание:

«Милые мои дети, простите меня, что не могла нажить вам богатство, но совесть моя покойна за вашу судьбу, вы все образованные люди, нравственные».

После этого она написала им, как трудно было ей сохранить имение, но все-таки она сохранила его, и они могут кончить и устроиться, она же отдохнет. Одинаково всем написала также о Лидии, что ей отдает хутор, свое приданое, если хочет — замуж выйдет, нет — может и так жить. Прибавляла о младшем сыне, Мише, что он ее беспокоит, такой неопределенный и как-то от него можно всего ожидать.

Но самому Мише она писала гораздо теплее, чем другим, намекала ему, что в жизни, должно быть, нет ничего, кроме стремления к чему-нибудь высокому, и она это у него замечает, но только все-таки надо быть определеннее, не разбрасываться. План раздела она ему описала в подробности и заключила:

«И вся эта кутерьма, как ты видишь, вышла из-за няни, никогда и в голову при жизни ее не приходило, что все наше существование зависело от старушки».

Старший сын Марии Ивановны, Николай, узнав о разделе, очень обрадовался, он даже не стал и зачеты сдавать, чтобы не затянуло потом продолжать получать это ненавистное ему *образование*: терпеть не мог он своей агрономии. Он так рассудил, что образование в конце концов непременно приведет к казенному или частному месту и тогда неминуемо придется делить себя надвое: неприятная часть будет на службе, приятная — дома. Эту приятную и настоящую часть существования своего он видел в совершенно свободном пользовании чувством лени: устроился бы он где-нибудь в глухом городке и ловил бы раков и рыбу. Он и сейчас в Москве большую часть своего времени проводил на речке с удочкой и сачками на раков. Там, на излюбленном месте, у него всегда огонек, варятся раки или окуни. Иногда он захватывал с собой *живительной* жидкости и устраивал себе *маленькую нирвану*. Он был такой стыдливый, застенчивый, что в обществе, вероятно, боялся даже своего собственного голоса, но когда случалось с кем-нибудь разделить часы «маленькой нирваны», то беседовал задумчиво, высказывался весь до конца и был очень упорен в отстаивании своего лучшего для себя самого. Да никому и невозможно было спорить: ведь он же никому на свете не мешал своей мечтой о лени. Всех людей Николай разделял на *Служащих* и на *Жильцов*, причем внутри каждого Служащего он видел Жильца, забитого, запуганного, застенчивого, как он сам чувствовал себя в обществе. В его глубоком сознании, впрочем, было что-то вроде веры в какого-то, как он называл, *светлого* человека: тот был и Жилец, и Служащий вместе, совершенно бесстрашный и *настоящий*. Но в жизни таких людей нет, и появление даже в мечте такого человека Николай считал величайшей загадкой. Но раз Жилец в человеке есть самое его настоящее и лучшее, то зачем же забивать его окончательно и достигать большого казенного или богатого частного места? Зачем тоже ломать из себя святого, какого-то подвижника? Зачем мучить себя такой гордостью? Просто надо повиснуть в какой-то среде безразличной самим собой, Жильцом. Такую безразличную среду Николай уже возлелеял себе в часы нирваны: это будет акциз, где от служащего не требуется ума и особенной совести. Так он будет служить где-нибудь в глухом городишке и весь свой досуг будет отдавать реке. Акциз

казался ему особенно хорош тем, что внутреннему Жильцу тут нет никакой возможности *представляться*; вот хотя бы в положении доктора так легко вообразить себя другом человечества, агроному — другом крестьян; в акцизе же, особенно если по винному акцизу пойти, нет никакого искушения Жильцу не быть самим собой.

Но ни малейшей даже тени какой-нибудь идеи не было в Николае, как выходит непременно, если об этом рассказывать, и все, что высказывал он в минуты нирваны, потом сплывалось и пропадало без следа. В своей большой тайне мать свою он не очень любил и считал за настоящую мать няню.

Что-то враждебно-отцовское чудилось Марии Ивановне в молчании Николая и становилось ей на пути непонятным характером; в одиночку распекать она его не могла и как будто даже немного побаивалась. Но, конечно, когда он приехал, очень обрадовалась и приготовилась ему рассказать всю драму с Лидией. А Лидия сидела и не уходила от Николая. Ей хотелось залучить его поскорее к себе в комнату и там свободно болтать обо всем, что только придет в голову. Николай так уютно слушает все и улыбается спокойно всем пустякам.

Мало-помалу мать и дочь из-за Николая стали даже и раздражаться.

— Ты не читал, Коля, — спросила Мария Ивановна, — нового романа Потапенки «На действительной службе»? Не читал? Какой ты странный, ничего не читаешь. Там описывается, как генеральская дочь, такая необыкновенная идейная девушка...

Лидия насторожилась: не говорит ли мать о героине Потапенки в пику ей, обыкновенной, безыдейной?

— Это замечательная образованная девушка, — продолжала мать, — училась тоже в Сорбонне, как и Дунечка, потом пошла в народные учительницы, и там в деревне ее совершенно замучили мужики своей темнотой. Кажется так убедительно, что в деревенских условиях должно погибнуть всякое высокое начинание, а между тем наша Дунечка в таких же условиях выходит победительницей: у нее теперь первая школа в уезде, даже не первая, а до нее всем, как до неба. Я всегда очень удивляюсь, почему у нас в романах описываются разные униженные и оскорбленные, а не победители.

— А я не нахожу, — заметила Лидия, — что Дунечка вышла победительницей, она и сама себя не считает такой,

и у нас постоянно ноет, жалеет, что жила не для себя, на каком-то *легальном* положении, и что родилась женщиной, а не мужчиной.

— Это у нее иногда бывает от усталости, но ты же не можешь отрицать, что школа у нее замечательная и она сама, как святая.

— Святая — может быть, — холодно сказала Лидия, — но все-таки не равноапостольная.

— Какая ты все-таки язва! Так нельзя говорить о человеке, который всем пожертвовал для народа, ведь ее в деревне теперь за ангела считают.

— Я думаю, это больше мы ее считаем за ангела, а мужики — люди реальные.

— Мужиков я знаю не хуже тебя, мужики все такие же разные, как и мы с тобой, есть много, как и везде, реальных, но только что же в этом ценного? В человеке дорог порыв, стремление к возвышенному, — вспомни Машу, как она тогда в одно лето наших ребят преобразила, Миша до сих пор ее называет не иначе как Марьей Моревной. Вот и Дунечка делает то же в крестьянской среде.

— Неправда, между Машей и Дунечкой нет никакого сходства. Маша была тоже реальная, она просто интересная женщина и живет, как ей нравится, а Дунечка живет, как ей не нравится, недовольна даже, что женщиной родилась, у Дунечки все надрыв.

— Это ты берешь из Достоевского и смотришь на жизнь его больными глазами, почему ты не возьмешь другого примера? Недалеко от нас живет человек — всемирно знаменитый, в его сочинениях все люди здоровые, никаких нет надрывов, и сам он устраивает школу, даже пашет землю. Почему ты не посмотришь на Дунечку с точки зрения его идеалов?..

— Толстой — фигляр, — ответила Лидия, — он для чего-то притворяется и лжет сам себе, а когда я смотрю на тот портрет, где он пашет, я никак не могу отделаться от мысли, что это даже и неумный человек.

— Ну, что с тобой разговаривать, если тебе и Толстой — неумный человек. Вот, Лида, — выдумала вдруг Мария Ивановна прекрасный предлог, чтобы кончить этот неприятный и втайне личный спор, — сходи, пожалуйста, на парники, вели там рамы приоткрыть, видишь, день какой разгорается. Евтюха непременно арбузы попарит.

Лидия тоже обрадовалась концу и сразу ушла, а мать, сильно понизив голос, стала рассказывать Николаю, как

у нее обострились с Лидией отношения, совсем даже и жить стало невозможно.

— Теперь, — говорила Мария Ивановна, — всеобщая тяга на женские курсы, я бы не прочь и Лидию отправить, только решительно не понимаю, зачем ей курсы? Вот сейчас был разговор, ты думаешь, она действительно не признает никаких авторитетов и этим кокетничает? Совсем даже нет, а все из противоречия, в пику мне, у самой же у нее нет решительно никаких идеалов и даже просто интересов. Спросишь ее: «Кого же ты любишь?» Она говорит: «Я люблю естественных людей, самых обыкновенных». Но в чем у нее к ним проявляется любовь, совсем не вижу. Все у нее проходит в мелочах, даже газеты и то по-дурацки читает: начнет с январского толстого номера, читает его целый месяц, потом по порядку очень медленно номер за номером, и получается, что вот теперь май, а она где-нибудь в декабре прошлого года читает и то, по всей вероятности, фельетончики. Намедни такой срам вышел. Пришли Раменовы, разговор держится все о политике, все сочувствуют царю в его недоверии к Германии, одни тревожатся ужасами будущей войны, другие успокаивают, говорят, что — *концерт* европейских держав этого не допустит. Это слово «*концерт*» стало только недавно появляться на страницах «Русских ведомостей», я сама не сразу это поняла, что такое, думаю, дела такие серьезные, а тут все концерт и концерт. Лидия же при своем дурацком чтении совсем еще не дошла до концерта и, как услышала, вдруг и вмешивается в разговор: «В деревне одним плохо жить, что никогда не услышишь хорошего концерта». Решительно ничем не интересуется и вся в мелочах. Тогда зачем же ей курсы? Просто надо замуж отдать. Значит, Коля, ты тоже склоняешься к этому?

— К чему? — удивился, как бы просыпаясь, Николай.

— Я говорю: ее надо замуж выдать. Ты как думаешь?

Николай ничего не думал и ничего не мог сказать.

Вскоре приехал живой, веселый, и по-цыгански очень красивый медицинский студент Александр. Улучив минутку разговора с ним наедине, мать начала:

— Какой страшный мямля наш Коля, я намедни ему всю нашу драму рассказала, ты знаешь, мы с Лидией теперь переживаем настоящую драму...

Рассказав все по порядку и о мелочных интересах, и о концерте, в беседе с будущим доктором мать еще прибавила некоторые свои догадки о повторяющихся

женских днях, что не связано ли у Лидии все ее с этим, что это она переживает тяжело, ходит в эти дни странная, сама не своя?..

— Ты, Саша, скоро будешь доктором, как ты на это смотришь с медицинской точки зрения?

Александр хотел увильнуть, сказав, что до этой науки они еще не дошли.

— Какая же это наука? — спросила мать.

Александр думал, что мать не поймет, и бухнул:

— Гинекология.

Но мать, наверно, поняла, потому что разговор с третьим сыном, юристом, с этого и начала:

— Саша совершенно не может рассуждать. По-моему, это Дунечка своим нравственным чувством сбила его на путь медицины, доктора должны быть серьезными людьми, а Саше бы офицером надо быть, какой бы красивый был офицер, и как, правда, жаль, что у нас нет ни одного офицера. Ты бы, Сережа, все-таки поговорил с Лидией как юрист, может быть, под твоим влиянием она заинтересовалась бы женским движением, что-нибудь такое ей бы подпустил о правах женщины.

Осторожный Сергей, обдумав, сказал:

— Что ты, мама, как я могу повлиять на Лиду, она у нас старшая, и мы в глазах ее остаемся мальчиками.

— Вот как ты верно сказал, — обрадовалась мать хоть какому-то признаку рассуждения. — Вся беда, что Лида старшая и росла как-то совершенно одна, я же, всегда занятая в хозяйстве, упустила, и теперь душа ее мне кажется каким-то темным омутом: ничего не просвечивает.

Все эти разговоры поодиночке с приезда у Марии Ивановны были бессознательным тактическим приемом; ей нужно хоть сколько-нибудь расстроить сплочение братьев в одну шайку под темным влиянием Николая. Каждый в отдельности сын ей был дорог и мил, но все вместе представлялись какой-то силой против нее, той силой темной, которая раз навсегда порешила ее и осудила всю жизнь работать на банк. В этой силе, казалось ей, таились какие-то страшно грубые мужские страсти к вину и всякому необходимому мужскому безобразию.

Но все приемы были давно уже разгаданы братьями. Пока мать беседует с Сергеем, все братья за дверью только и дожидаются, когда он наконец будет выпущен. А к обеду уже все трое являются выпивши. Они стараются это скрыть, молчат и смотрят в тарелки, но большие черные

и омраченные глаза Марии Ивановны сверкают вдоль стола, как молнии. Лидии же как будто и нравится все это, она рассказывает неустанно анекдот за анекдотом из местной жизни, представляет, летает, как чайка перед грозой. Матери кажется, Лидия нарочно ее вызывает, пользуется случаем, чтобы слиться с братьями против нее в одну банду.

— Тебе, Лида, — сказала она, — надо бы в актрисы идти.

Слова были обыкновенные, но голос именно тот фальшивый, вызывающий непременно войну. Лидия побледнела, вся собралась и ответила:

— Недавно ты смеялась над старым князем, что он сказал в *курсистки*, а сама говоришь в *актрисы*, так вы скоро выдумаете меня в кухарки отдать.

В ответ на это мать сразу нанесла свой неотразимый удар:

— Я не нахожу ничего унижительного в труде кухарки, гораздо хуже, по-моему, пользуясь чужим трудом, вязать из цветочков совершенно бесполезные веники.

Лидия сразу вскочила, бросила салфетку, ложку на пол, бежит вон, кричит:

— У-у-у-йду в актрисы, в кухарки, уйду, уйду-у-у...

И так далеко бежит куда-то, и все слышится: «у-у-у...»

Братья смотрят в тарелки, они весь обед так и не видели лица матери, теперь им немного остается дотерпеть, но Саша знает, что ему все равно от смеха не удержаться, что он вот-вот прыснет и все провалит, он спешит, подталкивая ногой под столом, поскорей рассмешить Сергея, свалить на него и, заметив на лице его такую же борьбу, как и у себя, вдруг взрывается и говорит:

— Это Сережа смешит!

Сережа взрывается. Николай взрывается. Мать вскакивает и убегает в спальню.

Напрасно мать дожидается сыновей к чаю. Раздобыв себе все необходимое, они тихонечко прокрадываются по главной аллее на дорогу в рощицу. Множество соловьев поет в саду, потому что леса в уезде вырублены, только и можно собраться в садах. Их так много, что даже и неприятно, а дальше, когда вышли из сада в поле, то как будто позади осталась какая-то птичья кузница.

Почему же все говорят, что соловьи красиво поют?

Почему же думают, что семья Алпатовых примерная на весь уезд?

Почему в этом роскошном саду в цветущее время не может быть сладостного поцелуя и кажется он тем самым садом, из которого когда-то был изгнан человек навсегда?

— Выпить надо, и хорошенько,— сказал Николай.

Братья устроились у самого пруда под елочками, с такой заботой когда-то посаженными собственными руками Марии Ивановны. Тут развели они костер, запрятали в золу картошек, выпивая, разговаривали о концерте лягушек, швыряли в них камнями, лягушки смолкали и опять начинали, а когда наконец было достаточно подготовлено для душевного разговора по существу, Николай сказал:

— Ну вот...

— Да,— ответил Сергей.

Александр буркнул:

— Бе-е-е...

— Ты что?

— Ме-е,— промычал Александр.

— Мычишь ты, доктор, а между тем собираешься людей лечить, тебе бы надо в конокрады идти.

— Я, может быть, и пойду,— спокойно сказал Александр,— это как жизнь поведет.

— Поведет она тебя за зеленый стол... У нас в семье только на Мишу можно надеяться, у него искра есть.

— Бродяга будет,— сказал Сергей,— как Михаил Николаевич, помните? Назывался художником, всю Россию обошел, черным хлебом питался, принял на себя великий подвиг, а картины ни одной не написал.

— Вот тут-то и заключается,— сказал Николай,— вот то и хорошо. Я слышал нечаянно о нем разговор: один спрашивает, был ли он талантлив, другой отвечает — нет, он не был талантлив, но он был гениален. Это вот и есть искра, а картину можно и так написать, мало ли пишут картин? Ты, Сережа, скоро судьей будешь, цепь наденешь на себя: Соломон и Соломон! — тоже картина, и только мы тут вот знаем, какая цена этой картине. Заберусь я тогда в эту залу и потихонечку мигну тебе, и вдруг у тебя там внутри воспрянет твой Жилец: Судья будет судить, а Жилец дожидаться, когда же кончит Судья и можно будет с Колей рюмочку выпить.

— Ну, так ведь это обыкновенно, у всех так, что же с этим поделаешь?

— А я в акциз поступлю и буду там делать *минимум* один процент, все же остальное пойдет в раков. Я тебе тогда

мигну, и ты с презрением бросишь цепь судьи: не судите и не судимы будете. Мне нравится, что у Миши сочиняется какая-то «Кашеева цепь». Это я понимаю, чтобы всю цепь разорвать и освободить всеобщего Жильца. Но это уже какой-то максимум, я же себе ми-ни-мум!

Высоко подбросил Александр пустую бутылку и ловко поймал ее. Сергей растянулся на земле с раздутыми синими жилами на висках и вдруг сказал:

— Проехало!

— Что проехало?

— Все проехало. Ездок проскакал и меня не захватил. Но я хочу все-таки достигать, пользоваться.

— И наденешь цепь судьи, а я минимум.

— Все-таки минимум себе оставляешь?

— Дурак, не на почту же я поступаю, а в акциз по винному делу.

Потом все помутилось и начало повторяться.

А дома Лидия все сидит на замке. Мать дожидается сыновей к ужину и готовит им большую речь. Но, как воры, с величайшей осторожностью студенты пробираются к открытому окну, подсаживают друг друга, взбираются и заваливаются спать на диванах. Только напрасно они так стараются, мать проследила их ход, слышны уже тихие шаги в коридоре.

Николай велит:

— Гаси скорее свечу!

И это напрасно, она войдет, растолкает, добьется, что кто-нибудь огрызнется:

— Что тебе надо?

— А вот что надо, милые дети...

И потекут и потекут жалкие слова с обидными намеками на слабые места, такими, что всего перевернет, и, когда будет реветь в душе, начнутся проекты выхода из положения.

И уже прошлась мать два раза по коридору, заложив руки назад и обдумывая речь к сыновьям, и взялась уже за ручку двери, и сложились слова для начала:

«Вы теперь уже не маленькие...»

Николай прошептал:

— Все бежим через окно в сад!

Но как раз в тот момент залаяли на дворе собаки, все до одной собаки, и вскоре послышался стук в дверь. Потом закричала мать радостным голосом:

— Да как же ты приехал? На чем приехал? Неужели

пешком? Лида, вставай, Миша пришел! Коля, Саша, Сережа, выходите, Миша пришел!

В счастливую минуту прибыл Михаил, всем нужен был повод отделаться от неприятностей дня — и матери больше всего. Как ни в чем ни бывало все выходят, и кипит уже на столе самовар, всем радостно, весело.

Миша рассказывает без умолку. Он пошел пешком, чтобы с родной землей поздороваться, и какая же, оказывается, прекрасная эта черная земля и как хорошо пахнет!

— Как удивительно на тебя повлияла Маша, — сказала Лидия.

— Марья Моревна! Где-то она?

— Все там же, в Италии. Вот ты говоришь, что земля тебе особенно хорошо пахнет, а она прошлый год выдумала: привезла четырех итальянцев и одного французского аббата исключительно только, чтобы показать им красоту снежных заносов...

Мать, по обыкновению, перехватила у дочери интересный рассказ:

— Французский аббат мне особенно понравился; представь себе, когда снег пошел, он выскочил на двор и стал аплодировать. Работники наши рты разинули, а он смеется и хлопает в ладоши. Я первый раз видела живого француза.

Мария Ивановна не раз думала, что в семейной жизни дорога не жизнь, скучная и нудная, а минута; придет такая минута — и все прощается, и за эту минуту тянется семейная жизнь.

— Ну, Миша, — сказала счастливая мать, — тебе бог дал язык за всех четырех братьев: соловей, ну, просто настоящий соловей прилетел.

ИТАЛИЯ

Иному не хватает, может быть, какого-нибудь сантиметра в руке, чтобы дотянуться и расковать Кашееву цепь, и за этот сантиметр вся жизнь через туман, и нехватящий сантиметр кажется каким-то предвечным проклятием.

Юноша ужасно мучится над вопросом, кем ему быть, загадывает то и другое, между тем самая нехватка против сильной рабочей руки еще в утробе матери обрекла его на

художество, — чтобы тайная сила его сверкнула для всех, как искра из оборванного провода. В этом ли искусство? А может быть, искусство значит излучение силы в другого, у кого рука большая и сильная, но не хватает тоже очень немного, чтобы избрать себе верное движение?

В сырые туманные дни юноша непременно рисует на окнах пальцем всевозможное, в солнечный день режет палочкой на песке гравюры, но когда попадает в руки перо или карандаш, то выписывает себе в тетрадку чужие рассуждения. Это значит, он вырабатывает себе мирозерцание по программам Московского общества ревнителей народного просвещения. Можно ли, однако, читая социологию Спенсера и Максима Ковалевского, определить свое значение? В учении о личности он находит себе временный ответ: он сделается цельной личностью, непременно инженером, потому что инженер — ученый человек, но не как доктор Фауст — метафизик, а и ученый, и вроде как бы офицер, живой человек. Так преломляется социология Спенсера и Максима Ковалевского в юной голове.

Одно плохо, что математика — ненавистная наука, но вот именно потому, что она ненавистна, и нужно ею заниматься и восполнить пробел природы; математика будет по долгу, а по любви — загадочная наука химия, и так он сделается инженером-химиком.

Однако верно сказала его мать, что, может быть, и домой он не доедет еще, как все у него переменится. Пришлось ехать на пароходе почти неделю по степям и лесам, где все манило к свободе, и ужасным казалось это будущее с вечной математикой. Нет, нужно найти такое знание, чтобы открывалось все — и человек, и природа; наука была бы такая же увлекательная, как искусство, и то же искусство не расплывалось бы в одно удовольствие, а служило бы, как у Шиллера, высоким целям. Точка, за которую бы можно ухватиться и все повернуть, иногда показывалась так близко, что еще какой-нибудь сантиметр, и дотянулся бы и все повернул, но вдруг она ускользала, а в себе все росла и росла пугающая пустота. В последнюю ночь к этому еще прибавилось очень неприятное чувство, что матери он написал так определенно о себе, а вот, оказывается, все уж переменилось, она по копейке собирала, чтобы дать детям образование, а он даже не знает, что делать с собой.

Было очень много совершенно неясного, от чего робсет душа и блуждает, оторванная от жизни, пока вдруг

не найдет и не узнает свою прекрасную родину в самом обыкновенном лице или вещи. Это было уже совсем близко от родного города, в окне мелькнул огромный дуб, какие еще встречаются в черноземном краю, и вслед за этим откликнулся какой-то удивительно радостный Жилец изнутри себя, и в один миг рассказалось большое, далекое, что было с ним, когда все еще его звали Курымушкой.

С самого своего малолетства помнит он ожидание красного звона, когда должен прийти к ним какой-то гость с волшебной палочкой. Так рассказывали, что один барин всю землю свою, усадьбу, имущество отдал мужикам и вышел из своих ворот только с палочкой. Курымушке одно было интересно в этом известном рассказе, что барин ушел с палочкой, и казалось, что все тут было в палочке, и она совсем необыкновенная и даже лучше, чем у Гуська его *писаная* и тоже знаменитая.

Рассказывали, что барин с палочкой иногда приходил в деревню. В эти дни заказывался молебен, и мужики под красный звон жарили общую яичницу. Курымушка ждал его с красным звоном, а пришел он просто, и никак нельзя было подумать даже, что вот настал этот желанный час и пришел этот самый гость с волшебной палочкой. Раз на дворе ужасно всполохнулись собаки и с остервенением кого-то сгребли. В таких случаях из ворот показывается нищий с безобразной длинной палкой, но тут вышел совсем особенный человек в шляпе, — большая редкость! — в синей блузе, — тоже необыкновенно! — сапоги высокие, борода стриженная, а в руке отличная суковатая палочка.

С замирающим сердцем спрашивает Курымушка:

— Не такой ли и барин с палочкой?

— Он самый, — шепнула мать и, как всегда, просяв радостью к гостю, сказала:

— Неужели пешком? Вот как вы, художники, путешествуете. Наверно, очень устали?

— Ничего мне не делается, — сказал художник и, просунув через балясики балкона свою удивительную палочку, велел Курымушке:

— Тащи!

Схватив конец суковатой палочки, Курымушка из всех сил потянул, а он в один миг вскарабкался по столбу и очутился на балконе за чаем. Вскоре у них начался разговор о Толстом, о его запрещенном сочинении, где муж убил свою жену, мало-помалу разговор переходит в спор, мать кричит на художника, как на пьяного старосту:

— Поймите же, если мужчины не будут сходиться с женщинами, род человеческий совсем прекратится.

— И пусть прекращается!

— Вы только ходите.

— А вы, как наседка, сидите.

— У меня обязанности, я пять человек ращу, мне нельзя, как вам, отдать мужикам землю, я должна всю жизнь работать на банк, я должна беречь землю, а не бросать, я даже это и заслугой-то не считаю: отдать землю, а самому ходить.

— Не отдадите — хуже: у вас ее рано или поздно отнимут.

— Знаю и всегда говорю, что земля непременно перейдет мужикам, но у меня есть обязанности, я связанный человек, а вы не *от мира сего*, и обязанности у вас только к своей палочке.

Курымушка даже визгнул от радости: что за чудесная жизнь открывается ему впереди — вечно ходить и обязанности иметь только к одной своей палочке волшебной.

В разгаре спора мать зачем-то вышла, а художник вдруг схватился за перила, прыг за балясики на землю и скрылся за воротами. Собаки бросились, конечно, за ним, а мать, услышав собак, подумала о нищем и сказала Курымушке, появляясь в дверях:

— На вот, подай копеечку. А где же Михаил Николаевич? — спросила она.

Курымушка с восторгом рассказал ей о великолепном прыжке. Мать ахнула и велела скорей догонять и просить, чтобы непременно вернулся.

Далеко он не успел отойти, сел на валу возле полей под большим дубом. Все передал Курымушка, что ему было велено. Художник заглянул ему в глаза, усадил рядом с собой и сказал:

— Какая тишь! Деревья-то, как восковые!

Стало очень хорошо, и все обыкновенное — и дуб, и поля, и трава показались отчего-то прекрасными. Неужели все это сделалось так от волшебной палочки?

— Ну, посидим же и сами потише, — шепнул художник, — мы с тобой будто на корабле путешествуем. Итак, думай, что земля эта незнакомая и растения эти невиданные. Посмотри, какое кружево!

Взял в руки трилистник.

— Есть у тебя сестренка?

— Лида.

— Лидин листик. Еще кто?

— Кот Васька.

— Васькин. А еще кто?

— Мамин, конечно.

— Нет же ей листика, она очень кричит, на этой земле нельзя кричать, это — волшебная земля. Ну, помолчи, не спрашивай больше ничего, едем и едем, ты сам живи, а я тоже сам.

Вот как хочется Курымушке спросить, куда они едут, какая это земля, а нельзя: художник уйдет и ничего не будет. Долго ехали, наконец художник сказал:

— Мне пора.

— А где же мы были?

— Конечно, в Италии.

И как же было грустно возвращаться домой. Мать, взволнованная, спрашивает:

— Где был столько времени?

— В Италии, мама, — ответил Курымушка.

— Какие глупости. А Михаил Николаевич?

— Ушел.

— Как же ты его не удержал. Куда он ушел?

— Наверно, в Италию.

И так он больше и не вернулся, а показался опять в городе, когда Курымушка учился в гимназии. Жил он в слободе, в заброшенном большом саду, в бане.

Бывало, все ждет Курымушка воскресенья, чтобы забраться к художнику в баню, но не всегда застаёт, часто на бане висит замок и записочка на двери: *ушел*. Он везде бывал, все обходил, недаром этих художников звали *передвижники*.

Курымушка очень любил делать для художника угли: берет березовый сучок, завертывает в просоленную тряпочку, сжигает, и получается то, чем рисуют. Раз он так очинил уголек и одним махом нарисовал замечательного гиппопотама. Художник очень удивился.

— Ну-ка, нарисуй крокодила.

И крокодил вышел удивительный, а слона художник даже взял себе на память.

— У тебя, — сказал он, — большие способности, ты почаще приходи, я тебя буду учить, художником будешь.

Разговор оборвал какой-то толстый человек, вошел в баньку и сказал:

— Ну вот, насилу-то я вас застал, вы только ходите и ничего не работаете.

На это художник очень странно:

— А у тебя есть баба?

— Ну, есть жена, — ответил толстый.

— А тут у ней густо?

— Густо.

— И тут?

— Густо.

— Вот ты и сидишь с бабой. А мне как? Бывает ночью такое — представится — у-у-ух! зубами бы разорвал... очнешься, палку в руки, записку на баню, кусок черного хлеба в карман, и пошел и пошел умыть. Так с одним черным хлебом и обхожу, — великое дело, я скажу тебе, черный хлеб, ведь в нем солнышко...

— Так-то так, — ответил толстый, — а почему же вы ничего не пишете и работ своих никому не показываете?

Художник усмехнулся. Из маленького окошка своей баньки он показал на синее небо, удивительно из баньки прекрасное, и по синему плыл плотный белый корабль.

— Ну, как?

— Небо-то?

— Да небо, хорошо небо?

— Ничего себе: лысенькое...

— Сам ты, дурында, скоро будешь лысым, а небо — великая красота, великая святость. Ты, олух царя небесного, думаешь — легко художнику взяться такую-то святость белилом на холсте мазать? Ничего-то вы не понимаете, настоящие художники живут только в Италии, вот соберусь как-нибудь, встану легкой ногой, возьму целую ковригу черного хлеба и уйду от вас в Италию.

Плохо эту неделю учится Курымушка, в гимназии на уроках рисует гиппопотамов, дома готовит к воскресенью замечательные березовые угли. А когда наконец пришло воскресенье, то не дождался и звона к ранней обедне, бежит по безлюдной улице в слободу, сокращает дорогу пустырем, перелезает через забор в сад, спешит и далеко видит на баньке замок, и белеется записка, прибитая к двери гвоздиком. Стоит мальчик на приступочке и разбирает удивительные слова:

УШЕЛ В ИТАЛИЮ

Так вот и оказалось тогда, что уйти можно, и это легло тогда давно куда-то в запас. И не раз в трудные минуты жизни шептал себе Курымушка, как иные шепчут молитвенное утешение: «Буду учиться, страдать, делать

все, что только мне велят, но, когда станет так плохо, хоть умирай, я не буду умирать, брошу все, возьму палочку и уйду в Италию». А еще он оставил себе в запас догадку о том, что взрослые люди могут играть и шалить нисколько не хуже, чем маленькие, напротив, у них есть свои какие-то необыкновенные прекрасные игры, но они это держат от детей в секрете, потому что если только дети это узнают, то ни за что не будут учиться и слушаться и все разбегутся в Италию.

Вот теперь, когда Миша Алпатов увидал из окна поезда родной могучий дуб, сразу вышло это из запаса и даже определило движение: Миша Алпатов, конечно, мог бы нанять лошадь, и дома, ни слова не сказав, за нее бы заплатили, но он ехать не хочет, сдает свой чемодан на хранение и, как тот художник, хочет идти пешком. Та слобода, где жил когда-то художник, ему совсем не по пути, но он делает порядочный крюк только затем, чтобы взглянуть, цела ли хоть та банька. Было очень приятно увидеть баньку в подтверждение, в доказательство золотого, похожего на сказочный сон, воспоминания.

Дальше за городом открылся знакомый большак с очень старыми и редкими лозинками, и тропа на стороне осталась точно такой же, как и раньше, с такими же извилинами. Недалеко от сворота с большака в проселок было кладбище с грудой камней, скот между могилами по-прежнему бродил, валил последние уцелевшие кресты; когда-то их ставили вновь, потом махнули рукой, — сколько ни ставь, все равно разломают.

Но юноше нет никакого дела до нагого кладбища; он смотрит на синее небо и думает, что это же самое небо вон там, на горизонте, загибается, и там где-то под ним непременно, — не сказка это, — Италия, настоящая, с Римом, вроде как бы доказательство всегда везде существующих чудес всеобщих Италии и Эллады.

И вот начинает показываться оттуда, выдвигаться малопомалу большой плотно-белый корабль Одиссея.

А что плыл настоящий Одиссей, это можно доказать по Гомеру: Одиссей плывет, а Гомер в доказательство. Одиссей что-то заметил в синем море, подымает голову все выше, выше, светлея, улыбаясь кому-то. А в той стороне, куда он глядит, разлегся прощенный, лениво отдыхающий от великих своих дел Прометей; он тоже заметил Одиссея, и подымается, и улыбается.

О дорогой Прометей, какой ты хороший!

Михаилу Алпатову не думается, что он идет, любуясь и мечтая, как всякий юноша, а что у него есть *доказательства* всего этого прекрасного и что вовсе это не пустяки в облаках, вон там, где великан великану улыбается, помахивая широкой полрой.

Он приходит домой в темноте, но и в темноте продолжается прекрасное, мать, встречая его, говорит: «Соловей прилетел», — а братья — не прежние его старшие братья, похожие на братьев Иосифа, а новые, хорошие, и будто не он пришел, а они пришли к нему, как в Египет к Иосифу.

А когда он лег спать, то соловей сел на форточку и пел до утра.

Встало росистое утро. На липах в зеленом свете поют золотистые иволги. Ну, вставай же, Иосиф! Пришли твои бедные голодные братья, бери ключи и открывай скорей для них житницы фараона!

И в доказательство из жизни слышится очень добрый голос радостной матери:

— Вставай, Миша, не пропускай: утро какое прекрасное.

БОЙ

Редко бывал у Алпатовых такой день, чтобы все собрались вместе и вдруг решили бы согласно какое-нибудь большое дело. Но тут просто за чаем решили все, как начертала Мария Ивановна, и даже распределили обязанности по хлопотам: Николай с Сергеем будут готовить работу по сводке дубового леса. Александр вызвался съездить в губернию за разрешением на раздел. Михаил будет хлопотать здесь, в городе, у нотариуса. Лидия хотя и не приняла никакого участия, но и то было очень много, что не мешала. Мать упустила из виду в первые дни попытать Мишу о его плане, и сам он мало об этом тревожился. Все осмотрел, день в саду — и все вспомнил, день в лесу — узнал все детские деревья, еще один день был в деревне, поймал со старым Гуськом перепела. Все было неизменно, как раньше, только все стало удивительно маленьким.

Пришла Троица. С дикими песнями, горланя во весь дух, пришли к балкону нарумяненные девицы и парни в пиджаках, пробовали под гармонью составить хоровод, но явился пьяный Афонька, всех сбил, все перепутал и,

завладев общим вниманием, стал говорить о сотворении мира, и о Ноевом потопе, и как взбунтовались звери в ковчеге, как Ной усмирил зверей и по ошибке очень обидел верблюда и наградил осла.

— Притча эта есть бабам о человеке,— сказал Афонька,— ведь у мужиков бывает по-разному.

— Безобразие,— сказала Мария Ивановна и, сунув бабам на подсолнухи, прогнала хоровод.

На другой день она вышла к чаю уже в другом настроении, и как раз тут в передней кашлянул Павел.

— Ты, Павел, опять ко двору? — спросила она с раздражением. — Лучше и не просись, все равно не пущу.

— Я не ко двору, Мария Ивановна.

— Что же тебе надо? Денег тоже не дам.

— Денег я не прошу. Разрешите, Мария Ивановна, сходить на кулачный бой.

Мария Ивановна замолкла. На кулачный бой Павла не пустить невозможно, это как бы и в договор входит, что в Духов день Павел непременно идет в Пальну биться. Подумав немного, Мария Ивановна сказала:

— Ступай!

— Я тоже на бой пойду,— сказал Михаил.

— Какие глупости, не успел приехать, только что делами занялись...

— Делами я и пойду заниматься, с боя зайду к Дунечке в школу, потом прямо в город к нотариусу. Мне непременно надо с Павлом: я никогда не видал кулачного боя.

— Рвет тебя на части, какой-то непоседа вышел, только бы странствовать, — боюсь, из тебя выйдет что-нибудь вроде Михаила Николаевича.

— Разве это нехорошо?

— Что же тут хорошего! Землю роздал мужикам, а сам пошел, так вот я бы взяла и роздала, а вас бы бросила.

Михаил поспешил поскорее выйти, чтобы мать не заворчала сильнее и не начался бы неприятный допрос, кем ему делаться, в какое поступать учебное заведение. Павла он догнал уже за деревней.

В полях было марево, струйками подымался из черной разогретой земли светлый пар, и за ним дрожали, двоились и оставались висящими в воздухе кроны старых лозинок на большаке. Великан Павел услышал догонявшего его Михаила, оглянулся, остановился и осклабился: хорошо он умел улыбаться, потому что был очень силен и зла ни на что на свете не имел. А почему же все-таки еще с самого

раннего детства, помнит Миша Алпатов, сердце всегда сжималось при мысли о Павле, что такой великан живет и не хочет видеть ничего вокруг себя, как его обижают... Кто обижает? Никто Павла обидеть не может, а все-таки, всегда казалось, Павла обижают, и от этого сердце сжимается.

— Помнишь, Павел, я был тогда маленький, и меня звали Курымушкой, у нас жил тогда страшный такой человек, Иван, помнишь?

— Иван Захаров?

— Он самый. Помнишь, царя убили. Ты пришел тогда с Иваном к нам в дом ночевать. Няня говорит: «Теперь зачисто всех господ перережут». Иван отвечает: «Всех под орех». Помнишь, Павел?

Великан улыбается.

— Помнишь, он говорил: «Бог выгнал человека из рая и велел обрабатывать землю в поте лица. Адам стал пахать и заслуживать». Потом я забыл, как он сказывал, мне кажется, вроде того, что в раю опять согрешил человек, и бог опять выгнал его пахать землю, но только забыл, когда выгонял второго Адама, что земля уже занята первым Адамом и выполнить заповедь невозможно. У первого Адама спасение от себя самого зависело, а второму без земли хоть разорвись, не спасешься, ошибка была тут у самого Создателя: выгнать сумел, а земли не прибавил. Помнишь, так, кажется?

— Помню,— сказал Павел,— после того собирались мужики землю столбить.

— Вот — столбить, и, кажется, это ты говорил, что на каком-то старом дереве в нашем саду твой дедушка хомут вешал и, значит, тут надо столб ставить: земля ваша.

— Ну, и память же,— удивился Павел.— Было это так точно: дедушка мой вешал хомут.

— Потом Иван пропал.

— Угнали Ивана.

— И все стихло и кончилось. Что, как ты думаешь, начнется когда-нибудь опять или так навсегда и кончилось.

— Не знаю,— сказал Павел,— как я могу знать.

Он, правда, ничего не знал и не думал об этом с тех пор, как сослали Ивана.

Вышли с проселка на большак. Далеко, как море, раскинулась эта земля, вся разделенная на мельчайшие полосы, с большими островами имений. По большаку толочет в мареве лошаденка, и голос слышится:

— Ну, толокись, толокись, бестолошная!

Когда лошаденка поравнялась, седок в черном новом картузе остановил дрожки и спрашивает:

— Милый человек, скажи, где тут бой?

— Вон, пивнушка на лугу, — ответил Павел, — видишь, там и дерутся. Пальна с Аграмачем.

— Хлестко бьются?

— Жестоко. Обедня отойдет, и примутся морды метить и ребра ломать. Смотри, смотри, вон из города валят смотрители...

Человек в новом картузе хлестнул лошаденку, и опять она толочет, а он покрикивает:

— Ну, толокись, толокись, бестолошная!

Когда Алпатов с Павлом вошли в толпу, все кругом разговаривали, городские и деревенские, знакомые и незнакомые.

— Ну, как вчера дрались?

— Вчера хорошо, но сегодня будет лучше, в Духов день всегда лучше дерутся, чем в Троицу. Сегодня будет ужасный бой, страшное кроволитие. Поздняя отойдет, и все на луг затравлять, в полдень станут биться и бегать к реке морды мыть. Весь берег будет в крови.

— И насмерть?

— Во-на! Только редко сразу бывает, больше постепенно помирают.

— А не грех это? — спросил Алпатов.

— Какой грех! Это дело любовное, это не от сердца дерутся. Спасибо даже говорят, когда ловко ударят. Даже и на смерть свою скажет иной: благодарю.

— Неужели же и за смерть свою благодарят?

— Собственно за свою же смерть и скажет: спасибо... Ну, как же! А это у нас от сотворения Руси Пальна билась с Аграмачем. Пальне помогают касимовские и ламские бойцы. «Грех!» Вот что сказал! Тут греха нет никакого, ведь ежели бы камнем, а кулаком не грех, а честность. Хороший боец никогда даже в морду не бьет, всегда в душу или в ребро. У хорошего бойца кулак, что копыто, так и хрустнет. У меня самого кулаком душевную кость перебили, чуть непогода — я не жилец! А винить никого не желаю, это не покор, это дело любовное, вышло — вышло, а не вышло, так дышло.

— Гамят, гамят!

Все ускорили шаг и потом, когда ударили все колокола, побежали. Кончилась обедня, и первые выбежали из церкви

мальчишки в белых, красных и синих рубашках. У них началось примерное, потешное сражение.

Оба зеленых склона разделены ложиной с проточком — одна сторона от Аграмача, другая с Пальны. Чья возьмет? Кто кого выгонит из ложины?

Маленькие не бьются, а только примеряются, растрavляют больших. Кто-то когда-нибудь вступится за обиженного мальчишку, а против него станет другой большой, а потом целая стена больших. Вот этого-то ждут и следят за мальчишками.

Пожилые почтенные люди приходят на место будущего сражения и чинно рассаживаются по обоим склонам. Но молодые гуляют вдоль реки. Сколько тут расфранченных девиц. Атласные кофты, бархатные, шелковые, переливчатые зонтики, шляпы, калоши, гармоньи.

Но придет время — боец и девку, и гармонью бросит.

— И этот? — спрашивает Алпатов, показывая на красивого молодого человека в мягкой шляпе, с длинными, до плеч, волосами.

— Нет, этот не бросит, этот монах.

— Нынче монахи-то размонашиваются, — рассказывает про него древний старец с пожелтевшей от времени седой бородой и длинной лозиновой веткой в руке. — Не монах, а только зовем монахом, пахать неохота, вот и пускается на всякие хитрости.

Мало-помалу монах для Алпатова стал Парисом, старец с веткой в руке — Приамом. Тут сколько угодно героев. Главный боец из Пальны подымает сорокаведерную бочку, пляшет с тремя кулями, силы, говорят, в нем очень много, а настоящей развязки в бою нет. Лысый касимовский боец всем бы хорош — и сила есть, и развязка, только вот лыс, потому что ему в прошлогoднем бою всю макушку оббили. Вон и ссыльный вор в красной рубашке, юлит, будто кот. А вот еще разбогатевший мужик в английском пиджаке и в желтых американских ботинках, солидный, как председатель земской управы, но, говорят, когда разгорится бой, не выдерживает и бросается. Даже у девяностолетних стариков играет кровь, и они, бывает, не жалея седых волос, бросаются, покашливая, в битву.

Приходят женщины с грудными детьми, приходят даже больные, и все кричат «ура!», когда по дороге из города, стоя на телегах, разукрашенных березками и полевыми цветами, с гармоньями в руках показываются ламские смоляные бойцы. Все бойцы скоро смешиваются с толпой,

прячутся за спинами и оттуда зорко выглядывают: нет ли и у аграмачинцев каких-нибудь богатырей?

Тень ложится от холма к холму. Все стихает.

— Боятся начинать,— говорит Приам.— Так ли бывали в старое время! Мельче народ стал, больше криком, стеной берет.

— Мельче,— говорит Алпатов.— Почему стал народ мельче?

— Свиной продавать стали. Раньше все ели сами, а теперь продают, чаевой народ пошел, мертвый.

— Год тощий,— возражает ему другой захудалый мужик,— не народ, а год.

— Затянул волынку! — сказал красавец Андрюшка.

— Нет, истинно год,— согласился с захудалым кровельщиком мастеровой человек.— Я хоть бы насчет крыш скажу: господа разорились, крыш не кроют, как тут не отощать?

— Вовсе подтощал народ,— согласились другие,— задумчивый стал, бывало, выпьет и развеселится, а теперь все чего-то ищет, все ищет.

— Уходит! — таинственно шепчет кровельщик.

Тень от Пальны закрыла весь Аграмач. Кто-то сказал:

— Если теперь взорвет, то всех сразу от мала до велика.

— А если остановят?

— Разве можно такой народ остановить?

— Если десять казаков...

— И двадцать не остановят.

Тогда кто-то сказал тихим и убежденным голосом:

— Суд остановит.

Услыхав слово «суд», городская сухая старая мещанка, лицо в кулачок, с сигаркой во рту, сиплая, стала вроде как бы причитывать:

— Суд, батюшки, суд, и такой-то суд будет великий.

— Ну, пошла, Чертова Ступа!

— Великий, Страшный суд,— продолжала Чертова Ступа,— всех зачисто перережут, всех богачей, всех купцов, всех попов, дьяконов, господ, всех без разбору.

— Не грехи,— останавливает серьезная деревенская женщина.— Как так без разбору? Кого и оставят. Это божье дело, без разбору нельзя: кто больше грешен, с того больше спросится, кто меньше, и там будет меньше.

— Ой, нет, ой, милые, нет,— продолжает Чертова Ступа,— всех господ, всех шапочников и всех шляпочников. И восстанут в последние дни сын на отца, мать на дочь,

брат на брата, сестра на сестру, все, родимые, как кошки, сцепятся, где тут разбирать, где тут...

Вор вышел затравлять. Другой затравщик в белом картузе слегка дал ему в душу. Вор перекошил рот, выкатил глаза и стал медленно, как мертвый, валиться. Белый опустил руки. Тогда вор вдруг ожил и ударил так, что белый снопом свалился на землю и стал корчиться.

Вор обманул.

Старик с порыжелой бородой поднял свою лозиную ветку и бросился на аграмачинского вора. За стариком бросился Павел и сорокаведерный боец. И все сразу смоляные бойцы. И вся гора.

Высоко взвился в воздухе котелок богатого мужика. Губы кровельщика открываются, но ничего не слышно. Алпатов подставляет ухо, и тот кричит в восторге:

— Как ваш Павел-то рубит!

А у богатого мужика все лицо в морсу. У вора давно выворочены салазки, на лице негде курице клюнуть. Двое покатались к реке. Один схватился за ухо и вертится, как круговая овца.

— Пальна бежит!

Бегут женщины, старухи, мальчишки и тот Парис с двумя монашками.

Ничком на земле лежит мужик в изодранной красной рубашке, возле него стоит женщина, в одной руке у нее шапка мужа, в другой ребенок, убивается она, что новую рубашку на муже в клочки изорвали.

Щупают мужика.

— Ничего, бока тепленькие.

И тащат к реке. А внизу победные крики:

— Пальна взяла! Аграмач бежит!

Толчет назад лошаденка по опустелой деревне. Седок покрикивает:

— Ну, скорее беги домой, бестолошная!

Из крайней хаты выползает навстречу кто-то козлообразный на четырех лапах. Это больной, параличный дедушка не вытерпел, глядит красными глазами, спрашивает:

— Чья взяла?

— Пальна, дедушка.

— Слава тебе, господи.

И крестится своей старой лапой.

По большаку полями идет юноша с раскрытой душой, как поля, и готов всему на свете дивиться и все любить, но

чудится ему, будто где-то у горизонта встает безликая икона страшного черного бога, и навстречу ему из оврага Чертова Ступа читает свои страшные пророчества о всеобщем конце, когда загорится край неба-земли, затрубит архангел и все пойдут на этот ужасный суд. Бывало, в раннем детстве *божественная* няня пугала этим судом, а теперь Чертова Ступа с сигаркой во рту, — такие разные, няня и злая городская мещанка, а бог все такой же черный, безрадостный.

Поля пересекаются глубокими оврагами, через которые в мареве как будто уходит на небе, складываясь там в свободные облака, дух земли, а сама земля зеленеет нерадостно под вечной угрозой черного бога: «Зеленей, зеленей, а вот придет час, загорится край неба...»

Бывает, ландыши запахнут тем, что для человека считается позорным, а бывает, от стены, облитой животными, повеет чистыми ландышами; зимой станет себе, как весной, летом покажется зима, — все это имеет значение не только в кружевах жизни, но и в делах. Так показалось вдруг Алпатову, когда он вступил в цветущий Дунечкин сад, будто он пробудился зимой, когда выпадет пороша и становится светло в комнатах. Кругом была сирень, цвели молодые яблони, на высокой траве ползали пчелы — весна, но чувство зимней свежести, скользнув, не прошло, а нарастало: и яркое белое здание школы, на которое Дунечка истратила свое приданое, белые фартуки девочек, услужливые мальчики, и эта светлая келья с гравюрой Рафаэлевой мадонны, с портретами святых писателей: Глеба Успенского, Гаршина, Надсона... Сама Дунечка была такая же, как говорили о ней, ми-ни-а-тюрна-я, но только теперь совсем строгая, в таких верных линиях, будто ее на меди вырезал гравер.

Даже самовар у Дунечки был не обывательский, пузатый... а узкий, маленький, и на сверкающем никеле не было ни пушинки золы.

— Этот янтарный крестик, мне кажется, я раньше не видал у тебя.

— Это недавно мне Маша привезла из Италии: приезжала с итальянцами любоваться нашими снежными заносами, им красота, а мне крестик.

— Я этого не понимаю и часто думаю, когда вижу красивый холм, почему мне красота, а мужик пашет и проклинаят и дорого бы дал, чтобы этот красивый холмик сровнять.

— Ты читал Чернышевского?

— Читал, но все равно не понимаю. Раз я видел в Сибири высокий курган, и на нем стояли заповедные сосны. Из-за кургана стало показываться солнце, и мужик, ругаясь на лошадь, медленно, как и солнце, подымается: солнце с той стороны, мужик с этой, друг другу навстречу. Я бы ни за что не отдал скрыть этот курган, а мужик сроем с радостью. Итальянцы приедут и скажут, что холм этот должен быть, и французы, англичане, все на свете — это общая красота, а мужик лишен этого чувства и враждебен, я считаю мужика обиженным, он не может участвовать в общей радости. Но это еще хорошо! Есть такой мужик, который завидует пашущему холму: у него лошади нет. А есть, кто не выходит от плавильной печи... Значит, я спутался и не могу поймать... как ты об этом думаешь? Да вот еще: я сейчас был на кулачном бою, и мне про себя потихоньку казалось там хорошо, ведь и в «Илиаде» бой описывается, и у англичан есть бокс, а кулачный бой мужиков считается чем-то презренным. Почему это?

— Не знаю, Миша, все, о чем ты говоришь, было так давно, мы спорили об этом целые ночи, а в жизни оказалось — все это имеет так мало значения...

— Дунечка, чей этот портрет?

— Это моего брата портрет, ты не видел его никогда.

— Гарибальди, как же... Помнишь, ты любила мне читать из Некрасова:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин.

Я всегда думал, что твой брат и есть этот бледный господин.

— Я теперь Некрасова редко читаю: все у него неверно оказалось, это он воспевает наш собственный мир, но не мужицкий.

— Разве это два мира?

— Раньше я думала, по Некрасову, что один, а теперь, кажется мне, существуют два разные мира. Я себя, ты знаешь, строго сужу, но спроси других, и все тебе скажут, что школы, подобной моей, далеко вокруг нет. Я веду за собой детей, но только пока они дети. После школы большая часть их возвращается к земле, и все забывается, а выдающиеся «в люди» выходят: среди моих учеников уже есть два попа, семь дьяконов и двенадцать полицейских. Спроси в деревне их родителей, и они скажут тебе, что я их

ангел-телохранитель. Понимаешь? Они все мое дело понимают материально: дьякон — это не то что мужик, и за это они меня называют не ангелом-хранителем душ, а хранителем тела, каким-то лейб-ангелом. И так все сводится у них к землице, которая не возвышает их, как мы думали, по Успенскому и Некрасову, а уничтожает, вся душа их выходит в реве: «Земли, земли!»

Дунечка вдруг спохватилась: не далеко ли она зашла в этой исповеди мальчику?

— Ну, как тетенька? — спросила она. — Все ссорится с Лидией?

— Она собирается выдать ее замуж. Ты как об этом думаешь?

— Тетенька — совершенный ребенок. А ты что с собой думаешь делать? Пойдем-ка в сад, я покажу тебе, какой я вырастила сад за эти годы.

И опять Алпатову в цветущем саду стало пахнуть порошей, будто каждая частица Дунечки, пережив свое назначение, становилась белым хрусталиком.

— Вот эта аллея из ясеней посвящена брату, в молодости он был чистым, как ясень.

— А помнишь, Дунечка, от него было какое-то письмо тогда, и в нем было назначено тебе работать на *легальном положении*.

— Как же это ты мог тогда схватить, ведь ты был тогда совсем маленьким Курымушкой?

— У меня память неважная, но что-то, мне кажется, совершается в мире, близкое себе самому, и когда это коснется, то никогда не забудется: это не от памяти. Я запомнил, потому что мне было тебя очень жалко: ты очень плакала, тебе не хотелось работать на *легальном положении*. Я думал тогда — это Кашей захватил тебя в свою цепь, и мама работала на банк, тоже вместе с тобой плакала, что всю жизнь ей придется работать на банк... Но что же это было тогда? «Народная воля»?

— Почти: «Черный передел».

— А теперь как это существует, как это теперь называется?

— Теперь брат работает тоже на *легальном положении* и такой раздвоенный, я теперь все связи растеряла, по-моему, они теперь все должны быть на *легальном положении*.

— Как же все? Ведь Кашеева цепь осталась, значит, непременно должны быть и такие же, какими вы были, ведь

куда ни посмотришь, все какие-то связанные, одна только Маша, Марья Моревна, и была и осталась свободной. Дунечка, я скажу тебе свою тайну, или нет,— какое-то предчувствие мое: мне кажется, что когда-нибудь я все пойму сразу, и не по книгам, а через женщину...

Дунечка посмотрела на него внимательно. Миша не покраснел, а тоже смотрел на нее во все глаза.

— Я не знаю,— ответила Дунечка,— откуда у тебя романтизм взялся: такая у нас проза... Разве вот только Маша... Но ты совсем не знаешь женщину, ты присмотришься, это такой узкий круг.

— Я не про это: это все Кащеева цепь, а не сами по себе люди.

Дунечка задумалась и глубоко вздохнула.

— О чем ты думаешь, Дунечка?

— Я думаю, какое все-таки несчастье родиться женщиной, если бы я могла быть мужчиной!

Огонек вспыхнул в глазах ее, и на мгновение она стояла совершенно такая же, как в те,— казалось Алпатову,— отдаленные времена, когда она, бывало, греясь у печки в зимние вечера, сжимала свои маленькие кулачки на царя.

Пока Дунечка с Мишей Алпатовым прогуливалась в саду, на крыльце школы собрались деревенские бабы. Увидев баб, Дунечка скоро вошла в школу и сказала:

— Сейчас, Миша, я их отпущу, а ты вот посиди у меня в комнате, почитай последнюю книжку журнала, тут есть интересная статья о новом движении в молодежи.

Миша взял книгу и начал читать статью, которая начиналась словами:

«Теперь всюду вы можете встретить юношу, называющего себя материалистом, но вы не подумайте, что речь идет о философской системе в общеизвестном смысле, юноша называет себя последователем материализма экономического...»

Алпатов с трудом мог следить за мыслью автора, потому что за словами пряталась какая-то неизвестная жизнь, и особенно трудно было, когда автор начал с кем-то спорить в формах условной журнальной полемики.

«Вот бы спорить научиться,— подумал Миша,— отчего это я спорить не умею?»

Он вспомнил свои попытки в гимназии спорить. Всегда оказывалось, что его запала хватало только до первого натиска противника, после чего он думал: «А может быть, и тот прав, с другой стороны?» — и отступал, затаивая свое

убеждение и сохраняя мысль противника для разговора с самим собой.

С трудом и скукой читал Миша, а из другой комнаты ясно доносилась к нему беседа Дунечки с бабами: одна принесла какие-то вещи, чтобы укрыть их от пьяницы-мужа, спрашивала Дунечку совета, как ей жить с пьяницей; другая просила капель от постоянных болей в животе; третья звала на крестины...

Мише вспомнились бабы у старца Зосимы из Достоевского и то же самое, как рассказывала мать о бабах у отца Амвросия в Оптиной пустыни, и он подумал:

«Им нужен не учитель в школу, а старец, и они сделали себе его из Дунечки и очень радуются, что ее лучшие ученики идут в дьяконы и в полицейские. Она хотела их переделать, а они ее переделали. Вот почему она такая грустная и о всем говорит иронически».

Он думал это, слушая и в то же время читая статью.

«Жив, жив!» — кончалась статья. Это значило, что автор еще жив со своими убеждениями народника, а юноши-материалисты нового ничего не говорят.

«Старик, должно быть», — подумал Миша.

Дунечка покончила с бабами.

— Ну, я пойду, — сказал Миша.

Дунечка пошла его проводить.

— Автор этой статьи, — спросил Миша, — из той же группы народников, как и вы были?

— Почти из той же, — ответила Дунечка.

— И тоже работает на *легальном положении*?

— Я не знаю, что он теперь делает. То, о чем мы думали, не приходится к жизни... Лучше скажи, что ты с собой думаешь делать?

— Вот и не знаю, Дунечка, я очень мучусь и не могу решить... Я желал бы сделаться инженером, но не хочу оставаться в своей скорлупе. Меня влечет это *нелегальное*, как было у вас, и хочется, чтобы потом увидеть за границу...

— А что за границей?

— Мне представляется за границей какой-то открытый путь. Вот у нас неправильная жизнь: легальная ненастоящая и нелегальная страшная, как бы найти ясный путь... Нет, я ничего еще не решил о себе. Ты никогда не видела этих новых материалистов экономических?

— Где тут мне увидеть новое. Я читала статью и думала о наших мужиках: вот кто настоящие-то экономические материалисты.

Миша хотел крикнуть: «Где же то настоящее, из-за чего ты живешь в такой глуши?» Но, когда посмотрел на Дунечку, ему стало жалко ее, и он мог только проститься.

— Куда же ты?

— В город к нотариусу: будем землю делить.

И зашагал по большаку, унося от Дунечки что-то светлое, чистое, но с холодком, как бывает в комнатах при первой зимней пороше.

АКУШЕРЫ

По пути к нотариусу была почта. Вздумалось зайти взять сельскую корреспонденцию, и когда он подошел к решетке, за которой, как в клетке, сидел молодой человек, вдруг тот страшно обрадовался, назвал его «Мишка» и вышел из клетки.

— Ну, как живешь? — спросил он, будто встретил родного брата.

Миша, не узнав чиновника, в первый момент не признался, ему показалось это обидным для неизвестного, встречающего его, как родного. «Авось, — подумал, — из разговора определится», — и подал, дружески улыбаясь, руку. Они стали возле окна.

— Ну рассказывай, рассказывай, — говорил неизвестный. — как живешь?

— Да ничего себе, живу, — ответил Алпатов, дружески улыбаясь совершенно не известному ему человеку.

— Ты, я слышал, в Сибири кончил гимназию. А я вот с тех пор служу на почте, ты ведь этого не знал: после тебя, тоже за озорство, выгнали и меня, а потом Голофеева.

— Черт знает что! — воскликнул Алпатов, вдруг узнавая товарища, — да ведь ты Малофеев!

— Ну, вот, — обрадовался Малофеев, — ты не узнал меня, то-то я смотрю, ты какой-то связанный. Ведь ты у нас тогда прямо революцию в гимназии начал, и, знаешь, я тебе скажу: так это до сих пор продолжается. Голофеев у нотариуса служит, а линию свою ведет крепко. Несговоров — студент, выслан сюда под надзор.

— Несговоров здесь? — воскликнул Миша. — Неужели здесь Несговоров?

— Он всему городу уроки дает... Смотри, да вот он бежит с книжками.

Несговоров — тот самый, у которого Алпатов тогда

в гимназии выучился петь «Марсельезу», с кем он еще в четвертом классе додумался бога отвергнуть, кто дал ему Бокля прочесть и поверить в закон развития жизни, да вообще в закон.

Алпатов наскоро простился с Малофеевым и побежал навстречу Несговорову.

Он был совершенно такой же: неправильное лицо с шишковатым лбом, и в строгих серых глазах, как из талантливой и добросовестной ученой книги, стыдась, проглядывает теория — родная сестра сказки в искусстве.

И прежнюю сказочку, вечно и стыдливо мелькавшую в зеленых, каких-то лесных глазах Алпатова, Несговоров узнал с радостью, и некрасивое лицо его стало прекрасным.

— Курымушка, бедный мой,— сказал Ефим Несговоров.

— Вот еще, бедный,— обиделся Алпатов,— я отлично кончил гимназию и думаю сделаться инженером.

Ефим засмеялся.

— Да я разве об этом, чужак? Ты остался совершенно таким же! Я вспоминаю, как тебя выгнали, ведь это не проходит так просто, кончил ты или не кончил. Вот я кончил тоже, и меня лишили золотой медали только за то, что я вольнодумец. Пустяки, и то скребет, но если бы меня, как тебя, я бы никогда не простил... Что это у тебя? Новая газета? Дай-ка...

Несговоров в одно мгновение просмотрел «Русские ведомости», нашел что-то свое и очень обрадовался.

— Вот,— сказал он,— молодцы социал-демократы: опять единогласно голосовали против ассигновки на флот, все Бебель разделяет и Либкнехт.

Ни Бебеля, ни Либкнехта Миша Алпатов не знал и совершенно не мог понять, как можно так живо обрадоваться какому-то голосованию против военной ассигновки и притом еще где-то в Германии. Он вопросительно посмотрел на Несговорова. Тот сразу понял его и хотел уже что-то сказать, но вспомнил свой урок и заторопился. Он обещается освободиться через два часа, а пока Миша подождет его, может быть, в городском саду. Он юркнул было уже в калитку одного дома, но вдруг вернулся и спросил:

— Ты, Миша, Бельтова, наверно, еще не читал?

— Что же я мог нового читать в Сибири? — ответил Миша. — Я все там старое читал и учился.

— На вот тебе книгу, почитай-ка пока в ожидании

меня. Я скажу тебе по секрету, ты не болтай: эту книгу Плеханов писал.

Имя Плеханова Миша не раз слышал от Дунечки и понимал его как священное народническое имя, вроде Глеба Успенского.

— Плеханов — народник? — спросил Миша.

— Что ты! — воскликнул Несговоров. — Значит, ты совершенно не в курсе движения. Плеханов, конечно, марксист.

Алпатов смутился. Но Несговоров был ему все равно как родной, и потому он сказал:

— Ты, Ефим, не смейся надо мной, извини меня и, пожалуйста, всему научи, как и в наше гимназическое время, я тебе скажу откровенно: я не знаю, что такое марксист.

— Удивительно, как ты при твоих способностях мог так отстать, ведь я помню, ты еще в четвертом классе Бокля прочел.

— Нет, я ничего не слышал о Марксе, и только в прочитанной мной недавно статье это имя много раз непонятно мне повторялось. Меня очень заинтересовали в этой статье какие-то молодые люди, последователи экономического материализма.

— Вот это и есть, — сказал Несговоров, — ты все это найдешь у Бельтова, удивишься, обрадуешься, я твою горячую натуру хорошо знаю, ты непременно будешь с нами работать.

Несговоров уходит на урок. Алпатов направляется к городскому саду и совершенно забывает о нотариусе. В саду он скоро находит ту самую лавочку, где сговаривался бежать с гимназистами в Азию открывать забытые страны. Тут же он когда-то решил себе открыть тайну жизни. Все тут было — на этой лавочке. И опять на ней же он садится теперь и принимается читать Бельтова: «К развитию монистического взгляда на историю».

Алпатов мог очень скоро читать всякую книгу, и самую трудную, по своему особенному способу.

На первых же страницах самой даже разученейшей книги, если только она не была совершенно бездарна, он находил *хвостик*, за который схватывался, и вертел страницы иногда подряд, иногда через две, через десять, то бросался к концу, то возвращался к началу и подробно читал от строки к строке, как бы в поисках упущенного *хвостика*.

А то ему иногда казалось при чтении ученой книги, что он на воздушном шаре под небо летит и, чтобы все выше лететь и не спускаться, надо скидывать балласт. И так он прокидывает тяжелые, неясные страницы, перехватывая мысль, как мелькающую в лесных просветах птицу. И вот, когда наконец книга прочитана, *хвостик* больше не нужен, и читатель смотрит в лицо автору и узнает его, как знакомое или родное.

— Ты много прочитал, — сказал над головой его Несговоров. — Ну, как?

— Страшно быстро все движется в книге, — сказал Алпатов, — и удивительно надстраивается, только зачем взят экономический базис, почему не просто жизнь?

— А что такое жизнь?

— Какая-то сила.

— Ну вот ты и пошел в метафизику. Ты, Миша, природный шалун, не обижайся, я говорю это в высшем смысле: метафизик, поэт, художник... есть у тебя что-то в этом роде.

Ефим снял свою студенческую фуражку и отер пот с лица.

— Ты очень устал, Ефим?

— Я не могу быть усталым, я должен работать весь день из-за куска хлеба: дома я кормилец. И так ведь живет огромное большинство людей, вот это и есть экономический базис.

— Да, я понимаю, Ефим, я постоянно даже чувствую в себе вину, как *шалун*, но ведь есть же шалуны соответствующие?

— Ты хочешь сказать: классовая интеллигенция?

— Ну да, что-то вроде этого. Я думаю о себе, что если бы я мог пустить себя куда-то в свою волю, так я не то что к звездам, а и за звезды бы улетел, но что-то меня удерживает, и я хочу тоже всему подвергнуться и пойти изнутри. Вот я знаю, например, что я к чему-то страшно способен. К чему — не определил. Но я нарочно хочу заниматься ненавистой для меня математикой и сделаюсь непременно инженером.

— Это очень легко, — ответил Несговоров, — будешь служить буржуазии, тебе отлично будут платить, если ты будешь даже самым плохеньким инженером.

— Буржуазии! Почему же непременно буржуазии? Я буду служить науке.

— Инженерные науки целиком находятся в руках

господствующих классов, и ты будешь делать именно то, что тебе велят капиталисты. Ты хочешь быть механиком?

— Нет, химиком: там все-таки поменьше математики.

— Ну, вот, будешь ты инженером-химиком, посадят тебя на пороховой завод и заставят готовить порох для защиты буржуазии.

— Как, одной буржуазии? А народ?

— На-род... брось ты это, Миша, подумай: из кого состоит народ? Я удивляюсь, как ты не задумался над этим в Сибири: там много ссыльных.

— Там была одна организация у нас, называлась *школа народных вождей*. Я раньше думал, что они меня не принимают к себе, как родственника очень богатого человека в Сибири, но теперь мне понятно,— я сам не хотел. Это — остатки народничества. Через Бельтова я теперь понимаю: мне не субъективно надо войти в организацию, а по закону... Ты понимаешь меня?

— Понимаю: ты ищешь самоопределения в классовом сознании.

— Да, да, чтобы определяло не «я — произвол», а «я — необходимость». Например, мне очень нравится, когда Толстой говорит о крестьянах, но когда он сам начинает пахать,— это противно. Тоже вот и моя Дунечка *отдала жизнь* свою за народ. Как бы это сделать, Ефим, чтобы не отдавать свою жизнь ни за кого, а в то же время оставаться в законе и необходимости? Скажи, разве инженер не может служить рабочему классу?

— Я думаю,— ответил Ефим,— мы не доживем с тобой до того, чтобы служить рабочему классу специалистами. Оставим всякое спокойствие. Наши дни сочтены. Для колебаний нет времени — туда или сюда. Выбирай... не хочешь — умирай обывателем, постепенно.

— Не хочу быть ни обывателем, ни народником.

— Иди с нами.

— С тобой готов, Ефим. Конечно, еще немного подумаю. Скажи, что же делать?

— Ничего особенного мы с тобой сделать не можем против экономической необходимости со стороны, но изнутри много: как разрешается женщина ребенком, так и старая жизнь разрешится новой. А мы призваны облегчить роды — мы акушеры. Ты знаешь, мне очень понравилась эта ваша сибирская школа народных вождей, только нам бы надо устроить школу не народных вождей, а пролетарских.

— Устрой, Ефим, устрой пожалуйста, я первый вступлю. Скажи, что же мне надо прочесть?

— Маркса, конечно, Энгельса, «Эрфуртскую программу», Бебеля, Меринга, Каутского, все это у нас есть, все я тебе дам.

— А еще нельзя ли, чтобы, читая, можно было бы что-нибудь делать, не в смысле Чернышевского «Что делать?» говорю, а просто делать, как ты уроки даешь и этим живешь, так и я желаю просто работать.

— Мы сейчас все переводим те книги, о которых я тебе говорил, с немецкого на русский. Хочешь переводить Бебеля «Женщина и социализм»? Ты не слыхал об этой книге? Тебе работа особенно будет интересна, потому что, я помню, ты мне тогда много говорил о своей Марье Моревне, ты был с колыбели романтиком, и тебе тут будет корректив действительности: женщина в прошлом, в настоящем и в будущем.

— В будущем! — воскликнул Алпатов. — Как же сказано о женщине в будущем?

— Это вытекает само собой из нашей программы, ты — читатель скорый и угадчивый, ты сразу поймешь...

— И знаешь, — перебил Алпатов, — надо еще что-то делать совсем практическое.

— Совсем практическое тоже есть. Мы сейчас обрабатываем *третий элемент*, ты, вероятно, слышал, что это такое: не выборные земские деятели, а служащие по найму, разночинцы, статистики, ветеринары, агрономы, учительницы. Мы их постепенно забираем от народников и через них влияем на председателя Александра Раменова. Ты его знаешь: образование гвардейское, а претензии Дон Кихота. Половину своего времени совершенно нормальный человек, и когда нормальный — кулак, а когда в хандре, то раскаивается и становится страшно искренним и готовым на всякую революцию в разговорах. Руки заложит назад по-английски, но пальцам не терпится, заберет пальцами полы сюртука в комочек и мнет, а зад мелькает открытый, и, знаешь, такой пропорциональный зад, такой приличный! Весь проникаешься убеждением, что не в этом у него дело, а там высоко, высоко, в больших горизонтальных усах и маленьких добрых глазах. Так он мелькает и повторяет: «Россия — загадочная страна!» А мы свое мотаем на его ус, и так он у нас почти что марксист, конечно, когда бывает в хандре. Сейчас он занят валютой, бормочет о биметаллизме. Мы ему подсунули социал-демократа Шиппеля.

Еще есть у нас член управы из купцов, лесопромышленник, оголяет уезд до конца, а нам сочувствует, деньги дает и называет нас *передовой авангард*. Но работа с этими людьми требует точных знаний в земском деле, и ценим ее мы больше как средство забирать третий элемент от народников. Ты этим после займешься, если захочешь, а сейчас ты прочитай все и переводы Бебеля «Женщину».

— Давай же книгу, — сказал Алпатов.

— Не спеши, я сейчас опять бегу на урок, а ты пока сходи к нотариусу, там увидишь Голофеева, он тоже наш.

Несговорков уходит на урок. Алпатов, совершенно оглушенный новым, каким-то необычайно заманчивым и в то же время таким ясным миром, садится на лавочку подумать... Так удивительно укладываются в эти идеи его желания, мечты.

Но вот как же это он не спросил Ефима, когда тот обрадовался, что германские социал-демократы голосуют против расходов на флот и на армию. А если это необходимо для защиты государства, если к слабым немцам без войска и флота явятся их злейшие враги французы и уничтожат Германию совсем — и с Бебелем, и с Либкнехтом, и социал-демократией? И если перевести то же на Россию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и у нас не будет оружия?

Он взял газету, пересмотрел ее, нашел телеграмму из Берлина, и оказалось действительно так: немцы сами же и голосовали против самих себя... Как же так?

Однако самый факт, что он уже может находить в газете что-то свое, что там где-то у нотариуса сидит Голофеев, который тоже *наш*, наполнил его радостью.

— Так или иначе разрешаются все эти трудные вопросы, — сказал он сам себе, — но мне — единственный выход из тупика через организацию школы пролетарских вождей.

ПЛАМЕННЫЙ ПРОЗЕЛИТ

Афанасий Голофеев, письмоводитель нотариуса, пришел из конторы кожевенного завода — другой своей службы, и потом после нотариуса у него была третья служба, на железной дороге. У него очень болела голова, и оттого глаза были сердитые, хотя лицом он был совершенно похож на доброго учителя в известной картине

Богданова-Бельского. Он был в черной косоворотке, опоясанной узким ремешком.

— Ты не узнаешь меня, Афанасий? — спросил Алпатов.

— Как же, узнаю, — сердито отвечал Голофеев. — Что тебе надо от меня? Я очень занят.

— У меня есть дело к нотариусу, но это пустяки, главное, меня прислал к тебе Несговоров, он мне сказал, что ты *наш*.

У Голофеева глаза стали совершенно такие же ясные и добрые, как на картине Богданова-Бельского.

Он молча показал пальцем на дверь нотариуса и шепотом прибавил:

— После, в передней.

Когда Миша, переговорив с нотариусом, вышел через другую дверь в переднюю, Голофеев сидел на подоконнике и покуривал в ожидании.

— Ты уже связан с нами? — спросил он.

— Я взял работу: буду переводить Бебеля «Женщина и социализм».

— Да, это очень нужно таким, как я: очень хочу прочесть и не знаю немецкого. Тебе эту книгу Данилыч дал?

Алпатов схватил, что слово *Данилыч*, может быть, лишнее было у Голофеева и сказалось потому, что у него болела голова. Алпатов сделал вид, что не расслышал. Голофеев спохватился и спросил:

— Бебеля ты где достал?

— Какой ты чудак, Афанасий, — сказал Алпатов, — как будто не знаешь конспиративной азбуки — ведь это совсем неважно, где достал я Бебеля.

— Вижу, ты не новичок. Это правда. У меня ужасно голова болит. А где ты по-немецки научился?

— Сам научился, читал книги со словарем и привык.

— И по-французски можешь?

— Тоже научился по Туссену, самоучителю. С тех пор как меня выгнали из гимназии, я все чему-нибудь учусь. сам, как будто догоняю и не могу догнать, и все мне кажется, что я невежда.

— Вот и я тоже такой, — с живостью сказал Голофеев. — Только мне еще хуже, у меня три службы, я ночью учусь, и оттого, должно быть, постоянно голова болит.

Нотариус позвал письмоводителя. Голофеев простился... Алпатову стало, будто он себе еще брата нашел.

«И сколько их еще будет здесь, и в другой город приеду — там, и за границей, наверно, то же самое... А кто это Данпльч?»

Алпатов шел по улице, на которой не было никаких памятников пережитого людьми, и настоящее, такое сонное, ничем не намекало на будущее, и потому он витал, не обращая никакого внимания на жизнь возле себя. Но какие-то глаза нездешнего мира промелькнули, он их заметил и вслед за тем оглянулся... Глаза смотрели на него большие, вдумчивые на больном зеленом лице из-под козырька зеленой фуражки студента Петровской академии.

Алпатов уже не удивлялся встречам, ведь это было в городе, где он когда-то учился и где выросли его товарищи: им некуда деться, все тут. Он сразу узнал Жукова.

— Ты нездоров? — спросил он.

— У меня чахотка, — ответил Жуков, — я скоро умру.

— Тебе это кажется только.

— Нет, это верно. Я спешу кое-что сделать. Музей устраиваю. Зайдем посмотреть.

Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату.

Одна девушка с круглым лицом, румяная, как помидор, сидела за микроскопом. Другие разбирали гербарий, третьи насаживали жуков и бабочек на булавки. Помидорка была самая молоденькая, другие чем старше, тем суше, как будто жили и сохли от жизни.

— Это все учительницы, — сказал Жуков, — мои ученицы. Я хочу разбудить в них интерес к родине. Наш край — совершенно неизвестная страна. Новая Гвинея больше исследована, чем наш уезд. Вот мальчиком ты хотел убежать в Азию открывать забытые страны, тебе бы надо было всего несколько верст проехать на Галичью Горку, и если бы у тебя были знания, ты мог бы открыть на ней альпийскую растительность. Давай посмотрим в микроскоп.

Они подошли к румяной девушке. И она отрекомендовалась:

— Салопова.

Алпатов смотрел в микроскоп, потом гербарий, жуков, уродов в спирту, но в музее все было сухое, учительницы многие тоже уже совершенно засохли и сами жилились в музей.

— Все это я натащил сюда всего за год моей ссылки: я очень спешу,— сказал Жуков.

— Ты выслан вместе с Несговоровым? — спросил Алпатов.

— Пришлось вместе, но мы по разным делам, он — марксист.

Миша догадался:

«Значит, это народники».

— А ты читал Бельтова? — спросил Алпатов.

— Злая книга,— ответил Жуков,— и ужасна своими заблуждениями в оценке личного. Творческая личность стоит не только в основе истории, но и у животных, и у растений, нет ни одного листа на дереве, чтобы складывался с другим. Надо быть только очень внимательным, чтобы разглядеть это творчество. В школе нас не учили этому родственному вниманию, и вот отчего являются такие далекие планы: открывать какую-то забытую страну. Она тут, возле нас, но, чтобы видеть ее, надо уметь везде и всюду выделять творческую личность. А Бельтов эту личность стирает, как пыльцу с бабочкина крыла, и устанавливает какой-то безличный, бескрылый закон.

Алпатов, услышав о родственном внимании, вспомнил в себе, что порывы радости и любви всегда у него бывали при внимательном разглядывании чего-нибудь, и готов был отдаться словам Жукова, но поперек этому стала какая-то старинная обида, боль, злость. И когда Жуков вдруг напал на Бельтова, ему захотелось бороться.

— По-моему,— сказал он,— с этой теорией творческой личности можно себе историю представить, как угодно и как у Иловайского: борьба добрых и злых индивидуальностей. Теория субъективистов совершенно несостоятельна.

Услышав эти слова, Салопова оторвалась от микроскопа и с вызовом сказала:

— Значит, вы марксист?

— А что же из этого, если и марксист,— ответил Алпатов,— я ищу закона в истории, а не борьбы духов, понимаете: за-ко-на.

Миша говорил и дивился себе, как будто он спускал с крючка в себе самом совершенно нового человека, и тот говорил отдельным голосом.

Одна учительница, длинная, сухая, с бородавкой на щеке, глаза мутные, навывкате, вдруг бросила разглядывать

на стене диаграмму, быстро подошла к Алпатову и представилась:

— Экземплярова. Вы ищете социологического закона? — сказала она спокойно и наставительно, как старшая. — А разве формула прогресса и роли личности в нем недостаточно вам говорят о законе? Вы ведь, конечно, знаете социологическую формулу Михайловского?

Миша не имел понятия о формуле Михайловского, но тому его повому, боевому человеку невозможно было сказать «не знаю» и отдаться в руки врагов. Он ответил на счастье:

— В этой формуле слишком много места отведено личности и очень мало закону. Мы не можем противопоставить себя силе экономической необходимости.

— Значит, по-вашему, нам остается только сидеть сложа руки?

— Нет, — сказал в Мише новый человек, — история, как беременная женщина, несет в себе новую жизнь, мы призваны облегчить эти роды, мы — акушеры.

Салопова вспыхнула, стала совсем похожа на помидорку и ответила:

— Вы пятиалтынные, а не акушеры, вас чеканят по одной форме, и все вы говорите одними словами, по Марксу.

Новый человек в Мише тоже рассердился:

— А вы говорите по Михайловскому и сушите цветы. Зачем вы их сушите? Любовались бы их живыми личностями! Сушите растения, жуков, бабочек, и сами вместе с ними засыхаете все...

Это было уж и неловко. Все замолчали. Но стенные часы ударили, выговаривая: «Что правда, то правда».

— Мне надо спешить, — сказал Алпатов, подавая Жукову руку.

А Жуков смотрел на него глазами, полными любви и участия. Ему говорить было нечего. Спор ушел куда-то совсем не в его сторону.

За спиной у себя Миша услышал голос Салоповой:

— Какой пламенный прозелит!

Но сам Миша чувствовал себя первый раз в жизни как победитель и дивился: раньше думал о себе, что совсем не способен к спорам, а тут вдруг сразу взялось откуда-то и как будто совсем из ничего.

Смутно чувствовал он себя виноватым в чем-то перед Жуковым, и от этого немного где-то щемило. Но он и это

погасил в себе думой: «Если у меня взялось из ничего, то, наверно, то же и у них, я не знаю формулы Михайловского, а они, наверно, не понимают Бельтова. Куда им!»

КЛАВЕСИНЫ

Давно, еще в четвертом классе гимназии, когда Мише Алпатову с помощью Несговорова приходилось расставаться с детской верой в бога, один только раз Миша, провожая Ефима, дошел до самой калитки его дома в Ямской слободе, на берегу реки. С тех далеких времен у Миши осталось воспоминание, что Ефиму почему-то нельзя было позвать приятеля к себе в дом, а сестры его, гимназистки, выглядывали из-за цветов. Приходилось не раз видеть Ефима на улице с одной из его сестер, но, когда подходил к ним, сестра Несговорова отступала и сторонкой шла сама по себе. Раз, прощаясь с Ефимом, он вздумал и ей поклониться, но она, вспыхнув, отвернулась и на поклон не ответила. Другой раз он ее встретил одну лицом к лицу и кланяться не стал, но хорошо заметил, что она поклона ожидала и потому опять вспыхнула. С этого времени Миша про себя стал звать эту высокую тонкую девочку *Спичкой*.

«И так это удивительно,— думал Миша теперь, разыскивая в слободе дом Несговоровых,— что пропадет совсем из памяти и вдруг зачем-то встает опять, и с такой ясностью?»

Но где был этот дом, деревянный, покошенный и в два этажа, он никак не мог вспомнить, а путаница переулков все увеличивалась. Это была каша лачуг, серых заборов, завалинок, лавочек, а иногда вдруг ни с того ни с сего, как видение, показывалась и радовала цветущая яблоня. Далеко внизу, у самой воды, кто-то пел прекрасным тенором «Ваньку Ключника». Алпатов спросил у одного старика на завалинке про дом Несговоровых, и он сразу его указал: дом был тут, рядом.

— А кто это там поет у реки?

— Бурыга,— ответил старик.

— Что за Бурыга?

— Ну, известно кто: вор Бурыга, он и поет, больше тут петь некому, в нашей жизни только вор и поет.

В калитке дома Несговоровых, как обыкновенно, висела веревочка с узелком. Как только Миша потянул за веревочку, калитка сама побежала во двор. Тогда перед

глазами Миши все побежало: пожилая женщина, прикрыв ладонью грудь, мальчик, две девушки, а третья, в черной юбке и белой кофте навывпуск, уходила, делая вид, что не спешит. На дворе лежали старинные клавесины с отвинченными ножками. Все, видимо, и хлопотали около этих клавесин, и, когда калитка открылась, вдруг разбежались.

Однако та стройная девушка свой шаг все сбавляла, видно, ей противно уходить и она с собой борется. На крыльце она останавливается, обертывается, высокая, гордая, и будто собирается в случае чего броситься и укусить. Миша сразу узнал в ней *Спичку*, но сделал вид — не узнал, и спросил, это ли дом Несговоровых. Недружелюбно ответила девушка, что Ефима нет дома.

— Он скоро придет, — сказал Алпатов, — можно мне у вас его подождать?

— Как хотите.

Но не на улице же ему ждать.

— Мне нужно к нему по делу.

— По какому делу?

Миша почти рассердился. Ведь он теперь смелый. Не за пустяками, как обыватели, идет он к Ефиму.

— По какому делу? — говорит. — По кон-спи-ра-тив-но-му.

Спичка вспыхнула и, опустив глаза, сказала:

— Идите.

В это самое время через незакрытую калитку входит Ефим, глядит на клавесины, на Мишу, на сестру, и в глазах его смущение и неудовольствие, как будто Миша не должен был проникать сюда. Но это быстро прошло. В маленькой комнате с покривленным полом и множеством книг Ефим передает Алпатову и «Капитал» Маркса, первый том, и «Эрфуртскую программу», и Бебеля, и Меринга, и Каутского. Немецкие книги были в обложках с французскими титулами муниципальных отчетов. Ефим рассказал, что такие книги можно выписывать от Жерара из Парижа и даже наложенным платежом, только в письме надо упомянуть условные слова: «Прислать в сброшюрованном виде».

И еще много всего *конспиративного* рассказал Ефим, не догадываясь, что каждое слово его ложится в Мишину душу камнем нового храма, в котором долго он будет молиться по-новому. Когда они потом вышли на двор, Миша спросил, глядя на разобранные клавесины:

— Ведь эта сердитая девушка, с которой я разговари-

вал, твоя сестра? Да, я помню ее. Почему же она такая сердитая?

Ефим опять насторожился,— поморщился, как будто Миша не должен был спрашивать про сестру, и, кажется, если бы он позволил себе ответить, то сказалось бы: «Оставь, пожалуйста, мою семью в покое, это тебя не касается». Миша быстро понял и, чтобы предупредить, может быть, резкий ответ, сказал шутливо:

— В этих клавишинах, мне кажется, скрывается какая-то мне враждебная сила.

Ефим сконфузился и вдруг, как бы смахнув с себя неловкость, сказал:

— Я купил это сестрам вместо рояля у одного купца за четырнадцать рублей... У нас это маленькое семейное событие: мы стали вроде как бы *порядочные* люди, а в щелки забора всюду глаза и разговор. Мы этого *глазу* тут боимся, как дикари. Я не уверен, что сейчас в нас не полетит камень. Они называются мещане, но по существу своему это люмпен-пролетариат. Тут в каждой лачуге злоба шипит. У нас тут всего только два-три человека сознательных.

Совсем недалеко, где-то в сплетении заборов, откашлянулась пропитая и промахренная женская глотка. Услыхав это, Миша сказал:

— Вот Чертова Ступа откашлянулась.

Ефим даже вздрогнул.

— Как же успел ты узнать про Чертову Ступу?

— А вот слышишь, это вор Бурыга поет. Но я тебя еще больше удивлю сейчас: скажи мне, Ефим, кто такой *Данилыч*?

Ефим внимательно и странно посмотрел на него.

— Не удивляйся же, Ефим, это — моя особенность, я давно это заметил, что когда попадаю в новое место, то вдруг все без всяких усилий с своей стороны узнаю, как-то по звукам, по запахам. Вот запахло пряниками, это значит — табатерки идут с фабрики. А там коровы режут, значит, стадо вступает в город, я люблю, что коровы сами расходятся по своим улицам, и когда наконец добредет какая-нибудь к своему дому и нет хозяйки, то ревет она не простым коровьим, а каким-то музыкальным голосом, и если хозяйка это услышит, то выходит из дому и разговаривает с коровой тоже особенным, музыкальным голосом. Почему ты, Ефим, все злобу видишь вокруг? Есть везде какая-то музыка любви...

— Да,— сказал Ефим,— недаром я тебя шалуном называл, только у нас тут, в Ямской слободе, мало коров, хорошо еще, если кто козу имеет, да и ту мальчишки камнями забивают, тут, я тебе скажу, такая музыка... Но все-таки скажи мне, как же ты узнал про Данилыча?

— Это мне Голофеев нечаянно проговорился, только ты не смущай его. Ты мне скажешь?

— Нет,— ответил Ефим,— не обижайся только: ты должен сам все узнать на деле, болтать не будем. И потом тут надо больше догадываться, вот как ты по звукам... Понимаешь?

Алпатов махнул головой. Он теперь понимал хорошо, почему на него рассердилась та гордая девушка: за то, что из-за него все бежали, и что она сама пробовала — за это, и что ей пришлось остановиться и обернуться, а кофта была выпущена, и ворот пришлось рукой придерживать: пуговка-то, верно, оторвалась.

ОДУМКА

Хорошо ли сделала Мария Ивановна Алпатова, что, задумав выделить сыновей и освободить себя от мелочей хозяйства, выпавших ей после смерти няни, она вдруг им объявила свободу? Не лучше ли было бы ей еще из последних сил поработать два-три года, пока сыновья не кончат, не станут на ноги, а потом бы и начать устраивать себе покойную старость?

Мысль эта однажды ее поразила и остановила ее вечное движение в хозяйстве. Она присела на балконе, глядела в одумке на многими годами пробитую няней очень извилистую тропинку от крыльца дома и до ледника.

Да, что бы ни говорили о свободе живой воды, размывающей даже каменные утесы, по повороты реки и весь ход ее определяют встречными препятствиями, и все это вместе у реки называется берега, а у людей — судьба. Но если бы все шло по судьбе, так и не виляла бы жизнь, как тропинка, река. Конечно, и Мария Ивановна вильнула с прямого пути. Но что же теперь делать? Не вернуться ли назад? Нет, теперь уже невозможно назад, так уж, верно, и остаться этой излучине.

Уже расчетливый и холодный Сергей все обделал в губернии, получено разрешение на раздел от опеки, и от банка, и от лесоохранительного комитета, и уже Николай

повалил половину дубков, ошкурил, и дубовая кора продана кожевнику по хорошей цене. Но самое главное, что сыновья, почуяв свободу, совершенно переменились и решительно вступили на самостоятельный путь.

Вначале только Александр порадовал было Марию Ивановну решением жениться на Мане Отлетаевой. Против раннего брака она ничего не имела и так говорила об этом Калисе Никаноровне:

— Я не против раннего брака, а то ведь какая у нас несправедливость: от девушки требуют, чтобы непременно была чистая и пахла яблоками, а сами женятся, когда от них уже запахнет козлом.

— Эх, Мария Ивановна, — отвечала купчиха Калиса Никаноровна, — до седых волос ты дожила, а все продолжаешь либеральничать. Саше ведь только год остается учиться — кончил бы, а потом доктором уже и женился.

— Он и так кончит: на это у нас есть средства. А Маня на редкость славная девушка. Я считаю, что из среднего дворянства выходят самые лучшие жены; если жаждешь денег, женись на купчихе, но если хочешь обеспечить в семье любовь и долг, то надо жениться на бедной дворянке.

Дворяне — нож вострый в сердце Калисы Никаноровны, но против женитьбы купеческих сыновей на дворянках она ничего не имела: это облагораживает, часто спасает купца от пьянства. И когда сын одного знатного елецкого купца взял себе институтку, и еще смольную институтку, и с шифром даже, то Калиса Никаноровна первая сказала: «У этого мальчишки губа не дура».

— Только вот что, Мария Ивановна, — сказала Калиса Никаноровна, — Отлетаевы — самые легкомысленные люди, вспомните, про кого только можно сказать хорошее, кого назвать?

И правда ее: у Отлетаевых мужчины были все незначительные, и часто попадались *феномены*: один вмиг промотал имение, поступил контролером на железную дорогу и так по легкомыслию своему поставил там дело, что только чудак берет билет, большинство по железной дороге ездит зайцами; другой, когда банк отобрал имение, переселился к мужику и даже мужика испортил, пьянствует с ним, спит с его женой и охотится с единственной уцелевшей борзой.

Подумав, Мария Ивановна сказала:

— Я согласна, да, мужчина у дворян вырождается несомненно, а женщины — я не думаю: и у Отлетаевых, и у их родственников Дудениных есть прекраснейшие женщины и девушки. Почему так, не знаю, но факт несомненный: женщины значительней мужчин.

— А потому это, Мария Ивановна, что на женщину все ложится трудное в жизни, мужчины у них — охотники, корнеты, игроки, а женщины хозяйство ведут, одни слабнут, а другие крепнут; не будь этого, наши купцы и мужики давно бы всех этих дворяшек выгнали метлой из уезда.

— Не очень рассчитывай, Калиса Никаноровна, и на купцов, — говорила Мария Ивановна раздумчиво. — Дворяне все-таки долго существовали и вырождаются постепенно: видишь часто неверный глаз, дубоватость в мозгах, а манеры все-таки дворянские. Не смейся, манеры очень поддерживают строй жизни и особенно, когда к манерам и образование. А купцы наши сразу пропадают от обжорства и пьянства. Не надейся и на крепкого мужика, на арендатора: на каждого такого мужика приходится двадцать голоштанников, а то теперь еще разные шахтеры пошли, посадчики. Ведь ни один годовой праздник в деревне без ножа не обходится; как праздник, так уже непременно следовательно скачет в деревню. Наш чернозем страшный, судьба его темная, и это недаром пишут: оскудение центра.

— И-и... брось, Мария Ивановна, пророчить, вот подойдет война, — доживем, и людей опять проредят.

— Разве вот только война, да ведь на это как-то все-таки совестно рассчитывать, Калиса Никаноровна, мы же ведь все-таки люди...

— А разве в этом мы виноваты, Мария Ивановна, это уж такая судьба. Вот и ты, разве хотела раздела, а умерла няня, и стало немоготу. Ты вот гляди, как бы сыновья-то при разделе не подрались.

— Ну, это глупости, — оборвала Мария Ивановна разговор с *ретроградской* Калисой Никаноровной.

Нет, ее не то мучило, что Саша рано женится, — это даже очень хорошо, — а что Саша совершенно переменялся к ней и стал как чужой. Он появляется только, чтобы всем видом своим, всеми жестами и словами выразить презрение к ее мещанской жизни. С каким глупым восторгом, например, он рассказывает, что один из дядей его невесты,

охотник Александр Дмитриевич Отлетаев, никогда не умывается.

— Что же тут хорошего, значит, он всегда грязный?

— Он росой умывается.

— Без мыла?

— Он говорит, что роса чище мыла моет.

И уже явно в пику матери рассказывает, как Отлетаевы умеют ладить с мужиками, что у них даже никакой воровотни не услышишь, отлично живут.

— Саша,— спрашивает мать,— но как же так это может быть? Вот у нас в эту зиму мужики страшно голодали, я раздавала им деньги и муку, но под залог: ты видел сам, у меня вся зала была завалена полушубками и всяким хламом. Теперь они все выкупили, отработали. А думаешь, пошли бы они на работу, если бы я не брала полушубки? Я не знаю, какая может быть у помещика с мужиком идиллия. Расскажи мне подробней, мне это очень интересно, ведь нечего глаза на жизнь закрывать, мы все живем, выколачивая копейку из мужика.

— Да вот как,— отвечает Саша,— прошлый год после обеда Александр Дмитрич, по своему обыкновению, лег в сарай на сеновал отдыхать. Стучится мужик. «Ты что?» — «Должок принес». — «Ну, воткни в бревнушко тут, направо от тебя, в щелку, а я посплю и возьму». Через год приходит тот же мужик и опять просит денег. «Рад бы,— говорит Александр Дмитрич,— да у самого только двугривенный. И потом же ты все равно мне не отдашь, прошлый год я дал тебе, а ты не отдал и еще просишь». — «Как не отдал? — изумился мужик. — Да вы же сами мне велели в щелку сунуть: «Посплю,— сказали,— и возьму». — «А и правда,— вспомнил Александр Дмитрич,— неужели же ты туда сунул?» — «Перед Истинным...» — «Не божись... коли там, возьми». Пошли посмотрели: там.

— Высшая безалаберность,— с раздражением сказала Мария Ивановна,— настоящий Обломов. А кто же у них хозяйство ведет?

— Все ведет Екатерина Семеновна, но никто не слышит и не видит, как она его ведет.

— А ты бы, Саша, присмотрелся, это бы тебе пригодилось потом. Я теперь совершенно уверена, что вся эта милая жизнь, как ты рассказываешь, ложится на спину Екатерины Семеновны: на одной стороне легкомыслие, на другой долг, вот так и сводят концы с концами. Бедная

Екатерина Семеновна, я знаю этот тип: это Долли из «Анны Карениной», мы все такие, и Маня твоя тоже станет такая, если ты будешь продолжать так легко смотреть на жизнь.

Саша после того дуется. Он дома стал совсем как чужой. Но это все бы ничего, это пройдет, Саша поумнеет: будет доктором, сама жизнь поведет к лучшему. А вот с Колей беда настоящая: Коля сходится открыто с Аннушкой. Все бы это, конечно, пустяки, если бы Коля отнесся обыкновенно, как все, но он берет эту почти публичную женщину и живет с ней открыто, как с женой, может быть, и женится, всего можно ожидать, и тоже уж не без расчета на деньги от раздела.

А что с Мишей творится... Миша был для нее из сыновей единственный светлый, кого она видела насквозь, и если он даже чуть что-нибудь утаить хочет, сейчас же покраснеет. В голове у него, конечно, сумбур и порывы разные, но и в этом во всем раньше она хоть что-нибудь понимала, теперь Миша совершенно закрылся, и такая страшная, необъяснимая перемена с ним произошла буквально в одно мгновение ока.

Но это, конечно, не просто. Тут какая-то затея, и побольше той, когда он хотел убежать в Азию открывать забытую страну.

Думая о Мишиной перемене, Мария Ивановна отложила «Русские ведомости», откинулась к спинке кресла и ушла глубоко в себя, отыскивая решение вопроса по разным подобным случаям в своем роду. Вспомнилось, приезжал по ночам тайный староверский поп и служил перед старинными иконами: как крепко тогда бабушка связывала астаховский дом. После смерти бабушки все эти молебствия кончились, женщины стали ходить малопомалу в православную церковь, а молодые люди смеяться над религией и попами. Зато начались всякие неожиданности: брат Ваня маслом торговал на базаре и вдруг исчез в Сибирь и является оттуда богатейшим пароходчиком. Другой брат, Николай Иванович, такой был мягкий сердцем, все ходил в сады соловьев слушать, зато сын его становится революционером и беспощадным, и Дунечка тоже с ним уходит...

Вот оно что, — догадалась Мария Ивановна, — конечно, это есть в нашем роду: Миша в Астаховых, и теперь в нем готовится тоже какой-нибудь необыкновенный переворот, — от Миши можно всего ожидать.

Был такой чуткий к природе, теперь лето, а он весь день читает и пишет, ночью бормочет во сне. Раньше газету, бывало, в руки не возьмет, теперь не только читает, а вырезает, и газета после него, как решето. Обо всем говорил неуверенно, робко, теперь он знает все и всех считает дураками. Тут Марию Ивановну стало подмывать, и вспомнился последний досадный разговор о военных кредитах. Можно понять, как в «Русских ведомостях» пишут часто тоже против излишнего увлечения армией и флотом, имея в виду, конечно, не полный отказ от армии, а только чтобы привлечь большее внимание к народному образованию, и опять и в этом образовании практический расчет: в армии выгоднее развитой солдат. А по Мишиным рассуждениям выходит, что совсем не надо армии, и государство защищать вовсе не надо. Понятно и у Толстого: там и вообще род человеческий не надо особенно отстаивать, пусть себе прекращается, там, у Толстого, это просто мечта какая-то, в нравственности больше. А тут ведь как: для государства армии не нужно, а пролетариат пусть вооружается.

Это что такое?

«Тут-то, наверно, и есть вся затея», — подумала Мария Ивановна.

И решила сейчас же идти к Мише и продолжать с ним этот разговор до конца.

«Буду снисходительна, — заговаривала себя Мария Ивановна, — буду больше соглашаться, а потом как-нибудь он и проговорится, что они там затевают».

— Миша, поди сюда! — крикнула она в его комнату. Из комнаты никто не ответил.

«Как он стал в книги погружаться, — думает Мария Ивановна, — ничего и не слышит, и не видит возле себя».

Она сама идет к его комнате, постучала. Нет ответа. Входит. Миши в комнате нет.

Что же это значит? Сейчас тут был, и вот уже нет. Подходит к окну, открывает, спрашивает Павла, не видал ли он Мишу. Павел видел: вышел за ворота и по своей дорожке скоро пошел.

— Не в город ли?

— Верно, туда: по этой дорожке больше идти некуда.

Вот оно как стало! Утром за чаем она ему с такой радостью объявила, что сегодня к обеду будут телячьи

почки. А вот обед на носу, и он, ничего не сказав, в город уходит. Это уже стало ни на что не похоже.

Мария Ивановна садится на стул и в раздумье начинает пересматривать его книги. Нельзя ничего понять: книги немецкие. Но вот тут лежит перевод. Она долго читает, стараясь понять спор какого-то Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Понять как следует ей невозможно, русское, выходит, труднее немецкого...

«Конечно, — думает она, бросая чтение и откидываясь к спинке, — я так и знала: Миша задумал какой-то новый скачок в неизвестное».

И опять она, такая хлопотунья, погружается в одумку. Так бывает — птица прилетает с поля к птенцам, а они, пока она хлопотала, разлетелись. И долго сидит мать на краю гнезда, не зная, что делать с добытым для птенца червячком.

ЦВЕТ И КРЕСТ

Нет, блудные дети не виноваты в измене родному гнезду, нет измены, а в перемене чувства нельзя винить никого: не от своей же воли переменяются снега весны света на разливы, и когда воды спадут, сами собой зеленеют луга, и потом начинается весна человека. Так и Мише Алпатову на большаке теперь не показывается Одиссей в облаках на своем корабле, на ясном небе от пения и кукования птиц не остаются золотые ямки, он не разглядывает с любовью мураву, оплетающую край пробитой ногами человека тропы. Вон там в сторонке живет хозяин и ходит на один двор с животными делать удобрение земле, а сын его почему-то строит светлее дом, чище и место для своего удобрения готовит почему-то в сторонке от скотного двора, как будто стыдится делать это вместе с животными. Но старик, наверно, ворчит на сына, и его усилие жить почище кажется ему недобрым усилием.

Да, нужно какое-то недоброе усилие, чтобы сжать свое сердце и заключить его в оковы разума. Верней всего, это самое недоброе усилие Миша и называет *материализмом*, а милое прошлое остается назади, как *идеализм*. Все это прошлое он переводит на материальное и, читая даже легкие книги, всегда находит в них свое объяснение, уничтожает героев, ставя их на место причины и все причины соединяя в закон развития человеческой жизни.

Материализм понимает Миша Алпатов как сильный упор в самую жизнь. Если так упереться в действительность, то старые идеалы становятся такими же далекими от жизни, как далека от Голгофы рождественская елка, украшенная церковными свечками, мишурой, канителью и ватой, осыпанной кристаллами бертолетовой соли. Если так упереться в действительность, то все начинают влипать и напускать туману. Тогда стоит только сказать презрительно какое-нибудь слово вроде «*метафизика*», и человек растерянно смотрит и не знает, что ему ответить. Думалось раньше, что старшие что-то знают свое, что-то особенное таят. Теперь все тайны сброшены: старшие — жалкие люди, как животные с двойным взглядом, когда не знают, будет их сегодня хозяин бить или ласкать.

Все эти прежние его старшие, оказывается, потому виляют и путаются, что служат *буржуазии*, и эти старшие вполне соответствуют тем, кого в далекие времена называли книжниками и фарисеями. Ум и сердце Алпатова теперь обращены к простым людям, которые встречаются везде и сразу понимают его. И редко бывает, чтобы он дошел до города и не присоединил еще кого-нибудь к школе пролетарских вождей.

Идет впереди человек с узелком за плечами. Миша по виду знает, что это *посадчик*, побывал в деревне и возвращается в город работать на кожевенный завод. Миша догоняет его и через несколько минут, обменявшись обыкновенными фразами, сразу же начинает разговор от Адама, что был сотворен человек Адам и поставлен на землю обрабатывать ее в поте лица, но потом является как будто другой человек, второй Адам, для которого земли не хватило, земля вся была занята уже первым, счастливым Адамом. Вот первый Адам начал пользоваться работой второго, безземельного. Первый Адам — буржуазия, второй Адам — пролетарий. Буржуазия выплачивает пролетариям в заработной плате не все, неоплаченный труд переходит в цену товара и потом в карман капиталиста: это — *прибавочная стоимость*.

Но понимает ли посадчик о прибавочной стоимости?

— Тут и понимать нечего, — отвечает посадчик, — каждому известно, что богатые живут трудом бедных.

А когда Миша рассказал, как даже и мать-земля обращается в золотую куколку, то посадчик, оказывается, даже знает, и как надо ее освободить.

— Нужно, — говорит он, — чтобы земля стала ничья,

а за то, что ей пользуются, ввести *акциз*: земля ведь сама рождает, вот за это акциз.

Больше всего изумляет Алпатова, что у этих людей, никогда не читавших политической экономии, дается самой жизнью какое-то простое и достаточное знание, что там все обыкновенно и просто, а необыкновенным представляется только интеллигенту.

Все очень похоже становится на силу земли: человек сеет, пашет, а рождает-то земля сама, и эта сила превращается в *ренту*, или, как говорил посадчик, в *акциз*. Точно так же и у простых рабочих людей есть такая саморождающая сила, которой, все равно как рентой капиталисты, интеллигенты пользуются для своих личных целей.

Сколько затрачивается золотого времени на пустые споры с народниками и между собой! Явно спорят потому, что каждому хочется быть умнее другого, а со стороны кажется, будто они никак не могут поделить чужого добра. Это искушение Алпатов сразу устранил от себя твердым решением считать себя не вождем, а рядовым, в этом, думал он, и есть отличие пролетарского вождя от феодального и буржуазного: пролетарий сам себя вождем не считает и эту *честь* ни во что не ставит.

Из всех этих *диалектиков* Алпатова больше всех смущает разученейший Осип. Откуда он вдруг явился к ним, этот тучный человек, и сразу занял положение, первое после Данилыча? Вот уже немало сделал черной работы Алпатов для школы пролетарских вождей, а Ефим все как-то уклоняется познакомиться его с Данилычем. Осип удивляет интеллигенцию своей диалектикой, он читал Гегеля и Канта в подлинниках и это приспособляет для разговоров о марксизме. Ему это легко дается, он семинарист, там этим вздором набивают головы, и это оказывается, странным образом, пригодным для революционного движения. Как это происходит? Конечно, Осип отлично отделяет народников, и многие под его влиянием становятся марксистами, но только что в этих марксистах, не умеющих даже подойти к рабочему! Главное же, эти две холодные зеленые точки злых Осиповых глаз, высматривающих из мясистого лица, — что они значат? Он рассказывает о Марксе совершенно так же, как поп о боже, которого нет, но необходимо выдумать. Проповедует, что экономическая необходимость сама собой приводит капитал к концентрации рабочих — к союзу, и делать тут нечего: ничего не нужно делать, все само собой делается.

Почему при этих словах никто не хочет заглянуть в зеленые точки его глаз и понять, что все это он говорит не для других, а для себя?

— Как же так ничего не делать? — отвечает Алпатов. — У Маркса наше дело точно определено: мы должны облегчить роды истории. Разве это маленькое дело?

— Акушеров зовут, — отвечает Осип, — когда роды начинаются. Не беспокойтесь, когда начнутся, за нами приедут.

Эти слова всегда ужасно возмущают народников, и при них спорить с Осипом невозможно по тактическим соображениям.

Вот бы только добраться до Данилыча, при нем он сумеет раскрыть весь вред, приносимый Осипом школе пролетарских вождей.

Алпатов много думает о Данилыче и, хотя никогда его не видел, как будто хорошо его знает из себя самого. С тех пор как только Миша помнит себя, он все ждет человека Старшего, которому бы можно было все рассказать о себе и во всем посоветоваться. Вот Ефим знает больше его, и на него можно во всем положиться. Но Ефим просто товарищ, а тот, ожидаемый Старший, больше товарища. Ефим знает много, а тот все знает. Ефимова правда — в его вечном труде, но тот за правду пострадал, и от него ничего не укроется, и он очень сильный, он решительно сильный... он — Старший.

Ефиму легче во всем разбираться и быть таким хорошим, потому что, оказывается теперь, у Ефима отец был тоже политический, и он все получил это от отца даром. И Ефиму не понять его чувства к Данилычу, ведь это совершенно другое, если у одного был ученый и добрый отец, а другой не знает отца.

Так идет Миша по большаку и не любит перемены цветов на земле и на небе, далью бескрайных полей, заволоченных фиолетовой дымкой. Только иногда отрывается от своих дум, чтобы удивиться огромному красноглиняному оврагу на черной земле и что там на дне его все еще зеленеет, лежа с обнаженными корнями, поврежденная весенней водой лозинка. Тогда вместе с жалостью к несчастному дереву и к этой прекрасной земле, изуродованной непреходимыми оврагами, является и еще такое сиротливое чувство конца, и потом щемящая серая дума о невозможности все так оставить, как есть, и на этом устраивать свою жизнь. После того вдруг обрывается

всякая связь с этой землей, и перекидывается мост в общее дело и в этот такой волнующий спор Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Он перебирает в памяти все возражения Энгельса против скачка не потому, что ему не хочется его, напротив, ожидаемая мировая катастрофа и есть этот самый желанный скачок, но, по Энгельсу, он будет уже непременно, законно, а у Дюринга скачок субъективный, вроде того как он сам в детстве тоже хотел ускакать в забытую страну и потом пришлось учиться в гимназии. Мало ли есть на свете забытых стран! Мечта была верная, подход неправильный, субъективный. Вот и надо теперь помнить, чтобы на этот раз уж не ускользнула золотым сновидением желанная страна.

А еще Миша во время всех этих дум занимается помимо своей воли и всякого отчета очень странным способом рисования без бумаги и карандаша. Рисует он про себя все, что только попадает на глаза, и это рисование у него кончается находкой слова, отвечающего самой сущности рисуемого лица или вещи, после чего найденное неизвестно для чего складывается куда-то и остается там навсегда. Особенно усиленно он рисует, когда встречается ему перед самым городом обоз. Вот мелькнул парень, такой глазастый, такой до неприятности открытый, будто не парень сидит, а гусь, на гуся льют воду, и ему все как с гуся вода. Едет мужик Лапень-Рогожа и все кричит: «Туды, не туды!» Едет рыжий с трехгранной головой Сколок. А потом черный, глаз строгий, сам не дрогнет, а глаз провожает, и он уже давно проехал, а все кажется, будто глаз и сзади глядит. Так весь обоз зачем-то нарисовался и сложился, а когда Миша вступил в слободу, навстречу ему шел человек в картузе на затылок, из кармана торчит бутылка, а глазенки его рисовались такими словами: «Ну, дурак, нарисовал мужиков, и нет ничего, потому что ты сволочь, и я тебя вижу насквозь, как ты мужиков: самая последняя ты сволочь, и шут с вами со всеми, и нет ничего и никаких».

В доме Ефима Алпатов теперь свой, родной человек. Дальше всех пряталась от него та, как будто ни с того ни с сего враждебная ему девушка, *Спичка*. Потом она перестала прятаться, а только молча из угла приглядывалась к нему умными, строгими глазами. Никакие попытки Миши заговорить с ней не удавались. Но раз как-то он сел за клавишины и стал напевать свою песенку: такая

грустная, тоскливая. Вдруг Спичка подошла к самым клавишам и запела неожиданно серебряным голосом. Миша изменил голос, стал вторить. Песенка эта была:

Как дело измены, как совесть тирана.
Осенняя почка темна.
Темнее той ночи встает из тумана
Видением страшным тюрьма.

После того Спичка стала ручная, с ней можно говорить обо всем и смеяться. А когда Миша читает Ефиму свои переводы, она всегда тоже молча слушает, смотрит страшно умными глазами и, должно быть, не пропускает ни одного слова.

В этот раз Ефим сказал тихонько даже и от сестры: — Данилыч очень хвалит твои переводы, очень интересуется тобой и велел мне тебя непременно привести к нему, когда будешь в городе.

Условились идти, когда стемнеет. А до тех пор отделать, чтобы в конечном виде доставить третью часть *«Ди Фрау»: «Женщина в будущем»*.

До самой ночи, забыв клавишины и умную Спичку, Алпатов сидит за столом, сверяет рукописи с подлинником, не сделал ли он какой-нибудь ошибки, так ли передал пророчество Бебеля о мировой катастрофе. Сто раз и больше читал он это место про себя, и потому представление мировой катастрофы стало у него пульсировать с кровью, исчезать и появляться в красном зареве, как было в детстве, когда няня говорила: «Затрубит архангел на горе, загорится край земли с неба». Только тогда это было, как последний жестокий расчет с жизнью, вроде сожжения Содома; теперь же не конец, а начало жизни совершенно иной.

Много замыслил Миша о Данилыче. Прежде всего ему надо решить вопрос об окончательном отношении к Осипу, и после того, если его мысли будут Данилычем приняты, вступить в беспощадную борьбу. Еще хорошо бы достать у Данилыча в подлиннике Гегеля и Канта, перечитать все это, чтобы Осип не сбивал его противными словечками вроде *априори*.

К наступлению ночи от всех этих дум Миша потерял даже способность определиться на улицах, и большой деревянный дом, куда привел его Ефим, показался невиданным. По совершенно темной лестнице они поднялись на второй этаж, и тут, на площадке, Ефим два раза стукнул в дверь палочкой. Верно, так это уж было

условлено, потому что старуха открыла дверь без опроса и только очень внимательно посмотрела в лицо Алпатову. Через стеклянную дверь коридора Миша увидел круглый стол с висячей лампой, и там прежде всего ему бросился в глаза небольшой, но очень коренастый, совершенно лысый человек в сером пиджаке, густые брови были вниз, щеки чисто выбриты, и оставлена небольшая бородка. Когда раздевались, Ефим шепнул:

— Вот Данилыч.

Миша всполыхнулся:

— Лысый?

Ему в первую минуту казалось невозможным, чтобы этот ожидаемый им Данилыч оказался таким обыкновенным и даже лысым. Но в следующий момент почему-то обернулось иначе: Данилыч непременно должен быть лысым, и коренастым, и с густыми бровями. Против него за столом сидел Осип, и лицо у него было такое, когда он задумывает во что бы то ни стало, правдой или неправдой, выпутаться из трудного положения. Данилыч читал ему какое-то письмо. Сзади Данилыча стояла высокая женщина с испытующими черными глазами, наверно, жена его, о которой так часто приходилось слышать от Ефима, Софья Федоровна. Тут же, у стола, был небольшой, так что была видна только голова, мальчик с цветущим лицом, глаза у него живые, блестящие, и было так странно, что такой здоровый бутуз не играет, не бегают, не поет, а тоже смотрит на Осипа и как будто что-то понимает.

Вдруг все переменялось, когда Ефим с Алпатовым вошли в комнату. Данилыч спрятал письмо, мальчик перевел те же серьезные глаза на вошедших.

— Это, наверно, Миша Алпатов,— сказала Софья Федоровна.

И подала ему руку, как будто давно уже была с ним знакома: свои. Данилыч тоже поздоровался просто. Миша сразу заметил, что у Данилыча в глазах была дорогая строгость без обыкновенной хитрости, как у Осипа: Данилыч был настоящий. Взглянув в эти глаза, Миша сразу решил, что свой коренной вопрос он поставит непременно.

Поговорили о Сибири, где Миша учился и Данилыч был на каторге, и о переводе: что замечательный перевод. После того Миша совсем осмелел и решился выступить по главному своему делу. Но когда он раскрыл рот, чтобы

заговорить, это самое главное вдруг куда-то исчезло, он ужасно покраснел, но уже нельзя было отступить, и он стал говорить на счастье: куда-нибудь вывезет.

К чему-то ему вспомнился дорожный чайник без ручки, что чайник этот очень жегся, и наливать было такое мученье, и так было долго. Но как-то раз он взял кусочек проволоки, продел в ушки, загнул, ему это ничего не стоило, а чайник стал служить хорошо, вот уже два года служит, и каждый раз он, Миша, наливая, удивляется: он сделал только движение, а чайник за это служит годы...

Но к чему же он рассказывает о старом чайнике? Ах да, вот к чему: чайник служит ему рабски верно за какое-то его одно движение, и вот тоже рабочие служат капиталисту за какое-то движение. Вот это надо отнять у капиталистов и передать самим рабочим, но у нас...

Нет, не то... Главное, что значит, в самом чайнике заключается его дело, и если бы чайник понимал, то непременно стал бы служить себе самому. А рабочий сразу все понимает, и, значит, ему надо и отдать эту страшную силу. Вот что! А у нас интеллигенты берут эту силу для себя и уверяют, что не надо ничего делать, все само собой сделается через концентрацию капитала. Этим наносится страшный вред рабочему движению, создается буржуйство ума и стремление каждого быть умнее другого. Это именно и проповедует Осип.

Да, вот оно самое главное, о чем он хочет сказать: рабочее дело очень просто, не более, чем устроить к чайнику ручку, только не надо затемнять его своим личным умственным интересом, от того получается схоластика, и мы, выгоняя в одну дверь метафизику, в другую впускаем схоластику.

— Я кончил,— сказал Миша, вытирая пот.

— Правильно, Миша,— ответила Софья Федоровна.— Данилыч, скажи ему по-своему, ведь он пришел за самым главным.

Данилыч сказал задушевным голосом, и Мише это было как музыка, и простые слова его зато показались полными какого-то смысла.

Данилыч сказал:

— Да, Миша, у вас в душе большой практический корректив, и потому теория вам будет всегда проста, и она правда очень проста.

Взволнованный Миша не сразу понимает, что слова эти обращены и к Осипу и что теперь, после своего выступле-

ния о самом главном, он больше уже не мешает начатому объяснению Данилыча с Осипом. На одно только мгновение он выходит за рукописью в коридор, и когда возвращается, то что-то решительное уже произошло в комнате, верно, Данилыч задал Осипу окончательный вопрос, и затем письмо опять на столе. Софья Федоровна стоит с окаменелым лицом и горящими большими глазами, — смотреть на нее страшно. Но и мальчик тоже серьезно, неотрывно смотрит. Вдруг Осип побледнел и раздел свои глазки, страшно злобные. как у зверя в последней защите.

— А если так... — сказал он, — если так... то мое право жить как хочется не меньше значит, чем ваше непереносимое желание генеральствовать.

Тогда лицо этой женщины, неизменно блекло-смуглое, оказалось способным меняться, побледнело, глаза стали вдвое больше, вспыхнули. Она прошептала:

— Я так и знала!

В это время и Миша знал, и у него отозвалось, как эхо, в душе то, что он хорошо знал в себе, но почему-то не смел назвать.

— Про-во-ка-тор! — сказала бледная женщина с неподвижными глазами и стала медленно, как вдруг подстреленная, падать.

Потом был крик...

В жизни своей Миша еще не слышал такого крика, и он показался ему непереносимым спутником взятого на себя Данилычем дела, как все равно были спутники страшной смерти на кресте, когда настала тьма, земля содрогнулась, и завеса церковная разодралась. Так было в нем, что и всем, кто пойдет этим путем, непременно должно быть, как и Данилычу...

Непереносимо было слышать. Миша стоял растерянный. Но, верно, это повторялось в семье политического каторжника.

Данилыч сказал:

— Вася, принеси воды!

И, нагнувшись, стал расстегивать кофту. Ему это было привычно, и провокаторов он тоже, наверно, видал.

Никто не заметил, как вышел Осип. А цветущий мальчик принес воды и по-прежнему серьезно смотрел, как будто учился у взрослых жить без улыбки на лице.

Потом Данилыч распорядился коротко, как на войне, чтобы за ночь замести все следы и потом на допросе запереться всем до конца. Мише Алпатову выпало два

дела — перенести всю нелегальную литературу в музей к Жукову и на заре доставить в тюрьму письма заключенным.

С большим тюком, стараясь не показываться на свет фонарей, пробирается Алпатов и все боится не успеть в такую короткую ночь. Ему так хорошо на душе, как никогда не бывало, хорошо потому, что он не один. Вон там из темного переулка на помощь ему с таким же тюком пробирается стеной высокая девушка, так непохожая на женщину настоящего: все проклятые вопросы исчезли, это женщина-товарищ идет.

Какая радость, что в музее огонек, значит, Жуков не спит.

При первом стуке он, покашливая, спускается с лестницы и при первом шепоте все понимает: да, и он тоже думал, что Осип — предатель. Только надо как можно скорее в тюрьму, а то предрассветный час уже наступил. Жуков все сделает сам за Алпатова, пусть только скорее идет он к тюрьме. Миша оставляет товарищей и подкрадывается к огромному зданию.

В тюрьме нет ограды, вместо этого непрерывно шагает часовой, обходя все четыре стороны. Пока он обходит там, Миша перебегает к поломанному забору против окон тюрьмы и скрывается за досками.

Можно заметить, как иногда на часах прыгает стрелка, так бывает и с рассветом: светало скачками. Не было видно окон четвертого этажа, моргнуло — и вдруг показалось. Еще раз моргнуло — и за решеткой явилось бледное пятно. И когда был еще один скачок рассвета — бледное пятно оказалось лицом человека.

Часовой появляется, лицо исчезает, часовой уходит, и в третьем окне опять лицо человека. Тогда Миша выскакивает из своей засады, машет три раза красным платком и опять назад, и сквозь забор замечает, что в ответ ему открывается форточка в третьем окне.

Сколько он ни расспрашивал Ефима о том, как все делается, но вот одного не успел спросить, и приходится решать самому: что, если, когда он побежит к тюрьме привязывать на спущенную из окна веревочку записочку с двумя словами: «Осип выдает», часовой обернется? Он знает, что записку надо проглотить, но как быть самому: сдаваться или убегать под выстрелами? Алпатов решает бежать под выстрелами, потому что до забора всего три десятка шагов и невозможно верно прицелиться. Но если

и попадет случайная пуля — ничего: Мише кажется — это будет сладкая пуля.

И то ли выносил Данилыч на каторге, и то ли будет ему, пока он тоже туда попадет. А он будет там, он готов...

Теперь он смотрит на крест тюремной церкви: когда первый луч солнца позолотит крест, часовой непременно задержится на той стороне, — какой же человек не остановится взглянуть на восходящее солнце?

Цвет неба меняется с голубого на красный. Крест неподвижный и темный.

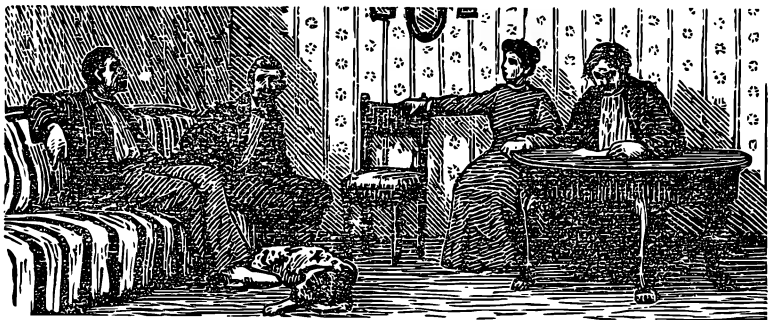
Вот и опять явилась на память недоконченная дума о той молитве, где страдающий бог выпрашивает себе у старшего бога кусочек маленького человеческого счастья: «Да минует меня чаша сия».

И чудится юноше, будто из прекрасной страны Италии возвращается на родину светлый странник с волшебной палочкой, управляет переменой цвета на небе и на земле, шепчет ему:

«Земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду по лугу, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью и что весна — это главное, из-за чего живут на земле люди. Цвет — это главное, это явное, это — день, а крест — одинокая почь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир, так, что сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста».

Вот какой шепот бывает в цветах неба при восходе солнца, иным более понятный, чем речь человека.

Но прощайте, небесные цветы: крест засверкал! Каким-то недобрым усилием сжимает в себе Миша Алпатов сердце. Крест заиграл. Часовой уходит и не показывается. Алпатов встает и скачками бежит к тюрьме.



КНИГА ВТОРАЯ

БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ

ЗВЕНО ПЯТОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ

Было это давно в Петербурге в белую ночь. На Литейном забыли погасить одну электрическую лампочку, и она как будто совсем напрасно горела всю ночь, такую светлую, что можно было даже газету читать. Но я все забыл, что со мной случилось в эту ночь, а когда вспомнил о лампочке, то все воскресло до мельчайших подробностей. Значит, лампочка не напрасно горела?

Так вот и любовь Алпатова, кажется, совсем напрасно прошла, а не будь ее, не стал бы я возвращаться к эпохе, когда у тучного русского царя заболели почки и он вдруг для всех неожиданно умер.

Царь умер. Будто что-то упало в тихую воду: поверхность заволновалась, а в глубине по-прежнему плавали рыбы и думали о своих червячках. Но поверхность стала неузнаваема, дворяне-политики зашевелились, чего-чего не говорили о новом царе, собирались, совещались и,

наконец, как в басне о лягушках, полезли узнать, царь это или чурбан. Какой-то мудрец научил Николая II чуть ли не единственный раз за все свое царствование ответить ясно и твердо: он назвал претензии дворян на конституцию *бессмысленными мечтаниями*.

Тогда от нечего делать наши мечтатели стали списывать стишки и передавать их с рук на руки, из губернии в губернию, из края в край, так что скоро вся огромная страна говорила о новом царе в стихах.

Но бессмысленных мечтаний
Ни за что не потерплю.

К Алпатовым слух о выступлении дворян тоже очень скоро долетел через Раменовых. Мария Ивановна ни одного человека не отпускала от себя, не обменявшись с ним мыслями о приеме царем дворянства. Трудно сказать, что подмывало такую серьезную хозяйку интересоваться новостью, не имеющей в повседневной жизни никакого значения. Вероятней всего, это вытекало из ее большой склонности к литературе.

Ученная на медные деньги, Мария Ивановна постоянно читала классическую русскую литературу — Достоевского, Тургенева, Толстого, Гончарова, а из иностранных — Шекспира, Диккенса и Сервантеса. Часто, бывало, выслушав какой-нибудь рассказ из семейной жизни соседей, она восклицала:

— Это совершенно так же, как во время родов Кити Левиной.

А то про мужика, обиженного детьми:

— Настоящий король Лир!

И кто слышал, как Мария Ивановна выговаривала это, на мгновение забывал, что и король Лир и Кити Левиная взяты из книги. Казалось, что все эти боги живут недалеко. Вероятно, таким же образом и Олимп населялся.

О дворянах, предложивших царю конституцию, Мария Ивановна сказала:

— Какие-то Дон Кихоты!

Мало кто из гостей Марии Ивановны читал полного «Дон Кихота» со всей волшебной затеей вставных новелл и стихов.

Большинство узнало трагедию рыцаря из сокращенного изложения и считало его почти за дурачка. А бывали и такие, особенно из купцов, кто почему-то принимал

тон личного врага Дон Кихота и злился при этом. Но если такой гость через Дон Кихота начинал ругать либеральных дворян, Мария Ивановна отчитывала его по «Русским ведомостям», называя *ретроградным* человеком.

Так, закидывая свою удочку у дворян, у купцов, мещан и даже крестьян, Мария Ивановна заключила, что разговоры о конституции собственно к жизни не имеют никакого отношения, но за столом вызывают всегда интересные споры.

Давно, еще в годы молодости, Мария Ивановна через кого-то усвоила, что при дворе во время парадных обедов полагается оставлять на тарелках немного супа. Мария Ивановна видела в этом смысл: обычай, по ее догадке, из-за того сложился, чтобы царские гости не выказывали на людях свою домашнюю жадность к еде, парадный обед — церемония, а не жратва.

Она признала этот придворный обычай полезным и для воспитания своих детей; приучила их, как у Раменовых, оставлять на тарелке немного супа. Теперь она заметила, что у Раменовых доедают суп до конца и, не смея спросить о причинах перемены, догадывалась о перемене обычая при дворе. Так, вероятно, и все эти разговоры о *бессмысленных мечтаниях* Мария Ивановна в глубине души своей считала просто принадлежностью стола, таким же обычаем, как при старом царе оставлять суп на тарелке, а при новом — доедать его до конца.

Почти с таким же благодушием она уже давным-давно принимала вести о студенческих бунтах; всякий серьезный юноша, по ее пониманию, непременно должен был побунтовать, чтобы сделаться потом вполне *развитым человеком*. И когда на ее глазах ее Миша начал заниматься политикой, ей хотя и показалось, что он взял чересчур серьезную ноту, все-таки она видела в этом что-то хорошее и необходимое. Но когда весть дошла, что Миша арестован по-настоящему и как серьезный бунтарь даже отправлен куда-то не то в крепость, не то в *образцовую тюрьму*, она очень взволновалась. Скоро, однако, со всех сторон она стала получать выражение сочувствия и понемногу успокоилась. Все либеральные люди говорили:

— Глухая, мрачная эпоха, только молодежь и выносит все на себе.

Проходят недели, месяцы, наступает день Марии Епипетской в конце жаркого июля. Множество гостей съезжается к Алпатовым поздравить Марию Ивановну с ангелом.

Раньше всех приехала своя купеческая родня, тетушка Калиса Никаноровна и мудрый крупчатник Семен Парфеныч Петров.

— Ты, Мария Ивановна,— говорила Калиса Никаноровна,— не очень беспокойся за Мишу, из таких потом выходят очень умные люди.

Мария Ивановна забеспокоилась: она, воспитанная «Русскими ведомостями», умными людьми называла вообще достойных людей, а старинная купчиха Калиса Никаноровна — ловких в торговой и всякой плутне.

— Какие такие умные? — спросила Мария Ивановна, нахмутив лоб.

Калиса Никаноровна, не желая поднимать спор во время именин и расстраивать Марию Ивановну, ответила:

— Я хочу сказать, дельные люди. Возьми в пример Дунечку, она учит деревенских ребят тоже бунтам и безбожию, а самые хорошие ученики ее выходят в дьякона и полицейские. Почему же в других-то школах, где учат хорошо закону божьему, не вышло ни одного дьякона и урядника? Эх, Мария Ивановна, жизнь любит, чтобы ее царапали, и на это она отвечает по-своему, все равно как пикируют капусту: отщипнут кончики корешков, а капуста от этого сильнее растет. Так вот Мишино дело, посидит в тюрьме и еще какой умница выйдет.

— Нет, Калиса Никаноровна,— ответил Семен Парфеныч,— хотя и умные ваши мысли, а все-таки капуста растет не касаясь жизни садовника: сами садовники и огородники часто сидят без капусты. Я понимаю молодежь просто как передовой авангард: с них все начинается.

Так ответив Калисе Никаноровне, Семен Парфеныч по-своему стал утешать Марию Ивановну:

— Драгоценнейший камень на земле есть бриллиант. И я говорю всем юнцам: берегите свой бриллиант. Нужно, чтобы юноша в это горячее время не тратил сил. Понимаете? Лучше, много лучше, если он в это время посидит в тюрьме, чем станет расходовать свой бриллиант. А если когда он на всех путях своих потерпит крушение или

достигнет высшего, то выберет себе жену и найдет в ней мать натуральную для своих детей.

— Не совсем понимаю ваш бриллиант, — ответила Мария Ивановна.

— Скажу попросту, — замялся немного Семен Парфеныч, — драгоценнейшие капли жизни. Все дело в этом.

Мария Ивановна задумалась. Тяжелые это были часы, когда своя купеческая родня собралась, а веселые люди еще не подъехали.

— Не так в любви, — сказала Мария Ивановна, — купеческие сынки теряют свой бриллиант, как в пьянстве. Дворян сохраняет воспитание, без этого и кровь не поможет.

— Нет, Мария Ивановна, я сознаю, воспитание и образование помогают от пьянства, но дворянство свою кровь истратило, в этом разе не поможет образование. Дворянство нашего времени утратило мать натуральную.

Мария Ивановна уже по прошлым именинам знала все мысли Семена Парфеныча и ожидала, что теперь он непременно перейдет на пользу морковного сока для очищения желудка. Мысли были неплохие, но оставались без движения: все тот же на все время неизменный морковный сок для желудка и охрана драгоценных капель жизни. Она уже не слушала Семена Парфеныча и придумывала разные способы, чтобы освободиться. Между листиками дикого винограда, укрывающими террасу от солнца, она разглядела своего сына Николая, идущего по дорожке, только что для именин усыпанной желтым песком. Она схватилась за мысль усадить сына вместо себя, хотела крикнуть «Коля!», но, как часто бывает у матерей, позвала другого сына, Сережу, хотела поправиться и крикнула Сашу, только уж когда дошло до Миши, одумалась, но Николай в это время смекнул и скрылся между липами.

Вдруг, услышав колокольчики, она прямо сказала:

— Извините, Семен Парфеныч, надо гостей встречать.

Ехали самые любезные и самые непостижимые в своем счастье для Марии Ивановны гости, дворянская беднота Отлетаевы со всеми своими гимназистами, студентами и барышнями. Ехали на линейках, голова к голове, и, как только поздоровались, побежали кататься с высоких ометов свежей ржаной соломы. Старшие из вежливости на короткое время задержались в гостиной, но мало-помалу выходили на террасу, потом спускались по ступенькам

к цветам и дальше в липовую аллею, в березовую, мелькали между яблонями и скрывались в зарослях родительской вишни.

Все гости были распределены на три группы, как в монастырских трапезных. Высшим накрыли огромный стол в зале, для них готовил повар, привезенный из города, великий обед с торжественными индейками, пломбиром и шампанским. Низший класс валил в людскую, где жили рабочие, там была водка, студень, пироги и рыба (соленая). Средний класс, в котором был приказчик из духовного звания Иван Михалыч, старшина, урядник, некоторые арендаторы из мужиков, старый пьяница-дьякон, размещались в том же большом доме, где и высшие, но не в парадных комнатах, а в няиной, прихожей и коридоре. Тут было *лиссабонское*, та же, конечно, водка, но подслащенная и окрашенная пережженным сахаром. Студень тут был с мозгами и рыба только свежая (сазан и судак). Из года в год порядок был одинаковый, всегда неизменно пьяница-дьякон был в среднем классе, а дьяконица Евпраксия Михайловна — в высшем для того, чтобы она сдерживала дьякона, когда он, пьяный, врывается к высшему столу под предлогом, что ему, дьякону, надо быть непременно вместе с попом.

Простой народ повалил на именины прямо после обедни, и тут всем сразу и был обед, и что кому полагалось выпить, выпивал сразу все стаканами. И потому тут рано все загудело, как в пчелином улье.

Одни, выпивая и закусывая, говорили:

— Ну, спасибо Марии Ивановне, студень так уж студень, рыба так уж как и надо быть. — Вспоминали для сравнения, что соседка Марии Ивановны, Софья Александровна, настоящая столбовая дворянка, кормила на своих именинах простой народ овечьими головками. Никита Васильев, старый умный мужик и ходок по мирским делам, дал на это объяснение.

— Потому что, — сказал Никита Васильев, — дворянская кровь тощая, а Мария Ивановна из купцов, и купцы вышли тоже из мужиков.

Антропка, тот самый, которым пугают детей, Антропка Неверующий, по своему обыкновению, скоро объелся, около него вышла неловкость, и над ним стали смеяться, вспоминая, как он прошлый год на именинах взялся на спор допрыгать на одной ноге со звуком полторы версты, до леса. Смеялись тоже и над работником Павлом, что целых

три года растил жеребенка, рассчитывая сделаться хозяином, вырастил, продал и пропил.

— А что ты выгадал? — окрысился Павел.

— Елду выгадал, — поддержал Павла малоземельный Пахом.

Тогда все малоземельные хозяева поддержали Павла и Пахома: издыхать одинаково и на своих наделах, и в батраках.

Никита Васильев с другого конца стола услышал спор о земле и встрепенулся.

— Погодите, — сказал он хитро и мудрено, — придет время, и вот сколько будет земли, не в силах будет поднять человеку.

Другой затейливый человек, каменщик Стефан, ввязался:

— Ты это о светопреставлении?

— Зачем о покойниках, — ответил Никита, — я о живых. Поумнеют люди и землю побросают. Кто землю работает? Дураки. А когда все будут ученые — кому захочется быть в дураках, все мужики поступят на должности.

Загадку эту об ученых Стефан как-то понял по-своему и, подмигнув Никите, вышел с ним, как будто до ветру.

— Слышал ты про сынишку Марии Ивановны, про Мишутку? — спросил он Никиту.

— Слышал...

Никита и еще кое-что знал.

— Царь-то, — сказал он, — их шугнул.

— А чего же они лезли?

— Как что? Сами в царя хотят.

— Ну, а Мишутка?

— А Мишутка за ученость: этот с ученой стороны.

Когда Стефан с Никитой вошли в людскую, там уже состоялось постановление всех пирующих отправить их к Марии Ивановне и загнать ей притчу о евангельском браке, на котором не хватило вина.

Средний класс — богатые мужики-арендаторы в синих поддевах и блестящих сапогах бутылками, дьяком, урядник, старшина с приказчиком Иваном Михалычем во главе в это время чинно сидели в большом доме и дожидались. Из предосторожности Мария Ивановна не давала им вина, пока не начнется торжественный обед за большим столом высшего класса, а там тоже нельзя было начать, пока не приедут Раменовы. Отлично понимала Мария

Ивановна, что от беднейших дворян с заложенными по двойной закладной именьями до Раменовых с пятнадцатью тысячами десятин чернозема такое же расстояние, как от безлошадного батрака Павла до мужика большого арендатора, что дворяне тоже разные и что по правде следовало бы и их разделить, по крайней мере, стола на два, но это было неловко. и бедные должны были дожидаться богатых. Первым приехал из Раменовых губернский предводитель на велосипеде новой конструкции с пневматическими шинами, потом уездный предводитель на английской кобыле и, наконец, сама кавалерственная дама в старинной карете. Важную даму сопровождали верхом бедные родственники, старый гусарский офицер, двоюродный или троюродный брат, просто *полубрат*, как сами они его называли, с молоденькой племянницей его, какой-то Инной Ростовцевой.

По мере того как подъезжали дворяне, купцы в разговорах теряли всякую развязку, и, когда прибыли Раменовы, сделалось, будто их вовсе и не было. Но случаем почтить Марию Ивановну воспользовались два самых богатых купца, которые совершенно не боялись дворян. Просто Захаров по фамилии, а кончил политехникум в Англии, говорил свободно на трех языках, одевался с иголочки и только два имел недостатка в костюме: всегда носил ногти в трауре, и часто виднелось у него при открытом смокинге полпуговицы на недозволенном месте. Он ставил громадный цементный завод с электрической станцией. Всего удивительней, что в этот раз заглянул наконец, всю жизнь собираясь к Марии Ивановне, и совершенно несродный ей по взглядам первый богач из купцов, Иван Иванович Релкин. Он разбогател на махорке и держался в своем деле и всю свою жизнь взглядов самых старинных. Этот маленький старичок, похожий на Суворова, как и Суворов, был способен при всех важных лицах прыгнуть на стол и закричать петухом. Мария Ивановна боялась его и, как сама говорила: *пасовала*. В этот раз, однако, она решилась интимно побеседовать с ним в уголке гостиной. Она подъехала к нему с разговором о бессмысленных мечтаниях.

Релкин сурово молчал.

Стало очень неловко. Тогда Мария Ивановна, сама изменяя себе, прямо-таки тоном осуждения сказала:

— Какие-то Дон Кихоты!

— Индюхи, — сказал Релкин.

И быстро, громко и надолго забарабанил двумя пальцами по столу, так что Мария Ивановна как бы вдруг исчезла сама от себя и до конца *спасовала*.

С уездным предводителем Мария Ивановна перешепталась о Мише: «Нельзя ли что-нибудь сделать». Но оказалось, нельзя: дело перешло в Петербург. А в общем, — это уже сказал губернский предводитель, человек с большим кругозором, — «дело это современно-естественное, марксизм теперь в большой моде, есть отличные в столице теоретики, Струве, Туган-Барановский, и за ними сам Витте ухаживает. Пользуясь модностью марксизма, товарищ прокурора Анацевич сделал себе в смысле карьеры отличное дело, и для молодых людей все кончится пустяками».

После беседы с губернным предводителем Мария Ивановна очень успокоилась и провела торжественный обед великолепно. Неожиданную себе помощницу Мария Ивановна нашла в совершенно до сих пор не известной ей Инне Ростовцевой.

К вечеру Мария Ивановна, проводив Раменовых, уговорила Инну остаться у нее ночевать и, совершенно в нее влюбленная, пошла с ней вдвоем погулять в аллее и отдохнуть от гостей.

— Ты такая образованная, Инна, — сказала она, — объясни мне, пожалуйста, что такое тип?

— Какой тип?

— Как это говорят: тип, и кончено. А ведь есть же и не тип. Я хочу сказать, что нельзя же подвести всех под тип, есть и просто люди сами по себе.

— Боже мой, — воскликнула Инна, — какая вы, Мария Ивановна, хорошая!

И обняла ее.

Мария Ивановна, поглаживая ее по голове, нечаянно раздвинула на лбу ее локоны и вдруг остановилась, крайне удивленная.

— У тебя такой лоб... я тебя принимала за Ирину из «Дыма», а ты, оказывается, вон какая...

— Ученая?

— Нет, это другое. Совсем не тип, как я тебе сейчас говорила. А все-таки ты героиня.

Инна опять обняла Марию Ивановну.

Всю жизнь ждала Мария Ивановна в свой удивительный парк тургеневскую девушку и была уверена, что это она, только Лиза — не Лиза, Ирина — не Ирина, что-то близкое, но как-то не совсем сходится.

Они были в конце липовой аллеи, у крайней лавочки, а в конце березовой, пересекающей дорожку в лес, слышался мужицкий пьяный хохот и крики.

Сразу Мария Ивановна пришла в хозяйское боевое настроение и, сказав Инне подождать ее немного на лавочке, стала тихонько из-за деревьев подкрадываться к месту безобразия. У нее был отличный навык незаметно подходить. В тот момент, когда выглянула из-за дерева, при громком хохоте всех пьяных работников и других мужиков Антропка Неверующий пустился на одной ноге со звуком скакать в лес.

Забава работников не оставила на Марии Ивановне никакого впечатления. Это было так известно ей, так обыкновенно, и несколько не помешало ей вернуться в липовую аллею и там попробовать к тургеневскому женскому Олимпу присоединить еще одну женщину.

Много рассказывала ей Мария Ивановна о своем любимом сыне, как он, с детства настроенный возвышенной девушкой, которую и звали не иначе, как Марьей Моревной, теперь сошелся с новой молодежью и хочет осуществить социализм.

Инна совсем ничего не понимала в социальном движении и, когда Мария Ивановна кончила, ответила ей:

— Как все это странно, ведь у Тургенева в «Нови» все это описано, и, когда описано, мне почему-то представляется, значит, и кончено. Неужели так это и продолжается?

ПТИЦА В КЛЕТКЕ

Политическое дело «школа пролетарских вождей» выкопал и создал, как интересный момент современности, один талантливый товарищ прокурора, маленький чистенький *петербургский тип*, Анацевич. Равнодушно выслушивая все на свете, этот следопыт политики говорил одно только слово «любопытно» и все-таки держал в своих руках жандармские, сыскные и всякие полицейские управления. Анацевичу пришла в голову мысль собрать из всех высших учебных заведений вступительные прошения студентов, сверить почерки с теми, которые нашлись при обыске, и так установить личности деятелей «школы пролетарских вождей».

Сотни почерков эксперты стали изучать, сличать, складывать из букв прошений слова, переводить их на

прозрачную бумагу и потом накладывать слова прошений на такие же слова рукописей.

Экспертиза пользовалась научным способом, и, когда слова складывались, личность устанавливалась безошибочно. Тогда жандармский генерал наряжал ротмистра. Молодого государственного преступника брали в тюрьму и сажали в камеру предварительного заключения, и там он оставался забытым сидеть, пока экспертиза не разберет тысячи других почерков. Счастлив был, кому пришлось попасть под конец, но первые более года сидели в одиночках, пока экспертиза не устанавливала личность последнего и не начиналось настоящее разбирательство дела.

Михаила Алпатова арестовали в самом начале, допросили. Обещали свободу, если сознается, грозили... Он выбрал себе самый досадный для следствия путь отвергать решительно все. Убедившись, что из него ничего не выпытаешь, его отправили в образцовую тюрьму. Молодого государственного преступника везли в закрытой повозке, потом в отдельном вагоне и опять в повозке до самой тюрьмы. В конторе его обыскали, отобрали все вещи, даже часы и карандаш.

Явился начальник тюрьмы, прославленный жестокой дисциплиной латыш, с ним был очень худой, рыжеватый, весь прокуренный ротмистр и кругленький доктор. Все эти начальники сели за столик и стали записывать черты лица Алпатова и другие внешние признаки его личности. Юноша горел внутри, и, вероятно, потому у него постоянно менялось выражение лица, даже глаза то были зеленые, то голубые, то темные.

Все, однако, сразу согласились и записали: рост средний. Но, когда надо было определить цвет глаз, начальник тюрьмы сказал:

— Большие, голубые.

Ротмистр:

— Не очень большие, зеленые.

Доктор попросил смотреть Алпатова в темный угол, потом на свет и сказал равнодушно:

— Обыкновенные глаза.

Потом все записали, как попало, только в последней рубрике — подбородок — ротмистру надоело подчиняться доктору, вероятно, ему припомнился Чичиков, и он сказал нерешительно:

— Круглый?

Доктор с усмешкой ответил ротмистру:

— Подбородок после носа самая выдающаяся часть в лице, он не может быть круглым.

— А как же у Гоголя сказано.

— У Гоголя, — засмеялся доктор, — у Гоголя черт луну в карман спрятал.

Ротмистр заупрямился:

— Нет, я помню, там прямо сказано о лице Чичикова: подбородок круглый.

— Я вам объясню, если вы хотите, — сказал доктор. — Чичиков вообще духовно круглый тип, и в соответствии с этим круглым сделан и подбородок. Там образная речь, а у нас обыкновенная.

— Как же запишем? — спросил начальник тюрьмы, очень недовольный болтовней доктора и ротмистра.

— Так и запишем, — сказал доктор, — обыкновенный подбородок.

После этого явился фотограф, сделал несколько снимков, начальник тюрьмы выписал бумагу и позвонил. Пришел старый, но очень кряжистый, вооруженный надзиратель. Начальник сказал:

— Отведи, Кузьмич, в двадцать седьмой.

Старик повел Алпатова через двор, по которому шагал часовой, и за ним, совершенно ему подражая, на длинных ногах шагал настоящий дикий журавль.

Алпатов решился спросить о журавле надзирателя, и Кузьмич охотно ответил ему, что у журавля повреждено крыло и он тут уже второй год.

— Наверно, у вас его и зовут как-нибудь?

— Ну, как же: Фомкой зовут.

— Почему же Фомкой-то?

— Эх, — досадливо сказал Кузьмич, — почему журавль да почему Фомка, вы это извыше себя спрашиваете.

Это была правда, потому что небывалому очень жутко идти в тюрьму, особенно в одиночку без срока, и всем хочется схватиться за что-то *извыше* себя.

Алпатов застыдился.

Когда дверь в тюрьму открылась и надзиратель с арестантом вошли в тюремный зал, то на первых порах казалось, будто окунули в какую-то вонючую жидкость: так всегда кажется очень сильно в первый раз и потом послабее каждый день, после прогулки на свежем воздухе.

Алпатов схватился за нос.

— Привыкнете, — сказал Кузьмич добрым голосом.

Далеко где-то, в двусветном огромном зале, на том конце, уголовные арестанты в серой одежде подметали пол, и от каждого их движения шваброй через весь зал летела и била в лицо вонючая волна. На чугунных черных ажурных мостиках, соединяющих вверху черные двери камер одиночного заключения, там и тут стояли вооруженные надзиратели и смотрели сверху на Алпатова.

Случилось, что один политический в это время задержался в уборной и вышел оттуда как раз, когда мимо проводили Алпатова. Сразу же на всех мостиках произошел переполох, как будто волк выскочил из канавы и весь обоз на него заорал. Этот политический — был вождь народников Жуков, но ни он, ни Алпатов не подали вида, что знают друг друга.

Жукова повели на ту сторону, Алпатова — сюда, и можно уже по этому было понять, что сидящие по делу народников — на той стороне, а марксисты — на этой.

Когда заперли дверь за Жуковым, то это было в зале не тише, чем на воле пистолетный выстрел. Так же раздалось, когда Кузьмич открыл камеру номер 27-й для Алпатова. Старик привычной рукой прицепил бумагу к серой стене над столиком и сказал:

— Ну, коли что, по малой нужде,— вон там в углу парашка, а по большой постучите. Не хворайте.

И вышел, опять стрельнув ключом на всю тюрьму.

Маленькая комната, семь шагов в длину и пять в ширину, была полутемная, потому что над окном зачем-то висел деревянный колпак. Алпатов с трудом прочитал на бумажке:

№ 27

МИХАИЛ АЛПАТОВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Человека, все равно как и посаженного в клетку зверя, бросило к свету. Он передвинул стол к стене с высоким окошком, прыгнул, приставил лицо к железной решетке, и это стало похоже на известную картину в Третьяковской галерее, возле которой у многих выступали на глаза слезы: картина была, как икона голгофских страданий интеллигенции. Алпатов сам видел эту картину, вспомнил о ней, и, вероятно, потому стало ему, будто все это не вразумительно: разве он достоин этого, разве он настоящий государственный преступник?

Но так же часто и встречающие свою смерть не узнают ее, считая себя еще не готовыми к страшному, и это встре-

ченное оказывается не так страшно, как представлялось. А потом это с боли видят железную решетку и за ней бледное лицо арестанта. Сам же арестант не видит железные прутья, заключенный иногда только в первый раз знакомится с жизнью: какая она там за решеткой прекрасная...

На дворе из конца в конец ходил кто-то в черной одежде, за ним солдат с ружьем и за часовым Фомка. А за стеной показалась большая крона светящегося зеленою дерева.

Все это продолжалось только мгновение. В дверь крепко постучали, и там сверкнул из волчка блестящий страшный глаз. Алпатов прыгнул, подвинул стол на место, сел на табуретку, долго сидел, не расставаясь с видением живого дерева, удивляясь, как он раньше не понимал, что зеленые листья сидят на тонких черенках и трепещут, а ствол, такой большой, крепкий, неподвижный, их держит, и что все там на воле должно быть необыкновенно прекрасно. Так долго сидел человек, и точно так бывает с птицей, когда с воли ее пустят в клетку; сначала она непременно бросится к свету, тукнет головой о проволоку, потом долго сидит и снова начинает бросаться.

Алпатов вскочил и стал обдумывать, как бы сделать, чтобы, не раздражая надзирателя, можно было время от времени глядеть в окно на сверкающее дерево. Придумав что-то, он постучал в дверь. Глаз показался.

— Можно форточку открыть?

— Форточка открывается во время прогулки: завтра.

Алпатов пробует, думая, шагать по комнате, восемь шагов по диагонали. Повертелся немного, и вдруг очень захотелось спать. Ложится на железную кровать, прямо без тюфяка.

— Нельзя днем ложиться, — стучит надзиратель, — вечером ляжете после поверки.

Вот когда вдруг подступила тюрьма, по-серьезному, без Фомки-журавля, без воспоминания картины голгофских страданий.

В раннем детстве Алпатову так пришлось, что кто-то из старших, разыгравшись с детьми, в шутку прикрыл его подушкой и передержал. Мальчик пережил почти все, что переживает человек, задыхаясь до смерти; была зверская злоба на того, кто придушил: будь нож под рукой, пырнул бы, ни мгновения не думая, что родному хорошему человеку наносишь смертельный удар; потом отчаяние, зеленые круги и после освобождения бесконечное смертельное оскорбление. После того еще было вроде этого:

как разберешься, душит рука незлобная, только не понимающая ужаса жертвы, и объясниться невозможно, нет языка. И еще воспоминание... есть вообще какой-то черный ужас в родной стране. Этот весь «ужас подушки» вдруг охватил Алпатова, и ему мелькнуло в безумии — разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее — разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро. На стену страшно смотреть — стена соблазняет, и на окно тоже нельзя — окно соблазняет. И слышатся уже насмешливые голоса: хотел освободить людей от Кашеевой цепи, а вместо этого сам разбил себе голову.

Для некоторых птиц в клетках непременно устраивают верх из полотна, иначе птица о железо или дерево непременно разобьется до смерти. Но у человека здорового в предельном унижении является новая, часто ему не известная сила. Почти радостный встал Алпатов с табуретки и принялся ходить по диагонали. Иногда он останавливается и маленьким, найденным в своем кармане, гвоздиком выскребает на меловой стене цифры, делает подсчеты. Он выдумал себе *будто-путешествие* к Северному полюсу, где, хирея над золотом, сидит Кашей Бессмертный. Он высчитывает приблизительно, сколько диагоналей комнаты потребуется на все путешествие до Полюса. Он будет все время считать, значит, ему кажется, что он не помешается и все передумает, о чем читал, что видел в жизни, это будет *внутреннее* путешествие взамен *настоящего*.

БУДТО-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Очень редко путешественник к Северному полюсу отправляется незаметно, обыкновенно происходит торжественное снаряжение экспедиции при поддержке государства. Государство заинтересовано. Только уж когда путешественник оставляет корабль, затертый льдами, едет на собаках, когда собаки одна за другой умирают и вместе с тем гаснут все надежды на славу, когда уже там, назади, его похоронили и он там все похоронил, начинается проверка человека самого по себе. Кругом только льды, только почь или ослепляющий свет, никакой надежды на жизнь, на спасение, и все-таки путешественник, замерзая, записывает показания барометра, термометра и секстанта. Он уже не движется, а сидит между ледяными глыбами под

навесом из тюленьей шкуры и мало-помалу сам обращается в лед. Какая же сила двигала его рукой в последний момент, когда он записал последнюю цифру?

Не эта ли самая сила является в бедной комнате без всяких игрушек, когда мать, отправляясь на рынок, запирает своего ребенка? Поскучает, поплачет мальчуган, потом берет полено, другое, третье, складывает что-то и говорит: «Пусть это *будто*-пароход». Мальчуган садится на свой пароход, отправляется в *будто*-путешествие и, когда мать возвращается, не обращает на нее внимания или даже, гордый в обиде, попросит ему не мешать. А почему же и юноша в тюрьме, предпринявший *внутреннее* путешествие, шагая из угла в угол, *будто* к Полюсу для освобождения человечества от Кашеевой цепи, меньше герой, чем путешественник к настоящему Полюсу, где тоже нет ничего, кроме сказки и льда?

Плохо, что в политической тюрьме, в этой строгой и *образцовой*, не давали бумаги, пера и чернил, а то Михаил Алпатов, наверно бы, написал дневник своего путешествия, и, может быть, оно было бы не менее увлекательно, чем настоящее путешествие. Сколько было замечено им через окошко летом перемен в жизни природы, таких тонких переходов от лета к осени, каких никто не замечает на воле! Сколько было нечаянных радостей и разных событий! В тюрьме были свидания у политических с девушками, не известными заключенным, как с невестами. Раз какой-то будто-жених потребовал себе даже брака, и ему не могли отказать в *таинстве*. После венчания будто-муж был отведен в одиночную камеру, а будто-жена — в одиночную жизнь на воле. Были ужасы не меньше, чем в полярных путешествиях. Раз был крик на всю тюрьму, и слышно даже было падение тела, и вслед за этим как стрельба из пушек: так били скамейками все политические в двери своих одиночек. А потом вынесли тело несчастного Элиазберга.

Алпатов слышал и падение тела, и стук скамеек, сам бил скамейкой зачем-то и после того долго дрожал. В ту же ночь полюбивший его старый Кузьмич шепнул ему через волчок, что освободилась светлая камера, и он бы попросил начальника перевести его туда. Утром Алпатов заявил, его перевели, а стекло в окне уже было вставлено, и от Элиазберга никаких следов не осталось.

И прямо после такой беды в той же самой камере ужаса — большая радость, потому что на окне не было

деревянного колпака, и открывался большой горизонт для наблюдений. Светящееся дерево стало видно отсюда все до земли, под ним большая зеленая площадка, ниже труба парохода и дальше — поворот реки, где показывается весь пароход. Дерево теперь меньше светилось, темная густая крона была тронута осенью, там и тут были желтые пряди. Облюбован один домик на горной слободе, прекрасно сверкающий окнами на солнце. После этой большой перспективы таким маленьким кажется тюремный двор. Фомка начал останавливаться, поглядывать вверх. Не ожидает ли он журавлей, не собирается ли с ними удрать из тюрьмы?

Долго нельзя было привыкнуть жить под волчком, знать, что во всякое время могут наблюдать тебя, и никогда нет уверенности, что живешь один сам с собой. Но всевидящее око не бессмыслица, мы все живем под чьим-то глазом непременно и не обращаем на это никакого внимания. Кузьмич заглядывает к Алпатову, больше только чтобы предупредить, когда приближается начальство. Но когда тихо в лакированных башмаках бродит по залу сам Анацевич, Кузьмич не смеет глянуть в волчок и шепнуть: все до одного человека боятся этого маленького чиновника в штатском. Анацевич заглядывает в камеры не для порядка: он изучает, следит за человеком в щелку и через это что-то получает себе. Не раз он видел и Алпатова, когда тот и не подозревал, что за ним кто-то смотрит. Однажды Алпатов улыбнулся чему-то на пути своем к Северному полюсу. Эту улыбку заметил Анацевич, и она ему не понравилась. Бывает, в одиночестве заключенный улыбается чему-то близкому, общему и понятному всем. К такому интересно зайти, там можно рассчитывать на какое-нибудь соглашение, улыбнувшийся чему-то житейскому может даже сделаться отличным сотрудником. Бывает, улыбается близкой улыбкой и большой умница, у которого все обдумано и решено. Интересно с таким побеседовать, померяться ловкостью завитушек в придумках. Но какой интерес заговаривать с юношей, измеряющим шагами целые меридианы?

Мало-помалу, однако, Алпатов почему-то меньше вертится по камере и больше проводит время на столике у окна.

Анацевич хочет узнать, не поумнел ли уж отчего-нибудь этот юноша: бывает, в тюрьме человек вдруг и поумнеет.

Алпатов чуть не упал со столика и растерялся.

— Любуетесь?

Алпатов ничего не сказал.

— Как вам живется?

— Благодарю, ничего.

— Не надо ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Я хотел бы знать, когда, хотя бы приблизительно, будет конец?

— Это зависит от вас: признайте свой почерк, и завтра вас выпустят. Экспертиза у нас научная, установлено точно: «Женщина и социализм» Бебеля — ваш перевод, а также отдельные главы Меринга, Каутского, спор Энгельса с Дюрингом целиком ваш. Видите, как точно.

Алпатов заметил кончик маленького лакированного башмака товарища прокурора, на который спускались новенькие английские брюки. Когда Анацевич испытующе смотрел на Алпатова, он глядел на этот кончик, и через это ему представлялась квартира Анацевича, его письменный стол, пресс-папье с Эйфелевой башней. И все это *как у всех* делает его каким-то всесильным. Он идет определенной дорогой, а не по меридиану, будет непременно прокурором, директором департамента или послом во Франции, и даже в Англии среди лордов Анацевич будет нужным, необходимым человеком; он же, Алпатов, — экзотика, невольница восточного рынка.

Стыдно под нагим глазом, потупился, краснеет и не сводит глаза с кончика лакированного башмака с английскими брюками. Это почувствовал в себе Алпатов, схватился и с презрением сказал Анацевичу:

— Даже астрономия ошибается в своих вычислениях, а что же это за наука, экспертиза почерков? Я не писал.

— Очень, очень жаль. Значит, вам ничего не надо от прокурорского надзора? До свидания.

С порога тихо бросил:

— А может быть, вам хочется побеседовать по этому делу углубленно, — я к вашим услугам.

Алпатов опять потупился. И Анацевич опять подходит.

— У вас столько времени думать, неужели вы не поняли своей ошибки?

— Какой же?

— Не будет никакой мировой катастрофы, и все совершится обыкновенно, самое же ваше рабочее государство явится обыкновенным порядком. Ваша ошибка в том,

что нельзя в государственных делах руководствоваться любовью к человеку.

— Я не любовью, — вспыхнул Алпатов, — я руководствуюсь экономическими законами: любовь, искусство — это надстройки.

— Я тоже считаю это неоспоримым в общественной жизни, но лично вы живете примером Христа и хотите пострадать за человечество. Это совсем не государственный путь.

Анацевич улыбнулся, подступая к Алпатову, и даже осмелился взять его за пуговицу.

— Вы хотите для спасения рабочих отдать свою молодую прекрасную жизнь и делаете это совершенно напрасно. Сейчас я проходил сюда, в тюрьму, грязной улицей, на дороге лежит без сознания какой-то человек, мертвый, больной или пьяный. Я звоню к дворнику и говорю: «Убери!» Он не слушается. Я беру его за шиворот и говорю: «Убери, негодяй, или я сейчас же тебя отправлю в участок». После того дворник извиняется, свистит извозчика и увозит человека в больницу. Так я делаю, а вы из-за любви к человеку несете его на своих плечах к себе в комнату, пьяница приходит в себя и делает вам же, спасителю, большие неприятности. Вот вы обдумайте это хорошенько, стоит ли идти на Голгофу, если для спасения одного гражданина достаточно взять другого за шиворот и потрясти. Вы это, молодой человек, хорошенько обдумайте, а я как-нибудь еще к вам заверну.

И вышел из камеры.

Алпатов заматался с новой силой по камере, с новым вопросом: как это множество людей, подобных Анацевичу, живут и успевают без всякого знания о мировой катастрофе, с одной только находчивостью в решительный момент поймать гражданина за шиворот? На мгновение он отнимает у себя уверенность в мировой катастрофе, которой должны подчиниться все одинаково и выйти из нее в едином для всех законе жизни.

Страшная картина открывается ему: лес, наполненный обезьянами, с быстрыми движениями, с безобразным хохотом, и среди них он, Алпатов, идет, почти презирающий себя, что не может быть обезьяною.

В этом будто-путешествии по одиночной камере внезапное вторжение другой, чужой жизни оставляет в душе такое же волнение, как на море при безветрии мертвая зыбь. Треплется бедная лодочка по мертвым

волнам, не ведающим своего происхождения. Бессильно полощется парус.

Алпатов цепляется за правонарушение, он думает, будто потому он так взволнован, что товарищ прокурора, который должен быть заступником права перед жандармами, сам является худшим из всех жандармов и пытается утонченно свою жертву. Ему кажется, что на это можно бы кому-нибудь пожаловаться и все дело только в том, что он не знает кому. Он мечется в бессильных придумках, перебирает разные высшие учреждения, сам едва отличая сенат от синода. Наконец ему приходит в голову, что можно послать жалобу на высочайшее имя. И мысленно он стал сочинять жалобу. Ему приходилось, за отсутствием бумаги, писать слова в воздухе, удерживая буквы зрительной памятью. Но уже в самом начале большое И в словах «Высочайшее Имя» стало отделяться, расти выше, выше в небесную бесконечность. Сообразив, что И удаляется в высоту в подтверждение слова *Высочайшее*, Алпатов одумался и расхохотался; пробовал повторить опыт для потехи, но И не захотело смеяться над собою и не поднялось. На несколько минут эта забава с высочайшим именем освободила Алпатова от плена каких-то мельчайших лилипутов, тыкающих его булавками, но скоро вспомнилась другая обида: начальник тюрьмы отказался передать ему присланную с воли книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому будто бы, что английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной. Алпатов сослался на Шекспира, но начальник сказал, что «Кекспира» у них никто не знает и «Кекспир», как всякий писатель, может создать нелегальную вещь. Жестикულიруя, Алпатов стал возмущаться, что в *образцовой* тюрьме нет библиотеки, но начальник крикнул ему: «Руки по швам!» — и потребовал от него, чтобы во время проверки он всегда непременно держал руки по швам.

Кому же на это пожаловаться? Конечно, товарищу прокурора. Но как только мысль вернулась к этому заступнику права, бросились все лилипуты с новой силой колоть своими булавками.

Медленно ползет тюремное шерстяное, колющее время и, когда переползет сегодня, вдруг пропадает, убегая назад с огромной быстротой. Кажется, это вчера только был Анацевич, а уж с тех пор неделя прошла.

В сумерках за воротами раздался выстрел. Алпатов

вскочил и успел рассмотреть до наступления темноты: у дерева на площадке вертелась подстреленная кем-то собака. Через минуту собака легла у самого дерева, сплюснулась и скрылась в наступающей тьме. А утром, когда Алпатов поднялся к окну взглянуть на убитую собаку, блеск молодого снега так ослепил его, что голова закружилась и он чуть-чуть не упал. За одну только ночь выпало столько снега, что от собаки под деревом торчало одно только ухо, а след какого-то животного был так глубок, что цепочка его даже из окошка тюрьмы ясно виднелась и, голубея, уходила, теряясь, в перелесок.

Было румяное утро.

Не забылось это румяное утро над свежим снегом. Но когда оно было? Вчера? Нет, не вчера, а недели уже две тому назад: все это время пропало. Теперь уже осадило снег дождиком, и собака вся на виду, вокруг нее все истоптано кем-то, и на дубе воронье. А вот и это переменялось и ускочило далеко назад, все опять завалило, река перестала куриться и скрылась под снегом. Но когда река скрылась, дрова скрылись и небольшие кусты потонули в сугробах, собака почему-то поднялась над снегом и лежала вся на виду. Как же это могло случиться?

Алпатов ходит из угла в угол и думает об этом странном явлении день, другой и третий. Ему иногда кажется, что на пути к Северному полюсу он так много передумал, такие большие сделал открытия. Но что же это значит, если вот уже третий день он застает себя на одной мысли: «Как поднялась убитая собака из-под глубокого снега?» И что, если все передуманное им в тюрьме тоже вертится около чего-нибудь одного и не движется с места, время летит, и от этого, кажется, мысли летят. Растут сильно волосы; что, если только и есть, что волосы растут и в этом весь смысл тюремного времени?

Последнее открытие было сделано над месяцем. Солнце всегда солнце, хотя бы и в пасмурный день, но месяц пропадает совершенно, неделю, две иногда он растет невидимо, незнаемо под тучами и вдруг показывается, весь сияющий, над огромной своей волчьей равниной. Раньше всегда думалось о месяце по календарю в виде чередом следующих фаз *луны*, а в действительности, оказывается, часто бывает, что месяц появляется вдруг и сверкает, — в этом и есть открытие заключенного.

Алпатов поднимается к окну, любит белую волчью равнину и замечает под дубом две какие-то мелькающие

тени. Он догадывается: кто-то хлопочет по ночам над мертвой собакой. А утром новое небывалое событие: собака немного отъехала от дуба. Собака, оказывается, путешествует.

Приходит вечер, ранняя большая бледная луна укрепляется, разгорается и совершенно овладевает ночью. И опять являются какие-то тени. Сделано наблюдение: собака едет влево от дуба.

Тусклый свет лампы с потолка освещает наблюдателю через волчок бледное лицо молодого, заросшего волосами путешественника к Северному полюсу, а когда подходит к окну, лунный свет заливает его спину. И тут же рядом за стенкой, всего в какой-нибудь четверти аршина, точно так же из угла в угол ходит лучший друг его, Ефим Несговоров. Стучал Ефим не раз, но ответа не получил от Алпатова. И так оба ходят, не зная друг о друге ничего. Если бы знали?

Тихо. Бархатно в лакированных башмаках прогуливается по залу товарищ прокурора Анацевич и время от времени поглядывает через волчки на маниаков, забравших в голову неподвижную идею мировой катастрофы. Анацевич сегодня собирается сделать интересный эксперимент над Алпатовым. Берет ключ у Кузьмича, открывает, внезапно входит.

— Здравствуйте, как вы поживаете, не нужно ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Книг не пропускают, дайте мне книг.

— Я захватил для вас самую интересную, только на немецком языке, но вы, конечно, владеете?

Алпатов молчит. Он подозревает предательство. Ведь он с немецкого языка переводил и на допросе дал показания, что с языком не знаком.

— Бросьте, — говорит Анацевич, — мы же все теперь знаем, ваше сознание нам нужно исключительно для оформления дела и скорейшего решения. Будьте немного деловым человеком, — пока вы не дадите письменного показания, все наши разговоры не имеют для дела никакого значения. Я принес вам новую, интереснейшую книгу Бернштейна.

— Социал-демократа? — спросил Алпатов.

— Да, этих социал-демократов теперь называют *ревизионистами*. Они доказывают, что мелкое производство не очень страдает от концентрации капитала, что оно очень даже устойчиво, и, значит, концентрация капитала вовсе не

имеет того значения, как у Маркса. Словом, мировая катастрофа, на которую вы уповаете, вовсе даже не имеет научного основания. Ревизионисты сильно ее отсрочили. Заметьте, ревизионисты — настоящие социал-демократы. Но чем же мы, буржуазия, гарантированы, что при такой быстрой эволюции партии новые вожди ее не согласятся с нами: дело, может быть, обойдется и совсем без катастрофы.

Анацевич оставляет книжку на столике и уходит из камеры. Алпатов поднимает на стол табуретку, забирается вверх к лампе и читает. Все, конечно, оказывается не так остро, как сказал Анацевич, но все-таки тон книги и общий смысл ее действительно ставят читателя в раздумье о возможности близкой мировой катастрофы. И Алпатову на время ясно теперь видится своя собственная зарубка в уме о мировой катастрофе: он не может опровергнуть Бернштейна, потому что он пришел к идее мировой катастрофы от сердца своего. В раннем детстве он слышал чей-то голос, строго предупреждающий: «Деточки, деточки, по краешку ходите, затрубит архангел, загорится земля и небо». На место сказки стала теория, и сердечный поток закрепился железной формулой. Теперь коварная книга размывает постройку, потому что самое дело, питающее формулы, ускользнуло из рук.

Вдруг падучая звезда перечеркнула решетку тюрьмы. Какое-то небесное тело чиркнуло по земной атмосфере. А может быть, и потому оно накалилось, что земля слишком скоро мчалась?

Алпатов радостный вскочил и подумал, забывая о диалектическом движении истины: «А вот же это земля вертится и движется, как можно это опровергнуть?» Но сейчас же захотелось это и доказать такому же Антропке-Нсверующему вроде Бернштейна.

— Сначала опровергну Антропку, — сказал Алпатов. — потом примусь и за Бернштейна.

И вдруг Антропка оказывается не такой уж дурак, он отвечает Алпатову, что, может быть, земля и круглая, и вертится, да ему в этом нет никакой надобности: он живет постоянно на плоской и неподвижной земле. Да и сам-то он, Алпатов, разве на шаре живет? Если бы на шаре жил, то шар бы непременно ему пригодился на что-нибудь, а между тем он до того ему не нужен, что даже забылось школьное доказательство круглой поверхности земли, помнилась только мачта, на морском горизонте выползающая раньше

самого корабля, но это же чисто детское доказательство. А жить можно совершенно одинаково, если принять, что земля круглая или плоская.

Тогда вдруг все перевернулось, и Алпатов ответил Бериштейну, как бы став на сторону Антропки:

— Не могу ничего, товарищ, сказать о вашей ревизии Маркса; для всякой научной гипотезы существует практический корректив, а я человек, заключенный в тюрьме, лишенный всякого дела.

Но после такого ответа и путешествии к Полюсу, наблюдения и думы в пустоте представились таким жалким бредом, таким болезненным кошмаром. Все провалилось куда-то, и Маркс, и Галилей, и Антропка, только бесчисленные лилипуты стали колоть не только душу, но даже и тело булавками. Есть ведь у человека такая пята, что уколешь в нее, и никак не поймешь, в душу это или в тело попало. Алпатов место боли даже пальцем прижал, и тут болеть перестало, но зато боль душевная началась с новой силой.

В изнеможении сел он на табуретку, облокотился на стол и держал голову руками, как постороннее тело. Из множества прочитанных когда-то путешествий к Северному полюсу перед ним встали теперь картины последних усилий замерзающих людей.

Вот, укрываясь от бури, путешественник сел между двумя огромными ледяными горами. Через короткое время он тоже обратится в ледяной комок, прикрытый лохмотьями. И он уже готов отдаться потоку обратному, становится легче, встает даже мысль, что вся жизнь, вся борьба — сплошная ошибка и гораздо легче просто отдаться смерти, что люди оклеветали смерть, и на самом деле, как ясно видно теперь, она вовсе даже не зло, а милость природы. Но когда самому хорошо, то хочется, чтобы и другим было хорошо, жалко стало бедных людей, и вроде того вышло, как если бы чей-то умоляющий дружеский шепот начался во льдах. А это был не друг от людей, это южный ветер ласкал, тот самый, который дальше и дальше к северу угонял ледяные поля. Но путешественник это принимает за ласковый шепот, поднимается, и как отец делает завещание сыну, так он наносит на карту последнюю свою цифру широты и долготы в дар новому путешественнику, которому дано открыть Северный полюс. Явственный шепот раздался в одиночной камере:

— Что, худо вам?

Алпатов встал, подошел к волчку и ответил

— Худо, Кузьмич!

— Ничего, потерпите, это пройдет, значит, так надо.

— Зачем же надо, кому?

— А как же, вот нынче еще привезли пять человек, каждый день везут, вы не один, это надо понять.

— Да как же понять-то?

— Так и понимать надо, вы же никого не убивали, не грабили и сидите вместе с разбойниками. А что ни день, то все больше и больше везут. Это значит: Израиль вышел.

Алпатов уже не раз слышал от Кузьмича о каких-то *сроках*, назначенных людям и земле их в Библии, и потому сразу догадался, что значит: *вышел Израиль*.

— Из Египта в Палестину?— спросил он.

— Да,— ответил Кузьмич,— вы знаете, и еще надо вам вспомнить, что не отцы, а только дети их придут в обетованную землю.

Кузьмич быстро закрыл волчок. Верно, проходил кто-нибудь из начальства. Но Алпатову вдруг стало светло и тепло: он идет к Северному полюсу, рядом идет, наверно, еще кто-нибудь, и еще, и еще, и каждый день прибывает таких все больше и больше, и с ними со всеми старый Кузьмич тоже плетется в свою какую-то землю обетованную.

РАССТРЕЛ ВАСИЛЬКОВ

Невозможная жуть бывает, когда вдруг неожиданный дождь ломает лед, растопит снега, и земля, уже однажды умершая, кажется, второй раз умирает. Собираются на кончину мутные, самые короткие дни, и господствует вдали над городом рыжее электрическое небо. Страшны эти русские ночи, у того, кто их пережил, рука бы опустилась взять свою юность назад и повторить все еще раз. Только одно и утешает, что и южному жителю от чего-нибудь другого приходится так же, как и северному, что каждому, если только он мало-мальски на что-то похож, приходится хоть раз в жизни испытать то же самое, что испытывает настоящий путешественник в полярных льдах.

Алпатова это и поддерживало, что другого нет выхода, что так надо непременно. Только временами встает соблазн, какая-то угадка, что если бы...

Вот что значит это *если бы не?*

Если бы не... то встает перед ним какая-то сладостная и недозволенная высота. Если бы не... то свои собственные мысли взлетели на вулкане огненной страсти, а не ложились бы на спину где-то эти чужие формулы, как отпечатки шагов ступающего куда-то вперед человека. Вот бы хоть раз взлететь самому на всю свою высоту!

Бывает, смутно мелькает безумная радость, когда поднимаются снежные вихри, и потом наутро солнце встает над снегами, и через форточку пахнет как-то вместе морозом и солнцем. Может быть, это бывает оттого, что великое множество людей в горе своем жаловались морозу и солнцу, в радости, как людей приглашали на пир, и так у них там много накопилось всего человеческого, что достается и заключенному через форточку камеры. Раз в сумерках показалось Алпатову, будто кто-то остановился у окна и светит не последними остатками короткого зимнего дня, а сам от себя. Вспомнилось из раннего детства такое же: он был у Марьи Моревны. Голубой так же стал у окна, и Марья Моревна сказала: «Это, милый мой мальчик, день прибывает».

Больше двух недель после того стояла хмурая оттепель, и прибавка дня была незаметна. Утро в тюрьме всегда начиналось не светом, а хлопаньем замков и потом шарканьем туфель уголовных, убирающих свои матрацы. Потом, когда это смолкало, раздавались одиночные выстрелы замков политических камер, и уже потом, долго спустя, за чаем начинается рассвет. Но и шарканье туфель уголовных далеко до рассвета после глухой ночи бывало почти так же радостно, как настоящий рассвет. Пришел же наконец и такой день, что еще до шарканья туфель Алпатов открыл глаза и увидел: там, наверху, за железной решеткой, стоит Голубой.

Не одеваясь, бросился заключенный к окну, а там после первого света начались перемены. Над землей опрокинулось небесное море из малиновых волн. В тишине поднимались дымы, как столбы, и всем своим множеством поддерживали над слободой небольшое серое небо. Летела ворона. Не простая, казалось, ворона начинала торжественный день. Впрочем, она не была просто вороной, она летит клевать мертвую собаку. Но там две лисицы. Ворона делает круг и садится на дуб. Верно, что-то было такое и прошлый год, тоже после долгих пасмурных дней внезапно на свету ночные звери сходились с утренней птицей. Ворона знает порядки, тихо слетает с дуба на снег

и начинает к лисицам подпрыгивать. Лисицы оглядываются на ворону и, поняв, что день начинается, бросают собаку и отправляются в лес.

Так новое утро с прибавкой света открыло Алпатову тайну движения собаки: лисицы спорили за нее, тащили каждая в свою сторону, и так, понемногу, собака двигалась в левую сторону, потому что одна лисица была сильнее другой.

Заключенный стоит и не слышит шарканья туфель уголовных, и после отдельные повороты ключа на той стороне у народников, и тут постепенное к нему приближение. Наконец Кузьмич открыл дверь и велит скоро и чисто вымыть камеру: сегодня на поверку с начальником придет доктор и ротмистр. Нельзя знать, зачем придут все начальники, но хуже не будет от них; вот тем и хорошо в тюрьме, что хуже нет ее ничего, и если что случится, то уж скорее в хорошую сторону. Конечно, думать о чем-нибудь хорошем все-таки очень опасно, но мыть камеру очень весело. Захлопали двери, вот подходят сюда ближе и ближе. Алпатов готовится. В тот раз, когда начальник сказал: «Руки по швам», — он опустил только правую руку, левую он оставил на столе, и если бы начальник велел ему и эту руку опустить, он бы не послушался. Начальник понял и не настаивал. С тех пор и установилась определенная поза, одна рука у кармана, другая на столе. Дверь открывается. На пороге начальник, ротмистр и доктор.

— Здоровы? — спрашивает доктор.

— Часто болит голова.

— Стул?

— Ничего.

Начальник сказал:

— Вам письмо.

И подал.

Жандарм спросил:

— Есть невеста?

Алпатов подготовлен к вопросу.

— Есть.

— Это вам от невесты.

Чуть-чуть не сорвалось «благодарю», но доктор велел:

— Покажите язык.

Вынул книжку и записал.

Выслушал. Ощупал живот. Все записал.

Последние слова были:

— Вам дадут пузырек, пришлите мочу.

И все двинулись дальше.

Теперь Алпатов опять совершенно один, но в письме «милый» и «ты». Ни одна девушка ему еще не говорила «милый» и «ты». Конечно, это какая-то неизвестная девушка разыгрывает роль тюремной невесты. Но пьеса прекрасна в тюрьме, особенно если из форточки пахнет морозом и солнцем.

«Милый мой, — пишет невеста, — я по пути к нашей маме, скоро заеду к тебе на свидание и потом передам ей все о тебе. А *после Пасхи* я непременно за границу. Очень надеюсь, что *прямо после Пасхи* тебя выпустят. Встретимся за границей и там мы *будем жениться*. Любящая тебя Инна Ростовцева».

С крыши льется капель. На дворе часовые поставили ружья к стене, и один подсаживает другого ставить скворечник. Откуда-то взялась старая согнутая старуха с бородкой, выпускает Фомку-журавля и, слышно, там говорит:

— Ну, погуляй, погуляй, Фомушка, теперь уж ты не замерзнешь.

Фомка вытягивает шею, глядит наверх, и оттуда прямо на него падает золотая капель. Выпадает немного из лужицы, чистится, подбирается и начинает шагать.

Возле дуба явилась новая живая большая собака. К этому большому рыжему псу подскочила маленькая пестрая и лапкой ударила по носу. Большой не понял. Она еще раз, и побежала. Он все стоит. Она возвращается, становится на задние лапы, обвивает передними шею, тербит за ухо и бросается. Понял! Она от него. Он настигает. Она же вдруг обертывается и кусает его по-настоящему. Он обижается, зализывает рану, а она опять начинает играть, и опять он бежит и получает новую рану. Так весь день до вечера она заманивает, и он в дураках.

Зачем это так?

Теперь от раннего утра и до вечера Фомка с каким-то планом шагает по двору, совершенно так же, как и Алпатов, вымеривая шагами длину места своего заключения. Кажется, будто и он получил весть от своих журавлей с таинственными словами, о которых, шагая по двору, нужно долго думать, чтобы понять.

Каждый день Алпатов вчитывается в письмо и непременно открывает в нем что-нибудь новое. Ведь не может

этого быть, чтобы в письме невесты без всякого смысла были подчеркнуты два раза слова: *после Пасхи*.

На белой бумаге таинственные следы фиолетовыми чернилами, на белом снегу голубые следы различных зверюшек. Теперь все идет заодно. Стало против тюремного замка солнце. Плывут теплые облака, а мороз сверкает на снегу всеми своими звездами. Солнце склоняется вправо, и на этой же правой стороне всякого следа человека, собаки, лисицы ложится в левую сторону тень, и непременно голубая. А когда солнце село и скрылись следы на земле, голубые звезды на небе показались следами разных небесных зверюшек.

Есть ли там человек?

Таинственные фиолетовые слова на белой бумаге нашептали Алпатову, что везде человек, что мороз не старик, а молодой охотник, бродит днем по голубым следам на снегу, ночью по небесным следам. Луна — это морозова Прекрасная Дама. Только молодой охотник, переходя с земных следов на небесные, перенес, наверно, свои земные страсти с собой: вдруг закрылась луна и все звезды. Не потому ли все и закрылось, что охотник посягнул на свою невесту: детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано.

Настал великий праздник весны света. Ранним утром все сошлось вместе. Солнце вставало в красном, мороз в белом, луна в бледно-зеленом, звезда без одежды: утренняя звезда была сама голубая. Когда солнце, разгораясь, скинуло свою первую красную рубашку, мороз спустился на деревья и густо покрыл их инеем. Подымаясь из-за деревьев, солнце скинуло вторую красную рубашку — дунул ветер, с деревьев стали слетать снежинки, как лепестки у отцветающих яблонь. И когда, наконец, солнце скинуло последнюю рубашку, весь мороз на деревьях обдался росой.

Тогда внезапно открылась дверь тюремной камеры, и Кузьмич сказал:

— Одевайтесь!

Алпатов прыгнул вниз, но и там не перестали чудеса весны света.

— Кузьмич, куда же это меня?

— На свидание, — ответил Кузьмич, — невеста пришла.

Знал ли Кузьмич, что невеста не настоящая? Едва ли он думал об этом: для заключенного каждая девушка будет невестой, дали бы только свидание.

Она вошла в дверь комнаты свиданий под густой вуалью и стала по ту сторону частой двойной решетки. Он вошел со стороны тюрьмы. Их разделяла двойная железная решетка. Возле него у окна стал жандармский ротмистр, возле нее за решетками сел на подоконник начальник тюрьмы, вынул часы и сказал:

— Десять минут!

Жених и невеста молчат. Жандарму захотелось помочь:

— Пользуйтесь, всего десять минут.

Начальник тюрьмы прибавил:

— Две минуты прошло.

Она делает шаг к решетке, другой шаг — и решается.

— У вас тут, я вижу, на дворе журавль ходит, это настоящий дикий журавль?

Сразу явились слова:

— Да, это просто журавль, меня вначале тоже это больше всего удивило.

— Почему же он не улетает?

— У него заживает крыло.

— А когда заживет — улетит?

— Непременно.

И все кончилось. Осохла земля. Долго молчали.

Она повернулась к окну и сказала:

— Вон опять идет.

Он ответил:

— Журавли — природные часовые, я сам видел в полях: часовые.

Начальник тюрьмы зевнул и сказал:

— Вам остается всего четыре минуты.

— Да, надо спешить, — решила девушка под густой вуалью. — Я тебе писала, что еду за границу учиться.

— Почему же не здесь?

— Потому что я с детства слышу, что настоящая жизнь за границей, а у нас только перенимают.

— Я тоже так слышу.

— Приезжай же и ты за границу.

— Как?

— Просто поезжай после Пасхи. Там не дороже учиться.

— Я догадывался о *после-Пасхи* из письма — это верно?

— Верно. Тебе будут предлагать на выбор разные города, но можно и за границу. Это можно.

Жандарм остановил:

— Прошу перестать говорить намеками.

Начальник:

— Остается только одна минута.

Жених и невеста умолкли. Журавль подошел близко к окну.

— У него, наверно, есть какое-нибудь тюремное имя? — спросила она.

— Его зовут Фомкой, — ответил Алпатов.

Начальник прекратил разговор:

— Свидание кончено.

— До свиданья!

Она подчеркнула зачем-то слогами:

— За гра-ни-цей.

Единым многоцветным кристаллом просверкал весь день.

Ночью что-то случилось, и в предрассветный час снегом залепило окно. А когда совсем рассвело, то все стало понятно: весна света кончалась.

Снег матовый, лес шоколадный. Алпатов совсем забыл о своем путешествии к Полюсу и разгадывает тайный смысл долетавших на свидании музыкальных слов.

В другую ночь небо опять не открылось. Земля спала под теплым одеялом и надышала. Утром прилетела синица на тюремное дерево, села возле скворечника и запела весенним голосом: «За границей, почему за границей, а не у нас?» Сдался мороз. Опустились синие тучи. Пошел мелкий дождь, и на окнах тюрьмы показались первые серые слезы весны.

«Почему, — думает Алпатов, — мы должны видаться далеко, за границей, а не встретиться здесь и потом поехать вместе?»

К вечеру небо открылось, и серые слезы весны на тюремном окне стали кристаллами. Закат был раскидисто красный, и когда солнце село, то вырвался вверх красный столб в виде угрожающего перста: «Погодите, вот я вам дам!»

В эту ночь перед сном Алпатову вдруг стало стыдно себя самого. Стало ему на душе, как бывает, когда замерзнет сверху вода, а снизу сбежит, между льдом и водой останется пустое место: внизу бурлит холодная черная вода, вверху на пустоте висит *лед-тощак*.

На одно мгновение во сне показалась девушка за решетками под густой вуалью и стала вдруг где-то далеко за границей. Он едет за ней, конечно, в Италию, и ему

говорят: «Русская девушка остановилась в электрической вилле с померанцевыми деревьями». На улице везде суета, нет никому никакого дела, все встревоженно шепчут: «Начнется в воскресенье в Германии». Он очень смешон тут со своими расспросами о русской девушке и электрической вилле. И там, на вилле, он получает строгий ответ: «Она, конечно, в Германии». Он садится в экспресс, мчится в Германию и выходит на улицу большого города как раз в воскресенье. Раздаются ужасные взрывы, рушатся дома, но рабочие все идут, идут по развалинам, а там новые, новые взрывы. Почему же Алпатов, ожидавший, как великого счастья, мировой катастрофы, теперь испугался и прячется за камнями? Новые страшные взрывы, и среди камней мировой катастрофы показывается Бебель. Алпатов хочет спрятаться от него, но Бебель заметил и спрашивает по-немецки: «Кажется, это вы, Алпатов, переводили мою книгу о всемирной катастрофе и женщине будущего, почему же теперь вы прячетесь?» Тогда Алпатов, как на экзамене перед учителями, хочет сказать, что *не знал*. «А разве это уже мировая катастрофа?» — «Нет, — отвечает Бебель, — это еще не сама катастрофа, это первый расстрел голубых васильков». Алпатов встает, он непременно хочет умереть с васильками. Но Бебель грустно по-немецки, покачивая головой, отвечает: «Поздно, их уже расстреляли».

Алпатов проснулся с ужасной тоской: как будто кто-то железными ногами ломал лед-тошак и текущую под ним живую воду мешал с болотной грязью.

Новая заря открылась тоже красной рукой, из этого родился настоящий небесный пожар, солнце вставало в пышных одеждах, и когда разделось и засверкало, мороз, как в самые лютые зимние дни, встал возле него двумя стражами. Немного упало в этот день с крыши золотых капель, и к вечеру становилось все строже и строже, а закат был в красных мечях. Всю ночь среди путешествующих звезд метался обрывок луны, не зная, куда бы ему только спрятаться. Алпатов лежал без сна, не расставаясь со своим сновидением. Он узнал, как это часто бывает, в своем сновидении музыкальную сказку, сделанную из его собственной жизни. Бебель наяву переделался в Ефима Несговорова, с которым Алпатов когда-то вместе обещался начать мировую катастрофу. И вот теперь Алпатов больше уже не считает шагами меридиан в славной борьбе с тюрьмой. Стало так больно в душе, что Алпатов захотел заменить эту боль обыкновенной легкой физической болью

и сильно, чтобы до крови было, ударил кулаком в каменную стену. Ему сейчас же ответили. Он вспоминает далекую радостную учебу в подпольном кружке, когда Ефим Несговоров учил его азбуке тюремного телеграфа, берет маленький гвоздик, чертит на стене квадратик, вписывает в него рядами буквы и, переведя на счет, выстукивает:

— Кто там?

Ему отвечают:

— Ефим Несговоров.

Тогда сразу вернулось все прежнее, как будто тюрьмы вовсе и не было.

Ефим спрашивает:

— Ты не сознался?

Алпатов выстукал:

— Нет, никогда.

Это малое в словах и великое в силе друзья стучали всю ночь. Алпатов утра не видит. Днем ходит по-прежнему или сидит и дремлет у столика. Вечером ждет тишины, когда все улягутся. Всю ночь стучит, и кажется ему, он снова поднимается на высокую гору, похожую на северные ребра в свете незаходящего солнца. Там нет таинственной тьмы и обманчивой весны с загадками, там лунная земля, закрыт доступ женщине настоящего, все в будущем, и товарищи просто говорят друг другу «да-да» или «нет-нет».

Новый день. Алпатов дремлет у столика, не зная, что делается там, за окном. И ночью опять идет на свою правдивую гору. К утру оба осудили книгу Бернштейна как буржуазный уклон социал-демократии. Настал день, они все стучали, стараясь передать друг другу мысль о вреде философии. Но кто-то ходил по залу, заметил.

Ночью стукнул Алпатов. Ему не ответили. Долго, сильно стучал. Пробовал днем. Все кончилось.

ФОМКА

За те дни, когда друзья, впиваясь в непроницаемую стену глазами, стучали друг другу, великие события совершались на воле. Наконец-то силы весны догадались, что солнце им изменяет и тайно служит морозу. Взяв в подозрение солнце, силы весны с утра обступили его и закрыли. Тогда сразу стало тепло, снег раскис, забушевали потоки. А птицы, давно уже летевшие с юга, на границе снегов ожидавшие движения потоков, при первых

вестниках в какой-нибудь час поднялись всей массой и полетели на север. В ожидании журавлей Фомка стал беспрерывно кричать на тюремном дворе. Этот крик через форточку слышал Алпатов, поднялся к окну и увидел, что весна воды началась теперь безобманно.

Тогда вместо радости боль с новой силой подступила к нему, он зажмурил глаза и соскочил на пол. Нет, лучше он уж не будет смотреть в окно, а пойдет опять к Полюсу, отсчитывая шаги и записывая числа на стене. Но необходимая сказочка всех таких путешествий в этот раз совсем не разворачивалась, после десятка шагов Алпатов забывал считать, ловил себя, возвращался к счету, опять забывал, и все его путешествие стало очень похоже на блуждание в темном лесу, когда непременно почему-то всякий возвращается к исходным каким-то роковым трем соснам.

Бывает, что так и пропадает человек в своем заколдованном кругу, но больше все-таки выбирается.

Что же спасает его?

Не расчет, не одумка спасают в лесу человека. Чаше всего свои же жизненные силы начинают работать в последний момент отдельно от помраченного разума. Бывает, вдруг сам глаз остановится на клочке приставшего к кусту сена, разум присоединяется к глазу и выводит из порочного круга. Является так простая догадка, что если клочок сена пристал с одной стороны куста, значит, воз сена, терявший эти клочки, ехал в другую, и в той стороне должна быть деревня.

Алпатов до того уж запутался в своем путешествии, что начал дергаться, взмахивать руками, вскрикивать, с испугом оглядываться, не подсмотрел бы кто-нибудь, как он сходит с ума, опять вскрикивать и мелко дрожать от нарастающей злобы. Но совершенно так же, как в лесу глаз отдельно кинулся к клочку сена, так и тут животные силы принудили его постучать в дверь. В этих особенных случаях разрешалось стучаться. Надзиратель слышит стук, но не сразу открывает камеру. Ему надо пройти по залу и справиться, не выпущен ли в отхожее место еще какой-нибудь заключенный.

Случилось, что старик, когда постучался Алпатов, забыл справиться и прямо после стука выпустил. Когда же Алпатов вошел в отхожее место, там на двух крайних местах сидели два человека, закованные в цепи. Омерзительно было сесть между ними, но Алпатов преодолел это

в себе и опустился между двумя разбойниками. Левый разбойник в упор разглядывал юношу. Правый глядел вверх и что-то выслушивал из открытой форточки.

— Бумажка есть?— спросил левый.

Алпатов оторвал кусочек и подал. Разбойник свернул сигарки и одну подал Алпатову. Закурили. Правый разбойник сказал:

— Утки свистят и кулики, скоро пойдет и журавль.

Алпатов страшно обрадовался, что разбойники обыкновенные люди и даже интересуются птицами. Он сказал:

— Весна задержалась, птицы сразу все полетят. Фомка очень беспокоится.

— Улетит,— сказал левый разбойник.— Ему забыли крылья подрезать; если не вспомнят, улетит непременно.

Правый разбойник присоединился:

— Стена высока, если плохо разбежится, хватит о стену и кувырком.

— Он не дурак,— сказал левый,— места хватит ему разбежаться, вот как полетят журавли, так и подымется.

— Неужели догонит?— спросил Алпатов.

— Подождут. У них, брат, дружно: услышат, заметят, закружатся и подождут.

И вдруг в это время явственно послышалось курлыканье журавлей.

Разбойники вскочили.

— Лезь по мне,— велел Алпатову левый.

Правый подсадил.

Алпатов стал на плечо левому разбойнику и оттуда сказал:

— Низко летят.

Спросили снизу:

— А это Фомка кричит?

— Кричит Фомка. Бежит. Машет крыльями. Подымается...

Тут сильная рука сбросила Алпатова вниз. Четыре молодых надзирателя стояли с наганами, вынутыми из чехлов. Но в присутствии разбойников Алпатов сделался смелым и дерзким. Он закричал надзирателям:

— Как вы смеете, негодяи, драться, вот погодите, я пожалуйюсь Анацевичу.

Вышел в зал и дальше к своей камере. Кузьмич стоял у него на окне. Весело подмигнув Алпатову, старик прошептал на ходу:

— Фомка-то улетел!

— Слава богу, — ответил Алпатов.

И бросился к окну.

Далеко мелким бисером, расстроив свой деловой треугольник, кружились на месте журавли, присоединяя нового товарища, и какой из них Фомка, было невозможно понять.

У раскрытых ворот тюремного замка стояли оба часовых и тоже глядели, как будто счастливые.

Как только журавли скрылись из глаз, сразу почему-то легко явился ответ, который раньше столько дней не поддавался решению. То было еще весной света, она сказала, разделяя слога: «за гра-ни-цей». Вопрос был: почему они должны увидеться за границей, а не здесь? Весна света прошла, теперь бушевала вода. И, верно, потому, что на расстоянии стало видней, ответ теперь явился такой ясный: «Тебя выпустят после Пасхи, она же раньше уедет, и ты ее догоняй».

НА ВОЛЮ

С полей вода хлынула сразу, реки пошли, началось наводнение, дуб затопило до самой кроны и выше. Проходящие льды много унесли неподатливых дубовых ветвей. Но одну льдину дуб удержал, и она осталась висеть на дубовых ветвях, как на могучих руках.

Много лет много льдин проходило, а вот случилось, самая большая, небывалая вода захватила ветви высокого дуба, и льдина повисла. Крепко будет держать ее дуб: ведь такое в жизни случается раз. Будет изнывать в лучах солнца холодная льдина, а когда начнется движение сока в дубу, в самое желанное время она вдруг скользнет в реку и станет просто водой.

С утра до вечера теперь смотрит Алпатов, как изнывает льдина на солнце, как многие золотые капли падают прямо на землю, но все множество их стекает с малых ветвей на большие, с больших потоком бегут кругом по стволу и льются на землю. Весь огромный ствол дуба золотым солнечным днем сверкает, как серебро.

Началась не слышная в тюрьме песня воды.

Но у Алпатова в душе еще от весны света осталась своя музыка. Ничего, что лицо ее было закрыто темной вуалью, что явилась она за двумя железными решетками. Он слышал голос... и навсегда будет помнить, как под эту

музыку танцевали в лучах солнца многоцветные летающие кристаллы мороза.

Странно было думать, что если встретиться с ней на улице, то не узнать лица. Но музыкальная мелодия чудесней лица.

Где-то в большом городе осенью в холодном тумане многие люди, как рыбы, плывут. У всех серые лица и рыбьи глаза. Но вот в этой мутной, неразличимой толпе где-то рожок проиграл, и кажется, это сестра вызывает на помощь из мертвой толпы своего родного, милого брата. А разве, если тот голос позовет его в мутной воде, разве он не узнает, и не все ли равно, какое будет лицо, ему только голос и нужен. Лицо само сделается таким, как велит голос. Он узнает лицо непременно по голосу.

Что за счастье, казалось вначале, отсчитывать проходящие дни до *после-Пасхи*. Но скоро стало, что лучше бы не знать, когда выпустят. Если не знать, то время, набегая из неизвестного будущего, очень скоро переползает через сегодня и пропадает. Но если ждать впереди намеченный день, то время начинает ползти от того самого желанного дня через каждый день, как через сегодня, чем ближе, тем труднее. Конца бы и не было ожиданию и человек бы остановился в своем уме, если бы там где-то, за форточкой, ничего не случалось и не помогало забыть о себе.

Желтые цветы показались.

Сверкающая льдина скользнула по дубу и скрылась в реке.

Прошел жаркий день, позеленели березки, а дуб все стоял и не понимал, что такое случилось, как быть ему неодоленному среди весны зеленых покровов и всяких цветов. После великих дней, проходящих, как девушки в хороводе, вдруг похолодело, замерло, перестали пахнуть цветы. Это значило, что наконец-то старый дуб стал в себя приходить и зеленеть. Недолго было прохладно... Теплой ночью даже в тюрьму через форточку ветер нагнал аромат, смолистый аромат березы и тополя. В полночь грянул звон.

В день Пасхи утром к овсянке прибавили коровьего масла, в обед дали щи с мясом и уголовным разрешили весь день звонить в церкви. А на другой день подкрался неслышными шагами ужасный вопрос: что это значит *после-Пасхи*? Первый день прошел, а второй не значит ли уже *после-Пасхи*? Нет, надо пропустить всю пасхальную неделю. Прошла и неделя, как обратному путешественни-

ку, все растерявшему, прошел весь ледяной океан до лунеющего мыса какой-то земли. Но лунеющий мыс желанной земли бывает началом огромной пустыни, на которой не растет даже мох. Так и время *после-Пасхи* не имело предела. Все потерялось в новой безбрежности, но время без перегородок стало опять пробегать, как поток.

И это утро пришло обыкновенно, с шарканьем туфель и с глиняным горшком горячей воды. Алпатов насыпал в горшок щепотку чая. Дождался настоя, сел за столик. И в этот неурочный час вдруг дверь открывается, и помощник начальника велит:

— Соберите свои вещи.

Алпатов велел себе думать: куда-то переводят, в другую тюрьму или крепость.

Он завязывает все в одеяло большим узлом, одевается, взваливает узел на плечи, выходит в зал.

— На волю!— сказали, увидев его с узлом, два подметавших пол уголовных.

И дальше, в другой кучке работавших арестантов, сказали тоже:

— На волю!

И на верхней площадке лестницы, и на средней, внизу и везде, где только ни встречались люди, слышалось:

— На волю!

Ни зависти, как при счастливых выигрышах и всяких удачах, ни обманчивого восторга толпы при шествии триумфатора не было в этих словах; тут было самое лучшее, чего может желать человек: теплое, радостное сочувствие. Это пленило Алпатова и заставило бросить сомнения.

В конторе жандармский ротмистр с большими рыжими прокуренными усами спокойно готовит бумагу, что-то читает Алпатову, велит выбрать ему город на три года, любой, кроме столичных и университетских.

— Я хотел бы учиться,— ответил Алпатов.

Жандарм улыбнулся. И Алпатов в этой улыбке понял, что мундир и аксельбанты жандарма висели как бы не на теле, а на вешалке, что человек этот *служит* и делает не сам, ему все это *велят*, а сам он многосемейный и очень добрый.

— А если поехать за границу,— спросил Алпатов,— это можно?

Добрый человек ответил:

— Можно-то можно, да трудно будет возвращаться.

— Ничего,— сказал Алпатов,— вернусь как-нибудь.

— Конечно, вернетесь,— ответил добрый человек.

И протянул ему лист.

Алпатов подписал: «Обязуюсь выехать через неделю за границу».

После того к другому столу позвал его начальник тюрьмы, тот самый, кто кричал ему: «Руки по швам». И начальник тоже преобразился, как и жандарм; это не был признанный всеми политическими изувер, а честнейший служака, какие выходят только из латышей. Вот он даже теперь, когда Алпатову уже только бы поскорее уйти из тюрьмы, все-таки в строгом порядке разложил на столе все отобранные у него вещи, берет опись их, дает копию Алпатову. Добрый человек читает:

— Четыре сорочки есть?

— Есть, — радостно отвечает Алпатов.

— Где же вы их видите?

Видеть их Алпатов не может, они лежат на стуле за столом. Добрый человек, исполняя закон, строго приказывает:

— Прошу относиться к делу серьезно.

— Портсигар с шестью папиросами есть?

Алпатов открывает портсигар, и в нем действительно сохранилось шесть папирос.

Догодка его подтверждается: начальник не изувер, а честнейший служака. Вот бы хорошо теперь на радостях и закурить, вот и коробок спичек лежит, да не дошло до него.

— Коробок спичек есть?

— Есть.

Алпатов закурил папиросу, и от этого сразу голова у него закружилась. Он говорил только *есть*, и начальник больше не придирался.

— Вы свободны.

Тюк получился очень большой. Папироса кружит голову, ароматный даже на тюремном дворе воздух пьянит.

Качаясь, с огромным узлом на плече, подходит Алпатов к калитке, и часовой его выпускает.

Освобожденный после года одиночного заключения не знает, что первые дни свободы — опасные дни. Не думает, какое это жестокое дело выбросить заключенного сразу без подготовки, без помощи на свободу с узлом. Даже выпущенная из клетки птица не может лететь и садится одуматься на ближайшее дерево. Но не о жестокости людей думает теперь Алпатов, а, встречая их на дороге, перед каждым замирает от удивления: какие все люди внутри

себя прекрасные. Поражает его, что они все такие скромные и до того преданные какому-то делу, что совсем даже и забыли о себе и не знают своего истинного величия. Вокруг лица каждого встречного человека он видит незримый для всех нимб, как у святых на иконах.

Этим же внутренним взглядом он посмотрел и на дуб, с которым весь этот год жил, беседуя с ним через форточку своей камеры. Но что он видел через форточку, было только слабым отблеском действительного великолепия и славы земной.

Эти зеленые граждане на тонких черенках в отдельности едва были различимы в окошке тюрьмы, теперь же все они были видны до мельчайших подробностей и все ликовали и манили к себе. Подчиняясь их ласковой воле, Алпатов хотел было свернуть немного с дороги и подняться к ним, но голова его закружилась, и он понял, что туда он не дойдет. Та березовая роща, откуда выходили к дубу лисицы, была на пути к вокзалу, и когда Алпатов вошел в эту светящуюся, ароматную рощу, то сразу же выбрал тут из всех чудес музыку, исходившую от какой-то знакомой, но забытой птицы.

Придерживаясь за стволы частых берез, чтобы не упасть, Алпатов тихо движется, слушая песню, и выходит на поляну с высокой елью. Дальше он не может идти, да и незачем: управляющий всем большим музыкальным птичьим участком леса, певчий дрозд сидит на самой верхней, последней, поднятой, как указательный палец, еловой ветке и поет свою милую, очень знакомую Алпатову песню. Тут, на краю поляны, под березой, освобожденный человек садится отдохнуть. Только одно слово в песне дрозда узнается, как человеческое: «люби», но голоса других маленьких птиц понятны только в связи с этим главным словом управляющего музыкальным участком леса. Человек начинает искать себе свое слово, чтобы тоже присоединиться ко всей славе земли.



ЗВЕНО ШЕСТОЕ

ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

НАЧАЛО ДОБРА И ЗЛА

Друг мой, только теперь, когда умерли почти все родные и половина друзей, я начинаю немного понимать наше старое время. Для меня теперь интерес к новому состоит главным образом в том, чтобы иными, углубленными, глазами смотреть в прошлое, иногда очень отдаленное: читаю Эсхила, и вот даже Эсхил не совсем тот самый, за эти трудные годы что-то и к немуросло.

Особенно это заметно по молодежи, когда сравниваешь, какие стали они и какими были мы с вами. Мой сынишка по всем признакам должен бы выйти таким же застенчивым, как и я в его возрасте, между тем новое время, кажется, совершенно уничтожило в нем этот мучительный недостаток. В его классе всего только трое юношей и сорок девушек. Эти сорок единогласно выбрали его старостой, и он стал общественным мальчиком. Обязанности старосты: вести заседания, наблюдать порядок в классе, быть представителем в школьном совете и множество всего другого. Я спросил его:

— Как же ты управляешься?

— Отлично управляюсь, — ответил он, — ведь если бы мальчики были, то, конечно, едва ли бы я легко справился, а девочек я всегда поверну, как мне хочется.

— Но ты их не стесняешься иногда, знаешь, все-таки девушки...

— Какой ты, папа, чудак, если бы одна была, с глазу на глаз, то, может быть, я бы и постеснялся, а то ведь сорок их под моим началом. Потом они — сорок-то! — если бы захотели, могли бы, конечно, выбрать себе своего женского старосту, а вот меня выбрали, значит, они хотят кого-то слушаться, и я их веду.

Так все просто! А мы, бывало, всего один раз в год допускались в женскую гимназию, и не по делу, а только на бал. Дожидаешься там заветного танца, когда дамы сами приглашают себе кавалеров. С трепетом глядишь, как из большой и неопределенной толпы гимназисток выходит одна, приближается и прикалывает к мундирчику красный бант, — это значило: я избран, и она будет единственная у меня на целый год до следующего бала в женской гимназии.

До сих пор от этих балов осталось что-то похожее на волнующий запах весенних тонко-ароматных цветов. Она раз приколола мне бантик, я танцевал с ней длинный *котильон* и за все время не сказал ни одного слова. Больше ничего и не было, а значение было безмерное, одно только имя ее, произнесенное вслух, заставляло меня вспыхивать, а когда начинали прямо дразнить, я дрался и часто побеждал сильнейших противников. Притом я хорошо помню, что в то время застенчивость моя была вовсе не от каких-нибудь тайных пороков, я был даже несколько неестественно чист и дрался за свою даму, как рыцарь.

Все это было тогда очень мучительно, слабые погибали в пороках, сильным открывался слишком рискованный путь. И теперь, признаюсь, я с удовольствием думаю, что у моего мальчугана не одна недоступная, а сорок обыкновенных. Правда, присоединив потом к тонкому чувству жизни упорную силу труда, для себя я добился какого-то счастья, были даже восторги, но почему-то не хотелось бы помолодеть и начинать все с начала, а тем более еще желать сыну путь, на котором лишь редкий не свернет себе шею. Да, будь у меня сорок, я, наверно, и не пытался бы изобразить эту любовную историю Алпатова, столь не соответствующую нашему времени.

Но, мой друг, совершенно так же, как я, отец, говорю теперь о своем сыне, так же говорили о нас отцы, когда мы были только сынами. Ведь это дочка шепчется с матерью о своих тайнах, а сыновья редко открываются отцам, и это так хорошо: в этом мужском стыде заложена красота и сила действия на больших кругах. Очень, очень возможно, что и мой сынишка только маскируется своими сорока девушками, опасаясь, как бы не заметил я в нем чего-нибудь особенного и не поднял бы на смех его сокровенные чувства.

Старый друг, вспомните то наше время, когда все хорошее называлось прогрессивным и местом происхождения такого добра считалась Европа. В то время — помните? — слова *«европейский прогресс»* повторялись у нас так же часто, как теперь *«закат Европы»*. Тогда еще жили святые писатели, предметом любви которых был наш темный мужик. И я еще застал деревенских учителей с филологического факультета и совершенно бескорыстных врачей, иногда отличных хирургов, достойных университетских клиник. Вспоминаю, когда, бывало, сделаешь что-нибудь неладное, наша добрая бестужевка выпалит:

— Какой эгоизм!

И чувствуешь себя совсем уязвленным.

Другое слово у нее было *«альтруизм»*, — когда она это скажет, является предчувствие высокого подвига.

И так через эту бестужевку мы узнавали, что начало добра есть альтруизм и начало зла — эгоизм.

Помнятся ее удивительные рассказы о европейских дорогах — аллеях с фруктовыми деревьями, по которым люди идут и не трогают спелых плодов. От этих рассказов нам грезилась иногда там, где-то в ином прекрасном *европейском* мире, чудесные аллеи с грушами, яблоками, сливами, неприкосновенными для злых людей. Тем более сладки были эти сны, что у нас в деревенской действительности никакому отдельному хозяину нельзя было посадить огурцов: кто посадил — нарасхват; в полях некоторые сеяли горох и непременно с молитвой, чтобы уродился и на воровскую долю; не помогала молитва: весь горох доставался вору.

Ужасно скучно, казалось бы, детям читать Глеба Успенского, но мы читали его, как набожные люди читают Священное писание, — с благоговением. Особенно загадочным казался рассказ о Венере Милосской, как она *выпрямила душу* страдающего человека.

— Милая, — спрашивали мы с братом, — объясни нам это чудо, что значит: *выпрямил душу?*

И бестужевка отвечала:

— Спасла человека.

Раздумывая теперь об этом, я прихожу к тому, что слова падают ребенку от взрослых, как на землю семена с высоких растений, и начинают прорастать непременно *тайнами*. И это, конечно, была у нас одна из самых значительных тайн, — что Венера Милосская спасла человека. Помню, через много лет потом, в Лувре как-то печаянно с левого глаза увидел я настоящую Венеру Милосскую и признаюсь, безрукая каменная женщина, после сообщенной мне в детстве тайны и множества виденных фотографий, в оригинале не была мне большой новостью, сладость ее выпита была мною уже раньше, в детстве и потом в юности, в тысячах зеркальных отражений ее в музыке и поэзии. Мне приходила в голову даже одна дерзкая мысль, о которой я не хочу сейчас говорить, потому что мой современник Алпатов ею больше страдал и в его поступках она будет лучше видна. Не удержусь, однако, и намекну вам: Венера в Лувре в сравнении с той, моей детской, *живой* Венерой показалась немножечко *идолом*...

Еще привозили нам в детстве фотографии отца с сыновьями, страшно напрягающих мускулы в борьбе с обвивающими их тела змеями, и много слышали мы рассказов о Колизее, травле христиан дикими зверями, об умирающем гладиаторе. Но не так удивительны были все эти чудеса святой земли *Европы*, как обыкновенные рассказы о жизни современной, что будто бы там самый обыкновенный извозчик в ожидании седока читает газету и курит сигару.

Дивлюсь я живучести и сладости этих своих воспоминаний о читающем извозчике. А мать моя, женщина шестидесятих годов, пела куплеты о каком-то необыкновенном обеде:

Какой обед нам подавали!
Каким вином нас угощали!

Помню, что в этих куплетах самыми изысканными блюдами обеда назывались: «И сосиски и компот», — и в то же время сама же мать моя, распевая об этом старом, в восьмидесятих годах ела сосиски и компот как самые заурядные блюда. Совершенно так же теперь, постоянно

видя на улицах Москвы извозчиков, читающих и «*Рабочую Москву*», и в особенности «*Бедноту*», дивлюсь тому из своего мира немецкому извозчику, читающему «*Форвертс*»: то были какие-то волшебные извозчики для меня, как для матери моей волшебными казались первые, очевидно в шестидесятых годах получившие у нас распространение, европейские сосиски и компот.

Так, видно, друг мой, пережитое всегда нам является немного с компотом, если мы смотрим только в себя; но стоит вникнуть через своих же ребятишек в настоящее, как является потребность рассказывать о прошлом для понимания настоящего, и оказывается, все прошлое живет в настоящем и через настоящее приобретает какое-то особенное, совершенно иное значение. Будем же, старый друг, скупы на лирику и спрячем ее поглубже в поступки нашего героя Алпатова, чтобы и наш молодой друг мог принять участие в нашей интимной беседе.

Алпатов пересел в иностранный вагон в Вержболове и мчится в ту самую страну грамотных извозчиков, дорог с фруктовыми деревьями и всего светлого, что выражалось в слове «*прогресс*». Через дым паровоза в наступающих сумерках можно было едва-едва рассмотреть довольно скучные прусские возделанные земли, но Алпатов все глядел туда страстно, как будто пытался через дым и сумерки узнать там где-то спасающую человека Венеру Милосскую. Пусть там пока и нет ничего, но все равно завтра же все непременно покажется, и от этого душа Алпатова переполняется, и хочется ему об этом сказать кому-то, перелить другому избыток своей радости. Он готовится писать своему другу Ефиму Несговорову, и ему просятся на язык первые слова:

«Дорогой Ефим, приезжай и ты...»

А дальше, как обыкновенно бывает, когда не пишут, а обдумывают письмо, обязательство выражения в литературной форме распадается, и чувства непосредственно обращаются к другому лицу. Ни солнце родины, ни детские игры, ни мать, ни сестры, ни братья не приходили на память при этой разлуке, был в прошлом только Ефим Несговоров, единственный по-настоящему близкий ему человек во всем мире. Было что-то крепко решенное вместе и навсегда в этом союзе, похожем на брак, и только через это единственное Алпатов определялся в огромном беспорядочном мире. То было как слепому бы открыли глаза, когда мир предстал разделенным на классы,

в которых последний через мировую катастрофу должен сделаться первым, и тоже стало понятно, что господствующий класс находится во власти безумно расточительной женщины и что сила рабочего класса в таком же целомудренном союзе, как вышло у него с Ефимом.

Казалось, ничуть не мешая решенному вместе с Ефимом делу, присоединилась теперь радость увидеть завтра же своими глазами ту самую Европу, где была и Венера Милосская, и грамотные извозчики, и волшебные аллеи фруктовых деревьев на проезжих дорогах. Но вот удивительно было, что, когда Алпатов сел на диван и, желая написать Ефиму именно об этой новой радости, стал пробовать передать свои новые чувства словами на бумаге, все было неопределенно и в отношении к Ефиму почти глупо и сентиментально.

— Вы, наверно, русский студент? — спросила его сидящая напротив белокурая барышня.

Алпатов очень обрадовался выходу из трудного положения и оставил писание. Он поспешил назвать свою фамилию, и барышня ответила ему:

— Нина Беляева.

Алпатов стал разговаривать с ней, как с родной сестрой: ведь у него в душе была его тюремная невеста Инна Ростовцева, и такой был Алпатов, что если место занято, то все другие девушки через это становятся как бы сестрами. Алпатов много рассказывал Нине Беляевой, как было ему в одиночке, и как он обрадовался жизни, когда его выпустили, и что теперь он чувствует приближение чего-то великого в его жизни.

— Хотя вы и много испытали, — говорила она, — все-таки смотрите на жизнь через розовые очки.

— А если вы через дымчатые, — ответил Алпатов, — то зачем же вы едете учиться за границу?

— Есть возможность, и еду: надо же куда-нибудь деваться. За границей интересней.

— Значит, есть для вас интересное, и вы признаете прогресс и радуетесь достижениям?

— Не особенно радуюсь, идеал все равно недостижим.

— Почему? Я достигаю свое и, когда достигну, буду радоваться, а после меня будет другой, и в конце концов так хорошо достигать. Мне кажется, если сильно захотеть чего-нибудь, то всегда и достигнешь, — идеал достигим.

И Алпатов стал рассказывать, как, спасая свое здоровье в тюрьме, он отправился в будто-путешествие к Северному

полюсу, целый год, отсчитывая метры, ходил из угла в угол и вышел из тюрьмы невредим: значит, достиг Полюса.

— Так делают все мужчины и забываются в каком-нибудь деле, но я не могу себя забыть: женщина живет только в мелочах, и в этом не может забыться: идеал недостижим.

— Как это, наверно, трудно,— сказал Алпатов сочувственно,— всегда только я и больше ничего, весь мир вокруг я — это болезнь.

Уязвленная Нина стала рассказывать о своем печальном детстве, о братьях-эгоистах, о ссорах с матерью: она всегда оставалась одна, и никто не хотел этого знать, и потому она всегда думает о себе. Только одна у нее была близкая подруга, и то с ней разошлись после Смольного.

— Так вы в Смольном учились,— встрепенулся Алпатов,— а как звали вашу подругу?

— Вы не можете ее знать,— ответила Нина,— я чувствую, вы из какого-то совсем другого нам мира, но хорошего, лучшего, чем наш. Мне с вами удивительно легко говорить, такой откровенной я еще ни с кем не была, и никто не слушал так внимательно и сочувственно: у вас глаза, как у святого. Вы это, наверно, нажили себе в тюрьме?

Алпатов смутился и очень покраснел. Может быть, он немного догадывался о происхождении своей «святости»: он думал об Инне, и какой-то хороший остаток от этого оставался и Нине. Но это было вовсе не потому, что он, как святой, любил всех людей, и безразлично, мужчин и женщин.

Устроившись под пледом, Нина сказала Алпатову:

— Вот удивительно как-то засыпать на людях, не хочется и голову прятать под одеяло, а дома в своей комнате, одна, я непременно сплю с головой: чего-то страшно. Вы верите в бога?

— Ну, вот еще,— ответил Алпатов,— я это потерял в четвертом классе гимназии и не жалею. Я не понимаю, как это можно верить и тут же не делать. По-моему, люди выдумали бога, чтобы увернуться от обязанностей к человеку. Неужели вы все еще верите?

— Не знаю. Сейчас, и вообще на людях, не очень верю, скорее мне все равно, а когда ложусь спать и закрываюсь одеялом, мне кажется, будто на том свете мы непременно опять все встретимся. Это бывает с вами?

— Бывает, но из этого ничего не следует, мало ли что может быть, если спрятать от страшного свою голову под одеяло.

Нина весело засмеялась, и последние слова ее перед сном были:

— А на людях я всем кажусь веселой, и меня в институте, знаете, как дразнили?

— Как я могу это знать?

— Меня дразнили *Чижиком*.

После этого они замолчали, и каждый думал о своем. Алпатов о предстоящей встрече с Ростовцевой, Нина о необыкновенных глазах Алпатова, похожих на глаза доброго зверя, когда он догадывается о значении слов человека. Может быть, эта худенькая белокурая девушка, засыпая, позволила себе слишком подумать об этих глазах. Так очень часто бывает, что после дружеского разговора во сне прибавится что-то свое, и потом уже при встрече не бывает прежней свободы. Во сне Нину окружили разные разъяренные звери, и ей бы очень плохо пришлось от них, если бы вдруг не явился огромный медведь со святыми глазами, не расшвырял все зверье и не провел Нину в Смольный, в дортуар к ее самой близкой подруге — Инне Ростовцевой.

Алпатов в это время видел за границу как огромный парк с фонтанами, и там среди статуй прекрасных женщин была вырублена из финского порфира каменная баба, в которой была скрыта Инна Ростовцева. Она слышит его приближение, и голос ее из глубины порфира звучит как музыка и наполняет весь парк голосами. Она просит его разбить камень, и он берет молот...

А Нина видит, будто медведь ушел, и она ложится рядом с койкой Инны. Та, конечно, только притворяется, будто спит: они перед этим сильно поссорились. Нина тоже притворяется, но нечаянно глаза их встречаются, и вдруг огромное доброе медвежье чувство охватывает Нину, в то же самое время это же происходит и с Инной; обе девушки выскакивают из-под одеял и бросаются друг к другу в крепкие объятия...

Когда утром Нина открыла глаза и увидела, что Алпатов сидит против нее и смотрит на нее точно такими же, как ей снилось, глазами, она вспыхнула, и Алпатов этого не мог не заметить. Он один только раз в тюрьме через двойную решетку видел Инну Ростовцеву, и то под густой зеленой вуалью, и все-таки чувствовал себя до того связанным

с тюремной невестой, что приближение другой, какой-то Нины Беляевой, было ему неприятно и как бы отталкивало. Он решил, что эта барышня должна ему в чем-то мешать, и задумал на вокзале от нее улизнуть. Если бы только он знал, что его таинственная Инна была самая близкая девушка Нине Беляевой! Молодым людям стало даже как будто неловко сидеть друг против друга. Но это продолжалось недолго: поезд подходил к берлинскому большому Центральному вокзалу, все русские ужасно засуетились, и расставание молодых людей вышло естественным. Алпатов сказал:

— Конечно, мы встретимся в университете на лекциях.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШ

В Берлине уже давно была круговая железная дорога, но внутри этого круга, по улицам и переулкам, граждане перемещались в конках и более богатые на извозчиках: лошадей на улицах было тогда в Берлине, пожалуй, побольше, чем сколько до сих пор еще их сохранилось у нас в Москве. Возле Фридрихштрассе стоял именно такой волшебный извозчик, о котором нам в детстве рассказывали: извозчик читал социал-демократическую газету «*Форвертс*» и попыхивал дешевой *фурманской*¹ сигарой. Даже на самых верхних этажах, не страшась каменной пропасти, горничные в белых передниках, как фарфоровые куколочки, вертелись на подоконниках, иногда улыбались и посылали воздушные поцелуи в окна соседних домов. Всюду, не стесняясь, выставляли, вывешивали на воздух пуховики, одеяла, подушки, а внизу мыли асфальт и чистили щетками так прилежно, так много лилось воды, что все пахло водою и камнем. Сотни тысяч рук свежим утром прибирали город для нового бодрого трудового дня. И вот такое берлинское, едва ли повторимое в других городах Европы, утро встретило русских, приехавших из недр России с подушками, одеялами и чайниками. На первых порах Алпатов, конечно, не мог разобраться и понять *что от чего*, все главное, казалось ему, было в этом аромате воды и камня. Однако настоящий европейский извозчик, совершенно такой, как рассказывали в детстве, с сигарой и газетой, сразу привлек его внимание. Алпатову

¹ От немецкого Führmann — извозчик.

лично извозчик не был нужен, его хорошо научили не брать с собой ничего в страну, где все так дешево можно купить, в руке его был только баульчик с одной переменной белья. Но ему надо было сделать опыт с своим немецким языком. Он сомневался в понимании берлинцами лифляндского наречия, которое в Риге считается самым чистым немецким, а в Берлине признается за русский язык. Так с волнением подходит он к простому извозчику и, переводя в уме русские слова на немецкие, говорит со всей вежливостью:

— Извините меня, господин извозчик, смею ли я вас спросить, как можно найти в Берлине самое дешевое жилище?

Удивленный извозчик поднял голову и оглядел иностранца в довольно приличной одежде: ведь иностранцы самые богатые люди и обыкновенно едут в дорогие отели.

Прошло несколько секунд, во время которых Алпатов вверился в доброе сердце извозчика, и в голове его даже мелькнуло, что московский лихач непременно бы ему ответил сразу и высокомерно: «Я почему знаю?»

— Вы, мой господин, — спросил извозчик, — наверно, приехали сюда искать работу?

— Нет, — ответил Алпатов, — я приехал учиться в университете, я — студент.

— Вы студент? — изумленно спросил извозчик. — Зачем же вам дешевая квартира?

В это время газета в руке извозчика обернулась титульной стороной, и Алпатов с большой радостью заметил «Форвертс». Это значило, что извозчик был одинаковых с ним убеждений, такой же, как и все его русские друзья.

— Товарищ, — сказал Алпатов, — я потому спрашиваю дешевую квартиру, что у меня мало денег.

— А если у вас мало денег, товарищ, — ответил извозчик, — то зачем же вы приехали учиться?

Теперь и Алпатову настал черед задуматься. Слово *товарищ* было для него, как перебегающая искра мировой катастрофы: студент и товарищ в России много значит даже для неграмотных людей, а вот в Германии человек читает «Форвертс» и никак не может понять, что бедный стремится к науке.

— У нас в России... — начал было Алпатов, но в это время крикнули фурмана. Извозчик быстро передал

Алпатову газету, показал на последнюю страницу объявлений о жилищах для рабочих и поехал на зов.

В объявлениях было множество дешевых квартир в Шарлоттенбурге, были указаны и ночевки в семьях рабочих с бельем и кофеем за несколько пфеннигов. Осмелевший в разговоре с извозчиком, Алпатов спрашивает теперь, совсем не стесняясь, дорогу в Шарлоттенбург. Все указывают ему на городскую железную дорогу: несколько минут езды, и стоит всего десять пфеннигов. Но Алпатов непременно хочет пешком и этим крайне удивляет деловых людей. Однако терпеливо и вежливо ему все-таки объясняют путь пешком, верно, иностранец им кажется вроде ребенка.

Но, может быть, люди потому так предупредительны, что через этого ребенка узнают радости своей собственной жизни? Ведь прошло всего только несколько недель, как Алпатов вышел из тюрьмы и обрадовался людям. Ему представляется, будто это обычное для берлинца мытье улиц, чистка жилищ, бодрый ход масс на работу, заглядывание на ходу в зеркальные стекла магазинов, постоянное узнавание чего-нибудь нового, — все это является городским людям новой даровой прибавкой к жизни, обеспеченной силой земли. Вот это какое-то *даром* против обыкновенной жизни, к чему в городе привыкли и не чувствуют, светилось в глазах Алпатова, и потому деловые люди при его вопросах охотно останавливались, а иногда и провожали.

В особенности рискованным казалось подойти к прусскому офицеру в шинели-футляре, с волочащейся саблей, с усами вверх, как у императора. Но Алпатов не задумался.

— Смею ли я узнать у вас, очень уважаемый лейтенант, — спросил он, — где находится рейхстаг и знаменитая улица *Под липами*?

На поклон Алпатова офицер приложил руку к козырьку и, улыбаясь, сказал:

— Почему знаменитая?

— Потому, — ответил Алпатов, — что вблизи нее должен находиться и королевский дворец, и рейхстаг, и Аллея Победы. В наших московских газетах постоянно пишут об этом, мне так хочется на все посмотреть.

— Вы из Москвы? — с интересом спросил офицер.

— Нет, — ответил Алпатов, — моя родина Елец.

На это офицер вдруг сказал по-русски:

— Елец — это вблизи губернского города Орель?

Это было так неожиданно для Алпатова, что он приостановился. Офицер взял его под руку и пошел с ним дальше.

— О-рэль,— так ли я выговариваю?

— Орел,— ответил Алпатов,— но зачем это вам?

— Я буду скоро обер-офицером и должен сдавать экзамен по-русски.

— Это для военных целей?

— Очень возможно.

— А мы, русские, все думаем, как бы вообще прекратить войну.

— Вы большой дипломат,— сказал офицер.

Алпатов не понял насмешки и, удивленный, остановился.

— Как дипломат? Я говорю вам искренно, разве не знаете вы, что пишет Лев Толстой о войне?

— Лев Толстой — писатель,— улыбнулся офицер,— вот если бы это ваш царь написал... а впрочем, тоже ничего бы не вышло, занятия литературой обыкновенно даже и вредны царям.

— Да царю бы никто не поверил,— ответил Алпатов,— ваш император, например, так много говорит о прекрасном, а вы учитесь русскому языку на случай войны.

Офицер испугался, не зная, как быть дальше с ужасным ребенком, но, всмотревшись в лицо Алпатова больше, вдруг что-то понял. Он сказал:

— Ваши глаза очень симпатич.

Потом наклонился к нему и вполголоса:

— Наш император говорит немножечко много лишнего, милый юноша.

В это время налево от них показалось большое тяжеловесное здание с золотым куполом, и Алпатов догадался: рейхстаг.

— Как вам нравится? — спросил офицер.

— Прахт-фолль,— ответил Алпатов.

— Немножечко много плюмп,— сказал офицер,— вы мне не скажете, что значит по-русски немецкое *плюмп*?

— Тяжеловат,— ответил Алпатов.

— Очень вам благодарен, я с вами прощаюсь, дорога в Шарлоттенбург все прямо. А куда вам надо в Шарлоттенбурге?

Алпатов вынул из кармана «Форвертс».

— Зачем у вас этот глупый лист? — спросил офицер.

Алпатов схватился:

— Как глупый, это «Форвертс»!

— Я же знаю,— сказал офицер,— в этой газете ужасно много врут, она не к лицу образованному человеку... бросьте эту дрянь... Идите все прямо. Живите благополучно.

— Всего хорошего,— ответил Алпатов.

— Благодарю вас, я буду говорить, как и вы: всего карошего.

Офицер потонул в толпе, как в воде, и показался потом перебегающим на ту сторону между экипажами. Алпатов идет все вперед по этой улице, на несколько верст прямой, как линейка, всматривается в отдельные лица, хочет понять страну по выражению лиц, но, сколько ни вглядывается, все ему кажется, что это не новые, какие-нибудь особенные, а обыкновенные люди, такие же, как и в России. А между тем он в Германии же! Вглядывается вновь, чтобы увидеть чисто немецкое, но очень редко показывается какой-нибудь тип немца, и то, появляясь, не оставляет права перенести свои национальные черты на всех. От этого кажется Алпатову, что *немцев* гораздо больше в России, чем у них на родине. Почему это так?

И все-таки это были и не русские люди. Чудесно было знать, что тут уж никто не подглядывает, не смотрит в упор, не спрашивает: «Чьи вы?» Казалось, человек тут виден не с лица, а вывернулся всем своим рабочим механизмом наружу и так сошелся в деле с другим. Тут весь человек шагал все вперед и вперед своим историческим маршем.

Вот, видно, почему так и кажется, будто в Берлине немцев меньше, чем в Москве: потому что все моховые извилистые ручейки народностей тут, в огромном европейском городе, вошли в одно прямое широкое русло всего человеческого потока в каменных берегах. Там, далеко, далеко, в моховых истоках, где-то в темной хижине в России мерно всю ночь пилит сверчок. Это вспоминается почему-то, и даже понятно, этот мерный звук не напрасная трата времени: ведь и тростинка в русском потоке не напрасно мерно склоняется, шевелясь в струе, тоже и она отмечает, сколько прошло русской воды в общий поток.

Широко, просторно, пахнет только водою и камнем, и среди грохота и шума русская песня сверчка преобразается в музыкальный исторический марш человека,— всегда человека, вперед и вперед!

Так на ходу представлялось Алпатову, а между тем незаметно и непонятно все стало переменяться. Были все те

же огромные городские дома, но уже без украшений: просто дома, очень похожие друг на друга. Раньше между высокими домами была своя загадочная, таинственная сень, как в аллее из густых деревьев: в этой сени деревья постоянно перебегают или светлые зайчики солнца, или тени пролетающих птиц; так же и в сени высоких, чудесно разукрашенных домов постоянно показывались разнообразные следы сложной жизни: один раз в окне, обрамленном тонкими кружевами, солнечный луч открыл золотую рыбку в изумрудных водорослях, маленькая рука повернула кран, и фонтан аквариума рассыпался радугой. Было много разных чудес в сени каменных домов, и вдруг все переменялось: дома стали похожи один на другой, на асфальте начался сор, из дворов на улицу стали выбегать плохо одетые дети, толпа поредела. Совершенно так же, как и в России, остановились на углу два знакомых, стали долго разговаривать и загородили собой путь другим. Оба эти знакомые были спосно одеты, у одного в руке был наполненный землей цветочный горшок. Казалось, они разговаривали спокойно и были друзьями, как вдруг один взял свой горшок и с силой бросил его в лицо другому. Тот пошатнулся, схватился рукой за окровавленное лицо, а ударивший бросился бежать. Но человек с разбитым лицом скоро одумался и пустился догонять обидчика. На отлично умытом утром асфальте остались черепки и земля.

Тогда музыкальный марш человека прекратился.

Алпатов был в рабочем квартале.

РУССКИЙ

Странно было юноше, воспитанному в России поколениями революционеров на идее мировой катастрофы, прямо почти из тюрьмы попасть в чистенькую комнату немецкого социал-демократа, с умывальником под мрамор и вышивкой под точеной ручкой для полотенца: «Бог есть любовь».

Это было на Рудерштрассе, номер 3. Металлист-рабочий Отто Шварц занимал здесь квартирку в три комнаты: спальня и столовая были для себя, а третья, маленькая, отдавалась двум ночлежникам по пятьдесят пфеннигов с каждого за ночь, с постельным бельем, утренним кофеем и круглой булочкой с маслом. Отто был на заводе, когда в его квартиру позвонился Алпатов. Мина Шварц, совсем

молодая женщина в белом переднике, провела русского студента в крохотную комнату, в которой этим утром был вымыт и вычищен каждый вершок. Кроме двух кроватей, в комнате было на каждого жильца по ночному столику и общий умывальник под мрамор с палочкой для полотенца и вышивкой.

Было так удивительно чисто вокруг, что Алпатов стеснительно посмотрел на свой загрязненный баульчик и нерешительно поставил его возле умывальника. Минна сейчас же взяла его, протерла тряпочкой над умывальником и поставила на полку возле кровати. Она спросила, не нужно ли Алпатову еще что-нибудь, и когда недогадливый русский отказался, сама поманила его и показала в коридоре необходимости. Усталый с дороги из России и от большого перехода по Берлину, Алпатов хотел было прилечь на кровать и открыл одеяло. Но под одеялом оказался пуховик в чистых простынях, и под ним была еще другая перина. Видно было, что Минна целое утро посвятила устройству таких сложных постелей, и Алпатов не посмел расстроить порядок для дневного сна. Подумав немного, он сел на стул и сразу же тут задремал. Тогда ему стало совсем понятно, почему на родине он томился так долго в камере одиночного заключения: потому что там миллионы людей жили под соломенными крышами вместе с животными, с божницами, наполненными черными тараканами.

Там, на родине, был закон для совестливого человека: «Так жить нельзя». Тюремная камера там казалась единственно возможным жилищем для совестливого человека, временным страданием до исполнения срока мировой катастрофы, после которой разрешено будет жить хорошо, потому что тогда не будет ужасного неравенства.

Алпатов, конечно, очень устал и потому, засыпая на стуле, возвращался домой: так ведь и все мы в минуты усталости пробуем вернуться на какую-то свою милую родину.

Однако не сразу дается сон в сидячем положении. Засыпающий, убегая мыслью на родину с запрещенной порядочной жизнью для интеллигента, вскидывает голову, узнает новые предметы: чистые кровати с пуховиками, полочки, умывальники под мрамор с вышитыми над ним словами. И ему кажется, что здесь, в этой комнате, весь темный лик русского бога с черными иконами, с лампадами, коптящими усы и бороды изъеденных тараканами

угодников божьих, — все это страдание людей и богов на русской земле обернулось в любовь над умывальником социал-демократа, и эта любовь означает: скромная жизнь порядочному человеку в Германии разрешается.

Все это, однако, засыпающему было не материал для критики, как непременно выходит, если записать словами, а скорее он ставил в вину себе отсутствие восторга перед жизнью людей, преданных всецело обязанностям каждого дня.

Между тем Отто Шварц на своем заводе много отвалов и лемехов натаскал за утро из литейного в свое отделение и шел домой обедать, не подозревая, что у него в квартире днем спит русский студент. Узнав от Мины, что к ним явился русский, он заволновался: русских он никогда не видал и только слышал о них много необычайного. Несколько раз во время обеда он тихонько открывал дверь и оглядывал спящего Алпатова и дивился: русский с виду ничем не отличался от молодого немца. Жена, однако, таинственно ему прошептала, что русского ей пришлось познакомить с «тетей Мейер» («тетей Мейер» у Шварцев называли отхожее место). Мина при этом высказывала догадку, что в России, наверно, как-то иначе обходятся.

— Я где-то читал, — ответил Отто, — что они выходят на двор и зарывают лопаточками, каждый русский ходит с лопаточкой.

— Я слышала тоже, — сказала Мина, — но мне кажется, так делают китайцы.

— Это все равно, — ответил Отто, — Китай и Россия в одной стороне.

Пообедав наскоро, Отто побежал на свой завод и до вечера очищал уголь с лемехов и отвалов. После работы он был на коротком собрании своего профессионального союза и там за кружкой пива рассказал своему двоюродному брату Августу о русском и просил его завтра утром по случаю воскресного дня непременно зайти к нему: может быть, русский расскажет что-нибудь любопытное.

В этот вечер, однако, не суждено было Отто Шварцу познакомиться со своим жильцом. Отдохнув на стуле полчаса, Алпатов отправился по объявлению в газете и дешево купил себе подержанный велосипед. До вечера он объездил весь Шарлоттенбург, побывал в разных парках, видел озера, и когда вернулся домой, кровать его была открыта. Он забрался в пуховик и заснул по-настоящему непробудным сном до утра.

Первая мысль его была, когда он проснулся, идти к Отто Шварцу, узнать у него о больших рабочих собраниях с Бебелем, Либкнехтом и другими вожжами. Но было поздно разговаривать с Отто: он был уже на заводе. Тогда каким-то удивительным образом мысль его перескочила от Бебеля к Инне Ростовцевой. Так, верно, это крепко связалось все в тюрьме: мировая катастрофа с ее пророком Бебелем, Германия с музыкальным голосом его тюремной невесты с лицом, закрытым густой вуалью. Там, в тюрьме, казалось так просто найти ее, узнать и восстановить неясный облик по музыке голоса. Теперь он приблизился к ней, они в одном городе, но почему-то стало казаться, что очень трудно найти. Все-таки она же сама указала путь, она звала его учиться, значит, надо ехать в университет.

Теперь он едет по той же самой асфальтовой улице, где вчера встречал с таким удивлением соединенного человека. По мере того как он приближается к сердцу Берлина, сгущается все больше и больше толпа на панели, теснят экипажи. Но стоит только нажать немного педаль, и все теснящие экипажи становятся неподвижными.

Однако трудно передать это наслаждение от быстрого движения на кипучей улице между экипажами. Так стриж с ликующим визгом проносится между стаяй тяжелых птиц и стремительно мчится под облака. Мало движения тела, чтобы это понять, надо вспомнить свою собственную музыку, игравшую когда-то в юности в часы напряженного ожидания встречи с невестой, забыть совершенно серую сеть морщин, причин и теорий...

И вот среди грохота экипажей чей-то голос отчетливо называет по имени.

Алпатов затормозил и прислушался: зов повторился, рука дрогнула. Сзади наехала тяжелая лавина экипажей. Он едва успел соскочить у самого края панели и стал дожидаться. Потом вышла из толпы девушка с лицом, закрытым зеленой вуалью...

...Улыбаюсь вам, друг, через разделяющие нас годы и страны, я забываю мои толстые щеки, покрытые конской щетиной жизни, мне кажется, щеки мои, как в юности, тонко огибают кудрявую улыбку сохраненного духа. Вспомните же и вы это наше время и спешите улыбнуться, потому что рано или поздно начнутся мои письма из ада.

...Встреча была совсем недалеко от университета. Подавая руку, она сказала:

— Вижу, вы меня не узнаете, мы с вами вместе

приехали из России, не прошло еще и трех дней, как вы уже и забыли.

Алпатов пришел в себя, узнавая под зеленой вуалью не тюремную невесту, а обыкновенную Нину Беляеву.

— Нет, — сказал он, — я вас узнал, вы Беляева, а растерялся потому, что экипажи могли меня раздавить. Это нелегко ехать на велосипеде по такой улице.

И, болтая, они вместе входят в старое здание университета, столь почтенное и не соответствующее новому времени. Эта простая внешность Берлинского университета не может быть понята русским юношей сразу как прелесть: германские ученые не рядятся в тоги, доктора философии позволяют себе отличаться от других людей только немного более широкими полями своих «докторских» шляп. Конечно, и Нина Беляева, и Алпатов слышали о Паульсене и прежде всего хотят записаться на его введение в философию. Им советуют спешить занимать места в большой аудитории и прибить свои карточки поближе к кафедре: Паульсен уже стар, говорит не очень громко. А ведь непременно Инна Ростовцева, если только она в Берлине, тоже прибила свою карточку на летний семестр. Нина ищет два места рядом на первых скамейках — ей это нужно. Алпатов ищет среди визитных карточек имя своей невесты. Медленно проходит первые ряды, потом быстрее, и, наконец, остается назади одна только карточка, последняя надежда, и вот нет: не она! А Нина нашла два свободные места в третьем ряду. У социолога Зиммеля, в маленькой аудитории, почти одни только русские имена, исчезает надежда: нет, не она! — и опять своя карточка прибита рядом с Ниной Беляевой. Так и у Вагнера, и у Шмоллера, и у историка Маркса — нигде нет желанного имени. Нина допытывается:

— Отчего вы такой рассеянный и как будто печальный?

Алпатов сконфуженно улыбнулся: у него слишком много впечатлений, не может справиться. И прощается, извиняясь, что с ним велосипед, и трудно вместе идти. Нина желала бы, однако, тоже купить велосипед, если это недорого. Алпатов называет цену самых дорогих английских машин. Это невозможно для Нины.

— А, верно, так хорошо? — спрашивает Нина.

— Да, но сильно парит, — отвечает Алпатов, — весь мокрый делаешься, легко простудиться.

Нина опускает зеленую вуаль, исчезает в толпе. Алпатов находит специальную дорожку для велосипеди-

стов и мчится во весь дух неизвестно куда по Тиргартену и дальше через Шарлоттенбург в далекие парки с озерами, пересекает полотно железной дороги. Колесо велосипеда вертится так быстро, что не видно заполняющих его спиц, так точно и в голове своей иногда человек не чувствует мысли только потому, что множество их там слишком часто мелькает. Но вот велосипед остановился у переезда через железную дорогу, и явилась определенная мысль о письме. У одного ларька он сходит с велосипеда, покупает двойную открытку для адресного стола, пишет имя, национальность своей невесты, свой адрес, опускает в почтовый ящик и мчится по шоссе все дальше и дальше, пока вдруг силы совсем не оставляют его. В этом опасность очень быстрой езды на велосипеде: незаметно сразу прекращается способность вертеть ногой колесо, и становится невозможным двигаться дальше. Приходится идти пешком и, когда сошел, хочется есть так, что, кажется, если не съесть сейчас же кусочек чего-нибудь, то и не стронешься с места даже пешком, а вокруг лес с отлично отделанными дорожками: для велосипедистов, для всадников и пешеходов. Разве спросить кого-нибудь, где ближайший ресторан? Вот идет старая женщина с большой корзиной. Она говорит, что до ресторана пять-шесть километров. От человеческой речи как будто прибавилось сил. Пробует ехать и опять не может: пять километров кажутся бесконечными. Потом спать захотелось, и это можно... Свертывает на глухую тропинку и дремлет на траве возле дерева; трава такая же, как и русская, совершенно так же, как и на родине, ползет красная божья коровка. В голове как на тихой воде океана, и нет границ, отделяющих себя от всего; божья коровка сама всползает на палец, палец сам подымается вверх, и все делается как положено: достигнув конца, жучок выпускает из-под красной крышки какую-то свою мятую юбку и улетает.

ВОЙНА И ПОЖАР

Оказалось, это ложь, что за границей не существует «русского» гостеприимства. Разница с Россией только, что за границей время измерено и гостеприимство бывает по воскресеньям. Утром, как только Алпатов умылся, Отто Шварц взял его за руку и повел к своему столу, где Миша варила утренний напиток в кофейнике, похожем на

русский маленький самовар. Кофе в таких самоварчиках получается такой крепкий, что от одной чашки у старых кофейниц щеки становятся красными. На столе были сыр и масло, возле чашек лежали маленькие, уголком сложенные салфетки. Мина очень постаралась для русского.

Видеть раскрытый «Форвертс» за утренним кофе, читать его не таясь, как обыкновенную газету, Алпатову все еще непривычно. И об этом он и начинает разговор:

— Вы социал-демократ?

Отто неохотно пробормотал: а кем же ему еще быть, как не социал-демократом?

Алпатов спросил:

— Например, если бы свободомыслящим?

Отто спросил, в свою очередь:

— А какая мне выгода быть свободомыслящим?

Странно звучало это слово «выгода».

Алпатов знал и твердил тысячи раз, что рабочее движение все основано на интересе, но в личных отношениях он, русский, не встречал еще у себя на родине ни одного студента, ни одного рабочего, кому революция была бы лично выгодна в данный момент. И потому Алпатов в замешательстве сказал нескладно:

— Выгода... выгода... а я ведь тоже социал-демократ.

На это Отто:

— Разве в России тоже есть фабрики?

— Ну как же, никакое большое государство и даже маленькое теперь не может обойтись без фабрик.

Отто обернулся к жене:

— Слышишь, Мина, в России тоже есть фабрики.

— А я слышала, — сказала Мина, — там очень много медведей.

Алпатов улыбнулся:

— Они работе на фабриках не мешают, в лесах есть медведи, но в городах они не показываются.

— Никогда? — спросила Мина таким разочарованным голосом, что Алпатов из вежливости уступил:

— Почему никогда, конечно, бывают случаи. Но зато волки встречаются всюду.

— Вот видите! — сказали вместе и Отто и Мина.

Алпатов вдруг понял, чего ожидают от него эти простые, добрые люди, и ему захотелось доставить им удовольствие рассказами о своей необыкновенной стране.

— Сила земли там столь велика, — начал Алпатов, —

что люди полей, где нет совершенно лесов, сжигают для отопления своих избушек соломой и навоз — земля там родит без навоза.

— Не может родить земля без навоза, — возразил Отто, — это сказки. Вы смеетесь над нами.

— Нет, я не смеюсь, добрый хозяин, — серьезно сказал Алпатов, — там чернозем в аршин толщиной и долго может давать урожай собственной силой. А в лесу иногда рубят охотники огромное дерево, только чтобы выгнать маленькую белочку: дерево в таком лесу ничего не значит. В России есть края, где летом солнце светит и ночью, а на другом конце не бывает зимы. Там, в России, ни в чем нет счета и меры, как в Германии, и если начнутся поля, то это поля: никакой глаз не может досмотреть их до конца, все рожь или пшеница, овес и картофель. А если начнется лес, то и не говорят: «там-то лес», в России скажут: «и вот *леса пошли*».

— Леса ходят, — смеясь, повторила Мина, — а как же люди сообщаются в таких огромных пространствах?

— Люди мало сообщаются, — ответил Алпатов, — люди там больше сидят, но если встречаются иногда в вагонах...

— А, все-таки, значит, есть и вагоны, — сказал Отто.

— Очень немного, — ответил Алпатов, — совсем пустяки, но все-таки есть. Люди разных стран, лесные и полевые, встречаются в пути очень далеко, в вагонах, иногда на лошадях едут вместе, а то просто пешком идут по тропинкам. На промыслах, в монастырях сойдутся и начинают рассказывать друг другу о своей стране, и так они все узнают не по газетам и книгам, а из устных рассказов: там живут слухом. И для слуха там есть два самые ужасные слова, от которых женщины начинают выть и у мужчин иногда волосы встают дыбом: такие два слова в России: *пожар* и *война*. Это очень принижает наших людей, и мы их поднимаем.

— Вы — люди образованные?

— Более или менее, эти люди у нас самые бедные и называются революционная интеллигенция. Против слова «война», мы даем им слово «революция», а против слова «пожар» — «социализм». Мы верим, что в самом близком будущем, еще при жизни нашего поколения, совершится мировая катастрофа, война кончится на всей земле и пожары перестанут в новой культуре.

— Благодаря бога, — сказала Мина, — у нас теперь не боятся пожаров.

— А война?

Мина посмотрела на Отто.

— Война большое несчастье, — сказал Отто, — рабочему человеку война невыгодна, мы, насколько возможно, боремся против войны. Только сразу ничего не сделаешь.

— А как же Бебель-то сулит мировую катастрофу еще при наших днях?

— Август Бебель, о да. Август Бебель!

Отто подумал немного и вспомнил:

— О да, Август Бебель: «Женщина и социализм».

Больше он ничего не мог сказать, и в разговоре получилась заминка. «Хорошо бы теперь вернуться к интересным рассказам о России», — думали Шварцы. Но Алпатов спросил, можно ли ему где-нибудь видеть Августа Бебеля.

— А вам зачем его нужно видеть?

— Он такой замечательный, мне интересно на него посмотреть.

Отто понял Алпатова, вдруг осветился любовью к своей земле, гордостью и счастьем все показать иностранцу. Он быстро заглянул в газету и сказал:

— Бебеля мы сегодня увидим, и еще увидим старого Либкнехта, и еще увидим адвоката Гейне.

Отто совсем повеселел:

— Да знаете что, может быть, нам удастся сегодня, и я вам покажу, я вам покажу такое... я вам покажу самого императора.

— Настоящего императора Вильгельма? — удивился Алпатов.

— Вот погодите-ка только, я вам покажу нашего императора: по будням он гуляет, а по воскресеньям катается в Тиргартене. Выйдет, да, выйдет непременно: я вам покажу. А до этого всего я хотел бы показать вам свой картофельный участок. Поскорей бы только Август пришел.

И тут как раз позвонили.

Август пришел с женой и детьми. Жена его Эльза, дети — Роберт, Эмма и Элла. Они все хотят слышать рассказы Алпатова о медведях. Но Отто теперь уже крепко забрал себе в ум, что даже интересно и свое все показать русскому; есть что показать!

— А есть у вас в России пиво? — спрашивает он весело.

— Есть, — говорит Алпатов, — только наше пиво я не люблю: русские пьют горькое пиво.

— Это не идет: горькое пиво! А если я, например, угощу вас мартовским мюнхенским темным, как вам это покажется?

— Нам так неверно наговорили, — сказал Алпатов, — будто гостеприимство только у русских людей, — оказывается, у вас тоже очень любят гостей.

— Вот погодите, вот погодите только! — радовался Отто. — Кто знает, может быть, мы успеем попасть сегодня и на праздник стрелков.

Всей семьей, окружающей русского, они выходят на улицу, и еще выходят из того же дома семьями другие рабочие. Неузнаваемо стало теперь там, где вчера несся поток деловых людей. Все как будто замерло, и так заметно было, что посередине улицы бежала трусцой большая сен-бернарская собака в ошейнике и с бантиком. Казалось, собака тоже собралась куда-то по случаю праздника в гости, может быть, даже и в церковь: неустанно, ровно, как по метроному, тиликал смешным для русского слуха, каким-то слишком аккуратным звоном, наверно, очень небольшой колокол в кирке.

АРОМАТ ЗЕМЛИ

Алпатов в изумлении стоял на картофельном участке. Вверху по насыпи мчался поезд круговой железной дороги, в дыму паровоза исчезали дома, и снова показывались в верхних этажах маленькие фарфоровые хозяйки, убирающие свои квартиры. Тоскливо сжалось сердце, Алпатов все через себя понимал и себя как-то через право человека на счастье с постоянной готовностью на последнюю беду: от суммы и тюрьмы не отказывайся. Так он, попав на картофельный участок берлинского рабочего, представил себя русским фабричным с мечтой поехать на свой годовой праздник в деревню...

Прощай, Россия, прощай, воля и надежда вернуться к празднику или под старость в свой родной уголок, где покосившаяся на деревянных столбах хижина с забитыми окнами столько лет терпеливо дожидалась хозяина. Все кончено: с двух сторон тесно зажали каменные стены клочок земли величиной в небольшую комнату, на клочке в одном углу беседка, в другом сортир — и все! Рядом с этим соседний участок, точно такой же картофельный с беседкой и сортиром, и так без конца, потому что эти

участки рабочих колоний составляют в Берлине кольцо, совершенно так же, как у нас в Москве Садовая улица — Садовое кольцо.

Вдали дым паровоза закрыл ряды огромных, сверкавших на солнце окон какой-то фабрики, тут, ближе, глядели окна рабочих квартир, в этих чистых квартирках была заключена мечта о свободе, и последним вздохом заключенной земли был картофельный участок с беседкой и сортиром. И земля эта уж не пахла. Алпатов даже взял в руку немного, понюхал: совершенно не пахло землей. Отто, и Август, и Мина, и Эльза, жена Августа, и дети Августа — Роберт, Эмма и Элла — все окружали Алпатова и спрашивали, почему он нюхает землю, и разве земля в России как-нибудь особенно пахнет?

Алпатов рассказывал, что у него на родине чернозем толщиной в аршин так прекрасно пахнет, что каждый рабочий, рожденный на этой земле, непременно рано или поздно возвращается на родину. Алпатов замечал по себе, что больше всего связывает с родиной человека запах земли, ее трав, хлеба, цветов. И если земля не пахнет, то, значит, все остальное существует обманчиво.

— О да, да, — ответил Отто, — я и понятия не имею о настоящей земле: мой отец и мой дедушка работали в Берлине на фабрике.

Но Мина вздохнула: она понимала Алпатова. Ведь у нее тоже прекрасная родина — Саксония, там горы и лес. И она очень хорошо знает запах родной земли. А тут какая земля! Да, какая это земля, если даже не пахнет. Но, слава богу, что и это есть: можно немного по воскресеньям тут позабавиться.

— Ну, да, конечно, позабавиться, — сказал весело Август. И, пощупав мускулы Алпатова, предложил ему побороться.

— Можно, — ответил Алпатов.

И, быстро обхватив Августа, уложил его на живот, сам сел на него, Август приподнялся на руках и коленках. Алпатов поехал, как на лошадке. Дети стали смеяться. Все смеялись, и женщины повторяли:

— Эти русские — очень веселые люди!

Потом оказалось, что где-то тут, совсем близко, можно выпить по кружке отличного баварского пива. Только по одной кружке — и на собрание с Бебелем! А Эльза уведет детей к теще и вернется прямо туда, к ним на собрание.

В маленькой кнейпе и Отто, и Август шепчутся

с толстым хозяином, показывают на Алпатова, и хозяин очень доволен, он кивает головой: да, непременно так надо сделать, хотя бочка еще и не кончилась, но для русского гостя надо начать новую, свежую бочку мюнхенского мартовского темного пива. Большой зейдель очень темного пива был на одну треть сверху наполнен буровой пеной, пахнувшей сильно не то дубом, не то ячменем, как пахнут только первые зейдели из только что пробитой острым концом крана бочки. Верно, много веков трудовой культуры должно было пройти, чтобы научиться сохранять человеку аромат земли в таком напитке. Алпатов одним духом, не отрываясь, опустошил весь зейдель. Но он чуть-чуть ошибся: необходимое *прозит* ему надо было сказать перед тем, как приложить губы к стеклу, он же выпил и после сказал. И от этого в ответ на его запоздалое *прозит* ему сейчас же налили еще.

Все смотрели на него, и рабочие, и хозяин, с наслаждением, может быть, гораздо большим, чем испытывал гость от питья: ведь гость только пил пиво, а хозяева наслаждались не известным русскому интеллигенту чувством гордости и радости за дело своей страны. Толстый хозяин не удержался и спрашивает:

— Есть ли у вас в России подобное пиво?

Алпатов ответил:

— Нет, в России все пьют какое-то горькое пиво.

Хозяин очень доволен, он просит еще: ведь он денег ни за что не возьмет. Алпатов настаивает. Нет, он рассчитается только тем, что выпьет еще зейдель пива. И, видно, так уж и надо в Германии.

— *Прозит*, — говорит Алпатов, выпивая третий огромный сосуд.

— Мойн, мойн, мойн, — дружно отвечают ему все за столом.

А потом на улице, по пути на рабочее собрание, чуть-чуть колышется панель под ногой, но зато оказывается, что на свете нет чужих людей и народов и что это его собственная алпатовская придумка так устроиться в чужой стране; не нужно никаких гостиниц и всяких условностей, и через это просто и сразу понимается все, и вкус германского пива как будто открывает характер народа.

Потом Алпатов с изумлением замечает: посередине улицы легкой рысцей возвращается, как будто из церкви, та же самая знакомая большая сенбернарская собака в ошейнике и с бантиком.

Ему даже представилось, что это действие пива, и вспомнился пудель из «Фауста», и что, может быть, казалось ему, всякий народ создает свои художественные образы отчасти под влиянием своего национального напитка: и пудель у Гёте вышел от пива. А собака все бежала и бежала, вот поравнялась, вот уже назади. Отто заметил интерес Алпатова к собаке и спросил его:

— Бывают ли в России на улицах собаки?

— Очень много, — ответил Алпатов, — но только у нас я не видал больших собак с бантиками, и наши собаки в церковь не ходят.

Алпатов, конечно, шутил, но изумленные Отто, и Август, и Мина остановились: неужели он думает, что в Германии собаки в церкви бывают?

— А как же! — ответил Алпатов. — Когда мы утром выходили из дому, в церкви звонили, и бежала эта собака — помните? А вот теперь тоже звонят, кончилась служба, народ расходится из церкви, и опять эта собака бежит.

Алпатов так серьезно сказал, что все подумали, будто русский и вправду так понимает. Но ведь это же ужасно смешно, это совсем невозможно! И все стали смеяться так сильно, так заразительно, что некоторые прохожие, и не зная причины веселия, тоже смеялись.

КАТАСТРОФА

Собрание металлистов было в большой танцевальной зале с эстрадой. Для президиума на эстраде теперь был поставлен стол, и около висела черная доска для писания мелом. В зале было множество столиков, за которыми сидели рабочие, иные с женами, многие пили пиво и курили сигары. Президиум, верно, был выбран еще до прихода Алпатова: через боковые двери вошли трое хорошо, по-праздничному, в воротничках и манжетах, одетых рабочих и заняли места за столиком. Потом как-то совсем незаметно пришел и сел тоже около стола скромный старичок, очень похожий на русского кустаря-игрушечника из Сергиева посада или на башмачника из Талдома.

— Август Бебель, — сказал Отто Шварц.

Но Алпатов сам узнал его по много раз виденной карточке и не был смущен; Бебель действительно был очень похож на русского кустаря, а такие старички в России часто высказывают самые удивительные мысли. Вскоре

после Бебеля вошел высокий старик с белой бородой, как показалось Алпатову, сердитый. Это был Вильгельм Либкнехт. И, наконец, молодой, вполне интеллигентный адвокат Гейне. Председатель открыл собрание и объявил повестку дня: первым на очереди был вопрос, возможна ли победа, если металлисты в Берлине забастуют? Голос предоставляется адвокату Гейне, и молодой человек подходит к черной доске, начинает мелом выписывать колонки цифр и время от времени пояснять их значение словами, мало понятными Алпатову. Однако и раньше выпитое пиво, и новое, которое как-то само собой у всех появилось, помогло Алпатову понимать все по-своему. Дело шло, как думал Алпатов, о мировой катастрофе, которую должны начать металлисты своей забастовкой. Просто, *на глазок*, Алпатов догадался, что этому адвокату нет никакого личного дела до переворота и он только оправдывает свое неверие научными вычислениями. Вспомнилось ему детство, когда он с тремя мальчуганами пробовал убежать в какую-то забытую страну Азию и как ужасно было, когда холодной осенней ночью один из ребят стал доказывать, что такой Азии нет на свете и потому надо вернуться домой. У него тогда нашлась сила зажать рот этому ничтожному малому, и, верно, Бебель теперь тоже сумеет разбить все эти *математические* доказательства. В конце речи Алпатов ненавидел этого Гейне, хотя настоящего смысла ее почти не понимал. Все рабочие, однако, выразили адвокату одобрение. Но вдруг как будто огонь сверкнул в уголке за столом, и это, оказалось, в глазах Бебеля: глаза его стали большими, прекрасными, а щеки и рот сложились совершенно в такую же усмешку, какую так хорошо знал Алпатов у своего друга Ефима. В глазах Бебеля было что-то от святого разумника Белинского, а улыбка от сатир Щедрин. Это сразу Алпатов узнал, как свое русское, и очень обрадовался. Бебель сказал едва слышно какие-то два-три слова и будто молнию бросил в собрание.

В один миг все вспыхнуло, все хохотали, стучали ногами, кружками по столу, и некоторые кричали и хлопали руками. Председатель долго не мог остановить беспорядка.

— Что он сказал? — спросил Алпатов соседей за столиком. Ему что-то ответили быстро, со смехом, но Алпатов и не мог понять Plattdeutsch¹ и решил, что Бебель

¹ Нижнегерманское наречие (нем.).

смеялся над математическим доказательством невозможности мировой катастрофы.

Однако, переждав смех, Гейне снова выступил с мелом в руке и начал выводить новые колонны своих белых войск на черной доске. После этого Бебель не возражал: не было смысла, казалось Алпатову, тратить слова там, где никому верить не хочется и, кажется, жить и так хорошо. И все единогласно голосовали против забастовки.

Выпив разом свою кружку пива, Алпатов вдруг спросил Шварца, верит ли он, что когда-нибудь пролетарии всех стран действительно соединятся и перевернут весь мир.

— Да, я это слышал не раз, — ответил Отто.

— И что же?

— Да что, мне мало приходится думать об этом, когда мне думать-то?

— Но почему вы социал-демократ?

— А кем же мне быть, как не социал-демократом?

Отто посмотрел на часы и вдруг встал, и многие встали: дальше начинались маленькие вопросы текущей жизни. Август разглядел пробиравшуюся к нему между столиками жену Эльзу и тоже встал. Все вышли на улицу, а через два-три переулка были в Тиргартене.

Неузнаваемо было в Тиргартене сравнительно с будничным днем. По дорожкам пешеходов движется плотная масса по-праздничному разодетых людей, и все идут в одну сторону, куда-то на праздник стрелков. Всадники на отличных лошадках мелким извращенным галопом скачут по своим отдельным дорожкам. Алпатов обратил внимание на огромную распаренную женщину на велосипеде, за ней ехали на маленьких велосипедах ее дети и под конец отец со множеством узелков и у себя на пуговицах, и прицепленных сзади и спереди к велосипеду. У небольшого пивного ларька Отто остановился и предложил Алпатову и Августу большую Берлинскую Белую. И когда Алпатов опустошил этот огромный, почти в человеческую голову, стеклянный сосуд солодового пива, ему опять показались все очень добродушными и очень хорошими. Но в толпе началось отчего-то смятение, потом все остановилось, и пешеходы, и всадники, и та толстая женщина стояла с велосипедом у дерева, а вся ее семья собралась кучкой. Вдали раздавались крики, все приближаясь, пока, наконец, ясно можно было различить слово «hoch», и Отто, в восторге схватив Алпатова за руку, вскричал:

— Император, я вам говорил, покажу императора.

И показался Вильгельм. Алпатов сразу узнал его по усам, вздернутым вверх. С ним в экипаже сидел генерал. Вокруг все кричали «hoch», и многие бросали вверх фуражки. А когда коляска поравнялась, Отто и Август тоже сняли фуражки.

Мина и Эльза закричали «hoch».

Император проехал, и все снова двинулось вперед в прежнем порядке. Отто обернулся к Алпатову, радостный, и сказал:

— Ну вот, я вам обещал и показал, только, извините меня, если в другой раз вам придется встретиться с императором, надо кланяться.

— Вот еще, — ответил Алпатов, — почему же я должен кланяться вашему императору, если я и своему царю бы не поклонился.

— Потому, — ответил Отто, — что я поклонился, и вы идете со мной как знакомый. Ведь если вы поклонитесь своему знакомому, должен и я поклониться. Такой обычай у нас.

— Но разве император достоин поклона социал-демократа?

Отто смешался и добродушно задумался.

— Август Бебель, например, — продолжал Алпатов, — он бы, наверно, не стал кланяться и кричать императору «hoch».

— Бебель — вождь, — сказал задумчиво Отто, — ему ведь это можно и нужно, я же человек обыкновенный, нечего скрывать от себя, вы сами видели, у нас в народе любят императора, все кланяются, все кричат, зачем же я буду отставать от всех, разве этим возьмешь?

И Алпатову показалась в искреннем голосе Отто какая-то правда, маленькая, коротенькая, местная правда, но из-за которой никак нельзя, и неприлично, и глупо ставить ежом большую правду: все равно же и Бебель не стал говорить о мировой катастрофе, когда цифры доказывали маленькую правду невозможности даже простой забастовки. И эта коротенькая необходимая правда ему опять показалась свойством доброго немецкого пива, каким-то непостижимо простым и необходимо смиренным законом, почти вроде «хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Праздник стрелков раскинулся по склону холма у озера. Тут всего было много: палатки, ларьки, музыка, столики, карусели, и в тирах слышались частые выстрелы и разные звуки в ответ попаданиям. Сразу же нашлись у Отто какие-

то знакомые, потащили всех к своему столу, и там за столом нашлось еще много других знакомых и незнакомых с пивом, сигарами, некоторые женщины дремали, отдыхая головой на плечах мужей, но все подняли головы, когда узнали, что среди них сел русский.

Алпатову теперь больше не нужно было думать о пиве, что кому-то надо платить, спорить о плате, как в той маленькой кнейпе: пиво само появляется, как только он кончает зейдель, сигарами все угощают, ведь он человек лесов и диких зверей, он явился из страны всяких чудес и сказок. Он теперь хорошо понял, что нужно этим добродушным людям, и рассказывает им о медведях самые удивительные вещи, — как ходят они на овес и их стерегут на деревьях крестьяне, а то и прямо сажают их на рогатину. Удивляются, что до сих пор бьют рогатиной, думают, что в России не умеют стрелять. Но Алпатов уверяет, что русские отлично стреляют, и хочет доказать это. Тогда все с большим удовольствием ведут его к тире. Там множество фигур зверей и людей, звери рычат, люди машут руками, как только пуля попадает в определенную точку. Только в маленький шарик, пляшущий на струе фонтана, никто не может попасть. Алпатову дают ружье, и он, конечно, стреляет в пляшущий шарик. Случайно его пуля разбивает вдребезги шарик, но шарик опять появляется на струе фонтана, и его Алпатов должен три раза разбить: а то, может быть, правда, он случайно попал. Алпатов, однако, хорошо заметил, что курок он спустил, когда шарик был на самом верху и мушка была под шариком. Он стреляет, как в первом случае, и шарик опять разлетается вдребезги, и когда наконец пуля и в третий раз попадает, Алпатову дают жетон стрелкового общества, и в толпе слышатся замечания: наверно, это переодетый русский унтер-офицер.

— Почему же не офицер? — спрашивает Алпатов. Ему отвечают:

— Офицеры ведь только умеют учить, а попадают лучше всех простые солдаты, и за то их делают унтер-офицерами.

Напрасно хочет объяснить Алпатов, что он студент, а не военный, никто не верит, потому что унтер-офицер почему-то кажется им лучше студента, и им всем так хочется ему сделать хорошее. Теперь с торжеством его ведут к какому-то огромному столу, и тут он пьет без счета, без меры. Был последний вопрос:

— Много ли вы в своей жизни застрелили медведей?

Алпатов на это ответил почему-то:

— Сорок.

Потом все оборвалось между звездами, и он медленно стал опускаться на парашюте в темную бездну.

ЯЙЦО БЕЗ СОЛИ

Отто давно работал на заводе, когда коротенькая правда немецкого пива явилась в сознании Алпатова в сокровенном своем значении, как самый тяжкий грех. Но, с другой стороны, грехом оказывалась и эта большая правда русского интеллигента; так повертывалось, что это именно самый большой грех человека — перескакивать через коротенькую правду маленького человека и вырабатывать законы великой правды, не считаясь с простым существованием. Но, как и в сновидениях, суть бывает не в узорных фабулах, которые так легко пересказать, а в непередаваемой боли и сладости, сопровождающих все явления сновидений, так и тут всякая мысль о большой и коротенькой правде сопровождалась чувством личной ответственности. Такое тяжкое состояние духа в Германии называется *катценяммером* и у рабочих людей бывает в понедельник, и день этот у них называется *синим*. Страдают от катценяммера, конечно, все, но больше, конечно, те, у кого больше зарождается при этом всяких вопросов: всякая надежда во время катценяммера, зарождаясь, тут же и погибает в роковом конце, всякое желание, всякая мысль, быстро повертываясь, сопровождается чувством греха и смерти. Алпатов схватился было за самое последнее и, казалось ему, за самое независимое и бескорыстное желание увидеться с своей тюремной невестой, и в тот самый момент, как только он подумал об этом, голос рока ответил ему: «Не видать тебе ее, как ушей своих». И после того показался ему друг его Ефим — с глазами страдающего Белинского, с улыбкой от сатир Щедрина, и Алпатов прочел в этих глазах упрек за коротенькую немецкую правду, и в улыбке — полное уничтожение блажной и недостойной революционера мечты о невесте с закрытым лицом и музыкальным голосом. Суровый голос рока почти по-человечески вслух в этой же комнате, как-то из стены, Ефимовым голосом проговорил еще раз:

— Не видать тебе ее, как ушей своих.

И Алпатов быстро вскочил.

Не умываясь, не одеваясь, он подходит к столу и начинает откровенное письмо к Ефиму:

«Дорогой Ефим, я живу у рабочего социал-демократа, вчера своими глазами видел Августа Бебеля...»

Написав эту фразу, Алпатов останавливается, пораженный одновременно и правдой и ложью даже этой коротенькой фразы: это совершенная правда, он живет у настоящего социал-демократа, он видел действительно вчера живого Августа Бебеля, и в то же время эта коротенькая правда действительности не соответствует правде первообраза рабочего-революционера и Бебеля — вождя мировой катастрофы. И самое ужасное, что маленькая виденная им правда совсем не колеблет первообразов рабочего движения и мировой катастрофы: все будет совершенно так, как сложилось в России, капитал очутится в руках немногих лиц и будет взят сознательной массой рабочих. Коротенькая правда не колеблет большую правду, а только себя самого, Алпатова, как участника мировой катастрофы: вот что самое ужасное! Потому Алпатов и не пишет, а кусает, сплющивая деревянный кончик пера. Снова катценяммер заключает свое роковое звено, и Алпатов обвиняет себя в самом презренном, что он когда-то с таким гневом бросал народникам: коротенькая правда оказывается просто мещанством, идеологией мелкого буржуа...

Вдруг позвонили в передней, постучали, и затем в двери показалась рука Мины с письмом. Алпатов взял открытку и прочитал ответ адресного стола: «Русская фрейлейн Инна Ростовцева живет на Фридрихштрассе, номер 14, в квартире номер 12, у пасторши Вейсс».

Вмиг исчезли все наваждения катценяммера, и обыкновенное бытие, заключенное в точном адресе, является Алпатову таким же священным чудом, волшебством, счастьем и силой, как горсточка золота, полученная голодным поэтом, который не знал, что поэма его гениальная...

Он быстро одевается, не забыв приколоть красивый жетон стрелкового общества, и выходит к Мине поскорее напиться кофею.

— Вы очень бледный, — сказала ему, улыбаясь, Мина, — я вам приготовила сегодня черный кофе с лимоном, это очень помогает от катценяммера.

— Есть болезнь, — ответил Алпатов, — против которой не помогает черный кофе с лимоном.

— Какая же это болезнь?

Никому бы в России даже в шутку Алпатов не сказал бы это слово не только по-русски, но и по-французски, слово это казалось ему достаточно пошлым, чтобы шутить, но по-немецки, но Мине болезнь свою он решился назвать и ответил:

— Любовь.

— Ну, какая же любовь, когда вы еще и не осмотрелись в Берлине.

— Моя невеста, — ответил Алпатов, — из России, она здесь и будет учиться вместе со мной.

— Учиться с невестой! — воскликнула Мина. — Значит, у вас в России с невестами учатся? Почему же вы вчера нам все это не рассказали, всем бы это было очень интересно узнать.

И Мина стала спокойно расспрашивать о родителях невесты, о средствах, и сколько времени продолжается их роман. Будь это вчера, конечно, Алпатов не стал бы об этом разговаривать с Миной, но с точным адресом невесты в кармане ему было очень приятно разговаривать и представлять себе, что у него, как у всех. Он рассказал Мине, что родители его невесты очень богатые и знатные люди, что она их единственная дочь, и воспитывалась в Смольном, и кончила там с шифром. А Смольный создан императрицей Екатериной Великой для воспитания образцовых матерей. Конечно, образование в Смольном вполне достаточно для женщин, но в России модно заграничное образование и дает высшее положение в обществе.

Мина прониклась большим уважением к словам Алпатова и сказала:

— Да, если так, то все это очень и очень даже хорошо. Вы, вероятно, давно знакомы с невестой, и очень может быть, вместе росли.

С точным адресом невесты в кармане Алпатов осмелился немного приблизиться к правде и ответил Мине:

— Я невесту свою видел только раз в жизни, в тюрьме через две решетки, и лицо у нее было закрыто густой зеленой вуалью. Я помню только голос ее, очень музыкальный, и по этому голосу должен отыскать ее в Берлине.

Мина, бегая по хозяйству в комнате, была похожа на птицу в клетке, но от слов Алпатова остановилась и покатила со смеху: она поняла, что и весь рассказ его о невесте — выдумка, и он так ловко ее обманул.

— Но почему же, — спросил Алпатов, — это невозмож-

но, ведь вы тоже любите Отто не за усы и бороду, вы полюбили его душу, и о душе его сказал вам его голос; вспомните его первый шепот, первые слова. Вы не забыли еще, это было в прошлом году: у вас любовь тоже сразу явилась, любовь всегда является сразу, как стрела.

Миша покраснела. Она совершенно согласна, любят, конечно, за душу, но как же это: все-таки усы должны быть у мужчины.

И шаловливо сказала немецкую поговорку:

— Поцелуй без усов — все равно, что яйцо без соли.

ПРАВДА НЕМЕЦКОГО ПИВА

Алпатов подъехал к дому номер 14 на Фридрихштрассе, устроил свой велосипед у швейцара и добрался было по лестнице почти до самой квартиры пасторши Вейсс, но в последний момент ему пришло в голову, что визит его ранним утром покажется очень странным и что так не делают люди: надо явиться позднее. А в университете теперь как раз должна происходить имматрикуляция новых студентов, и, наверно, если только Инна будет учиться в Берлине, он встретится с ней, и все выйдет как бы случайно. Все это было очень разумно, и Алпатов скрыл от себя, что просто сробел.

В университете Алпатов долго мучил канцеляристов справками, на какой факультет записалась Инна Ростовцева, но везде, на всех факультетах, имени этой русской не оказалось. Во время этих справок с Алпатовым разговаривал молодой студент из Саксонии, Адольф Мейер, и с интересом стал расспрашивать его о России.

— Мои родители очень бедные люди, — откровенно объяснил он Алпатову, — и я подумываю по окончании курса выкинуть какую-нибудь штуку, вроде как вы это делаете.

— Какую же штуку? — спросил Алпатов.

— Вроде того, чтобы поехать в Россию и оттуда вернуться богатым человеком на родину.

— Это можно, — сказал Алпатов.

Мейер очень обрадовался и предложил Алпатову вместе где-нибудь в столовой позавтракать и выпить кружку пива.

— У меня и так от вчерашнего страшный катценяммер, — отнекивался Алпатов.

Но Мейер уверил его, что кружка пива совершенно

вылечивает от катценяммера и что именно для этого и создан синий понедельник. Алпатову и самому захотелось полечиться и, главное, поскорее как-нибудь провести время до приличного часа визита в квартиру пасторши Вейсс.

Студенты вышли на улицу и спустились в одно из бесчисленных берлинских пивных подземелий.

— Вы будете изучать философию? — спросил Мейер.

— Философию, — ответил Алпатов, — а вы?

— Я тоже философию.

Студенты чокнулись за философию с обыкновенными словами «*прозит*» и «*мойн*».

Мейер свою Саксонию очень любит, в Берлин он приехал только на один семестр, побродить, как делают многие студенты. А учиться, конечно, спокойней, дешевле и лучше в Саксонии. Там, в Йене, теперь читает Геккель, в Лейпциге — Оствальд и Вундт.

Чокнулись за Саксонию.

— А в России, — сказал Мейер, — наверно, хорошо служить — оттуда можно вернуться богатым человеком.

— Не знаю, — ответил Алпатов, — немцы от нас редко возвращаются: мы, русские, почему-то часто бежим из России, а немцы живут, им там хорошо.

После того Мейер предложил тост за Россию и стал усиленно звать Алпатова учиться в Лейпциг: там читает политическую экономию знаменитый Бюхер. Но Мейер не знал, чем именно Бюхер так прославился, и Алпатов стал ему рассказывать о замечательной работе Бюхера «*Работа и ритм*». Алпатов рассказывал о сочетании труда и музыки не прямо по Бюхеру, а как идея Бюхера в этот момент в ожидании свидания с Инной Ростовцевой преломилась в нем: ведь его упование на будущее счастье трудового человечества сходилось с музыкальным голосом тюремной невесты. Увлекаясь больше и больше, Алпатов делает смелый вывод из книги Бюхера: очень может быть, что и самый рост органической жизни на земле сопровождается тайной музыкой, поэты и композиторы, вероятно, и передают нам этот ритм, вот пример: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Мейер с изумлением слушает, — кажется, он таких интересных людей еще никогда не видал.

— Вы изучаете философию, — спрашивает он, — а по какой же специальности?

— Моя специальность, — отвечает Алпатов, — вероятно, и будет политическая экономия.

— А что вы с этим будете делать в России?

— Я социалист.

— А это имеет в России применение?

— Это везде необходимо знать: история человечества теперь кончается неслыханной катастрофой. Вы-то разве этого не чувствуете?

— Мои родители,— конфузливо ответил Мейер,— бедные люди.

— Вы находите же возможным для себя изучать философию: значит, имеете время думать?

— Я изучаю ее для педагогики, я буду этим заниматься.

— А педагогика вам для чего?

— На это спрос везде, учитель всегда может получить приличное место.

Алпатов не унимался:

— Для чего вам приличное место?

— Место для чего?— удивился Мейер.— А как же я без приличного места могу добиться приличной жены?

Алпатов откинулся к спинке своего стула и с негодованием отрезал:

— Как вам не стыдно всю свою духовную деятельность посвящать какой-то бабе, притом еще вам не известной, и с единственным атрибутом: «приличная»?

Мейер очень смутился.

— Но как же иначе-то быть,— сказал он,— родители мои небогатые и очень почтенные люди, мое высшее образование берет их последние достатки, в будущем я должен, во всяком случае, быть не ниже их по своему положению, и это возможно только... вы же сами это понимаете, наше положение в обществе определяется приличной женой, и ей нужны для этого деньги. Так живут у нас все трудящиеся люди; скажите, как же это решается у вас, социалистов?

— У нас это решается,— ответил Алпатов,— не индивидуально, а общественно. Семейный и половой вопрос — только часть общего социального вопроса, мы сначала изменим условия экономические, общественные, а потом будем и лично устраиваться по-новому в этих условиях.

— Но если так случится, что ваша природа мужчины потребует удовлетворения раньше, чем создадутся благоприятные для новой жизни общественные формы?

— То же и с вами может случиться,— у вас может явиться приличная невеста, а приличное для нее содержание вами еще не будет достигнуто. Скажите, как найдете вы в этом случае, а потом и я вам отвечу.

Мейер улыбнулся и сказал:

— Студенты обыкновенно у нас много танцуют в веселых кабачках с девушками, и обыкновенно это бывает портниха, а когда студент кончает курс, то женится на своей любимой невесте.

— Это двойная бухгалтерия, — ответил с негодованием Алпатов, — и такая гадость!

Мейер очень сконфузился и даже покраснел.

— Научите же меня, — стал он просить Алпатова совершенно искренно. — Я, право, не знаю, как же иначе быть? Вы лично, простите меня, разве еще совершенно не имеете в этом потребности?..

Алпатов сильно покраснел и смущенно стал смотреть в стакан с пивом. Мейер даже испугался и взял его за локоть.

— Ну, простите, простите меня, добрый камерад, за нескромность, уверяю же, я не вашим личным интересуюсь.

— Нет, отчего же, — поднял глаза Алпатов, — мне кажется, я люблю одну девушку... и это мне не мешает. Я даже в этом чувстве как будто вижу силу, не допускающую мысли о другой: вы назвали другую, кажется, портнихой?

— Не надо, не надо сердиться, — воскликнул Мейер, — все понимаю теперь — мы маленькие люди, наше чувство надвое: одно для портнихи, другое для невесты; у нас так делают все. Но вы большой человек, вы герой, я только у Шиллера это читал и думал — в жизни этого не бывает: вы хотите жить одним чувством. Вы сильный человек. Но как вы думаете, если произойдет мировая перемена, то и мы тоже будем, как большие сильные люди?

Алпатову стало подозрительно, не смеется ли над ним собеседник, и он испытующе поглядел на него: немец смотрел глазами чистого кролика. Тогда Алпатов стал говорить ему по всей правде:

— Вы очень ошибаетесь, считая меня за особенного и великого человека. Все наши русские исследователи народной жизни: Достоевский, Толстой, Тургенев и с ними вся наша интеллигенция, наши отцы, матери признают, что великое рождается в малом и незаметном, оно живет в массах, и великий человек выделяется только тем, что берет на себя от масс большое поручение. Вот что, а вы хотите составить мораль как будто отдельно, для больших и для малых.

— Вот именно, — ответил Мейер, — все великие люди во все времена заботились о малых и им давали добрые законы обыкновенной жизни, более легкие, чем для себя. Не будем спорить, мне теперь все ясно, вы идете по пути великих людей, но еще не успели приготовить законы жизни для маленьких.

Ничего не было в открытых, чистых глазах Мейера, кроме желания служить честно коротенькой правде, которая в России называется мещанством.

Но они расстанутся, конечно, друзьями, они, конечно, будут встречаться и, может быть, даже готовиться вместе к зачетам по общим предметам. На улице, провожая Мейера, Алпатов разглядел, что ноги у него от детского рахита были немного кривые, трудно было представить его танцующим с веселой портнихой, но в будущем виднелась отчетливо его прогулка в воскресный день по Тиргартену под руку с своей *анштендиге фрау*¹.

«Может ли кто-нибудь со стороны сказать о моем будущем?» — подумал Алпатов, садясь на велосипед.

И, сильно нажав на педали, помчался между экипажами к невесте.

Совершенный вздор мещанской жизни, услышанный им от Мейера, его удивление от рассказа о работе Бюхера сильно ободрили Алпатова. Невеста ему стала представляться реальной в сравнении с фантастической приличной женой, и потому он без робости поднялся по лестнице и уверенно позвонил в квартиру пасторши Вейсс.

На звонок скоро выходит девушка и отвечает, что русская фрейлейн уехала в Йену.

— Давно ли уехала? — спрашивает Алпатов.

— Всего час назад, — ответила девушка.

— Но, может быть, она скоро вернется в Берлин?

— Нет, — ответила горничная, — фрейлейн сказала, что совсем не вернется в Берлин.

— И адрес свой в Йене не оставила?

— Я спрошу сейчас фрау Вейсс.

Голос пасторши Вейсс раздался из невидимой комнаты:

— Ничего не оставила!

А из другой какой-то таинственной комнаты был и другой вещий голос:

— Не видать тебе невесты, как ушей своих.

¹ Немецкое *anständiger Frau* — приличная жена.

Далекий друг мой, не удержусь от соблазна передать вам кое-что из близкого, что сейчас окружает меня. Помните сынишку моего, о котором я говорил вам вначале, что сорок девушек выбрали его старостой: он теперь кончил свою школу и готовится в «вуз». Я прочитал ему эти письма к вам и просил его высказаться о романе Алпатова с Инной Ростовцевой и по возможности представить мне, как отнеслась бы новая молодежь к моему рассказу. Он ответил мне скоро, что лично его рассказ очень волнует, и верней всего потому, что он догадывается немного и о моей личной жизни, но современной молодежью такой рассказ не будет понят, они скажут: «Это не любовь, а только воображение». Долго мы спорили, он приводил мне множество примеров *реальной* любви в современности, и я каждый раз доказывал, что все его случаи тоже основываются на воображении, только в сторону, нежелательную для творчества на земле хорошего, сильного и умного человека. Но, сказав так, я испугался плена своих лет: ведь все отцы, часто в юности называющие себя материалистами и реалистами, в отношении своих детей потом становятся идеалистами. Итак, очень возможно, что и эти новые реалисты, чурающиеся *воображения* в любви, готовят для своих детей какой-то новый идеальный сюрприз. Отбросив в сторону дурные возможности в современности, я стал вместе с моим сыном искать тот хороший смысл его реализма, из которого потом каким-то образом получается «идеализм», и мы вместе с ним решили, что этот реализм есть настойчивое требование современной молодежью новых форм быта, согласного с новой необыкновенной эпохой.

— Но тогда, — сказал я сыну, — мы с тобой далеко не ушли друг от друга: у нас в этом тоже не было примера, и каждый решал эти вопросы по-своему.

— Почему же, — спросил меня сын, — эта Инна у тебя все как-то не дается Алпатову и убегает?

— Уверяю тебя, сын мой, — сказал я, — что чувствую себя в рассказе не больше как маленьким колесом, через которое перекинут ремень от огромного маховика; я ничего не выдумываю: Инна должна убегать от Алпатова.

Я сделал уступку сыну, принимая во внимание обыкновенную склонность молодежи к натуральным законам.

— Я представляю себе, — сказал я, — что творческая сила природы, ставшая личным делом отдельного человека, преобразуется, но не изменяет общим законам; Инна должна бежать от Алпатова потому же, как в клетке для спаривания животных самка долго бегают по кругам и не дается самцу. И в брачном полете птиц всегда она стремительно летит впереди от него, и он ее догоняет. Вся разница с нами состоит только в том, что у них не обращают никакого внимания на тех, кто погиб в непобедимом стремлении каждого, размножаясь, продолжать свое бытие: роман животных кончается браком. В человеческом же мире, я так понимаю, чувство жизни разнообразней и тоньше, чем у животных, свадьба у нас не единственный конец, напротив, любовный пробог человека по земле интересуется нас, как и его смертный пробог.

После этих слов мой сын глубоко задумался.

Друг мой, эта справка с современностью дает мне еще большую смелость отдаваться своему воображению, потому что я убедился, отцы не передали нашим детям готовых форм брака, матери в революцию променяли на хлеб приданое своих дочерей, и в этой пустоте быта мечты и сны Алпатова реальны и найдут своих толкователей.

Бывают повторные музыкальные сны, которые никогда уж больше не привидятся, если хоть раз попробовать их рассказать даже самому близкому или записать: в словах уходит сон навсегда от себя и больше не возвращается. Вот почему, наверно, так все боятся писать о самом близком и дорогом, почему, наверно, и так редки подлинные поэты. Но эти отпущенные на волю слова сами становятся как люди, часто вмешиваются в дела и переменяют отношения. Вот так и Мина совершенно иначе встретила Алпатова, после того как он намекнул ей о своей необыкновенной любви. Его слова о своем самом близком хотя и показались молодой женщине шуткой или поэтическим сном, но не прошли даром, и она с играющей улыбкой на своем лице почти дружески спросила его:

— Как у вас дела идут, господин Алпатов, нашли вы свою невесту?

Алпатов грустно ответил:

— Нет, добрая фрау Шварц, моя невеста сегодня уехала в Йену и даже адреса мне своего не оставила.

Мина всмотрелась в Алпатова и поняла, что невеста не выдумка. Она тоже серьезно и задушевно сказала:

— Не тужите, пожалуйста, не тужите, радуйтесь, что

ваша невеста уехала из этого военного каменного Берлина. Йена — моя родина, это чудесный маленький городок, и русскую фрейлейн вы там сразу найдете.

Потом она рассказала о какой-то *Зеленой Германии*. Там, в Тюрингенских горах, покрытых милыми лесами, всегда окутанными фиолетовой дымкой, расположились маленькие города, в которых живут садовники, эти города не враждуют с природой, и люди там очень добрые, совсем не такие, как в Пруссии.

Когда Мина сказала слова *Зеленая Германия*, Алпатову смутно что-то вспомнилось, но только этой ночью во сне он догадался, что это было: эта Зеленая Германия явилась ему как Зеленая Дверь, сон, повторявшийся, как ему казалось, тысячи раз. Зеленая Дверь всегда являлась ему в куще деревьев, обвитых хмелем, закрытых внизу высокой, непомятой травой. И он должен идти в эту дверь, не задевая ни одной травинки, не тревожа ни одного жучка...

Весь этот сон был музыкальный, мелодии всякий раз были те же, и такие отчетливые, что каждый раз тут же в конце являлось решение непременно их пропеть. Но каждый раз неизменно все попытки пропеть ему не удавались. Очень возможно, что те, кто утром, отправляясь на службу, иногда насвистывают какую-нибудь общеизвестную мелодию, заменяют этим свою небывалую. Но Алпатов при всей своей музыкальности был человек с неверным слухом, и, кроме того, собственная мелодия казалась ему такой прекрасной, что и в голову ему не приходила возможность отсвистать вместо нее что-то другое. Вместо этого ему хочется двигаться, что-то переменить, что-то начать. И так «пройти в Зеленую Дверь» превращается наяву в решение ехать в Зеленую Германию, и как можно скорее.

А Мина и не сомневалась нисколько в Алпатове: она с вечера уже решила, что жилец ее непременно утром поедет в Йену, кое-что испекла даже для фрау профессорши Ниппердай, у которой долго служила. Она уверяет Алпатова, что фрау Ниппердай непременно в тот же день, сегодня же, разыщет ему невесту: ведь она же и ей помогла выйти замуж за Отто.

В передней Мина, прощаясь с Алпатовым, настаивает:

— Нет, вы так забудете, вы запишите на бумажке: «*фрау Ниппердай*» — и завяжите на память себе узелок.

Алпатов завязал узелок и еще раз пожал руку доброй женщине. И, выйдя на улицу, он не забыл поглядеть

наверх, и угадал: Мина была у окна. А потом, на повороте, когда он в последний раз посмотрел, там во всех этажах на балконах хозяйки в белых передниках развешивали под действие солнца и ветра пуховики и ночное белье, из-под крыши махала ему Мина белым платком, а внизу щетками чистили, поливали асфальт, и всюду пахло водою и камнем.

РАХМАНЫЙ ЛЕСНИК

Сон о Зеленой Двери еще не совсем отлетел, когда Алпатов из окна вагона, набитого рабочим людом, женщинами с огромными корзинами, увидел покрытые фиолетовым лесом отроги Тюрингенских гор. В этих горных лесах было столько простого, к чему так легко привыкать, и такого заманчивого и похожего на сон о Зеленой Двери, что Алпатову захотелось обнять одного чистого старика из Саксонии, сидящего на корзине, и в этот самый момент наконец он отгадал значение одного немецкого слова, сказанного о саксонцах Миной при расставанье. Она своих земляков назвала *gemüthliche Sachsen*, и Алпатов весь день искал в русском языке подобного слова: добрые, простые, уютные — все было не то. Но когда ему захотелось обнять лесника, покрытого добродушными саксонскими морщинами, он вдруг догадался, что значит по-русски немецкое слово: саксонцы *рахманный* народ. Этот лесник рассказал Алпатову, что в Йене все хорошо, много садов и всяких плодов, и в лесу на каких-то хвойных кустах есть совсем маленькие синие ягоды, они очень рот освежают в жаркое время, и квас из них в Саксонии делают прекрасный. А когда лесник, в свою очередь, поинтересовался, зачем Алпатов едет в Йену, то было так легко и просто сказать ему о невесте и что он прямо из вагона отправится искать адресный стол.

— Не надо время терять, — сказал рахманный старик, — ваша невеста остановилась, наверно, у фрау профессорши Ниппердай.

— Ниппердай! — воскликнул Алпатов. — Но как же вы догадываетесь, что невеста моя у профессорши?

— Очень просто, — ответил лесник, — Йена небольшой город, иностранцы все останавливаются у фрау Ниппердай, у нее комнаты с окнами в горы. Я живу там недалеко от нее, нам по пути, я вас провожу, и вы непременно найдете невесту.

А вишни уже спели, и когда Алпатов с лесником очутились на дороге-аллее из фруктовых деревьев и некоторые спелые ягоды, висевшие над самой боковой тропинкой, стали заглядывать прямо в рот, то Алпатов с восторгом узнал в этом волшебные рассказы в детстве о европейских дорогах-аллеях. Одна спелая вишня была так велика, что Алпатов не удержался и погладил пальцем ее бархатную кожицу. А спутник, обремененный тяжелой корзиной, заметив это, сказал:

— Кушайте, кушайте!

— Боюсь, — ответил Алпатов, — я слышал, что никому нельзя трогать придорожные фрукты.

Старик до того удивился, что даже опустил на землю корзину и присел отдохнуть.

— Кто это вам наговорил, — сказал он, — мы не трогаем сами, потому что нам незачем: у нас почти у каждого есть свой сад. Но я вас очень, очень даже прошу: кушайте на здоровье. Ведь и саксонцы тоже бывают в России и, наверно, там тоже едят. У нас довольно всего такого, прошу вас, не стесняйтесь несколько и кушайте, сколько только вам хочется.

Были на пути еще аллеи из груш, яблонь, каштанов и слив. Оставалось уже немного до леса, и показался уже шпиль дачи профессорши Ниппердай, но лесник упросил Алпатова свернуть немного в лес с дороги полюбоваться замечательной тюрингенской ягодой.

Они прошли немного лесом до полянки с кустами, и тут лесник указал обыкновенные голубые ягоды можжевельника, которыми в России питаются тетерева. Алпатов хорошо знал их по запаху, но никогда не приходило ему в голову попробовать. Ягода оказалась сладковатой, и рот наполнился ароматом леса. Старик заметил, что Алпатову понравилось, и он сказал на прощанье:

— Кушайте, сколько только хотите, это очень рот освежает, а потом идите вот по этой тропинке, мне вот сюда надо, в эту сторону, а вам туда, к невесте, она живет там, вон там!

БЕЛАЯ ШАЛЬ

Очень хотелось Алпатову побыть одному среди высоких деревьев, слегка шумящих вершинами, но вечерело в лесу, и надо было искать ночлега. Он пошел по тропинке,

не думая, что усадьба профессорши находилась так близко. И как-то вдруг деревья расступились, и Алпатов очутился среди клумб против террасы, на которой ужинало много людей. Его оттуда заметили, и, видно, все стали с удивлением ожидать выходящего из леса. Но скоро он не мог подойти к террасе, потому что не было ни одной прямой дорожки, мало того, он попал в лабиринт, и пришлось даже вернуться назад. Все это очень смущало Алпатова, ни разу еще не бывшего за границей в образованном обществе. Лица на террасе долго не определялись, и только уж когда он был совсем близко, глянула на него властная старушка в сером платье. Алпатов снимает шляпу, приветствует фрау Ниппердай. Он — русский турист, ищет себе комнату для ночлега. Профессорша просто ответила:

— Я сама догадалась, что вы ищете пансиона, есть одна свободная комната, прошу вас к столу.

И Алпатов попадает в непрерывный поток небольших тарелок с копчеными рыбками, с маслом, с сыром, колбасами, с хлебом белым, сладким, черным, кислым и каким-то еще кисло-сладким. Каждая тарелочка приходит с любезным *пожалуйста*, и на это постоянный ответ *благодарю*, и самому надо проводить непременно с «пожалуйста» и себе остается «благодарю», и только взялся за вилку, является новая тарелочка, и ее опять надо вежливо встречать и провожать. По всему большому круглому столу не столько едят, сколько угощают, благодарят, и так бегут непрерывные *данке* и *битте*. Алпатов, однако, очень скоро определяется в этом потоке, ему вспомнилось, как по торжественным дням к его матери приходила старая дьяконница Евпраксия Михайловна с подрастающей дочкой Нюрой и сидела с ней рядом на стульях возле стены, а потом за столом обе сидели ни живы ни мертвы, приглядываясь к другим: как все, так и они. Алпатов смирился до дьяконницы, и в немецком обществе это как раз и надо было, чтобы показаться воспитанным молодым человеком из хорошего общества. Фрау Ниппердай, очень довольная, сказала:

— Как это счастливо вышло, только сегодня выехала от нас очаровательная русская девушка и уступила свою комнату милому земляку.

— Разрешите узнать ее имя? — спросил Алпатов.

— Имя ее, — ответила хозяйка, — фрейлейн Инна Ростовцева.

— Ах!

И когда потом улыбнулась хозяйка, и все улыбнулись, и Алпатов с недоумением поглядел, профессорша объяснила:

— Вы сказали свое «ах!» совершенно так же по-русски, как фрейлейн Инна, мы все учили ее выговаривать по-нашему, гортанно, и она никак не могла. Но почему же вы сказали при ее имени «ах!», разве вы ее знаете?

— Я с ней встречался в России.

— Она рассказывала нам много чудесного, как в России девушка иногда идет на свидание в тюрьму к не известному ей заключенному, будто его невеста, и что она тоже ходила, и у нее есть жених, с которым она виделась только раз через двойную решетку, и она ждет его теперь сюда. Это было очень похоже на роман Вальтера Скотта.

Алпатов успел овладеть собой и ответил:

— А мне кажутся такие романы скорее в духе Шехерезады, тысяча и одна ночь.

С этим все согласились, и один филолог даже пытался подтвердить это фактами влияния арабской культуры на славянскую в древности через торговые сношения в низовьях Волги. После ужина фрау Ниппердай сама ведет Алпатова показывать ему комнату, самую большую и светлую в ее пансионе. Заря еще не совсем погасла, в огромные окна виднелись холмы, покрытые лесом, и, увидев их, Алпатов решил спросить фрау профессоршу, куда же уехала фрейлейн Ростовцева?

— Вы, русские, удивительные люди,— ответила профессорша,— вы можете к поэтическим вымыслам, всяким художественным и музыкальным образам относиться так же, как мы к деловой действительности: фрейлейн Инна главным образом желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер, ее интересует история Веймарского герцога, по-видимому, гораздо больше, чем современного дома Гогенцоллернов или Романовых, а в заключение своей поездки она хочет повидать в Дрездене Рафаэлеву «Сикстинскую мадонну» и некоторые шедевры венецианцев.

Фрау Ниппердай хотела, кажется, еще что-то рассказать о дальнейших планах *счастливой* русской фрейлейн, но вдруг вскрикнула и всплеснула руками:

— Фрейлейн Инна забыла у нас свою прекрасную шаль!

— Не беспокойтесь,— ответил Алпатов,— в Дрездене-то я уж, наверно, увижу ее, а может быть, догоню еще

раньше и передам ей эту шаль непременно, будьте покойны.

— Так, значит, и вы тоже хотите ехать поэтическими следами нашей истории? Какие вы счастливые люди! — сказала профессорша.

И, пожелав новому жильцу покойной ночи, вышла из комнаты. Алпатов запер дверь на ключ и долго рассматривал старинную шелковую, белой гладью шитую, шаль.

СТУПЕНЧАТЫЙ СОН

Бывает, приснится желанное и совершенно невозможное в жизни и так страстно во сне прирастает к тебе, что, пробуждаясь, не сразу расстаешься с видением, а постепенно спускаешься к действительности, как по лесенке в холодную воду. Алпатову еще в раннем детстве, повторяясь потом не один раз, снилась березка с золотыми, гармонично звенящими листьями. Он подходит к певучей березке и на память берет себе несколько золотых листиков. После того он спускается на одну ступеньку и тоже видит во сне, будто пробудился, и оказывается, что в действительном мире не бывает берез с золотыми поющими листьями. Однако рука что-то нащупала в кармане, сердце забилося надеждой: вот пальцы уже определили предмет, и только страх перед новым обманом запрещает вырваться из груди ликующей радости. Вот в руке наконец сверкает золотой листок, и хочется стремительно бежать к людям, скорей, как можно скорей объявлять им существование чудес на земле, означающих в то же время почему-то спасение мира, полное избавление от Кашеевой цепи несчастных, заключенных и осужденных всюду в поте лица добывать себе хлеб и в болезнях рождать новых и предвечно проклятых людей. А после великой радости сон спускается еще на одну ступеньку, и все обнажается: в жизни не бывает певучих берез.

В эту ночь Алпатов видел новый ступенчатый сон. Рахманий саксонец будто бы показывает ему прикрытую кустом можжевельника тайную тропинку в лесу и говорит ему: «Идите, мой господин, туда, ваша невеста там, вон там». По этой тропе Алпатов идет недолго, показывается знакомая Зеленая Дверь, закрытая тончайшим сплетением трав, через которые надо пройти, не задев ни одной. И вот, оказывается, нет никакой трудности пройти между травами

и не согнуть ни одного цветка, не потревожить ни одного жучка; нужно только для этого отказаться от всякой *выгоды* для себя. Оказывается, оставлять выгоду сзади себя, по ту сторону Зеленой Двери, очень легко, и обыкновенный страх перед этим — великий обман. Выгодное — это значит мелкое, совершенно лишнее, а большое свободно проходит между травами, обнимая их, как воздух, не шевеля ни одного лепестка на цветках. А на той стороне все те же самые можжевельники, сосны, ели, тропинки, луговые цветы, и только одним она отличается от обыкновенного мира, что растет музыкально, все совершается музыкально, везде вокруг естественная музыка, которой с таким трудом подражают в обыкновенной жизни, проделывая смешные движения локтями и пальцами. Невеста приходит... Сон обрывается. Остается только слабое воспоминание о какой-то вещи, оставленной невестой у него на руке. Но из этого маленького воспоминания мало-помалу разгорается великая радость, потому что ведь не очень трудно жить и страдать, если знать по какой-то вещице о волшебном музыкальном мире, существующем в простых вещах. Вот она, белая шаль, он ее видит, она перешла в жизнь из музыки. Кажется, нет никакого сомнения, но все-таки лучше проверить и спуститься еще на одну ступеньку. Так он спускается все ниже и ниже, а шаль остается. Вот он уже ясно слышит голоса за стеной и в коридоре, узнает даже голос профессорши, понимает, что это на веранде кофе готовят...

В этот раз Алпатову так и не пришлось спуститься с последней ступеньки, и в жизни осталось, как во сне: в огромном окне сияли холмы Зеленой Германии, на голубом великом небе плавали спокойными кругами два коршуна, на некрашенной сосновой стене висела большая белая шаль...

ЗЕЛЕНАЯ ГЕРМАНИЯ

Алпатов не обратил никакого внимания на Германию военную, о которой с возмущением говорили все либеральные люди. Он смотрел в Берлине на жизнь по линии лучших возможностей, главой государства был ему Бебель, а не Вильгельм, господствующими классами не юнкерство и буржуазия, а только пролетариат. И когда он обернулся в прошлое страны, в провинцию, то на первый план у него выступил не Бисмарк, объединивший все провинции,

а веймарский герцог с поэтами Гёте и Шиллером. Волшебная шаль в баульчике, прикрепленном к рулю велосипеда, приглашала русского юношу дивиться земле Зеленой Германии, каждый аршин которой был любовно преобразен человеком.

И кто, кроме русского человека, задавленного невозделанной землей, мог бы так понимать по контрасту величие преобразующего труда человека не гениального, а самых обыкновенных людей, которых в России презрительно называют *обывателями*. Ведь там только врагам говорят *скатертью дорога*, призывая этим как бы чудесные силы для избавления от врага. Там врагу желают прекрасной дороги, только чтобы он поскорее убрался, а друг осужден всю жизнь тащиться по невылазной грязи. В Германии для всех дорога была скатертью по всей стране, и так было прекрасно катиться по ней на резиновых шинах, так чудесно было остановиться под тенистым деревом и оглянуться с восхищением на преобразенную землю. Алпатову казалось, будто библейское проклятие человека — осуждение на подневольный труд — относилось только к России и туда, в черноземный центр России, был низвергнут из рая первый Адам. Сколько слышится там жалоб человека, осужденного обрабатывать землю в поте лица, сколько там стонов женщины, рождающей в муках детей, иногда прямо в полях или на поскотине. Казалось, самому богу наскучили жалобы, и он создал второго Адама, но русская глина не могла дать лучшего, и новый Адам опять согрешил и опять был низвергнут на землю, которая была уже вся занята первым Адамом. Тогда, на удивление миру, в стране бесконечных степей и лесов появился новый человек, безземельный русский крестьянин, возмущенный на бога: осудил обрабатывать землю, а землей обошел...

Алпатов когда-то воспитал еще в себе теоретическое презрение к жизни немецких фермеров и крестьян. Так выходило, что это — самая косная часть населения, закоренелое мещанство.

Что-то мелькало Алпатову теперь еще не совсем ясное, над чем потом, он знал, придется много-много подумать. Волшебная шаль преобразила предметы, и мещанская страна превратилась в прощеную землю, Зеленую Германию. Казалось, вдали везде синели леса, но когда к ним приближался, то все оказывалось рощами, саженными рукой человека. Везде были рощи между полями, но в этих саженных лесах птиц пело гораздо

больше, чем в огромных диких русских лесах, и время от времени через лесные поляны перебегали настоящие дикие козы.

Мало-помалу все перекинулось и на себя самого: раз он теперь в прощенной стране, то и он может принять участие в ее радостях, пусть временно, пусть как гость, но хоть временно, а все дай сюда, и потому долой все прежнее: худа от этого нет никому.

Кажется, мечты романтиков до сих пор остались фиолетовой дымкой над лесными Тюрингенскими горами. Белая дорога, как волшебная шаль убегающей невесты, вьется между горами. Русский юноша пьет холодную воду из ключа, возле которого шли пилигримы и своим пением напоминали Тангейзеру его рыцарский долг. Вот и зала на Вартбурге, где состязались певцы и Вольфрам пел о вечерней звезде. Алпатов добился своего, ему здесь сказали: невеста его здесь была. А в Веймарском парке он бродит по тем же аллеям, где Гёте бродил, и читает по-немецки вслух его «Ифигению». Новый смысл открывается ему в знаменитой трагедии на месте ее происхождения. Ифигения была в своем роду проклята, но своей волей, разумом, милосердием разбила Кашееву цепь.

Из Веймарского парка можно по тропинке спуститься в крестьянский трактир и за кружкой пива читать весь день том натурфилософии Гёте, купленный в лавочке за несколько пфеннигов. Алпатов поглядывает, читая, время от времени на фиолетовую дымку германских лесов, и ему кажется, что такого ничего не бывает в России. Большое облако подплывает к горе; в тот момент, когда встречается с горой, вдруг является весь смысл прочитанной книги. Впрочем, он знал, конечно, это и раньше, да не смел выразить, а вот в книге нашел подтверждение: эта книга была о внутренних чувствах жизни. Ведь с чем было большее всего расстаться — это с чудесами, когда явился на это запрет, как на обман: что мир в шесть дней сотворен, что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла, что жезл Аарона расцвел. Но вот теперь, если признать законы естественные, как необходимые берега, то внутри берега течет река чудес, и сотворение мира в законах эволюции не лишается прелести чуда, и, конечно, тоже можно понять и воду Моисея, и цвет Аарона, и так все: только перенести чудо внутрь закона, и чудо начинает свою собственную жизнь, и музыкальная сказка обращается в самый глубокий закон жизни.

Алпатову казалось, что он нашел у Гёте себе целый новый мир, и никак не приходило ему в голову, что и самого Гёте ему открыла волшебная шаль, заключенная в баульчике, привязанном к велосипеду, и в то же время раскинутая необыкновенно ровной, как скатерть, дорогой.

Волшебная шаль, соединенная с натурфилософией Гёте, обещает Алпатову чудеса не только в этих тенистых аллеях, а и в самом черном труде. Почему бы ему вот прямо не подойти к этому великану с синими помочами поверх белой рубашки и не расспросить его о творчестве чудес Зеленой Германии? Великан-садовник что-то делает с большой кучей навоза. Алпатов сходит с велосипеда, кланяется. Великан ждет.

— Я иностранец,— говорит Алпатов,— я очень интересуюсь, как в Германии обходятся с навозом.

— Ах, это очень интересно,— говорит великан.

Садовник вполне понимает интерес Алпатова, и это понимание кажется русскому юноше совершенным доказательством, что внутри законов природы живут сказки и чудеса.

А великан с большой охотой и радостной гордостью рассказывает о своем простом деле: из этой большой кучи навоза ночью стекает жидкость в бетонную канавку — это драгоценная жидкость. Каждое утро жидкость надо вернуть навозу, и она потом снова стекает в канавку и опять возвращается.

— Это золото прошлого,— сказал великан,— и мы его охраняем: от нашего ухода навозу бывает очень хорошо.

Алпатов схватился за эти слова: он по-немецки еще не может просто понимать слова, и часто они у него одушевляются, как в раннем детстве свои родные слова, ставшие только долго спустя в привычке обыкновенными.

— Вы сказали,— спросил он,— навозу бывает хорошо от вашего ухода, как будто навоз может чувствовать? Великан улыбнулся иностранцу.

— О, конечно, навоз может чувствовать! — И, немного подумав, прибавил: — Сначала навозу бывает хорошо, а потом и человеку, потому что это известно, если хорошо навозу, то и хозяину потом бывает хорошо.

Вот и все, что Алпатов узнал от садовника, но ему и в этом было немало. Теперь, на что только он ни глянет, ничто от него не отвертывается и не упрекает, как на родине. Прекрасная, совершенно белая дорога по зеленым полям, ровные канавки возле дороги, плоды на деревьях,

свисающие до самого рта, красивые коровы, среди которых ходит и египетский Апис, рабочие кони-великаны с огромными телегами, перелески с поющими птицами, белые двухэтажные дома в деревнях и, главное, сама земля, возделанная, удобренная, с верхним бархатным слоем, — все говорит по-своему:

— Мне хорошо, и потому хорошо человеку.

«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

По всей Зеленой Германии везде в отелях от служащих девушек, в ресторанах от кельнеров, и от проводников по горам, и от старика в домике Шиллера Алпатов узнает о русской девушке, прекрасной, веселой и щедрой. Были ответы на его вопросы «когда проехала?» сначала «позавчера», потом, когда он весь день просидел над книгами Гёте и отстал, ему ответили «третьего дня», и опять он нагнал, и на горе Венеры барышня, торгующая открытками, сказала: «Русская фрейлейн проехала позавчера, накупила множество открыток, долго писала в беседке и поручила отправить на почту». После того Алпатов почти не сходил с велосипеда, и на Эльбе ему сказали на пристани: «Русская фрейлейн вчера проехала в Дрезден, и ее сопровождал молодой швед».

— Как швед? — удивился Алпатов.

А сам смотрит на дорожку, усыпанную желтым песком, туда далеко, где на скамейке под каштанами, кажется ему, молодой швед целует какую-то барышню.

— Это не она! — сказал Алпатов.

— Вы можете точно узнать в отеле, — ответили на пристани. — Там все иностранцы расписываются в книге.

Долго роется Алпатов в книге, но не может найти желанного имени. Его уверяют, что русская фрейлейн вчера здесь обедала.

— Одна? — спросил Алпатов.

— Совершенно одна.

Алпатов очень обрадовался и подумал: «Ну, теперь уж я, конечно, найду ее, если только она заглянет в музей посмотреть «Сикстинскую мадонну».

День ли удался такой в природе яркий, или у людей был какой-то праздник, или этот праздничный город, как вечнозеленое растение, был сам по себе предназначен для

вечного праздника? Алпатов, входя в Цвингер, среди множества людей в богатых одеждах вдруг вспомнил одну, забытую им, прочитанную в раннем детстве сказку-поэму о юноше Нолли и какой-то девушке, разбившейся о скалу в радостном порыве жизни. Юноша несет на руках хоронить любимую девушку, а везде в воздухе пролетают весенние духи радости и зовут принять участие в великом празднике, и никто даже не понимает его земную скорбь. Кто был автор этой волнующей сказки, Алпатов не помнил, как иной и великий художник не помнит, что все его искусство произошло от волнения, испытанного им при нечаянном взгляде на какой-то лубок, как не помнит поэт и писатель свое начало от нескольких слов, схваченных в бульварном романе, и композитор от шарманки, и великий человек от проникновенных слов, услышанных им в детстве от неграмотной нянюшки...

Весь огромный музей предстал Алпатову как воспоминание сказки, и чудом казалось, что ту же самую сказку переживали все художники с далеких времен. И он шел из одной залы в другую очарованный и как бы пьяный от постоянных рассказов в красках и линиях одной и той же своей собственной сказки. Он не обращал никакого внимания на множество празднично разодетых людей, среди которых, может быть, бродила где-нибудь, рассматривая тех же голландцев и венецианцев, его невеста. Если же случалось ему оторваться от картины и бросить взгляд на живое лицо, то в свете живописи лицо это определялось какой-нибудь школой, встречались лица фламандской школы, голландской, венецианской. Рубенс, Ван-Дейк, Тициан распределялись в живой толпе на лицах людей, как на стенах. Но зачем было собирать в толпе пятна отраженного творчества, если на стенах висели оригиналы великих творений? И потому не было ничего странного в том, что юноша узнавал свою невесту по какой-то детской сказке в картинах великих мастеров и совершенно забыл, что она, живая, бродит где-нибудь тут, возле него. И когда он нечаянно вошел в комнату, назначенную одной только «Сикстинской мадонне», то сразу узнал в ней что-то очень знакомое и совершенно простое и прекрасное. Подумав немного, он вспомнил: это было в жаркий день на опушке дубового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под деревом, взяла ребенка, стала кормить и осталась в памяти святая, как и мадонна Сикстинская...

Такое простое *внутреннее* чудо, такое обычное, ежедневное, почему-то выходило на картине бесконечно значительным, и вся картина была большая, как океан. Похоже было с Алпатовым, как если бы странник, долго, мучительно путаясь в тропинках по тундре, совершенно усталый выбрался на последнюю скалу берега и вдруг увидал океан.

Алпатов не заметил в первое время, что по стенам этой комнаты были красные диваны и что на них сидели люди, смотрели на картину-океан. Некоторые из этих людей уходили домой после звонка только затем, чтобы переночевать и потом на другой день опять глядеть в простое и бесконечное. Алпатов это заметил вдруг, и ему стало очень стыдно ходить по комнате и невольно попадать между картиной и чьим-то глазом. Он высмотрел себе свободное место и, опять рассматривая мадонну, стал вспоминать святую жнею, чудесную бабу под Ельцом, у колыбели под дубом. Так в этот день странным образом сходилась все к одному: в Ифигении открывался человек, победивший проклятие свое, а картина Рафаэля раскрывала естественную невинность людей...

Потом в комнату вошел какой-то человек и остановился перед картиной так же, как и Алпатов, не замечая, что должен мешать сидящим на диванах. Но Алпатов не посмотрел на вошедшего и только с досадой чувствовал его близость. Скоро он привык к этой тени в глазу, но тень перешла и о себе напомнила. Она странствовала из стороны в сторону и раздражала все больше и больше. Некоторые стали с досадой оглядываться на тень, и кто посмотрел на нее, почему-то уже долго потом не возвращался к картине. Алпатов, заражаемый всеми, тоже поглядел на человека, бросающего в глаза тень, и, как только глянул, тоже забыл о картине: странствующий по комнате человек был его друг Ефим Несговоров. В первый момент Алпатов подумал, что сходит с ума, — до того невероятным было ему встретить Ефима у «Сикстинской мадонны». Казалось, века прошли с тех пор, как он в тюрьме целые ночи перестукивался с Ефимом, и за эти века так сложилось по-новому, что Ефим вдали где-то в России представлялся самым дорогим на свете существом, а вблизи было почему-то за него стыдно и даже не хотелось бы совсем тут его встречать... А когда Алпатов через какое-нибудь мгновение убедился окончательно, что это Ефим, то ему мелькнула даже мысль незаметно удрать из музея, но он тут же себя на этом

поймал и перемог силу беспричинного отталкивания. Ефим был такой же, как в России, в черной косоворотке, опоясанной тоненьким ремешком, в яловочных, не имеющих блеска смазных сапогах, с лицом святого разумника, с улыбкой, от глаз без помощи щек переходящей на губы. Мелькнуло Алпатову при виде Ефима что-то задорное в себе, такое новое, за что он, может быть, еще и постоит и даже вызовет Ефима на бой... Вот Ефим был в Цвингере такой же, как и в Ельце, а у него в одной петличке цветок, в другой жетон стрелкового общества, и там, в баульчике, волшебная шаль, и в голове постоянный образ невесты, переменчиво мелькающий в картинах великих художников. Ефим, очень может быть, в это время и творение Рафаэля старался подогнать в цепь причин и следствий монистического взгляда на историю... Все это мелькнуло в одно мгновение как неприятное ощущение чего-то слишком домашнего, но в следующее мгновение он смахнул с себя это и встал, чтобы радостно броситься к другу. Но раньше Алпатова к Ефиму подошел наблюдатель и попросил его оставить музей.

— Вы можете, — сказал он, — дома переодеться и вернуться: времени у вас еще довольно.

Ефим улыбнулся по-своему.

— В каком же костюме, — спросил он, — надо появиться у вас в музее?

— В каком угодно, — ответил наблюдатель, — такое постановление администрации: каждый посетитель должен быть прилично одет.

В это время подошел Алпатов и, обнимая Ефима, сказал:

— Все дело, Ефим, в крахмальном воротничке, пойдем купим, ты еще не привык к этому.

Потом они вышли на лестницу, и, спускаясь, Ефим осмотрел Алпатова и сказал:

— Зато как скоро ты привык, совсем неузнаваемый.

Алпатов покраснел, Ефим это заметил и улыбнулся.

— А впрочем, — сказал он, — по существу, ты все такой же, у тебя все на лице написано.

— Ты знаешь, — болтал Алпатов, чувствуя, как все больше и больше деревенеет язык, — в Германии все так дешево.

— Знаю, — ответил Ефим.

— Тут, — продолжал Алпатов, — все так устроено, что и рабочий может нарядиться.

— Едва ли, — промолвил Ефим.

— Как едва ли? Есть крахмальный воротничок за две марки, но есть и за пять пфеннигов; тоже блестящий белый воротничок, конечно, бумажный, но...

— Все-таки бумажный...

После того Алпатов не знал, что сказать, и шел, как привязанный на цепь, убежал бы охотно, да не мог: Ефим молчал и держал. И так они перешли Эльбу. А потом Ефим совершенно спокойно, очень возможно и не чувствуя неловкости Алпатова, спросил:

— Ты зачем здесь?

Но Алпатов не мог так оставаться и вызвал своего старого друга, он сказал, что в России считал самым отратительным для революционера:

— Я занимаюсь эстетикой.

— Эс-те-ти-кой, — повторил раздельно Ефим.

И засмеялся по-своему раздельно глазами и губами. Алпатов любил, когда Ефим так смеялся над кем-то, но первый раз с отвращением и ненавистью узнал на себе силу этой улыбки без помощи щек.

— Как же это ты так занимаешься эс-те-ти-кой? — спросил Ефим.

Алпатов ответил:

— Я сегодня видел... — Он хотел сказать — «Сикстинскую мадонну», но злость прилила к его сердцу, и он выговорил: — Я видел мать божию...

Ефим стал очень серьезным и ничего не сказал.

Они прошли немного по бульвару молча. Потом Алпатов спросил:

— А ты учиться приехал?

— Да, между прочим и учиться медицине в Берлине.

— Зачем же ты в Дрезден попал?

— По одному делу.

— А я видел, как ты мадонну рассматривал: мне казалось, ты искал под этой необыкновенной идеологической надстройкой экономический базис.

— Нет, я не об этом думал, — ответил Ефим серьезно и почти грустно, — в тюрьме я пережил охоту к этой нашей юношеской схоластике, я думал о другом. — Он остановился в проходе бульвара и сказал: — Я живу в этой маленькой гостинице, там во дворе есть сад, давай пообедаем. Я тебе там скажу, о чем я думал.

Алпатову стало легче, и, когда кельнер принес, не спрашивая согласия, пива, ему захотелось снова болтать,

и он стал объяснять Ефиму значение немецкого выражения Bierzwang — это значит принудительное пиво, хочешь не хочешь, а пей. Выдумывая, Алпатов стал рассказывать историю происхождения этого принуждения, оно будто бы явилось из Пруссии как сопутствующее явление объединения Германии и централизации власти.

Ефим перебил болтовню:

— Ты что-то вертишься и как-то задираешь, мне вспоминается жених из «Дыма» Тургенева, как он тоже вертелся, когда влюбился в Ирину, и вдруг к нему явилась прежняя невеста и теща. В чем дело? Что с тобой произошло? Почему ты разоделся, сидишь среди буржуазии и смотришь на мадонну, как сыч?

Алпатов весь сжался для борьбы и ответил:

— Сознайся, Ефим, ты ведь тоже пришел посмотреть на мадонну, и ты по-своему смотрел с большим любопытством, и если бы не твой костюм, то имел бы время заметить, как ты мешал другим, и тебе непременно пришлось бы сесть на красный диван, и ты бы тоже смотрел на мадонну. Тебя тоже, как и всех, тянет к себе мадонна.

— Меня тянет, — ответил Ефим, — я тебе сейчас постараюсь сказать обещанное: меня тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов, на которых сидят созерцатели мадонны, дожидаться звонка и перелезть там время, пока уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить.

Алпатов опустил глаза и, бледный, тихо сказал:

— Я мог бы за это убить.

Ефим стал в упор смотреть на Алпатова и спросил:

— А можешь?

— Я могу постоять за свое, — ответил Алпатов. — Помнишь, у нас, в Задонске, мы не раз с тобой говорили об этом; рыжий мужик захотел по примеру Христа вознестись с колокольни на небо, бросился и разбил себе ноги. Он погиб бесславной смертью, но я предпочел бы бесславие рыжего мужика, чем бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы.

— Ты вспомнил рыжего мужика, — ответил Ефим, — вспомни же основного безумца, который сказал: «Разрушьте храм сей, и я его в три дня снова создам», — ты как понимаешь эти слова?

— Понимаю просто: Христос о себе говорил, что идея его бессмертна, и если его убьют, она будет исполняться в другом.

— Тогда почему же ты боишься за мадонну, что готовишься за нее убить живого человека? Если ты уверен, что в ней заключается великая идея, то она непременно возродится в том классе, где станет рабочей ценностью жизни, а не предметом созерцания расслабленных людей на диванах. Мне кажется даже, что человек, выпивший яд красоты женщины из картины, не узнает ее, когда встретит живую мадонну.

— Я узнал! — воскликнул Алпатов.

И рассказал, что первая мысль его при встрече с картиной была об одной жнее, в жаркий день кормившей грудью своего ребенка.

— Я прав, — ответил Ефим, — ты встретил жнею до мадонны и потом узнал мадонну в жнее. «Сикстинская мадонна» только напомнила тебе твою собственную, живущую в грязи под Ельцом. Но если бы ты вперед встретил Сикстинскую, то не узнал бы в деревенской бабе мадонну. И вполне понятно: ты бы тогда вперед жизни забежал, и возвращаться тебе бы стало неинтересно, все равно как мужик, соблазненный фабричным трудом, у нас никогда не может вернуться к земле.

— Плохой пример, — поймал Алпатов Ефима, — никуда не годится — я видел немецких мужиков: их ничем не соблазнишь, наши плохие земледельцы, потому и соблазняются.

— Отличный пример, — вступился Ефим за свое, — не надо только придираться к словам и переливать из пустого в порожнее. Жизнь и моя, и даже самого маленького революционера из рабочих дороже этой величайшей картины. В моем примере я фабрику представил как мужицкое небо, а жизнь как землю. И вот эту роль неба играет здесь мадонна. Ее песенка спета давно, все хорошее от нее переместилось в жизнь, и остался на холсте только идол искусства. Потому жизнь маленького революционера и дороже этого идола, что в его крови обращается подлинная мадонна. Посмотри же вокруг себя, какие жалкие, расслабленные люди облепили идола; в одежде рабочего нельзя даже там показаться. Все эти лентяи нашли себе в мадонне счастливый выход, блаженную палестинку для забвения от обязанности к человеку. Вот и ты даже стал говорить *матерь божия*, когда, наверно, задумал пошалить с какой-нибудь бабенкой.

Алпатов потерял равновесие, побледнел и пробормотал:

— Я вижу ты серьезно решаешься...

— Успокойся, — ответил Ефим, — у меня обязанности есть посерьезней: я не трону твою картину, ты можешь спокойно заниматься *эстетикой*. Я тебе только хочу напомнить наше решение. Помнишь? Мы согласились взять на себя долг акушеров и облегчить роды нового мира.

Алпатов не мог ничего сказать и потупился. Ефим встал.

— У меня дело, — сказал он, — завтра я уезжаю в Берлин. Ты зайдешь?

— Не знаю, — ответил Алпатов.

— Не здесь, а в Берлине?

— Не знаю же...

— А я знаю: ты зайдешь, с тобой что-то происходит, и мадонна тут ни при чем.

Алпатов вспыхнул. Ефим на прощанье сказал:

— Мы с тобой акушеры, мы должны человеку пуповину от бога отрезать.

ПЕТУХ В КОРЗИНЕ

После разговора с Ефимом все переменялось Алпатову на улицах саксонской столицы, не звучала ему больше музыкальная сказка, и лица людей не удивляли сходством с оригиналами великих художников. Он был очень смущен и чувствовал, что вступает в какой-то круг, заключающий в себе самое страшное. Вы это поймете, друг мой, если от «Сикстинской мадонны» я перекинусь к более позднему, к другой картине. Напомню вам пережитое сравнительно в недавнее время. Какой-то итальянец, как всегда в этих случаях говорят — *безумный*, украл из Лувра «Джиоконду» и затаил ее у себя. В ответ на этот отважный поступок человека, влюбленного в картину и страстного итальянского патриота, фабриканты туалетного мыла, конфет и пудры всех стран во многих сотнях, тысячах, а может быть, и в миллионах, воспроизвели «Джиоконду» на конфетах, мыле и пудре и распространили по всему свету загадочный лик женщины Леонардо. Благодаря этим картинкам на коробках в столицах показались женщины, изображающие из себя Джиоконду, потом такие же дамы и в губерниях и, наконец, в глухих городках: была костромская Джиоконда, и харьковская, и киевская, и даже звенигородская, — везде — в театрах, в садах, на волжских пароходах и на всех дворянских улицах — можно было встретить дам с поджатыми губами и таинственной

улыбкой. Не помню теперь, сколько времени пропадала настоящая «Джиоконда», но только находка ее далеко не произвела того эффекта, как пропажа, как будто каждый уже удовлетворился своей провинциальной Джиокондой и тайну ее про себя разгадал. Но, вспоминая это, невольно думаешь: а что, если бы веселый женский бульвар усвоил бы действительно страшный смысл красоты женщины Леонардо и этим подменил бы свою обыкновенную любовь? Если бы это случилось, мне так представляется, в один бы миг, как при коротком замыкании, перегорели бы все пробки жизни, и весь веселый бульвар в этой любви сгорел бы, как в крематории. К счастью весельчаков, бульвар не подчиняется страшному в красоте, напротив, приспособляет ее для своего удовольствия, обеспечивая нам отдых на лавочке под каштанами или спокойную прогулку на пароходике. В летнее время такие пароходики на Эльбе похожи на большие плывущие букеты цветов, до того много на их палубах девушек, разодетых в цветное. На одном из таких праздничных пароходов, между женщинами всех стран, сидит Алпатов, будто *петух в корзине*, разглядывает статуи и колоннады чередом следующих на берегу дворцов, не обращает никакого внимания на женщин, не думает, что одна из прекрасных девушек, сидящих возле него, может заменить ему Инну Ростовцеву, такую неясную, что едва ли он мог бы ее даже узнать в этом букете всех наций. А между тем его давно уже рассмотрели, и лицо его, и шляпу, и ботфорты туриста. Одна немочка в прозрачном голубом шепнула своей подруге в прозрачном розовом о петухе в корзине, и та ответила:

— Он и правда похож на петуха, знаешь, которому проводят по носу мелом, продолжают по полу, и он потом, не шевелясь, смотрит на эту черту.

Девушка в голубом серьезно всмотрелась в загипнотизированного петуха и сказала:

— Он очень интересный, и, мне кажется, такой гипноз его возвышает.

Девушка в розовом ответила:

— Да, и я думаю, что возвышает, но вместе с тем почему-то и унижает.

— Занятно, почему это так, — сказала голубая, а розовая решила разгипнотизировать интересного петуха.

Обе встают, прогуливаются. Голубая тихонько напевает «Лорелею», розовая, будто совсем нечаянно, роняет платок на колени Алпатову.

Голубая видела: Алпатов, продолжая смотреть на черту, уходящую в бесконечную даль, все-таки заметил у себя на коленях что-то белое и, приняв это за неисправность в костюме, одним быстрым движением руки отправляет белый платок за ботфорт. Голубая шепнула об этом розовой, и вмиг голубая и розовая барышни стали совершенно красными. А на другом борту полосатая, как зебра, с фазаньим хвостом в шляпе французенка даже руками всплеснула, и тоже все видели, все поняли, но и виду не подали строгие англичанки в сером, все до одной с маленькими букетами незабудок. Алпатов по-прежнему сидел и смотрел на черту.

Конечно, будь тут вблизи остановка, обе затейницы могли бы выйти на улицу и там освободиться от приступа смеха, но тут, на пароходике, даже и места их скоро заняли, и неминуемо им, сделав круг, придется вернуться к Алпатову. Девушки бросаются лицами к мачте и там умирают. Но французенка их понимает, она хочет умирать вместе, бросается туда и объявляет:

— Я все видела!

Девушки поднимают на полосатую французенку глаза, полные слез, но спасительница, метнув на Алпатова быстрым французским глазом, шепчет:

— Кончик платка торчит из-за ботфорта, и можно попробовать вытянуть.

Но тогда обе девушки, не жалея прозрачного голубого и розового, умирая, ложатся на канат. И улыбаются даже строгие англичанки в сером с небольшими букетами незабудок. Алпатов очнулся, оглядел себя и вынул платок.

— Вынул, вынул! — воскликнула полосатая французенка с фазаньим хвостом.

К счастью, пароход приставал. Девушки, не оглядываясь, бросаются к трапу. Выходя со всеми, Алпатов с удивлением находит себя в тесноте среди шляп и делает маленькое открытие для себя, что на шляпах все больше русские птицы. Тут были хвосты от кавказских фазанов, и крылышки тундряных куропаток, и султан из лиры хвоста косача, и хохолок белой цапли с Каспийского моря. Было много цветов: незабудки, ромашки, розы, и у одной на голове целый луг из желтых бубенчиков, и в одном из бубенчиков, как в природе бывает направленное к носу жало осы, тут была острая, направленная в глаза стальная игла...

ПРОБУЖДЕНИЕ

На берегу сходящих с парохода дам встретили дамы, желающие прокатиться, получился водоворот, похожий на китайскую игру цветов. Кто-то взял Алпатова сзади за руку возле плеча, он обернулся, но взявший за руку увернулся в толпе, снова взял, Алпатов, приготовленный, схватил за руку, обернулся и увидел Нину Беляеву с поднятой вверх зеленой вуалью.

— Я долго смотрела на вас, — сказала Нина Беляева, — и ужасно смеялась. Можно ли быть таким рассеянным, покажите платок.

Алпатов очень обрадовался Нине, вдруг ему стало так спокойно на душе, как бывает, когда из города после долгой работы приезжают на отдых в деревню к родным.

— Я теперь понимаю, — сказал он, — почему вас в институте звали Чижином.

— А я не понимаю, — ответила Нина, — почему вы петух, скажите, кто же вас загипнотизировал?

Они болтают. И много им, русским, находится слов для болтовни в саксонском Вавилоне. Под конец они покупают себе еды и отправляются пить чай у Алпатова в комнате.

— Никогда я бы себе там у нас не могла представить, что так скоро можно сойтись, как мы с вами, — сказала Нина, удобно устраиваясь на диване возле круглого столика.

Алпатов сидел возле нее на кресле и отвечал на ее слова:

— Мне сегодня день показался за год, и я не знаю, чем бы он кончился, если бы не пришел такой спокойный конец от встречи с вами.

— Я это заметила еще на пароходе, когда все смеялись. С вами что-то происходит, что это?

— Не знаю, волна несет, и не могу определиться, как в море на лодочке.

— Очень понимаю, но для себя я нашла: я поеду учиться в Лейпциг к профессору Рейну педагогике, ведь мне, так или иначе, придется сделаться учительницей в женской гимназии, мне это гадалка предсказала, и я пойду навстречу этому: буду учиться у Рейна — и потом в Тулу или в Орел.

— Почему же теперь-то вы в Дрездене?

— Я приехала посмотреть «Сикстинскую мадонну», сегодня видела, а завтра в Лейпциг.

— Я тоже видел сегодня,— ответил Алпатов,— удивительно, как мы не встретились. Мне картина показалась большой, как океан, и все смотрел бы, смотрел...

— Мне было то же самое.

— Потом встретился мне старый друг из России и говорит мне: «Меня тянет затаиться под диваном и, когда все уйдут, изрезать картину». Вы понимаете это?

— Очень понимаю, мне тоже перед сном иногда приходит в голову самое невозможное, и я завертываюсь с головой под одеяло; иначе ни за что не засну.

— А я сказал ему, если бы он изрезал, я мог бы убить за это.

— И я бы тоже могла.

Алпатову стало досадно, зачем он все это говорит институтке.

— Вам ничего нельзя сказать,— бросил он раздраженно,— все как будто уже вперед вы знали, и все пробежало у вас в голове фантастически и без всякой задержки для поступка. Смольный, что ли, вас так подготовил?

А Нина даже обрадовалась и словам, и досаде Алпатова.

— Вот вы теперь,— сказала она,— совсем меня поняли, я фантастическая, и потому я решила, что непременно буду учительницей в Туле или Орле, в этом уж нет ничего невозможного, это вполне основательно; если я это достигну, то буду, как все.

В это время в дверь постучали и потом внесли кипяток. Алпатов берет свой баульчик: там сохранилась еще четвертка настоящего русского чаю. Но пакетик оказывается на самом дне, глубоко под шалью, Алпатов шаль вынимает, кладет ее временно на стол, заваривает чай у другого столика, а Нина в это время с удивлением разглядывает, разворачивает... Алпатов стоял спиной к Нине, когда она его спросила:

— Каким образом попала к вам шаль Инны Ростовцевой?

Нина не могла заметить, что рука у Алпатова дрогнула, и много у него пролилось кипятку мимо чайника. Он долго молчал, и Нина повторила вопрос:

— Каким образом к вам попала шаль моей подруги? Алпатов ответил, не обертываясь:

— А разве эта шаль принадлежит Инне Ростовцевой?

Потом с чашкой в руке он обернулся к Нине и продолжал:

— Вот как удивительно сошлось, что шаль, оказалось, принадлежит вашей знакомой, она забыла ее в Йене, и мне поручили разыскать ее и передать, но я совсем забыл ее имя.

Он вернулся назад, как будто за другой чашкой, и оттуда спрашивает:

— Эта Инна Ростовцева теперь находится в Дрездене?

Нина ответила:

— Мы с ней вместе были сегодня в Цвингере, а потом я проводила ее на вокзал: она уехала в Париж с одним шведом.

Алпатов уронил кусок сахара и долго искал его на полу, а потом вернулся на свое место пить чай, и Нина ничего не заметила.

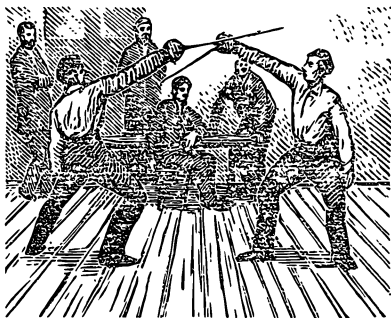
Немного спустя Нина, однако, с удивлением спрашивает, почему он стал таким бледным и такой задумчивый, как на пароходе.

— Мне одна мысль пришла в голову,— ответил Алпатов,— я хочу идти сейчас к своему другу и предложить ему свои услуги. Мы уничтожим «Сикстинскую мадонну».

Нина как будто не очень удивилась и даже обрадовалась чему-то и с большим любопытством спросила:

— А потом что вы будете делать?

— Потом,— ответил Алпатов,— потом мы постараемся человеку совсем отрезать пуповину от бога.



ЗВЕНО СЕДЬМОЕ

ЮНЫЙ ФАУСТ

ИММАТРИКУЛЯЦИЯ

Не хочу беспристрастия. И настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давая всему и нелепое, и драгоценное для нас теперь толкование. Так и мне хочется самому, каков я теперь, участвовать в объяснении поступков Алпатова, следующих так же независимо от авторской воли, как явление комет, войн и великих пожаров от воли их описателя Нестора.

Друг мой, мне часто думается при чтении жизнеописания великих людей, что внутреннее существо их поддерживается детской доверчивостью, с которой они раз навсегда отдались своему делу. Да и в личных отношениях, наблюдая повседневную жизнь разных деловых организаций, постоянно видишь, что более крупный человек и более доверяет другому. Конечно, он более часто и ошибается, чем маленький и недоверчивый опытный человек; но, в общем, доверчивость эта при других достоинствах является как бы радиусом круга: чем больше доверчивости,

тем больше и несчастье при неудаче. В этом дети и юноши сходятся с людьми гениальными.

Рассказывая все это, я, конечно, имею в виду Алпатова, который отдался влиянию Ефима с такой страстностью, что предложил ему вырезать из рамы «Сикстинскую мадонну». Ефим, конечно, отговорил друга от такого *индивидуального эксцесса*, достойного скорее какого-нибудь анархиста из артистического круга, чем простого серьезного работника социал-демократической партии. Взамен этого он предложил Алпатову ехать учиться в Лейпциг и постепенно организовать там русскую колонию в такой же марксистский кружок, как они устраивали вместе на родине. Ефим обещался потом, когда черновая работа будет закончена, приехать из Берлина и назначить серьезную работу от Центрального исполнительного комитета партии. Алпатов обрадовался и этому, обещался работать, как и на родине, упустив из виду, что сам он стал теперь уже другим, что, упав с высоты личных событий, едва ли он теперь уже удовлетворится прежней работой рядового марксиста в кружках.

Но и то хорошо: есть хоть с чего можно начать строить себе новую жизнь, а там само дело покажет. После всей этой погони за ускользающей невестой Алпатов хочет большой работой изгнать из головы всякую блажь; теперь каждая минута жизни им будет учтена, как трудовая минута. И на первых порах ему повезло. Оказалось, первый семестр прогуливают в Германии почти все студенты и только на втором начинают работать: выходило, что он не отстал. Теперь, вступая в университет по-настоящему, без сопутствующего образа невесты под зеленой вуалью, Алпатов впервые только глаза раскрывает как студент, и ему из редющего тумана пережитого показываются очертания великого храма германской науки. Сердце его трепещет опять перед возможностью сделаться творцом в какой угодно области наук. Правду кто-то сказал о Германии, что философия там похожа на вымя со множеством сосцов, питающих науку, — и теоретические, и прикладные. В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно сказать: *занимаюсь философией*, потому что наша философия непрактичная, и философ представляется как бы загипнотизированным петухом. В Германии даже агрономию читают на философском. Стоит только в Германии купить себе черную шляпу с широкими полями, как во всех лавочках будут почтитель-

но называть *доктором*, и это не будет означать, как у нас, непременно врача, а доктора философии. Социальные науки, уж конечно, на философском, и потому Алпатову факультет предрешен. Ректор вызывает его из толпы студентов:

— Господин Алпатов из Ельца!

Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотом шитыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора постоянно проскакивали латинские слова, тут современность явно соприкасалась по традиции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: *из Ельца!* Молодой человек, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него все смотрят с особенным вниманием и думают: «Вот они какие в Ельце».

У ректора в руке был пергамент, подавая свободную руку, он спрашивает:

— Философия?

Алпатову очень неловко сказать, но виду он не показывает и бойко отвечает:

— Да, господин ректор, философия.

Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил:

— Из Ельца?

Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: «Неужели же вы из Ельца?» — и что глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: «Как же это вы добрались сюда из Ельца?» Ректор, однако, был совершенно бесстрастен и, пожав руку молодому студенту, передал ему пергаментный лист, на котором огромными буквами по-латыни было напечатано:

«VIR JUVENIS ORNATISSIMUS STUDIOsus RUSSUS» ¹.

А после торжественного латинского было по-немецки приписано:

«Из Ельца, Орловской губернии».

Алпатов, однако, был не один русский, их было очень много. Аксенов, барственный блондин с голубыми глазами, очень красивый, с большим достоинством подошел

¹ Молодой человек, высокочтимый русский студент (лат.).

к ректору и сказал, что он из Симбирска. С Аксеновым была студентка такой большой красоты, что в ней совсем исчезала типичность народа, и только по словам «из Гомеля» можно было начать угадывать ее еврейское происхождение. Алпатов еще обратил внимание на очень высокого брюнета с черными жгучими глазами, с цилиндром в руке, похожего на французского гипнотизера, — это оказался Амбаров из Петербурга. Прямо же после Амбарова странный человек в синей косоворотке под серым пиджаком без жилета, размахивая руками, двинулся большими шагами к ректору, как будто с каким-то дерзким намерением, и заявил: «*Чижев из Екатеринбургa*». С огненно-красными волосами и веснушками, частыми, как на воробьином яйце, пришла Роза Катценэлленбоген из Пинска! И еще было много разных русских, и все до одного на вопрос ректора, что они хотят изучать, отвечали: «*Философию*».

АПРИОРИ

Восторг полного обновления охватил Алпатова. Думается, так бывает исключительно только у русских, что эта способность к обновлению у русского интеллигента происходит от пожаров деревенской России, после которых возникают постройки гораздо лучшие, чем до пожара.

Всегда казалось Алпатову на крайний случай, что если только решиться *все бросить*, то потом вылезешь на свет, как змея из старой чешуи. Конечно, в этой обычной для русского способности к обновлению нет материального предмета личной жертвы и потому все легче выходит, чем в евангельском совете богатому раздать свое богатство бедным. Алпатову раздавать было нечего, и его *все бросить* относилось к собственной своей мечте. Правда, волшебная невеста нашей юности дороже всякого богатства, но все-таки *раздать* это, как в притче о вещественном богатстве, невозможно: что-то надо создать и потом уже раздавать. Бросить куда легче, чем раздать, но и бросить оказалось не так легко. Беда была в том, что раньше Алпатов брался за рабочее движение, как за личное дело, теперь это стало как долг, и он возвращался к тому же, как филантроп. Как личное дело теперь манила его каждая аудитория знаменитого профессора.

Вскоре после *имматрикуляции* вся колония русских

собралась выслушать доклад Аксенова на тему «От Маркса к Канту».

Алпатов восторженно: вот случай ему отстоять материализм, как он когда-то сумел так удачно защищать марксистскую идею у народников. Однако теперь все было совершенно иначе, и самый доклад был не как тогда, на тему «Что делать», а скорее на «Как думать о деле». И оратор был настоящий, блестящий, притом окруженный красивыми девушками, как мироносицами. Председателем был Чижев в косоворотке, с блуждающими глазами, похожий на прежних наших народников. Чижев постоянно вскакивал с места, бросался в зал, находил там кого-то, шушукался, записывал, возвращался на место, все что-то соображая, что-то высматривая. Когда, наконец, он так подбежал к соседке Алпатова Розе Катценэлленбоген, то все и объяснилось сразу: Чижев устраивал студенческую кассу взаимопомощи, дело маленькое. Да так и все представилось Алпатову в собрании, что каждый из этих русских за границей был погружен во что-то свое личное, а не так, как это было когда-то... Казалось, что лучшее было давно в подпольных кружках...

В докладе Аксенова «От марксизма к идеализму» была использована вся новейшая модная философия. Алпатов понял, что все его дальнейшее положение в колонии определится сразу, если он выступит против Аксенова более страстно и революционно-победно. Но как выступить, если он не знал ни Риле, ни Зиммеля и ни малейшего понятия не имел о *гносеологии*, вокруг которой и вертелся доклад. Но внезапно ему вспомнилась прежняя мысль о *практическом коррективе* всякой философии, он нащупал в себе реальное, как земля, чувство правды жизненной, для чего нужны простые слова, а не модная философия. Так он и начал говорить, что для философии идеализма нет практического корректива, и если миновать материализм, то это значит миновать диктующую необходимость жизни, и дальше будет, конечно, все легко и безответственно, сначала от Маркса к Канту, потом от Канта к Христу, от Христа к церкви...

Последние слова Алпатова были:

— А церковное христианство нам твердит все время: грех и грех. И если я твержу себе постоянно: грех и грех, то я действительно становлюсь грешником. Материализм, правда, учит нас считаться тоже с чем-то, твердит об экономической необходимости и разделении людей на

классы, но практический корректив построенного на этом социализма дает нам в руки средство обойти необходимость и сделаться акушерами при рождении нового общества.

Председатель Чижев, вслушиваясь и вдумываясь в слова Алпатова, страстные и, очевидно, не придуманные им заранее, долго не смеет остановить его, не догадываясь, что стоит только перебить Алпатова, и он смешается. Наконец он все понял и перебил:

— Я вас прошу говорить в границах темы.

— Тема,— отвечает Алпатов,— «От Маркса к Христу», и я развиваю ее от Христа непременно к попу.

— Да,— ответил Чижев,— вы говорите с точки зрения практического корректива, а докладчик ставит проблему чисто гносеологическую. Вы можете продолжать, если согласитесь свою идею изложить в аспекте гносеологии, то есть науки о границах познания.

Алпатов ответил:

— Это познать невозможно, все равно как сотворить человека в колбе: для чего же нам разговаривать о гомункуле?..

В это время какой-то очень симпатичный блондин с добрыми глазами и задушевым голосом взял слово без очереди, стал извиняться перед всеми, вроде как бы всенародно каяться:

— Извините, извините, вот я всех перебил, а хочется присоединиться: вполне согласен.

— Иван Акимыч,— перебил Чижев извинения,— ты нам портишь дисциплину, так нельзя, надо слова просить: мы в стране парламентаризма, а не на деревенской сходке.

— За то я и прошу извинения,— продолжал Иван Акимыч,— я только коротко хочу сказать, что поддерживаю предыдущего оратора, как же это можно жить с одним *априори*, нужно дело, а не *априори*. Совершенное безумие так жить, мне самому хочется, например, рюмочку водки выпить, а в голове *априори*.

Все весело засмеялись, поняв наконец, что Иван Акимыч говорит сильно выпивши.

Алпатов поспешно сел.

— И вот еще,— продолжал Иван Акимыч,— ко всему этому явилась еще какая-то гносеология, и я так понимаю, что вся эта наука вышла из ненавистного мне до глубины души *априори*. Так ли я понимаю? Я же вполне присоединяюсь к предыдущему оратору и призываю всех к жизни. Вот все, что я хотел сказать. Извините.

И сел.

После того взял слово какой-то агроном Коль, заика, и тоже присоединился к Алпатову. Смысл его долгой и трудной речи был в том, что России теперь нужна не гносеология, а посев клевера, кредитные товарищества, кооперация и конституция.

— Вот и все, — сказал в заключение Коль и опустил на стул.

Тогда взял слово сам докладчик Аксенов и с улыбкой, обернувшись к Алпатову, сказал:

— Ваше пожелание практического корректива вполне осуществилось: ваш предшественник предлагает на капусте вырастить конституцию.

Этот *витс*¹ с фамилией Коль-Капуста был так удачен, что все мироносицы стали аплодировать.

Алпатов был совершенно побежден. Чижов предложил перейти к повестке дня: на очереди вопрос об организации кассы взаимопомощи. После того многие стали покидать собрание. Алпатов тоже вышел на улицу, подавленный и ущемленный.

МАЛЕНЬКАЯ ВЕСНА

Бульвар, по которому шел Алпатов, между каштановыми деревьями, к себе на Штёрнвартенштрассе, был несильно освещен фонарями. Немецкая густая толпа гуляющих ровно гудела, как майские жуки на берегах в день массового вылета. Бесконечно далека была в эти минуты Алпатову и эта немецкая толпа, и эти русские за границей. Зато в первый раз еще показалась ему за границей хорошая родина Россия. Только нет, он не сказал бы «родина», это слово никак не отвечало встающему в нем чувству. Сказать «родина» можно только в детском журнале «Задушевное слово», сказать «родина» — значит помириться и вместе с тем опуститься. Настоящая родина очень трудная, и без того, что казалась ему теперь *долгом*, она невозможна, родина с нищетой и тюрьмой — какая это родина. Он это новое, впервые встающее у него за границей, назвал бы просто *пейзаж*: большие поля ржи, перелески, большак с муравой и, пожалуй, люди, необыкновенно доверчивые и душевные. Потом из всего этого определилась

¹ От немецкого Witz — шутка.

близкая душа, с которой во всем можно советоваться, все ей открывать. Так незаметно для себя Алпатов встретился опять со своей тюремной невестой. Но тут случилось, как иногда бывает с людьми, когда они забываются совершенно в себе: так, гадающей невесте показывается в зеркале гроб, старухе разбойник представится, а юношам — как если бы враг застал врасплох и остается только нагнуть голову, чтобы он поразил и кончил все. И Алпатову так было, когда в самый момент, когда он встретил в себе не допустимую раньше мысль о прекрасной родине вне революции и к этому сочувственно и радостно присоединилась, казалось, совсем уже забытая невеста, вдруг близко от него кто-то сказал, назвал его имя...

Алпатов в ужасе оглянулся. Высокий, в блестящем черном цилиндре, с горящими глазами, стоял перед ним Амбаров и робко, почти застенчиво, как сильный мужчина начинает иногда с интересующей его слабой девушкой, говорил:

— Я осмеливаюсь заговорить, потому что слышал вас на собрании, понимаю вас и хочу предупредить: не надо с ними так искренно, здесь русские все холощенные...

— Имеем ли право, — ответил Алпатов, — мы с вами заключать о всех?

Амбаров подумал и не спеша сказал:

— Вот увидите, через месяц вы будете, как и я, держаться в стороне от русских, вероятно, займетесь чем-нибудь своим, и совершенно отдельно.

— Мне бы это было тяжело и непонятно, — ответил Алпатов, — я в тюрьме сидел целый год в одиночке, и то не было мне, как вы говорите: мы там перестукивались.

— Русскому за границей — более одиноко, чем в русской тюрьме, к этому надо привыкнуть.

Неприятно было, что новый знакомый во время разговора, высматривая себе что-то в толпе, часто оглядывался, и когда Алпатов тоже оглянулся вслед за ним, то встретился глазами с женщиной, которая отвечала Амбарову и тоже оглядывалась. Теперь Алпатов догадывался, что благородный тон, в котором Амбаров вел беседу, был обычный светский тон высшего класса общества, ненавистный Алпатову с детства своим обманом. Он с досадой и почти со злобой спросил:

— Вы, вероятно, кого-нибудь знакомого ищете?

Амбаров мгновенно понял тон Алпатова и засмеялся как-то совсем ни к чему, холодным, неестественным

смехом, как смеются сектанты или безумные. Потом он сказал с прежней робкой вежливостью:

— Я ищу свою жену.

— Вот как, — растерялся Алпатов, — я почему-то думал, что вы неженатый.

— Нет, я женат, — ответил Амбаров, — вот вы, я думаю, нет.

На это Алпатов, как это часто бывает с юношами, взамен нечаянной дурной мысли о незнакомом и, оказывается, хорошем, *женатом* человеке, выпалил со всей откровенностью:

— Я не только не женат, но... я вообще: я не знаю женщину.

— Я так и думал, — сказал Амбаров ласково и сочувственно, — я этот ваш ответ услышал в первых ваших словах о практическом коррективе, то есть, как я понимаю, о жизни самой по себе, я это очень понимаю: это весна в марте.

В это время вышла из толпы молоденькая немочка, совсем Маргарита из «Фауста».

— Эльза, милая, — воскликнул Амбаров и заговорил с ней по-немецки со всей тонкостью произношения, как будто это был его природный язык.

— Позволь представить, — заговорил он, — тебе моего нового друга *из недр России*.

В словах *из недр России*, по-немецки *aus dem Schoß des Russlands*, слышалась самая легкая ирония, и Алпатов себе это заметил.

— Моя жена, — представил Амбаров свою Гретхен Алпатову и спросил ее очень заботливо и нежно: — Здоров ли наш Отто?

Влюбленная женщина смотрела на мужа светящимися глазами и, счастливая, отвечала, что все идет отлично.

— Иди же, погуляй, — ответил Амбаров, — а я пока пройду с моим новым другом.

Отойдя немного, Алпатов спросил:

— Вы искали жену, может быть, я вам помешал?

— О дорогой мой, — ответил Амбаров, — не знаю, почему мне так хорошо с вами и все меня в вас веселит. Так и быть, я вам скажу: я искал не эту жену.

— Неужели у вас есть другая?

Амбаров опять засмеялся тем смехом ни к чему или как бы в отмщение кому-то другому, находящемуся, очень может быть, и в себе самом.

— Другая! — повторил он вслед за Алпатовым. — Да у меня их в одном Лейпциге три, а до этого я жил в Риме, в Париже, в Цюрихе. По тону вашего вопроса я слышу, что вы это считаете безнравственным?

— Не знаю, — ответил смущенно Алпатов, — мне кажется, я это считаю ни нравственным, ни безнравственным... почему вы так страшно смеетесь, как будто над самим собой? И вы только сейчас говорили о весне, что вам у человека весна нравится.

— Вы чудесно слушаете, — мне нравится весна, и я пользуюсь: каждый год у меня бывает своя маленькая весна... Вот она идет, — указал он в толпе на вторую жену.

Он простился с Алпатовым и просил навестить его в технической лаборатории, где он работает ежедневно.

СТАРУШКА VITA ¹

В Германии и теперь продолжается, как в старину, что в первое время студент не очень прикреплен к специальности и бегает из аудитории в аудиторию по любопытству ко всему на свете, пока мало-помалу не определится к чему-нибудь его исключительная способность. У Алпатова это любопытство к знанию еще усилено его обещанием работать для революции, которая теперь ему представляется *долгом*: он знает, что рано или поздно Ефим явится и придется ему отвечать; так вот, пока не началась такая работа и вместе с тем не определится специальность, он спешит послушать и Вундта, и Оствальда, и Бюхера, и Лампрехта, и всех молодых светил философии. Скоро Алпатов с удивлением вспомнит то время, когда в их подпольном кружке метафизика была почти бранным словом. Вундт читает философию, но его слушают больше врачи, так не похожа его философия на беспочвенную *метафизику*. И химик Оствальд, точный исследователь, посвящает два часа в неделю, чтобы поделиться со студентами всех факультетов своей философией природы. И, может быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией. В самое короткое время Алпатов переменяет свой русский взгляд марксистского провинциального кружка на философию, в кармане у него постоянно

¹ Жизнь (лат.).

маленькие философские книжки, и «Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. Он читает и во время обеда, и в постели на сон грядущий, и, — что делает внутренняя потребность! — вся эта трудная поэзия понятий дается ему не труднее, чем беллетристика. Часто он идет в одну аудиторию и попадает в другую, потому что через плохо закрытую дверь долетели до него какие-то интересные слова.

Так случилось однажды: у гениального химика Алпатов услышал нечто поразившее его и вдруг определил себе как специальность — химию. Довольно сухо читал этот химик свой курс и совсем как-то неожиданно для всех заволновался и даже покраснел. Это Алпатов успел уж заметить у всех. Какой-нибудь знаменитый профессор долго читает, и нельзя бывает понять, чем же он знаменит. Студенты покорно записывают лекции от слова до слова, чтобы выучить потом это к зачету и сдать экзамен совершенно без помощи книг. Но, бывает, ученый подходит к изложению того знания, которым он сам обогатил науку, и тут становится неузнаваемым, волнуется, краснеет, преобразается даже в своем внешнем облике: совсем другой человек! Студенты, увлеченные, перестают записывать в свои тетрадки и время от времени топают ногами в знак восхищения. Так было и с химиком, когда он вдруг перестал диктовать и даже попросил не записывать: это не знание, это его маленькая догадка в помощь знанию. Речь была о синтезе белка, над которым теперь работал химик: работа эта еще не закончена, но можно предвидеть, что химический белок скоро будет создан и будет совершенно такой же, каким создает его природа в живых существах. И все-таки этот химический белок не живет, как в природе, чего-то ему не хватает, что это такое? Вот тут профессор, этот человек, пепельно-серый от постоянного вдыхания вредных газов, ожил, покраснел, намекнул:

— Не возвратиться ли, — сказал он, — к прошлому, не поможет ли нам немного старушка Vita?

Конечно, если бы профессор эту старую гипотезу о воодушевленной субстанции, называемой *жизнью*, излагал бы равнодушно, как чужую мысль, то Алпатов бы не попал под ее влияние, но профессор, хотя и очень осторожный, был виталист, и Vita в его творчестве была как Муза в поэзии и, может быть, как для Алпатова была его ускользающая Инна в поисках призвания и личного счастья.

Удивительно было Алпатову, что ученый, сообщая

студентам свою догадку о Vita, покраснел совершенно так же, как он сам в детстве краснел, когда свои тайны, сны или догадки рассказывал старшим. Бессознательно Алпатов себя самого узнал, когда профессор, этот с виду железный человек, вдруг обнажился в своей робкой, застенчивой, колеблющейся сущности. В то самое же время явилось Алпатову почему-то ясное распределение всего хаоса из прочитанных книг: Кант, и Спиноза, и Декарт становились на свои места.

Вдруг оказалось, что все эти великие мыслители высказывали свои догадки, тоже краснея. Все это было, однако, неотчетливо, и если бы записать, то получился бы вздор, и если сказать другому, то другой ничего не поймет. Но казалось, если бы подойти к этому ученому и ему сказать, то ему оно сказалось бы, и стало бы все ясным, и через это можно бы определить себе в науке свой жизненный путь.

Вслед за этим Алпатову, как и раньше бывало с ним не один раз, явилась неизбежность поступка: раз если так, то он должен идти к профессору, он должен преодолеть все свое смущение, всю неприятность риска и объясниться во что бы то ни стало. Вот почему, как только кончается лекция, он бежит по коридору за профессором.

...Вы представите себе, мой друг, лучше, чем я умею об этом сказать, весь риск такого поступка. Как можно рассчитывать, что профессор, занятой человек, закаливший свой ум огромной дисциплиной труда, станет возиться с бродячим мальчиком из бескрайной русской равнины? Или, может быть, каждый рожденный для настоящего творчества человек проходит в свою пору юности тоже непременно искание философского камня и так может по себе узнать родное, понятное и в дикаре? Часто я думал об этом, беседуя с нашими мужиками, в распоряжении которых имеется так мало понятий и слов,— из каких источников берется возможность продолжительного общения неграмотного и проводящего жизнь свою на две трети с книгами? Я прихожу к заключению, что в последнем, современном, культурном человеке скрывается тоже как творческий фактор и весь дикарь прошлого, и весь романтик знания и чувства. Вот почему, зная в себе хорошо и дикаря, и алхимика, и романтика, я никогда не вздыхаю о прошлом и не зову с собой никого идти в дикари, в мужики, в алхимики и рыцари: все прошлое все равно и так с нами непременно живет.

И вот замечательный ученый, о котором я рассказываю, если только Алпатов сумеет хоть как-нибудь связать свои мысли и расположить к себе, очень возможно, поймет юного русского искателя философского камня. Профессор бежал так быстро по коридору, что Алпатов не успел догнать его, и так он скрылся в своем кабинете как раз в тот момент, когда Алпатов только-только собирался остановить его бег.

Через несколько минут большого волнения Алпатов решается постучать и слышит в ответ из кабинета: *«Войдите»*.

Был беспощадно прост и ужасен первый вопрос ученого:

— Что вы желаете?

Алпатов не сробел и ответил:

— Я, господин профессор, догадываюсь, почему Виту невозможно открыть и она от нас ускользает; потому что мы сами ею живем, мы движемся с ней вместе и потому ее движения не замечаем, как, двигаясь вместе с землей, не замечаем ее движения, и вот почему, наверно, не удастся синтез живого белка.

Профессор широко открыл глаза. Было бы и всякому учителю, сколько ни привыкай, поразительно: сейчас только были слова в простой, логической связи, и вот они уже воплощены в жизни этого взволнованного юноши, живут в его крови, повышают температуру его тела, вызывают в его лице краску, и все вместе рождает мысль.

— Вы иностранец? — ласково спросил профессор.

— Я русский, — ответил Алпатов.

— Химик?

— Хочу быть химиком. Но только вы не примите меня просто за мечтателя; я могу работать и достигать своего. Я бы только хотел работать, имея в виду эту Виту, как небо: я вижу в этом подвиг ученого, достигать недостижимое и не забывать о земле. Я, господин профессор, материалист, вы меня понимаете?

Не подавая виду, совершенно как равному, профессор сказал:

— Вполне понимаю, друг мой, только все это очень опасно.

И почему-то рассказал про одного старого еврея, который, прочитав Канта, сейчас же, как только узнал у него, что нет мира без нас, что мир есть только наше представление, не захотел жить в таком неверном мире и повесился над раскрытой книгой о чистом разуме.

— Так может и с вами случиться, — сказал профессор, — когда ваша Вита окажется не прекрасной девушкой, а женщиной трех К: Kirche, Kinder, Küche¹.

— Этого я не боюсь, — ответил Алпатов, — я испытал уже с женщиной гораздо худшее, и, вероятно, только потому, что сам сделал какую-то ошибку, хочу это заменить наукой, в которой есть практический корректив ко всякой мечте: работа с мензуркой и весами.

Профессору это очень понравилось, он, улыбаясь, пожал крепко руку Алпатову и записал его в первую химическую лабораторию.

ПОЯВЛЕНИЕ МЕФИСТОФЕЛЯ

Кто много работал по химии в лабораториях, тому в полях, и лесах, и на воде часто, бывает, пахнет какой-нибудь кислотой или газом, совсем неприятным для всех и очаровательным для химика: запах больше всех наших чувств связан с нашими переживаниями, а что может быть лучше времени естественной молодой нашей веры в прекрасную женщину, мать всего сущего, и в силу философского камня? Пусть каждый современный учебник по химии начинается насмешкой над средневековыми алхимиками, искателями философского камня; юноша, вступая в лабораторию, на первых шагах хоть немного бывает тайным алхимиком, и современные научные методы, сравнительно с теми далекими временами искателей начала начал, дают только новую силу, только новый задор. Мы только что пережили трагедию Северного полюса; еще несколько лет тому назад ученые говорили нам, что все-таки еще возможна жизнь на Полюсе, что встретится там какой-то новый материк и какая-нибудь жизнь, даже люди. И вот оказалось, там нет ничего, одна математическая точка. И все-таки мы с новой энергией строим теперь *ракету* для полета в межпланетные пространства, с трепетом в сердце предвкушаем полет на Марс и Луну, хотя там, по всей вероятности, найдется то же самое, что и на Северном полюсе. Есть такая же безмерная, реальная сила и в наших детских маленьких тайнах, и особенно в нашей первой юношеской любви.

Милая моя маленькая женщина моей юности, самый драгоценный друг мой, я возвращаюсь к нашему роману,

¹ Церковь, дети, кухня (нем.).

открывая в нем силу всего моего счастья, всей радости жизни, школу моего единства и верности. Я горжусь силой, которая позволяет мне сейчас сдерживать слезы восторга, я ликую уверенно, я знаю: есть в пустоте воздух, в тоске радость, в мечте воля к преображению жизни и в первой любви эта живая мать моих живых детей и лучших минут творческого общения с друзьями...

Преобразив свою Инну в какую-то Виту, Алпатов вступает алхимиком в лабораторию: там и тут бесцветное пламя множеством газовых горелок окрашивается красным цветом, зеленым, фиолетовым; стеклянные реторты и колбы, укрепленные в железных штативах на разных высотах, кипят над пламенем, из них по каучуковым трубкам, невидимые, уходят добрые и страшные газы, заключаясь в газометрах на службу человека. Там кто-то в синем фартуке выпаривает в сушильном шкафу платиновый тигель с осадками до постоянного веса, наблюдает термометр, и вот сегодня он рад: он достиг постоянного веса. Ему после долгой работы остается только снять колпак с химических точных весов, взвесить, вычислить с точностью до четвертого знака. Вот подходит к нему профессор, вынимает свою записную книжку, слушает. Студент, волнуясь, сдает найденную цифру анализа.

— Четыре! — называет студент.

Профессор кивает головой: верно.

— После запятой: пять, три, семь.

Голос студента дрожит от волнения: если последний даже знак неверен, ему еще придется неделю работать над тем же...

Дальше технические лаборатории, дальше святое свя-тых, лаборатория самого профессора, где будущие ученые вместе с учителем делают общую работу — синтез белка. Вот там вплотную подходят к загадке жизни, заключая следы ее в меру и счет. Когда-то хотели заключить в реторту самую жизнь, здесь знают, что догнать жизнь невозможно, и все-таки идут за ней след в след, вплотную, измеряя следы и строя свое по образу и подобию ее. Алпатову кажется, что в этом деле научном требуется больше и ума, и воли, чем раньше, и даже больше остается свободы, — ведь и солнце, и месяц, и звезды через это не меняются: в ночной тишине, глядя на них, человек может и не думать о счете и мере, а совершенно свободно догадываться...

Так вступил Алпатов в лабораторию с тем же самым благоговейным чувством, как если бы родился в средние

века и астролог вручил ему гороскоп. Все казалось ему здесь нужным, и люди в фартуках такими привлекательными, и особенно соседка его, Роза Катценэлленбоген: ни у кого на свете нет таких огненно-красных волос. В весовой лаборатории он встретил теперь трезвого и доброго Ивана Акимыча Априори, из технической сам пришел и очень обрадовался ему красивый и странный Амбаров.

Дело рук профессора видно в лаборатории на каждом предмете. по его тетрадкам студенты делают анализы, но на первых порах новичка учат студенты. Есть, конечно, в этом большое удовольствие для старшего поделиться своим опытом с растерянным и очарованным новичком, но Амбаров делает это с особенным вниманием и даже нежностью, как будто Алпатов был исключительно интересующая его девушка. Он показал Алпатову и Розе, как узнавать металлы по их способности окрашивать бесцветное пламя, и маленькие прозрачные стеклышки буры, включенные в колечко из платиновой проволоки, как разбираться обонянием в различных оттенках запахов, исходящих из тел при нагревании, учил, с какой осторожностью надо пользоваться вкусом, осаждая основания солей и отнимая у них кислоты другим основанием. Особенно обращал он внимание на запах тел как на средство их различения, говорил, что нос не то, что язык, нос около глаза и так близок к мозгу, что всякое чувственное восприятие по запаху надолго остается памятным человеку. И случилось, как раз во время рассказа об этом в лаборатории запахло горьким миндалем. Только Амбаров один из всех это заметил и стал ощупью двигаться, разбираясь по усилению запаха в направлении. Наконец он подходит к одному из сушильных шкафов и достает тигель с препаратом, издающим запах горького миндаля. Кто-то неосторожно поставил препарат с цианистым кали и чуть не отравил всю лабораторию ядовитым газом. Хозяин тигля, бурш с дуэльными шрамами на обеих щеках, выходит, бледный, но Амбаров его успокаивает: в небольшой дозе цианистый кали не приносит никакого вреда человеку. Вот это можно и показать. Все студенты сходятся к Амбарову: русский хочет показать что-то необыкновенное. Из банки с белыми палочками Амбаров берет себе пинцетом частичку цианистого кали, кладет на язык, запивает водой... Через несколько секунд все тело его вздрагивает, он хватается руками за стол, быстро оправляется и, бледный, как бумага, хохочет, предлагая

желающим тоже попробовать... Но тут было чего-то чересчур: все, потупив глаза, расходятся на свои места, и Роза, став вдруг чрезвычайно серьезной, осаждает в пробирке гидрат алюминия, усердно потирая ее, как учил Амбаров, о свою упругую коленку.

ТРЕТЬЯ ЖЕНА

Очень возможно, что вся беда вышла у Алпатова из-за этой удивительной книги, о которой он ничего не слышал, а случайно купил в одном магазине. В этой книге каким-то чудесным путем философия соединилась с поэзией, и то самое, что у Канта и других ползло, здесь летело, как метеор, на одно неповторимое мгновение ярко освещая мировое пространство. Узнав эту книгу, Алпатов не мог больше слушать философские лекции, и каждая такая лекция, с записыванием ее в тетрадки, представилась заседанием людей, из которых каждый в отдельности был просто дураком, а в заседании множества все становились умными. Нет, настоящее знание летит, как метеор, и человек истинного знания сгорает и падает, как метеор; и пусть: старый бог умер. Так говорил Заратустра. Алпатов, собрав в себя все лучи этой книги, устремился работой в одну только точку, забросил все лекции и делал только анализы в химической лаборатории. Там же, в промежутки, когда что-нибудь согревалось или долго выпаривалось до постоянного веса, он читал по теории, далеко забегая вперед. Движение его в лаборатории при такой сосредоточенной энергии приобрело небывалую скорость.

Через месяц он оставляет Розу в качественной лаборатории, титрует в объемном анализе, потом сидит на весах. Профессор давно его заметил и никогда не проходит мимо, не сказав ему несколько одобрительных слов. Но едва ли так можно учиться химии: крепости и баррикады можно брать разом, очень возможно иногда бурным натиском отбить себе прекраснейшую рабыню. Но химия дается мерным трудом. Читая теорию ионов, Алпатов встречается с высшей математикой, — оказывается, она необходима и в химии, а он к ней так неспособен. Но как же он может быть неспособен, он может все! Он берется за высший математический анализ и, пока в этом не достигнет больших знаний, отложит работу по химии. День и ночь

сидит он теперь над интегралами, кажется ему, ползет, как черепаха. Но самое главное, что ему показалось при этом занятии, будто у людей два ума, один ум этот по математике, где все только мера и счет, другой ум в мгновенном схватывании без всякого счета и меры. Вспомнилось Алпатову, как ему маленькому мать хотела помочь в арифметике и хуже его решала задачи, а так в жизни все понимала и была, все говорили, необыкновенно умна. И вот еще оказалось, что гениальный автор Заратустры был до крайности, до идиотизма неспособен к математике. Но самое главное, о чем он догадался, что химия берется таким же умом, как математика. Он еще не отказывается, он еще возвращается в лабораторию, а там, пока он возился с математикой, Роза догнала его и сидит, обыкновенная, на тех же его весах, которых он достиг с таким трудом, а Вита бежит в бесконечной дали... С удивлением он обращается к Розе — узнать у нее, каким образом она движется вперед с таким верным успехом, ничуть не изменяясь от работы даже в лице. Она не таится и все объясняет спокойно. Ее отец в Пинске торгует старыми фраками. Ее будущее в пинской аптеке, она изучает химию для фармацевтики и со временем достигнет провизора. Оказалось, что Вита у Розы была внутри и ей не нужно ее догонять...

Алпатов, очень смущенный, выходит из лаборатории, и ему кажется, что все было, как сон, и теперь все прошло: сон забыт. Дома, ни о чем этом больше не думая, свободным движением руки он подвигает к себе книгу *«По ту сторону добра и зла»* и там, читая до вечера, узнает свою Виту, — это, оказывается, мир в себе, то, что невозможно достигнуть знанием и что если бы это и удалось как-нибудь узнать, то оказалось бы, может быть, очень смешным и ничтожным... Так говорил Заратустра.

Вечером при свете фонарей он идет куда-то неопределенно по бульвару, как бы открывая всего себя для обстрела бесчисленных случаев большого города. Появляется Амбаров под руку с новой женой, и Алпатову кажется — это самый нужный ему теперь человек: у Амбарова, наверно, все было в жизни. Они спускаются в один из подземных келлеров Лейпцига, садятся трое у белого мраморного столика. Ни на минуту не останавливаясь, сходит вниз по ступенькам уличная толпа, делает оборот в огромном подвале, выходит в другую дверь, бесконечно меняясь под музыку. Амбаров не обращает никакого внимания на свою третью жену. Она сидит, все наблюдая

с большим интересом, постоянно поглядывает на корпорантов в цветных шапочках, непрерывно покачивает своей маленькой ножкой. Вдруг Алпатов очень смутился и покраснел: он заметил, что Амбаров поймал его взгляд, следящий за покачиванием ноги его третьей жены. Мало того, Амбаров смеется, подмигивает ему...

Поскорее, чтобы скрыть свое смущение, Алпатов схватился за разговор об умных вещах, он спросил Амбарова, не читал ли он замечательную книгу *«По ту сторону добра и зла»*?

Амбаров еще сильнее засмеялся. Нет, он ничего не читает, кроме книг по химии, но тема «По ту сторону добра и зла» ему хорошо знакома по жизни бюрократии в Петербурге: по ту сторону находится власть, и к ней постоянно передвигаются люди маленькие, получая за свое терпение ордена различных святых, от Станислава до Владимира. Люди большие берут власть, не обращая внимания на святых. Однако все это Амбаров говорил как бы шутя и слегка поглаживал кистью мрамор столика.

— Для меня, — сказал он, — большая загадка, почему из этого... — Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. — Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое.

Алпатов овладел собой и сказал:

— Как же простое, если от этого рождаются дети; мы не можем посредством химии сделать даже белок живым, а тут дети. У вас-то они рождаются?

— Не от всех, но если родятся, я посылаю содержание: матери бывают очень довольны.

Подали коньяк. Алпатов выпил, и ему очень захотелось во всем договорить до конца: потом всегда можно будет удрать от этого человека. Вот бы хорошо ему все рассказать о невесте, как он ее искал. Быстро, для храбрости, выпил он еще коньяку, но и тогда оказалось, что об этом вслух сказать почему-то нельзя. Впрочем, он расскажет все о Вите в химии, как будто Вита была его невестой.

Очень хорошо пришлось воспоминание о Марье Моревне: он был такой маленький, что не только не задавался вопросом, отчего рождаются дети, но даже не понимал, каких женщин и за что называют красивыми. Явилась Марья Моревна, и вдруг он понял, что она красивая. А после того как он стал все понимать, он чувствует в каждой женщине Марью Моревну, и если этого

нет в ней, значит, как будто и невозможно с ней сойтись. Точно так же он не может сейчас выбрать себе специальность без того, чтобы она не являлась делом всей его жизни. Так вот он занялся химией исключительно потому, что профессор увлек его своей догадкой о близости химической реакции к реакции жизни...

Алпатов спросил под конец:

— Как можно сходить с женщиной и не думать, что в ней находится неоскорбляемая Марья Моревна, научите меня тоже, как можно работать без сладости ожидания последнего ответа. Вы-то как работаете по химии, неужели совершенно без Виты?

Амбаров сидел совсем другим человеком, бледный, как тогда в лаборатории после цианистого кали, верхняя губа постоянно вздрагивает в левом углу.

— Я, вероятно, — сказал он, — больной, есть такая страшная болезнь: я всю сладость вперед мгновенно выпиваю про себя.

Алпатов был поражен действием своих слов, и ему стало очень жалко этого большого и красивого человека. С нежностью, с большим участием он спросил:

— Но все-таки вы живете, сходите с женщинами, работаете много по химии. Как это вы можете совершенно бесстрастно переходить туда... по ту сторону добра и зла.

— По инерции, — ответил Амбаров, — но в химии у меня сладость не выпита, я всю вашу Виту разгадал, и все-таки интерес у меня не пропадает — это реальность. Я вам открою: это власть, и ее можно добыть только посредством химии. Я работаю над взрывчатыми веществами. Вы понимаете ли, что к власти надо пробиться без ордена, надо, чтобы не давали ее, а взять надо.

Лицо Амбарова исказилось, он наклонился к самому уху Алпатова и прошептал:

— В химии можно добыть такое вещество, начинить одну бомбочку и сказать: «Не подходите близко». Победим мы, химики, и среди химиков — я.

Не мысль, а бледное лицо с кривым, вздрагивающим ртом, и какое-то ужасное напряжение в глазах, и холод, — да, стало в жару холодно, — вот что страшно испугало Алпатова, он узнал сумасшедшего. Амбаров по лицу Алпатова догадался, что сказал лишнее. Он принял обычный свой вид франта второго разбора, засмеялся, делал вид: он пошутил.

В это время один грузный бурш из Конкордии так

внимательно, так нагло следил за качаньем ноги третьей жены Амбарова, что Алпатов с ненавистью стал смотреть на бурша, и тот это заметил. Амбаров шепнул Алпатову, наливая коньяк:

— Вы ему язык покажите.

Алпатов показал. Бурш вспыхнул. Алпатов еще показал. Бурш поднялся, подошел к Алпатову, подал свою карточку.

Алпатов подал свою.

ДУЭЛЬ НА ШЛЕГЕРАХ

В дуэльном уставе всех корпораций есть достаточный повод к дуэли: *вызывающе посмотреть* одному на другого — *provocierend ansehen*. И оно правда, если от человека спуститься к боям у птиц и более крупных животных: у них тоже почти всегда бой начинается с глаза, один петух посмотрел вызывающе на другого и клюнул на земле, и другой посмотрел вызывающе и тоже клюнул, еще раз, и бросаются.

Бурш из Конкордии на экстренном заседании буршенгерихта, конечно, утаил, что он сильно заинтересовался качаньем ноги дамы, сидевшей с Алпатовым, и что за это Алпатов два раза ему показал язык. Было совершенно достаточно сообщения, что Алпатов бросил вызывающий взгляд, и буршенгерихт разрешил дуэль с иностранцем. Секундант корпоранта, чрезвычайно вежливый молодой человек, явился к Алпатову и сообщил ему постановление буршенгерихта.

— Я не умею фехтовать, — ответил Алпатов, — а на пистолетах драться из-за такого пустяка смешно: я не буду.

— Нет, — ответил секундант, — мы деремся всегда на шлегерах, это не очень опасно, это вопрос чести, но не жизни. Буршенгерихт, предлагая вам дуэль, делает вам честь как иностранцу, — не со всяким *вильдером* буршенгерихт разрешает драться корпоранту. И вам будет дано шесть недель на изучение фехтования на шлегерах.

Алпатов очень вежливо, с улыбкой поблагодарил за честь, хотел было предложить извинение, но ему пришло в голову, что немцы не его одного, а всех русских будут считать трусами: это как будто неловко...

Он согласился и сейчас же отправился приглашать в секунданты Амбарова.

— Я буду вместе с вами учиться фехтованию, —

ответил Амбаров,— а сейчас я расскажу вам другую смешную историю.

Но история совсем не показалась Алпатову смешной. В какой-то сложнейшей формуле органического вещества, над которым Амбаров работал три года в Париже и Цюрихе, при вычислениях произошла ошибка, какое-то альфа-основание перепуталось с бетой, и вместо взрывчатого вещества получилась чрезвычайно прочная краска. Теперь за хорошие деньги Амбаров продает свое изобретение германскому правительству: краска защитного цвета для германской армии.

Алпатов подумал:

«Выдумка это, чтобы замаскировать вчерашнее признание».

Амбаров как будто догадался, о чем будет думать Алпатов и сказал:

— Так у меня обернулось, как у Мефистофеля: хотел сделать зло и сотворил добро для германской армии и для своего кармана. Но и у вас не лучше, мой милый: какая эволюция, давно ли вы проповедовали практический корректив в русской колонии, и теперь уже деретесь на дуэли с немцами-буршами. Если все будет у вас так быстро катиться под гору, то, возможно, к новому году мы будем с вами в родстве.

Последних слов о родстве Алпатов недослышал, потому что был очень смущен.

— Я не знаю, что делать,— сказал он растерянно,— если бы можно было как-нибудь избежать глупой истории... разве плюнуть?

— Можно и плюнуть,— ответил спокойно Амбаров,— но только зачем? Вся эта дуэль просто игра, не все же вам сидеть с книгами, постарайтесь немцу хорошенько накласть.

До этого Алпатову никогда не приходилось видеть Амбарова без ломанья: теперь он говорил, как старший, рассудительно и доброжелательно. И глаза его, спустившись к маленькому житейскому случаю, стали умными и расчетливыми.

Алпатов подумал:

«Я в нем ошибся, очень возможно, он играет зачем-то роль сумасшедшего, я серьезно принимаю, а он ломается».

— Покажите мне свою краску,— сказал он вслух.

Амбаров не только показал краску, но даже и бумагу с предложением германского правительства купить ее.

Алпатов окончательно решил:

«Представляется».

После того ему стало очень весело. Осталась позади эта страшная русская жизнь, где всю молодость отдают *идее*, где с презрением относятся к своему телу и даже не украшают его красивой одеждой. Алпатов немедленно отправляется в магазин с рыцарскими доспехами в витринах, покупает себе шлегер, проволочную маску, кожаный фартук и со всеми этими покупками идет по адресу, указанному секундантом противника. Учитель фехтования целых два часа подряд сажает ему синяки тупым шлегером на правое плечо. И все это кажется отличным. На другой день он сносно защищается, на третий ухитрился вклеить в маску противника свой шлегер с такой силой, что оторванная проволока насквозь пробила щеку учителя. Потом каждый день Алпатов выходит на улицу после фехтования, весело чувствуя, что все его тело по-своему как-то поет радостный гимн своему существованию и этому отвечает вкусный воздух.

Незаметно приходит назначенный день дуэли, и Алпатов идет туда уверенный, нисколько не думая, что поплатиться придется ему.

Кто видел когда-нибудь правильно подготовленный бой английских боевых петухов, когда на каждого блестящего черным пером, небольшого, но чуть не стального по крепости бойца поставлены значительные деньги и на это смешное петушиное смотрят серьезно страшно взволнованные люди, тому не будет новостью дуэль немецких студентов. В этих дуэлях все проходит, кажется, еще серьезней, чем в дуэлях с смертельным исходом на пистолетах, и это очень понятно: перед смертью люди могут шутить, но если не смерть, а обряд, то какой же смысл в шутке? Единственная опасность остаться без руки, если острый, как бритва, шлегер перебьет плечевое сухожилие *axillaris*, но и то едва ли это возможно: опытный Беспартийный с высоты бочки зорко следит за первой кровью, и как только крикнет свое «halt» — секунданты скрестят свои шлегера между противниками, доктор бросится, схватит своими пинцетами разрезанные концы *axillaris* и как-то по-своему устроит все к благополучию.

Как вынимают знатоки дела боевые шлегера из футляра и примеряются ими, как смачивают блестящие клинки карболкой и еще раз примеряются и шикарно пересекают острием клинка в воздухе волос: каждое движение

родилось в недрах природы, в петушиных, турухтаньих, оленьих боях — вот когда! — и потом сколько совершенствовалось, утончалось в Риме, освежалось варварами, переходило к рыцарям в средние века, блестело при луне у балкона испанки и в нашем военном строю при свете науки...

...Милый друг, я слышу военную музыку и пение:

Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг...

Все в моем доме бросаются к окнам. Вот впереди под звуки марша Буденного важно, сосредоточенно-серьезно идет красный командир и за ним в шлемах революционная армия, все молодцы один к одному, отлично здоровы, одеты и сыты. Никогда я не был военным, но все равно древнее чувство военного просыпается в моей природе, и тело покрывается гусиной кожей от волнения...

Доктор отлично озаботился проветрить большую залу для поединка, воздух свеж и чист. Секунданты с опущенными шлемерами подходят к Беспартийному и заявляют ему: «Все готово». Тогда Беспартийный становится на бочку и высоко поднимает свой шлем. Противники сходятся с открытыми лицами, плечами и грудью.

Все начинается с такой же осторожностью и затаенным волнением, как у петухов, вооруженных самой природой боевыми шпорами, тоже долго примериваются тот и другой, ожидая на себя нападения, думая: пусть он первый ударит, а я готов отразить удар и потом ударю по-своему. Алпатов первый не выдержал томительного дрожания шлемеров, и удар его стали о сталь рассыпался искрами. Корпорант с мясистой грудью, как у борцов, согнувшись, быстро отступает, парируя, Алпатов насккивает, стараясь сразу его утомить. Но почти уже у самой стены корпорант внезапно обрушивается на Алпатова, и тот, принимая на ручку шлемера удар за ударом, быстро отступает назад к стене и, так собравшись с силами, тоже нападает, и корпорант больше не хочет отступать. Теперь все должно скоро кончиться. Беспартийный не дышит, впиваясь глазами, секунданты приготовились при первом слове Беспартийного мгновенно скрестить шлемера.

Было одно мгновенье, когда блестящие глаза Амбарова, сверкнув, встретились с глазами Алпатова, и этого было довольно, чтобы шлемер корпоранта кончиком своим немного задел. Алпатов знал, что во рту у него где-то был кончик шлемера и, значит, дуэли конец. В это время и

противник, вероятно, заметил свой удачный удар, растерялся, когда не последовало «halt» от Беспартийного, и не успел парировать горизонтальный удар. Тогда закричал Беспартийный, и секунданты скрестили свои шлегера.

Алпатов выплюнул изо рта кровь вместе с зубом, у противника на груди широко развалились мускулы, заливая все кровью. Доктор спешит промывать и сшивать, секундант корпоранта с негодованием бросается к Беспартийному: первая кровь была у Алпатова, почему же он не остановил дуэли? Но оказалось, что первую кровь у Алпатова скрыли усы. Беспартийный прав: он кровь заметить не мог, потому что прямо же вслед за этим ударом сверху Алпатов ударил по горизонтали. Потом корпорант, не обращая на боль и кровь никакого внимания, просит пива и, улыбаясь, приветствует противника. Алпатов чокается с ним весело: прозит и мойн.

Вот этого в петушином бою не бывает: улыбку над всем происшествием и привет противнику прибавили люди.

А между тем *фуксы*, эти молодые члены корпорации, еще в черных декелях, *фуксы* первых семестров, *крассфуксы*, и старшие *брандфуксы* сдвигают столы, составляют один большой, во всю залу. Другие тащат свежую бочку, пробивают ее острием, ввинчивают кран, расставляют по всему столу зейдели. Собираются мало-помалу старшие корпоранты, полноправные члены конвента, в шитых золотом цветных декелях и с лентами на груди, корпоранты первых ступеней — *молодые дома*, корпоранты вторых ступеней — *старые дома*, третьих — *почетные головы* и вечные студенты, седеющие и лысые, много лысых, разные *филистры*, давно уже окончившие университет и сидящие на хороших государственных местах, но все-таки в цветных декелях, совершенно истыканных шлегерами на коммершах своей юности, и какой-то совсем старый филистр в чине действительного тайного советника.

Председатель ударяет по столу шлегером. Все поют старинную студенческую песню: «Ob Fels und Eiche splintern wir werden nichts erzittern!»¹ И пьют, и говорят приветствия филистрам отдельно, начиная с тайного советника, потом опять поют, и пьют, и говорят о неизменных традициях корпорации «Concordia», благодарят за поддержку почетных филистров, всех от высшего к маленькому, нисходя пирамидально.

¹ «Если даже скалы и дубы расколются, мы не задрожим!» (нем.)

Начинается *ландесфатер*. Все берут в руки по шлегеру, становятся парами — друг против друга, прокалывают остриями шлегеров свои цветные декеля и поют:

Декель я колю тобою,
Клятвою клянусь святою
Быть достойным и верным
Своей Альма Матер.

И когда ландесфатер окончился и фуксы внесли третью бочку и стали разносить филистрам, гостям и членам конвента первые ароматные зейдели тяжелого темного баварского пива, сменившие светлое саксонское, случилось маленькое происшествие, которое всегда неизменно случается и всех развлекает всегда: провинился маленький неопытный фукс.

Вина юноши не была так велика, и, пожалуй, ее совсем и не было, а только действительному тайному советнику вспомнилась его юность, когда он был тоже наказан, и ему захотелось пошутить с мальчиком. Юноша пронес мимо самых губ Алпатова зейдель с пенистым пивом и поставил перед тайным советником. Старому филистру было неловко перед иностранцем, и, чтобы загладить неловкость, он решил наказать крассфукса *ванценкуришем*. Все бросают в кружку несчастного фукса окурки, пепел, спички, объедки, всякую невозможную *клопиную* дрянь. Фукс на виду всех становится на колени, подносит эту кружку к своему рту. Только сразу выпить и отделаться, как все мы выпиваем касторку, фукс не может, он должен медленно *тянуть* ванценкуриш столько времени, сколько будет тянуться общее пение, а оно умышленно тянется долго на слове: *тяни*.

Der Fuchs, der hat
Verschiess gemacht
Zum Iierum, Iarum, leere,
D'rum bist du scheusslich ausgelacht
Zum Iierum, Iarum, leere,
Ziehe Fuchsschnautz, ziehe-a-i-a,
In Dreck bist du an die Knie-a-i-a,
Ziehe, Fuchsschnautz ziehe-a-i-a...¹

¹ Если фукс
Промахнется,
Лирум, лярум, лере,
Весь народ над ним смеется,
Лирум, лярум, лере.
Пойло веселей тяни-и-и,
Морду в лужу окуни-и-и,
Пойло веселей тяни-и-и... (нем.)

Последнее слово — «тяни» — на звук «и» тянется беспрдельно.

...Друг мой, обратите внимание, как часто в нашей стране бранятся *дураками*, и с детства я слышу даже от образованных русских людей о немцах, что они *дураки*. Никогда не называют у нас дураками французов, англичан, итальянцев, китайцев, японцев. Я так разбираюсь в этом противоречии, что *дураками* у нас считают главным образом людей, у которых традиция преобладает над личными качествами, что позволяет даже действительно неумному человеку провести неглупую жизнь. У нас наоборот, не имея возможности жить чужим умом с помощью традиции, наш дурак так исхитряется, что становится умным. А еще мы приладились юродствовать в положениях, плохо подчиняющихся действию разума, тогда как немцы устраивают и это разумно; я думаю о множестве немецких браков при содействии брачных газет, браков часто многолетних и совершенно счастливых. Точно так же невыносимо нам приспособление рыцарских традиций к современному бюрократическому строю в студенческих корпорациях, где тайный советник дисциплинирует маленького фукса в верных чувствах своему кайзеру и потом приготавливает ему местечко по службе...

Алпатов был оглушен глупостью всего происходящего. Не имея возможности даже посмеяться с Амбаровым, он стал быстро пить зейдель за зейделем золотое саксонское пиво, светлое берлинское, темное баварское.

— Тяни, тяни,— пели студенты во главе с тайным советником.

И Алпатов тянул. Другой маленький фукс, сменивший наказанного, зорко следил за ним, чтобы не попасться, как первому, и быстро ставил ему все новые и новые кружки. Последнее слышал Алпатов, как поперхнулся тайный советник и по-старчески раскашлялся...

Он очнулся поутру на чьей-то широкой двуспальной постели с золотыми шишками, под чистым пологом в кружевах. Рядом с ним спала молодая женщина. Изумленно всмотрелся Алпатов в спящую и с трудом понял злую шутку Амбарова: с ним рядом лежала та самая его третья жена, из-за которой происходила дуэль.

Старый друг, был у меня клочок земли, где я провел свое детство, я был страстно связан с этой родной землей и не хотел с ней расстаться. Близилась революция, умные люди, соображая, советовали мне поскорее продать чернозем. Конечно, я говорю о них *умные* в особом смысле, потому что действительно умными считают не тех, кто умеет соображать, а кто в состоянии обдумать все свои переживания и через это понять жизнь других людей. Я не продавал земли, потому что, казалось мне, мои неспелые мысли только здесь могут созреть и обратиться в плоды, необходимые всем. Но я не мог этого объяснить окружающим меня людям, взволнованным борьбою за землю. Я их сам когда-то поощрял в этом движении и потому скрепя сердце отдал свой удел без борьбы. После того, чтобы не утратить воспоминания о земле моего детства, я выдумал себе, когда не спится, прогулки по саду, вызывая в себе отчетливые представления каждого дерева, каждого куста, сонных белых ночных бабочек, облепляющих днем основания стволов старых лип, неизменно бывающих с ними красных с черным крапом жучков, пурпуровых пауков величиной с булавочную головку... Все это я, лежа на подушке, с закрытыми глазами, представляю себе как-то даже более ярко, чем было в действительности, и потом, как продолжение чувства природы, являются люди... Знаю, конечно, что все эти видения питаются болью, но ясность мысли при этом, углубленное понимание современности обогащают меня, вероятно, больше, чем если бы я теперь обладал любимым уделом. Скажите, друг, мудрее ли меня тот, кто, избегая боли, зная наперед, что всякая страсть вызывает потом страдания, вовсе не стал бы, как я, устраиваться на клочке земли своего детства? Я называю теперь эти мои новые чувства счастьем своим, я понимаю их как награду за мою боль, но скажите, неужели мудрее меня тот, кто не отдавался бы, как я, бессмысленно с доверием к жизни и заморил бы в себе заранее источник всякой боли и радости? Я не стал бы вас теперь об этом спрашивать, если бы мне не сопутствовал некто через всю жизнь, встречавший каждое мое свободное движение словами: «Грех, грех, грех!» Простите, друг, за это небольшое отступление, вызванное бессонницей. Так в этот раз вышло совсем неожиданное: я закрыл глаза перед сном, отправился в обычную мою мысленную прогулку по аллее,

где в действительности теперь стоит ряд новых деревенских изб, сел отдохнуть на несуществующую лавочку, вспомнил вас, начал беседу и... не могу больше заснуть. Вдруг вскакиваю с постели, говорю вслух: «Не надо спать!» Зажигаю лампу и начинаю свою летопись. Так я называю свои писания, потому что, мне кажется, я лет триста прожил, как ворон, и есть мне о чем рассказать.

В свете моих собственных переживаний мне теперь представляется неважным вопрос, было ли что-нибудь у Алпатова с женщиной в эту ночь. Униженный и раздавленный омерзительной шуткой человека, которому неосторожно доверялся, Алпатов, чтобы не разбудить спящую женщину, встает, одевается и выкрадывается на улицу. Время уже близится к полдню, всюду большое движение, все готовятся сегодня вечером встречать Новый год. Как видение из далекого, давно оставленного им мира Алпатов узнает идущую в толпе соседку его в лаборатории Розу Катценэлленбоген. И он решительно направляется к ней, потому что уверен сейчас — в этой рыжей еврейке с предназначенной ей как бы в самом рождении должностью провизора в пинской аптеке заключается и конец его унижения. Роза немного удивлена: почему Алпатов, оказавший такие необыкновенные успехи в химии, вдруг все забросил, куда-то исчез, что с ним происходит? Алпатов ей лепечет что-то и самому себе мало понятное. Они заходят вместе в одну маленькую кнейпе позавтракать, и тут Алпатов начинает объясняться более связно: химией он потому перестал заниматься, что физика обиделась, а когда занялся физикой, то — история человека, а все науки изучить невозможно.

— Если бы я была мужчиной, — воскликнула Роза, — я бы не тратила время даром, я бы за границей изучила, как осушать болота, и потом я бы наши Пинские болота превратила в плодородную страну. Нет, я не стала бы терять время на раздумье, что изучать: наше ученье здесь дорого стоит. Вы думаете, мало нас, фармацевток? — продолжала Роза. — Что можно заработать в аптеке? А инженер и еще болотный, торфмейстер, я думаю, в России может всего достигнуть, и себе хорошо, и людям самое нужное.

Алпатов, слушая Розу, в одно мгновение представил себе, что *сладость* занятий науками — это личное дело, и потому нельзя ни на чем остановиться, что смотришь в себя, думаешь о себе: сам живешь, переменяешься, и там

снаружи все переменяется. А вот если взять болота, как постоянную величину, как у Розы аптека, то действительно можно достигнуть бесстрастия и независимости. Но в то самое время, как он подумал о постоянстве болот, стала навертываться знакомая сладость на достижение независимости, та самая опасная сладость мечты, увлекающая его в беспредельность.

«А что, если закрепить свое решение сейчас, в этот миг навсегда и сделать предложение Розе?» — подумал Алпатов и посмотрел искоса, как она, доедая шницель, вычищала хлебом тарелку.

Выходит как бы ответ трудной математической задачи, ответ — факт: если только он сейчас сделает предложение Розе, то непременно и сделается потом болотным инженером и очень полезным человеком, и ему будет хорошо и совершенно покойно в ту же минуту, как получит согласие.

«Вот тогда все будет кончено», — подумал он в последний раз, чтобы вслед за тем сказать: «Я соглашусь сделаться болотным инженером и осушить потом Пинские болота, если вы согласитесь быть моей женой».

— Кельнер! — крикнула Роза.

Встала, уплатила, подала руку Алпатову и вышла. Так бывает — на один волосок от себя пройдет что-то огромное и не заденет: не судьба.

«Слава богу, не сорвалось у меня с языка, — подумал Алпатов. — Роза от меня никуда не уйдет».

Он загадывает, с места не сойти, пока не придумает какой-нибудь выход в постоянство сознания, кроме последнего несомненного средства — жениться на Розе. Медленно, чтобы только показывать вид, будто он пьет и, значит, имеет право оставаться на месте, тянет он из кружки пиво и думает, потом еще спрашивает кружку... Мало-помалу вместо думы ввинчивается боль и живет там, внутри, как дума, все растет и растет, переходит в полное чувство физической боли, как зуб болит...

Вспыхивают электрические лампочки. Два кельнера усиленно гремят, сдвигая столы, наконец с поклоном подходит хозяин и вежливо напоминает: сегодня здесь будет встреча Нового года, сейчас закрываются двери, но потом, вечером, он просит гостя пожаловать к нему лично, если только милость его будет, встречать с его семьей и обычными гостями Новый год. Потом, узнав, что Алпатов иностранец, хозяин кнейпе объясняет ему всеобщий

обычай в Саксонии угощать под Новый год всех, кто только бы ни зашел. И, конечно, хозяину особенно приятно будет почтить иностранца, который на чужбине вспоминает свою милую родину.

Алпатову сразу же после слов хозяина с небывалой силой и радостью вспомнилось русское Рождество, снега, узоры на окнах. Он очень благодарит хозяина и обещается. А хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии.

В этом внезапном явлении русского зимнего рождественского ландшафта было Алпатову что-то совсем новое, и он это нес в себе домой до самого момента, когда маленьким ключиком повернул замок своей квартиры. Обыкновенно он входил почти неслышно в свою комнату, и хозяйка никогда не встречала его, чтобы не показать виду, будто он ее потревожил. Но теперь, как только он отворил дверь, хозяйка выходит ему навстречу, и у Алпатова является предчувствие какой-то беды. И когда хозяйка прошептала, что у него сидит давно гость, тоже русский, сердце упало у него: он знал, какой это гость, что это Ефим наконец приехал за отчетом в его революционных делах, тот самый Ефим, который, казалось, всегда был ему на родине всех дороже.

Самое ужасное, что Ефим Несговоров ничего совершенно не замечает по лицу Алпатова и так же идет к нему навстречу, как было раньше, и это, что было раньше, представляется Алпатову необычайно прекрасным и как-то родственно связанным с тем, что шевельнулось у него в душе, когда хозяин пивной пригласил его встречать Новый год, что-то русское с праздниками, хотя Ефим праздников не признавал, с морозными узорами на окнах, хотя Ефим узоров никаких не видел и занимался только революцией... Все это промелькнуло мгновенно в одном объятии, хотя никаких объятий не было, и друзья только подали руки, и Ефим улыбнулся только глазами.

Алпатов неестественно ласковым голосом спрашивает:

— Ты меня долго ждал?

Ефим сразу чувствует неестественный тон и спрашивает довольно сурово:

— Где ты был?

Алпатов отвечает:

— Так... был в кабаке.

И все кончено, Ефим уже хмурится, уже догадывается. Спрашивает:

— Ты сделал что-нибудь?

— Ничего, — ответил Алпатов, точь-в-точь как в первом классе гимназии, когда показывал матери журнал и там были одни единицы и хотелось объяснить, что не он виноват, а несправедливые учителя.

— Значит, ты опять в худо-жест-ве? — сурово спрашивает Ефим.

— Значит, в искусстве, — отвечает Алпатов.

— И не хочешь работать?

Алпатов назло, как, бывало, учителям:

— Нет, не хочу!

Ефим поднимает голову и смотрит внимательно:

— Что это у тебя губа рассечена, ты упал?

— Я дрался на дуэли за женщину, — ответил Алпатов.

Ефим поднимается с кресла и, не прощаясь, идет к двери и на ходу говорит:

— Какой ты шалун!

Знакомая дверь там, в коридоре, захлопывается, запираясь автоматически.

Все кончено.

Случилось гораздо большее, чем Алпатов представлял себе, когда вгорячах отвечал Несговорovu, но он это не сразу понял и уснул в кресле, как будто ничего не случилось. А когда он просыпается, то ему теперь повторяется совершенно так же, как было, когда его исключили из гимназии. Быстро он одевается, выходит на улицу, идет по круговому бульвару и ничего не видит, впереди только темные стволы каштановых деревьев: все внутри. Выходило немного странным и нелогичным, ведь вместе с этим Ефимом они с детства отрицали все, что называется *родным*, праздники с попами и иконами, русские неудобные телеги, сохи, овраги — все, даже над русским морозом смеялись всегда, вспоминая: «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». А теперь все это явилось прекрасным, почему-то неразрывно связанным с Ефимом и вместе с ним теперь утраченным. Алпатов и теперь не знает в своем словаре *родины*, но ландшафт является ему картиной, которую, кажется, если бы можно в темноте, он точно бы нарисовал, и при этом все располагается в этом ландшафте под музыку.

Далеко где-то молотилка, будто пчела гудит. А в лесу настоящая пчела летит за последним взятком, будто

молотилка вдали гудит. Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, *бунчит*. Миновал перелесок, спустился в низину, вспомнилось ее необыкновенное старинное название: *ендова*. Тут, в ендове, люди в овчинных тулупах перележали холодную осеннюю ночь возле своих лошадей. Люди эти просты, как полевые звери, и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала. А за ендовой уж начинается чужой лес, и тут ему встречается обрамленный осенними цветами деревьев светлый водоем, как затерянное начало всего прекрасного на свете. Тут с разноцветных деревьев, кленов, дубов, ясеней и осин, юноша выбирает самые красивые листы, будто готовит кому-то цвет совершенной красоты. «Друг мой, — шепчет голос, посвящающий в тайну, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, действуй тут силой, почерпнутой из источника, и дожидайся в отважном терпении, когда голос мой позовет тебя принять свет прямой».

В полях сгущается мрак, и в душе в ответ большая тревога, что не найти потом больше никогда эту тропинку к светлому источнику. Но тьма не наступила: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднялась большая луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках. Вот тишина! Как пустая, *бунчит* под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли, невозможная красота является в ярких сумерках, и великий художник, управляя волшебной переменой цветов, говорит:

— Юноша, земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется на ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит непременно весна с любовью, и весна — это наше, это главное, из-за чего живут на земле. Цвет — это наше, это — явное, это — день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия!» Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста.

Другой одинокий человек шел по круговому бульвару с другой стороны и против фонаря стал у дерева, как будто не решаясь идти дальше. Больше никого и не было на

бульваре, все люди, встречая Новый год, зарылись в своих каменных муравейниках. Но вот раздаются шаги, и такой же одинокий человек подходит к тому же самому дереву и фонарю. Алпатов очнулся и, увидев другого, узнал то самое место, где сегодня звали его встречать Новый год. Тогда ему показалось, будто это приглашение к встрече праздника каким-то образом связано с его новым чувством особенной своей музыкальной родины и что он непременно должен быть в этом уличном кабачке. А другой тоже идет туда после раздумья, спускается вниз по каменной лесенке; при свете фонаря видна его скромная одежда рабочего человека, борода большая, как у русского. Алпатов спускается вслед за ним...

Не узнать пивную, в которой сегодня же был, все устроено, как будто это внутренняя комната какой-то семьи. Барышня, вероятно, хозяйская дочь, встречает его приветливо, как знакомого, просит раздеться, гости приветствуют его приход, другая барышня играет на пианино, а третья вот уже подходит к нему с подносом, просит взять его стакан с горячим вином. Он узнает за столом рядом с ним только что встреченного им на бульваре пожилого, в бороде, рабочего и прямо обращается к нему, как будто они с ним давно знакомы, и кажется ему, как на родине, вот сейчас, совершенно как там при встрече с незнакомым человеком, начнется душевный разговор о самом близком. Алпатов спрашивает его так же, как и на родине все спрашивают, откуда он, чем занимается.

Но с виноватой улыбкой наклоняется к нему старый человек и просит погромче сказать: он глуховат. А когда понимает вопрос, вот как он просветлел, вот как приятно ему рассказать о себе. Он глуховат, потому что весь день сидит в котле и пробивает дыры, в этом его дело, всегда грохот.

— У вас громкое дело, — посмеялся Алпатов.

— Что же делать? — смеется старик. — Я ничего другого не умею, но есть работы куда хуже моих, мне теперь хорошо.

— Как же хорошо, если вы теперь глохнете от этой работы?

— Это не беда, а была раньше у меня жена и три дочери: вот было трудно. Жена умерла, дочерей всех я выдал замуж, теперь стало легко, очень легко и хорошо. Я теперь даже книги читаю и думаю. А вы тоже имеете возможность читать и думать?

— Я всегда думаю, я с колыбели думаю,— ответил Алпатов.

Рабочий очень обрадовался:

— О, какой вы счастливый человек! Но чем же вы таким занимаетесь, что у вас есть возможность постоянно читать и думать?

Алпатов ответил не ложно, он в эту минуту как бы подписывал вексель с обязательством непременно расплатиться за свои слова.

— Я торфмейстер,— сказал,— я осушаю болота в России.

— Очень хорошо,— обрадовался старик,— в России, наверно, много болот.

Алпатову есть о чем рассказать. В России есть целые большие края, почти как Саксония, под болотами, и очень возможно их обратить в золотые луга, есть огромные залежи торфа, спящие богатства, которые от избытка своей силы летом вечно дымятся и помрачают свет солнца...

Старик сказал:

— Да, вы счастливый человек, вам есть над чем подумать. Но и я скажу прямо: теперь и мне ничего, теперь и у меня тоже есть время о многом подумать...

А стрелка часов мало-помалу подходит к двенадцати. Все три дочери спешат поскорей обнести гостей новыми стаканами глүвейна. Вот начинается бой часов, все поздравляют друг друга, и пьют, и опять наливают стаканы, начинают говорить речи. Алпатов тоже встает, извиняется за свой нечистый язык: он иностранец, он русский... Долго не понимают гости, о какой это говорит иностранец волшебной зеленой стране. В этой волшебной стране странник идет даже по обыкновенным дорогам, и в жаркий день над ним склоняются деревья, обремененные сочными плодами...

— Да это у нас,— вдруг догадываясь, перебил речь иностранца старый котельщик.

— У нас! — обрадовались все.

И бросились поздравлять и обнимать иностранца.



ЗВЕНО ВОСЬМОЕ

БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ

ПУД СОЛИ

Пуд соли съесть, чтобы человека узнать, — плохая мудрость в Европе, где в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с людьми и произносить одно только слово: «Mahlzeit!»¹. Можно и так устроиться, что ежедневно будешь говорить за столом, вечером будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так вместе съесть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным. Так жил несколько лет Алпатов на Штернвартенштрассе в Лейпциге в семье одного покойного, известного далеко за пределами Германии композитора. Семья была: вдова музыканта-профессора, сидящая дама с живыми глазами, и студент консерватории, сын ее, для которого она и жила. Не раз, конечно, Алпатов говорил

¹ Приятного аппетита! (нем.)

в этой семье о своем плане работать в России торфмейстером, и ни разу никто не поинтересовался интимными причинами выбора им столь скромной профессии. Однако вопрос этот, наверно, не раз уже висел на кончике языка профессорши, и когда наконец она об этом спросила, то поговорка о пуде соли явилась неверной своей стороной. Случилось это под самый конец курса болотных наук. Алпатову оставалось на своем дипломном проекте гидроторфной машины сделать циркулем мельчайший красный кружок. В чертежной, однако, не находится даже крупинки для этого необходимого кармина. В системе подшипников, где красным кружком подчеркивалось изобретение самого Алпатова, невозможно было ничего так изменить, чтобы обойтись с помощью туши. И вот из-за такого-то пустяка пришлось ехать домой за кармином. В этот час профессорша завтракала в одиночестве. Увидев Алпатова, она очень обрадовалась и просила его побыть минутку с ней за столом. А когда Алпатов сообщил ей, что ему остается только один кружок сделать циркулем и он может наконец-то ехать на родину, то вот тут и спросила профессорша, в какой губернии находятся его болота, сколько их в его владении. Алпатов ответил: в его владении нет ничего. Профессорша глубоко посмотрела на него и сказала:

— Мне казалось, я довольно вас знаю, и думала до сих пор — вы отдаетесь этому скучному и как будто несродному вам делу или как крупный собственник, или как друг человека. Скажите, осушение болот должно сильно изменить жизнь ваших бедных крестьян?

— Мне кажется, — холодно ответил Алпатов, — вы очень ошибаетесь, предполагая, будто хорошо меня знаете: я занимаюсь этим делом по личной склонности.

Тогда у пожилой женщины с молодым инженером произошел разговор.

Профессорша. Такие инженеры, как вы, бывают только у Ибсена.

Алпатов. А какие инженеры у Ибсена?

Профессорша. Инженеры, строители, банкиры, священники у Ибсена все поэты, это даже не легенда о людях, а как бы легенда о легенде норвежских туманов. Так и у вас, мне кажется, ваше болотное дело родилось не в жизненной необходимости, создано в молодой фантазии.

Алпатов. Без фантазии невозможно никакое дело, и притом, я думаю, существует единство жизни: если бы

ваш гениальный в музыке муж не узнал бы о себе как музыканте и занимался бы осушением болот, то и тут сделал бы все не по рутине, а как-нибудь совершенно особенно и прекрасно.

Профессорша. Едва ли. У него были слабые легкие, болотный воздух убил бы его раньше, чем он мог бы что-нибудь сделать. Наша жизнь очень коротенькая — все в этом, и потому надо как можно меньше уклоняться в сторону от своих природных склонностей.

По смущенному и грустному лицу Алпатова профессорша вдруг заметила, сколько она лишнего наговорила.

— Простите меня, господин Алпатов, — сказала она, — я никак не хотела вас задеть и сделать чем-нибудь больно, вспомните, как хорошо мы жили с вами изо дня в день три года.

Алпатов встал, наклонился к руке профессорши, и она поцеловала его в лоб.

Ему стало, однако, не совсем по себе от разговора. Захватив с собой кармин, он вышел на улицу и остановился в ожидании электрического трамвая. По молодости этого дела в то время трамваи ежедневно много давили людей на тесных улицах. Вероятно, теперь как раз и случилась одна из этих катастроф: трамвай не показывался. В далеком конце улицы, как в окошке, явилось на небе летнее круглое облако — первый признак февральской весны. Это облако перенесло Алпатова к далекой его весне света, когда он, глядя в окошко тюрьмы или шагая по камере, отмечал себе каждый миг в движении весны света, потом весны воды, зеленых растений и дожидался себе самому весны человека. Облако было очень знакомое, росло, поднималось, как лебедь, звало сорваться с места, лететь в синий мир. И что же? Единственным препятствием к этому полету теперь была только обязанность поставить на чертеже маленький кружок кармином. Не тюрьма с железными решетками держала человека в плену, а какой-то самолюбивый кружок, весь смысл которого был — подчеркнуть свое собственное пустяковое изобретение. Между тем со стороны, противоположной трамвайному ходу, идет деревенский омнибус, и если сесть в него, то и будешь через малое время в том самом мире, где плывет облако-лебедь.

Алпатов входит в омнибус, и вот такие странные явления происходят в больших городах: там не старухи

с корзинами, как обыкновенно бывало, а все только молоденькие девушки. Алпатов не придавал этому значения и в рассеянности приписал преобразование вагона силам весны. Среди этих девушек была одна с лицом, закрытым зеленой вуалью. Никогда без волнения Алпатов не пропускал лиц женщин в зеленых вуалях, но теперь почему-то отвернулся к окошку, хотя эта девушка смотрела на него упорно. На ближайшей остановке входит рабочий в синем и, вероятно, прямо с большой, очень тяжелой работы: весь омнибус наполнился запахом рабочего пота. Некоторые девушки, переглядываясь, зажимают носы, другие догадываются уйти на площадку. Освобождается много места, рабочий садится против Алпатова.

— Вот как просто можно себе место добыть, — говорит Алпатов.

Рабочий добродушно усмехается. Так даже годы жизни в Европе не могли отучить Алпатова от внимания и сочувствия рабочему человеку. Он сказал:

— Вот наши дамы в России привыкли ко всяким духам.

И в то же самое время девушка с зеленой вуалью сказала по-русски:

— Вы русский?

Алпатов обернулся.

— Я узнаю вас, — сказала девушка, — вы Алпатов — я помню ваш голос, едва ли только меня вы узнаете...

— Нет, — ответил Алпатов, — я узнаю: вы приходили ко мне в тюрьму.

Алпатов пересел к ней и забыл про рабочего.

Вероятно, так зимующие птицы в далеких краях находят друг друга и потом уносятся в брачном полете на места гнездования.

БАХРОМА

В голодное время, бывало, после котлет из картофельных очистков попадет из деревни кусок настоящего ржаного мужицкого хлеба, и тогда в его вкусе и аромате была вся моя любимая земля, и тепло, и свет нашего общего солнца. Я загадывал тогда на случай, если снова начнется для меня легкая жизнь, сохранить в себе хотя бы воспоминание первого вкуса самого простого плода земли, а что сверх этого будет доставаться, то принимать только с благодарностью за свое исключительное счастье жизни.

Вот бы такой силой чувства жизни первой любви люди понимали, что родником и всей нашей желанной большой *сложной* любви был наш первый брачный полет. Вот тогда бы, я думаю, исчезло у нас разделение, как в хлебе на черный и белый, в любви на духовную и животную, мы бы тогда в любовном пробеге зверей и в брачном полете птиц узнавали нашу любовь...

Алпатов ужасно был голоден.

Когда Инна подняла вуаль, едва ли он мог заметить какую-нибудь особенную красоту ее лица. Напротив, ему даже мелькнуло: «Только-то, неужели это и все!» Но было это только в момент замешательства, как бы при мгновенной остановке стремительного движения. После того ему скоро стало, будто он в кругу своих родных людей, где хочешь — говори, хочешь — молчи, и все хорошо. Но самое главное: «у меня теперь, как у всех», и что «я теперь человеком стал».

Они идут по шоссе к горизонту, где все кучней нарастают облака-лебеди первой весны света. И, верно, Инна была тоже сильно голодная, а то почему же она совершенно забыла — и зачем приехала в Лейпциг, и зачем ехала куда-то с девушками в omnibusе, и куда теперь с ним идет.

Впереди на их пути вырастает саксонская деревня, как маленький белый город. Там они себе находят большой пустой Tanzlocal¹ и садятся за столик завтракать, двое во всем помещении. Старый хозяин и его жена подают вместе, он — вилки и ножи, она — тарелки. И когда подано все, они, опытные люди, исчезают, как будто и вовсе их нет, но, конечно, откуда-то все наблюдают, и старуха сразу же недовольна: молодой человек принимается крутить бахрому ее самой парадной скатерти.

Алпатов рассказывает все, что с ним было после тюрьмы. Как узнал он ее адрес в Берлине и явился к пасторше Вейсс всего час спустя после отъезда ее в Йену и как по пути за ней ему привиделась Зеленая Дверь и показалась Зеленая Германия. Потом лесник проводил его к профессорше Ниппердай, и тут он нашел ее белую шаль и помчался на велосипеде догонять ее по удивительно белой дороге. А белая, шитая гладью шаль и теперь у него...

Вдруг, очень смущенный, Алпатов опускает глаза и, умолкнув, с большим старанием начинает крутить жгутики

¹ Помещение для танцев (нем.).

из бахромы самой парадной скатерти. Инна тоже очень усердно крутит с другого конца.

— Что же это такое? — шепчет хозяйка своему старику.

— Ничего, — отвечает хозяин, — ты вспомни, Alte, наше время, как мы с тобой тоже крутили!

— Дальше, дальше! — настойчиво просит Инна.

— Я приехал в Дрезден на пароходе, и тут все кончилось.

— Почему же все кончилось?

— Она уехала в Париж.

— А он почему не уехал?

— Не мог.

— Не верю, так не бывает: так никогда не кончается.

А между тем руки, свивающие жгуты, подходят к середине, встречаются. Инна, бросив крутить, берет его за руку.

— Ну, милый, прошу: вы не знаете, как мне все это дорого, я первый раз в жизни себя *человеком почувствовала*.

— Я то же самое сказал это себе еще на дороге, но как же это вы говорите в *первый раз*?

Инна широко открыла глаза.

Алпатов смешался, и ему почудилось, что Инна может опять от него ускользнуть, и что надо сейчас же принять какие-то меры, и что меры эти — единственное и простое: надо все рассказать, как бы ни было это стыдно, смешно и до крайности глупо.

— В гостинице на берегу Эльбы, — сказал он, — мне ответили: «Русская фрейлейн обедала с молодым шведом...» Помните?

— Помню, да, я обедала с шведом.

— Я спешу в Дрезден за ней, и мне говорят: Инна уехала с молодым шведом в Париж.

Он снова умолк. Она требует:

— Дальше!

— Ничего не было дальше: она уехала с молодым шведом, вот и все. Я бы давно все это смешал с моими снами, но у меня сохраняется белая шаль.

Тогда наконец Инна все поняла и сказала:

— Шведа не было.

Нет, у нее никого не было. А вот что случилось тогда. Она в ожидании парохода в Дрезден прогуливается в парке. На лавочке в мучительных судорогах корчится молодой

швед. Она очень хочет помочь ему, но он может объясняться только на родном языке, и понимает она из его речи только два слова: фрекен и аптека. Наконец у него явилось французское слово, и она понимает и приносит ему из аптеки слабительное. Вскоре причаливает пароход и появляется швед, очень веселый. В Дрездене она была с ним в Цвингере, потом ехали вместе до Брюсселя. Там он вышел из поезда, и с тех пор она его не видела, но всегда вспоминает при расстройстве желудка.

Бахрома на скатерти вся покрывается жгутиками, и на жгутиках начинают появляться узелки. Спасая скатерть, хозяйка выдумала прислать к ним цветочницу с розами: займутся цветами и перестанут крутить. Прекрасные это были розы, огромные, только совсем почему-то не пахли. Говорили много о розах, но все не переставали крутить. И в сумерках были они, казалось, уже совсем близко в полете своем, как у птиц, к местам гнездований, но тут в сумерках явился омнибус, и родная земля стала опять далека.

Ехали вдвоем на площадке и молчали. Это было не на родине: там, если только придется встретить человека, он скоро явится непременно опять. Тут оставить друг друга — проститься, может быть, и навсегда. Но тем хорошо на чужбине, что тут они сами с собой, вожатый видит только путь и не понимает совершенно по-русски. Тут можно вдруг сказать все и, если не будет ответа, навсегда без стыда разлететься. Но все-таки почему-то до крайности страшно, и вспоминается, будто где-то в мире ином тоже совершенно так же скакнул в неизвестное.

Друг мой, быть может, это и не было в мире ином, а где-нибудь очень близко, только у очень отдаленных от нас по своему образу жизни существ. Вот я давно следил за гнездом городской ласточки над окном в шестом этаже и долго не мог заметить последний момент, когда птенец, не учась полету, бросается вниз головой над каменной бездной. В этом году наконец-то я не пропустил случая, все видел: и знаете, я из этого птичьего мира перенесся в наш человеческий и думал: «Пусть у нас нет крыльев и живем мы совсем по-иному, но все равно, мы сохраняем свою древнюю птицу в себе и тоже, чтобы стать вполне человеком, хоть раз в своей жизни должны, как птица, броситься в бездну».

С Алпатовым было как с малым птенцом, тоже он почувствовал время свое, силу и вдруг все сказал.

Она молчит. Омнибус останавливается почти напротив ее дома. У калитки она спрашивает:

— Что же делать с этим, как быть?

Он решается на последнее:

— Вы мне об этом писали в тюрьму, я помню, вы писали по-детски: «Мы поедем за границу и будем жениться». Мы теперь за границей и «подросли».

Потом, оказалось, необходимо было разделить между собой розы и опавшие при этом листки крутить дрожащими пальцами.

В это самое время в деревне, где они были, хозяйка возится над скатертью, развязывая узелки, и ворчит.

— Вот накрутили!

А добрый хозяин ее успокаивает:

— Зато как хорошо заплатили. Ты только вспомни, Alte, сколько мы с тобой в наше-то время намяли белья.

Они поцеловались совсем неумело, только чтобы не говорить. И это еще была не волна любви, а только повеяло ветром, от которого рождаются волны.

РОЖДЕНИЕ ВОЛНЫ

Правду ли говорят, что трагические скалы на берегу Черного моря в Симеизе, «Монах» и «Дива», теперь от землетрясения исчезли под водой? Когда-то, помню, влюбленный доктор сидел возле этих скал, и мы вели с ним беседу о любви и взволнованном море. Мне всегда было как-то странно думать о врачах, понимающих любовь как абстракцию закона размножения, — что эти люди могут быть тоже влюбленными. Я шутя сказал об этом доктору, а он серьезно стал мне говорить о природе волны, что вода, составляющая волну, не бежит, а только на месте колышется, что нам это кажется только, будто волна бежит: на самом деле бежит только форма волны.

— Половое чувство, — говорил влюбленный доктор, — это вода, а сама любовь — это перебегающая форма. Как врач я имею дело с водой любви, как личность я творец формы своей единственной в мире волны.

Мне тогда рассуждение влюбленного доктора очень понравилось, вдруг стало понятным, почему о любви десятки тысяч лет все думают и никто о ней не может сказать до конца: ведь все волны разные, а каждый поэт говорит только о своей неповторимой волне, и так без

конца, и так после гениальных романов у каждого остается возможность сказать новое о своей собственной форме волны.

Я сказал об этом доктору, и он очень удивился моей робости писать о любви:

— Сколько угодно пишите, и все будут читать. Из волн складывается лицо океана, из ваших поэм лицо человека, и этому нет и не будет конца, пока будет жизнь на земле.

Сколько раз в эти годы было: ночами Алпатов вскакивал с постели, обвязывал голову мокрым полотенцем и так до утра ходил по комнате из угла в угол, как в тюрьме. И сколько раз, встречаясь на улице с глазами каких-то женщин, он в этом зеркале узнавал свой ад и, вспыхнув, опускал свои глаза и отходил. Верней всего бессознательно, как девушка — *честь*, он берег так неясную силу из этого создать свою единственную в мире волну.

Долго сидит Алпатов в старом кресле профессора и не может перейти спать в другую комнату, где он оставил букет своих почему-то не пахнущих роз.

Проходит новое свое нескитанное время. Звонят в ушах серебряные колокольчики. Нет, он не спал, это ему не во сне приснилось, в другой комнате есть доказательство — большие роскошные непахучие розы. Посмотреть бы на них... Открывает дверь и, не видя роз в темноте, чувствует аромат во всей силе: розы не пахли на холоде...

Друг мой, неповинны розы в их аромате, дурные, испорченные и слабые люди создали из этого *грех*. Розы в эту ночь преобразили свой *грешный* запах в чистейший аромат краски новой, детской лошади из папье-маше и перенесли спящего в ту пасхальную ночь, когда маленьких укладывают в постельки с пологом, уходят к заутрене и возвращаются в темноте. Спящий знает о каких-то радостных таинственных приготовлениях. Он просыпается, когда старшие спят, а в комнате солнце, и по удивительному аромату догадывается. Выглянув из-за полога, сразу видит он — не ошибся: это большой новый конь в седле и с уздечкой стоит и пахнет возле кровати. Тогда в великом восторге он тащит коня к себе на кровать.

В первой любви, дорогой мой друг, всегда возрождается детство, и такое прекрасное, каким оно не бывает в действительной жизни. У меня есть подозрение, что и великие мечтатели счастливую жизнь дикарей *на лоне природы* взяли из нашего первого брачного дня...

В такое утро Алпатов проснулся не обыкновенным

капризным ребенком, устремленным к лошадке, а ребенком, готовым обнять весь мир любовью; не лошадка, а человек ему близок и дорог. Нет, едва ли у кого-нибудь в действительном детстве бывает такое звонкое утро. И если бы не каждый порознь, не в разные сроки, а все в один день переживали такое, то давно бы в одном дружном усилии вдребезги разлетелась вся наша Кашеева цепь.

Алпатов взглянул на часы. Оставалось всего только сорок минут до новой встречи у того же самого прекрасного омнибуса. Вместе с кофеем подают ему на подносе маленькое письмо. Он пьет, положив перед собою часы, и не обращает на письмо никакого внимания: это после, как-нибудь на ходу.

Все моряки говорят, будто крысы предчувствуют гибель судна. Я это понимаю, очень может быть в некоторых случаях крысы как-нибудь по давлению атмосферного воздуха узнают нам непонятное.

В этом маленьком письме была мина Алпатову, и он совсем не предчувствовал взрыва. Мина лежала, смотрела на него, а он пил кофе с сухарями и видел только стрелки часов. Уже в пальто и шляпе на ходу берет он письмо и читает:

«Не думайте только, что я вас обманула вчера. Я искренно увлеклась вашей сказкой. Но я не та, которую вы любите: вы сочинили сами себе невесту и почти ничего не взяли для этого из меня действительной. И я тоже не могу полюбить вас в один день. Прощайте. Ночью я уезжаю».

Алпатов уронил письмо и побежал на улицу, в тот дом, где вчера он с Инной расстался. Не может быть, она не уехала. Но ему ответили в доме: она уехала ночью.

И вот это волна. Да, это родилась и побежала волна.

МИКАРЭМ

Был туман в Лейпциге. Звук рожка омнибуса в холодном тумане звал родным голосом к вчерашнему ясному дню. И Алпатов шел по сигналу друга на то самое место, где вчера ему явилось облако-лебедь. Но там не было друга. Он ехал в том же самом вагоне — в нем были только старухи с корзинами. В деревне добрый хозяин спросил, почему с ним сегодня не пришла его милая барышня. Он ответил:

— Барышня боится холодного тумана, сегодня барышня очень больна.

Через несколько дней в солнечное утро, бледный, с темными кругами на лице от бессонницы, он опять в этой деревне, и хозяин опять спрашивает:

— Сегодня солнечное утро, почему с вами опять нет милой барышни?

— Добрый хозяин, не спрашивайте больше меня: барышня умерла, я сегодня уезжаю на родину.

И после того он решительным шагом направляется в город. Там в чертежной ставит циркулем последний кружок на дипломном проекте. Покупает билет в Москву, прощается с профессоршей.

— Ничего плохого — я встретил друга из России, мы с ним покутили и сегодня вместе едем в Москву.

Идет наверх за вещами, а профессорша снизу кричит:

— Не забудьте: там на столе заказное письмо из Парижа.

Так прибежала вторая волна и опять поднимает наверх, и опять форма и тело волны сливаются вместе, и снова кажется — волны быстро бегут и можно довериться им, и унесут эти волны куда-то к началу и своего собственного, и общего всем, и небывалого, и вечного мира.

Барышня жива!

Она пишет ему неверным почерком с кляксами о каких-то своих учебных Людовиках в книгах, что все они полетели у ней. Но она и *пальцем не шевельнет* для своего счастья. И кончает письмо: судите меня...

...Видите, друг мой, она просит судить. Сколько лет проходит у нас, пока можно бывает об этом судить, а я и теперь не свободен ранней весной: вместо суда весной света в предрассветный час на морозных узорах окна протеплю себе дырочку и смотрю почему-то в восторге на соседку бабу-ягу, отправляющую ухватом в печь чугуны; везде из труб большими колоннами поднимается дым: мало-помалу бледнеет молоденький месяц и с ним его большая звезда, — я давно знаю эту звезду, и видите, какой я смелый, я говорю: «Это моя звезда».

В этот заутренний час я приветствую не совсем ясно доступную моему уму силу стоящего надо мной всеобщего родства и, не зная, кого благодарить, вспоминаю близких людей и особенно ту маленькую женщину, через посредство которой явилась и эта звезда. Она доверчиво мне отдавалась и тоже шептала: «Судите!» Теперь, в этот заутрен-

ний час без суда и раздумья, как исток лучшей творческой силы людей, приветствую глупость влюбленных, когда не только люди, но и растения, и животные, даже каменные планеты являются как родные существа и совершенно исчезают враги, и все человечество, и паровозы, и аэропланы, и фабрики, и города представляются без враждебных слагаемых, как общее дело.

Мчится, мигом пересекая маленькую Бельгию, экспресс Французской республики. Алпатову не только этот экспресс, но и целые государства, Германия, Бельгия, Франция,— его земля, весь мир — это Я и мои близкие. И как думать о парусе, несущем судно вслед за бегущей формой волны,— разве это не благословенная сила? И пар. несущий экспресс почти с быстротой птицы,— это разве не та же самая невидимая сила любви? И парус, и пар, и челнок, и экспресс, и Россия, и Германия, и Бельгия, и Франция, и весь мир, и все миры соединяются, вселенная плавится, и вся она вселенная — это Я сам и мои близкие.

Случайно сошлось, но при этом всегда что-нибудь сходится и кажется чудесным. У Алпатова так сошлось, что влетел он в Париж в тот самый день, когда каждый француз сходит с ума и бросается веселиться со всеми на улицу.

У нас в половине поста одни коты кричат на улицах и лезут на крыши. Французы в середине поста обрывают молитву и труд, все выходят на улицу выбирать себе королеву красоты из прачек, как будто хотят заявить князьям всего мира, что красота больше породы, и попам, что красивая прачка сильнее поста.

У нас в это время в нашей пустыне по утрам царит иней, а потом, позднее, когда иней сойдет, в лучах солнца дрожат, переливаясь всеми цветами, ледяные иголки и сверкают снега. У них уже греет апрельское солнце, и вместо ледяных иголок в воздухе носятся радужные тучи конфетти. Синица и овсянка у нас только-только начинают петь брачным голосом, у них на улицах поют, играют на скрипках и многие прямо возле кафе и пускаются в пляс.

Невозможно в этой французской живой толпе продвижение. Русский спускается с верхней площадки тяжелого омнибуса по лесенке. Русский только по горю своей родины не знает таких больших праздников, но зато теперь на чужбине падает цепь, и он бросается в толпу искать свою королеву.

Какая-то роскошная дама с султаном из белой цапли на

шляпе, с двумя кавалерами в цилиндрах, обнажив блестящие зубы, швырнула ему прямо в лицо горсть конфетти. Что же, мало ей двух, или, может быть, никого ей не нужно, и, как солнце, равнодушно и щедро она всем равно бросает лучи? Вовремя протянулась к Алпатову рука с пакетом, он схватил его и обсыпал красивую женщину с головы и до ног цветными кружками. Она засмеялась, и кавалеры слегка поклонились.

Возле открытого кафе немолодой человек с усталым лицом, но живыми глазами играл на скрипке. Алпатов дает ему мелочи и спрашивает грамматически очень верно построенной фразой, где ему тут можно выпить немного, и не желает ли музыкант тоже выпить рюмочку и закусить. По усталому артисту пробежал ток жизни, он весь встрепнулся и, взмахнув смычком, кончиком очертил воздух и заключил весь Париж в магический круг: весь Париж у иностранца в полнейшем распоряжении. Но далеко ходить незачем, они садятся тут в открытом кафе, и француз после рюмки абсента называет Алпатова другом.

Видел ли уже прекраснейший иностранец королеву северных кварталов Парижа?

Нет, он не видел еще. Он приехал сюда искать свою королеву. Это вполне понятно: у каждого молодого человека должна быть своя королева. Знает ли он ее адрес?

Адрес известен.

Музыкант смычком постучал по столу и вызвал курьера.

Алпатов пишет письмо своей королеве, просит ее прийти... но куда же прийти? Он совсем не знает Парижа. Спрашивает музыканта, где самое лучшее место для свиданий в Париже. Друг задумался и переспросил:

— Вы желаете непременно самое лучшее?

Получил ответ и снова задумался. И это, правда, невозможно трудный вопрос: в Париже такое множество мест для свиданий и все одно лучше другого.

Вдруг ему что-то мелькнуло. Он срывается с места. Поручает свою скрипку попечению друга, извиняется: он сию минуту ответит.

Недалеко он ушел. Тут же против кафе из-под железного цилиндра на ножках вроде огромной конфорки, на которых у нас варят варенье, видны его ноги. Несколько секунд он думает, стоя в этой жаровне, и является оттуда, не помыв даже рук, совершенно счастливым.

— Я нашел, мосье, для вашей королевы самое подходящее место.

Алпатов спросил коньяку. Артист выпил.

— Берите перо, пишите место свидания: Люксембургский сад, фонтан Медичи.

Алпатов отправляет курьера.

— Я всегда замечал, — говорит довольный артист, — самые прекрасные мысли приходят в голову, когда занимаешься этим маленьким и необходимым для каждого делом.

Он указал смычком на жаровню, где уже виднелись ноги другого мыслящего француза.

Растаются. И нет, Алпатов не ошибается, нет: лицо музыканта стало серьезным и усталым по-прежнему, в глазах музыканта неподдельная грусть, что они должны так скоро расстаться.

ЛУЧ ПАРИЖА

У них это бывает в феврале, а у нас только в половине апреля, когда почти все растает в полях, на южных опушках лесов солнечный луч как бы впивается в землю, на пути своем сушит листву, и мелкая зимующая в листве тварь шевелится, оправляет крылышки. Луч проникает все глубже, лезет сморчок... Тут не бывает, как у нас, долгой весны света с февраля и потом весны половодья до половины апреля, и если приходит любовь, то минута этой любви в Париже отвечает за час. У них, наверно, к этому привыкли и знают, как обойтись, когда вдруг в это время начинается пожар. Наш северный человек в Париже даже от ресторанной любви сходит с ума, принимая кокотку за свою королеву. Но воробы в Люксембургском саду до смешного такие же, как и у нас. Это с удивлением заметил Алпатов и остановился возле колючей изгороди, за которой среди разбросанных статуй был фонтан Медичи. Пожилая дама в трауре подошла сюда и стала кормить воробьев. Сколько пережитых страданий открывал солнечный луч в чертах этой дамы! Но воробы так весело прыгали по газону, что дама им улыбнулась. Алпатов легко прочитал в этой улыбке: жизнь этой женщины не удалась, но она вдумчиво все перенесла, и у нее много еще осталось чего-то для всех. Дама в трауре заметила интерес Алпатова, просто ему улыбнулась, кивнула в сторону воробьев, сказала: «Что за прелесть!» И как раз в это самое время к изгороди подошла королева в новой шелковой кофточке.

Алпатову явление невесты в первый момент было как при остановке поезда бывает непременно у всех: все

продолжает по-прежнему двигаться, хотя очень хорошо знаешь, что поезд стоит. Потом обратил он внимание на ее новую шелковую кофточку, прежняя была шерстяная, поношенная шотландка и очень к ней шла, эта была не к лицу. Конечно, они улыбнулись друг другу, но сказать не могли даже *здравствуйте*. Подала ему руку. Он задержал, и рука осталась у него. Так идут они молча к Дворцу. Алпатов первый решается сказать:

— У вас совсем новая кофточка!

Она ответила:

— Я знала, что вы непременно приедете, и купила ее только вчера. Так надо!

После того вдруг объяснилось, почему ей кофточка не к лицу и что это значит: в этом что-то серьезное, гораздо более хорошее, чем если бы шло к лицу, и, конечно, так надо. Но самое главное, что Инна идет против всего, что говорит о лживой природе женщины: он вовсе не просил открываться ему, всякая другая женщина тут непременно бы сделала тайну — эта была единственная не как все. И в то же время все покупают новые кофточки, и, значит, у них с Инной, тоже как у всех. Так получилось из всего, что обычное для всех у них происходило по-небывалому, и через это раньше отвергнутое и уже не признаваемое прошлое как бы воскресало в прелести настоящего и становилось: *так надо*.

Все это мелькнуло Алпатову в чувстве *родного*, и так сильно, что перешло в движение, и он прижал ее руку к себе, и она ему ответила. А потом и началось у них *понимание*.

— Вот странно, — сказал он, — не кажется ли...

Он замаялся, не желая сказать *вы* и еще не смея на *ты*. Выдумал пошутить.

— Если бы у нас теперь было как в опере, я бы должен был сказать: *ты моя!*

Она все поняла и ответила:

— Пусть будет, как в опере: *я твоя!* Продолжай, твои слова были: «не кажется ли».

— Не кажется ли тебе, что сейчас мы живем, думаем, как нас учили, вот ты покупаешь новую кофточку...

— Я вчера, когда покупала, думала точь-в-точь то же самое.

В это время они были уже давно в Дворце и теперь говорили около статуи Родена.

— А еще я думаю сейчас о скульптуре — раньше

я смотрел на форму и потом догадывался о плане художника, находил его и идею, теперь, смотря на тело статуи, на самый мрамор, и так все понимаю: какой он белый, какой крупчатый, видишь ты это?

— Я это еще раньше тебя заметила, когда ты начал о кофточке.

— Нет, — заспорил Алпатов.

— Не будем спорить, — засмеялась Инна, — согласимся: мы об этом вместе подумали. Мне кажется, сейчас мы так похожи, мы такими друг для друга родились и вдруг нашлись.

Им стало тесно в Дворце искусства. Вернулись в сад. Шли под руку. Она сказала:

— Подумать только: всю жизнь вместе идти!

Он сказал:

— И хорошо!

На бульваре Сен-Мишель их подхватила толпа. Тут весь воздух дрожал от разноцветных кружков. Все население Латинского квартала провожало свою королеву, победительницу всех местных, королеву всего Парижа. Когда вместе с толпой они вступили на мост, Инна крикнула:

— Сена!

И Алпатов узнал на всю жизнь, какая настоящая Сена. В это время что ни показывалось, то все на всю жизнь оставалось.

— Вот Тюильри!

И стало ему настоящее Тюильри, как природному парижанину.

О Вандомской колонне с маленькой фигурой Наполеона Алпатов сам догадался, и то же с ним было на улице-парке со сверкающими на солнце вечнозелеными растениями, он догадался сам: Елисейские поля.

И так прошел весь день: узнавал от нее или догадывался по Гюго и Золя. Перед самым закатом солнца очутились опять в Люксембургском саду и сели на лавочку против своего фонтана.

— Что я думаю, — сказал Алпатов, — мне кажется, я этот город видел где-то, очень может быть, что во сне, но все равно знал о нем, и что когда народ наш дождет счастья, то у нас сложится, как здесь.

— Опять мы с тобой думаем вместе.

Тогда Алпатов вспомнил то самое, о чем хотел ей еще сказать утром, когда было у них в разговоре: «Мы такими родились и вдруг нашлись». Теперь он взял обе ее руки

и сказал: «Вероятно, все это потому, что мы любим друг друга». Луч Парижа только в эту минуту проник совсем в нее, она вспыхнула, опустила глаза.

ДЕТИ

Анютинны глазки называлась у нас одна милая девушка, и я сотни раз слышал о ней от взрослых: «Вот эта девушка создана для семейного счастья!» За ней было очень большое приданое, и женихов у нее было множество. На каждое лето она приезжала к нам от матери из Москвы одна, и мало-помалу, из года в год, глазки ее начинали терять свежесть полевого цветка. Наконец один из близких нам людей влюбился в нее и поехал в Москву с твердой решимостью добиться от нее если не любви, то хотя бы уважения и непременно жениться. Через несколько дней он бежал из Москвы, как все женихи, и наконец мы узнали тайну *Анютинных глазок*. В первый же день появления жениха в доме невесты мать приглашает его к себе в комнату и просит в следующий раз непременно захватить с собой медицинское свидетельство... Так раскрылась тайна *выцветающих Анютинных глазок*. Но только после смерти ее матери мы узнали все: доктор объяснил странности матери последствием одной страшной болезни. «Но, — сказал доктор, — возможно, сама она ничего о своей болезни не знала, хотя всегда была в смутной тревоге, и это переродило любовь к дочери в эгоистический страх перед ее женихами». После смерти матери было уже поздно добиваться личного счастья, и состоянием девушки постепенно завладели монахи.

И как же хороша она была в своей печали, как ужасно было знать себя маленьким, бесправным, не понимать совершенно тайны *медицинского свидетельства*, не иметь никакой возможности освободить прекрасную, нежную девушку из ее ужасного плена. Сколько раз потом в жизни своей судьбу ее мысленно я к себе применял и загадывал, бежать мне от этой матери, называемой родиной, или терпеть все ее *медицинские свидетельства* без всякой надежды на личное счастье...

Была такая ничтожная причина к этому воспоминанию: сегодня на первой проталине я поднял пролежавший зиму под снегом поблеклый цветок *анютинны глазки*. И такая же ничтожная причина была у Алпатова с Инной вернуться мыслью из самого очаровательного города в мире на свою

трудную родину. Было это на Вандомской площади, где грязно, почти как у нас, и особенно было грязно после бешеного Микарэм. За много лет выбитые шашки мостовой стали как тарелки, и каждая была наполнена навозной жидкостью.

Влюбленным, конечно, везде хорошо, и они идут, не разбирая пути, но бывают пределы и этому: без калош в новых лакированных башмаках дальше Инна идти не могла и вдруг опомнилась. А он в это неприятное для нее мгновение сказал:

— В Париже почти такая же славная грязь, как в Москве.

Инна в первый раз ничего не ответила. Это глухое молчание продолжалось и в Тюильри, когда они сели на лавочку.

Алпатов спросил:

— Милая, скажи, что тебя смутило вдруг и в первый раз мы стали думать о разном. Скажи все, так нам нельзя, дорогая.

— Меня вдруг смутила, — ответила Инна, — эта грязь на Вандомской площади и потом твои слова, я задумалась о завтрашнем дне; не все же мы будем в Париже. В России есть для меня ничем не прикрытый ужас жизни, и без твоей помощи, мне кажется, я не в силах его выносить. Я помню твое бледное лицо за двумя решетками. Жандарм стоял с часами в руках, и это было наше первое свиданье, от чего все началось.

У нее на глазах были слезы. Алпатов первый раз видел слезы любимой женщины, у него сжалось сердце.

— Инна, — сказал он, — я сам то же, наверно, чувствовал, когда с улицы смотрел на заключенных. Мне кажется теперь, мое сострадание было больше страдания заключенных: я лично был счастлив в тюрьме, и там я тебя полюбил.

— Вот я этого больше всего и боюсь, — ответила Инна, — ты не меня, ты свою мечту полюбил, я знаю — это, может быть, и есть настоящее счастье слышать над собой зовущий голос, но это счастье только твое. Я не за тебя, я за себя боюсь: я обыкновенная женщина.

— Какая ты женщина! — улыбнулся Алпатов.

Инна удивилась:

— Что хочешь этим сказать?

— Ты ребенок, еще совершенный ребенок, — ответил Алпатов.

— Как раз это я думаю о тебе — какой ты мужчина, ты настоящий ребенок.

Оба смеялись.

О н. Ты думаешь, такое, как у нас вышло с ребенком, у всех бывает?

О н а. Да, вероятно, у всех.

О н. Читала где-нибудь об этом?

О н а. Нет, сама догадываюсь и, правда, читала у Герцена.

Очень покраснела почему-то. Но скоро справилась с собой и сказала:

— А кроме того, что, наверно, у всех бывает эта мысль о ребенке, сверх всего ты еще и ребенок настоящий. Скажи, например, что мы с тобой будем делать, когда вернемся в Россию?

— Как что! — воскликнул Алпатов. — До встречи с тобой мне, правда, было неловко думать, что придется как-то устраиваться на буржуазный лад, теперь это стало необходимостью, мы устроимся, а потом сама жизнь поведет нас к настоящему делу. Вот твой родной Петербург мне теперь представляется на огромном пространстве болот, как водяная лилия, — видишь как! И лебеди, и дикие гуси летят над городом, и этот город своим электричеством бросает на облака рыжую тень. Это им одно мгновенное впечатление, и они дальше летят. Россия — не Петербург, она огромная! Вот как надо смотреть, я так понимаю жизнь, что мы с тобой, как птицы. Стоит ли думать о пустяках, как-нибудь же непременно устроимся. Разве ты этого не чувствуешь?

Инна, подумав, печально ответила:

— Я это чувствую, милый, только через тебя.

Она взяла его руку к себе на колени, погладила, улыбнулась и потом новым и ласковым, и деловитым голосом, совершенно как мать, сказала:

— Я сейчас смотрю на тебя, и мне так хорошо, мне кажется, ты мой ребенок. — Она опять покраснела. — Но все-таки давай поговорим совершенно практически.

— Я готов — это надо. К нашему счастью, так вышло, что я тогда тебя утерял, и, казалось мне, навсегда. Отчаяния взялся я за выучку. Теперь я хороший, нужный для нашей страны инженер, ценный работник, буду осушать болота, дело будет! Зачем ты вmeshиваешь еще, что я поэт или художник, я тебе об этом не говорил и никакой на это не имею претензии, напротив, я горжусь, что

научился работать в Германии и никакой *серой действительности* не боюсь. Притом ты меня еще ребенком считаешь, разве что я сейчас говорю тебе — не как у всех и непрактично?

Инна изумилась:

— Ты как будто обижаешься, милый мой, за хорошее, за самое лучшее, что я открываю в тебе. Я еще больше скажу: у тебя есть лучшее, чем у поэтов, ты принимаешь к сердцу людей, чувствуешь их — вот что дорого.

— Ты же захотела говорить о практическом, — перебил ее Алпатов, — а теперь сама уходишь в сторону.

— Хорошо, — схватила Инна, — практическое, милый мой мальчик, не в твоих болотах, а в маме моей... я себе не могу тебя представить возле нее. Сказать ли тебе?

— Все скажи, непременно.

— Трудно все: есть мучительные маленькие тайны — как их высказать? Мама моя урожденная графиня, а папа из купцов, но ради нее сделался действительным статским советником и служит в лесном департаменте.

— Ну вот, — обрадовался Алпатов, — я очень рад, что отец твой из купцов...

— Погоди, — перебила Инна, — я сейчас тебе расскажу, что перенес он из-за своих купцов. Настоящая фамилия его была Чижииков, ему пришлось поднести государю какую-то особенную просфору на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переименовал свою фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: «Помни, для меня ты вечный Чижииков!»

Инна глядела сейчас далеко и там, в России, нашла лицо своей матери.

— Представляю себе, — сказала она, — как она прищурится, когда ты у ней будешь целовать руку.

— Зачем я ей буду целовать руку? — удивился Алпатов. — И не подумаю, я целую руки только милым дамам, ведь я сам из купцов.

Инна смутилась, но сейчас же, как бы что-то смигнув, сказала:

— Конечно, это все пустяки!

Алпатов, однако, заметил не совсем искренний тон.

— Ты сейчас, я чувствую, сделала прыжок, — сказал он, — так нельзя, слышишь?

Инна молчала. Алпатов строго сказал:

— Другой раз так не делай!

Она вспыхнула и руку его крепко прижала к груди.

Он удивленно смотрит, а она шепчет:

— Ты всегда со мной так, всегда...

— Вот какая ты, — сказал он, смягчая тон, — правда, как ребенок, — ну, скажи мне, что же, если я руку не поцелую у твоей страшной графини, неужели она не согласится на брак?

Инна молчит, как виноватая. И у нее слезы в глазах. Но Алпатов на слезы не смотрит. Он требует:

— Инна, ты мне достаешься немалой ценой. Ты должна, понимаешь ты это: ты должна мне все сказать.

Инна всхлипывала.

— Я жду, Инна. Не согласится твоя графиня, ты со мной не пойдешь?

Она вдруг озлилась:

— Чего ты ко мне пристал? Как я могу сказать тебе, пойду я или не пойду: я сама ничего не знаю...

Она вдруг зарыдала у него на плече, и так сильно, так безудержно рыдала. Алпатов потерялся. Что ему делать? Было такое тупое мгновенье. Она жила и мучилась в какой-то своей женской тайне, а он как на пожаре стоит: видит — горит, а под рукой нет ничего... Но вдруг он понял: это ребенок обиженный, и надо с ней, как с ребенком. Но когда он двинулся к ней, как к ребенку, вместе с тем двинулось в нем и все его безудержно. Он целовал ее в лоб, в глаза. в слезы и говорил ей:

— Успокойся, Инна, я сейчас понял, как мне надо быть, я, правда, эгоист и знаю только себя, я буду смотреть на тебя близко, я буду читать твои мысли: я пойму тебя совершенно, ты будешь довольна. Я поцелую руку страшной графине — пусть! — я постараюсь понравиться ей — пусть! Я даже поступлю в департамент на службу к твоему отцу — пусть! А потом, когда мы крепко, по-настоящему полюбим друг друга, то удерем из твоего гнилого Петербурга в настоящую хорошую Россию. Тебе так нравится?

— Милый мой, — шептала она, — я никак не думала, что есть еще такие, как ты, я думала, это в сказках только... Вижу теперь, Петербург — это не вся Россия. И вижу я еще, ты не один.

— Нет, нет, — подхватил радостно Алпатов, — нас очень много, ты к нам переходи, будь с нами...

Только едва ли это она слышала. Она уходила куда-то в себя, все дальше, дальше и, вдруг вспыхнув, прижалась к нему.

Но он целовал ее, как сестру, как ребенка, и совсем даже не догадывался, не знал, что теперь бы уже ему можно бы целовать как-то иначе.

— Скажи, — говорил он, — скажи, моя маленькая девочка, нравится ли тебе мой план?

Она ему сказала:

— План? Какой план? Милый мой, ты еще совершенно ребенок, и ничего, ничего еще ты не понимаешь.

АРФА ИЗ ШВЕЦИИ

Тихое солнечное утро. Предраассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где постриг, но солнце очень скоро расстроило все его заутреннее дело, пустило в ход все свои лучи, и на припеке под лужами острия зеленой травы начали из-под воды отделять пузырьки своего дыхания.

Не знаю, не хочу вспомнить, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, и в этот миг все пережитые мною весны стали мне как одна весна, и вся природа явилась мне как брачный пир.

Мне долго казалось, что это острое, как иголки травы, пускающей на припеке из ледяной воды пузырьки дыхания, чувство природы мне осталось от первой встречи себя как ребенка с природой. Так я долго был под влиянием великих мечтателей и представлял себе, будто и вправду где-то на лоне природы у дикарей существует прекрасная жизнь. Но теперь я понял ошибку этих великих умных людей, и я теперь знаю, что родники этого чувства не тут...

Мне все стало ясно, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо навсегда расстаться с такой любовью, и когда наконец дошло до такой боли, что хоть пальцем потрогай по телу — и душа отзывается, то на другой стороне взамен этого встал великий мир моей радости, и временами оказалось возможным заменить любовь к недоступной невесте любовью к женщине-матери и сладостную боль израсходовать в благословенном труде, где понятно, почему живет красота и радость в цветах, в полете и пении птиц, в гибких движениях зверей и всего бытия. И только тогда, став в ряды живых сил, творящих

в настоящем из прошлого в будущее, познал я прелесть человека-ребенка в природе, и родной человек в родной стране мне при всем его горе показался прекрасным.

Друг мой, сегодня, когда я увидел в ледяной луже пузырьки дыхания зеленой травы, счастливо сложился мой день. Вечером пришла ко мне от соседей голодная девочка. Жена ее накормила, а я потом, настроив свой ламповый приемник на волну заграничной радиостанции, усадил крошку в глубокое кресло слушать концерт на арфе из Швеции. Тогда глаза девочки широко раскрылись, и в мою душу от них полились тоже какие-то волны. Я знаю, радиоволны ничего не имеют общего с живыми чувствами и мыслями, исходящими от человеческой личности, но подобие радиоволн с нашими внутренними велико, оно наводит на мысль: углубляя наши знания внешнего мира, мы так близко подойдем к нашему внутреннему, что когда-нибудь и о себе сами вдруг догадаемся. И только тогда, мне кажется, мы будем сознательно и вполне безопасно для себя заниматься науками и пользоваться законами природы для себя самих.

Я отдал обе телефонные трубки, она слушает на два уха и не сводит с меня глаз, и я думаю о том ребенке, который предшествует в нашей любви рождению обыкновенного, как было у Инны с Алпатовым. Друг мой, верьте мне, разбираясь в себе, я могу доказать, что эти привлеченные мною звуки арфы из Швеции для чужой маленькой девочки в лохмотьях явились больше на волне моей первой любви, чем из географической Швеции. Не будь той арфы, не стал бы я обрывать свою работу воем и свистом каких-то чертей в эфире, неизбежных при настройке наших приемников на волну далекой радиостанции. Мне легко об этом говорить, эта сила хотя и не открытая, но естественная и знакомая всем: попробуйте взять на руки чужого ребенка и отправиться с ним в путешествие по городу; вы встретите непременно в трамвайной давке множество людей, готовых защищать ваше дитя от нахалов, потянутся руки к игрушкам, когда заплачет ребенок, вы услышите много советов, удивитесь...

В эту ночь после объяснения на лавочке в Тюильри молодые люди разошлись, настроенные на одну волну. Ночью Алпатов проснулся, как от подземного толчка, и сел на кровати, спустив ноги. Ему представилась Инна странным ребенком: хочет ребенок идти с ним и не может. Он ищет какую-нибудь забавную игрушку и не может

найти. Первый раз в жизни он не знает, за что ухватиться... Но что же раньше-то было, почему все казалось так просто? Раньше была вера в прогресс, что все на свете идет, как поезд по рельсам в лучшее будущее, теперь в настоящем нет поезда, чтобы сесть на него и поехать. Но самое ужасное, что для других все это движение остается по-прежнему, все по-прежнему едут, только я не могу... и распадаюсь...

В тот же час около полуночи Инна прочитала в своей тетрадке запись в день приезда Алпатова: «Он приехал, что я наделала!»

В час ночи она записала еще:

«Я, должно быть, не люблю его, так страшит меня свидание его с мамой: не могу себе это представить! Но самое ужасное, я знаю, это больше не повторится мне в жизни, и я ему отдаю все свое лучшее».

Под самое утро:

«Ясно вижу — не люблю. Какая это любовь, если чувствую, не пойду против мамы. Не люблю: он не такой».

В эту самую минуту Алпатов наконец придумал, как ему быть с ужасным ребенком: ему надо переместиться в его душу и представить себя, совершенно как будто он и сам такой, а потом вернуться к себе настоящему и взять в свои руки управление ходом событий. Он перебрал в голове все ее поступки, все слова ее, представил все перемены ее лица, и ему стало так же странно и страшно, когда хочется себе представить бесконечное, голова у него закружилась. Он лег и сразу уснул.

Инна очнулась в большой тревоге и стала быстро собираться, как будто кто-то гнался за ней и нашептывал: он знает, что писала она в дневнике, и теперь вдруг уедет. И как Алпатову показалась страшной, невыносимой бесконечность безволия, так же ей оставалось ее одиночество с книгами о чужих Людовиках и так *навсегда*. Это была та же самая страшная бесконечность Алпатова, добежавшая к ней по волне.

Не дожидаясь утреннего кофею в своем пансионе, она идет на бульвар Сен-Мишель и решает ходить из отеля в отель, пока не найдет, где остановился он.

Инна все угадала. Алпатов в своем коротком утреннем сне, как не раз с ним бывало в гимназии при решении трудных задач, увидел ясно ответ на задачу, от которой закружилась у него голова: это не любовь, и он должен уехать немедленно. Это не любовь, если она боится своей ужасной матери и соглашается подвергнуть его унижению

службы для нее в департаменте. Сегодня это, завтра ей покажется необходимым сделаться генеральшей, и Алпатов из купцов станет ей совершенно таким, как для страшной графини стал Чижигов. Он еще может ее оторвать от себя и заменить это стыдное положение делом. Вот при мысли, что можно как-то заменить одно другим, ему стало легко на душе и уверенно. Ни на одно мгновение ему, однако, не было, что можно Инну заменить какой-нибудь другой женщиной. Но дело взамен Инны, это обыкновенное для всех осушение болот стало заманчивым, и самые болота — природой единственно девственной. Может быть даже, как это не раз, наверно, и бывало, что где-нибудь он найдет засоренный сток, расчистит, побежит новая река, и то место, где было огромное недоступное болото, станет для всех золотой луговиной... Какой огромный простор радостного, бодрого мира открывается, если только подойти к нему взамен Инны! И он укладывает в чемодан вещи свои спокойно, дельно. Уверенность его стала наконец так велика, что незачем, оказалось, и очень спешить: он может сейчас пройтись по чудесному городу один и так испытать, может ли он и один, без Инны, насладиться полнотой жизни.

На бульваре Сен-Мишель, и на мосту через Сену, и потом в Тюильри, и на Елисейских полях — везде еще не остыли ее следы, и он тут еще был не один. Только пройдя Этуаль, он вступает наконец в мир, который ему заменит любовь.

Тут расходились аллеи, и от каждой из них в стороны было множество тропинок. Алпатов шел, не разбирая пути, и скоро совсем потерялся в незнакомых местах.

Нам в обыкновенной жизни бывает немного похоже на это, когда мы заблудимся в большом лесу и начинаем в незнакомом месте узнавать что-то знакомое: вот как будто эта самая полянка, где мы вошли в лес, вот здесь, возле этого поваленного дерева, должна быть тропа, — и нет ее почему-то! И, значит, поляна не та, а мы сами создали из этой дикой свою, желанную. Страх заблудиться мешает полному наслаждению этим невольным непрерывным творчеством, и только потом, когда все обошлось благополучно, вспоминаются необыкновенно отчетливо разные волшебные мелочи: как испугались два снегиря, когда лисица переходила по бревну ручей и вдруг встретилась с ними, или как на одной поляне береза, теряя золотую листву, осыпалась золотом и как-то этим очень успокоила стоящую под ней елку.

Но это невольное блуждание с постоянным страхом совсем заблудиться и до ночи не выйти из леса — только слабый намек на то ничем не стесненное творчество Алпатова, блуждающего в Булонском лесу. Волшебна была ему одна тропинка с кустарниками в смолистых зеленеющих почках. С необыкновенной силой проникал в него свет этой зелени, и аромат, и музыка множества начинающих свою весеннюю работу пчел. Раз он даже ухо приложил к стволу одного дерева, гудящего от пчелиной работы, и слушал долго, как дерево пело. И когда это же самое дерево, вырастающее из земли, предупредило его своими особенными звуками о приближении по земле шагов другого человека, он бросился в кусты, пугаясь свидетеля его особенных чувств к дереву, к пчелам взамен Инны больше, чем если бы кто-нибудь застал его в объятиях с ней. Из кустов он видел, как этот высокий, хорошо одетый и не совсем молодой человек с шляпой в руке остановился, прислушался и тоже, как он, приложил ухо к поющему дереву. Тогда оказалось, что открытый им сегодня мир взамен Инны существует не для него одного, а таится для всех, что, может быть, много людей сегодня перешепчется с этим деревом, но никто об этом не скажет...

Когда этот другой человек удалился и шаги его совершенно затихли, Алпатов продолжал свой волшебный путь по земле «взамен Инны», совершенно как будто знал в предчувствиях давно о нем и теперь его наконец-то открыл во всей действительной его красоте. Главное, что в этом новом мире не было пустот и промежутков, как в старом, и вот если это волшебное поющее дерево теперь оставалось назади и уже не было слышно, то зяблик тоже очень понятно пел невидимый где-то в кустах, и когда шмель с разлету запутался в волосах — освобождение шмеля было тоже, конечно, событием и, если бы рассказать об этом Инне, как он, освобожденный, загудел и пошел наутек, то исчезая в тени, то показываясь в лучах солнца, она бы, наверно, тоже захотела полюбоваться шмелем. Это возвращение из мира «взамен Инны» к ней самой ему не было теперь тревожно и горько, — в эти часы и она стала новая, как весь мир, и эта новая Инна сливалась с ним и со всем в мире. Быть может, скоро после того тут, среди кустов и деревьев, догадался бы он о пути к этой новой Инне, чтобы найти ее и остаться с ней навсегда, но вдруг произошла перемена всего.

Лесная путаница тропинок окончилась, и открылся

великий простор. Была синяя гладь, как широкий торжественный путь, по сторонам тесные кущи особенных, сделанных рукой человека похожими на облака, только начинающих зеленеть деревьев, там и тут из этой светящейся зелени выглядывали белые статуи, били радужные фонтаны. Выше этого первого озера было другое, и по берегу шел тот знакомый человек у поющего дерева. Он шел дальше вдоль водного пути и, казалось, поднимался все выше и выше. В конце последнего высокого озера стоял торжественный дом, хорошо известный Алпатову по многим рисункам: торжественный дом был Версальский дворец.

Статуи были такие белые, а солнце над ними золотое, деревья дымчато-зеленые, и над ними золотое солнце, вода синяя, и над ней золотое солнце: не король-солнце, а настоящее, подлинное солнце одно теперь царило в этой пустыне истории...

А человек продвигался все выше и выше к дворцу, пока не исчез совсем за фонтаном. Алпатов следил за ним почему-то до последнего момента, как будто дожидался его совершенного исчезновения, чтобы в полном одиночестве отдаться влиянию солнца. И правда, когда он остался один, солнце ему открылось: это солнце было живое, а не то ежедневное привычно-заводное солнце. Это живое солнце было перед ним, и он шел прямо к нему и поднимался все выше и выше...

...Вот, милый друг, вспомните, наверно, и вы в своей жизни встречали не раз странных людей, которые, однажды увидев какой-то яркий свет впереди, идут на него, пока не ослепнут, и доктор потом находит у них при жизни неподвижную идею, а после смерти с интересом промывает мозги, стараясь открыть причину неподвижности мысли. Мы все, однако, за исключением людей, от природы совершенно обиженных, продвигались по тому же опасному пути, пока не спасла нас простая догадка, что к источнику ослепляющего нас света нужно обернуться спиной и смотреть не туда, в светило, а на освещенные им предметы. И так выходит, что, с одной стороны, непременно надо вперед идти, а то не будет прогресса, и люди на земле окончатся с голоду, с другой — каждому из нас необходимо, чтобы не ослепнуть, вовремя найтись и оглянуться назад. Вспомните, друг, как учили нас в школе: одни звали вперед, другие манили назад, то и другое мы получали как единственный путь. Непостижимо, как мы спасались в этих

условиях. Вспомните звено за звеном всю нашу русскую Кашееву цепь. И как же бесконечно тогда тосковала душа по близкому человеку, кто, не считаясь ни с какими общими правилами, одной силой родственного внимания заглянул бы в тебя и сказал или: «Не бойся ничего, иди смело вперед», или: «Пришло, друг, тебе время обернуться спиной к светилу и заняться собственным своим хозяйством в терпеливом подсчете и точной мере всего».

Алпатов шел прямо на солнце, и восторг его нарастал, как звук в сирене, все выше и выше, пока не дошел до последней черты, и все его пламя начало облекаться какими-то сначала очень смутными мыслями. Оказалось, мир устроен не прямо и не устремлен по прямой в бесконечность, а все движется кругами, как солнце. И все, что мы нажили хорошего, — любовь, истина, правда располагаются вокруг солнца кругами, только лучи их прямые, и вот только эти кончики всего, эти лучи дали нам возможность представить себе бесконечное движение по прямой, этот *прогресс*.

Мало ли каких миропониманий, известных Алпатову, начиная от Гераклита, не было в истории человеческой мысли, особенность этого своего собственного понимания была в совершенной ясности выводов из него для своего собственного поведения на следующее после мысли мгновение практической жизни в полном согласии с этим золотым миром в себе.

Так просто решалась теперь и эта загадка, над которой он думал всю ночь: почему Инна сегодня зовет его, завтра бежит, то хочет идти за ним на край света в болота, то боится ужасной графини, то любит, то не любит. Решение, казалось, невозможной задачи теперь, в свете нового понимания мира, такое простое: их теперь, оказывается, две: одна, которую он любит, настоящая Инна, другая Инна Петровна! И отсюда прямой, как луч, логический вывод: надо не бежать от нее, как он хотел, не прощаясь, а, напротив, как можно скорее спешить идти к ней, рассказать все, что он открыл, и так спасти свою Инну от Инны Петровны. Вслед за этим решением кончились все его колебания, и внешний мир оказался ненужным. Теперь он идет гораздо скорее, почти бежит, и от всего Версальского дворца для него остаются только стены и множество окон. Не нашлось у него даже мгновенья оглянуться назад и посмотреть, в какой нежной зеленой дымке спускалась терраса озер и там вдали намеком обозначалась столица мирового искусства — Париж. Он бежит на улицу

и первого прохожего с волнением спрашивает, где находится ближайший ларек с пневматической почтой. Там ему дают голубую бумажку, и он быстро пишет Инне, что немедленно едет в Россию устраивать их общее дело и ему надо теперь как можно скорее сказать ей такое, чему она очень обрадуется и отбросит все свои сомнения и колебания. Это голубое письмо у него взяли, и оно одним дуновением полетело по трубе в Париж вместе с другими деловыми, любовными и просто безумными письмами.

СВЕТОЛЮБИВАЯ БЕРЕЗА

Можно ли сравнить обыкновенный березовый лес высотой и силой с корабельным мачтовым бором? Но, бывает, в боровом редколесье попадает светолюбивая береза; и ей так придется, что если отстать, то погибнуть без света. Тогда начинается бег наобгонки белой березы и ее красноствольных соседей. После многих лет среди неведомых могил берез, угасших в бору без света, иногда мы с великим удивлением находим живую березу, как мачту, такую высокую, что птицу, сидящую на самом верху, ружьем не достать. Так, бывает, вырастет у нас иная женщина в борьбе за свободу. Я таких знал в своем детстве, думал, и моя будет такая, и я пойду за ней, как слуга. Но когда время пришло, то меня пленила не такая, а совсем маленькая и обыкновенная женщина...

Простите, мой друг, что, рассказывая историю любви Алпатова, не могу удержаться от личных воспоминаний и так невольно делаюсь из летописца как бы своим первым читателем.

Инна добилась своего и нашла небольшой отель, где остановился Алпатов. Тут она все узнала: Алпатов не уезжал. И спокойно стала, как условилась, дожидаться его в Люксембургском саду против фонтана Медичи. Но когда прошел назначенный час, быстро стала нарастать ее тревога, как у матерей бывает, когда ребенок убежит и в голову начинает приходить непременно худшее. Была и другая себялюбивая тревога, что потеряет власть над собой и начнется этот страшный бред, как уже было с ней однажды, когда она оставила его в Лейпциге. Она опять зашла в отель, — его там не было, и консьержка, ей показалось, оскорбительно улыбнулась.

Вспомнилась одна ее подруга, так влюбленная в юнкера,

что он гнал ее от себя, как собаку, и все-таки она опять приходила к нему. После того она решила идти домой, взяться за книги и победить свою тревогу. Как раз к приходу ее получилось письмо по воздушной почте, и все в ней переменялось. Ей пришло в голову, что она сама во всем виновата, она мучит его, а все решается просто. «Во всяком случае, — сказала она, — человек он очень хороший и за него можно выйти замуж». До сих пор она еще ни разу не осмеливалась сказать это самой себе вслух и теперь очень удивилась и обрадовалась простоте решения и ясности последующих выводов. Она даже махнула рукой и уже не про себя, а на всю свою комнату сказала:

— Да, конечно, нужно смотреть проще!

Она еще и еще перечитала письмо Алпатова, в нем тоже, казалось, было все так просто: едет немедленно в Россию устраивать их общее дело. Она поняла это общее дело как необходимое для брака *положение* в обществе. С своей стороны, она воспользуется остатком времени и напишет письмо родителям.

— Нужно смотреть проще, — сказала она еще раз и принялась за письмо...

Она спокойно писала, что встретила в Париже молодого человека...

Тут она остановилась и подумала, следует ли прямо сначала сказать, что он из *купцов*, или промолчать. Промолчала и написала: инженер. Опять остановилась и задумалась, следует ли писать, что он болотный инженер, и удержалась. После того до конца писалось легко: кроме того, что он инженер, он очень образованный, владеет европейскими языками и очень хороший человек. Мать его она знала раньше: это простая, но замечательная женщина, всеми уважаемая. Он просит ее руки, и она дала ему свое согласие выйти за него после окончания курса: ей останется немного. Пока она будет кончать курс, он будет в России создавать себе *положение*.

Перечитав письмо, Инна с особенным удовольствием обратила внимание на слово «*положение*»: так все пишут, и такое бывает у всех. И еще раз, окончив письмо, она повторила:

— Конечно, конечно, смотреть надо проще на все!

Написала на конверте адрес, приклеила даже марку, но не запечатала: она покажет это письмо ему, и ей кажется, он очень обрадуется, это будет сюрприз ему. А между тем и Алпатов думал, что, заключая брак с Инной для борьбы

с Инной Петровной, он нашел теперь такой простой исход всем сомнениям.

Как все обманчиво! Перед этим консьержка встречала ее, казалось, с такой противной улыбкой, теперь эта обыкновенная деловая француженка не обратила на нее никакого внимания. Они встретились...

Что же такое случилось? Она несла ему желанное решение, такой большой сюрприз. Он тоже для нее сделал великое открытие. И вот оказывается, и ей, и ему стало как-то трудно быть вместе. Он поцеловал ее руку: она пахла свежей водой, и от этого представилась новая, какая-то третья, просто деловая Инна. Он усадил ее в глубокое кресло и спросил:

— Неужели ты сейчас только встала?

Инна поняла, почему он спросил, с улыбкой понюхала свою руку и сказала:

— Я только что умывалась. А все утро бегала я неумывкой, два раза была у тебя: мне представилось, что ты хочешь бросить меня и уехать в Россию...

Алпатов сразу вернулся к первому свиданию с ней в Люксембургском саду, когда она пришла к нему в новой кофточке, и сказал ей тепло:

— Какая ты, Инна, хорошая...

Он решает теперь начать ей рассказывать о своем видении живого солнца над версальскими озерами, но оказывается, для этого надо так много и что к двойной Инне он никогда не придет. По какой тропинке он попал в Булонский лес? Где это было певучее дерево? И он долго слушал пчел, приложив ухо к стволу дерева...

— Понимаешь ли ты меня, Инна?

— Да, понимаю,— отвечает она,— рассказывай, рассказывай...

А сама чувствует, как она вместе с ним удаляется от простого сюрприза, принесенного с собой, и опять ей становится тревожно и грустно; в какой мир он уводит ее?

Он был высокий, в сером пальто, с расчесанной волосок к волоску светло-русой бородой; палка у него была черная, блестящая, с рукояткой из слоновой кости, и такой солидный человек стал на колени перед певучим деревом и долго слушал...

— Милая Инна! Я увидел в этом, что новый мир не бред мой, и я подумал тогда: «Если бы Инна была со мной!» Потом шмель запутался у меня в волосах, и я стал его освобождать, и тут явилась ко мне ты, ясная, такая светлая,

и я показывал тебе шмеля, как он, удаляясь, мелькал в пронизывающих лучах солнца. Понимаешь ли ты меня, Инна?

Инна лежала, откинувшись в кресле, глаза ее были закрыты. Она чуть слышно сказала:

— Не спрашивай больше: я все понимаю.

— Могу ли я все тебе сказать, Инна?

— Все, все!

— Вот я и увидел тогда — Инна двойная: одна моя, настоящая, и другая, Инна Петровна, дочь ужасной графини. И я решил как можно скорее идти к тебе, все сказать и пачать вместе борьбу с Инной Петровной... Вот я все сказал: теперь, Инна, суди меня...

Она молчала. Ему стало страшно смотреть на нее: да или нет, родная, светлая Инна или Инна Петровна?

Она молчала. Он обернулся. Это была в кресле ни та, ни другая: женщина лежала с закрытыми глазами, сгорающая...

Алпатов очнулся и вдруг сам сделался таким же, как и она. Все загорелось, и это новое стало больше всего. Он бросается к ней, лицо его у нее на коленях, в крепких руках такая маленькая, и это уже все, это настоящее.

...Друг мой, я возвращаюсь к светлюбивой березе. Этот взлелеянный мной образ мне помешал. Да, когда время пришло, меня пленила не такая, а совсем обыкновенная маленькая женщина. Она бежала от меня наполовину с мечтой о женской свободе, как все живое бежит от самца, и наполовину с желанием, чтобы я догнал ее и овладел. И как же просто оказалось потом все, что делают все обыкновенные умелые люди. Но меня от этого уменья удержал образ светлюбивой березы; смущенный, отступил я, стыдясь в себе «зверя» и, страдая, предоставил свободу маленькой женщине...

Случайно движение руки задело у Инны ее локоны, и Алпатов увидел что-то в ней новое. Он оставил ее колени и обратился туда, к лицу: ведь и это все было свое. За локонами ему открылся невиданный лоб, такой большой, прекрасный. Но лицо Инны совсем переменилось. Нет, через это не утратилась прелесть его Инны, но весь пожар как бы мгновенно погас, и ему стало совершенно как в детстве, когда он с таким страхом крался в спальню Марьи Моревны и увидел ее спящую и дрожащим голосом позвал: «Марья Моревна!» А потом оказалось, бояться-то было нечего: Марья Моревна просто взяла его к себе на кровать.

Инна пришла в себя, открыла глаза, улыбнулась и сказала:

— Милый мой мальчик!

И мальчик стал ей рассказывать, как было с ним давно на постели у Марьи Моревны, там, в России, где лежат теперь еще совсем нетронутые глубокие, сверкающие на солнце снега, где так заметно теперь прибавляется день и после темноты утром и вечером голубеет. Но тогда, маленьким, он не знал, отчего голубело в окне, когда он был у Марьи Моревны: ему казалось тогда, будто тихий гость в голубом подходит к окну.

Теперь Инна ласкает его, как Марья Моревна, и им не о чем спорить и тревожиться. Они вместе читают и смеются над ее письмом: какой вздор приходит в голову при непонимании! Да разве не пойдет она за ним на край света, не обращая внимания на родителей? Но положение, конечно, создать ему необходимо, это не то, как все говорят, а настоящее положение.

Какое же это настоящее положение?

Им кажется сейчас оно ясным: для нее он легко сделает все.

— Знаешь, Инна,— говорит он,— мне даже страшно: с тобой все могу, но без тебя, мне кажется, все мое пропадет, без тебя во мне и нет ничего.

Инна что-то вспомнила, отстранилась, вдумалась: лоб у нее так и остался после ласки Алпатова открытым. И такая она была грустная, когда сказала ему:

— Нет, это у тебя не пропадет и без меня, это не пропадет...

Так они расстаются. Он, бодрый, счастливый, едет создавать какое-то особенное положение. Она остается.

В раздумье возвращается к себе Инна. Посмотрела на себя в зеркало, такая растрепанная! Умылась, причесалась. Разобрала забытые книги, нашла нужную. Села за письменный стол, читает немного... Потом берет маленькое зеркало, всматривается, шепчет:

— Только лоб, только лоб, остальное все женское, если бы родилась я мужчиной!

Долго, неутешно она рыдает над книгой.

Друг мой, у меня больше нет никаких догадок об Инне Ростовцевой. Та маленькая женщина моя, нечаянно отдав мне свое, как говорила она, *лучшее*, конечно, затерялась и угасла, как простая березка в бору.



ЗВЕНО ДЕВЯТОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОХОРОНЫ ГУСЬКА

Растет могучее дерево, сменяются человеческие поколения. Наконец рождается новое существо и в своей коротенькой жизни видит, как дуб распадается. Так пережил я существование величайшей в мире империи.

Мы теперь, оглушенные падением царства, с большим трудом можем определиться в этой эпохе без ярких событий перед японской войной: помнится смутно расцвет винной монополии, окончание Великого Сибирского пути, выборы в земствах, волнения на Юге крестьян, унылая песня умирающей чеховской интеллигенции и крик буревестника, прославляющего людей, не имеющих никакого положения в обществе.

В эту эпоху явился инженер Алпатов на родину создавать себе положение.

Сколько раз приходилось мне встречать в лесной полосе чащи, выросшие на месте когда-то бывших в обработке земель: самый дальний уступ леса, край чащи, относился к эпохе освобождения крестьян, когда помещики сокраща-

ли запашки, а потом по неизвестным причинам ярус за ярусом лес опускался к внутренней поляне, где виднелись иногда кусты акации, сирени, смородины и валялись камни от фундамента когда-то стоявшего на этом месте здания.

В черноземной полосе, где жили Алпатовы, леса давным-давно были вырублены, на этой богатой земле было часто и густо людьми, как дровами в лесу. Размножаясь и делясь между собой, этот мелкий люд из года в год наседали на имение Алпатовых, десятину за десятиной сдавала Марья Ивановна в аренду, и так мало-помалу получилось у нее на черноземе, как чаща зарастания в лесной полосе.

Вокруг все множилась беднота. Овраги росли, статистики цифрами доказывали: оскудение центра через столько-то лет постепенно обратит богатейший в мире край в совершенно бесплодную пустыню. Никто, однако, цифрами не мог доказать, что через какие-нибудь два года начнутся первые страшные толчки, от которых потом скоро величайшая в мире империя рассыплется в прах.

В это время Алпатов, образованный заграничный инженер-торфмейстер, приехал создавать себе положение.

— Помнишь, Миша,— стала говорить Марья Ивановна любимому сыну,— ты тогда был совсем еще крошка, я предсказывала: земля непременно перейдет мужикам. Вот так теперь и выходит.

— Я это помню очень ясно. Это было еще раньше, чем убили царя, как только я родился, кажется, так и слышал, ты повторяла дворянам: «Помните, земля непременно перейдет мужикам». Но я всегда представлял себе: мужики придут с топорами и выгонят помещиков.

— Погоди... это еще не исключается. Сейчас одна лестница ведет в банк дворянский и крестьянский: дворяне закладываются, мужики закабаляются. Я по себе знаю, что значит работать на банк: мужик лезет, как саранча, и при малейшей оплошности правительства все разгромит... — Она понизила голос: — Царишка-то, говорят, никуда. Что ты думаешь?

— Я, мама, за границей мало думал об этом, приходилось очень много работать изо дня в день.

Марья Ивановна повеселела.

— Я сама тоже лично не беспокоюсь, моя жизнь кончена. Вот, правда, Лида только замуж не вышла и донимает меня своими кошками, одно только это и беспокоит, остальные все создали себе положение...

— Положение, — восторгнулся Михаил Алпатов, — по твоим рассказам мне начало чудиться, будто у нас ничего прочного нет... Неужели и Коля тоже создал себе положение?

— Как тебе сказать, Аннушка его, конечно, почти публичная женщина была, но у него выправилась: живут. Он так об этом говорит: «Вам это нехорошо, а мне отлично, неужели же я свои семейные дела должен по вашему вкусу устраивать?» И, как сказать, ведь он прав, я примирилась. Служит он сборщиком по винной монополии, семь дней в месяц ездит, собирает деньги, в остальное время ловит на реке раков и рыбу, а в зимнее время вытачивает трубочки на токарном станке. Говорит, ему больше ничего не надо, и эта жизнь всегда была его идеалом. Выходит, тоже какое-то *положение*. А как ты, что ты думаешь делать с собой?

— Я инженер и тоже намерен создавать себе положение.

И когда мать на эти слова улыбнулась, спросил:

— Почему ты улыбаешься?

— Тебе это не понять, я мать, вы мне до старости будете ребятишками: я вспоминаю, как ты из гимназии хотел убежать в какую-то Азию, потом, я помню, читала у тебя в записках о каком-то *прыжке в неизвестное*, письма из тюрьмы от тебя перекрещивались желтыми знаками, и вот никак не верится, что ты инженер и намереваешься притом создавать положение. Вот бы теперь тебе хорошую невесту найти, тогда я бы поверила.

Алпатову очень захотелось сделать матери удовольствие, и, хотя его невеста была не совсем то, о чем думала Марья Ивановна, и положение не совсем совпадало с обыкновенным положением в таких случаях, он все-таки не удержался и сказал:

— У меня, мама, невеста есть.

Мать просияла, но, хитрая, быстро скрыла сияние, чтобы потом подойти к этому как-нибудь осторожнее и побольше выпытать. Сказала почти совсем равнодушно:

— Это очень хорошо, но, конечно, дело твое, и я не вмешиваюсь.

Она принялась усердно мыть посуду и помещать ее постепенно в буфет. В то же время она сообщала разные новости из деревенской жизни, кто на ком женился, кто умер, и что Гусёк сильно болен и вот-вот умрет. Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось все лучшее в детстве, и всегда казалось: из всех людей на свете

нет лучше и нет роднее Гуська. Мать нашла этот момент его грустного раздумья очень удобным, чтобы попробовать выпытать о невесте, заперла буфет с перемытой посудой, подседа к сыну и спросила:

— Ну, Миша, если это не секрет, скажи, из каких же она?

— Не беспокойся, мама, тебе, наверно, моя невеста придется по вкусу: она училась в Смольном и теперь кончает Сорбонну по историческому.

— По исто-ри-чес-ко-му? — И сразу затем восхищенно: — У тебя не дура губа!

Алпатов засмеялся.

— А ты знаешь, тут ничего нет смешного, это моя старинная мысль, что образованным купцам надо жениться на дворянках или в крайнем случае на поповнах: у них есть устойчивость в семьях, а купец наш деньги копит и не думает о самом главном, из чего, собственно, и складывается счастье. Наш купец живет весь на фу-фу.

Алпатов немного струсил, что мать так скоро сделала бытовой вывод из слов, сказанных почти что шутя.

— Но, мама, — сказал он, — я не руководствовался такими соображениями о семейном счастье: все вышло совершенно случайно.

— Не скажи — совсем случайно, знаю, конечно, не по рассудку, да кровь-то все-таки у тебя наша, купеческая. Там, в Париже, учится теперь тоже отличная девушка, Инна Ростовцева, она тоже кончила в Смольном, и та еще лучше твоей: та с шифром кончила. Она раз была у меня на именинах, когда ты в тюрьме еще сидел, много о тебе расспрашивала, и много я ей о тебе рассказывала. Такая прелестная, почти тургеневская женщина, и только, если локоны поднимаешь, открывается лоб: умница, передовая. Эта, если не удастся личная жизнь, не останется, как наша Лида, в старых девах с кошками. Неужели ты с ней не встречался в Париже?

— Я в Париже был очень недолго.

— Признаюсь, желала я очень, чтобы ты с ней встретился, я за тебя ее прочила. Но и как ты рассказываешь, это не хуже моего. Любовь к такой девушке заставит каждого подтянуться и создавать положение.

Услыхав опять *положение*, Алпатов даже вздрогнул и понял окончательно: он сделал большую ошибку, что, желая приятного матери, сказал лишнее. А повторяемое матерью *положение* привело его к довольно тревожному

раздумью о действительности. Он пересел к окну и затерялся глазами в снегах: то *положение* создавалось на версальских озерах, в зеленеющих деревьях, под жужжание пчел. Тут еще не прилетали грачи, и только что побурела дорога. Вдали по невидимой тропе в снегах, то показываясь, то исчезая, шел с кадилом в руке деревенский священник, за ним на полотенцах несли тесовый гроб, и за гробом ныряли бабы в снегу.

— Гусёк! — вскрикнула Марья Ивановна. — Это его несут. Господи, да как же это я прозевала!

И перекрестилась. В коридоре кашлянул староста.

— Ты что пришел?

— Гуська вынесли, пришел доложить.

Все вышли к воротам. У каменных столбиков остановилась деревенская процессия с покойником. Отец Афанасий поет тонким тенором. Как все постарели! Работник Павел тоже седой. Тихонечко спрашивает его Михаил Алпатов, почему же покойника полем несли.

— Вершину оврага промыло, — сказал Павел, — живые-то еще ходят по гребешку, а покойников носят кругом. Случай уже был такой: сами удержались, а покойника выпустили, так и съехал в гробу, как на салазках, в овраг.

Отец Афанасий недолго поныл у ворот. И в церкви все у него наскоро, и вот уже дальше, на кладбище идет, помахивает кадилом.

Оттепель. Снег сливается с небом. Горизонт совершенно исчез. Рыжая дорога, кажется, поднимается все выше и выше на небо, и туда уносят Гуська.

— Дорога-то как подопревает, — сказал Иван Михайлыч, — вот-вот просовы начнутся. Вот-вот грачи прилетят.

— Видели, — сказал о грачах Павел. — А там и перепелки прилетят, да некому будет ловить.

— Отловился!

— Крышка! — ответил ему Павел. — И чудак же был покойник. Все знали: помирает старик. Вижу, в поле идет человек. Я пригляделся: Гусёк. Я его догоняю, я ему: «А, сказывали, ты помер. Куда ты идешь?» Он мне говорит: «Я, Паша, домой». Подивился я и пошел от него.

— Чего же ты его в деревню не вернул?

— Чего его вертать, все там будем, все домой придем. Ну, конечно, потом хватились, нашли: сидит в ендове на горелом пне, где вы с ним все, бывало, перепелок ловили, сидит, как живой. Ну, а, видно, не хотелось уходить домой-то: на щеках, на бороде слезы замерзли.

Поравнялись с соседней усадьбой. Запел отец Афанасий. Вышла из ворот седеющая Софья Александровна. Крестилась, крестилась. А потом присоединилась к Марье Ивановне, и такой у них живой разговор. Алпатов услышал слова: «инженер», потом «невеста» и, наконец, «положение»...

Софья Александровна даже перекрестилась и сказала, посмотрев на Алпатова очень внимательно:

— Ну, Марья Ивановна, поздравляю; теперь он проскочил.

— Кто бы думал!

— Мы думаем, а господь по-своему.

И еще, и еще перекрестилась зараз и потому. что бунтарь и безбожник Михаил *проскочил*, и что показалось близко деревенское кладбище.

В поле, где глазу уже и совсем схватиться не за что и совсем уже было, как будто отец Афанасий, помахивая кадилом, пробирается к небу, остановились наконец среди небольших кустов. Крестов на кладбище почти не было, почти все были повалены летом коровами и свиньями, а кустики почти начисто были обкусаны овцами.

Тут зарыли Гуська, перепелиного охотника.

КОРОТЕНЬКАЯ ПРАВДА

Ночью нажимает мороз. Утром деревья одеваются инеем. А в полдень разгорается небосвод, исчезает иней, каплет с крыш, дорога сильно буреет, синица поет брачным голосом. Синицу ли русскую слушать после птиц в Булонском лесу!

Вот почему, верно, и не удаются все письма Алпатова к невесте в Париж: как будто раньше его кто-то приходил к этой снежной русской весне, взял от нее все лучшее и оставил ее медленно тянуться в тревожной тоске. Он, однако, не может писать о тоске русской природы и убожестве вековой работы своей матери в маленьком имении на банк. Он пишет о будущем и рассуждает, доходит до цитат из умных книг. И так обманчиво это писание. В ночной тишине кажется ему во время писания, будто само это маленькое имение движется под напором его мысли и чувства... Так бездарный писатель заменяет себе жизнь бумажной работой; находятся такие же, как он,

жалкие читатели, поощряют его, и он верит в себя и так проводит всю жизнь на свободе вместо заключения в больнице для умалишенных.

К счастью Алпатова, далеко до рассвета в коридоре начинается удивительный шум, и весь дом наполняется ароматом ржаной соломы. С детства знакомый таинственный шелест и чудеснейший в мире аромат побеждают раздумье над этим чудовищным для европейца хозяйственным преступлением — сжигать вместо дров солому, силу земли выпускать в дымовую трубу. Привязанность с детства к этому шелесту, к этому аромату столь велика, что обращается не только против агрономического раздумья, но и против умственных писем к невесте. Перечитав написанный вздор, он идет в коридор, совершенно заваленный, и в печке вместе с соломой сжигает всю исписанную за ночь бумагу. Родная ржаная солома в этот раз спасает Алпатова и внушает ему решимость немедленно ехать и достигать не бумажного, а действительного положения.

— Ехать так ехать, — сказала ему за чаем Марья Ивановна. И тут же распорядилась запрягать лошадей. — Стало быть, — сказала она, — положение вы считаете все-таки необходимым. Это что же, она поставила тебе такое условие или вместе надумали?

Как ни мучительно было Алпатову ответить, по все-таки почему-то было и приятно, чтобы мать как можно лучше думала о его невесте. Он сказал:

— Да, это она поставила такое условие.

— Умно, очень умно. Только одного я не понимаю, зачем она тебя в этот гнилой Петербург тянет, лучшие люди у нас теперь собираются в земстве: болота есть недалеко и от нас, поступай в земство и осушай. Болотный ценз можно по три рубля за десятину купить. Поступай сначала инженером, пролезешь с цензом в члены управы, будешь получать и как инженер, и как член управы: это уже будет довольно кругленькое положение.

— Нет, мама, ты себе не так представляешь, мне нужны огромные пространства болот, чтобы развернуться, и не земские, а большие государственные средства. Придется, может быть, для этого дойти и до царя. Вот у меня какой план.

— Такие планы, знаешь ли, Миша, рождаются у многих, у нас никто не хочет работать и достигать положения постепенно, одни только латыши да немцы.

— Я знаю, как немцы работают, я ученик немецкой школы.

— Это большой плюс. Но все-таки в таком деле необходима протекция.

— Она у меня есть, отец моей невесты в лесном департаменте, действительный...

Надо бы сказать затем *статский*, но Алпатов сказал *тайный* советник. Такое бывает со всеми и потом с большим стыдом вспоминается.

— Ну, тогда картина совершенно переменяется! — воскликнула Марья Ивановна. — Помню, когда тебя в тюрьму посадили, одна только Калиса Никаноровна меня успокоила. «Поверьте, Марья Ивановна, — говорила она, — из таких потом выходят самые умные люди». Софья Александровна каких только бед не сулила, а теперь говорит — «проскочил».

Алпатов посмотрел внимательно на мать, не смеется ли она над ним. Но нет, она просто радовалась.

— Боюсь, мама, ты не совсем верно все понимаешь мое, — помню, когда я был маленький, ты говорила кому-то из наших народников, вероятно, Дунечко: «Почему-то русские писатели всегда описывают униженных и оскорбленных, как будто нет у нас победителей». Мне это глубоко запало в душу, и, верно, потому я терпеть не могу народников. И наши писатели большей частью народники: их привлекает ленивый раб-мужик. Но почему никто не опишет человеческий труд в его достижениях: наш Николай Иванович в слободе гармонь чинил, а теперь у него миллионы. Писатель свободен, он может посмотреть на это с лучшей стороны. Вот и я так хочу победить. После я вернусь к общему делу, но раз поставлен вопрос, быть или не быть, я хочу счастье свое завоевать, перед этим должно все отступить, и живой я не сдамся.

Марья Ивановна потемнела в лице при последних словах.

— Только не преувеличивай, Миша, и не будь чересчур скор, ведь это я говорила о романах, что хорошо бы нам от униженных и оскорбленных отдохнуть на победителях, а в жизни победы даются годами, и часто о своих победах сами победители не знают до конца своих дней. Вот хотя бы и Николай Иванович: всего себя и убил на достижении богатства, дети идиоты, после него все пойдет прахом. Если по большой правде говорить, то какой же он победитель!

— Я, мама, не о большой правде говорю — я о своей маленькой, без этой маленькой правды ведь жить нельзя, я у немцев не чужими глазами смотрел, я же видел, как они своей коротенькой правдой преобразили всю свою землю. Без своего личного устройства стыдно людям даже в глаза смотреть, а не то что проповедовать большую правду. Я ничего не утратил из того, за что сидел в тюрьме, ты вот знаешь — земля перейдет мужикам — и все-таки не бросаешь ее, а я знаю, государственная власть перейдет в общее дело, и еще много знаю всего, но не могу жить в этом без себя самого...

Не часто жизнь баловала Марью Ивановну такими душевными разговорами с сыновьями, и она была счастлива, и все, что говорил ей сын, казалось таким верным, как будто он высказывал ее же затаенные мысли. Но тревога материнского сердца не считается с верными выводами: было, казалось ей, в словах сына какое-то слишком повышенное отношение к коротенькой правде, к тому, что само собой разумеется, о чем люди молчат, что растет и созревает у людей, все равно как у животных и растений, и достигается больше способностью ждать, чем стремиться. Опасливо посмотрела Марья Ивановна на сына, как на маленького ребенка, бывало, на беззащитное существо, открытое для жестоких ударов со всех сторон. Этот внутренний опасливый взгляд матери Алпатов хорошо знал, и всегда он вызывал в нем желание защитить себя от него логическим доказательством. Теперь он истратил все свои аргументы, и все-таки таинственный, недоверчивый взгляд матери почивал на нем, как и в детстве. Чем бы его теперь победить?

Мать говорила:

— Я радуюсь всему, что ты говоришь, все верно, только одно тревожит меня: ты преувеличиваешь значение своего личного счастья. Посмотри на меня, я всю жизнь вдовой работала на банк в глуши и все-таки не могу сказать, чтобы несчастна была. Счастье само приходит, а ты за ним гонишься.

— Понимаю, — воскликнул сын, — в этом расходимся мы, в этом новое время казалось, у вас этого не было.

Услыхав *«новое время»*, Марья Ивановна сказала:

— Ну да, конечно, мы по заграницам не ездили, мы учились на медные деньги.

А уже давно сказали, что лошади поданы, и Марья Ивановна терпеть не могла заставлять кучера зря сидеть на

козлах перед крыльцом, вида этого не выносила. Надо было торопиться, но нельзя было расстаться в момент столкновения счастья нового времени и этой жизни на старые *медные деньги*. И сыну, и матери хотелось поскорее найти из этого выход. Вдруг мать что-то придумала.

— Миша, — сказала она, — мы сейчас должны расстаться, бог знает когда еще прилетит ко мне опять соловей, я же хорошо понимаю, откуда идет вся твоя перемена: все от нее. Скажи на прощанье мне, старухе, кто она.

— Да я же тебе говорил, — удивился Алпатов, — ты же мне сама сказала: «У тебя губа не дура».

— Как ты не понимаешь, Миша, ты мне говорил о ней вообще.

— Что же тебе надо еще?

— Ну хотя бы, как зовут ее...

Алпатов очень смутился, но вдруг ему мелькнуло: сказать — это значит победить все сомнения матери о нем в его охоте за счастьем. И ведь рано или поздно — он победит, и достигнет, и все откроется...

— Я скажу тебе, мама, — ответил он, — только под величайшим секретом, дай мне слово.

Марья Ивановна, почуяв, что дверь открывается, не обратила даже внимания на какой-то секрет, на какое-то честное слово, она, просияв, сказала:

— Знакомая?

— Да, — ответил Алпатов.

Сияние матери усилилось.

— Мне кажется, я догадываюсь... Инна Ростовцева?

И когда сын ответил и догадка оказалась верной, мать сияла, как солнце.

ПОЛОЖЕНИЕ

На дворе усадьбы довольно было простора пошалить лошадям, запряженным гуськом, поработать арапником кучеру, осыпающему их и бранными, и ласкательными словами, совершенно как если бы эти существа с хвостами и гривами хорошо понимали русский простонародный язык. Но как только выбрались со двора на ту самую рыжую дорогу, по которой недавно унесли Гуська на кладбище, передней лошади стало невозможно вилять: снег всю зиму валил без осадки, и даже рослому коню в нем было почти что по самую шею.

Было очень пасмурно. Снежная земля и небо совершенно сливались, и рыжая дорога на слегка уже оседающем снежном поле, выпуклая, как железнодорожная насыпь, отчетливо и вполне определенно поднималась в небо... Алпатову захотелось крепко подумать о большой и коротенькой правде, о своей охоте за счастьем, но в полях без горизонта мысль расплывалась, а рыжая дорога возвращала к детству, к Гуську с его перепелами. Но как только он закрыл глаза, ему представилось, будто он едет не вперед, а назад, и он стал думать об этом странном явлении, стараясь установить в себе разумное соответствие с действительностью. Из этого усилия явилось нелепое представление лошадей, бегущих хвостами вперед, и санных впереди их. Он стал упрямиться: «Ни за что не открою глаза, пока не докажу себе разумно движение вперед». И когда он твердо установился в борьбе с обратной силой движения, случилось еще хуже, чем было: он все забыл...

Кто много ездил в санях по снежной стране, наверно, хоть на одно мгновение испытывал и чувство этого обратного движения, и особенно страшное, когда вдруг оказывается — человеку нечего вспомнить о себе самом... Я обыкновенно в такие минуты или больно кусал себе язык, или заговаривал с кучером: «Ну, Глеб, расскажи мне, как теперь ты живешь?» Алпатов перестал сопротивляться, открыл глаза. Движение вперед сразу определилось, но мало радостного было и в этом движении: рыжая горбатая дорога поднималась на скучное небо, где покойники лежат совершенно забытые. Алпатову, как и всем нам, едущим по таким бескрайным снежным полям, пришлось отказаться найти определенную мысль о себе и обратиться к кучеру с каким-то самым нелепым вопросом. И только уже когда наконец-то доехали и поезд понес его в Москву, наладилось соответствие внешнего мира с внутренним и Алпатов вернулся к мысли своей о большой и коротенькой правде. Он даже себе план придумал побыть в Москве несколько дней и тут перед поездкой в Петербург посмотреть не прежними детскими глазами, а новыми, как иностранец, что же такое особенно хорошее сравнительно с европейцами жили русские люди в Москве, исполняя законы естественной коротенькой правды.

И, вернее всего, этот влюбленный молодой человек увидел бы на родине какую-то прелесть, — почему же столько иностранцев навсегда остаются в Москве? Но не

успел он устроиться в своем номере, хорошенько чаю напиться, его попросили явиться в охранное отделение.

Его спросили, тот ли он Алпатов, который устраивал школу пролетарских вождей, сидел за это в тюрьме, по особому ходатайству был отпущен за границу и теперь явился сюда без разрешения въезда в столицу.

Бывало, в прежнее время Алпатов был так находчив в ответах жандармам, теперь он растерянно спрашивает:

— Вот этого я и не знал, ведь это было уже так давно, стало быть, мне нельзя жить в столице, как же так?

— Я не говорю, что нельзя, — улыбнулся жандармский полковник.

И подвинулся к Алпатову так близко, что коснулся его ног своими жирными ляжками в синих штанах.

— С вашим старинным другом Ефимом Несговоровым не встречались ли вы за границей?

— Нет, я его там не видал.

— Неужели ни одного разу?

— Ни разу.

Больше ничего бы и не надо говорить, жандарму спрашивать было нечего. Но верней всего эта мысль о коротенькой правде и готовность в этом делать опыты смягчила Алпатова, и он сказал жандарму совершенно ненужную фразу:

— Я все время за границей провел в упорной работе.

Жандарм почему-то очень обрадовался.

— Очень, очень похвально, что же теперь вы намерены делать в России?

— Конечно, применять свои знания.

— Применять, применять! — добродушно воскликнул жандарм. — А на чем же применять?

— Я торфмейстер, у нас такие болота, буду осушать.

С полной искренностью и сочувствием опять воскликнул жандарм:

— Осушать, осушать!

И предложил даже сигару.

В сигарах Алпатов кое-что понимал, и ему захотелось продолжать свои опыты: жандарм такой добродушный, почему бы и не покурить.

— Бразильский лист? — спросил он.

И так он обрадовал полковника: так мало людей, понимающих толк в хороших сигарах!

— Это мексиканский лист,— сказал он. И бросился к ящику.— Пожалуйста, вот вам и бразильский. Раньше я тоже был страстным поклонником бразильского листа, теперь перехожу на мексиканский.

Поговорили о сигарах,— что в Германии в этом отношении очень хорошо, но в Париже из рук вон плохо, а в России за деньги можно такое достать, чего нет в Германии. С деньгами в России можно что угодно достать, и если только умеючи жить, денег в России для умного человека найдется сколько угодно.

Под конец Алпатов, вставая со стула,— жандарм тоже встал,— спросил, как же дальше быть: ему теперь в Петербург надо ехать, не будут ли там его тоже беспокоить.

— Будут-то будут,— ответил жандарм.

— Как же выйти из такого положения?

Полковник задумался.

— Вот что,— сказал он,— вы же в Петербург зачем едете, наверно, устраиваться?

— Да, я вам сказал, я затеваю большое дело с осушением болот, мне там надо получить назначение.

Полковник чрезвычайно обрадовался.

— Осушать, применять,— воскликнул он,— самое разлюбозное дело! А пока они о вас за границей будут справляться, вы создадите себе в Петербурге отличное положение.

Да, вот так сказал и жандарм: *положение*.

И с этим Алпатов вышел на улицу.

Будь он свободен в себе, как не раз бывало ему за границей в промежутках упорной работы, конечно, он зашел бы в Кремль; очарованный, долго бы оттуда сверху смотрел на Москву, отличая тут великое движение Востока на Запад, и сокрушающие победы Запада, и беспричинное сияние Востока. Теперь ему было не до того: последние слова жандарма о *положении* все перемешали в нем. Расстроенный, он обратил только внимание, что огромные зеркальные окна магазина Елисеева на Тверской были почему-то мутные. Он даже провел пальцем по стеклу и оставил резкую линию: то была, значит, пыль. Но мало того, что пыль; вокруг были снега, и, значит, пыль на зеркальных окнах роскошного магазина оставалась еще с прошлого года! Неприятно было ему, и что московские люди на узкой Тверской так сильно размахивали руками, что иногда задевали. Один раз возле витрины магазина кто-

то сзади привалился к нему. Какой-то старик, пробиваясь сквозь толпу, назвал его дьяволом. Кто-то хлопнул его сзади со всего маху по плечу и, когда все разъяснилось, даже не извинился, а просто сказал: «Я вас за Ивана Петровича принял».

Все это нам привычное и такое смешное мало-помалу начало бить в Алпатова, как бьет капля воды с крыши в камень и на камне через множество лет от этого получается углубление, — у Алпатова теперь уже в сердце было что-то размыто и там скопилось непрерывной ноющей болью.

Но самое главное, что эта ноющая боль, все более и более ввинчиваясь, с одной стороны, перешла в точку почти физической боли, а с другой — именно в этой точке и помещалось свое собственное «я», как будто в чем-то виноватое.

Когда-то Алпатов, чутьем угадывая это состояние у других, глубоко его презирал, называл «самоковырянием» и думал — каждый, если захочет, может выйти из такого порочного круга усилием собственной воли. Теперь он сам был в плену. Раньше Кашеева цепь, ему казалось, была в мире внешнем, огромная цепь, теперь не цепь, а цепочка завертывалась вокруг своего «я», и эта цепочка оказалась сильнее, чем вся великая цепь. Мало-помалу, ничего не видя вокруг себя, он заметил в ужасе, что мысли его, и боль, и даже все внешнее, что попадалось в глаза, и особое новое чувство своей вины, протекая кругом, начиналось, как танец от печки, и эта неподвижная печка была *положение*, а конец — по больному месту острые слова: «я» — маленький.

В номере он с удивлением вспомнил о своем решении несколько дней шататься без дела в Москве. Теперь только поскорее бы уехать отсюда подальше, в Петербург, и там начать все по-новому, по-настоящему. Только перед этим захотелось ему снова избавиться от проклятого самоверчения, рассказать об этом искренно другу в письме.

И он пишет ей о себе, уверенный, что когда он выскажет все совершенно, то непременно и сбросит с себя эту новую маленькую, но еще более страшную цепь. Его обманывает теперь увлекающее сладостное чувство писать ей о себе, он забывает, что если другому прочитать написанное им, то как раз это и будет изложение самоверчения, начиная от печки *положение* и кончая осью всего порочного круга: «я» — маленький.

Исписав несколько листов почтовой бумаги, Алпатов зовет курьера и велит ему немедленно отнести на почту и отправить заказным. Но как только уходит курьер и невеста его оказывается не здесь, в комнате, как было, когда он писал, а далеко в Париже, то вдруг переменяется весь смысл написанного: все письмо сплошное издевательство над *положением*, которое сам же он вызвался создавать ради нее. Это письмо, он теперь понимал так ясно, было бредом, в котором он бормотал о своем великом «я», назначенном разбить Кашееву цепь, и что это великое «я», встретив на пути своем *положение*, обернулось в сидящее на цепочке «я» — маленькое.

Он бросился по лестнице, чтобы вернуть курьера, но было поздно: получив приказание поспешить, курьер убежал.

От кого же он сам бежит теперь из этого номера, где явилась ему несчастная мысль написать? Он еще не знает, что бежит от самого себя и что от этого никуда нельзя убежать. Все, что было в номере, сейчас же явилось к нему, как только сказали на Николаевском вокзале, что поезда ждать придется ему еще час. Он спрашивает себе чаю и садится за столик писать. На диване рядом с ним, обернувшись лицом к спинке, храпит на весь зал толстый человек. Не обращая внимания на храп, он пишет в Париж, что под минутным впечатлением от разговора с жандармом о положении он немного сошел с ума и написал ей бессмысленное письмо. Но пусть она не обращает внимания: это все эгоистический бред, а в будущем он непременно сумеет забыть себя и вернется к тому положению, о котором они вместе думали в Париже...

Он перечитал письмо свое несколько раз и совершенно уверился: письмо было очень хорошее. Теперь, если он это письмо сейчас опустит в ящик, оно придет, может быть, днем раньше, чем заказное. Вот хорошо бы еще приписать сюда: что он просит ее не читать и разорвать заказное письмо. И он опять берется за перо, но как раз в эту минуту храпящий человек обертывается, не открывая глаз, отхаркивается, плюет и своей мерзостью обдаёт все письмо.

Алпатов бросает перо. Сильной рукой хватает толстого человечка за ворот, трясет его, и тот медленно открывает налитые кровью глаза...

— Пьяный! — сообразил Алпатов.

И, бросив письмо, спешит удалиться. Но пьяный только

теперь пришел в себя и узнал, кто это вдруг потряс его с такой чудовищной силой.

— Караул! — закричал он. — Держите, держите, он чайник украл у меня!

ФЛОРА И ФАУНА

Поэты берут красоту северного света белой ночью, когда закончится брачное время у многих интересных наших растений и животных, птицы сели на яйца, все в природе занято делом, а человек, не зная покоя, бродит белою ночью по улицам огромного города... Сказал ли кто-нибудь о красоте света на Севере, когда после тьмы человек пробуждается в засыпанном снегом и сияющем в новом свете городе? Многие обратили внимание на такой Петербург только в тот день, когда замолчал пулемет и все вышли на улицу, чтобы во время великой войны народов сказать о мире всего мира *всем — всем!*

Нет, кажется, о весне света до тех пор еще мало кто говорил, считая болезненную белую ночь истинной весной петербургского человека. Но Алпатов, никогда еще не выдавший Петербурга, сразу обратил внимание на сияние снега в большом городе: ни в Москве, ни в одном европейском городе такой роскоши архитектуры, украшенной снегом и так освещенной, он еще не видал. А между тем шел он по солнечной стороне Невского не для того, чтобы о вечном мире народов сказать *всем — всем*, а просто в департамент шел, как множество других, создавать себе положение. Ему представлялся департамент по Гоголю местом издевательства над убогим, но сложным существом человека вроде того, как было в его гимназическом классе, когда все мальчики мучили одного странного. По Достоевскому, в департаменте служили бедные люди, униженные и оскорбленные. По Щедрина, там лютые хищники делили казну. Казалось бы, всего ближе был Алпатову департамент у Гончарова в *«Обыкновенной истории»*, где молодой человек, в юности почти революционер, просит дядюшку устроить ему положение. Да, тут в красоте на болоте люди так много всего намечтали, что каждому оставался в наследство двойник. Но красота весны света была сама по себе так велика в Петербурге, что Алпатов, думая по авторам о департаменте, не вспомнил пока своего двойника из *«Обыкновенной истории»* и свой

путь по коротенькой правде все еще считал каким-то особенным и небывалым у других.

На углу Невского и Литейного в книжном магазине огромная красная книга *«Весь Петербург»* в издании Суворина сразу дала Алпатову и адрес действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева на Захарьевской, и его служебный телефон в департаменте на Мойке. Он, представляя себе департамент исключительно по литературе, позвонился с большим волнением. Но деловой голос просто и даже довольно любезно ответил ему: его превосходительство не имеет особых часов для приема, и видеть его можно в Ученом комитете в служебные часы.

Мартовский свет, разгораясь все больше и больше ближе к полудню, во всем помогал Алпатову.

Сверкает алмазная весна. Многие синицы в Лесном поют брачным голосом, самые красивые маленькие птички, кочуя, рассыпаются по темнеющим дорогам, снегири, свиристели, овсянки. На Невском возле Пассажа продают мимозы, тепличные фиалки и ландыши. Ярко освещенная студенческая молодежь на верхнем этаже конки показалась Алпатову букетом цветов. На углу Невского и Михайловской под капелью одна улыбающаяся девушка показалась ему очень похожей на Инну Ростовцеву.

Если в мрачном Петербурге на Невском Алпатов открыл себе весну света, то почему бы и департаменту не выйти таким же удачным и положению в нем совершенно особенным: очень возможно, еще ни один инженер не приходил сюда с таким великим планом осушения русских болот. Швейцар в этом изящно одетом молодом человеке сразу же увидел его счастливое будущее и не только вежливо помог ему раздеться, но и проводил немного по лестнице и в Ученом комитете указал кабинет его превосходительства. Секретарь, который разговаривал с ним по телефону, был очень похож на скромного, изысканного, вежливого немецкого молодого ученого и действительно оказался временно служащим здесь лаборантом. Он тоже скоро получает командировку в Германию и смотрит на Алпатова из Германии почтительно. Пока его превосходительство занят в кабинете с посетителем, есть время покурить и расспросить лаборанта, можно ли рассчитывать на успех.

— Как понравится, — сказал секретарь. — Петр Петрович ученого склада человек, место его на кафедре, да вот только жизнь заставила его заняться производством бумаг.

— Вы так смотрите...

— Коллега, весь город занят производством бумаг. Но редко вы встретите человека совершенно мертвого и преданного только одной бумаге. Огромное большинство в Петербурге живет двойной жизнью.

Мгновенно вспомнив, как в Париже Инна ему показалась двойной, Алпатов сказал:

— Я это очень понимаю, жизнь вообще двойная, протекает в большой и в коротенькой правде, и люди живут обыкновенно надвое. Но я думаю, задача каждого сделать коротенькую правду большой, и человек должен соединить все правды в одну.

Удивленный лаборант ответил:

— Сбываются мои предчувствия: паверно, у нас преувеличили значение военной Германии, и в сущности своей она остается по-прежнему страной мыслителей. У нас в Петербурге едва ли кто-нибудь из служащих думает в своем деле соединять разделенную жизнь. Мы все служим здесь исключительно для производства бумаг, а дома занимаемся личной жизнью, которая и кажется нам настоящей. Я лично занимаюсь наукой. другой сидит просто в кафе.

— Чем же занимается его превосходительство в другой своей, настоящей, жизни?

— Лучшую часть своей жизни его превосходительство посвятил созданию лесной энциклопедии, другой стороной он, как все мы, раб и исходящих, и входящих бумаг. Если вам удастся подойти с его лучшей стороны, он все вам сделает, а если не удастся, то просто расскажет длинную историю, как он ездил в Карлсбад растворять камень в печени, и почему из этого ничего не вышло, и камень не дает ему жить.

В это время из кабинета вышел посетитель в мундире с учеными знаками, и лаборант, пригласив Алпатова к двери, шепнул:

— Будем надеяться на лучшее!

Его превосходительство бессменный секретарь Ученого комитета лесного департамента Петр Петрович Ростовцев сидел за большим письменным столом, заваленным горою бумаг. Была видна входящему в кабинет только пепельная голова с желтым лицом. Взглянув на прекрасный лоб Петра Петровича, Алпатов сразу узнал происхождение закрытого локонами лба своей невесты и почтительно, гораздо усерднее поклонился, чем если бы перед ним сидел не отец

Инны, а просто действительный статский советник. Но Петр Петрович даже и головы не поднял, а только указал рукой на стул. Алпатов сел и замер. Петр Петрович погрузился в работу и о просителе совершенно забыл.

По длинным корректурным гранкам быстро гуляла рука с красным карандашом, одна рука красила, другая синила. Мало-помалу весь лист сделался похожим на трехцветный флаг из белого, красного и синего. После того рука берет пачку каких-то картинок, выбирает из них подходящие, иные припиливает к флагу-листу, иные наглухо приклеивает синдетиконом. С одной гранкой было покончено, началась другая, Алпатов кашлянул, и Петр Петрович поднял на него свои усталые и очень добрые глаза.

— Я, ваше превосходительство, пришел к вам посоветоваться...

— Рассказывайте, слушаю, — ответил Петр Петрович, снова погружаясь в работу.

Алпатов побоялся упустить Петра Петровича и поскорей протянул ему руку с бумагой.

— Вот мой диплом. Я иностранный инженер. Хочу просить вашего совета, можно ли мне как-нибудь устроиться на живую работу.

Петр Петрович взглянул и просиял.

— Торфмейстер! — воскликнул он. — Да вас ко мне прямо же бог прислал. Помогите мне, а потом я вам все сделаю. Садитесь удобнее.

Оказывается, русские ученые не умеют писать для энциклопедии и надо у них из десяти слов оставить два-три, а то и всю статью самому изложить по-другому.

Алпатов с удовольствием берет корректуру статей о торфе, усердно красит, синит, переписывает вновь и наконец показывает.

— Что значит немецкая школа, — восхищается Петр Петрович, — наши растрепы могут только выдумывать, а вещь показать — это не их дело. Я в вас как будто alter ego¹ нашел. Но в чем же дело, в чем я могу вам помочь?

— Я ищу живую работу, чтобы жить не надвое — для службы и для себя, как тут все живут, а целиком отдаться интересному труду.

— Понимаю, — грустно и ласково сказал Петр Петрович, — что вы хотите создать лучшее.

Конечно, Петр Петрович это совсем просто сказал, но

¹ Второе я (лат.)

у Алпатова это «лучшее» соединилось с тем, что он слышал от своей невесты: «Помни всегда, я отдала тебе все свое самое лучшее».

— Вот верно-то, — воскликнул Алпатов совершенно по-детски, — именно лучшее.

Петр Петрович с удивлением опять повторил:

— Право, я, кажется, в вас alter ego нашел. В свое время я тоже, как вы, хотел цельного дела, хотел быть только фаунистом, воображал себе даже, что и жена моя тоже будет зоологом. А вот теперь, видите, как во всем разделился надвое.

Алпатов с глубоким сочувствием и искренним состраданием смотрел на Петра Петровича.

— Да, — сказал он, — я только теперь понимаю, что моей главной задачей будет не разделяться.

— Как же вы думаете этого достигнуть? — спросил Петр Петрович. — Извините меня, я спрошу: вы не женатый?

Алпатов покраснел и не знал куда деваться. Петр Петрович даже глаза отвел. Потом Алпатов справился с собой и рассердился даже:

— Я не женат, но какое же это отношение имеет к нашему делу?

— Не сердитесь, милый мой, — ласково сказал Петр Петрович, — в большинстве случаев наше лучшее зависит только от этого...

— Я сам так думаю.

— Вы можете всячески думать, но беда...

— Никакой беды, беда у сильного человека — это вызов к борьбе.

— Скажите... — улыбнулся Петр Петрович, — вы не совсем уже юноша и отличный работник, до чего же, значит, можно за границей консервироваться. Кроме того, я думаю, вы происходите прямо от матушки сырой земли...

Алпатов вспомнил, что рассказывала ему Инна об отце, что сам он из купцов, был Чижииков и стал Ростовцевым и потом для графини своей стал генералом. И почти с гордостью он сказал:

— Я происхожу из купцов.

— Так я и знал, и еще догадываюсь, — наверно, вы до заграницы бунтовали...

— Как это вы можете догадываться, ваше превосходительство?

— Очень просто: никто из приходящих ко мне за

местом в департаменте не говорил еще мне: «Беда — это вызов к борьбе». Только не думайте вовсе плохо о бюрократии: Петербург высасывает из страны все лучшее, и оно уже потом здесь хиреет. И если с этим вздумать бороться, то надо уничтожить весь Петербург.

— Вы забыли, ваше превосходительство, я с самого начала сказал, что ищу живого дела, понимая, конечно, на болотах, а не в департаменте.

— Вот это верно, — обрадовался Петр Петрович, — если есть охота работать в болотах, то это мы с вами можем устроить. Но, конечно, не сразу. Есть ли у вас хоть что-нибудь пока перебиться? Для существования вы можете подработать у меня в энциклопедии; мы разделимся с вами: я себе возьму редактировать фауну, вы — флору.

Алпатову хотелось броситься на шею Петру Петровичу: ведь он будет работать у него по ночам в той самой квартире, где выросла Инна!

Лаборант показался в дверях. Петр Петрович весело ему сказал:

— Ну идите, идите сюда, молодой человек, мы тут вот сейчас заключили союз флоры и фауны.

Алпатов в приемной подождал лаборанта и все ему рассказал с восхищением: ему даже и не снилось, чтобы были такие превосходительства и такой департамент. Лаборант соглашался с ним, но про себя думал: все это выходит потому, что Алпатов приехал из Германии.

Потом был Алпатов на Невском проспекте под вечер, когда на нем все кипит и бурлит. Зажигались лампочки. Начинался снег. Уйти, оторваться не хочется. Долго смотрит Алпатов на цветы за огромным зеркальным стеклом. Снег падает, а там целое дерево цветущей сирени. Но лучше всего одна вазочка в ювелирном магазине, небольшая античная вазочка с гением прельстила его. Она ли, такая совершенная сама по себе, взяла его в плен, или раньше того пришла ему в голову прекрасная мысль и случайно сошлась с формой изящного сосуда. Вот он что-то придумал. Поскорей бы только добежать к себе и написать это своему другу.

И он пишет в дешевых номерах Пименова на Пушкинской улице, рядом с банями того же Пименова, представляя себе вместо женщины маленькую вазу с гением.

«В какой пленительной силе встает теперь моя первая детская встреча с природой, и каким прекрасным кажется

мне родной человек в родной стороне! Вспомните же, друг мой, я настаиваю, я буду радостно трудиться изо дня в день, чтобы вы наш брачный день приняли навсегда как единственную творческую силу природы, все, что мы называем неопределенным словом «любовь». Соберите же черепки вашей расколотой жизни, уверяю: есть на свете живая вода, я найду ее, и она опять даст черепкам форму единого прекрасного сосуда!»

ПРИЧИСЛЕННЫЙ

На Невском была суматоха. *Коты* с финскими ножами в карманах, встречая проститутку, говорили им: «Облава! облава!» — и незарегистрированные женщины бросались в боковые полуосвещенные улицы. Особенно удобно было им переждать облаву на Пушкинской возле номеров и бань Пименова: тут можно было и спастись от облавы, и *замарьяжить* кого-нибудь в номерах или банях.

Но Алпатов и не подозревал, что он поселился в вертепе. Какое дело ему было до всего этого низкого, когда он так ясно видел само лицо жизни в форме античной женственной вазы с гением. Он бы и долго писал, и пропустил бы назначенный час для ночной работы в квартире отца своей невесты. Но ветер, как часто бывает в Петербурге, вдруг переменялся, сильно повеяло теплом, и с грохотом обрушился снег. Алпатов очнулся, посмотрел на часы, запечатал письмо и вышел на улицу. Проститутки десятками бросились к нему, называя *красавчиком*. Некоторые были пьяны, хрипя и отхаркиваясь, тоже предлагали любовь, преследовали, хватались руками за пальто. Алпатов пробивался через их толпу с таким чувством, как на войне нам, живым, приходилось быстро ехать по полю, усеянному трупами: не так было страшно, как описывают, забываются страшные трупы, когда самому очень хочется жить...

...Друг мой, в любви нашей, конечно, скрыта война, и улицы большого города политы гораздо больше нашей кровью, чем поля обыкновенных сражений. Ночью на улицах бой, днем идем мы все как последствие великой войны: мы, победители и побежденные. Но редко доходит до того, чтобы всех сразу коснулась война. В мирной жизни все проходит невидимо, как у маленьких животных в густой траве. Но мы были свидетелями, когда война всех

коснулась и потом улицы большого города начали было даже покрываться действительно настоящей зеленой травой: во многих местах на Васильевском острове, где я жил, это было. Но скоро снова человек все взял в свои руки: опять везде загорелись огни, опять начали везде торговать и любить. Я шел, как лунатик. Мне казалось, будто я, как ворон, прожил лет триста, возвращался на давно оставленное привычное место и все узнавал. «Вон там,— угадывал я,— должен быть крендель булочной, описанный Блоком.— как-то теперь? И что же: хотя золотой крендель куда-то исчез, но булочная была на том же самом месте, и продавали тут прежние французские булки и русские крендели. Через два дома от кренделя была пивная, и опять вот она: люди по-прежнему сидят и пьют у окна. А потом я завертываю за угол, и волнение мое доходит до последних пределов: тут должна быть маленькая подвальная лавочка, где в роковой вечер я купил себе папиросы «*Кадо*». У меня сердце больно забилося, когда я в действительности увидел ту же самую лавочку с папиросами. Спускаюсь туда, и тот самый хозяин с усами, как у Бисмарка, подает мне папиросы «*Сафо*». С сожалением говорю ему: «Когда-то было «*Кадо*»!» Он мне моргнул и покосился на публику. Я подождал немного, и, когда все вышли из лавочки, Бисмарк, обдувая пыль с коробочки, подает мне «*Кадо*». Я закурил и, как лунатик, продолжал свой путь, и всюду, где я жил, где так смутно мыслил и смешанно чувствовал, на кровавых местах побоищ нахожу выпрямленное чувство и созревшую мысль. Мало-помалу я уже не лунатиком, а хозяином прохожу по полю сражения и собираю урожай на крови и сею. Неужели я сею только для того, чтобы скрыть повседневный бой и создать иллюзию мира? Не знаю, друг мой, мне так хочется жить, я плыву, поминая милых умерших, втайне радуюсь сердцем, что сам остался в живых...

Это напряжение жизни у Алпатова было так сильно, что из обыкновенного светящегося номера 25 на Захарьевской он создает себе в один миг на всю жизнь, конечно, такого же фетиша, как вышло у меня с папиросами «*Кадо*» в подвальной лавочке. Для других людей был самым обыкновенным серый каменный в четыре этажа дом с подвальной лавочкой, от которой проходим днем и ночью пахнет морковью и кислой капустой. В этом доме для других людей, может быть, самая неинтересная квартира пепельно-серого с желтым лицом действительного статско-

го советника, не сумевшего в Карлсбаде растворить камень своей собственной печенки. Для Алпатова это был дом его невесты, и он, волнуясь, не мог даже сразу войти: прошел до угла, вернулся, прошел до другого угла, снова вернулся и тогда уже вошел с трудом, сам себя заговаривая. Как условились, чтобы не беспокоить кого-то звонком, он тихонечко с лестницы стучит в стену. Петр Петрович сам открывает дверь чуть-чуть, только для глаза, спрашивает: «Вы?» — и снимает цепочку. Он в халате и туфлях, неслышно закрывает дверь на французский замок, умоляет шепотом, раздеваясь, что-нибудь не задеть в передней и потом идти за ним совершенно неслышно. Алпатов крадется на цыпочках через анфиладу неосвещенных комнат на огонек. И потом, когда закрывается дверь кабинета за ним, то кажется ему, будто попал в мышеловку: книги высоко вверх под потолок, и в шкафах, и в вертящихся этажерках, и внизу, даже на полу разложены диаграммы и карты. Они садятся у письменного стола рядом и начинают работать.

Час ночи.

Что-то грохнуло и покатилося. Петр Петрович вопросительно поднял голову. Алпатов ему подсказал:

— Это весна: в желобе лед покатился.

Петр Петрович:

— Неужели весна?

Он сказал это в особенном смысле: «Продолжаются разве весны на свете?» Алпатов ответил в своем смысле, что эта весна для него совершенно особенная, что он уже видит третью весну: в Париже было, как в апреле, проезжая назад по Германии, видел март, и в России началось все с начала.

— Так вы и в Париже были, а у меня там теперь учится дочь.

Как вертелось на языке сказать: «Я с ней встречался». Но вместо этого он спросил:

— Почему учится она в Париже, а не здесь?

— Результат семейной борьбы, я настаивал, чтобы здесь училась: у нас тоже неплохо на высших курсах. Но для некоторых в нашей семье неприемлемо слово «курсистка».

Алпатов догадался, кому неприемлемо.

Опять грохнуло и покатилося в желобе. Петр Петрович сказал:

— Так, стало быть, это весна. Ну, давайте еще поработаем.

Два часа ночи.

Редактор. Может быть, вы подкрепитесь шоколадом? Бывало, всю ночь жую шоколад. Теперь все запретили. Кушайте, мне доставляет наслаждение смотреть, как люди с аппетитом едят. Неужели вы, правда, теперь третью весну переживаете?

Помощник редактора. Это неважно, Петр Петрович, весна у человека бывает одна.

Редактор. Да, это правда. Потом короткое лето и осень, неизбежная зима — и конец. А вам как представляется?

Помощник. Мне представляется так же, как вам, для всех неизбежно, но в отношении себя я всегда почему-то думаю о смерти: пусть у всех, а я-то как-нибудь проскочу.

Редактор. Мне вы очень, очень нравитесь: в молодости я думал совершенно, как вы.

В четыре утра белый тюль на окнах становится снежным узором на голубом. Алпатов положил карандаш и любит.

Редактор. Вы, наверное, устали?

Помощник. Рассветает. Я думаю, вот бы такие занавески делали на окна, как выходит теперь: кружева на голубом шелку. Давайте, если можно, закончим работу: мне хочется посмотреть, как теперь на улице. Вы, наверно, тоже немного устали?

Редактор. Я совсем не устаю от этой работы: ведь это я делаю для себя и получаю гроши. Мне трудно в комитете, там я секретарь, здесь председатель. Лесная энциклопедия — мое собственное дитя. Но давайте кончать, ведь вы секретарь и должны уставать.

Алпатов убирает бумаги. Петр Петрович ему говорит:

— Я заметил, у всех складывается понимание жизни двойное, как бы направо и налево; у меня сложилось, на одной стороне председатель, на другой секретарь: у председателя талант и слава, но живет он трудом секретаря. Вы себе нашли что-нибудь в этом роде?

— Я хотел бы соединить в себе то и другое, чтобы для всех со стороны я был секретарь, а внутри себя председатель.

— Совершенно удивительно! В своей молодости я думал так же, как вы. Но вот вам мой совет: если только вы хотите сделать карьеру, о секретарстве надо выбросить всякую мысль.

— Я не карьеру хочу делать, я хочу создать себе положение.

— Положение? — удивился Петр Петрович. — Как положение? Вы об этом не говорили. Я слышал от вас о каком-то большом деле. А положение это совсем другое; хотите, я похлопочу: вас причислят к министерству.

Алпатов опять замаялся: нельзя же было ему посвятить отца Инны в свой план, — для виду скоро создать положение, а потом увезти ее с собой на большую работу. Но Петр Петрович полюбил его и стал по лицу все понимать. Он сказал:

— Не трудитесь мне объяснять: вам нужно положение, и это я постараюсь вам сделать; вас причислят.

— Что же, — спросил Алпатов-Причисленный, — есть ли это уже положение?

— Причисленный, — ответил Петр Петрович, — это вроде как бы представленный. У нас в министерстве есть около тысячи представленных к чину действительного статского советника, но удовлетворяют их не сразу, всего несколько десятков около Пасхи из всей тысячи делаются настоящими генералами. Вот я, кажется, нашел точное определение: представленный — это скорее состояние, чем положение. Точно так же Причисленный — это состояние, а когда Причисленный получает место — это уже положение.

В передней Алпатов очень тихо напомнил:

— Вы не забудьте, ваше превосходительство, может быть, и сегодня уже для меня это сделать.

Бесшумно, привычной рукой опуская пружинку дверного замка, Петр Петрович ответил:

— Ступайте, любуйтесь весной и считайте себя как бы Причисленным.

На рассвете успело уже слегка подморозить. Пока Алпатов достиг Невского, уже совсем рассвело. Всюду на улице было много некрасивых остатков, как после боя на поле: там обрывки газеты или разорванный конверт, иногда тесемка, была одна калоша и футляр от финского ножа. Электричество забыли погасить, и этот бледный свидетель пересказывал весеннему свету о ночных делах человека. Непривычная ночная работа поселила великий сумбур в голове Алпатова: электричество стало ему как вечный секретарь, и он жалел его так же, как и Петра Петровича с секретарской работой его в департаменте.

Весна задержалась. Каждый день одинаково к полудню согревается воздух, до вечера бывает тепло и на улице исчезают все признаки снега. В полночь летит пороша, на рассвете скрепляет порошу мороз, и следы немногих людей в заутренний час отчетливее виднеются на Невском.

Странный след оставлял Алпатов на невской пороше в заутренний час. По Литейному след был очень извилистый, неровный: человек шел, поминутно останавливаясь, вероятно, о чем-то раздумывая, топтался на месте. Можно было подумать, что с Литейного на Невский выходил совершенно пьяный человек и свертывал к большому цветочному магазину. Тут возле цветов очень много натоптано, охотник по зверю сказал бы, что зверь тут *жировал*. После того пьяный след переходил к магазину, где была на выставке маленькая керченская ваза с гением. Тут след был твердый и насквозь до асфальта: тут он долго стоял. И отсюда обратно, пересекая свой извилистый след верными шагами, шел по Невскому к Пушкинской.

Если бы мог только Алпатов понять свой собственный след, как бы он ужаснулся себе самому, оставляющему ежедневно на мостовой изю дня в день совершенно одинаковые отпечатки. Но и на рукописях исправляемых им статей тоже остаются следы. Каждый раз, приступая к работе, на полях первой рукописи он ставит множество точек, заключая каждый десяток в кружок. На второй статье точек меньше, и дальше все меньше и меньше. Так ему необходимо считать точки, пока не войдет в работу. А днем, когда все работают, он пишет невесте, похожей на вазу, письма безо всякой меры и счета. Можно ли так жить изю дня в день и оставлять на заутренней невской пороше правильный, деловой след человека?

Каждый день он входит с надеждой — вот сегодня Петр Петрович объявит ему радость: он причислен к министерству, ведь нужен только первый шаг в каждом деле, а потом обыкновенно все спокойно идет своим чередом. Но Петр Петрович упорно молчит. С ним тоже что-то происходит: Алпатов все бледнеет, Петр Петрович желтеет и очень часто теперь, не работая, лежит на диване. В последний раз он долго не отворяет. Алпатов стучит в стену еще и еще. А когда наконец отворается дверь, Алпатову приходится своего редактора под руку вести до дивана.

«А что, если придет такой день,— думал Алпатов,—

и к Петру Петровичу вовсе не пустят, и нельзя будет спросить о своем?»

Он решается сегодня и спрашивает. И Петр Петрович говорит:

— Все сделано, но почему-то не отвечает департамент полиции. Я вижу, вы очень волнуетесь, почему вам не терпится?

Смущенный Алпатов:

— Так, весна задержалась: на меня это всегда сильно действует.

— Проехались бы пока, — советует спокойно Петр Петрович, — вот я поеду в Карлсбад, и вам бы можно командировку устроить за покупкой гидроторфных машин, да, едемте вместе.

Алпатов смекнул:

«Вот бы воспользоваться и заехать в Париж».

— Но как же поехать, — сказал он, — для этого, верно, надо быть тоже причисленным?

— Это можно по вольному найму. И я вам о поездке так, между прочим, сказал, а по вольному найму на всякую работу легко можно устроиться.

Алпатов встрепенулся:

— Так почему же вы раньше-то не сказали!

— С вами происходит что-то мне непонятное, молодой человек, вы пришли ко мне в первый раз и объявили желание работать. Я хотел вас устраивать. Потом вы заявляете, вам здесь необходимо некоторое положение. Я начал хлопотать о положении, и теперь вы опять хотите работать.

— А разве по вольному найму это не положение?

— Какое это положение, если при первом недоразумении вас могут уволить! Это волчье положение и — вернее сказать — не по вольному найму, а по волчьему найму.

После того Петр Петрович закрыл глаза. В этот раз Алпатов напрасно ставил и считал точки на рукописи: длинные периоды статьи *сфагнум* не сокращались, и один раз он даже приставку к глагольной форме отнес, как в немецком, на конец предложения. И все-таки досидел до конца, когда стали на окне голубеть занавески.

Неизменная пушистая пороша лежала на мостовой. Занималась заря, бледнела луна. И начался в этот заутренний час опять этот пьяный извилистый след с Литейного по Невскому к огромной витрине с цветами.

Вот почему виляет след на пороше: в холодном

утреннем воздухе является ему третий образ невесты — не его маленькая желанная Инна, готовая идти за ним, не считаясь ни с каким положением, не Инна Петровна, подобная страшной графине, а утренняя, умытая и деловая. Собираясь в университет, может быть, даже к зачету, она читает на ходу из бедной России признание в любви от маленького, не имеющего положения торфмейстера, его рассуждение о творческой силе любви. Как будто жизнь, ежедневная масса деловых людей тоже питается любовью! «Батюшки мои! — восклицает она. — Он обещается найти живую воду и воскресить мой разбитый сосуд». Может быть, зачет она прекрасно сдала и по доброте своей хочет ответить сегодня маленькому торфмейстеру, но получается новое письмо в десять почтовых листов, а к завтраму предстоит сдавать новый зачет, и утром ей подадут пакет в десять листов.

Вот отчего Алпатов пьянеет в утреннем воздухе и так неверной походкой идет к окну с цветами. Но и цветы не дают ему отдыха: это праздничные цветы для подарков людей с большим *положением*. Большая, бледная, почти бесцветная луна тоже рассказывает о своем обыкновенном положении: совершенно холодной, не имеющей на себе ни малейших признаков жизни, вечно вертеться вокруг себя и ходить без малейших признаков личного праздника вокруг земли. Луна утренняя, бледная при солнечном свете, с полной откровенностью говорит: «Я знаю только необходимость вертеться, остальное все придумали маленькие горячие люди».

И после того Алпатов сам себе говорит: «Я маленький торфмейстер, и больше нет во мне ничего».

Вот почему возле цветочного магазина так много притоптано; с этого места, сделав ужасное открытие посредством луны в себе самом, он долго не может сойти. Ему представляется, он дошел в себе до последнего, и больше *идти некуда*. Но это еще не правда. Он, шатаясь, проходит несколько шагов к ювелирному магазину и впивается глазами в маленькую керченскую вазу с гением.

ВАЗА С ГЕНИЕМ

Когда-то в детстве нас с братишкой ставили на коленки перед иконами и заставляли читать «*Отче наш*» и «*Богородицу*». Это были не молитвы: какая молитва может быть

у пригвожденного к полу ребенка? Но однажды в скуке я придумал читать как можно тише, чтобы не расслышали старшие, в тон и ритм *«Богородицы»*: «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была?» И это теперь, после многих лет жизни, оказалось молитвой: ни «Отче», ни «Богородица» мне теперь ничего не дают, но с трудом могу без слез прочитать это стихотворение Лермонтова и в особенности его же «Я, мать божия, ныне с молитвою».

Может быть, и Алпатов, глядя на античную вазочку вместо иконы, тоже шептал какое-нибудь стихотворение вроде молитвы и так мало-помалу создавал из ужасной астрономической луны привычное нам, родное, хорошее, небольшое светило?

А еще однажды, переживая большую беду, лежа в кровати, я как-то печаянно через окно с подушки увидел на рыжем от электричества небе маленькую бледную петербургскую звезду. В полном соответствии с этой звездой в моем внутреннем хаосе явилась светлая точка совершенного спокойствия, как будто на земле ко мне подошел мой собственный меридиан и я на него прочно стал. Время от времени светлая точка в моем хаосе и свой меридиан стали появляться, и долго был я так наивен, что в такую драгоценную минуту бросался убирать свою комнату и наслаждался чудесным порядком, когда все вещи становились на свои собственные места. Много я таких минут упустил, пока не догадался пользоваться ими и, когда под ноги попадает свой меридиан, а наверху загорается светлая точка, заниматься не расстановкой вещей в комнате, а своих собственных мыслей. Я начал эти мысли посылать своему другу, и когда мой друг стал меня понимать, то все мучения кончились: я узнал, что для творчества не надо родиться непременно великим человеком и что создаваемая нами в творчестве форма — все равно книга, сад или машина — есть форма совершенного и длительного общения людей.

После того как Алпатов сосредоточился на волшебном предмете, и прочитал свою «Ветку Палестины», и увидел свою светлую точку, у него сейчас же сложилась в голове ясная форма письма, которое должно бы непременно вернуть ему утраченную невесту. Он только боится, как бы не забыть ему все по пути в номера Пименова или чтобы не встретился бы какой-нибудь человек и не расстроил бы его порядок. Вот почему следы его теперь располагаются по

такой правильной линии. Но так он каждый день приносил в свою комнату порядок в мыслях и уверенность в сердце, что в этот раз непременно он выразит наконец себя в новом письме, и от этого все переменится и начнется новая, бодрая, уверенная жизнь.

...Но, мой друг, в любви к женщине, вероятно, бессильна молитва.

Неизбежно каждый раз, когда письмо бывает отправлено Инне, похожей на античную вазу с гением, является Инна Петровна и обнажает все эгоистические претензии маленького торфмейстера. А потом, после ночной работы, утром непременно показывается самая ужасная третья — деловая, как астрономическая луна, и тут бы конец всему, но в последний конец опять непонятная сила дает оружие в новой борьбе.

Вот теперь ранним утром он спешит снова к себе и очень боится швейцара: разбуженный швейцар обыкновенно ворчит, и не это ли в конце концов отнимает у него силу написать настоящее письмо? Сегодня он приготовился сунуть в руку швейцару целый рубль. Но когда он с Невского свертывает на Пушкинскую, швейцар, оказывается, в этот ранний час стоит на улице около входа в гостиницу, с ним рядом стоит какой-то мизерный человечек с большим кульком и, запуская туда время от времени руку, достает кедровые орешки и щелкает.

Вероятно, и швейцара это он угостил, швейцар тоже грызет. В этом щелканье орешков, как все равно и подсолнухов, Алпатов с детства в родной стороне видел самое ему ненавистное: люди совершенно ничего не думают, и глаза у них в это время бывают такие, как будто ждут всякого повода, чтобы над чем-нибудь по-обезьяньему захохотать. Не захотелось и на чай давать. Он прошел было мимо зевак, как вдруг швейцар вернул его одной лениво сказанной коротенькой фразой:

— Поглядите, тут, кажется, есть вам письмо.

Нечего было ему разглядывать: среди нескольких десятков писем он сразу видит это свое. Наконец он дождался!

И швейцар получает свой рубль.

Трудно читать!

Письмо лежит на столе, а он в «Новом времени» читает бюллетень природы профессора Кайгородова: «Началась массовая перекочевка всех придорожных маленьких птиц, все синицы в Лесном поют брачным голосом».

В этот раз беду он предчувствовал и малодушно даже хотел бежать от письма и вскрывал его, как яд себе в стакан наливал...

Потом залпом вдруг выпил свой яд:

«Слишком уважаю, чтобы отдаваться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».

Нет! И все переменилось. Вдруг оказалось, что мира этого *взамен* совсем не существует, все было обман. В особенности удивительно стало с тем большим делом в болотах, куда он в конце концов должен был увезти свою невесту. Болота оказались не заманчивой девственной природой, а просто дикими кочками с чахлыми деревцами, холодные, пустыг.

Но как же революция, борьба за освобождение людей от Кашеевой цепи? Это все оставалось, но только не больше как *факт*: от его участия в этом деле ничего не переменится. Все равно как и та бледная астрономическая луна не устанет вертеться, будет он или не будет встречать ее вечерами и провожать по утрам. Мать его у себя на хуторе тоже будет доживать свой век, брат любимый, Николай, будет собирать деньги от винной монополии и ловить раков, сестра останется с кошками. Все пойдет по своим неизменным законам, и мира *взамен* Инны не существует. Но почему-то ему все-таки оставались синицы в Лесном: все до одной поют теперь брачным голосом,— вот бы послушать! На тонких неодетых веточках берез, раскинутых по голубому небу, ему представилось в лучах весеннего солнца великое множество синиц, раскрывающих тонкие носики.

Он быстро схватывается и выходит только затем, чтобы увидеть синиц на берегах. Идет быстро пешком по Невскому. За ним, отступая, но не выпуская из виду, идет небольшой человечек с кульком кедровых орешков и неустанно пощелкивает.

Был на пути мост с гигантскими конями, но Алпатов не только этих коней, но и Казанский собор не заметил. Не видел Дворцовую площадь с опушенной снегом колоннадой. Все сверкало искрами на солнце, и везде переливалась всеми цветами капель. На Неве вырубали для ледников красивый лед. На небе был свой небесный ледоход весны света, и сам тяжелый Исаакий поднялся. Но Алпатов ничего не видал, и спокойная линия дворцов ушла вдаль без

него... Он видел где-то впереди только паутинки сплетающихся веток берез и множество маленьких птиц, раскрывающих носики.

Мало-помалу людей на улицах становится меньше, среди каменных домов все чаще и чаще попадаются деревянные, крашенные охрой постройки, и белый каменный город становится желтым. Он еще прибавляет шагу и скоро пересекает все кольцо деревянного желтого города. Начинается настоящая деревенская дорога с раскатами от розвальней и скоро уводит в лес, еще совершенно по-зимнему засыпанный снегом. Вокруг только березы, и среди них изредка темные елки. Тут Алпатов остановился, прислушался, и ему показалось — не синица пела, а где-то щелкнула белочка, разгрызая орех. Он оглянулся туда, где щелкнуло: то не белка, а человечек с бумажным кулком в руке догонял его и пощелкивал. Алпатов хотел пропустить. Но человек, вероятно, тоже заинтересовался синицами, остановился и слушает. Алпатов идет вперед. Тот идет сзади в пяту и мерно щелкает. Вместо синиц Алпатов теперь представляет, будто Петр Петрович взял себе в рот орех и силится разгрызть, и его умное и доброе лицо становится тупым. Вместо синиц он видел лучшие лица разных людей с орехами во рту в обезьяньем лесу. Он прибавляет шагу, а тот сзади себе прибавляет и щелкает. Перешел на тропинку по другой стороне дороги. Человек-обезьяна переходит за ним и все щелкает. Явилась вырубка при дороге и с ней, казалось, такая счастливая мысль: сесть на пень, будто бы отдохнуть, и человек-обезьяна мимо пройдет. Садится на пень, а человек-обезьяна тоже рядом садится и щелкает. С чудовищной злобой Алпатов наводит свои глаза в маленькие серые щелки и вдруг все понимает: за ним послали филера, и самого глупого. А тот спокойно, отставляя орех, поднесенный ко рту, спрашивает:

— Сами-то чем занимаетесь?

— Чем занимаюсь? — ответил Алпатов, не сводя с него глаз. — Я учу обезьян.

И, протянув руку, с наслаждением сжал ему шею. Человек-обезьяна высунул язык, уронил кулек с орехами, но успел схватиться за нож. Алпатов схватил его за руки. Нож упал в снег.

Подтолкнув его сзади коленкой, Алпатов велит ему скоро бежать. И тот убегает.

Певчие птицы негусто распределены в лесах, и такие все они маленькие. Нужно сделаться властелином молчания, чтобы в лесах наслаждаться пением птиц. А у Алпатова кровь звенела, время скакало: в Лесном не мог он слышать брачным голосом поющих синиц. Шесть дней он колол лед на Неве и на Выборгской стороне набивал ледники военно-медицинской академии. На седьмой день он ушел на Галерную гавань и там у водоразбора сел на бревно. Пришли две пожилые женщины с ведрами. Одна была слабая, шла с ведрами и задыхалась. Другая, помоложе, сказала:

— Вам бы отдохнуть: к зятю поехать.

— И-и-и... милая, — ответила больная, — к зятю поехать, так ведь надо подольше пожить, а на кого же я брошу своих?

Женщина помоложе больше ничего не могла сказать, и ее тропа уходила в сторону, могла она сказать только слова:

— До свидания, родная!

— Спасибо же, милая, спасибо на добром слове, — пропела больная женщина.

Серебряная волна голоса слабой женщины достигла слуха Алпатова, он встал, взял, как игрушку, в одну руку ведро, другой поддержал женщину, проводил...

После того ему пришло в голову: почему не понимает Инна, что в любви его есть и такое, вот как у этих женщин между собой, и он мог бы от всего отказаться, только сохранить бы ему непомраченную память о ней...

Почему?

Тогда собственная его светлая точка совершенного спокойствия показалась где-то вдали, и он идет к прежнему месту на Невском, входит в магазин, покупает маленькую античную вазу с гением, уносит ее к себе в номер, ставит на столе, смотрит и на вопрос свой: почему Инна не находит в себе для него простого, любовного слова, какое нашлось у этих чужих друг другу женщин у водоразбора, — получает ответ. Вазочка, теперь такая близкая, такая спокойная, *своя* вазочка отвечала ему: «С Инной, как со мной, надо, чтобы она была тут возле, надо помочь ей нести свое ведро, как женщине у водоразбора, и отбросить в сторону всякий свой интерес».

Светлая точка спокойствия находилась теперь в зените.

Оставалось теперь только ставить вопросы, и ответ ему там где-то готов: в эти минуты весь мир — магазин для ответов, успевай только ставить вопросы. Прежде всего, конечно, ему нужна близость: невозможно так сгустить слова на бумаге, говорить здесь с ней, как с живой. Он просто пойдет сейчас к Петру Петровичу, к ее отцу, к его другу, все расскажет ему, объяснит причину колебаний своих между работой и положением. Петр Петрович, конечно, устроит ему командировку за гидроторфными машинами, сам поедет в Карлсбад, вызовет Инну к себе из Парижа...

Друг мой, вот теперь я понимаю, что рано было мне говорить о бледной звездочке, показавшейся когда-то мне после многих мучений на рыжем от электричества петербургском небе: надо, чтобы она показалась, когда все лишнее совершенно сгорит в груди, и с этой молитвой «Ветка Палестины» чтоб уж не было связано затаенное желание приблизить к себе женщину: «Детей от Прекрасной Дамы рождать никому не дано». Бесплезны молитвы в любви к ускользящей женщине... тут нет выхода... каждый поступок разоблачает обман и обнажает свое ничтожество до страстного и последнего желания истребить себя самого. Я бы не стал и рассказывать, конечно, эту интимную историю, если бы не взял на себя долг летописца. Не смейтесь, мой друг, эта история не случайного человека, подлежащего клиническому лечению холодными душами или теплыми ваннами в двадцать семь градусов. Это было время такое, вспомните, с чего началось, когда безумный Евгений грозил: «Ужо тебе!» И после того сколько людей предсказывали конец ему, и как страшно потом перед концом все у нас разделилось в стране на Петербург и Россию.

Нет, мой друг, молитва не может приблизить к себе женщину живую, от которой хотелось бы иметь детей в неудержимом стремлении продолжения в детях собственной жизни. Так хорошо было придумано у Алпатова после семидневного скитания в окрестностях Петербурга, — открыться во всем полюбившему его отцу Инны и ехать вместе с ним за границу. Все было ясно теперь, и он, уверенный, пошел в департамент. Случилось, в приемной отсутствовал лаборант и не мог ни о чем предупредить Алпатова. Он сам подошел к двери его превосходительства и, как делают все чиновники, бесшумно открыл себе щелку и посмотрел в кабинет. Все было в комнате, как и раньше: за письменным столом из груды бумаг виднелись

пепельные волосы Петра Петровича и возвышался его желтеющий ученый лоб. Алпатов входит. По своему обыкновению, увлеченный работой Петр Петрович не поднимает головы, с молчаливой просьбой дожидаться.

Так немало времени прошло, и много хорошего пробежало в голове Алпатова. Он чувствовал себя как мастер, совершенно овладевший формой, в которую после долгих усилий наконец входят его непокорные материалы. Как теперь обрадуется Петр Петрович, когда, подняв голову, увидит его, пропадавшего где-то семь дней! И как легко теперь будет все ему объяснить.

Но когда наконец его превосходительство поднял голову, то холод пробежал по жилам и волосы шевельнулись: его превосходительство, поднявший голову, был не Петр Петрович! Ужас, однако, был не в том, что вместо Петра Петровича сидел кто-то другой, а что сходство этого нового человека со старым было так велико, что вслед за первую мыслью «не тот!» явилась другая: «А может быть, я сошел с ума и в действительности сидит настоящий прежний Петр Петрович?»

Человек, подобный Петру Петровичу, спросил:

— Что вам угодно?

«Другой!» — поверил себе Алпатов и ответил:

— Я к Петру Петровичу.

— Как, — сказал другой Петр Петрович, — разве не знаете вы, что Петр Петрович шесть дней тому назад скончался?

Алпатов попятился и закрыл свое лицо ладонями.

— Вы что же, — ласковым голосом спросил другой Петр Петрович, — приехали откуда-нибудь из провинции, наверно, родственник покойному?

— Нет, я так... мы работали вместе над лесной энциклопедией, сдружились.

— Так вы инженер Алпатов, alter ego Петра Петровича! Как я вас ждал! Садитесь, пожалуйста, садитесь вот тут: мы с вами закончим его дело.

И Алпатов сел на тот самый стул, где привык сидеть рядом с настоящим Петром Петровичем. Теперь ему невыносимо стало видеть такого же человека, с теми же синими и красными карандашами, но не отца Инны.

— Извините, — сказал он, — я сейчас не могу...

— Вполне понимаю, — сказал другой Петр Петрович, — вы ко мне на дом приходите вечером, как у вас было: все пойдет по-старому.

Алпатов спросил:

— Мы с Петром Петровичем все ожидали одну бумагу из департамента полиции, быть может, она за эти дни получилась?

— В этом отношении не все благополучно.

Подумал немного и махнул рукой.

— Хотя бумага и секретная, да уж куда ни шло, ведь покойный Петр Петрович, наверно бы, ее вам показал.

И живой Петр Петрович из ящика достает отношение директора департамента полиции. Алпатов читает справку о себе самом, что в таком-то году он был одним из основателей школы пролетарских вождей, что он был судим и приговорен к тюремному заключению на год с последующей ссылкой в места не столь отдаленные; год предварительного заключения, однако, ему был зачтен, а ссылка по особому ходатайству заменена пребыванием за границей. В настоящее время выясняется самая возможность пребывания названного Алпатова в столице. Директор департамента полиции в заключение писал:

«Свидетельствуя совершенное почтение вашему превосходительству, настоящим имею честь запросить: после всего вышеизложенного находите ли возможным причислить названного инженера Алпатова к министерству?»

Алпатов равнодушно положил бумагу на стол и спросил нового Петра Петровича, на каком кладбище похоронили покойника.

— Среди литераторов, — ответил новый Петр Петрович, — его энциклопедию признали за великий труд. Хорошо похоронили Петра Петровича на Волковом кладбище.

ЛЮБОВЬ ПО ВОЗДУХУ

Теперь на Октябрьской железной дороге в каждом пассажирском поезде, в каждом вагоне непременно кто-нибудь из москвичей назовет Ленинград мертвым городом. А тот, кто пережил его запустение, когда иные мостовые зарастали травой, начинает доказывать, будто Октябрьский проспект стал теперь таким же оживленным, каким был Невский при Гоголе.

— Тот, да не тот, — отвечает москвич.

И он прав, я там был: около четырех часов вечера на бывшем Невском проспекте движение, пожалуй, не меньше прежнего, да вот нет чего-то, назовем это, как

Гоголь, *мечтой*, из-за чего у него маленький задумчивый чиновник попадает под лошадей. Нынешний гражданин, хотя и не богаче гоголевского чиновника, да зато осмотрительней, и у него уже нет в голове прежних мыслей о Медном Всаднике.

Не знаю верно, сколько погибло бумаг в революцию, пусть все цело и хранится в архивах. Но с этим никто уж спорить не будет: бумаги в архивах сами по себе мертвые существа, и нужен особый творческий человек, чтобы они показались нам интересными. А тогда были такие живые бумаги, что в своем самопроизводстве собирали людей часто мертвых, и они нам казались живыми.

Белые ночи такие же и теперь прозрачные, но линия дворцов иначе выглядит теперь нам белою ночью. Бывало, каким-то Евгением из «Медного Всадника» проходишь по гранитному берегу и, как на болоте бывает, видишь возле себя белую лилию и не можешь достать, так бывало тогда с плененной красотой в Петербурге, — манит красота, а сам грозишься, как Евгений: *ужо тебе, Петра творенье!*

Все это теперь кончилось. Я иду гражданином, любой дворец мне открыт: уплатив двадцать копеек за вход, а то вовсе бесплатно, я могу любоваться вещами царей и великих князей. Но я ничего не нахожу себе в этих дворцах и думаю о мертвой скуке их прежних обитателей. Сбылся мой старый сон, много раз мне повторявшийся: будто бы весь город-призрак исчез, а я хожу по болоту наедине с осушительной затеей Петра и слушаю, как уцелевшие где-то куранты свидетельствуют совершенное почтение давно исчезнувшему высокопревосходительству.

Этот сон тогда многие видели, но Алпатову было не ночью, а днем при полном блеске весны света на Волковом кладбище. Оказалось, что этот город мертвых, из-за того, что каждому мертвецу места нужно очень немного, гораздо более населен, чем город живых. В тесных проходах он даже при помощи сторожа не может найти свежую могилу действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева.

— А может быть, вам надо могилу не Ростовцева, действительного статского советника, — спросил сторож, — а писателя Ростовцева?

Тогда все и объяснилось: Петра Петровича по его желанию и признанию за ним большой заслуги в деле создания лесной энциклопедии похоронили на Литературных мостках.

Там Алпатов скоро находит могилу Белинского, Тургенева, читает благоговейные надписи молодежи карандашом на чугуне и железе, рассматривает букетики засохших цветов. Наконец внимание его останавливает фигура издателя энциклопедического словаря Павленкова. Ему показалось издали, будто на животе у Павленкова было выбито слово: «*энциклопедия*». Вблизи он рассмотрел — буют помещался на книге и слово было выбито на корешке, но не на животе. Все равно — первое впечатление не прошло, и он покачнулся от боли, представляя в будущем и себя самого с такою же надписью на животе стоящим среди настоящих творцов.

Вот когда и явилось ему это, как многим, колеблющееся видение города-призрака, и захотелось, как безумному Евгению, скорее бежать куда-то к своему домику. Чудом могло, конечно, случиться, что Инна там ожидает его. Но и без чуда возможно: она приехала, узнав о смерти отца, она раскаялась в своем жестоком письме и теперь дожидает его в номере, как уже было тогда с ней в Париже. Но самое главное, кажется ему, что он верит: ведь нужно только горчичное зерно веры, чтобы гора сдвинулась и пошла...

Что это, неужели он молится о чуде у свежей могилы?

Друг мой, в любви к женщине бессильна молитва, нельзя читать утром, вечером, ночью и достигать малопомалу сближения: никаким трудом, никаким талантом не возьмешь свою возлюбленную, если только нет решения в природе, в этом от нас не зависимой. Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить совсеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, *не судьба*.

Я вспоминаю Гришу, когда он приходил играть к нашему балкону на своих тростниковых *жалейках* (с рожком). Был я такой маленький, что совсем не понимал ничего не только в любви, но даже в движении стрелки обыкновенных стенных часов. Боюсь сказать, было ли мне два года, но знаю наверно, не более трех. Мы жили в небольшом каменном доме с железным ажурным балконом. На этой тихой улице в каждом домике плела кружевница, и через открытые окна к нашему балкону

постоянно неслись особенные мелодичные звуки кленовых коклюшек. Только теперь, через десятки лет, я угадываю все значение этих звуков нашей улицы. Как настоящая тишина бывает много сильнее, если в ней слышится неустанный сверчок, так и затаенный человек, исполненный трепетной силы, показывается мне на нашей скромной улице, когда я представляю себе звуки кленовых коклюшек, перебираемых пальцами девушек, и я говорю себе: человек везде человек.

Каждое утро к нашему балкону приходил Гриша и начинал играть на жалейках. Было хорошо его слушать, но я не понимал тогда всего значения этой музыки. Нам давали по медной монете. Мы бросали ему с балкона в шапку. Он кланялся и уходил за угол, дальше и дальше, играл, и мы все слушали, пока не оставались у нас на улице только звуки осиротелых кленовых коклюшек.

Не знаю, может быть, я никогда бы и не догадался о молитве любви в этих звуках, если бы вдруг мелодию не оборвали грубой силой: однажды во время игры подошел городской, взял Гришу за ворот и увел его от нас *навсегда*. Я очень хорошо помню это предчувствие, что Гришу увели навсегда.

Мы несколько дней все-таки выходили на балкон, все-таки ждали, но предчувствие конца не обмануло нас: музыка исчезла навсегда, и даже так странно сошлось, что потом я, бродя много по всей стране, никогда не слышал больше нигде игры на жалейках.

Когда Гришу увели навсегда и музыка его перестала, я понял ее. Никто из старших, однако, не догадывался, почему я плачу по ночам: мне было жалко Гришу, и я о нем проплакал много ночей.

После, когда я стал все понимать, не раз мне передавали историю любви этого Гриши, десятки лет потом эта маленькая история повертывалась ко мне своей то грустной, то смешной стороной. Только никто не разделял мои чувства, я это очень тайл, все смеялись, не было ни одной души со мной, и даже брат, с кем вместе мы слушали музыку и вместе горевали, потом все совершенно забыл. Старушка няня, всегда выходившая тогда с нами на балкон слушать Гришу, не могла вспомнить, как городской тогда на ее глазах увел Гришу, и на вопрос мой:

— За какую вину увел городской Гришу? — отвечала равнодушно:

— Что-нибудь сбондил.

Я остался на всю жизнь наедине с этим для всех ничтожным событием, и оно так затронуло мое маленькое трехлетнее сердце, что чужой рассказ о смешной любви, мне кажется, я могу передать, как будто сам был кровным свидетелем и почти участником для всех потешного романа *по воздуху*.

Он пел тенором на правом клиросе собора. На левом пели приютские девочки и с ними взрослая дочь соборного протоиерея, отца Потамия Махова. В городе постоянно смеялись, пересказывая как местный *куръез*, что соборный протопоп, отец *гиппо*-Потамий, назвал свою дочь *Музою*. Гриша, уличный оборванец, влюбился в эту совершенно недоступную ему дочь протоиерея и сделал ее своей *музой*. Он был так прост, что о любви своей кому-то рассказал, и это дошло до ужасно смешливых наших купцов. Смеялись над ним: за такого оборвыша не пойдет даже последняя постирушка Феша Ламская, а не то что дочь соборного протопоба Махова. Гриша широко открыл удивленные глаза и говорил купцам:

— Мне этого и не надо.

— Врешь, — говорили купцы, — подсолнухи ты любишь?

Гриша отвечал простодушно:

— Подсолнухи я люблю.

Купцы ему:

— А ежели ты их любишь, то и грызешь.

Но Гриша возмущался и однажды сказал:

— Я люблю *по воздуху*.

Вот с этого разу и пошло по всему городу: Гриша влюблен по воздуху в дочь соборного Гиппонотама Музу. Гимназисты и гимназистки переменили обычное условное название любви *платонической* и называли это коротко *по воздуху*. Мальчишки толпами бегали за Гришей и совсем задразнили.

Но самое главное началось, когда Гриша надумал своей Музе писать и в своих письмах переменил свою фамилию Отрезкова на Отрепьева. Верней всего, он взял это как украшение себе, из любви самозванца Григория Отрепьева к Марине Мнишек. Все свои письма вначале он подписывал:

Известный Вам

Григорий Отрепьев.

Вскоре Муза вышла за дьякона Фортификантова в Лебедянь.

Гриша писал в Лебедянь матушке Музе Потамьевне Фортификантовой, но в этих письмах подписывался уже не как известный, а как *бывший*:

Ваш бывший

Григорий Отрепьев.

Все эти письма, обежав Лебедянь, возвращались к соборному протопопу и у нас в городе переходили из рук в руки. Все покатывались со смеху, и гимназист гимназистке в то время писал или «Ваш известный», или «Ваш бывший».

Последнее письмо Гриши не дошло по адресу и хранилось у швейцара орловской гостиницы, и он часто потешал им всех, кто хорошо давал ему на чай. Последнее письмо из романа по воздуху было адресовано не Музе Потамьевне Фортификантовой, а пресвятой пречистой деве Марии и подписано: не *известный*, не *бывший*, а совсем по-новому:

Будущий

Григорий.

Друг мой, звуки жалейки с рожком были прекрасны, я не могу их забыть. Это была великая молитва любви, хотя я знаю: в любви к женщине все молитвы бессильны.

«Верю, верю, верю!» — заговаривал себя Алпатов. И уверился: Инна дожидается его. Он без колебания спросил швейцара:

— Меня ждут?

Швейцар открыл ему дверь широко и сказал:

— Да, вас ждут.

Двери комнаты Алпатова были открыты. По одну сторону стола сидел жандарм, по другую маленький человек в штатском. Алпатов сразу узнал маленького с серыми щелками вместо глаз. Не хватало, видно, ему кулечка с орехами, и вместо этого он вертел в руке вазочку с гением.



ЗВЕНО ДЕСЯТОЕ

ЖИВАЯ НОЧЬ

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

Всегда, если самого внезапно схватит сильная боль, вдруг открывается слух на боль у других людей. В их словах слышится шорох, будто это не слова, а в замерзающей реке быстро бегущая вода шелестит тонкими, острыми льдинками заберегов. И забывается время в природе. Широко открываются глаза, спрашивая, весна это или осень, весенний мороз-утренник схватывает прибережную воду или кончает привольное житье всей твари кузнец-зазимок?

Ум ничего не может ответить. Так бывает всегда, что, когда весна придет к самому себе, не помнишь числа, глаз не мерит, ум не считает, не можешь сказать себе, конец это или начало, смерть или любовь.

Тогда, бывает, и сильный человек, в другое время умевший крепко молчать, вдруг, как ребенок, спрашивает первого встречного о трудных случаях в своей жизни и рассказывает все о себе. До крику бывает потом стыдно

вспомнить об этих слабых минутах; вспомнишь... и как будто всего насквозь прокололо иглой. У нас множество таких людей, застигаемых внезапной болью. Оттого на каждой железной дороге почти во всяком вагоне можно слышать исповедь одного человека другому, совсем ему незнакомому.

Нет, не зазимок, это весна половодья начиналась в природе. Солнце, большое, красное, опускалось в грязно-кисейную мглу. Молодой человек с невыносимой болью в ясных глазах слушал вагонные разговоры, и на лице его, как на тихой воде, рябью отражалось скрытое даже иногда за козлиным смешком и самым неизвестное, привычное страдание затертых жизнью пассажиров последнего класса. Он отвернулся к окну, к солнцу, но и большое, красное солнце в кисейной мгле, казалось ему, тоже, как люди, чем-то болело. Большое солнце не отвечало молодому человеку, не могло ответить: оно было солнце.

От вида этого расплывшегося в красно-кисейной мгле огромного красного солнца молодому человеку стало много больнее. В это время с верхней полки, лежа на подушке в красной насыпке, прикрытый серым люстриновым пиджаком, на него внимательно смотрел, казалось бы, самый неинтересный пассажир: какой-то рябой человечек в синей косоворотке. Упорный взгляд его привлек наконец внимание молодого человека, он взглянул в это лицо и ничего в нем не открыл: ни боли, ни радости жизни. Человечек показался ему как вещь, что-то вроде мелькающих в окне железнодорожных значков, приметных только специалистам путейского дела. Но тот этого мгновенного взгляда только и ждал. Поймав его, он сказал:

— Осмелюсь побеспокоить, не Алпатовой ли Марии Ивановны сынок будете?

Досадливо и даже как бы с ненавистью ответил Алпатов:

— Не все ли вам равно, чей я сынок, зачем вам это нужно?

— Очень виноват перед вами, так и предчувствовал, что побеспокою, и долго не осмеливался заговорить. Да ведь скушно! А уж с кем как не с вами поговорить, вы такой ученый, а я такой маленький.

Алпатову стало совестно.

— Откуда вы сами и как меня знаете?

Человечек очень обрадовался, быстро спустился с верхней полки и сел у окна против Алпатова.

— Я краснорядец, Павел Филиппович Черномашенцев. Матушка вам про меня ничего не извоилили ска- зывать?

— Не помню, нет... с каким-то в красных рядах толстовцем она, помню, любила беседовать и долго с ним носилась. Собаки там у вас в красных рядах были страшные привязаны. Целы собаки?

— Собаки-то целы, да я больше там не служу и в толстовцах не состою, а матушка ваша это обо мне вам говорили.

Алпатов еще раз искренно извинился. Рябой человечек быстро его к себе привлекал.

— Вот бы спросить вас, — осмелился краснорядец, — как люди живут за границей.

— Как! И это вы знаете, что я за границей был?

— Ну как же, я все про вас знаю. Бывало, матушка придет в красные ряды и непременно ко мне, я два стула готовлю, для них и для вас, и раскладываю разные материи, вырезаю образчики, занимаю приличным разговором, и потом начинаем торговаться: ваша матушка — ух! — не передадут лишнего, но любезные чрезвычайно, и, когда замечают, что из-за ситца начинается промеж нас вроде как неудовольствие, вдруг переходят на разговоры религиозно-нравственные. Я же вопросами этими в то время болел и читал, даже сам переписывал запрещенное сочинение графа Толстого «Крейцерову сонату». Вот матушка ваша, хитрые, как только в торге нашем случится заминка, на мое слабое место и ударят. «Лев Толстой, — скажут, — пропове- дует прекращение человеческого рода», — и в этом роде поведут и поведут. Я заступаться, нуте, а в конце концов матушке вашей и спущу копеечку, вот, извольте видеть, с каких лет я вас знаю и, можно сказать, слежу за вами неустанно.

— Следите?

— Слежу с восхищением с самого того раза, как вы убежали из первого класса гимназии открывать какие-то забытые страны.

Алпатов обрадовался, как ребенок, и сказал:

— Лучше этого путешествия у меня ничего не было в жизни и, верно, не будет. А впрочем, вы мне даете мысль: почему бы в крайней беде, когда уж ничего больше не останется, не попробовать опять вернуться к этой забытой стране.

— Вот видите, как я все ваше знаю: матушка, бывало,

все-то рас казывает о вас, и все я слушаю. Барышня у вас жила... вот только забыл, как это вы ее называли.

— Марья Моревна?

— Вот, вот, Марья Моревна! Мальчиком вы поклялись Марье Моревне снять с людей Кашееву цепь. Очень я вами заинтересовался, и с тех пор, как ни встречу с вашей матушкой, непременно у нас разговор о вашей судьбе, все знаю — и как вы страдали за ваши идеи в тюрьме, и как потом уехали за границу. Знаю даже, что и теперь вас беспокоят, слышал — сейчас контролеру сказали, в Петербург едете, и обрадовался: значит, с вас уже сняли теперь запрещение въезда в столицу?

— Еду потихоньку, — сказал Алпатов и так по-детски доверчиво улыбнулся, будто маленькую шалость свою открыл другу с просьбой никому не рассказывать.

— Вылитая вы матушка ваша, — улыбнулся и краснорядец.

— Я к невесте своей еду в Петербург, — еще более откровенно и неожиданно сказал Алпатов.

— Ну те?

— Еду вот. А у вас была невеста, вы семейный человек?

— Я матушку свою содержу, еще тетка-дьяконица с кучей детей на моих руках, пришлось отказаться от собственного счастья. Невеста, знаете, все-таки ведь заменима...

— Как заменима?

— Очень просто: с одной разошлись, успокоились и выбираете другую по собственному вкусу, и даже очень спокойно, а матушка у нас у всех бывает одна, и она раньше нас приходит в мир, и у всех матушка бывает одна-единственная. Извините за нескромность, а вам сколько годков исполнилось?

— Много, даже совестно сказать...

— И не говорите, я к тому это, что интересуюсь, как вы обходили наш коренной вопрос: ведь у вас все выходило необыкновенно в другом, не может быть того, чтобы вы, как все, по нужде имели женщину, а теперь, когда можно стало создать положение, собираетесь вступить в законный брак с образованной женщиной и ту оставляете другому для временного пользования.

— Нет, нет, — живо отозвался Алпатов, — я всегда был против этого. Меня, видите, мальчиком в публичный дом привели, и я там напугался на всю жизнь. Потом студентом

я поверил в близкую перемену всей жизни и ждал женщину будущего. В нашем кружке все были такие: мы временно отказывались, только временно...

— Ну те-с, временно, а как же и *того*?

— Вы хотите сказать, как я буду устраиваться с моей действительной невестой? Она пришла ко мне не из будущего, а из прошлого. Она говорит, что та женщина будущего только моя мечта и я в ней живой вижу только свою мечту и совершенно ее не понимаю. Мне кажется, она ее даже и ненавидит, как свою соперницу. Но сейчас она пишет мне, что со мной живет все ее лучшее, я не утерпел... Так вот меня выслали на родину из Петербурга, но это оказалось сильнее...

Алпатов вдруг остановился и понял, что рассказывать этого ему не следовало, что сейчас он что-то потерял безвозвратно. Со страхом посмотрел он на краснорядца, и ему стало еще хуже: краснорядец отчего-то преобразился, лицо его было строгое, глаза умные и неласковые... А поезд как раз в это время остановился, и в тишине слышался разговор. Кто-то рассказывал откровенно, так же как и Алпатов, другому — и, верно, тоже незнакомому — свою жизнь, и незнакомый человек после каждой фразы, настроенный перед этим мерным громоуханием поезда, говорил: «Так!»

— Я говорю жене: «Давай сдадим комнату».

— Так!

— «Я, — говорит жена, — согласна». Сделали объявление.

— Так!

— Приходит жилец. Осмотрел комнату, понравилась. Говорю жене: «Согласна пустить?» Посмотрела на него и отвечает: «Согласна».

— Так!

— Пустили. Жилец живет. Я хожу на фабрику, ухожу и прихожу.

— Так!

— Вот раз пришел я на работу. Хватился я — забыл кисет с табаком. И вернулся домой.

— Так!

— Вернулся я, друг мой, домой. В жилецкой комнате нет никого. Перехожу я к жене...

— Так!

— Перехожу я, милый мой, к жене, а она под ним.

— Под ним!

Поезд тронулся и заглушил разговор. Алпатов сидел весь залитый лучами огромного красного солнца, сходящего к самым вершинам темного леса. Краснорядец жутко глядел на него и как будто чуть-чуть подмигивал.

— Сколько на свете неразрешимых вопросов, — сказал он, — семейных, и говорить нечего. Слышали разговор? Вы вот такой превосходно ученый, вам все-таки легче, а у меня вопросы на каждом шагу. Вот сейчас солнце садится такое большое и красное, я думаю: почему оно красное? Вы, наверно, это знаете, объясните мне, почему это?

В первую минуту Алпатов обрадовался и приготовился этим разговором о солнце погасить свой стыд. Но когда он хотел начать рассказ о преломлении лучей в парах воды и посмотрел на краснорядца, глаза его не были такими наивными, как бывают обыкновенно у простых людей, начинающих интересоваться знанием. Краснорядец это не просто спросил: он издевается. И все-таки надо было ответить.

— Вас не удовлетворит, конечно, если я отвечу, что красный цвет солнца при закате бывает от преломления лучей в парах воды.

— Это я еще и в церковно-приходской школе учил. Выходит, вы ничем не отличаетесь от меня, хотя и получили высокое образование.

Серыми маленькими глазками, как стальными клинками, краснорядец впивался в ясные глаза Алпатова все глубже и глубже, вызывая в них новую боль.

Спасаясь от призрака человека-насекомого, растущего с каждой минутой, Алпатов отвернулся к окну: там в насыщенном парами воздухе весны половодья большим кораблем, тяжело справляясь с противным воздушным течением, летели на родину дикие гуси.

— Гуси, гуси летят! — крикнул кто-то, захлебнувшись от радости.

Многие бросились к окнам, и все заговорили о весне, о земле, о семенах.

— Вот гуси летят, — сказал краснорядец, — и всем стало весело, а ведь гуси о нашем удовольствии и не мечтают, им некогда думать про Кашееву цепь и спасать людей, им бы только долететь, у них у каждого от перелета мозоль под крылом, не думают, а спасают: всем удовольствие, все стали веселые и добрые.

— Где вы научились своей философии?

— В полицейском управлении, — спокойно ответил краснорядец, — на должности агента по делам политическим.

У Алпатова дрогнула рука, лежавшая на саквояже, там были и письма ее, и фотография, и сухие розы, и ее белая шаль.

— За чемоданчик не извольте беспокоиться, я вас душевно понимаю, я доложу только, что вы ездили на свидание с невестой, и там это даже понравится, в провинции у нас совсем не как в столице, у нас тут по-семейному, кровью-то все-таки родная.

Алпатов, подавленный, с глухой злобой сказал:

— Не родились же вы агентом?

— Не рождался, но и не от себя стал: приехала, видите ли, дьяконица с кучей детей, жена моего любимого брата. Собственно, через эту самую дьяконицу я мечту свою потерял и придумал, как вы изволили сейчас сказать, философию: смотрел из окна полицейского управления на гусиный перелет и придумал.

Агент приподнялся, зевнул, залез на свою верхнюю полку и лежа тихо сказал:

— Как весна-то задержалась, свет апрельский, снега все еще белеются, зато и пустит же сразу! Солнце-то красное, я по-своему понимаю, к чему было: гусь пошел, и в эту ночь все оборвется. Так вот, молодой человек, и у вас весна задержалась, и вдруг все пошло. Не дай бог вам, как и мне, с мечтой своей тоже попасть в полицейское управление.

Алпатов молчал, совершенно подавленный, опустив голову, долго сидел неподвижно и, когда слышался сверху ровный храп, взял свой небольшой сак и вышел. Было уже совсем темно, поезд подбирался к какой-то захолустной станции. Он не знал, какая это станция, не поинтересовался даже взглянуть.

Он просто выходит в темную неизвестность. Так бывает у людей иногда на последнем распутье, идет один, вовсе ни о чем не загадывая, а потом вдруг оказывается — его паровоз переехал. Но бывает и совсем по-другому. Это у нас на земле совершается над человеком Страшный Суд, где защитником и обвинителем бывают то кровь, то мысль.

Прошло много поездов. Алпатов все сидел на лавочке и не решался. Наконец подошел последний, и он встал...

Странный крик раздался в огромных болотах, окружающих станцию. Его нельзя передать никакими словами, это

ни на что не похоже, и мало кто может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Сторож станции знал этот крик и понимал хорошо, что он значит: это ранней весной среди ночи заяц решается крикнуть от любовной радости.

Была ночь у людей. Светил ярко исходящий месяц. Птицы узнавали в этом свете луны конец ночи и начало утреннего света, или, может быть, они ошибались? Началась таинственная лесная песня, похожая на спокойный, грустно-ласкающий ропот потока. Со всех сторон большим кольцом окружали маленькую станцию баюкающие звуки: весь горизонт пел.

— Как тетерева-то бормочут, — сказал кто-то невидимый в темноте, — а лягушки еще не выползали.

— Нонче все поползет, — ответил ему голос с полотна.

Какие же это звуки милые, где их слышал, кто это поет? Знакомые, родные, забытые...

И вспомнилось Алпатову, как он в детстве уехал на лодке открывать забытые страны: какая живая ночь тогда была на реке, сколько удивительных птиц пролетало и каким ароматом веяло с берега! Но самое главное было потом, по возвращении в гимназию, все так потешались и так верно доказывали, что все это было обман, и забытых стран никаких нет, и невозможно открывать страны гимназистам на лодках. А между тем, несмотря на эти доказательства, в глубине души оставалась полная уверенность в своей правоте, и что если бы взяться как-то иначе за дело, то можно бы и открыть...

И вот теперь бояться некого, терять нечего, страшные экзамены по латинской грамматике бывают только во сне, и если навсегда оставить мысль о невесте, то не нужно и никакого положения в обществе. Почему бы теперь *на остатки* не пожить самому, как будто нигде не учился, ничего еще не достиг?

Что это, птицы поют?

«Пойду-ка поближе, узнаю».

И пошел по шпалам в ту сторону, откуда звуки были сильнее. С каждым шагом ясней и ясней вставало перед ним детское путешествие в забытые страны и росло все больше и больше доверие к милым, родным, ласкающим звукам.

— Кто идет? — спросил сторож.

— С поезда, — ответил Алпатов.

— Куда?

И теми же словами, как тогда в детском путешествии, он ответил:

— Иду на мельницу. Можно пройти?

И теперь было так же удачно, как и тогда. Сторож сказал:

— Пройдешь, дорога еще держит.

Все это было для Алпатова, как будто на вопрос сторожа: «Куда идешь?» — он ответил: «Иду открывать забытые страны», — и сторож сказал: «Иди, забытая страна тут возле».

Идет все дальше, звуки все ближе. Полотно поворачивает в сторону. Идет по ледяной дороге. Начинаются кусты, потом деревья между ними, и лес, и опять кусты с редкими высокими деревьями, большая проталина, и вот тут звуки совсем уже близко, и... вдруг он их узнал. Переходит проталину, ставит ногу на белое, проваливается, и с хлопанием больших крыльев все разлетается. Он провалился до шен в ледяную воду, выбирается и действует, как тогда в детском путешествии. Вспоминаются большие хвойные деревья и на них всегда сухие торчки. Ощупью находит сосну, обламывает сучки, достает из сумки спички, зажигает, и освещается большая сушина. Разгорается костер.

— Теперь гори все!

Горят бумаги, и сухие розы, и роскошная белая шелковая, шитая гладью шаль...

— Гори все!

Долго не может оторваться от карточки и разглядывает ее, прислонясь к кусту можжевельника, при свете костра. Сколько раз казалось ему это лицо двойным, скрывающим веdmу. Какая это ведьма, просто милая девушка, счастье...

И бросает счастье в огонь.

Нет, в лесу огонь — не в камине: это почти тот самый огонь, о котором в великой борьбе догадался наш предок по молнии. Это не каминная шутка, это *сам* огонь, и беспощадный, и добрый. Вон там в красном свете показываются рога, да, в лесу не бумажный принцип зла, а если является черт, то с рогами, и если покажется бог, то с бородой...

Счастье сгорает. Нога поскользнулась. *Интеллигентный* человек падает на куст можжевельника, и тот его держит, подпирая мохнатыми лапами. Лежит на спине, как в кресле, — куст держит. Поворачивается на бок — хорошо, прочно держит. Видит, как загорается край сумки с ее письмами. Закрывает глаза и засыпает.

Проталина с кустом можжевельника была в заполье села *Спас во мхах*, на яру у реки. Тут, на старом осечище, спасовцы взяли когда-то три урожая и ляду забросили. Как будто робея перед новой сечей и пожаром, лес осторожно обсевал заброшенные полосы: возле самого леса молодь засела часто, как конопля, и к середке все меньше и меньше. Тут были березки маленькие, как трава на забытых полосках. Вот в этой середке лесной чащи, на лядях, по старому осечищу, у реки, высоко над поемными неприступными болотами, у самого куста можжевельника всегда каждую весну непременно токовали тетерева, и тут старинный охотник Чурка всегда ставил свой весенний шалаш.

Птицы, обманутые светом исходящего месяца, в этот раз слетелись много раньше положенного им предрассветного часа. Месяц померк, они бы тут и придремнули в ожидании света, но пришел человек и их испугал.

Сквозь тонкий сон охотник Чурка слышал бормотание тетеревей в непоказанное время, и его тоже, как старого тетерева, беспокоил свет исходящего месяца. Старый два раза слезал с полатей поглядеть в окошко, не пора ли отправляться на ток, и оба раза его хватал бес за ребро. Оба раза молодая вдовая сноха Паша хорошо огрела его рогачом. Наконец, видно, самой немогоуту: взбеленная гневом, встала, зажгла огонь и села за кросна.

Что она, быть может, нарочно хотела его подразнить? Известно, как молодая баба кросна ткет: пристукнет голыми руками, и запрыгают груди, как снопы на пожарном ветру, подберет подол да двинет погами, так и пойдет у старика дурь через голову в пятки.

Что он делал там на полатах, что показал... Как глянула туда молодуха своими черными блестящими глазами-бобинами, будто молнии в разные углы поскакали и в — печку! Взяла рогач, достала посудину, отлила в ковш кипятку и шарк: на полати в самое место.

— Вот тебе, не дразни, окаянный!

Бросилась вон, а за ней с воем, не забыв и ружье, пустился и Чурка.

Разахалась в чуланчике Авдотья Тарасовна, не убил бы ее милую дочку старик: с ним станется. Но Паша скоро возвращается.

— Матушка, зачем вы спите в чуланчике?

— Дочепька, я же тебе добра хочу... ну, много ли ему жить осталось? Все твое будет...

— Матушка, вы не знаете, я с мужем только три ночи спала, и он пожалел меня: я девушка.

— Дурочка, так же еще лучше, так родная кровь не смешается.

— Грешно, матушка.

— Всякую тварь, дочка, надо жалеть, трудно им переносить, чужих — и то бабы жалеют, а своего-то пожалеть богом указано. Что ты из гордости себя будешь беречь, так это своя утеха, а пожалеешь человека, так богу доходней будет.

— Нет, матушка, у меня выходит по-своему.

— Вот и горе, доченька, все вы теперь по-своему хотите жить. Покойница жена его тоже по-своему хотела... под Благовещенье отказала. Наш старый батюшка шунял ее, шунял за это: «Не вправе жена мужу отказать, хоть и под Благовещенье, это с него взыщется, а не с тебя, ты ему отказала, а он согрешил, теперь ему по гроб жизни попрекать будут в деревне и смеяться».

Паша улыбнулась, вспомнив, как деревенские мальчики смеются над Чуркой:

Чурка телочку пасет, пасет, пасет.

Телка хвостиком трясет, трясет, трясет...

— Матушка, неужели же мне, девушке, после этого не будет зазорно?

— А я-то сама, ня-ж, не жалею тебя? Ну, говори, что вы там с ним не поделили?

— Он мне с полатей...

Паша матери шепнула на ухо. Авдотья Тарасовна громко:

— Во кобель!

— А я его кипятком ошпарила. Ну, как я так его погубила?

Засмеялась Авдотья Тарасовна.

— А вы меня за него прочили...

— Эх, ничего-то не понимаешь ты... мало ли что люди болтают, я тебе только счастья хотела: после него нам все останется. А об этом ты не сумлевайся нисколько, им кипяток, вот как яйцо об стену ударишь, так и им кипяток, все скатится. Другое боюсь, как бы его обида не взяла, возьмет себе назло какую-нибудь старушонку и женится,

а нас с тобой выгонит. Про то же не сумлевайся. Как ты от него увернулась?

— Месяц светил ярко, он за мной с ружьем бежит, месяц вдруг померк, стало темно, я в ров, он через перескочил и в лес поскакал.

— Слава тебе, господи, вот хорошо-то, что месяц померк. Ну, иди спи, не сумлевайся, очувствуется, придет шелковый, ихнего брата тоже надо учить, это хорошо, поделом, ему так и надо.

И Авдотья Тарасовна весело засмеялась, приговаривая:

— Во кобель, во кобель, ну, и поделом же ему!

Когда месяц померк, Чурка в лесу вдруг пришел в себя, долго ругался, чесался, хлебнул из лужи холодной воды и вовсе одумался. Только сказал: «Вот бабы!» — и, отложив расплату до утра, пошел к лядам на старом осечище.

Это у охотников самое последнее дело, если в ночь перед охотой мало-мальски в бабы дела замешаешься: никогда не будет удачи. Всю жизнь не случилось Чурке ночью свой шалаш потерять, и тут вот как раз и вышла беда: где-то стороной, должно быть, мимо своего шалаша в сердцах прокатил и в такой залез рагульник и чепушняк, грязь по колено и вокруг все колпашник, прошлогодняя высокая некое. И главная беда, как залез в колпашник, с неба заблеяло барашком.

— Ну, божий баран закричал, — сказал Чурка, — сейчас и тетерева забормочут, ежели сейчас не попаду в шалаш, пропала охота. И-их, бабы, и сладки же вы, ну и будьте же вы прокляты!

Испытал последнее средство от баб на охоте: снял штаны и омылся холодной водой, после стал к дереву, перекрестился, оглянулся и сразу заметил под яром верхушку залитого водой девятиголового дуба: как заметил, все сразу стало понятно и к шалашу своему прямо как в дом пришел. Подстелил елового лапника, заделал разные щелки, устроился, сел, прислушался, и вот опять наваждение; ну, вот, хоть конец отсеки, а где-то спит человек, посапывает, похрапывает, нет такого зверя в лесу, чтобы с заливом храпел: человек и человек! А как он может быть тут, человек, весною, в полую воду, ночью? Или это какой-нибудь невиданный зверь забежал и уснул?

Прислушался. Нет, не бывает на свете таких зверей, чтобы храпели с заливами.

— Не Обезьян ли? — пришло ему в голову.

В это время опять показался месяц.

— Опять обманул, — ругнулся Чурка на месяц, — будет же свет, ай так и останется?

При свете месяца он оглядел всю осечину и так решил в уме, что Обезьян спит не иначе как в кусту можжевельника.

— Попытать разве счастья?

И стал собираться ползти, но уж такая задалась неудачная ночь: только выполз из шалаша, под ним что-то трр-р-есь! Обезьян перестал храпеть. Чурка пятиться, пятиться и задом вполз обратно в шалаш.

Затих. Стал дожидаться, пока опять захрапит.

Раздался странный крик. Его нельзя передать никакими словами, это ни на что не похоже, и мало кто может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Чурка знал хорошо: это ранней весной в своей любовной радости так заяц кричит.

Заяц вышел на светлинку возле самого куста можжевельника. За первым другой вышел, третий, четвертый... Они шли, как лесные актеры, на свое обычное представление при месяце, и с отпарин на склоне яра к реке, верно, для их актерского дела уже зарождался первый туман.

Там в струйках тумана ползла и лисица, красный зверь, и, высунув мордочку из куста на полянку, устроилась тут смотреть на заячье представление.

Из куста можжевельника, между сучками смотрел лесной гость. Из шалаша — Чурка, большой любитель таких представлений.

Кажется, зайцы в этот раз играли сцены христианского смирения: один выскочил на серединку светлинки и бац другого по щеке. Тот сел на задние лапки и подставил другую щеку. Разбойник одумался, тоже сел на задние лапки и просит прощения. Так долго сидят, и, видно, кроткому зайцу скучно стало жить без разбойника, смотрел, смотрел на раскаянного и бац его сам по щеке, бац по другой. Разбойник все терпит. Вдруг между ними зайчиха, и скок на нее кроткий заяц. Ну, этого разбойник уже не мог вытерпеть и с такой силой стал тузить и за это, и за прежнее свое смирение, что кроткий заяц, только начавший линять, в один миг из белого сделался серым. А большая зайчиха все стоит и дожидается, когда кончится потасовка и можно ей будет хоть с кем-нибудь спариться: с кротким, с разбойником, ей не до этого, ей теперь все равно. Вот тут осенний познушок, маленький зайчик,

и притом еще хроменький, пробует приладиться к зайчихе. Это все замечают, и все принимаются тузить познушка, маленького, хроменького: он виноват во всех грехах заячьего мира и, если даже не виноват, должен взять грех на себя и пострадать.

Лисица, красный зверь, все ползет и ползет, прикрываясь началом тумана, еще первого в этом году, ползет, ползет и скок! Зайцы все — кто куда, и только хромой познушок не мог скакать, добрался до сопки, высшей точки яра, покрытой прошлогодними цветами и всегда сухими бессмертниками. Лежит себе там смирно и смотрит открыто на красного зверя, и тот — вот чудо! — больше не ползет, а только изумленно и, видно, с большим страхом медленно подается вперед, переступая с лапки на лапку.

Заяц смотрит.

Красный ближеет, ожидает обыкновенное: побесит, а он схватит, все живое смерти боится, побесит непременно.

И нет, не бежит, глядит смерти прямо в лицо.

Красный нюхает его, а он все глядит.

Видно, зайчик умер со страха.

Красный поджимает хвост и убегает.

Внизу у реки собираются лунные туманы, заканчивая собой мистерию победы смерти. Но туманы ошибаются: заяц слишком много терпел в действительной жизни, его гоняют и люди, и собаки, и лисицы, и совы, ему не до мистерии.

Хромой вскакивает, садится на задние лапки и умывается; он перехитрил красного зверя. Сходятся и все другие актеры, и начинается второе представление.

Лежащему в кусту можжевельника кажется — зайцы разыгрывают его самого. Вот *она* выходит на полянку со всеми своими поклонниками. Все они в котелках, аккуратные, приличные люди. *Она* подходит к своему прежнему жениху, лежащему теперь в кусту можжевельника, и спрашивает голосом перелетной кукушки: «Узнаешь эту картину?» — «Да, я знаю», — говорит он, но не он теперешний, а окончательно уже отделенный от «я», — конченный аккуратнейший, деловой человек, и рассказывает своему первому «я», что *положение* он составил себе очень хорошее, женился и вот что вышло из этого: привязались поклонники, с женой он почти не остается наедине, а впрочем, он занят, и так это у всех: он достигает всего,

совершенно как все, и этим сознанием вполне удовлетворяется.

«Неужели это я сам? — думает лежащий в кусту можжевельника. — Неужели это я так умер?»

И с таким любовным вниманием смотрит на зайчиков в котелках, так он жалеет их, бедных. Вот за то, что он мог все умершее пожалеть, полюбить и простить, она окончательно говорит ему настоящим, прежним своим голосом:

— Успокойся, поверь, зайцам никогда не удастся тебя разыграть до конца, потому что с тобой осталось мое лучшее и ты воплощаешь его в жизни, побеждая вместе со всей весной Кащееву цепь.

Вдруг тень пролетевшей совы страшно испугала зайцев. Все бросились огромными прыжками кто куда и, отбежав на хорошее расстояние, стали на задние лапки посмотреть, как сова, и увидели: сидит на елке чурбаком и фи-ло-софствует... Проклятая философия! Зайцы бросились в лес.

Чурка тоже с большим удовольствием смотрел на заячье представление, и, не будь у него в голове этого Обезьяна, уж он так не пропустил бы лисицу, хотя и линияую, не пожалел бы заряда на красного зверя, но уж очень хотелось ему поглядеть на свет, какой Обезьян, и не стал его пугать выстрелом.

Кулик высоко просвистел, этот уж никогда не ошибается. Ему уверенно ответила ведьминым хохотом белая куропатка. И вот наконец Токовик, старый тетерев, крикнул свои таинственные заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Чурка забыл Обезьяна, собирается с духом, надувается и тоже, как тетерев, шипит три заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Токовик сразу снимается с места на дереве и летит биться с соперником. С громким хлопанием крыльев падает он возле самого Чуркина шалаша и повторяет свои заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

При заклинаниях тьмы начинает чуть-чуть приподниматься край серого одеяла с востока. и ничего тут еще никому не понять, какое сложится утро.

Птицы спешат на ток, садятся на деревья, смотрят сверху на Токовика и спускаются на токовище. А серое одеяло еще приподнимается, и тут оказалось, надо спешить: праздник давно уже начался. Тогда, став против этой лучезарной полосы, Токовик поднимает вверх свою

хвостовую лиру, голову опускает к самой земле. Напряженно краснеет на голове его огненный цветок, крылья страстно трепещут, касаясь земли, и так он начинает свою серенаду. Поет и движется по кругу, как светила, как весь мир, и первосвященником проходит в святые ворота с приподнятой лирой, неся огненный цвет у самой земли. Все младшие делают, как Токовик, их отдельные серенады сливаются, и вот эта их хоровая песня во славу расцветающей от солнца земли далеко, за версты, наполняет души случайно не спящих людей тоской о настоящей родине в какой-то забытой стране.

«Вот оно что! — догадался человек, лежащий в кусту можжевельника. — Вот она где моя родина, я не один». И, затаив дыхание, стал при начинающем свете ближе и ближе все узнавать и открывать в забытой стране.

Казалось, начинается утро одной только славы горячему солнцу, на светлом уже метнулись два огромных крыла, и уже крикнул журавль: «Да будет свет!» — как вдруг вместо солнечных лучей, закрывая всю светлую полосу, показались громады синих кораблей, все затемнили и скрыли под серое. Как длинные волосы, серое спустилось на лучезарность восхода, и план на сегодня был установлен: день был назначен серый, теплый, самый лучший для перелета птиц, для оживания коры, движения сока в березе, омовения корешков озими, и для всего был нужен такой полновидный хозяйственный день.

Квох! квох! квох! — закудаhtала в кусту хозяйственная тетеревиная курочка.

Поющие рыцари прекратили свою серенаду. Довольно, она их услышала, она тут вблизи, довольно: они готовы теперь отдать жизнь за нее. В последний раз они совершили свои заклинания тьмы на Чу, на Фы, на Ши и, подпрыгнув, бросились в бой за свою Прекрасную Даму.

«Квох-квох!» — умоляет их курочка.

Никто ее больше не слушает. Она выходит из кустов на самое токовище, потеряла всякий стыд и каждого зазывает к себе в кусты. Но все от нее отвертываются: ведь она только серая курица, а они бьются за Прекрасную Даму.

— Я был прав, — шептал сидящий в кусту можжевельника, — я не один! Вот оно откуда пошло!

Она просит жизни, а они обагрят свой брачный наряд. В бою за недостижимое, вечное — готовы найти свой конец. А ей бы сесть на яйцо и сохранить на земле жизнь тетеревиного рода.

— Это и у нас было так! — удивляется все больше и больше сидящий в кусту можжевельника. — Я вовсе не маленький, я пропустил свое маленькое из-за большого.

Неподалеку от тока сидит в кусту один Черныш, он не может творить заклинания тьмы на три стороны, крикнет Чу — и как подавился. У него в суставе крыла есть слабая точка, и драться ему невозможно за Прекрасную Даму. А серая курочка вон сама просится, вон сама бежит к его кусту. Смешно и глупо драться за Прекрасную Даму. Он просто берет себе курочку и с ней убегает дальше в глухие кусты.

— Но ведь это может сделать каждый из тех больших и сильных легко, — шептал, думая о всем, лежащий в кусту можжевельника, — и я тоже всегда могу, и это от меня не ушло! Кто же это наговорил, будто самки достаются сильнейшему? Берет просто хитрый, кто умеет рассчитать и примериться... Так это все была песня моя! — воскликнул громко лежащий в кусту можжевельника.

И приподнялся с своего сурового ложа.

А Чурка, не сводя глаз с куста, давно его держит на мушке, для него вкачена в ствол свинцовая медвежья пуля.

— Черт с ним, с этим током, — шепчет себе Чурка и ползет к спящему в кусту Обезьяну.

И до чего же раскипелся ток: не сразу обращает внимание на ползущего ужасного, старого, без шапки, лохматого, с седой бородищей до самой земли.

— Но это же настоящая горилла ползет, — сказал другой, поднимая голову.

Ток вмиг разлетелся.

Горилла осела.

Зверь-Обезьян был в картузе, и сапог торчал из куста.

Чурка пришел в память и приподнялся на задние ноги.

Тот в кусту сел.

Между ними какая-то малая птишка летела из далеких стран, будто она последние силы теперь собрала, поднялась и упала, опять поднялась, и так все вперед и вперед, за одной другая, за этой третья, и еще, и еще...

С восторгом узнавая далеких своих детских друзей, смотрел на птишек Алпатов, насчитав их уже более ста, когда зверь ползущий поднялся и оторопелым голосом спросил:

— Ты чего же это там?

— Какие-то птички...

— Это фиалки летят.

— Фиалки — это цветы.

— То цветы, а то птушки.

— Чего ты не стрелял? Были тетерева, приходили зайцы, лисица...

Вспомнив о пропущенной дичи, Чурка наконец и совсем приходит в себя.

— Да ты что, дурачок ли какой, или как тебя считать, откуда ты взялся?

— Я из города вышел, места себе ищу, да вот заблудился, могу патоку гнать и деготь.

— Чистый деготь?

— Всякий могу, и патоку, сладкое и горькое. Могу ситцы красить.

— Ситцы! И охотник?

— Нет. В детстве очень любил, теперь, наверно, и стрелять разучился. Дай-ка скорей ружье, попробую, вон утки летят.

Алпатов взял ружье и выстрелил в уток. Как мальчик, старый Чурка бросился за упавшей уткой, веселый и, как всегда у охотников, сразу влюбленный в товарища, — сказал:

— Ну, брат, вижу, не брешешь, можешь гнать чистый деготь. Как же! Я его спрашиваю, может ли стрелять, а он говорит: в детстве! — и на вот, утку на лету враз отпустил. У нас тут на заводе приказчик был, вот тоже стрелок, Иваном Семенычем звали, не слыхал про него?

— Иван Семеныч? Нет. Может быть, Иван Евдокимыч?

— Будет брехать: Иван Семеныч. Ну и морда же была у него, вот какое рыло, вот рыло!

— Какое же у него было рыло?

— Да в аккурат, как твое, тоже брат родной, тоже нарыльный был.

Птицы маленькие без перерыву проносились в воздухе, трясогозки, раскачивая длинными хвостами, перескакивали с кочки на кочку, рассыпались коротенькой песней веселые зяблики, на каждом дереве играл певчий дрозд и распушенный чепушил скворец.

— Ты как насчет баб? — спросил Чурка.

— Что-о?

— Любят тебя бабы?

— Ну, вот еще о чем завел. Не сказал я еще тебе: я водку умею курить.

— Водку умеешь? Ну, брат, ты теперь из нашего края так не уйдешь. Завтра же пойдем с тобой за реку на завод,

тебя там озолотят. Хорошо тебе будет, народ вокруг нас водочку любит.

— Счастливый ты человек!

— Ня-ж не счастливый, трех праведных жен замотал, а неправедных не пересчитать. Только это счастье, чтобы бабы любили, можно бы каждому получить. Хочешь, тебя научу.

— Ну?

— Очень даже просто: вот видишь, под водой сейчас зеленая травка пузырьки пускает — это, значит, теперь лягушка проснулась. Вот как мало-мальски земля обогреется, пар пойдет и лягушка на лягушку полезет, тут и тебе надо... тогда на всю жизнь счастье пойдет.

Последние слова услышал другой человек: он на елке сидел и выслушивал в дупле зимовалых пчел.

— Это счастье,— сказал он,— от весеннего теплого воздуха.— И спустился с дерева.

Человек был тоже не молодой, и борода у него закрывала все лицо, виднелся только нос и глаза.

— Овчинники,— сказал Чурка Алпатову,— они у нас все пчелами занимаются, это дядя Григорий, ихний вожак.

Дядя Григорий поклонился Алпатову. Чурка стал ему все рассказывать с начала, как он храп услышал в кусту можжевельника и стал подползать и как разговорились о бабах и он дал ему верный совет.

— Это счастье,— повторил дядя Григорий,— от весеннего теплого воздуха. Муха, червяк, всякий болотный гнус от мороза не умирают, а только засыпают и от весеннего теплого воздуха опять начинают чудить: им смерти нет. А пчела и муравей умирают, как человек, трудятся и умирают. Приятель! — сказал Григорий и взял Алпатова за рукав.— Как умерла у меня жена, дела у меня не убавилось, а прибавилось: те же овчины, та же лошадь, корова, овчонки, и нас не двое, а я один стал. Да вот. бывало, домой приду,— мне бабья журьба не дает отдыху. А теперь как приду домой... тишина! Тут полюбил я пчелу, стал размышлять, и мне открылся свет. Всему дивлюсь теперь и за жизнь свою благодарю.— Григорий понизил голос: — И плотским грехом не занимаюсь.

Услышав последние слова, Чурка зевнул и ответил:

— Конечно, вы овчинники, дух у вас в избе постоянно тяжкий, ну, а как мы охотники, живем на вольном воздухе...— Чурка не договорил и вдруг крикнул:

— Глядитя: река пошла!

Это только мог Чурка заметить: река тихо пошла. Но скоро все зашумело, закрипело, зарычало, и льдина полезла на льдину. Показался на гатях народ. Где-то за рекой колокол ударил, и народ валил к ледоходу, как в церковь к обедне. Все смотрели на Алпатова и дивились ему, а Чурка рассказывал всем, как этот человек ночевал в лесу, и не простой человек: может гнать чистый деготь, патоку и водку, сладкое и горькое.

Между тем на одной плывущей льдине оказалась корова. Тогда все забыли про Алпатова и многие бросились спасать. Потом оказалась плывущая дорога совсем с вешками. Дорогу узнали и проводили. Проплыла баня и даже сарай...

Алпатов видел на льдинах свое, как Снегурочка проплыла и вслед за ней царь Берендей, видел, плыли грязные льдины одна за одной, как звенья разбитой Кашеевой цепи. А великий художник, управляющий переменой цветов, ему говорил:

— Друг, земля моя усеяна цветами, тропинка вьется по ней, как будто нет и конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю: после всякой и самой суровой зимы приходит непременно весна, и это наше, это явное, это день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу красоте так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свой зимний крест и дождались новой весны.



ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ ИСКУССТВО КАК ПОВЕДЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом автобиографический роман «Кашеева цепь» кончается.

И не потому он кончился, что исчерпано автором содержание его собственной жизни, а скорее напротив, кончилась юность Алпатова, и началась новая жизнь: старая правда встретилась с новой, между ними завязалась борьба. Стало невозможным писать о себе: писать автобиографический роман в те годы, когда все жизненные ценности предстали на суд.

Между тем как все на свете подлежало разбору, книги наши все выходили и выходили и тоже вместе с ценностями культуры подлежали пересмотру. Так и моя книга попала на суд читателя.

Мне писали: «Что же дальше-то стало с вашим Алпатовым, когда он попал на родину и ушел в природу? И что это за «природа»? Есть ли это место применения человеком творческих сил или место личного убежища в спасении от новых требований жизни?»

Много было писем в таком роде, и долго я не мог их понять. Мне казалось, что раз Алпатов попал в гущу родного ему народа, окружен его любимой природой, то не все ли равно, кем он сделался и каким родом творчества жизни он будет служить народу: будет ли он агрономом, торфмейстером, писателем, — не все ли равно? С моей точки зрения, всякий человек обладает к чему-то особым талантом. Новое общество должно быть таким, чтобы каждый входил в него со своим талантом. Вот таким цельным живым человеком и стал Алпатов, когда наконец в поисках любимого дела он после многих попыток нашел его при встрече с родиной.

В этом роде я и отвечал моим читателям, но они не унимались.

«Дорогой писатель, — отвечали они мне, — никто у нас точно не знает, что такое «природа», спросите любого, и каждый человек ответит по-своему, начиная с дачника и кончая лесорубом. Мы догадываемся, что для вас природа есть место встречи с творчеством самой жизни и всего вашего поведения. Читая жизнь Алпатова, нам казалось, что вы к тому именно и рассказываете о ней, чтобы вывести дальнейшие ваши усилия в борьбе с Кашеевой цепью, заключающей в эгоизм собственности все человечество. Нам нужен такой финал, такое звено, чтобы оно указывало нам путь. Пусть Алпатов и не разобьет на своем личном пути Кашеевой цепи, но мы должны знать, что случилось с Алпатовым в его неравной борьбе: узнав его ошибку, мы сами станем сильнее.

А может быть, как вы сами намекаете, ваш герой заменил свою беспредметную страсть к почти не знакомой ему девушке творчеством и жизнь его обращается в добрый пример?

Почему вы не напишете необходимый финал?»

Прошло тридцать лет со времени выхода романа и того обмена письмами с читателями. К этим тридцати надо еще прибавить, по крайней мере, двадцать, чтобы сомкнуться с тем временем, когда Алпатов вернулся из Германии и «ушел в природу».

Было это, значит, пятьдесят лет тому назад, и в эти полстолетия прошло столько великих перемен мировых, что положение мое с продолжением романа до наших дней стало явно безнадежным.

Через пятьдесят лет мне стало, однако, многое-многое ясно из того, за что боролся Алпатов, чего не находил.

Мне кажется даже по временам, что я разбил уже цепь моего заключения и, выйдя на свет, так обрадовался открывшейся жизни, что мне и хватило этой радости на мои полстолетия сознательной жизни, обращенной моей собственной волей в творческое поведение.

Где уж тут в мои восемьдесят лет написать мне роман до конца! Но мне кажется возможным рассказать здесь об Алпатове, как он сделался писателем после того, как «ушел в природу».

О той же мысли своей, которая освещает сейчас мою жизнь,— об искусстве как творческом поведении,— я непременно напишу отдельную книгу.

Сейчас же, прежде чем рассказывать, как я стал писателем, я поделюсь некоторыми мыслями из этой моей будущей книги.

ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ

Легко сказать — «моя жизнь», а попробуй-ка напиши, если прожил ее с 1873 года! Считаю свою трудную жизнь за великое счастье и об этом одном хотел бы написать.

Миллионы и миллионы проходят людей, и никто не спрашивает у них жизнеописания, а кто ты такой нашелся, чтобы как о редкости великой самому о себе заявлять?

На этот вопрос моей совести я так отвечаю:

— Всякое живое существо говорит о себе не только словами, но и формой своего поведения в жизни, никто не безмолвствует.

Попробуйте затаиться в лесу до того, что вас перестанут бояться живые существа и станут показываться. Тогда не только какой-нибудь еж или белка заговорят по-своему, но и среди ежей появится невиданный, и среди белок узнаешь небывалую. Появится белая, голубая, и щегол с цветной копеечкой на затылке, и так мало-помалу войдешь в процесс перемен.

Если войдешь глубоко в жизнь природы, то поймешь отдельно каждое существо, и они тем самым скажут о себе, а ты людям о них скажешь словами.

Так выпало мне на долю обращать поведение живых существ в слова, и вот отчего миллионы людей проходят, и от них не спрашивают жизнеописания, с меня же спрашивается.

Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».

Таков и мой идеал: достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью.

Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии.

Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя.

Мне представляется, что они живут, эти мои безделушки, как белки на елках, и, будучи литературными вещами, имеют свое определенное поведение, как всякое живое существо. Эти вещицы, как мне хотелось бы верить, будучи сделаны рукой человека, в то же время живут среди многих сотен тысяч людей, как существа природы.

Тут-то вот и спрашиваешь: «Каким же ты должен быть сам, ты, способный создавать существа почти живые, а иногда и получше многих живых?»

Когда разглядываешь годовые кольца древесины на пнях или в лупу разглядываешь разветвления в зеленом листе, то с удивлением видишь: ничего не повторяется. Ничего друг с другом не складывается, а вместе все делают одно: растят древесину и поднимаются к солнцу выше и выше.

Явно становится для каждого, что движение в природе всем живым существам вменяется как закон, и другой закон живого существа, чтобы каждый двигался по-своему, скажем, имел свое собственное небывалое у всех других поведение.

И я сам, все равно, кто я, писатель или земледелец, должен иметь и, наверное, имею свое собственное, единственное и небывалое в мире. Вот бы найти, вот бы задержать, вот бы его понять!

В молодости, бывало, споришь и дерешься из-за того только, что мысль, за которую держишься, не своя. И другой, кто спорит с тобой, тоже за чужую мысль стоит.

Но теперь у меня есть своя собственная мысль, и я далек от того, чтобы ее навязывать. Откровенно сказать, я затем ее выставляю, чтобы глубже понять себя.

И сейчас я пишу не для того, чтобы начать какой-нибудь спор. Сейчас по привычке смотрю в чистое зеркальце, называемое «природой», и сравниваю, как мое же собственное чувство, моя же мысль показываются в этом

зеркальце. Миллионы миллионов всяких существ и каждое по-своему в нем показываются. Они силятся сказаться в реве, свисте, ржании, лае, щебете. Так почему же все хотят сказаться по-своему, я же, посвятивший свое поведение в жизни на службу слову, буду молчать о себе?

ТРУДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Дурные дела обычны и многочисленны, как мелкие насекомые, а добрые дела всеми любимы и непременно требуют для своего подтверждения выхода на сцену самой личности, самого героя. Они требуют, чтобы ты не только на словах показывался, но вышел бы сам, и все бы услышали и увидели не только слова, но и дела. Все бы сказали: «Вот хороший человек! За ним правда».

А кто так может выйти?

Вот отчего если приходится раскрывать свою душу в автобиографии, то гораздо легче раскрываться самому в своих грехах, как делал Руссо, чем в добродетелях, как мне хотелось бы раскрыться самому.

У писателя в такие глубоко преклонные годы, как мои, вполне естественно и законно от чистого сердца может возникнуть потребность проверить, в чем сходятся его слова с его поведением и в чем они расходятся.

Значит, не будем понимать так, что человек пишет о себе из тщеславия или прячется за ложное смирение. Скажу наперед, мне очень хочется, чтобы моя биография показала бы: я жил, как писал, и писал, как жил.

ВЫСШАЯ ОТМЕТКА

В нашей старинной гимназии отметка за поведение могла быть только высшая — пятерка. Всякие другие отметки объединялись общим именем: «волчий билет». И с ним выгоняли из гимназии.

Сколько ни обижался я на старую гимназию, но необходимое высшее единство отметки за поведение берегу в себе как единственную для себя возможную и понимаю ее, как древний человек понимал свое первородство.

Может быть, даже в таком сопоставлении, как древнее первородство и наша нынешняя необходимость каждому быть самим собой, быть личностью, перекликаются. Там

было — один первородный в семье, здесь открывается возможность каждому сделаться первым в своем окружении.

Мало ли сживал я в карцере, но отметка за поведение, пока не выгнали, оставалась высшей, неопороченной и, если хотите, непогрешимой. И выгнали меня не с дурной отметкой, а с «волчьим билетом».

Так она, непогрешимая отметка, и до сих пор сохраняется в моей душе, и, может быть, оттого мне кажется, будто к хорошим произведениям искусства есть какой-то неведомый путь поведения.

Знаю очень хорошо, что если бы я вслух сказал среди поэтов и художников о каком-то поведении, то все бы смеялись. Я это знаю и таю про себя мысль о том, что в художественном произведении есть какое-то настоящее творческое поведение. И уже самое мое тайное — это что я кое-что в этом понимаю. Больше! С каких-то лет меня стало неудержимо тянуть выйти куда-то в люди и все им рассказать о том, что я таю.

И еще больше: бывает, и высказываюсь, но при этом всегда тайный голос меня упрекает: не есть ли такое высказывание — свидетельство наступающей старости, не лучше ли в другой раз не идти напрямую к читателю, а сделать новое усилие и написать новое произведение в художественной форме. Вот до сих пор всегда я слушался того голоса и это новое усилие понимал в себе именно как поведение: сдерживать в себе понятие и открывать образы.

Примеров такого усилия мог бы я назвать множество, но чаще всего мне приходит в голову оно, когда я вспоминаю одного рыбака.

СЧАСТЛИВЫЙ РЫБАК

Очень осторожно верю про себя, но никому об этом не говорю, что я настоящий писатель и даже иногда в этом понимаю свое большое счастье. Хуже всего на свете для меня нравственное одиночество, тут же за своим любимым делом я всегда в обществе самых хороших людей.

Вот это и есть истинное счастье: работая, быть всегда в обществе хороших людей. Стоит мне только теперь в чем-нибудь запнуться, я позову одного из этих великих друзей, и он мне подскажет. И сейчас то самое желанное, о чем мне

хочется сказать, я слышу опять от Грибоедова: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».

Мне и хочется теперь больше всего написать такую книгу, чтобы совершенно откровенно показывала мою собственную жизнь как поведение художника, а с другой стороны, была бы художественным произведением.

Как это сделать?

Раздумывая об этом, я вспомнил из своей скитальческой жизни одного рыбака. Он вытащил из озера огромную щуку и с ней прошел по селу. Голова этой щуки торчала выше плеча рыбака, и продетая сквозь жабры веревочка не давала щуке дальше съезжать по спине. Хвост же рыбий, хотя человек был очень высокий, волочился по земле и поднимал пыль.

— Вот это счастье! — сказали на селе.

Так было и мне, когда я начал писать охотничьи рассказы, то же самое говорили:

— Вот это талант!

И я думал, думал об этом и спрашивал сам себя: что же это значит — «талант»?

Как не чувствуешь своего голоса, записанного на пластинку, так сам и своего таланта не чувствуешь. А люди понимают талант как заготовленное от рождения счастье.

Признаюсь, был я в отношении себя, конечно, доволен похвалами, но не удовлетворен.

Это самое переживал, по-моему, и тот счастливый рыбак: ему казалось — он сделал особое *усилие* и заслужил свою щуку, они же его усилие называли «счастьем».

Село было большое, народу встречалось много, и все говорили:

— Какое счастье, как же ты ее вытащил?

Рыбак спокойно и чуть-чуть насмешливо всем отвечал:

— Без труда не вынешь рыбку из пруда!

Сколько лет прошло с тех пор, не помню, но рыбак не только не выходит из памяти, а, напротив, все яснее, и бывает, что я даже сам себя понимаю теперь по тому рыбаку и на похвалу «таланту» повторяю про себя: «Без труда не вынешь рыбку из пруда!»

Мне теперь кажется, что в искусстве поклонники таланта для того это и выдумали «талант», чтобы носителя счастья сделать своим идолом: прославляется идол, а сам творец, вложивший в достижение своего счастья столько героического труда, особого, рискованного, бывает мгновенного, — забывается.

Труд, конечно, бывает разный, начиная от рабского повторения удара весла на галере, кончая свободным трудом художника.

Мне бы хотелось понимать форму свободного труда, как об этом говорит Грибоедов, а творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой.

Мне всегда казалось, что каждый человек, если он добьется такого своего места в жизни, приносит для всех непременно что-нибудь новое, небывалое, и в этом и есть все наше творчество.

Я хочу взять свою собственную жизнь правдиво и вывести из нее поведение художника. Но нет, еще больше чего-то мне хочется...

Вот что я думаю: что, если бы не только художник, но и всякий бы понимал истоки своего труда и находил бы управление в личном своем поведении...

...Подумайте же, ведь это был самый простой рыбак, а между тем сказал такие мудрые слова! Эти слова каждый художник может включить в свое поведение как особое первоначальное усилие.

Без этого особого личного усилия в море искусства никто не поймает свою золотую рыбку.



ЗВЕНО ДВЕНАДЦАТОЕ

КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

МАТЬ-РОДИНА

Чтобы рассказать, как я стал писателем, мне нужно самому взять себя, как ученые берут капельку чего-нибудь на стеклышко и рассматривают под микроскопом: себя взять самого и размотать весь клубок поведения своего, намотанного на талант, как клубок ниток на щепочку.

Эта мысль пришла мне в голову в связи с моей внутренней уверенностью в том, что талант сам по себе и к чему-нибудь есть почти у каждого, но так называемые бесталанные люди не хотят или не могут по какой-нибудь слабости организовать свою жизнь согласно с талантом. Когда я взялся за перо, я был в этом до того уверен, что писал и думал о бесталанных, будто я открываю им, бедным, путь свободного, радостного труда. Мне казалось, что когда меня напечатают и поймут, то вот тут-то и будет достигнута желанная моя цель, что я вообще для примера пишу, но не для того, чтобы отличиться перед людьми.

Печатая одну вещь за другой, я постепенно стал убеждаться, что оценка моего труда со стороны сводится к признанию во мне «таланта», то есть все дело не в «примере» моем, не в поведении, а будто бы в каком-то природном превосходстве перед людьми «бездарными».

Мало-помалу я убедился в том, что занятие литературным трудом на практике действительно сводится часто к таланту и счастью, иногда это даже бывало похоже на скачку с препятствиями, и это невольное сознание обрало грустный фон моей многолетней деятельности.

Но пришло время, и я вернулся к моему начальному строю мыслей, и теперь мне захотелось разобраться, нет ли в моем юношеском веровании зерна истины, а именно, что талант к чему-нибудь есть общее свойство почти всех людей, а поведение в отношении таланта есть именно *личное* дело, и что не талантом один человек отличается от другого, а поведением.

Начну разбирать эту мысль безо всяких особенных хитростей, придерживаясь больше рассказа о людях, с которыми встречался, и они оставили какой-нибудь след в моей жизни, влиявший на мое личное поведение.

Первым таким человеком была моя мать, и я делаю ее первым лицом в этом рассказе не потому только, что она меня родила. В этом человеке, кажется столь простым для других, я вижу, как в чистом зеркале, вот как Горький видел в своей бабушке, ту свою хорошую родину-мать, для которой стоит пожить на земле и постоять за нее.

У многих чувство родины очень связано с ландшафтом земли, на которой родился. Но я не любил в своей юности ландшафта моего родного елецкого края, эту черноземную землю, изрытую, рассеченную желтыми глиняными оврагами с мелкими дубовыми кустарниками: ни степь, ни лес, и никакого благоустройства.

Но чувство к матери родине дает мне возможность каждый ландшафт, к которому я прикоснусь этим чувством, преобразить в мою родину. Мне даже и жить не нужно долго в каком-нибудь краю, мне довольно взглянуть на любой ландшафт с тем страстным чувством земли, какое было у моей матери, чтобы эта земля стала мне родной.

Здоровый человек была мать моя и до того радостный, что на несчастных людях надолго не любила задерживаться: ей самой жилось нелегко, и если что удавалось хорошее, то не от случая, а от себя.

Теперь, когда я, столько лет стоявший безотчетно на

стороне матери, вынужден более внимательно отнестись к тем, кого считал тогда «бедными», я готов упрекнуть мать не за ее радость жизни, а только за несовременность ее выражения: современной тогда была не радость, а страдание, на которое шел человек за человека, начиная с Каляева.

Современна была тогда именно чувствительность к страданиям, и на этой почве вырастали такие писатели, как Глеб Успенский, «святые народники», вызывавшие в своих читателях и соответствующий образ поведения: сострадание. Я это до того понимал, что любовь свою к матери соединял с чувством радости, направленной против обязательного сострадания. У меня не было никаких доказательств правдивости этого жизнеощущения, но про себя я считал мое понимание более верным, всегда стоял за мать и бессознательно стремился к тому, чтобы искать для нее оправдания.

Поэтическое чувство природы, которое приписывают мне с тех пор, как я начал писать, вовсе не было с детства моим исключительным свойством: дети сами — природа, а это сложное чувство наживается. Это чувство начало расти во мне при первой разлуке с матерью, когда она отвезла меня в город и сама уехала в деревню. Вот тут-то, в слезах, в тоске, в отчаянии, показывалась мне прелесть покинутого мира, и родная природа вставала в воображении как счастье возможного свидания с матерью.

И так оно и пошло во мне, это счастье, как прерываемый и возбуждаемый электрический ток: свиданья чередовались разлуками, а из этого по человеческому свойству забвения худого при встрече с хорошим и зарождается как бы ток высокого напряжения: ток радости жизни.

Мать моя была источником моей радости, и я чувствую, будто это она дала мне поручение: как бы худо мне ни было, оправдать ее сокровенную сущность — радость жизни и сделать ее современной.

Так вот и в то еще время возникли корешки дела всей моей жизни — построить свое поведение не на сострадании, а на той святой радости, лучше которой нет ничего на земле: лучше счастья.

Мальчишкой, бывало, проснусь раньше, чем следует, и в дырочку алькова смотрю на лицо матери. Она тоже проснулась, но в одиночестве она совсем не такая, какой мы все ее знали: странная, смутная, лоб сморщен, думает до того мучительно, что нет-нет и вздрогнет. Так станет

страшно, забудешься, высунешь голову к ней, и она вдруг обрадуется, засияет, совсем будто солнце взошло.

На этих впечатлениях детства я и строю свое поведение в отношении того материала души, который называю талантом.

О внутреннем человеке писать — это значит писать не об одной только радости, но и о страдании, потому что самому трудно быть довольным собой. Если же писать о другом человеке, то это, по-моему, значит свое страдание переделывать в радость, как это явно делала моя мать: про себя одна, а человека увидит и вдруг становится радостной.

И так оно само собой стало выходить у меня, как у матери: если вырвешься из мучительного плена своего одиночества, не только человеку, но и веточке обрадуешься, и в этом просвете между стволами; в этих трепещущих листиках увидишь весь мир так, будто он есть великая кладовая сияющих драгоценностей.

Чего же тогда особенно раздумывать о поведении: все поведение художника должно быть таким же, как всякого существа, создающего бескорыстные ценности: это поведение состоит в поисках выхода из неизбежного страдания.

На родину свою я тоже как на мать смотрел тогда в дырочку алькова и видел ее страдания. А когда мне становилось немого, брал палку, котомку свою и видел, как мать моя улыбается, и душа моя, расширяясь, получала особую силу любовного внимания ко всем существам, и через это входила в меня радость жизни.

Ничего нет лучше для меня весны света, когда все прекрасное еще впереди! Вот идете вы в таком свете, видите, как выходят на опушку леса березки, греются в теплых лучах между елками, и тут же стоят разные сухие травинки. Вы идете вдоль опушки и на всю мелочь эту не глядите. Чистый запах снега на солнце уносит вас в лазурь, к первым летним кучевым облакам.

Какая-нибудь былинка, длинная, желтая, с пустым колоском, изо всех сил добивается вашего внимания. Случайный ветер-сквозняк помог ей, она покачнулась, поклонилась, и тогда с поднебесных высот вы спускаетесь к ней, наклоняетесь, с удивлением разглядываете, изучаете эту желтую длинную былинку с пустым колоском.

Это внимание открывает еще вокруг на снегу темные точки ее семян, выбитых зимою щеглами. Вы находите

в самом колоске одно уцелевшее зернышко, завертываете его в бумажку и дома опускаете семя в цветочный горшок. Скоро на глазах ваших вырастает новая зеленая былинка, рожденная помощью вашего внимания к незаметным существам. Никому-то она не нужна, а вас радует.

И так вот вы идете, идете и радостным вниманием своим открываете то былинку, то птицу, то веточку, то зверька, и все далее, без конца по необъятной, неисходимой стране.

Так встретился на моем пути по моей стране великий странник Горький Алексей Максимович.

ЖИТИЕ

Не раз мы с ним беседовали. Помню, рассказывал я ему о себе за большим столом во время встречи Нового года с Шалапиным во главе.

Дело это было после революции 1905 года.

Место мое было рядом с Горьким, и разговор у нас с ним вышел как раз о самом истоке того, что называется так неопределенно талантом. За столом говорун-литератор остроумно предложил выяснить немедленно, как кому представляется тот или другой писатель в своем происхождении, от чего кто начинается, и как пример для других сказал:

— Горький начинается от разбойничьих романов. Возможно даже — от самого разбойника Чуркина.

Горький с удовольствием хмыкнул и спросил меня:

— А вы от чего начинаетесь, Михаил Михайлович?

— Начинаюсь, — ответил я, — скорее всего от «женщины будущего», которая в первых же писаниях моих превратилась в сказочную Марью Моревну.

— Ну, расскажите мне, что это за женщина будущего, что это за романтизм? Покажите-ка руки.

Я показал.

— А я думал, у вас, наверно, голубым по телу и вытравлена Марья Моревна с сердечком и голубками.

— Ну вот еще, мой романтизм шел не по той линии.

И я скорехонько рассказал, что в студенческое время я как химик поехал на Кавказ уничтожать на виноградниках филлоксеру: мне было тогда с чем-то двадцать лет. В Гори, у начальника филлоксерной партии В. А. Старосельского, нас съехалось из разных высших учебных заведений человек пятьдесят. В течение чуть ли не целого

месяца Старосельский держал нас в Гори на обучении филлоксерному делу. Утром мы занимались, а вечером у Старосельского пили вино, всю ночь спорили, били стаканы и только что не дрались сами между собой, марксисты и народники.

Старосельский, старый петровец, был чистым народником, и за него стояли три четверти студентов. Я ничего еще тогда не понимал в этих спорах, но считал себя обязанным примкнуть к той или другой стороне. На одной часто повторялся Михайловский и Спенсер, на другой — Маркс, Чернышевский, Плеханов.

Я тогда еще мало прочел, но сердцем определялся мало-помалу на марксистов.

Народничество с детства меня окружало своей атмосферой необходимого сострадания и обязательного равенства по мужику: раз мужик страдает, то и я должен страдать. Мне, молодому, жить хотелось, а у народников «для себя», как мне представлялось, выхода не было. У марксистов же, в их бодро-зазорном поведении, открывался для меня личный выход из народнического узкого круга идей к общечеловеческому смыслу.

Я принялся тут же за чтение «Капитала», и, когда мы, закончив филлоксерное обучение, разъезжались, каждый во главе филлоксерного отряда, мне поручили практическую работу: я должен был перевести на русский язык книгу пламенного трибуна социал-демократии Августа Бебеля: «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», которая попросту у нас называлась «Ди ффрау». У меня времени для работы над «Женщиной» было много. Рабочие окапывали лозы, рассматривали корешки и приносили мне подозрительные по филлоксере. Я же сидел где-нибудь, под тенью громадного орехового дерева и в этой прохладе писал, впитывал в себя кавказскую природу. Итак, «женщина будущего» мало-помалу превращалась у меня в поэтическую Марью Моревну.

— Да вы, сударь мой, — сказал Горький, — настоящий романтик, и это не жизнь у вас, а житие.

— Что же, у вас разве «жизнь»?

— Ну, я-то хоть рано писать начал, а вы что делали? Почему не взялись за перо и пропустили столько времени?

— А все из-за этой женщины будущего. Чистоты жаждала душа вот такой, как бывает весной света на солнышке снег. Меня грязь напугала, та самая, как вы ее

описываете в «Детстве», и у вас тоже эта жажда чистоты воплощается в бабушке.

У Бебеля же давался выход к женщине будущего через мировую катастрофу. Ничего похожего на такую романтическую катастрофу не было у Маркса, но у Бебеля, в его творчестве, было даже прямое обещание близости: мы будем свидетелями, как мир переломится и настанет желанное будущее.

В детстве няня внушала мне это чувство конца и собирала в мешочек свои ноготки, чтобы, когда затрубит архангел, эти ноготки бы срослись и можно было бы с помощью их взбираться по какой-то стене. Бывало, вечер настанет, только глядишь, только и ждешь и высматриваешь из темного окна: не началось ли, не загорается ли уже край земли и неба? Потом, когда вера эта в светопредставление прошла, ничто бы не могло меня вернуть к ней: ни музыка, ни поэзия, ни вдохновенная мистерия. Меня возвратила к этой вере *цифра*: Бебель, этот народный трибун, действовал на воображение счетом, и к моему возрасту как раз это и пришлось.

Но мировая катастрофа не наступала, и мало-помалу эта женщина будущего у меня превратилась в мою родину, и любовь к ней повела меня по пути странничества: я стал писать о земле, о птицах родных и зверях, как будто я родину свою потерял и она стала показываться мне в этих ветках, почках, березах, птицах, зверях...

— Очень уж хорошо о перепелах пишете, — сказал Горький, — до чего здорово о перепелах!

И, заметив, что мы отбились своим разговором от общества, вдруг всем сказал:

— Предлагаю просить Пришвина рассказать нам о перепелах!

Я не отказался, рассказывал о ловле сетью перепелов с такой подробностью и увлечением, что до крайности заинтересовал своим рассказом Шаляпина. Не сомневаюсь, что рассказ мой возбудил в нем чувство соревнования, и после меня он с особенной выразительностью стал нам рассказывать, как он мальчиком в Казани гонял голубей.

В его рассказе все было так талантливо и необычайно, что все забыли о моих перепелах. В нашем хохоте стали принимать участие и люди с салфетками на плечах. Закончив вечер, Шаляпин им дал на чай сто рублей, — какие большие деньги это были в то время!

— Помните Шаляпина! — сказал он.

Я хорошо помню, с какой иронией поглядел тогда Горький на эту сотенную бумажку и тут же мне сказал: — Вот это жизнь, а не как у вас — *житие*.

РИЖСКОЕ ДЕЛО

Рассказав теперь эту беседу с Горьким, я лет на десять забежал вперед того времени, в котором я впервые почувствовал возможность сделаться писателем. В то время я был в Риге студентом и после Кавказа пришел на практическую работу в социал-демократическую партию под руководством Данилыча (Василия Даниловича Ульянова).

Не один я пришел к этой опасной работе. Большинство юношей — моих товарищей, комсомольцев XIX века, в той или иной степени были под влиянием Женщины будущего и отличались от меня только тем, что я по своим способностям мог больше сказать, они же — больше делать, чем говорить. Не моя в этом вина: я старался делать больше всех, но я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе.

Мое положение в подпольной работе было почти как положение слепого на военной стрельбе. Я был чрезвычайно доверчив, влюбчив в человека, не умел вовремя догадываться о нужном, когда все молчат, плохо выдерживал в себе мысль, болтал.

Но самое главное, из чего вытекали все политические мои недостатки, — это что логические выводы ни малейшим образом не убеждали меня. С огромным трудом перечитав всех классиков-экономистов от Смита до Маркса и новейших социологов — Зиммеля, Рилья, я делал выводы с помощью их о текущих событиях. Но приходил на собрание более решительный, разбирал логический мой вывод, и я, вместо того чтобы защищаться и спорить, тут же на собрании раскаивался, брал все назад и подчинялся своему противнику и верностью этой новой идее поправлял свою логическую ошибку.

Я очень страдал от своих неспособностей, очень мучился и не мог, как теперь, утешиться и оправдаться своим исключительно образным мышлением. Из экономистов только черствый Рикардо совсем не поддавался моему тайному переводу рассуждений экономистов на язык образов.

Неспособный доверять логическим выводам, я про себя перешептывал выводы Маркса на образы, и какая-нибудь Марксова Золотая куколка, в которую превращаются все товары, и рядом с ними все человеческие ценности: дружба, любовь, искусство — в моем сердце переделывалась в сказочно-злое существо, вроде Кашея Бессмертного, и так все: Прибавочная стоимость, Экономическая необходимость, Акушеры, облегчающие исторические роды нового общества, и в особенности знаменитые, как это уж я сам назвал, *Врата обмана*. Через ворота фабрики, на которых написано: «Посторонним вход воспрещается», — Маркс вводит читателя посмотреть, как обманывается рабочий и как обирается он в момент своего производства.

Насколько я могу сейчас вспомнить, этот перевод «Капитала» на язык моего сердца порождал во мне какую-то сказку, в которой я сам играл тоже немалую роль, вроде обманутого самим богом Адама: бог велел в поте лица обрабатывать землю, а сам землю эту отдал в руки богатых. Так нет же, не дамся, твоей же заповедью буду добывать себе землю!

В таком роде я вел пропаганду среди рабочих в Риге, и Капитал, превращаемый мною просто в Обман, был им чрезвычайно понятен, и всемирная катастрофа в образе светопреставления, и безземельные Адамы, и в особенности Женщина будущего.

Общими усилиями мы, безусые мальчишки, в отношении чистоты Женщины будущего до того довели рабочих, что первое активное выступление их в Риге началось погромом публичных домов.

Хранится ли где-нибудь в архивах это рижское дело, на котором бывший тогда товарищ прокурора, известный потом Трусевич, сделал себе блестящую карьеру в министерстве внутренних дел царской России? Пусть оно и пропало, но я до конца жизни буду память о нем хранить в своем сердце как свидетельство самой жизни о том, что чистейшие романтические мечты юношей и рабочих с простыми, неиспорченными душами в существе своем вполне реальны. Они были так реальны, что не только можно было их воплотить в жизнь, чтоб разгромить публичные дома Риги, но и кое-кому сделать на них себе карьеру начальника полиции...

После тюрьмы и ссылки за эту Женщину будущего мне удалось вырваться в Германию, там явилась возможность хоть ежедневно бывать на рабочих собраниях социал-

демократов. Очень просто на этих собраниях познакомился я даже и с самим автором «Женщины будущего» — Августом Бебелем. Та же немецкая деловитость, практичность привели меня к необходимости чему-то учиться в Германии, что-то знать для того дела, которому я служу. Если же глубже посмотреть, то тут, конечно, играло роль и полнейшее отсутствие у тогдашних немецких руководителей того, что я теперь робко называю «общественным романтизмом».

Неизгладимое впечатление в памяти моей оставила встреча в Тиргартене коляски Вильгельма II и поведение друга моего рабочего социал-демократа, у которого я жил на квартире. Никогда русский диакон при встрече архиерея не кадил с таким умилением, как приветствовал взмахами своей кепи этот социал-демократ рабочий своего императора.

Много на чужбине собралось в мою душу, но суждено было, что как раз тут-то, на этой встрече с императором, и треснул мой роман с немецкой социал-демократией, и это пошло мне на пользу: я крепко взялся за ученье и в течение двух лет не только подготовился к государственному экзамену, но между делом прослушал лекции многих знаменитых профессоров по истории, философии и наукам общественным.

Во время этого ученья относительно утраты горячего чувства к рабочему движению я рассуждал, как все в таких случаях при утрате своей юношеской мечты: рабочее дело есть дело, а не поэтическая мечта. Как ночь сменяется днем и год годом, так и социализм сменит капитализм, а к чему мне самому приложить руки, это будет видно, когда я выучусь немецкой науке и вернусь на родину.

ИГЛА ПРОФЕССОРА

После этого какого-то добросовестного сна я очнулся земским агрономом в городе Клину Московской губернии, и тут-то опять чувство природы, определившее меня в агрономы, привело меня в противоречие с той «природой», которую так неумело и тупо возделывали наши крестьяне. Тогда, в юности, в политической партии, при неспособностях даже, меня вела моя мечта, и я узнавал ее в товарищах. Теперь, в этой земской работе среди робких либералов, в моей душе ничего не осталось, я был

совершенно один: я погас и заболел непонятной мне душевной болезнью. Корни этой болезни, несомненно, питались моей мучительной и неудавшейся любовью к исчезнувшей невесте.

Самое тяжелое в этой болезни было то, что я чувствовал себя виноватым перед людьми здоровыми и таил от них свою болезнь.

Мне теперь думается, не из глубоких ли недр живой природы исходило это напряжение сил для укрывания своей тайной болезни. Так бывает на трудном перелете гусей, когда один из них начинает замечать, что силы его падают. Этот гусь уже знает инстинктом своим, что усталость надо скрывать, иначе товарищи неминуемо заклюют отстающего. И оттого он напрягает все силенки свои последние, чтобы только укрыть от спутников свою слабость.

Случалось, превозможешь себя, нарочно что-нибудь расскажешь веселое, а оглянешься вокруг: никто не смеется и только странными глазами глядят на меня.

А то, напротив, когда все серьезно что-нибудь обсуждают, вдруг вспомнишь наперекор всему что-то свое и улыбнешься. Кто-то заметит и спросит:

— Вы чему?

— Так, я своему.

И опять на тебя поглядит странный глаз.

Да, я был очень болен и в сто раз свою болезнь увеличивал тем, что боялся открыться больным среди здоровых людей. А вокруг были только здоровые, и деятельность моя агронома была самая здоровая деятельность и направлена была на общественное здоровье, на борьбу с кулаками. Мы, от земства, покупали по оптовой цене железо кровельное, гвозди, сельскохозяйственные машины, орудия и продавали их дешевле, чем кулаки. И в этой здоровой, честной, полезной деятельности, окруженный только здоровыми, я чувствовал себя как отстающий гусь и вечно в страхе ждал, что слабость моя откроется и здоровые гуси меня заклюют. Затаиваясь, иные в таком состоянии подполья завивают душу свою в спираль злобы, я же, напротив, часто думал, что именно я-то и плох, и не раз даже мне приходило в голову, что люди своих больных пережалели, и следовало бы им больше пожалеть тех здоровых, кто напрягает все силы в борьбе.

Тайна моей болезни была в том, что я стал с некоторого времени бояться острых предметов: кос, ножей, плужных

отвалов и всего такого, чем я торговал ежедневно в земском складе. Каждый раз, как я видел острый предмет, меня тянуло схватить его и пустить в ход, и мне казалось, что я могу наделать ужасной непоправимой беды. Я придумал от такого страшного действия заговор: в тот момент, когда рука моя тянется к топору или к ножу, я шепчу: «В себя, в себя», — то есть бить в себя, а не в людей.

Итак, я, распоряжаясь, подписывая бумажки, подчас отпуская шутки, необходимые в обращении с крестьянами, почти неустанно шептал про себя свой заговор.

И вот однажды дело дошло до того, что, увидев, как один покупатель, позвякивая, выбирает себе косу, я почувствовал — заговор мой не помогает. В холодном поту бросился я вон из склада и прибежал к себе домой. Я почувствовал необходимость немедленно, кому-то старшему, мудрому, авторитетному человеку выложить все, что есть у меня на душе, и просить помощи. Я вспомнил имя одного в то время очень известного психиатра, всеми уважаемого человека, и принялся писать ему покаянное письмо.

Писал все, что знал о себе, отдавал свою волю неизвестному мудрому старшему человеку. Закончив это страшное для меня послание, я поехал в Москву и позвонил к профессору Мержеевскому. Мне сказали в щелку наружной двери, что профессор сейчас уезжает за границу и принять меня у него нет времени. Я через горничную попросил милости у профессора, и мне открыли дверь.

В первой комнате мне попались на глаза чемоданы — профессор не обманывал меня, действительно уезжал. Я понял, что он честный, хороший человек и мне можно без колебаний отдать в его руки свою исповедь. Во второй комнате я увидел большой письменный стол, и за ним сидел небольшого роста седеющий профессор. Вид его был ничем не примечательный: я знал много таких профессоров, и вот именно эта обыкновенность лица его меня вдруг очень успокоила. Может быть, я, надумав себе какого-то высоко стоящего надо мной человека, которому предстоит мне отдать свою волю, теперь увидел обыкновенного и обрадовался: обыкновенного-то я, может быть, и надую...

Я сел в мягкое кресло и на вопрос: «В чем дело?» — подал свою исповедь. Профессор, очевидно торопясь уезжать, не стал ни о чем меня выпрашивать и принялся за чтение. Он медленно читал, раздумывая, повторяя: «Так, так, так...»

В этой исповеди у меня было одно центральное, очень трудное место о любви, где я указывал профессору о необходимости в этом тайны и объяснял эту необходимость тем, что любовь в существе своем есть рождение личности любящего, сказать же другому о своей личности можно только делами необыкновенными и небывалыми. Но раз я не могу свидетельствовать делами, значит, нет во мне личности... Тут шел, конечно, подробный рассказ о моей любви...

Я видел, как на этом месте профессор остановил свое чтение, взгляделся в меня. Я вспыхнул, как мальчик, он же отвел глаза, сказал свое «так» и продолжал медленное чтение.

Вспышка стыда подняла во мне такое волнение, что внутри все закружилось, всякая мысль сорвалась с места, и все пошло ходить ходуном. Ко всему этому при последнем «так» профессор сделал одно движение, которое меня как будто иглой пронзило насквозь с такой болью, что я ее и сейчас, через много лет, чувствую.

Случилось это так быстро, так неожиданно, как бывает — вдруг ужалит пчела играющую собачку, и она начнет от боли корчиться на земле.

Там, на письменном столе у профессора, рядом с пресс-папье, изображающим Эйфелеву башню, на мраморной подставке торчала длинная игла для приколки поступающих бумаг. Я-то, конечно, и писал профессору о тайнах любви, чтобы он по прочтении возвратил мне бумагу — мою исповедь, а я бы сжег ее, но профессор, сказав последнее «так», быстрым движением посадил мою исповедь, как жука, на иглоку.

— Ничего особенного, — сказал он.

— Как же так, ведь я не владею собой!

— Принимайте ванны в двадцать семь градусов.

Он торопился.

— Но как же работать?

— А вы разве можете работать в таком состоянии?

— Очень плохо.

— Не работайте.

Он торопился.

Я встал и положил на стол империял. Он немедленно взял монету и с доброй улыбкой положил мне ее обратно в карман. Я поклонился и, стараясь не глядеть на иглу с моей исповедью, вышел.

Образ мудрого человека, которому все свои тягости важно свалить и выйти от него обновленным существом, возник во мне скорее всего, как я думаю, на место рано умершего отца.

Как ни мужественна была моя мать в борьбе за существование, ее мужество выходило не из натуры, а из необходимости жить и управлять делом. Страх обидеть свою мать у меня всегда был, но страха в смысле необходимости подчинения руководящей воле, как это было бы к отцу, я никогда к ней не чувствовал. Мне был нужен отец, но отца я не знал, и, когда понадобился отец, я вообразил себе мудреца.

На этом примере с профессором я опять во всей яркости встретил вечно мучившую меня мысль о том, что очень часто умные, всеми признанные и учнейшие люди живут не своим умом и вообще не собой. Мучительно же было мне это понимание тем, что я был неспособен, как они, чужое выдавать за свое и в то же время ничем не мог доказать себя самого.

Для чего же мне это надо кому-то доказывать — этого вопроса сознательно я не мог себе поставить. Это не вопрос был для меня, а необходимость, скопленная из бесчисленных и, наверное, еще ранне-детских обид.

Мудреца, созданного моим воображением, я хотел найти себе самому признанием чужого ума, как своего собственного, и выполнять волю чужую, как свою. Мне думается теперь, что профессор не был так глуп, как я его понял тогда. Но скорее всего, поняв болезнь мою просто как болезнь роста, он отстранялся от меня как медицинский врач. Ему бы надо было по-человечески сказать: «Вылез грибок из земли — и расти сам, милый, все так сами растут!»

Он же как медик отстранялся по-своему: «Ванна в двадцать семь градусов!» Жаловаться тут не на кого — на том мир стоит: на росте. Но как же больно мне было от медицинского старца вернуться к своим острым орудиям.

Единственный день отдыха от страха своего и вечного повторения заговора от острых предметов бывал, когда продавалась последняя коса и я отправлялся в Москву за товарами.

Мы закупали все эти вещи по оптовой цене в Москве на Мясницкой у Кютнера. Однажды с этой целью я сел у вокзала на извозчика и поехал. И вижу, по Мясницкой какой-то парень идет с новым большим блестящим кухонным ножом.

— Стой! — велел я извозчику и, уплатив ему двугри-венный, бросился к парню, чтобы отнять у него нож. Прочитав, однако, свой заговор, я опомнился весь в поту и, униженный, увидел себя возле большого дома с оптическим магазином внизу и множеством дощечек белых с черными буквами. На этих дощечках значились врачи всех родов, от зубных и до нервных.

Выбрав себе невропатолога, я поднялся на какой-то этаж и позвонил.

Небольшой человечек с рыжими волосами встретил меня крайне недоумевающим взглядом и с акцентом спросил: «В чем дело?»

Не помню, что я ему наговорил, но он был до крайности заинтересован моим рассказом и дружески просил меня успокоиться.

— Нет никакой болезни, — сказал он. — Вы просто перегружены разными теоретическими знаниями. Вам надо теперь разгрузиться от них в практической работе. Развивайте ваши склады, торгуйте.

— Но ведь я же вам говорю: боюсь острых предметов!

— Вы их скоро не будете бояться.

Он достал из ящика коробочку с пилюлями, налил стакан воды.

— Как называется магазин, где вы покупаете острые предметы?

— Торговля Кютнера.

— Обещайтесь: еду к Кютнеру и ни о каких острых предметах не буду думать со страхом.

Я обещался и принял пилюлю.

После того он вручил мне всю коробку и назначил, чтобы, принимая, всегда заговаривать себя таким обещанием.

— Через месяц вы будете здоровы, — сказал он и денег не взял.

Все вышло точно, как сказал этот мудрец. Я перестал бояться острых предметов, и мне надлежало только избавиться от особенного страха оставаться наедине с самим собой.

НА ПОЛУСТАНКЕ

И вот однажды я ехал из Москвы к себе на родину, в Елец. Было это на одном полустанке, страшном полустанке в середине России, страшном участке какого-то ада. Времени тут как будто совсем и не было. Поезда ждали по двенадцать часов, и никто эти часы не считал. Ожидать поезда было трудно, и душа моя не имела против этой мертвящей скуки в аду одиночества никакой защиты.

От скуки, только от скуки я выдумал себе немного пописать: взял лист бумаги и стал писать какие-то воспоминания из своего детства. И вдруг увлекся: радостное волнение впервые охватило меня, и я не заметил, как пробежали томительные часы ожидания. Когда я написал свои страницы, перечитал, поправил, добавил что-то, мне стало так, будто благодаря этому своему личному усилию истинный ад скуки обратился в желанный рай, и поезд мой пришел.

Тут-то я опомнился, и радость моя стала еще больше: я понял, что совершилось величайшее открытие в моей жизни — мне теперь нечего бояться себя и своего одиночества. Всегда, как только я останусь один, мне стоит взяться за перо, вспомнить о каком-то неведомом друге, к которому я обращаюсь со словом, и весь страх мой сменится радостью.

Находка моя явно направляла всю мою будущую жизнь, и тут же в поезде я стал решать: о чем же мне надо писать?

Рассмотрев написанное, я убедился, что выбрал самое простое, самое любимое в моем детстве: охоту с сетью на перепелов. В родной деревушке жил такой охотник Гусёк, с ним, как только себя помню, я ходил на охоту за перепелами. Мне казалось теперь, что нет в мире проще, чище, добрее Гуська, и нет ничего прекраснее наших с ним вечеров и утренних зорь.

Не важно мне было тогда знать, как я написал, и тем более не было у меня ни малейшей мысли о том, что это можно было бы напечатать и этим жить. Я обрадовался тому только, что прежние пустые и мучительные часы я теперь всегда могу заполнить прекрасным занятием: писанием о чем-то любимом.

Раньше меня охватывал страх остаться наедине с самим собой. Теперь я только и ждал, когда закончатся дела,

чтобы остаться наедине, затвориться и, в себе самом разгораясь, выходить из своего одиночества в широкий мир.

Мало того, во время занятий своей агрономией народная речь стала мне музыкой. Я слушал, записывал слова, дивился этим чудесным коленцам русской речи, поворотам ее от грусти к простодушно-смешному и внезапному взлету на высоту человеческой мудрости.

Слова мне становились волшебными танцорами, и русский народ в своей простоте — неисощимым источником словесных богатств.

Если же это ловить и уметь передавать на бумаге, то вот и я тут при деле, и я тут могу быть самим собой в единстве с людьми.

Словно заря вставала мне впереди: всю жизнь, с детства, глядя на мать и на всех, я понимал труд как Адамово проклятье. Но тут выходило, что человек может победить грозного Адамова бога и выйти на свободу через радостный труд.

Всю жизнь я делал что-то не свое, и вдруг...

У меня теперь была цель писать о любимом, с этого раза я почуял в себе неиссякаемый запас силы внимания к людям, которая не покидает меня и теперь и, мне верится, никогда не покинет. Целебный источник выбился в душу мою из каких-то темных, неведомых недр, и с этого разу я стал независимым, перестал искать спасения в книгах и у мудрецов.

Однажды, проезжая на извозчике, я вспомнил по оптическому магазину тот дом, где жил мой спаситель. Я решил немедленно идти к нему — поблагодарить. И вот та же комната одинокого человека, тот же он сам, рыженький, столь незначительный с виду. Я рассказал ему все, горячо благодарил его и пробовал предложить ему деньги.

— Нет, — сказал он с блаженной улыбкой, — ведь я же не врач! Мне просто жалко стало, что такой прекрасный молодой человек мучается какими-то пустяками. Вот я и попробовал вас полечить своим средством: это была простая сахарная пудра.

В изумлении не знал я, что и сказать, и наконец спросил:

— Но вы же все-таки врач по нервным болезням?

— Невропатолог, — ответил он, — живет лестницей выше, вы ошиблись этажом, молодой человек. Я же шлифую стекла для оптического магазина: я оптик.

ВЫХОД

Когда я был юнцом, мне представлялось, что сознание человека движется вперед по прямой линии, как вагон на рельсах. Но с некоторого времени я стал понимать рост сознания, как в дереве из года в год нарастает древесина концентрическими кругами. По годовым кругам на пне свежесрезанного дерева можно разобраться в жизни всего леса за сто и больше лет, так точно по кругам нарастающего сознания, которые мы в себе чувствуем, можно тоже о многом догадываться.

Когда я находился еще в раннем кругу своей юношеской романтической любви, я не только не мог мыслить о своем переживании, но даже прятал от себя книги, могущие пролить на себя свет сознания. Теперь же я, как уцелевший старый дуб, стою на просеке, я не только могу для себя разбираться в нарастающих кругах сознания, но даже рассказывать с надеждой, что это кому-то годится.

В этом, наверное, и заключается удовлетворение от писания и часто даже радость: это выход на свободу сил, в себе заключенных. У нас этот выход сознания, а у них, деревьев, разрастание порослью.

Обращал ли кто-нибудь особенное внимание в лесу на старые пни, какой буйной силой папоротников, цветов, ягод они окружаются? Сам же пень видит тут, около себя, свое возрождение и убеждается в том, что не напрасно он жил.

У нас, людей, это перешло в жизнь сознания, и вот почему так радостно бывает излучать из себя накопленный опыт.

Вспоминаешь и просто диву даешься: я же сам ведь когда-то с такой болью и ужасом расставания сжигал любовные свои записочки или прятал их от чужого глаза в дуплах деревьев. А теперь с такой радостью я нахожу уцелевшие и, поставив номер на этом дорогом документе, укладываю его в своем архиве в особую папку любви, означенную римской цифрой.

С тех пор как психиатр посадил мою исповедь, как жука, на иглу, прошло пятьдесят лет непрерывно растущего сознания, но и то через всю эту древесину свою я определенно чувствую боль прокола своего сердца иглою либерального профессора, не взявшего с меня даже плату. Мало того, боль эта теперь даже приятна, потому что вызывает по смежности радость, поднятую находкой

средства борьбы с одиночеством. Из этого чувства удовлетворения от писания мне и в голову не приходило сначала, что я буду непременно когда-то писателем. Вот то-то и замечательно, что совсем и ни капельки даже не было вначале хотя бы тайного замысла впоследствии прославиться и писать повести, как шить башмаки на заказ.

Я в это время не литератором делался, а постепенно заменял в себе одно чувство другим. Это был опаснейший момент в моей жизни, и удельный вес свой я теперь определяю не числом томов собрания моих сочинений, а лишь тем, что в опасный момент утраты своей возлюбленной, когда решается судьба самой своей *самости*, я обвинил в утрате своего счастья только себя самого.

Вот тут-то, в поезде, после того как я сделал на заброшенном полустанке свою первую счастливую запись, и состоялось то самое мое решение, о чем я никому потом никогда не сказал, и теперь мне в нем труднее признаться, чем в своих пороках. Из-за того приходится это сделать, что оно хорошо у меня получилось и будет совсем замечательно, если послужит кому-нибудь добрым примером.

Мне приходится для такого признания зайти с далекой стороны, начать с того, как устраивается в жизни большинство молодых людей.

Два поступка у каждого ложатся светом и тьмой на всю жизнь: один из этих поступков есть выбор любимого дела, может быть, и призвания. Другой поступок относится к выбору подруги жизни. Вот я теперь и должен признаться, как я осекся больно на том и другом и как потом выправился: как избавился от влияния неудач.

Сейчас видишь — почти каждый день у тебя на глазах молодые люди сходятся и расходятся. И кажется все это так «естественно». Но почему же самому-то было так трудно? Почему эта неудача легла на всю жизнь? Скорей всего оно так бывает у многих, но только со стороны мало видно. Вопрос же о любимом деле и о жизненной подруге — это как две точки, и жизненные опилки, как на магните, располагаются вокруг этих двух полюсов.

Так вот и вышло, что там и тут я до конца на всю жизнь осекся, дело меня обмануло, я его совсем не любил и оттого неумело работал. Незаменимая моя подруга растаяла, как Снегурочка.

Я раздумывал тогда, в поезде: если я в несколько часов исписал столько бумаги и был в этом счастлив, то почему бы такое занятие не обернуть в настоящее дело, не

заниматься им радостно и легко? Дальше я думал так: я, конечно, сам виноват, что упустил свою невесту, и теперь вижу даже все свои ошибки; не будь их, она бы со мною осталась. Почему бы теперь в отношении этого чудесного чувства, связанного с писанием, не поступить, как с желанной невестой: не сделать в отношении нее ни одной ошибки?

Я видел ошибку свою в отвлеченности своего чувства. Вот почему в новом своем чувстве я хотел определиться родственным точным вниманием к любимому предмету. И еще другую ошибку свою я видел, самую главную, в том, что под предлогом возлюбленной думал только о себе и поднятую бурю в стакане эгоистической души принимал за мировое событие...

В новой радости своей я прежде всего почувствовал выход в безграничную ширь и готовность служить целиком, ничего не пропуская, до последнего своего издыхания, не обходя вниманием ни одного друга своего и даже ни одной травинки, ни одного колоска, ни птички певчей, ни зверюшки.

Весь мир моей родины в безграничном, неведомом мне пространстве заиграл во мне, зазвенел, зацветился, засиял.

Я похоронил тогда все прекрасное, что было связано с утраченной невестой, бросил свою сомнительную для меня профессию, и на первых шагах самое лучшее мне было в том, что на смену страшного одиночества мне всюду явилась жизнь: где я — там и жизнь. И оттуда я запомнил на всю свою долгую жизнь: так, наверно, и нужно писать, чтобы это чувство жизненной всюдности и, может быть, некоторой своей личной власти над этим насыщало страницы.

Я возвращаюсь к тому, что сказал: в жизни молодого человека есть две величайшие трудности — служение любимому делу и встреча друга на всю жизнь. И вот в эти часы в поезде я связал между собою обе трудности в один узел счастья.

Более наивного нет ничего на свете, чем что произошло со мною: подругу свою я заменил тогда географией и стал служить делу землеописания совершенно так же, как невесте своей. Совершись такое со мною в шестнадцать лет — все было бы понятно, но мне было уже под тридцать, оттого мне так трудно делать столь наивное признание.

Вероятно, это самое угадал во мне Горький в самом начале моего писательства, и когда впервые мы с ним

встретились в Финляндии и обнялись и наперебой стали друг другу рассказывать о святом своем ремесле, то Горький так и назвал это наше ремесло *выходом*, потому что одному так досталось от жизни, другому иначе, а как выход нашелся, об этом каждый рассказал по-своему.

— Да, да,— повторял Горький,— для нас с вами искусство было единственным и верным *выходом*!

Много мы говорили с Горьким в ту первую нашу встречу, но самое главное, что осталось мне от нее, это сходство лучей жизни в нашем разговоре о выходе.

Как теперь все становится понятным! Ах, живите же, люди, живите, как можно дольше, не обрывайте легким выходом трудную жизнь, пока наживете сознание на всей собственной жизни, и тогда, поверьте, все ваше лучшее оправдается. При свете этого сознания становится мне теперь понятным, в чем самая сущность освободительной силы искусства. На опыте собственной жизни я могу сказать, что при первом же веянии той большой правды искусства я почувствовал страстное желание морить свой одинокий эгоизм, глушить все иные свои желания, кроме единственного, и так вырастали все мои «надо», как берега реки, и сама живая вода — мое «хочется».

Да, не в одном только «хочется» состоит сущность искусства — это не искусство, а глупый снобизм. Искусство состоит в борьбе своего собственного «хочется» со своим же собственным «надо».

Матери своей я обязан во всем, что учила меня всегда наклоняться к земле, когда старая няня потеряет что-нибудь, и ползать на коленках до тех пор, пока не найдешь для старушки потерянного.

Когда меня стали печатать, я считал про себя, что мой главный читатель — моя мать и это для нее я пишу. А когда она умерла, я подчинился жизненному закону: любимое не умирает, а после исчезновения своего живет в тебе самом, как живая, движущая тебя сила.

Много лет должно было пройти, прежде чем мой выход определился. Много в дубахросло годовых кругов древесины, а в людях сознания, прежде чем я понял наконец этот выход вполне и хотел бы раскрыть в теме своей работы «Искусство как поведение».

А если я ее так и не напишу, то после меня кому-нибудь это, наверно, удастся, и я знаю, мой камешек в основе этой светооткрывающей книги непременно будет лежать.

Спросить бы кого-нибудь, что легче и что труднее: написать о своей собственной любви или, скажем, о нефти?

По-разному ответят даже и на такой простой и, может быть, нелепый вопрос. Но за себя, конечно, могу я ответить, что мне гораздо проще написать о любви, чем о нефти, и я сейчас скажу, почему о нефти написать для меня много трудней.

Было время, когда я занимался торфом, вовсе не имея в виду того, что лет так через сорок я напишу о нем повесть «Кладовая солнца». Сначала я занимался торфом теоретически, как агроном. Потом перешел к болотам, записывая сказки людей, живущих издавна по берегам великих наших торфяных залежей. В третьем фазисе своей жизни я подошел к торфу как страстный охотник. После всех этих опытов я почувствовал в торфе как бы родную материю и, когда понадобилось, написал о нем повесть в одну неделю, и почти всякий читатель теперь скажет, что о торфе написано у меня не хуже, чем я писал о любви.

Конечно, не с одним торфом у меня так вышло показательно, что можно и о торфе писать, как о любви. Я о многом чуждом и далеком мне поначалу пробовал писать. И когда что-нибудь удавалось, всегда казалось мне, будто я сам приблизил к себе особым усилием предмет моего изображения. И что всякий поэт в душе может сделать то же, если пронзительно и остро его внимание к жизни.

Но что я мог сказать о нефти лет тридцать тому назад, если она для меня вся была где-то далеко, неприкосновенная, и чувствовать ее как живую солнечную энергию я никак не мог?

В первые годы революции мое участие в ней как писателя в этом и было, чтобы научить писать всех молодых людей во всем по себе: писать, как учил Грибоедов.

Правда этой моей домашней философии не умерла в борьбе за себя, и сейчас я держусь ее не меньше, чем было в то время, когда очерк как литературная форма был на первом месте и вся масса писателей молодых брала авансы и отправлялась в далекие края ловить синюю птицу. Я был много старше этих молодых людей, но замечательно, что мой литературный путь давно перед этим тоже начинался устремленным в какую-то страну непуганых птиц, и в моем опыте даже было так, что этим путем я к чему-то пришел,

освоил его и за свой поэтический очерк мог хорошо постоять.

Много было разных споров, но в конце концов мой путь был ласково отстранен, и вот именно за то, что он был рассчитан не на обыкновенного газетного корреспондента, а на поэта, хотя бы даже такого, как я, просто поэта в душе.

Сам ведущий писатель А. М. Горький, желавший мне только добра, бессознательно провалил мою затею такими словами: «Пришвину угодно свои поэмы называть очерками».

Но я и сейчас не соглашаюсь с Горьким: никаких настоящих поэм в моих очерках не было, но поэзия была в них руководящим началом, каким она бывает всегда в народном языке, если кто умеет слышать и понимать этот язык.

Как ни просто это понимание, но все-таки надо родиться хоть немного поэтом в душе, чтобы понимать народную речь и самому так говорить и писать. Но есть путь, который обходит поэзию, и там она в скором деле не бывает нужна.

Свинцовым газетным языком каждый может писать. А языком всего народа, поэтическим и музыкальным языком писать очень трудно. Вот этот легкий свинцовый путь языка покатился от очерка к роману, и появилось такое неверное суждение, будто можно усвоить какой-то скорый метод и о всем написать. Вот потому-то теперь я и думаю, что на простой мой вопрос: что легче и что труднее написать — о любви или о нефти, найдется много таких, кто скажет, что о нефти писать много легче.

Так вот и мы разошлись, и многим покажется непонятным, почему же я-то сам тянусь к очеркистам и не хочу называть себя настоящим поэтом?

Это вот отчего: до того много я чувствую в жизни поэзии, начиная с северных былин, кончая шепотом двух женщин у калитки, что как-то даже и стыдно себя самого называть поэтом. Мне стыдно, потому что искренно хочу оставаться с теми, кто относится к поэзии, как верблюд, переходящий пустыню, к воде: наливает в себя и, горбатый, потихоньку идет в долгий путь.

Так и я хотел бы относиться к поэзии. И без этой воды — поэзии — ведь правда, если глубоко заглянуть, ни один настоящий, самый скромный, труженик не может и шагу ступить в своем жизненном деле.

Не меньше тридцати лет тому назад шел я по Тверской улице почти что в отчаянии. Мне очень хотелось написать о себе, о своем детстве, о своей любви, о том, как в искусстве слова нашел я разрешение многих чисто нравственных вопросов. Но жизнь в то время так вела, что об этом стало неловко как-то писать, и я, уступая давлению времени, взял на себя труд написать о нефти, и тем, как мне казалось, написать нечто для себя небывалое.

После томительной душевной борьбы я взял аванс в одной газете и купил билет для поездки в Баку. Как и не соблазниться! Разве не я был одним из зачинателей художественного очерка, начиная с «Края непуганых птиц»?

Я был задавлен тем душевным грузом, который лег на меня: ведь я не мог писать по-газетному, я должен был и о нефти писать, как о любви, и для меня это было почти как подвиг.

Так я шел в отчаянии, и, как со мной часто бывает, в такие минуты отчаяния является мне на помощь мой неведомый друг.

Этим другом оказался тогда редактор журнала «Новый мир». Так пришлось в трудную минуту, что этот умный и опытный человек на стуле редактора влиятельного журнала мне вдруг почему-то показался простым и располагающим к откровенности. Простым он был еще и потому, что никакой дипломатии или покушения на право мое оставаться самим собой у него не было. Мы встретились с ним, как издавна встречаются у нас на Руси молодые люди и говорят до петухов в мечтах о высоких вещах, хотя мы оба были уже далеко не молоды.

Мы пошли с ним в какой-то маленький ресторанчик, спросили вина и заговорили. О чем говорили, я хорошо помню и никогда не забуду.

— Меня, — говорил я, — на Руси перед выбором дела всегда встречает верный и безобманный закон обязательного выбора труднейшего: сделать трудное, а легкое само сделается. Трудно в нефти найти и показать спрятанную под землей солнечную энергию, еще труднее приблизить ее к человеку и показать всем как нечто еще до сих пор невиданное, небывалое.

— Вы убьете себя на этом невозможно трудном деле, — сказал редактор, — сделайте лучше так: покажите в описании своей собственной жизни, как зародилось, с чего взялось это стремление ваше к небывалому. Вам это сделать легко, а молодые пусть возьмутся за нефть и постепенно

доберутся вашим следом и до солнечной нефти и, может быть, дойдут до мысли о преобразении всей природы.

В конце последующего длительного молчания я вынул из кармана договор с газетой и билет в Баку.

— Есть еще время возвратить и то и другое, а вы пишите автобиографический роман для нашего журнала и берите аванс,— сказал редактор.

Так и начался мой роман «Кашеева цепь».

ЛЕСНАЯ ТРОПА

В чувстве природы таится, как я понимаю, и мое чувство родины, в делах же моих определяется мое отечество. Проще говоря, все мое странничество, вся моя «охота» исходит из моего чувства родины, а собрание моих сочинений — это мой паспорт в отечество.

Слово, только слово было моим кораблем, на котором я плыл из недр природы в свое отечество. Но не в корабле, конечно, дело, а в самом движении и направлении. Не на одних только кораблях народ движется в свое отечество.

Некоторое время, пока я не понял, что кораблик мой плывет по верному пути, мне казалось удивительным, почему моя каждая работа о природе непременно выводит к людям. Тот край, например, который избрал я для первого своего изображения, впоследствии стал замечательным краем, по которому прошел Беломорский канал. По моей Журавлиной родине, где в мое время водились в таком множестве журавли, теперь прошел Московский канал. А моя река Нива, озеро Имандра, Хибинские горы, где я охотился на оленей и где описывал полуночное солнце! А мое маленькое Плещеево озеро, где я написал «Календарь природы»,— оно больше всех удивило меня.

Помню, когда я жил на этом озере в одном заброшенном дворце и каждый день, начиная с первых дней весны света, записывал, будто я капитан и земля — мой корабль. И как тосковал я, что я тут один, что не могу созвать людей на этот праздник света, цветов, великолепных дуновений весеннего ветра и всяких чудес. А когда через десять лет множество людей прочитали «Календарь природы» и я приехал побывать в тех местах, то со мной были невидимо все мои читатели, и я с восхищением чувствовал, что на этом празднике весны они все присутствуют, и знал, что участвую в их собирании, и что, значит, путь мой

правильный, и что я не скитаюсь один по земле, а с многими плыву по верному пути в свое отечество.

Но нет, не на корабле плыву я в океан. Там, на кораблях, есть и компас, и руль, и на всяком месте определяются по звездам. Я не на корабле плыву, а лесной тропинкой иду в свое отечество, и тропа моя выбита босыми ногами многих людей.

Конечно, и мотор сделан руками человеческими, на воде и в воздухе твой предшественник непременно с тобой. Но там, на воде, поглощающей след, и в воздухе больше иллюзий в том, что ты совершенно один и не имеешь предшественников. На лесной же тропе часто даже своими собственными глазами видишь след босой ноги человека, и прямо по нем идут, присоединяясь, следы разных зверюшек и птиц.

Тропинка в лесу — это самая интересная книга, какую мне в жизни только приходилось читать. Не для тебя, конечно, начинал тропу человек. Он, может быть, поселился где-нибудь один, и стал ходить на базар в город, и размножился, возникла целая деревня в лесу, и расплылся лес большим кругом, и такой привычной стала тропа в город, что даже маленькие дети стали бесстрашно в город ходить по тропе. А что лучше может быть на тропе следов босых детских ног?

Конечно, каши не сваришь из таких следочков, но поэзия не кашей питается, а только любовью: бесконечно трогательны на тропе следы твоих неведомых друзей. Бывало, не раз встретишь через много лет человека, а ты его уже забыл, а он тебя все помнит, и радуется, и просит посидеть на корнях дерева покурить и побеседовать.

И нигде на свете я не встречал такой любовной, в смысле добровольности, связи животных с человеком. Кто его просит, глухаря, выходить на песочек, открытый из-под мошка ногой человека? А поди-ка, вот нравится песочек дикому глухарю, выходит, клюет камешки, чешется, моется песочком, выберет солнечный луч, разомлеет в нем, ямку выкопает, ляжет...

Очень все привыкают и даже облениваются на благодетельной для всех тропе человеческой. Сколько раз случалось — белая куропатка со множеством детенышей тонким слухом своим поймет ход человека даже и на мягком мху. Вытянет шею в твоем направлении, ждет, и детеныши, подражая матери, тоже все вместе шейками вверх стоят, весь выводок, как опрокинутая борона.

Все думают вместе, одной материнской головой, что им следует делать: бежать или прятаться. Ну, конечно, не хочется и птицам покидать благодетельную тропу человеческую, спрячутся тут же за кочкой. Заметишь это, покосишься на то место, где они залегли, и, посмеиваясь, дальше пойдешь...

Случалось не раз идти по бревнышкам, постеленным на версты, конечно, тоже людьми. И вот какая тропа складывается из этого человеческого дела при поддержке природы. На диком болоте, где чахлые елочки стоят по колено в черной, густой, как сметана, воде, возле бревнышек вырастает трава иван-чай почти в рост человека, с красными цветами, а если нет, то спирея. пышная и белая, как облако, с медвяно-ароматным запахом, привлекающим к себе насекомых. Тут, на бревнах, какие-то еще бесчисленные жучки-паучки собираются, мышки разные лесные, белка, задрав хвост, лупит впереди тебя по этим мостикам, трясогузки, поползни, птички-синички всех пород охотятся на глазах. Змея, слышав шаг твой, медленно разворачивается, так неохотно сползает в болото с такого приятного, надежного места.

И до того много всего на тропе: то и дело видишь, как наверху ветка качнулась, — это, и по слуху догадываешься, какая-то птица спорхнула или внизу дрогнула еловая лапка. Подтянешься на цыпочках и, бывает, успеешь схватить и догадаться, какой это зверек тут сидел и от твоих шагов убежал.

И вот больше всего что удивительно: обильней и тесней всякой жизни, кажется, нет нигде места, как на тропе, и в то же самое время никто никому не мешает, и все обязаны убежищем своим на диком болоте одному только человеку.

Есть тропы такие в нашем отечестве, что за сотни верст вокруг нет не только железных, а просто дорог, тропы — единственный путь через тайгу. Первые люди, пробивая для всех эту тропу, позаботятся и о бревнышках для отдыха и беседы и называют эти лавочки даже «беседками».

Вот случалось иногда мне сбиться с такой тропы, ну, уж тут и погибель недалеко.

Однажды случилось сбиться ночью с тропы куда-то в болото, и я понял: это болото то самое, какое идет к Печоре за сотни верст. Я завернул в ту сторону, где, по моим расчетам, должна быть тропы, но почему я мог знать, что и тропы эта завернула и я параллельно ей в бесконечность леса иду...

И вдруг на болоте, вдали, я увидел на рассвете среди мхов тонкие стебли и метелочки сладких злаков, столь необычных в болоте. Тонкая стена просвечивающих злаков как будто пересекала болото, и прямизной своей производила необычайно радостное впечатление, и заставляла сердце биться, в то время как ум еще не смел признать эту прямую человеческим делом в мире кривых веточек клюквы, обвивающих кочки сфагновых мхов. И какая это была радость узнать, что это нога человеческая, обминая мох, уводила от него воду в тропу, осушала почву и на краях этих обминок тонкой стеной вырастали сладкие злаки.

Так издали по метелочкам злаков я узнал тропу человеческую и был спасен.

По сухой ли тропе на песочке, по замшелым ли бревнам на болоте, — на всякой тропе я, как хозяин и зачинатель, иду в полном радостном согласии с тем, кто прошел раньше меня, и в каждой избушке на пути своем пользуюсь оставленными для меня предшественником дровишками и часто сам готовлю дрова для идущих за мною, а бывает даже, оставляю и свою коробочку спичек.

Я увлекся рассказом о лесной тропе, но веду я свое слово к тому, как через писательство я нашел своих друзей и через них свое счастье.

С детства меня учили, что такое счастье невозможно, что для большого, настоящего счастья нужно всю душу свою положить за друзей и самому остаться ни с чем.

Но в долгой жизни оказалось, что тоже, конечно, отдаешь душу за друзей, только и добрые друзья, поняв достойного человека, пока он еще не отдал им всего себя, сами ему начинают служить и обильно, во много раз больше, платить за его добро.

Не часто выходит такая гармония, но я не о гармонии...

И вот скажу теперь, что был в лесу добрый медведь, и его полюбили, и когда он попал ногой в медвежий капкан и заревел, то вместе с ним и весь лес заревел.

Мало счастья было медведю, что попал он в капкан и заревел, но все-таки, правда же, много легче. Даже скажем и так: большое счастье досталось медведю, что, прощаясь с ним, как с другом, весь лес заревел.

Вот мне и кажется, будто я, как и весь русский человек, этим счастьем силен!

МИРСКАЯ ЧАША

19-й год XX века





Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик — славное наше моховое болото, мать великой русской реки.

Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.

Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь — и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик — чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику — кум королю!

Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото —

исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.

Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам — какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто — сто! — лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы — страх за сто лет!

И что же оказалось <...>, леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода — вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.

Будет ли Страшный Суд?

На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.

И они все потоптаны.

Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?

В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» — и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».

— Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?

— Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой — леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.

Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего <...> все бросились истреблять леса, — это не люди, это зверь безумный освободился.

Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.

Россия...

Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое — народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось *побыть*.

Родина...

Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» — а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, — почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, — раба со святою душой, — моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение — молчание и счет прошедших годов?

Немой стою с папирской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.

Немой стою и только после записываю:

«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».

I

АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ

Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали

на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, занавесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнестись во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!

Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, — гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» — так называлась у нас Комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнестилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувойенные, что-то искали, организовывали, кто силен — грач, кто прозевал — ворона, кто поет хорошо — скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей — скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: *«МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА»* — какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово *«Музей»*, — и не тронули, тоже слово *«павлин»* — и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.

Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали — он теперь долго очищается и наконец, задрвав хвост до невозмож-

ности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огороду поповский сын *шкраб* Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.

— Ай, ай, ай!

— Что такое?

— Хвост-то, хвост, красота! Происхождение птицы вам, Василий Семеныч, известно?

— Райская птица.

— Райская, я понимаю, а каких же стран?

— Из райских, конечно.

— Есть же такие страны райские.

Угрюмый, выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии.

— Тоже зерно выдают! — ворчит он, проходя мимо павлина. — И еще при такой птице старуху содержат.

— Хранцуз! — отвечает Павлиниха и: — пав, пав, пав! — отзывает с пути, чтобы тот не облил хвост помоями.

— Красота!

— А польза какая?

— Все тебе польза, хранцуз!

Просыпается колония. Начальница, злейшая дева, босоногая, как хищная красноглазая птица, распушенной летит по коридору на кухню хлеб делить, а вся стоногая детвора бежит, рассаживается под миртами и лаврами в дендрологическом садике, в ампирном павильоне, в теплицах, в английском парке под вязами — везде! На десятину вокруг все испачкано.

Подваливает *слобода* — так мужики называют все это дело с контрибуцией. Мужики тихи, робки и вежливы оттого, что у каждого для весу в кудели по камню, в муке много песку, баран кожа да кости, курица чумная, только бы сдать, а не сдашь и попадешься, тогда разговор краткий.

— А есть?

— Есть! — спешит ответить мужик и гонит в кусты за самогонкой.

— Хвост-то, хвост задрал! — удивляются мужики на павлина.

— Красота!

С Павлинихой у них связь старинная через владельцев, и разговор у них в ожидании веса бывает тихий о старом и новом, что старое хорошо, а новое пикуда не годится.

— Другу не дружи и другому не груби. Богу молись и черта не забывай, вертись, как жареный бес на сковороде.

— Все-то загадили и очертенели.

— Очертенели!

— Намедни ребятишки в крест стали камня кидать.

— В крест!

— С места не сойти: в самый крест кирпичом. «Чертенята окаянные, куда вы, оглашенные, кидаете, или не видите крест!» Кричу им, а они мне что же отвечают: «Это, бабушка, чертов рог».

Павлиниха рассказывает, а мужики с открытыми ртами стоят и бородами качают, как метлами.

Борода, борода!

— Один забрался ко мне и деготь налил в лампадку Николу Угоднику. «Что ты, голопузый, наделал?» — «Я ему, — говорит, — бабушка, хотел усы подкоптить».

— Терпит земля бесов!

— Земля, матушка, все терпит, ну да как-нибудь господь поможет, есть же Он, человек хороший?

— Как не быть — вот со мной было: рублю дрова, насадил глаз на дернину — свет пропал! Иду по полю, молюсь: «Матерь божия, Скоропослушница, помоги мне!» Откуда ни возьмись баба, что языком болезнь достает. Баба эта тронула бровь, полакала глаз и сняла.

— У Миная намедни была, — шепчет Павлиниха, — скоро, говорит, все кончится, вериги слабеют.

— Расходятся.

— И еще говорят: кто Библию читать умеет, тому известно число.

— Было ж его число и прошло.

— Это ничего, говорит, что прошло, так и сказано надвое, ежели число пройдет, еще столько же процарствует Аввадон, князь тьмы.

— И опять дожидаться числа?

— Опять дожидаться.

— Эх вы, Минай, заминает вас Минай, кому святой, а мне Кузька, бывало, я ему по уху, и он мне по уху: он Кузька, а я Бирюлька. Ученый человек Василий Семеныч, вот нам скажет получше, ну, что новенького слышали?

— Слышали новенького, что мощи Святителя открыли,

и оказалось, и оказалось, как вы думаете, что там оказалось? — спросил Василий Семенович, поповский сын, — да, что там оказалось?

— Мышь?

— У, проклятый Фомка, смотри ты у меня! — подняла свой костыль столетняя Павлиниха и погрозила.

Бирюлька усмехнулся:

— Ну, что же оказалось?

— Кукла!

Все поглядели на Павлиниху, кто с усмешкой, кто из любопытства хотел проверить, состоит ли на ногах Павлиниха. Но старуха и глазом не моргнула, старуха что-то свое думает.

— Куклу эту раздели, распотрошили, и оказалась в ней кость.

— Кость!

— Тронули, и кость золой рассыпалась.

Состоит ли Павлиниха? Смотрят все на старуху.

Павлиниха сказала:

— Чего вы на меня смотрите, или сами не понимаете?

— Понимаем: кость.

— Кость костью, а *батюшка ушел*.

— А золу эту насыпали на рогожку, положили возле церкви и написали: *«ВОТ ЧЕМУ ВЫ ПОКЛОНЯЛИСЬ»*. Такие вот новости...

— Дюже нужно! — зевнул Бирюлька. — Я думал, вы насчет внутреннего скажете.

— Я же говорю о внутреннем.

— Это внешнее, а вот как жизнь меняется, или новый край... Мы же на краю живем, а вы говорите про мощи. Вот вы скажите, будет ли когда установка.

— Остановка?

— Ну да, установка, все-таки вам известно.

— Ничего не известно.

— Ну да хоть мало-то-мальски?

А Павлинихе теперь и дела нет до этого *внутреннего*, она говорит про свое:

— Ушел, ушел батюшка, скрылся и невидим стал злодеям, показался им костью и золою.

Павлиниха состояла.

— Куда же он скрылся? — спросил маловерный Бирюлька.

— Тут же он, тут же, батюшка, только невидим стал божием попущением и грех наш ради.

Павлиниха состояла вполне.

Имеющие уши слушают, другие поглядывают на контору в ожидании веса и тихонько ругаются:

— Контрибуция, братцы, насела!

— Во как!

— Во как насела контрибуция!

— Окаянная сила!

— Задавила контрибуция!

— Переешь ей глотку!

— И всего ей подай: деньги подай, хлеб подай, лошадь подай, корову подай, свинью подай, и кур описали.

— Кур описали!

— Задави ее комар на болоте.

Подваливает, все подваливает *слобода* — телега к телеге, баран к барану, мешок к мешку, борода к бороде.

— Не наезжай!

— Ослобони!

— Эх, борода, борода!

— Что тебе моя борода?

— Была борода красная и засивела.

— Был ты мужик черный и заовинел.

В конторе все мера и вес. Ты, борода, не подумай положить тут свой завтрак и зазеваться.

— Я,— скажет Коля Кудряш,— думал, ты мне положил.

— Кушайте, кушайте, Николай Николаевич!

Простой малый, свойский, у него нет тут ни граждан, ни товарищей, а просто Ванька да Васька, Сережка да Мишка, весь под стать подобрался народ, спетая компания, ходы и лазы, стороннему ничего не понять, только слышишь отдельное:

про нового комиссара, что хороший человек, свойский, такой же прощелыга, как мы —

про тюрьму говорят часто, что кому-то надо скоро садиться, да и самим как бы не сесть —

что такого-то комиссара смели, но он залег в почту, придет время, забудут, объявится.

— Отлежится!

А то скажет кто-нибудь:

— Нос зачесался!

— Пора! — отвечает другой. — И у меня чешется.

Схватятся за носы, у всех до одного чешутся носы.

Нос ведет верно: пойман в обмане мужик. Суд мужику короткий:

— Есть?

— Будет!

Гонит мужик скоро в чистик, там на берегу ручейка, начала великой русской реки, горит огонек, над огнем котел, из котла змей капает в чайник, из чайника в бутылку, в карман ее и на суд.

— Ну как вышло?

— Ублагодетворил.

— Что же тебе еще надо?

— Самому губу разъело.

— Эх, борода, борода, была у мужика борода красная и стала борода пестрая, была у быка голова, да черт ей рога дал; ему бы головой думать, а он рогами землю копает — бык, черт да мужик одна партия. Понимаешь ты, борода, мою притчу?

К вечеру уже нет ни одной бороды у нас на дворе, весь оплеванный и не раз уже облитый помоями павлин взлетает на вяз ночевать, в танцевальном зале Культкома между ампирами колоннами загорается дорогой огонек керосиновой лампы и налаживаются актеры играть французский водевиль «Мышь под столом», гармонист испытывает свою гармонию на московский лад, и хор деревенских девушек учится усердно выпевать «кипит наш разум возмущенный», особенно им трудно дается «с интернационалом воскреснет род людской». Даже из города за двадцать верст приезжают сюда танцевать, оттого что в городе простые танцы строго запрещены и разрешают только *тапцы пластические*.

Горе в эти танцевальные ночи Павлинхихе, ее убивает забота о барском добре, как бы что не стащили последнее, и старуха всю ночь караулит ручки дверей, запечатанные печатью.

Охотно расскажет:

— В одной деревне стояла пустая изба на отлете, и замечают, как и у нас: пляс там бесовский и музыка. Позвали священника. Брызнул батюшка святой водой: «Да воскреснет бог и расточатся враги его!» И раз, и два, как сказал в третий раз: «Да воскреснет бог!» — изба и пошла оседать. Вот и окна под землю ушли, а музыка все тпрунды, тпрунды. И крыша, и труба — все скрылось, земля травой поросла, а ухо и по сие время приложишь — все топоток слышен и тук-тук! — копытце о копытце стучит. Вот и у нас так пусто место останется.

К полночи со всей своей компанией подваливает весь

наспиртованный Коля Кудряш, будет он тут плясать до зари, выжимая икру у девиц.

До зари!

А заря-то бывает какая над озером красная, тихая: тук-тук-тук! — по деревянному мостику кот пробежит.

Тогда гармония и топот во дворце отдельно от всего мира звучат и с ночью отходят.

Серым одеялом сваливается ночь в одну сторону. На востоке великие планы начертаны, стар и мал встань в заутренний час лицом на восток, и все равно у всех одинаково сложится во всей душе до конца.

Бело и плотно поверх синих лесов над низиной завернулось облако, туман или дым? — то леший баню топит, моется, и вся тварь его омытая блестит росой.

Журавль неустанно выкликает солнце, и видно по всему, что катится оно, спешит захватить всю черную силу и покончить с ней навсегда.

Вот оно явилось, исчез остаток бледной луны, и чуть слышен топоток под землей.

Весь серебряный в росе, показался журавль, другой, с огромными крыльями во весь солнечный диск, летит к нему, сошлись и ликуются. Тогда во всех зарослях в буйной силе все большие и малые, кто как успел, кто как догадался, твердят: «Слава, слава».

Солнцу великому слава!

Тут милостью солнца начинается воскресение всякой залежалой твари, каждая росинка получает отпуск на небо и там, соединяясь в белые, голубые и красные хороводы, дивит нас всех несказанно.

II

МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА

Весной можно жить с чувством осени, и бывают такие дни почти каждой весной, что совсем как осенние, только по зеленым листикам и догадываешься о весне, но осенью нельзя весну видеть в природе, тут уже кончено, простись.

Весной света, в голубом сиянии снегов, и нужно, чтобы в сердце была черная точка, из нее потом вырастет сила броситься, когда раскипитя весенний омут, к орущим лягушкам и хоть раз в жизни орать дураком со всей тварью, — никогда не пожалеешь, что бросился в омут к лягушкам.

Кто весну пережил, как весну, тот осенью не будет куковать безнадежно и, если даже собрать все безумие и осенью броситься... Осенью все в грязь растекается, — смотришь, поздний голубой василек вертится, приставший на грязи колеса мужицкой телеги.

Осенью непременно все в грязь растекается.

Но кто весну хорошо пережил, тому осень бодрое время, тот о белой зиме думает, густо мажет дегтем колеса, и не скрипит его телега, подвозя к дому добро.

Эх, есть и бодрость, и только бы жить, да нет добра!

И скрипят колеса немазанные.

Темной тучей прошумели все наши грачи вместе с галками вечерней зарею по ветру на юг и, как бабы в Родительскую с кладбища, печально перекликаясь, вернулись галки: они проводили грачей, грачи улетели.

Когда улетели грачи, и у нашего павлина осталось уже полхвоста, и все на зиму кое-что припасли, к воротам нашей усадьбы в стоптанных сапогах и котомкой за плечами пришел новый обитатель нашего дома, Алпатов, с ним была старушка и два мальчика, тоже с котомками.

— Не вы ли новый *шкраб*? — спросили его.

— Да, я школьный работник, и вот мой мандат на музей.

Семью проводили в те уцелевшие от расхищения запечатанные комнаты с надписью «МУЗЕЙ УСАДЕБНО-ГО БЫТА».

— Вы тут замерзнете, — сказала Павлиниха.

Алпатов ответил:

— Нет, бабушка, я не замерзну.

— Ну, а насчет хлеба-то как же, батюшка?

— Как-нибудь.

— Да где же ты достанешь? Ведь тебе не понесут.

— Не понесут, почему? Разве за начальство примут?

Павлиниха не так поняла:

— Уважут, — сказала она, — очень просто, примут за начальство и уважут.

Тут же принялся Алпатов все вычищать, переставлять, выбрасывать лишнее, развешивать картины по-своему, то спустится вниз с топором, то поднимется вверх с вязанкой дров и с ведром воды, через неделю все присмотрелись к нему и внутри составленного мнения затаенно стал жить человек.

— Симпатичный, кажется?

— Очень уж черен, как медведь.

— А глаза ясные и внимательные.

— Глаза ничего, какой-то Алпатов, вы не слышали, откуда он?

— В Ямщине городской стоял Алпатов, это не родственник ему?

— Едва ли. И как он тут будет жить в холодище, ни поросенка нет, ни картошек, разутый, раздетый, ребята босые.

— Ну, в музее оденутся, там еще много добра.

— Конечно, оденутся, без этого теперь не проживешь.

Через месяц Музей усадебного быта открылся. В большом зале вышло очень торжественно, оттого что все лишнее было убрано и правильно были развешаны портреты с Петровской эпохи и до настоящего времени. О каждом выразительном лице был подобран текст из поэтов усадебного быта, из архивных материалов дома, но больше Алпатов сам сочинял всевозможное, смотря кто чем из гостей интересуется.

Колонная гостиная — тоже александровский амбир, уютная комната, вся в миниатюрах, с акварелями, пастелями, офортами, тут есть драгоценный бювар с колонками слоновой кости, всякие старинные шифоньерки, шкафчик с французскими писателями XVIII века. Если нажать одну незаметную пуговку и потянуть за колонку слоновой кости в бюваре, то выдвигается секретный ящик, и там хранится пачка писем к девушке с белым цветком в руке — портрет ее помещен в другую гостиную, эпохи великих реформ. По недостатку мебели амбирной пришлось эту гостиную посвятить шестидесятым годам. Сюда в память Тургенева были собраны портреты интересных женщин, и та девушка с белой розой в руке встречает гостей и только не скажет: *«Как хороши, как свежи были розы»*. Алпатов рассказывает посетителям музея, будто юноша, — портрет его затерялся, — чистый, как Иван-Царевич, любил эту девушку, но она считала себя недостойной его и намекала, чтобы он смотрел *проще*. Юноше, наоборот, казалось, что она в себе заблуждается, творил себе из нее голубую весну и *проще* смотреть не хотел. То они сходятся, то расходятся, вот-вот им идти под венец, и вдруг все ужасно кончается: юноша, избрав себе Достоинейшую, покончил с собой. Иным посетителям рассказывается, что он был художником, написал этот портрет, всю ее как бы выпил в этой картине, и она покончила с собой, а не он. Был вариант еще, что через десять лет они

где-то встретились и, не узнав друг друга, проболтали весь вечер, и, наконец, что она вышла за него замуж, родила ему множество детей, совершенно выпила его как художника, он не создал ни картин, ни богатства, и теперь остатки семьи на голодном пайке занимаются полосканием белья в какой-то больнице.

В охотничьем кабинете было старинное оружие, чучела местных зверей: лося, медведя, рыси, диких коз, — убитых владельцами тут же, в чистике, вся эта комната была зеленая: портьеры, ковры, обои — все зеленое. В этом большом кабинете и устроился жить Алпатов, рассчитывая, что хороший камин спасет его от холода.

Первым пришел сюда генерал с известной фамилией, он служит здесь бухгалтером в *совхозе* и ухаживает за конторщицей Маргаритой Павловной, и уж нашел себе на старости лет Маргариту! Прибежала как-то в музей и прямо с ходу в кладовую, как крыса в хлам, то ленту выпрашивает, то старую шляпу. Алпатов насилу отвязался от нее, подарив медную кастрюлю — варить генералу картошку. Старику очень плохо живется: невозможно в его положении к пайку подворовывать. Но он и правда честен и верен — верит, что жив царь Николай, пишет все бумаги по-старому и клянется, что умрет с буквой «ять». Конечно, генералу в музее очень понравилось, и особенно красивая девушка в Тургеневской комнате, — *«Как хороши, как свежи были розы!»* — повторяет он всегда, когда видит ее с белым цветком. Он очень бывает полезен к приезду городских гостей, когда их пужно бывает очень занять, чтобы они думали хорошо о музее, болтали о нем и укрепляли шаткое его положение в революционное время. Пока Алпатов рассказывает в зале, начиная с Петровской эпохи, историю предков своей героини с белым цветком, генерал притаится где-нибудь на гвоздике в Тургеневской комнате, и, когда портреты от рассказа начинают шевелиться в воображении гостей, вдруг один из генералов срывается, оживает и встречает на пороге гостиной, делая ручкой прекрасной даме с белым цветком:

— Как хороши, как свежи были розы!

Кто же не знает этого *стихотворения в прозе*, оно стало сбыкновенно, как яйцо в рюмочке с ломтиком хлеба, и потому вслед за генералом непременно кто-нибудь вздохнет и повторит:

— Да, хороши были розы!

Тогда, чтобы кончить, Алпатов говорит:

— А у нас тут еще есть павлин.

Гости спускаются вниз смотреть на павлина.

— Хвост удивительный!

— Какой удивительный хвост!

— Райская птица! — объясняет Павлиниха и, жалуясь на голод, подговаривается к дополнительному пайку на павлина, а для ремонта музея Алпатов просит мел или алебастр. Смотришь, и получается зерно для музея и алебастр для павлина. Видно, гостям потом кажется павлин музеем, а Музей усадебного быта павлиньим хвостом.

Была еще одна комната в музее, теперь в ней на гигантском пне стоит слепок панतिकопейской вазы с изображением скифа. Эта комната замыслов настоящего музея: от всего, что кажется теперь павлиньим хвостом, останется только Иван-Царевич, и комнаты всего дома будут посвящены безликой таинственной Скифии со спящей красавицей в ожидании своего Ивана-Царевича. Он есть, этот мир, и теперь, нужно только уметь подойти к нему. Потому с радостью встречает Алпатов посетителей из самого простого люда, напоминающих ему древних скифов.

Хороша бывает в музее клюквенная деревенская баба, тут, на блестящем паркетном полу среди зеркал, колонн и картин, женщина моховых болот просто и уверенно скажет:

— Рай!

Ничего ей не нужно рассказывать, повертывайся, и она будет повертываться, нигде ничего она не видит и всюду чувствует рай. Ей и там, в избушке, каждая вещь обыкновенная таинственна, каждое движение природы по солнечному кругу сопровождается освящением водой из двенадцати колодцев и заклинанием. Он, бородатый мужик, думает, будто просто от быка причинает корова телушку, не зная, что бабушка перед этим прошептала все свои молитвы на воду в бутылку и обрызгала этой водой корову, в Светлое Христово Воскресение с первой с ней похристосовалась и дала ей, как человеку, съесть красное, освященное яйцо. Все это кажется пустяки, но ведь от этого телушка входит в человеческий мир, как своя, особенная телушка, баба назовет ее *Зорька*, и телушка выходит из стада. Да, если бы требовалось бы по хозяйству, так баба и муравья бы вызвала из муравейника. Нужно только присмотреться

к этому миру, и тогда совсем другое покажется даже в буднях людей образованных, и увидишь, что эти люди словом и внешностью как бы нарочно замазывают свой интересный, действительный мир.

Сколько усилий нужно, чтобы пробудить какой-нибудь отклик в душе *образованного* посетителя, а баба сама скажет:

— Рай!

И потом всем деревенским бабам:

— В раю была!

Однажды встретился в дверях лицом к лицу с клюквенной женщиной генерал, уступил ей дорогу, извинился:

— Pardon!

— Это по-какому же он сказал? — спросила, уходя, клюквенная баба Алпатова.

— По-французски, — ответил Алпатов.

На другой день она явилась с куском сала и привела свою дочку Аришу.

— Научите дочку *по-хранцузски*, — сказала она, подавая сало.

По-хранцузски за сало принялся учить Алпатов девушку, тут же выведывая от нее сказки, и песни, и причеты священную этого края, присоединяя листок за листком в скифскую комнату.

III

СФИНКС

Приходили, случалось, с глазами открытыми, чисто ястребиными, с едва уловимую мелькающею тенью, как у ястреба, если повернуть его к солнцу: эти перебегающие тени — ястребиные воровства и убийства.

За чистыми глазами Алпатов с большой опаской следит: или сворует, или вынет мандат на заранее присмотренную вещь, реквизирует и тоже будто бы для какого-нибудь полезного учреждения. Не доверяя себе, Алпатов в первой комнате на видном месте поставил пустую бутылку с надписью: *спирт*, если посетитель сразу бросается к бутылке понюхать, правда, не спирт ли, Алпатов готовится к борьбе, если не обратит внимания, — спирт и спирт, — Алпатов начинает просто рассказывать о музее.

Раз налетел вдруг на музей самый страшный из всех комиссаров Персюк, Фомкин брат: в сумерках на выжженных лядах из пней и коряг складываются иногда такие рожи, а тут еще фуражка матросская, из-под нее казацкий чуб — знак русской вольности, а на френче все карманы — знак европейского порядка, и в каждом кармане, кажется, сидит по эсеру, меньшевику, кооператору, купцу, схваченных где-нибудь на ходу под пьяную руку, давно забытых, еле живых там в махорке, с оторванными пуговицами, окурками и всякой дрянью.

Персюк налетел по доносу, может быть, на старуху при павлиньем хвосте, но захватил музей и заревел:

— А кто тут у нас идет против?

Налетал прежде грозный барин на мужика, как лавина обрушивался, а мужик стоит так себе, теребит худенькую бородку и глядит тройным глазом: один глаз улыбается, другой глаз рассчитывает, третий метится в сердце. Чик, чик, чик! — разлетелся мужик на три части, а и опять сложился, стоит как ни в чем не бывало, рыженькую бородку подергивает, и верхний глаз улыбается. Смотришь, уговорил, и графу стыдно себя самого, ласковый, болтает, как малый ребенок, и потом думает: «Русский народ *сфинкс*». И во сне и наяву потом чудится графу этот неумирающий, ничтожный и чем-то страшный мужик.

Но не так ли просто загадка разгадывается: раб всегда кажется сфинксом господину своему, если господину угодно об этом задуматься.

Вот он стоит, распаленный властитель, глаза, как у Петра Великого при казни стрельцов, раздуваются ноздри, а сфинкс в пиджаке улыбается: там где-то в невидимом третьем глазу он готовит последний суд и ему, и себе.

Человек в пиджаке улыбается: он собирает *фольклор*, удостоверено печатью и подписью знаменитых революционеров.

— Партийный?

— Собиратель фольклора находится всегда вне партий, и все партии нас почитают за своих, а сам я определяюсь как раб господина своего.

— Товарищ, у нас нет рабов!

— Ну, как нет, и почему же нельзя мне самому определиться рабом, мне так нравится: у раба всегда будущее, а господин всегда в прошлом, в своем роде я футурист.

— А что это «фольклор»?

— Продукт ненормированный, вот комната русских поэтов, тут есть Пушкин, картины хороших мастеров, и я с ними, дитя своего народа, все мы питаемся народным духом. Фольклор — продукт ненормированный.

У страшных людей, как у лютых собак, переход от бешенства к тишине с ушей начинается, и это мило у них выходит, будто «ку-ку» на березе после грома и молнии. В ушах что-то дрогнуло, и Персук говорит:

— А вы, должно быть, с образованием?

— Мы все учились понемногу.

— Лектор, может быть?

— Кто теперь не лектор.

— Знаете, у нас в партии есть и князья.

— Знаю.

— И графы есть.

— Знаю, а у нас есть, смотрите, Сервантес — испанец, Гёте — немец, Шекспир — англичанин, Достоевский — русский, и мне приятно, что русский тоже состоит в интернационале.

— А нет ли у вас происхождения человека от обезьяны, вот что, по-моему, удивительно.

— Дарвин? Есть.

— И доказано окончательно?

— Пока мир не кончился, ничего не может быть окончательного, а все-таки этим долго интересовались, именно, что обезьяна доходит до человека, теперь, кажется, повернули обратно, интересуются, как человек, падая, доходит до обезьяны.

— Каким способом?

— Приходилось вам, выпивая стакан за стаканом, чувствовать себя хуже обезьяны, зато наверху кто-то остается светлый, как ангел, и удивляешься, откуда при всем своем и окружающем безобразии он явился и существует в душе?

Персук присел в мягкое кресло и вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:

— Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз <...> Стоп! — Запрокинув голову, постукал себя пальцем по горлу. — Есть?

— Только в лампах денатурат.

— Давай лампу.

— Не отравиться бы: медная лампа.

— Давай!

И вливает все четыре лампы в себя трехлетнего настоя меди в спирту. Теперь вон с этого кладбища в парк. Пошатнулся, поправился, шагнул поскорее, опять пошатнулся и еще ходу прибавил, перешел в рысь, как будто нераскрытая в одиночестве мысль сама толкала его тело вперед, остановился на мгновение, посмотрел, не глядит ли кто на него в двери, окна, и — нет никого! — во весь дух мчится по парку через пни, через могилки господских рысистых коней и отличных собак, гигантским скачком взлетел над забором, мелькнули в воздухе две матросские ленты и скрылись.

Куда он бежит, неужели так мчится от светлого видения, промелькнувшего в пьяной его голове? Такого бы непременно надо в музей в скифскую комнату.

Алпатов спускается вниз, долго возится в дровах, тащит наверх большой липовый чурбан и топориком начинает обделывать себе из него комиссара: стук, стук!

IV

РАБ ОБЕЗЬЯНИЙ

Стук-стук, — синица в окно капельно-мокрое, и звин-звин! — там в парке, над преющей осенней листвой. С высоких деревьев на малые, с малых на кусты и с кустов на листву падают капли — шепоток по всему лесу идет и гонит зайца из леса в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк подается к дорогам собак ловить. Сам леший теперь мох дерет, обкладывается под корягой и засыпает на долгую зиму, редко открывая свои лесные глаза. Куда же синичке деваться? Стук-стук! — носом в капельно-мокрое стекло.

Круглой стамеской у окна Алпатов работает по липе, и мало-помалу означаются на дереве страшные глаза Петра Великого, стиснутые губы и бритый подбородок увлекает стремительно вперед, беспокойно, неудержимо все вперед и вперед, как будто при остановке он скоро пачкает землю и надо спешить на новые места, — не такое ли движение по шири земной было всего русского народа и не это ли значит его неумолкаемый крик: «Земли, земли!»

Сколько мыслей так проходит зачем-то, пока стамеска выделяет бугорки и ямки на липе, — зачем? Одни приходится к делу, и, может быть, согласная душа в путях стамески отгадает мысль, тут закрепленную? Но другие так

проходят потоком, и не узнать в них хозяина, и ввериться им и резнуть по дереву опасно — не свое, поток просто переходит через него куда-то к другому.

Вспоминается ему жаркий полдень в траве у водосточной трубы, не хочется встать, и неловко смотреть, как его упрямый приятель мучится над большим самоваром и, раздувая, хочет поставить его без трубы. Ленивый, протягивает к желобу руку, колено трубы повертывается, самовар к ней приходится и сразу гудит, как завод. Так не труд, а лень, как избыток отдыха, освободила от работы, и оба приятеля могут теперь лежать в траве и болтать. Но почему же говорят теперь: *«Кто не работает, тот не ест»*, — как в детстве говорили, что лень мать всех пороков. Видно, не всякая работа ценна и не всякая лень порочна. Бывает, одно таинственное мгновение, как промелькнувшее воспоминание о светлом, всемогущем существе человека, — и раб в один миг освобождается и других освобождает от подневольной работы. Но тут же этот освобожденный и обогатевший презрительно говорит своему бедному соседу: *«Дураков работа любит»*. Человекоподобная обезьяна хитрая понимает, что все дело тут в светлой и редкой минуте воспоминания человека о себе самом: *«Дайте мне время, — говорит обезьяна, — и я со ступеньки на ступеньку доберусь до человека и буду как человек, время и труд все перетрут»*. Проходит век за веком, и вот уже пишут историю происхождения человека от обезьяны, и маленький мальчик с восторгом прибегает из школы — великую радостную новость узнал: человек происходит от обезьяны. И так человек стал рабом умственно численному существу обезьяны.

— И я раб обезьяний, раб, ожидающий воскресения себя из числа.

V

КАЗЕННЫЙ СУНДУК

Стук-стук! — опять синичка в окно, просит тепла и уюта маленькое изящное существо, ей бы плюшу зеленого на юбочку, черный бантик на шею, два-три танца выучить на клавиринах и несколько необходимых слов по-французски.

Стук-стук! — по-настоящему.

Входит Ариша учить французский язык. Трудно заставить дикую девушку спрягать в прошедшем времени

неприлично звучащий по-русски французский глагол *потерять*.

Ариша шалью покрывается и там умирает.

Выкажет нос из-под шали.

— Я потеряла.

— Это по-русски, а по-французски?

— По-французски — не знаю.

— Ну так будем заниматься по-русски.

Начинается охота за именами. Есть и теперь перекрестки дорог, где Ариша скажет, не понимая почему, *чур меня*, ей нужно объяснить, что так она вспоминает своего далекого родоначальника *щура*, или *пращура*, что она и теперь живет интересами своего рода, раскиданного по разным деревням, имена деревень ее рода таят в себе миф, быль и сказ: в Яриловке почитали бога Ярилу, Волочок был когда-то местом, где славяне волоком тащили свои суда, Кудеяровка была станом Кудеяра-разбойника. Не просто даются имена и животным, и растениям, все обживается и очеловечивается, даже всякий камень обжитый имеет свое отдельное имя. Скажешь имя, и животное выходит из стада, а что из стада пришло, то имеет лицо отдельное, оттого что его вызвала из стада человеческая сила *любви раз-личающей*, заложенная в имени. Будем же записывать имена деревень, животных, ручьев, камней, трав и под каждым именем писать миф, быль и сказ, песенку, и над всеми земными именами поставим святое имя богородицы: это она прядет пряжу на всех зайцев, лисиц и кунит. Все это нужно нам, чтобы не стать обезьянами и вызвать в себе силу на борьбу с ней. Эта сила у солнца называется светом, и свет солнца в душе человека есть *любовь раз-личающая*. В согласии с солнцем, с любовью и светом мы можем войти так в природу, что возле муравейника скажем имя знакомого, и тот муравей отложит дела и на минуточку выбежит поздороваться.

— Ну, что, Ариша, разве это не лучше «хранцузского»?

Но трудно в одиночестве бороться с силой французского, и, видно, так уже заложено в душу, что нужно оторваться и поблудить во французском, чтобы вернуться на свою святую родину.

В классе, на миру, дело идет много успешнее. Там пишется одно сочинение, «*Чистик — мать великой русской реки*», каждый избрал свое любимое имя и пишет о нем свой сказ, после все эти свободные капли сольются и река побежит.

И тогда весной, когда высоко поднимутся травы, украшенные изображением солнца, мы встретим мир природы новым и прекрасным и, как первые люди в раю, будем давать любимым животным, растениям, камням свои имена.

Есть ли на свете дело лучше учителя в школе?

Глаза, как звезды, горят в ожидании слова. Есть застенчивые, любопытные и от слова, ширясь, выходят, светят и чуть-чуть дрожат. Есть твердые, ничем не собьешь, стоят на своем и светят почтительно. И такие, что чуть что — отскочат и светят с задней скамейки лукаво, а то и вовсе потухнут. Но учителю не за ними надо следить, а за своими словами: сила слова убyla, значит, где-то потухла звезда, скорей туда, ищи — где? — вон там! — и туда, в эти глаза лукавые, говори, смейся, удивляй, пока там снова не вспыхнет звезда.

Да, если бы у нас мало-мальски было согласие, то каждый за великое счастье считал бы добровольно пробывать хоть один год учителем, на всю жизнь в черной беде это дело будет гореть ему святой путеводной звездой.

Так думает Алпатов, возвращаясь к себе наверх из школы по лестнице с огромной вязанкой дров на спине. А дома, беседуя с бабушкой, его дожидается богатая баба: слышала, здесь продается ротонда. Увидела учителя с вязанкой дров, и ах! — тужить, кого-то бранить, что вот до чего довели, учитель, и сам носит дрова. Неискренняя богатая баба: хорошо еще, если ей все равно, а скорее всего ей приятно, что она богатая так сидит, а образованный носит дрова. Но самому учителю даже и в голову не приходило подумать, что дрова носить ему нехорошо. Хлопнув вязанку возле печки, он надевает ротонду своей покойной сестры, хвалит воротник и особенно цвет:

— Бордо.

Предлагает музейный лорнет и усаживает в мягкое зеленое кресло.

Обезьянка, смеясь, смотрит в лорнет на бордо.

— Кровяный цвет, нет ли другого?

— Кровяный в моде.

— Я ищу небного цвета ротонду.

— Голубого нет.

Нет! Вот сундук она бы взяла.

— Казенный сундук.

— Пустой стоит, не записан?

— Мало ли что: казенный.

Дает три пуда муки или пуд сала, на прибавку *дичь*.

— Какую дичь?

— Гуся.

О, боже мой, как хочется гуся!

Дрянь сундук, не нужен музею, и сколько он этого хламу выбрасывал в коридор на общее расхищение, а сундук продать нельзя, в него засел принцип *казенный*. Все крестьяне зарятся на этот сундук, он повсюду известен, и продай его, он, Алпатов, будет в согласии со всей лесной обезьяной. Но нельзя быть согласным с русской лесной обезьяной. Идейная обезьяна та понимает внешнюю сторону и достигает идеала своей работой, изменяет, подчищает, сортирует, вычисляет и небольшую хотя сумму отпускает на дело истинного творчества жизни, сознавая все-таки, что она — обезьяна, и доходит до жизни, но не она творит жизнь. А лесная психологическая обезьяна так схватывает сущность творческого человека: тот не работает мускульно, а только пишет на белой бумаге, читает, учит, и ей кажется это очень легко и приятно.

Отчего это? Оттого, что она живет стаяй в своем лесу и эта стая называется ложно община, мир, как ложно этой же стаяй понимается слово «коммуна» не как собор, а как легион. В стае работают все горбом, носят, возят все на себе, тут не признают машины, выдумки, мерой творческого процесса считают пуд муки, добытый обреченностью на бытие, где телушка много дороже ребенка, где праздник, если отелится корова телушкой, и горе, если женщина родит девочку. Тут добывается пуд, страшный, как смерть, оттого что все, кроме этого пуда, считается *хитростью*.

Во вшивом поезде, несущем заразу и смерть, пуд едет по всей Руси и определяет собой все бытие, и это бытие — зараза и смерть животная. Из-под чугунной тяжести веков вырвался этот пуд на один какой-то миг и только для того, чтобы опозорить крест человека: пуд обращается в бархат, в ротонду, в шкаф величиной в пол-избы. И этот же пуд обращает коммуно-собор в легион.

Оказывается, что в конце концов психологическая обезьяна презирает работу и, если ей дать волю, человек покроется шерстью. Сознание полное, что психологическая обезьяна учителю страшнее идейной, но почему же так тянет неудержимо, назло идейной, продать родной обезьяне казенный сундук? «Возьму и продам!» — и уже хочет бежать по лестнице догонять обезьяну, и в голове уже план сложился запросить на прибавку второго хотя бы небольшого гуся, и если гуся не даст, утку или, может быть,

курицу. Поймав себя на курице, Алпатов вслух сказал: «Проклятый сундук!» — и топором принялся рубить его, выбирая драгоценные гвозди, и дерево, отлично сухое и березовое, драть на лучину.

И, раздирая лучину, он отпускает грехи всем русским вора́м: они не знают, что делают.

Стало вольно, будто поел, в одну минуту из липы, как живой, вышел Фомкин брат, в темя ему три гвоздя, и получается прекрасный подстав для лучины: светец.

Смеркается. Музейные звери погружаются в мрак, голова козочки исчезла над книжной полкой, зевнул, исчезая, волчище, медведь насупился, и живой ежик в ожидании восхода луны — свет лучины ему луной представляется — шевельнулся в углу под газетой.

Время огонь вырубать куском подпилка из яшмовой ручки печати. От искры тлеет фитиль, теперь дуть на угли, разжигать их, пока во рту не запахнет копченым сигом, и последнее — к горящим углям приставить тончайшую лучину, подуть с силой и *вздуть* огонь. Крошечный огонек из пузырька от карболовой кислоты, — *по козе канун*, называет его бабушка, — светит временно, пока не разгорится лучина, воткнутая в голову болвана, Фомкина брата. Остается поставить тарелку с водой для падающих от лучины углей, и вот — бездомный в вечном движении, с горящим факелом на голове из разбитого казенного сундука, неколебимо стоит Персук-болван, Фомкин брат, освеща́я жизнь нового Робинзона Крузо на каком-то необитаемом людьми цивилизованном острове.

Быть может, и он, Робинзон, когда-то бежал неудержимо вперед, как Персук, но корабль разбился, и на диком острове есть одно только желание: вернуться к берегу святой своей родины.

После немецкого урока за постное масло Коле, комиссарову сыну, Алпатов мечтает, что переживет трудное время на своем острове, выдолбит себе к весне лодочку и на ней пустится к людям, рассказывать о своих необыкновенных приключениях в девятнадцатом году XX века. В это время ежик из-под газеты увидел луну, — свет лучины ежику луной представляется, — он бежит к своему озеру напиться воды, а озеро это чайное блюдечко, потом катится, потутукивая и пофыркивая на туман, выходящий из трубки Хозяина, тут возле от века неподвижных деревьев — ног Хозяина лежит много сухой листвы для гнезда, и, с трудом приладившись, ежик тащит целую газету в гнездо.

Так вот и Ариша тащит себе в гнездо французский язык, Коля комиссаров — немецкий, богатая баба — ротонду нёбного цвета, и всякий цивилизованный человек творения культурные себе на пользу в гнездо, не воображая себе, что этот собираемый ими человек может зашевелиться, и они вмиг разбегутся.

Двинул ногами — деревья пошли! Ежик свернулся, заключился, страшно фыркая, будто началось светопре-ставление.

— Батюшки! — всплеснула руками старушка, узнавая в лучине казенный сундук. — Что же ты наделал!

— Сундук не нужен.

— За него бы нам дали три пуда.

— Нельзя же продавать казенный сундук.

— Отчего же нельзя, если не нужен?

— Оттого, что казенный сундук можно разбить, но не продать.

— Совсем ты, батюшка, одурел тут в музее, оглянись, посмотри на себя, до чего ты дошел, ведь хуже маленького стал, сундук на лучину разбил.

— Бабушка, остановитесь.

— Нет, внучек, не останавлиюсь, что же ты думаешь, что я машина, взял да остановил, нет, я тебе не машина, у меня тоже душа живая и болит: зарос, как медведь, ну на что ты похож!

«Шерсть как будто, правда, начинает расти», — думает Алпатов и вспоминает, как он завел себе поросенка и он от голоду весь пошел в шерсть и щетину.

— Нет, батюшка, не останавлиюсь, не на такую напал.

— Не нападаю я на вас, вы сами на меня нападаете.

— Зачем же ты разбил сундук, его люди наживали, хранили, а ты — на вот! — и разбил, что же это, мало тебе березы, взял бы полено, положил на печь, подсушил.

— Ради бога, остановитесь, мне нужно тетрадки поправлять.

— А на что их поправлять, какая от этого польза?

Алпатов молчит и обдумывает, с какой стороны взять бабушку и обмануть. Есть две линии, житейская — сказать, что Кузьма сватается к Тане, или Кузьма женился на Тане, или Таня родила, а другая линия — показать в окошко на месяц, к чему это вышел такой большой месяц, или вот звезда блестит ярко, не к морозу ли? «И пора, — скажет, — пора, слякоть хуже всего». Глядишь, бабушка и обманулась.

Но в этот раз никакой подход и даже молитва бабушку не остановит, у нее от холодной воды пошли нарывы на пальцах, и старуха опасается, не точит ли ее *волосатик*. Ее точит *волосатик*, она точит внука, капель точит камень. С высоких деревьев падают капли на малые, с малых на кусты, с кустов на прелую листву, шепоток идет на весь лес, и безумно мчится заяц в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк подается к дорогам собак ловить.

VI ЧАН

Капля падает с мезонина на крышу и с крыши на камень, каждый раз с уколом выговаривая в душу бессонного: *«Я — маленький»*.

Все, что говорится на уроках, в будущем непременно так и станет, над всем черным хаосом восторжествует имя святое, и я мог бы даже верно начертать этот путь, но никто сейчас не будет меня слушать, время еще не пришло, и оттого остается это *я — маленький*, и каждая капля, падающая с мезонина на крышу, с крыши на камень, повторяет, мерно прокалывая, как иголкой, душу: *«Я — маленький»*.

— Если бы ты был большой, — говорит капель, — то спас бы весь этот черный, погибающий в обезьянстве люд.

— Если ты большой, сойди с креста, спаси себя и нас.

Вот ведь что выговаривает эта мерная капель, размывая годами камень под желобом.

Да, есть какая-то сила, более страшная, чем обыкновенный голод: тот разлагает тело, а эта капель и самый дух подтачивает, и все бегут с креста, и сам Христос висит на кресте бессильный и маленький.

— Если ты бог, спаси себя и нас, — говорит уже не разбойник один, а миллионы мертвых в гробах и мертвых в живых, накопившихся за две тысячи лет ожидания.

И все бегут с креста, одни бунтуя и бесчинствуя, другие просто забываясь в хозяйстве: кто заводит свинью, кто корову, кто копается весь день в огороде, лишь бы не думать. И, может, хорошо еще, что есть голод, он спасает от думы, умиряет и оттягивает время. Даже Алпатову голод подсказал эту мысль о волках: теперь всюду развелось много волков, крестьяне ежедневно лишаются много скота,

и если заняться этим делом, бить волков, то, наверно, за это хорошо будут платить, и не нужно будет заниматься по-немецки за ворованное постное масло. Сразу капель, как болезнь, отошла, и когда он вышел из дому для волчьей разведки, то и дурной погоды не было, она осталась в комнате: дурной погоды не бывает в природе, ее выдумали дачники.

Ночной путь в чистик провешен от одной знакомой березы до другой на угол канав, прямо к зарослям, и тут Алпатов воет по-волчьи. Несмело отзывается матерый укрепился, завыли персярки, прибылые, и все болото воет осенью под черным небом.

О, господи, жуть голодная, и как сносит ее человек, и как шерсть не растет у него, как у волка, от голода и не уходят в мягкую шерсть и острые зубы вся мысль его и надежда.

Шарахнулась стреноженная лошадь и запрыгала куда-то, может быть, прямо в зубы волкам. Хозяин ее Фомка, разведчик армии бандитов *барона Кыш*, перед этим учуял запах дымка и, зная, в чем тут <дело>, оставил ее понастись, а сам идет все по ручью. Вот огонек показался, и в зареве там люди мелькают, хлопочут о чем-то. Фомка вынимает из-за пояса топор и стучит им о пень, будто рубит жердь. Там слышали самогонщики и говорят тихонечко между собой:

— Кого-то бог посылает?

В такую-то осеннюю ночь и в зарослях чистика кто станет искать самогонщиков, разве только враг ведет комиссара, но врагов теперь нет у мельника Азара, и враг не подходит со стуком. Тут собрались: Азар с волчьей мельницы — по случаю крестин стотовил завар в три пуда; гонит Чугунок, его вся посуда, и знание дела, и хлопоты, тут же помогают три музыканта: гармонист, балалайка и скрипка; Илюха — солдат императорской гвардии и австриец Стефан, работник на мельнице, печальный и такой несчастный, что даже собственное имя его Стефан не держится, и все зовут его почему-то из жалости Яшею. Крестины будут веселые, с музыкантами, и поутру, бог даст, Азар выпьет в лесу и прямо музыку пустит — ему бояться нечего, мельник, все начальники давно куплены.

Кто же это может теперь подходить?

Случай такой был:

— Показался человек на болоте, маячит и маячит во мхах, и там есть одна-единственная сосенка, подходит

к ней, наклоняется, копает, взваливает на плечи мешок и опять замаячил, а под сосной яма осталась, ну, что это?

Азар знает, что это:

— Барон Кыш, это он за пищей ходил. Там у него есть остров верст на восемьдесят вокруг в болотах, разные ямы, мужики носят пищу в ямы, у него есть лозунг с мужиками на пути демократическом и прогрессивном.

— Так не барон ли и теперь к нам является?

— И очень просто, слышь, опять постукивает.

— Ну, барон так не ходит, тот сразу раздвинет кусты: «Наливайте!» — выпьет стакан, другой и: «Прощайте, кланяется вам барон Кыш!»

Все спорят между собой; одни, что Кыш настоящий барон, другие, что Кыш из нашего брата, третьи, что Кыш — есть звук и притча. Верно знает только Азар:

— Категорически заявляю, барон Кыш попов сын и ученый человек, семинарию кончил, а в консистории ему отказали. «Ладно, — говорит, — коли вы меня не принимаете, я отцовскую хитрость разовую на пути демократическом и прогрессивном для бедного человека». Вот кто барон Кыш.

— Ежели он на пути демократическом, — спросил гармонист, — то почему же он барон называется?

— Отчего тоже называется Князь Серебряный, какой он князь, такой же мужик, как и мы, жил недалеко на хуторе, захотел воли и стал князь. Так и Кыш, любитель в карты играть, когда выиграет, говорит: «Я теперь барон», — а проиграет: «Кшш...» И стал барон Кыш, значит, страх; «Кшш, вороны!» — крикнет, красные разбегутся, он заберет, что ему нужно, и — кони какие у него! — летит через изгороди, через канавы, как по ровной дороге, у леса остановился, шапку снял. и до свиданья.

Так беседуют между собой самогонщики, а топорик все ближе и ближе постукивает, вот и человек показался, и видит он огонь и людей, а все будто не видит и жерди рубит, так уж всегда полагается подходить к чужому вину.

— Ладно, ладно, иди!

И вдруг это Фомка.

— Ай, ты жив?

— Жив.

И поднимает рубашку, а там против сердца рубец вершок шириной.

— Кто же это тебя так чкнул?

— Персюк, родной брат.

— Ну, Персук и отца родного чкнет.

— А думаешь, я его не чкну?

— Чкнешь и ты, а мы сидим, все дожидаемся, когда у вас дело кончится.

— Когда кончится? я отвечу вам: когда у нас не будет статуя.

— Какого статуя?

— Какого?

Вдруг в это время на манку отозвался матерый, прибылые, переярки, завыло болото, и Фомка бежит, улюлюкает, спасает коня.

Все дело испортил Алпатову.

— Стой, куда ты бежишь, чего ты орешь?

— Коня потерял.

— Вот твоя лошадь.

Устроив коня поближе к огню, Алпатов с Фомкой подошли к сапожникам, и учителю, редкому гостю, там очень обрадовались. Простой на разговоры с лесными своими предками. Алпатов тут же поделился своей затеей добывать себе пропитание волчьим делом, оттого что в школе пайка не дают <...>

Азар сказал:

— Категорически вам сочувствую, потому что взять вам нечего, и мысль ваша правильная, волков бить необходимо, дело очень полезное.

Гармонист:

— Волки одолели деревню, через Полом дорога стала вовсе непроезжая.

Скрипач:

— И через Кудеяровку.

Балалайка:

— А в Кудеяровке волки с гривами.

— Будет брехать,— оборвал Чугунок Балалайку,— волки обыкновенные, только вот что я вам скажу, был ли такой, кто от волков разживался?

— Не разжиться, а только бы просуществовать.

— И существовать от волков невозможно, я вам советую бросить учительство и поступить писарем в совхоз или колхоз.

Азар плюнул:

— Бросьте и совхозы, и колхозы, иди, брат, в темную.

— Куда же еще темнее, весь во тьме сижу.

— В темноте сидите, это я сочувствую вам, а сами смотрите светлыми очами на мир, вы сами идите в темную.

Фомка вмешался:

— Вы охотник, стрелок и учитель, вам самый правильный путь к нам: барон Кыш был тоже учителем.

— На что же вам нужен учитель?

— Образованный человек нужен на каждом месте, нам нужно статуя свалить.

— Красных?

— Ну да, и красных, и белых, бей всякого статуя.

— Другого назначат.

— Вы другого, он третьего.

— Чем же мы кончим?

— Кончим чем? Чтобы нет никого и никаких.

— Сидит же у вас барон Кыш?

— Кыш это звук, и я Кыш, и вы Кыш, это все звук: Кыш — и нет никого, и никаких.

Подумав про себя: «Новая запорожская сечь возвращается, как вернулась лучина, и при лучине вспомнили старинные песни».

Алпатов сказал:

— Это воля, я свое отгулял, мне бы хотелось свободы.

— Самая и есть наша свобода.

— Нет, свободный в законе живет, и ему нельзя убивать.

— Ну, отчего же нельзя, это вас не задевало, а дай-ка вас чкнут, как меня. — Фомка опять приподнял рубашку. — Вот как меня чкнул Персюк, родной брат, что же, мне его так оставить?

— Почему же не оставить, взять да отвернуться в другую сторону.

— Эх, брат, — вмешался снова Азар, — сам я был раньше охотником и светлыми очами глядел на мир, а вот теперь обсеменился и смотрю в темную. Подожди немного, вот только выпьем, и научу. Ну, за работу живее, Яша, тати воды.

Поставили на огонь котел и налили туда из бочки завар, на котел вверх дном насадили бочонок и примазали глиной. В дырочку дна вставили трубку и тоже примазали, а гнутый конец трубки, змеевик, опустили в бочку с холодной водой, выпустили вниз конец и сюда чайник подставили для собирания *жидкого хлеба*.

Устроились и сидят в ожидании, тихо между собою о былом беседуют ветераны великой войны Илюха, гвардеец, и Яша, австрийский солдат.

Илюха говорит:

— Ваши Сан переходят, я за деревом, и как только ваши на мост, я тюк! — в голову, и он брык! — в воду: семь голов насчитал, занятно!

— А помнишь, тут был аэроплан?

— Как же, наш забрал кверху и ну вашего поливать из пулемета, потом ваш забрал и нашего, и наш опять забрал, а ваш заковылял.

— Куда он упал, к нашим или вашим?

— Промеж наших и ваших.

— Вот какие друзья стали, — сказал Фомке Алпатов, — а ведь тоже убивали и были врагами.

— Врагов не было, — ответил Илья, — теперь только и поняли, кто наши враги.

— Кто?

— Известно кто: капиталисты.

Яша вздохнул:

— А какое государство-то было.

Илья:

— И все в прах!

Балалайка:

— Вдрызг!

Гармонист и скрипач:

— Вдрызг, в прах и распрах!

Чугунок задумался и с большим любопытством обернулся к учителю спросить, как все спрашивали друг друга на Руси в это смутное время, загадывая загадку о том, как и когда все это кончится.

— Погадать надо на картах, — ответил Алпатов.

— Что вы гадалкой бросаетесь, — схватился Азар, — вы думаете, гадалки не знают? Под Москвой есть одна Марфуша <...> Молот и серп вышел у Марфуши <...> Понимаете? А очень просто, ну-ка, бумажку, учитель, вот серп и молот, читайте: «Толомипрес».

— Что же это такое?

— То-ло-ми-прес.

— Понимаю, — сказал Алпатов.

— Ну, ну!

— Как при Навуходоносоре, рука написала на стене, и никто не мог понять, гадалка намекнула на конец Навуходоносора.

— Нет не то, вот как надо писать: «Молот серп», — читай теперь, как кончится.

— Престолом.

— Вот престолом и кончится.

— Значит, царем?

— Зачем царем, может быть, президентом.

— Гадалка же сказала: престолом.

С вожделием ответил Азар:

— А у президента, думаешь, престола нет, у президента, может быть, престол-то почище царского.

— По мне, — вырвался Фомка, — все единственно, царь, президент или брат мой Персюк — статуи.

— Надо же кому-нибудь управлять государством.

— Управляющий один должен быть — барон Кыш: «Кыш, вороны!» — и нет никого и никаких.

— Кыш! — сказал Чугунок. — Будто воздух не тот? Понюхали воздух из трубки.

— Скоро пойдет.

И все повеселели.

Сова просто летела и вдруг, заметив огонь, бочку, людей, ужасно шарахнулась.

— Рано! — сказали ей вслед. — Прилетай, когда побежит.

Развеселился Азар:

— А что вы думаете, животные не понимают, животные все понимают, лошадь пьяная бежит, корова прыгает, свинья повернется, поцелуется и ляжет — все это есть у них, как у нас.

— Где же ты пьяных свиней видал?

— Рогац, помнишь, злейший был мой враг. Я тогда в бане у себя самогонку варил. «Кидай все! — кричит. — Рогац комиссаров ведет!» Я живо распорядился: посуду в лес, завар свиньям. Приезжают — свиньи пляшут. Покосились гости на свиней и велят показывать. Туда-сюда, нет ничего. «А что же у тебя свиньи такие?» — «Это, — говорю, — ученые свиньи». — «Как ученые?» — «А вот смотрите». Свиньи шатаются, свиньи плачут, перед истинным богом говорю, на глазах слезы, и одна повалилась, другая рылом ее в зад поцеловала, и все полегли, как пленница. «Это, — говорю, — ученые свиньи: гости приехали — пляшут, радуются, гости уезжают, свиньи мои плачут». Вот вам про свиней, а как лошадь, корова, баран, можно сказать, всякая тварь, это было в другой раз.

— Стой, капнуло!

— Полегче огонь!

— Пошла!

Сливая весело в четверть чайник за чайником самый крепкий *первак*, Азар рассказывает:

— Это было в Полومه, за мельницей, у глухого ручья. Завар был на весь Исполком. Сидим тоже, как здесь, тихо беседуем. *Первак* прошел весь, *другак* начинается — и на тебе, здравствуйте! Рогач, подлец, тащит ко мне пять комиссаров. Старший комиссар, умнейший пес, велит мне строго: «Наливай стакан, наливай другой!» Дает один Рогачу, другой мне: «Пейте!» Зверями лютыми посмотрели мы, а выпить выпили. Теперь велит: «Миритесь!» — «Не желаем!» — «Пейте по другому!» Выпили по другому. «Миритесь!» — «Издохну, — отвечаю, — а не помирюсь!» И Рогач тоже говорит: «Издохну, а не помирюсь». — «Ну, так издыхайте, пейте по третьему». И так у нас шло до пятого; как выпили мы по пятому, глянули в морды. «Друг мой любезный, братец мой родимый!» — и целоваться и обниматься. «Ну, — говорю, — судьи праведные, за прогрессивную жизнь катать весь завар». И пили мы тут за жизнь прогрессивную и за демократическую и за поповскую хитрость. Было тут великое ликование, весь Полум гудел. Землемер приехал на лошади с астрольбией. Пил землемер, и лошадь его пила, и астрольбия, корова пила и баран пил, и лег пастух рядом с бараном. Не помню уж, сколько времени была тишина, голову подымаю, и баран с другого конца подымает и так умненько на меня смотрит, а все лежат, как сила побитая.

Кончив рассказ, хозяин первый стакан пригубил, перебрал губой, собрал дух в одну точку и, туда, внутрь, заглянув своим глазом, уверился, осушил, сморщился, зашипел, будто двенадцать змей проглотил, потом плюнул, крикнул и, просияв, сказал:

— Хороша!

Не первый уже раз пробовал Алпатов этот ужасный напиток, но все-таки страх охватывал его перед каждым стаканом: это не рюмка водки, это большой чайный стакан такого вонючего спирта, что, кажется, лес далеко вокруг пахнет внутренностью волостного комиссара, и этот стакан выпивается при общем напряженном внимании, отмечающем всякую подробность лица. Кажется, свергаешься в огромный кипящий чан, заваренный богом черного передела русской земли. В том чану вертятся и крутятся черные люди со всем своим скарбом вонючим и грязным, не разуваясь, не раздеваясь, с портянками, штанинами, там лапоть, там юбка, там хвост, там рога, и черт, и бык,

и мужик, и баба варит ребенка своего в чугуне, и мальчик целится отцу своему прямо в висок, и все это называется мир.

Рассудить, кажется, просто: не из-за чего кипеть в одном котле, разойтись на отдельную жизнь, и всем будет хорошо. Рассудить — так просто все кажется, а спросись тут у самой богородицы в судьи, спустишь с архангелом по веревочке в варево — ничего не выйдет: баба, оказывается, не сама посадила в чугунок ребеночка, а это черт ее надоумил; боже сохрани, да разве она не мать дитю своему, а черт и не отказывается, на то он черт, а бык просто ревет, с быка взять нечего, и свидетели все в один голос посоветуют *одалиться* и не упреждать времена, придет час божий и все осветит.

Всякий суд отстраняется, все крутится и орет от злости и боли, жара и холода, вдруг на одну только минуту отдышка, и все это вместе — и бык, и черт, и мужик, и баба вылезают на край чана под солнышко, наскоро обтираются, обсушиваются, закусывают, закуривают и благодарят Создателя за дивную его премудрость на земле, на небе и на водах. Безделицу тут им покажи, какую-нибудь зажигалку чикни, и сколько тут будет удивления, неожиданных мыслей, слов, тут же рожденных, веселья самого искреннего, задушевного, пока старший не крикнет: «Ребята, в чан!» «Стой!» — где-то услышишь один голос в многомиллионном пароде — и все опять завертится, только голос соседа услышишь в утешение: «Это, брат, безобидно, всем одинаково».

— Ну, как? — спросил Азар.

— Хороша! — ответил Алпатов, брызнув остатки спирта из стакана в огонь. Синее пламя вспыхнуло и свидетельствовало, что сын народа причастился его горькой и подчас веселой судьбе.

— Я, брат, научу тебя теперь, потому как взять тебе нечего, и я сочувствую, сундук этот пустой я сам за три пуда возьму.

— Нет, сундук не продам, нет ли какого другого пути?

— Другого? — подумал Азар, — есть и другой, вот бородавки отчего-то пошли у коров на сиськах, человек ты ученый, заговоры тебе все известны, записочку бабе дашь, она тебя с удовольствием ублаготворит.

«Я как будто чувствую себя виноватым перед ними, — думал Алпатов, отходя от костра, — будто извиняюсь, живя с ворами, за свою честность, что не могу нашептывать

заговоры от коровьих бородавок, продавать казенное добро».

Что-то хрустнуло у него под ногами. Неужели первый мороз? Опять хрустнуло — болотные мелкие лужи схвачены. Небо лунело на востоке перед рассветом. Далеко в полях шальная деревенская гончая затыкала по зайцу.

«А как же другие, — продолжал размышлять Алпатов, все подвигаясь к тому месту, где ночью отзывались волки, — как они гордятся своей честностью и чистотой?» Пересмотрев эти знакомые лица, Алпатов сказал: «У них добродушный ум и неумное сердце, а моя виноватость от страха испить до конца всю эту чашу мирскую».

Лай гончей все приближался. Небо оказалось при рассвете покрытым двойными сердитыми снегоносными облаками, верхние стояли, нижние очень быстро неслись.

На холме показался русак. Алпатов присел за куст можжевельника и думал, что русак теперь отъелся на зеленях, его можно изжарить на своем жиру или променять у Цейтлина фунтов на пять муки. Заяц, не добежав к охотнику, скинулся, еще раз скинулся и глухо залег в другом кусту можжевельника. Скоро показалась и гончая, она не сбилась на сметках, но вдруг оборвала свой гончий лай, поджала хвост — волка учуяла, он тоже за третьим кустом можжевельника прилег и дожидался собаки, как охотник зайца. Вдруг, как мяч, выскочил заяц, гончая не выдержала, кинулась, и за ней кинулся волк, огромный волчище на сажень подпрыгнул после выстрела, грохнулся, дергая задними ногами, будто все еще во весь дух неся за лающей по зайцу собакой.

Теперь кажется Алпатову, что он нашел свое счастье, теперь он будет постоянно заниматься волками, как делом, и ему не нужно будет давать ненавистные уроки за постное масло, продавать казенные сундуки и заговаривать бородавки коровам.

Через оранжевые, быстро бегущие облака солнце золотит верхушки берез недалекого холма — еще не все березки отряхнули свои золотые листочки, есть еще золото в лесу и на нашу долю! И не понимает охотник от счастья, что просил его убить волка тот, у которого он зарезал скотину, а все, у кого благополучно, не будут платить за несчастного, поговорят на сходе, пообещаются, и непременно еще тут вывернется какой-нибудь хромой и поведет свой голос к тому, что нельзя ли шкуру волка отобрать в пользу общества, а то ведь на крестьянской земле убит

волк. Не понимает охотник, что ему надо поймать в капкан самую лютую волчицу — истребительницу, известную всем, принести ухо на сход, и — вот вам ухо, давайте муку, а то выпущу. Не знает охотник, что сегодня же на крестинах Азар от всего сердца будет уговаривать его продать казенный сундук и что дочка его Ариша, урвавшись в кладовую, отрежет ему кусочек сала и с пирогом потихоньку уложит в карман пальто.

Так будет скоро, но сейчас восходит полужимнее солнце, желтое, быстро бегущие облака открывают там и тут просвет лучам; вот тень закрыла березы на первом холме, но зато открылась золотая гряда на другом, и эта скоро потемнела, зато зимней спячкой засыпающий Пан открыл свои голубые глаза, и через них дальше явилась волшебная полянка, и одна золотая березка несмело отошла от своих вперед на поляну и расстилает навстречу морозу белые холсты на лугу.

VII

КИСЛАЯ КАПУСТА

Солнце встает теперь в морозной хмари, иногда бледное, как луна, мхи с налитыми в них лужами застылой воды сверкают, как сотни окон, на березах показались *ведьмины метлы*, и на опушки стаями вылетают из леса краснобровые черные птицы. Иногда порхнет снежок, вот-вот ляжет зима, вот-вот станет река, но это все еще *зазимок*, враз потеплеет, и живая земля, как старуха, вслух говорит: «Поскорей бы господь прибрал», — а втайне дорожит каждым днем.

Хуже всего, когда ветер дует по холодной, стылой земле и мчит пыль, и солнце через быстро бегущие облака желтым глазом смущенно заглянет, как будто робея встретиться со злющей своей старухой землей.

Ворчит бабушка день и ночь на своего внука, что завез ее на холод и голод, что мальчишки в колонии стали безбожники и что от голой картошки у них животы, как барабаны, и вот не сегодня-завтра ляжет зима, а у них нет ничего, ни хлеба, ни картошки, ни бураков, ни молока, и соль даже вышла, нет ни синь-ро́синки.

— Живут же люди!

— А ты посмотри на людей, как Василий Семеныч живет, как Архип Василич, посмотри получше, а потом говори.

Смотрел Алпатов на товарищей школьных работников и не завидовал, как будто им, тоже распятым, представился

случай удрать с креста, они поколебались немного и, не говоря худого слова, втихомолку бежали, другой так-то улепетывает босиком по осенней дороге.

— Куда это вы так спешите, Василий Семеныч?

— Некогда, батюшка, позанимайтесь, ради бога, мой час. белые мухи летят, а у меня картошка в поле застряла.

Вот еще один на ходу.

— Вы куда?

— Капусту солить.

— А вы?

— Лен трепать.

И сам Опенков Михаил Алексеевич, такой почтенный человек, бывший когда-то инспектором народных училищ, тоже куда-то бежит.

— Куда вы, Михаил Алексеич?

— Корову искать, вы по лесам ходите, не встречали мою корову?

— Придет корова.

— Придет, я сам думаю, да боюсь опоздать к поезду, еду на юг, жена больна.

— Так неужели вы на юг и корову берете?

— Корова же и едет на юг, я достал вагон и мандат на корову, а мы с женой едем проводниками, иначе не дают: шкрабы все мобилизованы по ликвидации безграмотности.

И убегает в лес корову искать. Едет при корове, — как в крестьянском хозяйстве, животные прежде всего и люди как бы вечные проводники при животных.

Так и нужно все понимать, нас всех проглатывает стомиллионный чан крестьянского чересполосья, мы все летим в этот чан, фабрики, равенство, наука, социализм; деревня — вулкан, заливающий лавой все виноградники, после чего стройтесь по линии все голые и вновь начинайте свой бег!

Старый бородатый бурсак Архип Василич на четырех ногах и с конским хвостом, как жеребец, летит.

— Куда, куда?

— Волну чесать, позанимайтесь мой час, у вас нет хозяйства, а я спешу: лен трепать, волну чесать.

Вот и еще кричит:

— Как куда? осень: цыплят считать!

И все до одного просят позаниматься за них, без всякого даже раздумья и смущенья заявляя, что чечевичная похлебка им выше первенства.

Бесхозяйственный Алпатов идет на урок и раздумы-

взет: «Ох, если бы не это первенство, стал бы я хлебать чечевичную похлебку, я бы в комиссары заделался, а лучше бы всего к барону Кыш, чтобы нет никого и никаких. Хорошо это сказать «волну чесать», а у самого одна овечка, и только ему одному едва хватит на валенки, и он думает только о собственных валенках.

Отчего это <...> все стали такими самоедами, что и шерстинки не останется у Архипа Василича от собственных валенок, как будто у бога и людей работа раньше была по очереди: бог спит, все молча работают для себя и, наработавшись, засыпают, тогда бог просыпается и забытое на полях для всех собирает. Теперь бог и человек вместе сошлись на работе, и где ему, старому, со всей оравой управиться, он растерялся и только трубит, а люди все тащат, ломают, дергают, мнут и, напротив другим, еле-еле только себе заготовят».

И еще думал Алпатов, глядя на шкрабов:

«Почему-то раньше любили все есть вместе, какое это удовольствие было собраться вместе за едой лицом к лицу, за столом, покрытым непременно белой скатертью, поесть вместе, поблагодарить хозяина и потом очень осторожно, — боже сохрани, чтобы кто не заметил незастегнутую пуговицу, — в одиночку освободиться от переваренной пищи. Теперь, напротив, освобождаются от пищи все вместе, а едят тайно, в одиночку, стыдно в дом войти, где обедают, переконфузятся и гости, и хозяева, будто в отхожем месте встретились».

Как завидовать такому хозяйству, как подчиниться такому небывалому даже в природе закону самосохранения: и там, в природе, подбор идет не на расширение тела, звери и птицы мельчают, по умнеют, и не тем драчунам на току достается тетерка, ожидающая хоть кого-нибудь, а тому, кто догадался об этом и под шумок нырнул к ней в кусты; так и он, казалось Алпатову, не для кого-нибудь, а просто для самосохранения, сидит по три, по четыре часа над книгами для одного часового урока и хочет переработать навязанное и чуждое ему учительство в интересное и свое собственное дело. Но если за счет этого своего первенства отдаться хозяйству, то лучше просто погибнуть, как многие погибли уже на своем посту, подавая тонущим сигналы спасения.

«Прикосновенность к свободе есть и прикосновенность к страданию, но только душу свободную очищает страдание, и нельзя сказать, как говорят, что страдание

очищает душу, скорее обыкновенную душу оно убивает, да, их убивает страдание, оттого что они рабы прирожденные обезьяньего мира».

Напрасно Алпатов пробовал на собраниях заводить речь о предметах, далеких от «жизни» и близких к учению, — стеклянными глазами его слушали подавленные люди и думали: «Лучше бы ты, брат, занялся картошкой».

Но как же и без картошки зиму прожить? Жалеют отдельные родители, приносят кое-что, но вся-то стихия народно-мужичья выблюнула шкраба из себя, как постороннее тело, пока-то поймут, что это не прежнее враждебное народному творчеству дело, а согласное и очистительное, как святая вода. И разве это скоро докажешь, питаюсь ежедневно случайной подачкой?

— Что же вы дремлете, — сказали Алпатову, — у кого нет своего огорода в деревне, в городе кислую капусту выдают.

— Едва ли, — ответил Алпатов, — только резинку протрешь и классы пропустишь.

— Классы, классы, тут надо жизнь спасать, спешите скорей, Понтюшкин уже получил.

Понтюшкин тоже бесхозяйственный шкраб, и если он получил, надо спешить.

За двадцать верст сокращенными лесными тропинками шагает учитель в город за кислой капустой, и довольно-таки бодро идет. оттого что при последней нужде мысль о кислой капусте, — в особенности, если на случай рассчитывать, как это бывает, фунт керосина дадут, или стакан сахара, или фунтов десять овса, — приятная мысль.

«В этом есть что-то живительное; верно, если этим заняться вплотную, то даже интересно будет, а уж со стороны только увидят, что понизился, на этом, верно, все шкрабы и попадают».

Странный пейзаж в лесу на время перебил ход его мыслей: среди леса открылась ляда с удивительно густыми свежими всходами озими, и было тут же на зелени много черных гниющих пней и, как это зачем-то почти всегда бывает на лядях, отдельные деревья, искривленные от прежнего тесного лесного соседства, погнутые ветром, одинокие, с облетевшей листвой, и такие ненужные, казалось, и лесу, и озими.

Что-то близкое себе в этих деревьях узнал Алпатов, и ему захотелось непременно узнать, для чего всегда оставляются на лядях высокие деревья.

Неподалеку от ляды в лесу возился с дровами, видимо, очень больной старик с повязанной головой, весь похожий на Лазаря, только что выходящего на свет из могилы, возле него была буланая лошадь и тоже больная, с большими черными пятнами вокруг глаз, все больное и все болит, куда ни взглянет воскресший Лазарь: и лошадь его, и дрова, и топоришко, и тележонка, и небо, и земля — все болит, и умирающий Пан закрывает навеки свои голубые глаза.

Могильным голосом ответил старик:

— Деревья оставляются на случай, вокруг леса вырубают, земля наша худая, ляду, может быть, придется бросить и опять оставить под лес, так вот для обсеменения земли оставляют на ляде деревья. А вы сколь далече идете?

— В город за кислой капустой.

— Повезли, повезли, много наемднн капусты везли. Хорошее дело, запасайтесь. Путь вам счастливый, а деревья оставляются для обсеменения, и больше ничего.

Мысли о высоких деревьях на случай при озими для обсеменения запущенной земли хватило Алпатову до самого города, до открытых дверей ПРОДКОМА, куда всегда валом валит народ, не обтирая ног, и оттого с улицы сюда переход незаметный, из грязи в грязь, прямо в хвост.

— Тут выдают кислую капусту?

— Кому как, вы кто будете?

— Школьный работник.

— Шкрабам, кажется, не выдают.

— Будет врать, наемднн Понтюшкин получил.

— Ну, так получите.

— Не зевай, не зевай, подходи! — толкают Алпатова.

А подходить-то и страшно: завседующий отделом кислой капусты раньше был дьяконом, вдруг в пьяном виде разодрал на себе рясу, про это в газете написали, прославили, дьякон стал революционером, обрился лет под сорок, напялил на себя френч, штаны галифе — страшно смотреть стало на прежнего дьякона.

— Шкраб? — спросил дьякон.

— Школьный работник.

— Городской?

— Сельский.

— Сельским шкрабам капуста не выдается.

— Вот удостоверение: у меня нет огорода.

— Сельским шкрабам капуста не выдается.

— А как же Понтюшкин получил?

— Сельским шкрабам капуста не выдается.

И потом в хвосте разговор сочувственный:

— Ну вот, я же вам говорил, что шкрабам капуста не выдается.

— А как же Понтюшкин?

— Мало ли что, Понтюшкин, может, бутылку самогонки принес.

— Какая у того самогонка!

— Да вы не жалеете, скверная капуста, с водой и вонючая, попробуйте, может, овса дадут.

«Врут все, — подумал Алпатов, — зачем-то утешают», — но ему нравилась эта черта в народе, когда почему-то иногда возникает сочувствие и всем миром, кто как может, начинают ободрять и поднимать, — нужно попробовать достать бумагу на кислую капусту в отделе народного образования. И пошел туда, сокращая путь, в калитку одного полуразрушенного постоем войск дома через пустырь.

— Мусье! Пожалуйста, затворите калитку, — крикнула ему с другого конца пустыря от выходной калитки известная всем тут бывшая помещица, пасущая теперь тут двух своих коз.

— Мадам! — просила она, когда Алпатов был на середине пустыря.

— Мусье! — когда он был у выходной калитки.

И потом каждому, кто затворял калитку и достигал ее:

— Мерси!

И так весь день без всякого раздражения просит, смотрит за козами и притом еще вяжет чулки для кого-то.

«Наверно, своим маленьким внукам», — подумал Алпатов и заглянул в лицо старой женщины: лицо было бодрое, человека, вполне занятого и в чем-то уверенного.

— Богатая была? — спросил Алпатов какого-то *мусье* с перевязанной окровавленной тряпкой ладонью.

— И какая еще! — ответил *мусье*. — А вот, смотрите, со всеми ласково, вежливо обходится.

— Что же это у вас такое? — спросил Алпатов, указывая на руку.

— Дверью палец раздавили: был на железной дороге, весь день не ел, постучался к будочнику, не поставит ли, как раньше бывало, самовар. А он дверь отворил, раз! — меня в грудь кулаком и хлоп дверью: палец и раздавил. И откуда это злость такая?

— Ну, не все же злы, вот видите: не зла же эта старая женщина.

— Это редкость, а так все злы.

— На кого же?

— Да, на кого же? Где тут причина? — с большим интересом, просясь на долгий душевный разговор, спросил раненый.

Но Алпатов уже был у дверей своего отдела и, простившись, пошел туда. Заведующий Семен Демьяныч, рабочий московской фабрики, старейший коммунист, любил с Алпатовым поговорить и пожаловаться на воров, на саботажников и особенно на примазавшихся интеллигентов, ненавистных и Алпатову <...>. Узнав про кислую капусту, Семен Демьяныч выругал дьякона, дал бумагу в продком на полпуда капусты, а печать за разговорами поставить забыл.

— Без печати выдать никак невозможно! — сказали в продкоме.

Опять, усталому и голодному, пришлось возвращаться назад, а когда пришел в НАРОБРАЗ, Семен Демьяныч ушел в УКОМПАРТ.

«Разве жалование получить, все-таки хватит на две восьмушки махорки».

В очереди стояли оборванные шкрабы, городские и сельские, некоторые в лаптях, один даже на босу ногу, все с любопытством разглядывали афишу о публичном диспуте в городском саду на тему необыкновенную: о бессмертии души. Один застрявший в глуши богоискатель выдумал это сделать по примеру Англии, как у Джемса, в пику официальному материализму, с голосованием.

В очереди говорили:

— Чудак, он думает таким способом что-то сделать.

— Забьют.

— Ну еще бы, и пикнуть не дадут.

— Неужели не постоят за бессмертие души? — спросил Алпатов.

— А кому какое дело теперь до души, — сказал босой шкраб, — я сам сознательно руку за душу не подыму.

— За идеи Платона и Христа?

— Голодные не могут быть христианами.

— Но христиане же часто были голодными.

— А это надо вперед себе в голову забрать, и тогда даже будет приятно за что-то свое голодать, а просто голодные не могут быть христианами, вы сами должны это понимать.

— Может быть, я и понимаю, но как же этот философ не понимает?

— У него жена доктором хорошо зарабатывает, вот он и выдумывает, у него есть время, но вы сами шкраб и понимать должны, что голодные не могут быть христианами, из голода ничего не выходит <...>

Не мысль, что голодные не могут быть христианами, а злость этого босого учителя, одетая такими словами, поразила Алпатова и напомнила ему точно такую же злость, но в других словах, и какие это слова, он хотел и не мог вспомнить.

— Погодите, товарищ, получать деньги, пойдемте за мной, — сказал ему мальчик со взъерошенными волосами, заведующий школьным подотделом.

— Да, погодите-ка, — сказал другой такой же мальчик, заведующий внешкольным подотделом.

— Сюда, сюда! — шла впереди их горбатая девица, заведующая секцией социального воспитания.

Пришли в почти пустую комнату, и трое сели за стол, поделились подсолнухами, больше стульев не было: Алпатов стоял.

— Ну, товарищ, — сказал первый мальчик, — что вы теперь делаете?

— Разбираю архивы.

— Разве есть это?

— А как же.

— И порядочно?

— Очень даже много.

— Много? — сплюнув подсолнух, спросил другой.

— Порядочно.

— Мы решили вас использовать иначе, по ликвидации безграмотности.

— Прежде надо ясли для детей завести, — ответил Алпатов, — а то ко мне бабы ходят с грудными ребятами: плачут ребята, бабы унимают, не слушают.

— Вот вы и займитесь организацией.

— Нет, я не занимаюсь никакими организациями.

— Почему?

— Не интересуюсь, я другой природы.

— Мы все одной природы.

— Нет, разной.

— Мы вас мобилизуем.

— Не пойду.

— Пришлем милиционера: вас нужно выжать, как лимон.

— Не выжмете: я сухой лимон.

Тогда третий мальчик показался на пороге, сделал какой-то знак, и все побежали со свистом по коридору.

Алпатов вынул скорей свою бумагу на кислую капусту, взял со стола печать, приложил и пошел опять в продком получать.

Помещица с козами во время этой беготни уже заметила Алпатова — и как он аккуратно затворяет калитку, и поглядывает на нее. Теперь она его остановила и пожаловалась на коз, мало дают молока, не хватает травы.

— Нужно как-нибудь из своего имения выхлопотать корову, — сказал Алпатов ей в утешение.

— Корову? — изменилась в лице помещица. — Что вы сказали, повторите.

— Корову.

— Господи, — перекрестилась она, — неужели это сбывается: я сегодня во сне видела корову.

— Черную в очках и белых чулочках.

— Черную в очках. Но как же это вы знаете?

— Так знаю: получите корову, хлопчите скорей, — сказал Алпатов и поспешил в продком.

Там, однако, занятия кончились, все было пусто, и где выдают кислую капусту, рычала большая рыжая собака.

Посмотрев на злую рыжую собаку, Алпатов вдруг вспомнил, кто это и какими другими словами сказал, что голодные не могут быть христианами; это разбойник, издеваясь, сказал Христу: «Если ты сын божий, спаси себя и нас».

VIII

ЛУКОВИЦА

Голодная волчья заря узким медным перстнем полукружила небо. Учитель выходил обратно из города в надежде перемочь усталость и голод до дому. Навстречу ему гнали коров и шел оборванец с длинной палкой и холщовой сумкой. Он остановил спешно идущего Алпатова и попросил у него огня раскурить трубку. Недовольный остановкой, вырубая огонь, Алпатов сказал:

— Пастуху нужно иметь кремень и огниво.

— Ты что, слепой! — крикнул оборванец. — Вон пастух!

— Что же тебе стало обидного от пастуха?

— Я солдат.

— Пастух, по-моему, не хуже солдата.

— Пастух? Ах ты...

— Ругаться? Ну так нет же тебе огня, убирайся! — крикнул Алпатов и быстро пошел дальше.

Но солдат тут только и принялся ругаться как следует и на фоне полукружия волчьей зари трехматерной картечью палил вслед Алпатову, может быть, представляя себе, что он из шестипушечной батареи по немцу палит.

— Я солдат, я солдат, я на фронте страдал.

Больно отзывалась эта ругань на сердце у Алпатова, ему было досадно, что не угадал душу поврежденного солдата и так расстроил его, но, главное, смущала его догадка уже по прежнему верному опыту, — если станет так на каждом шагу цепляться с болью за людей, значит, сам вконец поврежден и едва ли дойдет он до дому при усталости и лихорадке. На лесной тропинке его сапоги сами цеплялись за пни и коленки подгибались от слабости. Набил трубку, затянулся, стало от этого лучше, но неудержимая злоба охватила его на оледенелое достоинство сумасшедшего солдата, и на застывшее величие дьякона с кислой капустой, и на мальчишек с подсолнухами, заведующих десятками школ, библиотек, и — сколько их всех! — будто дождь идет и каждая капля его от стужи замерзает и падает на землю снегом и льдом.

Милостью солнца росинка воды получает отпуск на небо, милостью солнца земля радуется, получая тепло, а сама земля, вернее, не земля, а суша, ее каждая частица давит другую, и если бы дать им волю, они взорвали бы весь земной шар. А связь воды совершенно иная, каждая капля не лежит, а движется и не мешает другой. Сила земная вяжет насилием, а сила солнечно-океанская освобождает, и сила эта в душе человека остается, как *любовь раз-личающая*.

Учитель остановился и на большом пне в сумерках, едва различая буквы, пытается записать план урока на завтра о суше и воде, ее омывающей, но в голове у него стало темней, чем в лесу, и звенели тысячи огненных колокольчиков на зелено-желтых полосах. «Перемогу, перемогу!» — заговаривал он наступление какой-то враждебной силы, очнулся, еще покурил, записал и продолжал свой путь, прибавляя пример за примером к связи частиц воды из человеческой жизни: особенно ярко припомнилось ему, как в океане на гибнущем судне, когда все высадились на лодки, остался один телеграфист и по колена в воде подавал

сигналы о спасении людей по беспроволочному телеграфу, пока волна не смыла его с корабля, — се человек!

С какой бы радостью он и сам сию же минуту отдал свою жизнь в схватке с врагом, но враг был везде, а лица не показывал. Нельзя же дьякона считать врагом, — если бы с ним встретиться в бане, попариться вместе, то он оказался бы добрейшим человеком; ругательному солдату сказать «ваше благородие» и дать восьмушку табаку — побежит вслед, как собака; дерзким мальчишкам дать парочку идей для грандиозного плана ликвидации мужицкой России, чтобы они увидели в этом ключ к царству небесному на земле, и мальчики будут на побегушках. Все они не знают, что творят, и сам комиссар земледелия в пьяном виде открыл свою душу: «Все мое, — сказал он, — и земля, и лес, и вода!»

Кто же враг?

«Большевики», — говорят все кругом, но никто не потрудится при этом подумать, что суд его прямо соприкасается с личным раздражением и всякий укол приводит к одной неподвижной идее *большевики*, в этом почти все одинаковы, все мании, как поврежденный солдат.

— Кто же мой враг, покажись!

Открылась просека, и по ней с возом дров ехал старик с обвязанной головой на больной буланой лошади с большими темными пятнами вокруг глаз. И бывает же так, этот Лазарь остановил возле Алпатова лошадь, крепко выругался матерным словом и едет дальше как ни в чем не бывало.

— Стой! — остановил его Алпатов. — Ты за что меня ругаешь?

— Я тебя не ругаю.

— Зачем же ты возле меня остановился?

— А кому же мне *Его* выругать?

— Кого?

— Кто выгнал меня, больного старика, в лес за дровами.

— Председателя?

— Я сам председатель.

— Кого же ты ругаешь?

— Его же, батюшка, *Его*: за что ни возьмешься, все *Он* мешает и все рассыпает, *Он* против нас хозяйствует, а тебя за что мне ругать?

И правда: Лазарь улыбался ему такой улыбкой, как при похоронах улыбался хороший священник его родной

деревни, отец Афанасий: он так улыбается, а все кругом плачут.

Старик, сам больной, и на больной лошади, и с возом дров, даже просил Алпатова подсесть к нему, но просека — далекий путь, тропинкой к большаку он пошел скорее, неотступно размышляя о *Нем*.

«Надо быть, как этот старик, видеть врага в образе черта с рогами, или сектантом и партийным человеком, каким-нибудь большевиком, меньшевиком, эсером, но все это психология первобытная».

Лихорадка затрясла его.

«Их было два брата, один был домогатель и ушел из дому, у него ноги свинцовые, живот деревянный — дети не рождаются, сердце не чувствует красоту, плечи сильные, голова математическая, в очках и плешивая, это человек механизации мира, окончательный интеллигент: homo faber.

Другой брат остался при доме, у него ноги резвые, в шерсти, и баба его постоянно рождает детей, а лицо его — как восходящее тесто в деже: вот выскочили два живые глаза, только собрался им ответить своими, а тут, где были глаза, рот выскочил, хочешь в рот сказать, это не рот, а дырка, и это вовсе не лицо, это зад обернулся в лицо — окончательный мужик.

И оба эти брата, как два вагона, идут на меня, и я между ними, как сцепщик, растерялся, еще момент, и они раздавят меня буферами, и поезд пойдет без меня, но этого быть не может, без меня на земле останется одна математика и тесто в деже, все вычисленное и равномерно распределенное на пайки.

Выходит, мой враг — homo faber и его математика. Борьба с математикой? А вот как боролась собака с паровозом: положила хвост на рельсы и лаяла в кусты на корову, паровоз отрезал ей хвост, она кинулась на паровоз, и тот отхватил ей голову.

С этим нельзя по-собачьи бороться, паровоз вещь полезная, и математика необходима, и сам homo faber, начертающий план государства-фабрики (наше время ведь только план), вероятно, тоже необходим: и как же иначе освободиться от чудища, как, не доведя его до абсурда, до счета, до учета научного?

Не про это ли сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя: ибо число это человеческое».

Никакой раскольник со всей своей магией и никакой

анархист пироксилиновый не сделает со зверем того, что делает с ним homo faber, превращая фетиш в механизм. Теперь homo faber только ошибся и сдвинул какой-то утес на исток живой воды, и то, что раньше было святое слово ЗЕМЛЯ, теперь стала СУША, и сушу эту надо постоянно размывать, как размывает ее вода океанская. А Я — частица воды океанской, Я — капельно мал, и Я — океански велик, и друг мой лучезарный бог Солнце постоянно творит, и homo faber мой верный слуга».

Но не тут, в этих рассуждениях, а в душе была, несмотря ни на голод, ни на усталость и лихорадку, светлая точка; вот бы теперь идти в класс и рассказывать детям о суше и воде, ее омывающей, упомянуть, что крестят не пылью придорожной, а водою, и знахарки говорят: «Вода, матушка, ведь она живая, святая». И хотя бы не класс, а лист бумаги и свет какой-нибудь — записать свои мысли.

Между быстро бегущими облаками показался месяц, осветил сворот на большак, и тут в блестяще накатанной осенней колее учитель заметил очень симпатичный круглый и драгоценный теперь предмет, знал хорошо, как он шелушится, как пахнет, какой у него вкус, но слова в голове его еще не было, и только уж когда он поднял его, слово родилось: *луковица*. Другая тускло блестела подальше, в двух шагах, там третья, четвертая, пятая, — видно, кто-то ехал и терял лук из худого мешка. Алпатов громко крикнул подождать и, набив луком карманы, стал подходить на скрип телеги вдаль. Скоро показалась телега, луковый человек его дожидался, это был Иван Афанасьевич Крыскин, зажиточный огородник из городских мещан, перебравшийся в деревню. Не за услугу, конечно, какая в этом услуга, а просто из жалости к человеку, — и еще учитель, ест без соли, без хлеба поднятый с дороги даже не чищенный лук, — Иван Афанасьевич дал ему довольно большую, — фунта четыре, сообразил Алпатов, — краюшку хлеба и посадил к себе на телегу.

IX О ХЛЕБЕ ЕДИНОМ

— Дуравей России есть ли страна? — спросил Крыскин.

— Едва ли! — ответил Алпатов.

— И что есть Россия? На одном конце солнце всходит,

на другом заходит, и на таком большом пространстве все говорят, что мало земли и люди разуты-раздеты; есть ли на свете страна дуравей России?

— Едва ли! — повторил Алпатов.

— И что есть родина? Вот теперь мне стало ясно, что солдат существует, чтобы его убили или чтобы он убил, и больше в солдате нет ничего; раньше я служил солдатом и был ефрейтором и фельдфебелем, ничего такого не думал, служил и служил для родины и отечества, и вот, оказывается, родины нет и отечества нет.

— Как же это так? — удивился Алпатов.

— А очень просто, у меня есть дочка, тоже учительница и курсистка, Крыскина, слышали?

— Слышал, есть такая учительница.

— Ну, вот, она мне читала, что, где теперь станция Тальцы, раньше был город Талим, в этом городе были стены и башни, через эту местность проходило много всяких народов, захватывали город попеременно и под стенами кости скоплялись разных народов — вот это называется родина, и что в Тальцах живет теперь человек, это называется русский и все вместе русский народ. Ну, как вы думаете, все это есть ценность?

— Это наше прошлое.

— То есть переходящие народы, и русского человека нету, и родины тоже нету, а между прочим, я жалею русского человека и родину и понять не могу, откуда у меня эта жалость берется.

— Любят всегда неизвестно за что.

— Да что же тут можно любить? У нас теперь нету фабрик, ситцу, калош, сапогов и продуктов земли, даже хлеба, соли. — у нас одна земля. И то же самое про человека, что нет у нас закона, религии, семейности, нет человека и один только Фомкин брат всем командует. Национальность погибла, и говорят, по всему земному шару все национальности погибли, и у немцев, как у нас, будет Фомкин брат, и у французов, у англичан, у японцев, везде голая земля, и тогда все под одного бога. Ну, один бог для всех народов, это я считаю правильно, это совершенство, как плуг паровой и подобное, как наша соха. И позвольте вам только сказать и спросить вас: ежели говорят брось соху и мы тебе дадим паровой плуг, то как я поверю в высшее без видимости плуга. То же самое и про старого нашего бога, я оставляю его, а общего не окажется. Слов нет, коммуна — это очень хорошо, а перешагни через эту щель!

Вы посмотрите, какая у нас жизнь: был у нас тряпичник, ездит такой человек по деревням, собирает где тряпку, где кость, где жестянку, и так год, и два, и три, десять. Через двадцать до того прилачился к делу, что в городе склад открыл, а сотня, другая для его дела ездит, и в конце концов из тряпки этой выходит бумага. Теперь человек этот, буржуй, разорен, тряпок никто не собирает, и бумаги нет. Бывало, человек нужник чистит, смотришь на него, мнет ситник, сыт, весел; смотришь теперь, этот же самый человек, ведь они теперь те же самые прежние люди, стоит, чистит нужник, ситника у него нет, а нужник остался, ну, скажите ему, что скоро будет коммуна и все люди пойдут под общего бога. У меня вот дочка учительница теперь сидит и все книжки читает, начну я ей это свое говорить, а она мне: «Это, папаша, в будущем». Вот почитает, почитает и: «Есть хочу», — а я книжку ей на стол: «На, ешь, а хлеб в будущем».

Все время, как говорил Крыскин, не мог Алпатов разобраться, друг ему этот человек или враг, но когда он до книжки дошел, то понял, что, наверно, враг и просто так хлеб от него взять нельзя: бойся поповской просвиры и мужицкой ветчины.

— Вот вы мне хлеб дали, — сказал он, — а что же мне бы дать вам за хлеб?

— Бог с вами, но ежели бы у вас один предмет нашелся, я не откажусь.

«Уж не опять ли всплывает этот разбитый казенный сундук?» — испугался Алпатов и спросил со страхом:

— Какой предмет?

— Маленькая вещь: квинта.

— Струна квинта?

— Струна оборвалась, вечерами скучаю, но ежели нет у вас квинты, дайте рассказ.

— Рассказ?

— Какой-нибудь, все равно, только бы весело; у меня был очень хороший рассказ, все читал его, да вот по нынешним временам украли и выкурили, теперь опять так сижу, ни поиграть на скрипке, ни почитать, какой-нибудь дайте заваливающийся.

— Рассказ я вам дам «Преступление и наказание» Достоевского.

— Того Достоевского, что на каторге был, и это, кажется, о Раскольникове, как он двух старух убил. Боже сохрани, не давайте.

— Вы не дочитали повести: Раскольников убил, а Достоевский это убийство осудил и учит нас вовсе не убивать.

— А это еще хуже, чтобы вовсе не убивать.

— Христов завет.

— Бог с вами: такого завета у Христа не было.

— Как не было, вы не читали Евангелия.

— Я не читал? Ну нет, ошибаетесь. Правда, у нас читают редко Евангелие, к тому же народ наш темный, неграмотный, зато ежели кто взялся раз, тот уж доходит до всякой буквы. Так и я дошел и оставил эту книгу: больше не читаю. Понимаю, что очень хорошее Христово учение; как жизнь наша здесь, на земле, тяжкая, то господь нам дает утешение в жизни загробной: здесь потерпите, а там будет хорошо, вот и все Христово учение. Правда, Христос учил людей не убивать, но вы эту заповедь обернули посвоему и сделали из нее самое вредное дело.

— Мы?

— Вы! Во всех смутах и во все времена была виновата *антиллигенция*, но самая ее вредная мысль, что людьми можно управлять без насилия и казни. Да, Христос людей учил не убивать, но казнить разбойников он нигде не запрещал. Нет, вы мне такого, боже сохрани, не давайте читать, мне нужен просто рассказ.

— Толстого?

— Толстой больше всех виноват: он эту вредную мысль и выдумал, вот бы ему теперь хоть бы одним глазком посмотреть, что из его семян выросло. Не давайте мне Толстого, пожалуйста.

— Успенского дам я вам: крестьянский труд, это очень хорошая книга.

— Помню и эту, дочь мне давала читать, там очень хорошо описана жизнь мужика трудящегося, а вывод сделан неправильный: о поравнении, тоже вредная мысль. Я верю в дело только отдельного человека и в черту.

— В отдельного и его собственность?

— Да и в его собственность.

Алпатов рассказал, что будет, если за исходный пункт взять отдельного, и рад был, что злоба этого человека, как белая пена на черном вареве, остановилась, он притих и задумался.

— Нет, — сказал он наконец, — я признаю над собою *черту*.

— Какую черту?

— Не знаю, точно где-то я читал или мне снилось, мне снится разное чудное, недавно снилось, будто время <...> быстрое и произвольное, как хочешь стрелку поставь — чиновники по стрелке бегут в канцелярию, что это время соединилось с земледелием: посадил лук, смотрю, а он через час уже в стрелку пошел, через три часа теленок вырос в быка, и рожь поспевает, — удивительно, какие штуки во сне бывают. Так снилось мне или я где-то читал, мужик собрался резать теленка и нож для этого дела выточил, с вечера лег спать и слышит, теленок ребячьим голосом плачет; как вы думаете, понимает теленок?

— Ну, понимает.

— А мы этого не понимаем.

— Ну...

— Вот и все.

— Мы же с вами говорили про союз отдельных.

— И я к тому же веду, союз наш будет в понятном, а как же в непонятном? Нет, я признаю над собою черту. У антиллигенции же этого нет, одна партия вертит воробьям головы, другая соединилась не убивать врагов человечества. У них черты нет и проверки.

— Черту вашу я понимаю, это страх божий.

— Ну да, страх божий.

— А что же такое проверка?

— Хлеб наша проверка. Знаете, я сам из мещан и мужиков не люблю: бык, черт и мужик одна партия, но понимаю теперь, почему вы голодаете, а господь нам в черную годину этот кусочек послал: хлеб наша проверка.

— Ошибаетесь, хлеб тоже имеет проверку. Христос сказал: не единым хлебом жив человек.

— Не единым? Зачем же вы лук по дороге собираете? И жили бы книжкой. В Евангелии про камни сказано, что дьявол хотел их в хлеб без труда превратить, а господь ему запретил обращаться к хлебу без труда, вот этим, мол, и будет жив человек. *Антиллигенцию* же черт обманул, она хочет хлеб сделать из камня посредством *трактора*.

— Какая же это интеллигенция, про которую вы так говорите?

— Обыкновенная: кто не сеет, не веет и при том враг себе и простому народу, а хлеб един, и о нем все заветы.

— И жив человек одним только хлебом?

— На земле жив единственно этим, а все прочее притча. Вот если бы Евангелие, как Толстой, понимать, чтобы жить на земле по притчам, то хлеб не нужен, оттого что

и продолжение рода человеческого не нужно: оставь и отца, и мать, и жену. А я понимаю Евангелие как притчу об утешении и обещании на том свете жизни легкой. Я против этого ничего не имею, а на земле жив человек единственно собственным хлебом.

У креста, где дороги расходятся на все четыре стороны. Алпатов хотел проститься с огородником и спрыгнул с телеги, но тот задержал лошадь и на прощанье спросил Алпатова, и, видно, не просто, а с целью открыть что-то свое особенное и необыкновенное.

— Вы-то сами, — спросил он, — хорошо ли читали Евангелие?

— Нет, — ответил Алпатов, — по-моему, усердно читают Евангелие у нас сектанты, а я их не люблю, я просто понимаю, чему меня с детства учили: вот сейчас вижу крест и вспоминаю чудо насыщения пятью хлебами.

— И насытились? — Крыскин усмехнулся. — Неужели верите?

— Верю.

— Едва ли, вы это на гордость свою, на дух переводите, духовный, мол, хлеб, а какой уж там духовный, ежели прямо сказано, что осталось двенадцать коробов кусочков от пяти хлебов. Вы в это потому верите, что на себя переводите: я, мол, учитель и тоже, как Христос, могу ходить, учить и не работать.

— Как Христос не работал? Что вы кощунствуете, его работа в распятии.

— Распятие — это быстрое дело, помучался часами и помер. Все равно как в наше время стрелку переведут и думают, от этого вся жизнь стронулась. Так и распятие идет по скорому времени <...>, а жизнь идет по солнечному, тихо, работа медленная и то отпустит немного, то опять скрутит, и все сиди и сиди в одной точке: вбит кол, и на колу я привязан, как бычок. Но он ходил, и учил, и был распят, а не работал. Вот то-то, вы не читаете Евангелие, надо читать. Нигде там не сказано, что он сидел и работал, а только ходил и учил.

— И не спас?

— Бездетный был и не работал, нам примера нет, наша жизнь больше в буднях проходит, а у него все праздники. Его путем нам спастись невозможно.

— И живут неспасенные?

— Великому множеству людей это вовсе не надобно: родится хлеб — слава тебе господи! не родится — надо потерпеть. А вы терпеть не можете, и чуть вас коснулась беда — сейчас подавай Христа: слабость это и обман гордости, чтобы самому не работать, а ходить, учить, сочинять.

— Ну хорошо, я ошибаюсь, интеллигенция заблудилась, а есть же настоящий Христов путь спасения мира от проклятия.

— От проклятия, наверно, есть, только это всех нас мало касается, не все мы прокляты.

— Сказано...

— Понимаю, сказано еще: в муках рождать, но не каждая же баба в муках рождает, другая ребят, как яйца, несет. Это про часть сказано, а вы и на всех и здоровых переводите неправильно. Конечно, певчие нужны и праздники, попы, дьякона, учителя, сочинители, все это хорошо, но нельзя же всем жить без работы. Вот господь в эти тяжкие дни нам кусочек и послал, а вы голодаете. Христос — это гордость в вас, смиритесь до конца, и останется хлеб собственный, трудовой. Единственно этим жив на земле человек, а все прочее по мере надобности.

«Тоже искушение на гордость, — думал Алпатов, глядя на забытую в телеге краюшку хлеба. После такого разговора ему стыдно было взять этот хлеб, а Крыскин не замечал, — смириться и напомнить? Нет».

— Хлеб забыли, хлеб забыли! — кричал вслед ему Крыскин.

Он слышал и не хотел возвращаться за хлебом.

«Куда же это я зашел?» — спросил себя Алпатов в лесу на незнакомой тропинке, сходящей постепенно на нет, — вокруг среди безлиственных рогатых деревьев неотступно шел за ним черный крест с распятым разбойником и голос Крыскина неустанно спрашивал:

— Если ты Христос, спаси себя и нас.

— Я не Христос, я сам был разбойником, принимаю достойное по делам своим, но что же он сделал нам худого?

Тогда расступились деревья и пропустили его на просеку, в конце этой бесконечной хвойной аллеи луна стояла чисто, порхали снежинки, и старик, похожий на Лазаря, обвязанный платком, тихо ехал, то показывался, то исчезал в тени бора. Хотел идти навстречу старику, но сил идти не было, он упал на мерзлую землю, и, после жара, холод ужасный затряс его, но открытыми глазами он все

смотрит туда, на месяц; где идет снег и все близится больной старик. Вот он уже ясно виден, и сладчайшая улыбка у него на лице, как у старого отца Афанасия бывает всегда во время похорон: улыбка не от мира сего, все плачут, когда отец Афанасий так улыбается.

«Так этот старик и есть отец Афанасий!» — открылось Алпатову.

Но что самое главное открылось в эту минуту, что отец Афанасий и есть Иисус Христос, *сам*.

И надо бы теперь ему сказать: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое», — тогда все бы стало хорошо, но сказать почему-то стыдно, почему так?

«Верно, это оттого, что я не окончательно еще умер и оледенел», — подумал Алпатов и попробовал двинуть какой-нибудь живой косточкой в своем теле, похожем на ледяной мешок костей.

Мизинец и шевельнулся.

«Ну так и есть: это мой живой член бунтует».

А отец Афанасий оттянул из него самое главное, имя его святое, и поет ему вечную память и жизнь бесконечную.

«Сказать бы надо про мизинец: покаяться в живом члене, а то выходит обман. Но разве можно за живое каяться, разве оно виновато, что живо?»

И так означилось поле при небе мутном и безразличном, без горизонта и всякой черты, отделяющей небо и землю, только рыжая, занавоженная дорога поднимается в мути все выше и выше. Неверным тенором поет отец Афанасий «Со святыми упокой», и буланая лошадка с темными кругами под глазами, телеграфными столбами, усердно нажимаясь, тащит все выше и выше на небо.

X МИСТЕРИЯ

Как убитые птицы, из мути небесной падают с деревьев невидимых на дорогу сухие, скорченные листья, чуть очертался хуторок: люди живут.

«Тоже, — думает Алпатов, — может быть, нечаянно, недоглядев, везли кого-нибудь с живым членом на небо и бросили на полпути, и он тут размножился».

Вот показалась целая деревня, из нее выходят голодные, просят хлебца ради Христа, есть хотят и размножаться.

«Тоже не кончились: голодные не могут быть христианами, надеются насытиться и продолжаться, а живой мир во Христе кончается».

И знает Алпатов теперь уже наверно, что так ему обман не пройдет и он опять вернется в гущу людскую оттого, что мизинец его жив. Солнце чуть-чуть означилось желтое, смущенно глянуло на леденеющую землю. И земля, его обиженная жена, вихрем ответила, она высылает детей своих заступиться за мать. Не знают бедные дети, что солнце вернется и опять помирится с землей. Они свои огни зажигают, и с красными факелами мчатся, и крутятся в вихрях столбами, поднимая сухие листья деревьев, дорожную пыль и песок.

Темный вихрь явился навстречу отцу Афанасию, вышел из вихря Персюк с конным отрядом и реквизировал тело Алпатова.

— Сын мой, еще потерпи! — сказал священник с улыбкой, от которой все плачут.

«И все это из-за мизинца, — знает Алпатов, — живой мизинец и есть весь мой грех».

Музыканты играют «Мы жертвою пали», и четыре красноармейца несут Алпатова в красном гробу обратно в город на площадь Революции, где стоит Карл Маркс возле почетных могил убитых на своем посту комиссаров. Алпатова тоже хоронят, как комиссара.

В Ямщине услышали музыку.

— Что это красное?

— Гроб несут, кого это?

— Видишь, без попов: комиссар грохнулся.

— Подсолнух!

В толпе Фомка, брат Персюка, показался:

— В реку бы его, — говорит, — а они музыку разводят.

— Товарищ, так нельзя, — отвечает ему человек мастеровой и при фартуке.

— В реку нельзя, отчего? Река покойников любит, раки съедят, и никаких.

— Так, выходит, он был не человек, а статуя и нет ничего.

— И я тоже говорю, что нет ничего, а то говорят: «Мы управляющие», — и тоже бьют, не бьют разве новые управляющие?

— Так это всегда было: и раньше, и теперь, всегда били нашего брата, потому что без этого нельзя.

— Ну так на что же тут музыка, к стенке поставил

и в реку: я — Фомка, он — комиссар, и никаких, какого же черта!

— Комиссар Фомку, Фомка комиссара, ты меня, я тебя, нет, так не выходит.

— Чего же тебе еще надо? Ты на меня, я на тебя, всех сравить — и в партии, потом партия на партию.

— Ну и что же будет: одна возьмет верх.

— На время, а потом другая в скорый оборот, чтобы не было никакого статуя, чего же тебе еще надо?

— По мне, чтобы жили без оружия, вот когда это будет, я поверю в новое, а то все одно: была полиция, стала милиция, одного комиссара убили, другого статуя поставят.

Толпа нарастает, кого-кого нет, из разоренного монастыря даже монах явился и безумно кричит:

— Нечестивцы, что вы сделали, человека замучили!

— Да это не мы, вот чужак, нам, первое, велели, а второе, мы есть хотим.

— Проклятые, за кого же вы стоите?

Фомка режет:

— А ты за кого?

— Я за мощи святые.

Фомка монаху язык показал:

— Не мощи, а мышь.

И монах от мыши в толпу, как сквозь землю.

— Лови мышь, лови мышь! — подзуживает Фомка.

Гроб приближается. Стекольщику при фартуке противно бесчиние и жалко убитого комиссара:

— Кому он вредит, кому статуй мешает? Ну Каин, я понимаю, убивает, а то говорят «мы Авель» и тоже убивают.

— Мы понимаем, — отвечают в толпе, — вреда от него не было никому, власть стоит и стоит, кому вред какой от статуя? Поставь каждого во власть, и каждый будет статуем.

— Дураки, ничего-то вы не понимаете, это место очищается, был один статуй городской, другого статуя поставили, комиссара.

— Так и пойдет, только снаружи меняется. Пока без оружия <не> будет, никому не поверю.

— Затвердил «без оружия», тебя не задевало, а вот посмотри.

Фомка поднимает рубашку и показывает против сердца рубец.

— Кто это тебя?

— Родной брат мой Персюк. Неужли я это оставлю, как ты думаешь, оставлю я это или нет?

— Задело-то задело.

— Меня задело, а ты где был?

— Я стекла вставлял.

— И я работал, нет, ты мне скажи, могу ли я это дело оставить?

— Да на кого же ты пойдешь?

— На брата и на его партию.

— На брата, это один разговор, а на какую же партию?

— Почему я знаю, задело, и я задену, а тебя не задевало?

— Как не задевало, думаешь, тогда этого не было, все то же было, задевало, да как! Ты мне грудь показал, а я сзади рубашку подыму, тоже увидишь рубцы.

— Чего же ты говоришь, без оружия?

— Без оружия, где тебе такое понять, хоть бы оружие, да надо знать к чему. Персюк, брат твой, хоть и зверь, да стоит за советскую власть, за государство.

— Начихать мне на советскую власть и на государство.

— Тебе только бы без командира, задело, и ты задел.

— И я задел!

— Если бы ты знал что, а ты ничего не знаешь.

— И знать не хочу.

— Ученый там выкопал на чердаке старую книгу, узнал про жизнь, и у него связалось, а у тебя что связывается: тебя чкнули, ты чкнул, вот и все.

— Ученый — это мышь, а решит все трехдюймовка.

— Нет, брат, пока оружие будет решать, ни за что не поверю, и в государство никакое не поверю с оружием.

— Подумайте, что вы говорите, — сказал какой-то сознательный, — какое государство может существовать без оружия, где есть на земле такое государство?

— Есть такое, — отвечает стекольщик, — там люди живут, работают, пашут, скот разводят, торгуют, а воевать — нет! — махонькая страна такая.

— Финляндия?

— Ну хоть бы *Вихляндия*.

— Воюет!

— Ну, стало быть, не Вихляндия, а есть.

— Швейцария?

— Я говорю, есть такая страна, где не воюют, хотя бы самая махонькая Вихляндия, а есть.

— Сам ты Вихляндия, отвечай просто: двое дерутся на улице, что ты сделаешь, как остановишь?

- Скажу: не деритесь.
- А не послушаются?
- Другой придет: тут постепенность, один уговаривает, другой уговаривает, третий уговаривает.
- Был такой уговаривающий, ну что, уговорил?
- Так он уговаривал драться, а я чтобы не драться.
- После него тоже уговаривали, чтобы не драться, и чем кончилось?
- Это неправда, сами уговаривали, а сами оружие поднимали на капиталистов.
- Ну, ладно, пускай ты пришел и уговорил: ну, помиряются, один пойдет в подвал, другой во дворец?
- И хорошо.
- Капиталисты опять наживаться.
- Почему наживаться: ему, может быть, надо долги заплатить, разные бывают капиталисты.
- Расходитесь вы к черту! — кричит, надрываясь, милиционер. — Тут похороны, а не митинг, дорогу давайте, ну!
- И замахнулся на женщину шашкой, только на одну, а их сто выскочило.
- Нонче и осьмушку не выдали. Свобода, свобода, а хлеба не дали, на черта нам ваша свобода!
- Иди на работу!
- Давай работу!
- Возьми, ты сама не идешь.
- Брешьешь!
- Нет, ты брешьешь, вы сидите, враг идет, а у вас дезертиры под юбкой.
- А у вас жида в штанах.
- Ха-ха-ха! — в сто голосов.
- Ловко баба отрезала: жида в штанах.
- Кто-то веселый вздумал искать дезертира у бабы, но вдруг Персюк на коне появился.
- Персюк, Персюк!
- Все врассыпную, и сам Фомка впереди всех бежит.
- Опять стало тихо на улице, два мешанина, один с завалинки, другой из калитки, переговариваются. и возле них Пелагея Фоминишна остановилась.
- Комиссар грохнулся!
- Подсолнух!
- Чего же народ шумит?
- Чего кричат, чего орут, — говорит Пелагея Фоминишна, — милые мои, сколько вы ни кричите, а служить

кому-нибудь надо, я тридцать пять лет у господ жила, и никто меня не обидел, оттого что я себя знаю, я такая ведь: самовар согрела, чай засыпала, пока настоялся чай, я двадцать дел переделаю, кто с меня спросит, кто посмеет обидеть? Покойника несут, а они визжат, вот Егор Иванович идет, спрошу-ка я его.

И того самого дьякона, что Алпатову капусту не выдал, спрашивает:

— За что же, батюшка, Егор Иванович, убили?

— Да ни за что, так время переходит, и убивают.

— Как его имечко-то святое?

— Не знаю, матушка, сам, только пролетарий он оказался настоящий, и не думали, а как умер, вдруг и обнаружилось, вот ему теперь и почет.

— Все-таки имечко-то его святое надо узнать, что же это такое, хороните и не знаете, кто он такой.

— Какой-то не то Ламатов, не то Лапатов, загляните, может вспомните.

Пелагея Фоминишна заглянула и, не сводя глаз с лица покойника, крестилась и низко кланялась.

— Господи, — сказала она, узнавая, — да ведь это наш городской лежит.

«Нет, я не городской», — хочет сказать Алпатов и не может, и страшно ему лечь безымянно в могилу.

— Ну, конечно, городской, — уверилась старушка, — дай бог памяти, как его звали, как же, знаю, знаю, он у нас в Ямщине стоял на посту, только, батюшка, как же вы его к себе приняли, все-таки был он полицейский.

— Городовой, — поправил Егор Иванович, — насчет городских есть особое разъяснение, это не полицейский.

— Как не полицейский?

— Городовой стоит и больше ничего: это статуй.

— Что вы говорите!

— Статуи и больше ничего.

— А в бога веровал, бывало, как придет на пост, всякий раз перекрестится на церковь.

— Насчет религии вы не беспокойтесь, Пелагея Фоминишна, в Карле Марксе есть все Евангелие, только уж, конечно, без прологов и акафистов, но ведь это не главное.

— Конечно, батюшка, не главное, был бы с нами господь Иисус Христос.

— Ну, это все в Карле Марксе есть, не беспокойтесь!

— Одно только плохо, что вот имечко-то его святое забыли, и другое осмелюсь вас спросить, Егор Иванович, не

выдашь ли на бедность мою кислой капусты, все-таки сын мой у вас шкраб.

— Городской или сельский?

— Сельский, батюшка, сельский.

— Сельским шкрабам капуста не выдается.

Гроб с музыкой «Мы жертвою пали» мало-помалу приближается к площади, и, как только свернули, ветер злейший с летящими снежинками над застылой кочками грязью пронесся, и солнце желто глянуло на похороны блудных детей земли.

— Все выдумала антиллиягенция! — тихо говорит Крыскин.

И мужик с топором за поясом ему отвечает:

— Нехай, нехай!

Музыка затихла, гроб поставили у края могилы. Красная армия выстроилась вокруг Карла Маркса, и впереди всех Персюк на коне грозно сидит, как Петр Великий при казни стрельцов.

— Егор, начинай! — кричит Персюк дьякону.

Егор Иванович заложил руки в карманы по манере новых ораторов и, не вынимая их, прошелся туда и сюда возле гроба, обдумывая, и вдруг выхватил одну руку, простирая к покойнику:

— Товарищ!

И запнулся, имя товарища ему неизвестно. Шарит глазами вокруг, не подскажет ли кто-нибудь, но никто не хочет помочь дьякону, имя покойника никому не известно. Пелагея Фоминишна, бегая всюду, расспрашивает, даже раскраснелась: решительно никто не знает имя покойника. А дьякон не совсем еще отстал от обряда и понимает, что нельзя же хоронить, не зная даже имени человека. Но что же делать, никто не знает.

«А впрочем, — мелькнуло дьякону, — это ведь я по-старому думаю, а раз он был пролетарий и соединился со всеми пролетариями, то имя ему стало общее *пролетариат*; это все от непривычки мыслить по-пролетарски, нужно всегда мыслить коллективно, имя ему пролетариат или покойный товарищ». Он и хотел сказать прекрасное слово *Покойный Товарищ*, но какая-то финтифлюшка, обязательная в речах новых ораторов, вывернула простые слова: *Покойный Товарищ* — на совершенно другое и не бывалое ни при каких похоронах, ни в какой стране, вместо «покойный товарищ» дьякон сказал:

— *Товарищ Покойник!*

— Ну, брат, спасибо,— заговорили возле Крыскина,— живой покойнику не товарищ, это не партия.

— *Товарищ Покойник!* — продолжал дьякон уверенно и бодро.— Ты пал жертвой озлобленной буржуазии, и вот вам всем пример: ежели вы будете сидеть сложа руки и оставите в покое жить буржуазию, вы заслужите участь *Товарища Покойника*.

И пошел, и пошел, повторяя *Товарищ Покойник*, довольный своим необыкновенным открытием обходиться без имени.

— *Товарищ Покойник* не сидел сложа руки.— сказал он в заключение,— он выступал активно, и вот вам результат.— Выхватил обе руки из карманов и кончил: — Вот вам результат!

— Стой, Крыска, слышал ты, как же так это выходит, понимаешь ты?

— Понимаю,— отвечает Крыскин.

— А я не понимаю: ведь он же не сидел сложа руки?

— Ну так что?

— А сказано, ежели кто будет сидеть сложа руки, тот заслужит участь *Товарища Покойника*.

— Ну и заслужил.

— Как, ведь он же активно выступал, а не сидел сложа руки?

— Вот дурак, ничего ты не понимаешь, Кобылка, он хотел сказать, что *Товарища Покойника* все равно заслужишь, будешь сидеть сложа руки или выступать активно, не миновать никому участи *Товарища Покойника*.

«Смеются!» — горько думает Алпатов.

Вдруг смех остановился. С той стороны огромной площади, где барышники, не обращая внимания на похороны, торговали у мужика сивую клячу, смерч завернулся огромным столбом и, набежав сюда, к Карлу Марксу, выбросил из себя автомобиль, в нем стоял молодой человек с пепельным лицом и всеми кривыми чертами лица. Ледяным голосом крикнул молодой человек:

— Смерть!

Все в страхе примолкло.

— За одну голову этого товарища мы возьмем тысячу голов: смерть, смерть!

«Тысячу любимых кем-то и по-своему названных голов за одного неизвестного, никому не нужного *Товарища Покойника*,— думал Алпатов в последнем отчаянии,— когда же наконец моя мука кончится и я умру по-

настоящему, не будет хотеться драться, и я прошепчу свое окончательное: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

Белый пар изо рта страшного оратора начинает падать снежинками, скажет: *смерть!* — и густеет снег, и падает, и сам он все растет и белеет, и вдруг, выходит, это не человек, а очень высокий белый медведь оказывает на стройного блондина, стоит на задних лапах, а передними все машет и машет, разбрасывая снег во все стороны.

В ужасе все жмутся к мужику с топором.

— Нехай, нехай, — говорит он.

— Вали его, бей!

— Нехай, нехай подходит!

— Ну, бей же!

— Нехай, нехай!

— Дай-ка свой топор посмотреть, — говорит спокойно белый медведь.

И тот отдает, а сам видит смерть в лицо и все-таки повторяет:

— Нехай, нехай!

— Шубу, шубу! — кричит в ужасном ознобе Алпатов.

Шубой своей прикрывает жалостливый старик, похожий на Лазаря, Алпатова, но озноб и внутри, и снаружи от падающего снега не дает ни минуты покоя учителю, а буланая лошадка с темными пятнами вокруг глаз едва ли дотащит в больницу.

Шубой белой всю ночь садится снег, белеет сначала на крышах, потом и озими, зеленея, сереют и к утру тоже белеют ровно, и даже высокое жнивье и полынки, все закрылось, только чернела середина живой еще речки, принимая в себя белый снег. К восходу снег перестал, мороз усилился, схватывая все больше и больше живую воду у берегов. Ярко солнце взошло. Краснобровые черные птицы вылетели из болот на верхушки белых берез. Все сияло, блестело, сверкало, и в этом сиянии, в славе великой стала река.

XI

СКАЗКИ МОРОЗА

Никто из наших стариков не запомнит инея такого, как в девятнадцатом году нашего века, и не приходилось в книгах читать, что бывает такое. Целую неделю он

наседал, и в конце ломались ветви и верхушки старых дубов. Особенно в березах было много погибели: начиналось обычной сказкой, но потом березка склоняла все ниже и ниже оледенелые ветви, казалось, шептала: «Что ты, Мороз, ну пошутил и довольно», — а Мороз не слушал, гнул все ниже и ниже их ветви и наговаривал: «А вы думаете, сказки мои только забава, надо же вам напомнить, какую ценою мне самому сказки даются, испытайте жизнь, а потом я верну вам и сказку, и как вы тогда ей обрадуетесь! А то вы засиделись, вас надо немножко расшевелить». И, уродливо изогнутые, глыбами льда загруженные, падали верхушки молодых, а старые ломались в стволах пополам. Телефонные и телеграфные проволоки стали толще векового дуба, рвались, падали, их подбирали и увозили проезжие. Когда телефонная сеть совершенно погибла и от нее остались только столбы, в газете «*Соха и Молот*» было назначено за расхищение народного имущества большое наказание, как говорили в деревне: *лет десять расстрела*.

После инея бушевал всей мощью своей хозяин древней Скифии буран. Засыпаны снегом деревни, поезда в поле остановились, и от вагонов торчали только трубы, как черные колышки. В нашем засыпанном селе крестьяне работали, как на раскопках курганов, и вечером так странно было с вершины сугроба в прорытой внизу траншее увидеть огонек. Стоишь и смотришь, как там под снегом при огоньке дедушка лапти плетет, там мальчик читает книжку, а вот там — как страшна временами бывает наша зимняя сказка! — там лежит покойница: в самый сильный буран в горячке, в одной рубашке вырвалась из хаты женщина, за нею гнались, но потеряли в буране, только неделю спустя, когда все успокоилось, розвальни наткнулись на тело в снегу. В поломанных березах против окна нашей школы, изуродованных инеем, засыпанных бураном из снега и веток так дивно сложилось лицо дедушки Мороза и так явственно, что мальчики в библиотеке, куда заходили за книгами, постоянно указывали в окно и говорили: «А дедушка все смотрит».

«Нет, не забава сказка моя, — говорит детям Мороз, — теперь вы узнали, какую ценою она достается, ну и слушайте сказку по-новому».

Про деда Мороза в засыпанной снегом избушке складывает сказку старый человек малому, и время, — это

было некогда. — и место забыты: при царе Горохе, в некотором царстве, в некотором государстве.

Такое великое и простое, как все великое, чудо у людей совершается: они забывают время и место, старый и малый идут за святою звездой, и это чудо называется сказкой.

Высоко горит над избушкой звезда, а за нею идут по снежной равнине волхвы, как-то, бедные, не замерзнут, как-то не утонут в таких снегах, — нет, идут по снегам за новым заветом в тишине ночной за звездой.

Но вот померкла в тучах звезда, и волхвы заблудились, хотят в одну сторону — там начертана ветхая заповедь для мужа: *вози!* — хотят в другую — там другая заповедь: *носи!* — для жены, и нет никаких больше путей, как только *вози* и *носи*.

Назад вернулись волхвы, спиной к потемневшей звезде, идут по своим следам в прошлое, утерянное возле Авраамовой хижины, там где-то просто вьется тропа, выводя на широкий путь всех народов.

Идут назад, о, как тяжело жить, когда и волхвы идут назад по своим же следам! Скорей же, покажись из-за туч, наша звезда, освети опять дорогу волхвам. Явись, желанное слово, и свяжи неумирающей силой своей поденно утекающую в безвестность жизнь миллионов людей!

Вот кончается день короткий, и ночь хочет уздой своей остановить мое посильное дело, но я и тьма — мы не двое, а будто кто-то третий, голубой и тихий, стоит у окна и просится в дом.

Голубем вострепелась радость в груди: или это день прибавляется, и вечером голубеют снега, и открывается тайная дверь, и в нее за крестную муку народа проходит свет голубой и готовит отцам нашим воскресение?

Свете тихий!

Но не ошибаюсь ли, какое сегодня число? Только что прошел Спиридон-солнцеворот. Рано, нельзя говорить, всякое лишнее слово до времени только освещает кресты на могилах нашей равнины, а желанное наше слово такое, чтобы от него, как от солнца, равнина покрылась цветами.

XII КОНТРИБУЦИЯ

Завалило снегами поля, без осадки пуховые горы были по сторонам дороги, встречному издали кричишь: «Делим, делим дорогу!» — и потом, пострещав грядками, поскрипев

оглоблями и досыта наругавшись при дележе, засаживаем лошадей по уши, а то и отпрягать приходится и вытаскивать сани самому. Теперь, если догнал кого, поезжай с ним до конца пути, обогнать невозможно.

И в таких-то снегах, по такой-то дороге, собрав возле себя целый обоз, едет из города человек иной жизни. Что ему, свободному, нужно в этом мире древних заветов? Он едет спасти несколько книг и картин, больше ему ничего не нужно, и за это дело он готов зябнуть, голодать и даже вовсе погибнуть; есть такой на Руси человек, влюбленный в ту сторону прошлого, где открыты ворота для будущего.

Собрав возле себя громадный обоз, Савин час, и два, и три слушает обычную мужицкую канитель того тяжелого времени.

— Контрибуция, братцы, пасела, во как!

— Окаянная сила!

— Тридцать тысяч на Тюшку.

— Задавила Понтюшку.

— Задавила Колдобкина Ерему: двадцать тысяч.

— Издохнет Ерема.

— На Елдошку десять.

— Ох!

— Охает, охает, а десять подавай. Десять на отца и на сына пять: «Пойду,— говорит,— издыхать в холодный амбар, а свое говорить буду: нет и нет».

— Грабировка!

— На рыжего Крыску легла контрибуция в пять тысяч: валите, говорит, все на рыжего, рыжий все бережет.

— Рыжий все бережет!

— На Крыску черного, огородника, легло десять.

— А еще говорят коммунисты — слово какое! Коммунист должен быть правильный человек, ни картежник, ни пьяница, ни вор, ни шахтер, ни хулиган, ни разбойник, ни обормот, коммунист должен быть средний крестьянин, чтобы он твердо за землю держался.

— А кто землю пахать будет? Пусть соберут весной коммунию, да что приобретут.

— Приобретут! Он будет сидеть и смотреть, а я работать, вот посмотрите, земля весной не будет пахаться.

— Побросают. Все будем ходить, поглядите, все будем блудить с востока на запад и с запада на восток.

— Так для чего же, братцы, эта коммуния и что есть коммуния?

— Коммуна, я понимаю, есть война с голодом. С турками воевали, с немцами, англичанами, с кем только не воевали; и ведь еще побеждали! Коммуна есть армия против врага-голода, но почему же в коммуне еще голоднее стало и нет ситцу и ничего прочего?

— Потому что воры.

— Да что воры, чем вор хуже нас, вор плохой человек тому, у кого ворует, а для всех прочих он, может, получше нас с тобой. Нет, друг, не в ворах дело, а в тех, кто видит вора да молчит.

— Как молчит? Намедни у нас одного всей деревней, как собаку, забили.

— Так ваша деревня маленькая, а в большой деревне никто правду не посмеет открыть.

— Нет, не воры, а я думаю: на войне — там под палкой, а работа мирная из-под палки худая, вот отчего не выходит война с голодом.

— Нет, братцы, я коммуны понимаю как жизнь будущую, сапожник, или портной, или слесарь, что это за жизнь сапожника, только сапоги, не человек, а тень загробная! Так вот для этого устраивается всеобщая полевая жизнь.

— Для сапожника? А я как крестьянин и полевую жизнь отродясь и до гробу веду, и великие миллионы на Руси определены этому с основания веков, то почему же сапожнику дача, а нам наказание. Нет, коммуна есть просто: кому-на.

— Кому на, а кому бя.

— Истинное наказание: Сережка Афанасьев на отца своего Афанасия Куцупого наложил контрибуцию в пять тысяч: «Будь же ты проклят!» — сказал Куцупый.

— Проклял сына?

— Проклял во веки веков.

— Вот, а ты говоришь, дача сапожнику, тут, брат, слова Евангелия, исполнение закона, что настанет время, — ох, настанет время, не минуешь... Ну, братцы, а как же на попа, наложили ли что на попа?

— Как же, на молодого двадцать тысяч.

— Ну, хорошо: молодой поп снесет.

— И на старого десять.

— На покойника?

— Так он после раскладки помер. На дьякона пять, а на Епишку ничего.

— Как же ничего на Епишку: у него на огороде двести дубов лежит.

— Ничего, но не горюйте, придет время, и Епишка зацепится, все там будем, и сам Фомкин брат попадетсЯ.

— Не брат он мне! — крикнул Фомка.

— Кто же он тебе?

— Супостат!

— Ладно, два яблочка от яблонки далеко не расколятся, этот самый Персюк, матрос, землю никогда не работал, не знает, как соху держать, как зерно в землю ложится, а говорит: «Я коммунист, мы преобразим землю». Я ему: «Чего же ты раньше-то ее не преображал?» — «Не хватает, — говорит, — транспорта».

— Кобеля ему вареного не хватает.

— Да, транспорта, говорит, не хватает.

— Транспорта! Ты мне транспорт в живот проведи.

— Ну вот и я ему теми же словами сказал: «Ты мне транспорт в живот проведи».

— И что же он тебе на эти слова?

— На эти слова он мне хвостом завилял. Эх, вы, говорю, стали на волчьи места, а хвосты кобелиные.

— Чего же вы терпите? — сказал Фомка. — Взяли бы да и освободились.

— Кто нас освободит?

— Известно кто: барон Кыш.

Весь обоз замолчал.

В тишине под скрип снега перебегают Фомкин огонек все сани из конца в конец: головы думают. Невидимо бегают огонек, и на одном возу опять вспыхнуло:

— На Авдотью легло двести рублей. Мало, а что делать, как малого нет. «Есть, — говорят, — деньги?» — «Нету». — «Есть деньги?» — «Нету». — «Расставайся с коровой!» — «На Пичугина пало десять». — «Подавай», — говорят. «Нету!» — «Иди в прорубь!» Раз окунули.

— Окрестили!

— Да, окрестили и спрашивают: «Есть?» — «Нету». Во имя Отца окунули и во имя Сына окунать. «Есть?» — «Нету». Из третьей Ердани вылезает. «Есть?» — «Есть».

— Окрестили человека.

— Крестят Русь на реках Вавилонских.

— На Тигре и Ефрате.

— И все Персюк, один креститель, а когда речь говорит, обещается освободить женщину от свиней и коров.

— И освободили: нет ни свиней, ни коров.

— Эх, братцы, ни паралича из этих слов не получается, а вот что я думаю: собери всю пролетарию, будет ей бобы строгать, собери всех голоштанников, да воз березовых привези, да обделаи их, чтобы они работали, как мы, как Адам. первый человек.

Сильней и сильней разгорается Фомкин огонь по обозу, теперь с ним каждый согласен свергнуть статуя и потом хоть бы день, два пожить, как сам Фомка: чтобы нет никого и никаких. Вдруг как ток пробежал по обозу, все стихло, и одно только повторялось ужасное слово:

ПЕРСЮК.

— Эй, братцы, эй, берегись, держись, заворачивай скорей, Фомкин брат едет.

Вмиг обоз и слова мужиков, все разошлось, расплылось, как облака, и в страхе погас Фомкин огонь, и сам Фомка застрял в снегу, кувыркается и не может со всеми удрать. На дороге один только Савин мучится, что никак не может из-под тулупа достать пенсне и разглядеть, с какой стороны покажется это чудище — Персюк, Фомкин брат, и, главное, понять, куда в один миг мог по таким глубоким снегам исчезнуть такой громадный обоз, как могли вынести из сугробов куда-то на другой путь слабосильные деревенские лошаденки.

— Стой! стой! — внезапно появляясь, кричит Персюк, — ну, берегись теперь, Фомка.

Вдруг он как сноп с коня и с коленки из карабина целится, и так кажется это долго у него: целится, целится.

Фомка хлоп! — в него из нагана, хлоп! — другой раз, а Персюк все целится. Хлоп! — третий раз Фомка, и тут Персюк выстрелил, а Фомка нырнул в снег, показалась рука, показалась нога, и остался торчать, как свиное ухо, из снега неподвижно угол шубной полы.

— Что же вы это человека убили? — крикнул Савин.

— Собаку! — спокойно ответил Персюк и, вынув револьвер, прошел туда, вернулся, сказав: — Не отлежится.

— Человека убили?

— Кто такой, за книгами? Лектор, может быть?

— Лектор.

— И с высшим образованием?

— Учился, да что в этом теперь?

— Как что: гуманность.

Савин так и всколыхнулся от слова «гуманность» и,

вытащив наконец в эту минуту пенсне, посмотрел через него в страшную рожу. «Вот,— подумал он,— крокодил, а тоже выговаривает «гуманность»!»

— У вас тут,— сказал он,— в прорубь мужиков окунают, морозят в холодном амбаре, а вы мне толкуете еще про гуманность.

— Не всех же морозим,— ответил Персюк,— злостного другим способом не проймешь <...>

— Ну и ошибаетесь.

— Не часто, а бывает, но без этого же и невозможно нам, а если человек встречается гуманный и образованный, радуюсь: вот был тут Алпатов, приятель мой, умнейшая голова, тот всякую вещь до тонкости понимал, пропал ни за нух табаку.

— Как же пропал,— сказал Савин,— он в больнице и, кажется, поправляется.

— Помер, сам видел: на простыне выносили.

— Жив.

— Помер.

«Что же это такое? — думает Савин, продолжая свой путь в одиночестве по глубоким снегам. — Сейчас был тут громадный обоз, и нет никого, был Фомка, и нет его, и человек был такой заметный Алпатов, и никто даже хорошо не знает, жив он или в могиле: умер — не удивятся, жив — скажут: объявился. И даже если он воскресший явится, опять ничего, опять: объявился».

Поскорей же труси, лошаденка, выноси из этого страшного поля белого, где нет черты между землею и небом.

ЭПИЛОГ

И как все скоро переменяется, будто не живешь, а сон видишь. Давно ли тут вместе с Алпатовым в Тургеневской комнате привешивал на видное место даму с белым цветком и подбирал к старым портретам тексты из поэтов усадебного быта — теперь этого уже нет ничего. В Тургеневской комнате канцелярия Исполкома, в парадный зал переехал Культиком, в колонной — Райком, в комнате скифа — Чрезвычайком, в охотничьем кабинете чучела лежат грудой в углу, хорошо еще, книги уцелели, и то потому только, что ключ увез Алпатов с собою в больницу.

Позвали вора с отмычками, открыли шкаф, и Савин принялся разбирать и откладывать нужные ему книги. Секретарь кружка, Иван Петрович, все уговаривал поменьше книг увозить: «Не обижайте деревню!»

— История и археология, Иван Петрович!

— А нам пьесок, пьесок.

Окончив работу, Савин с книжкой прилег на диван, но читать ему не пришлось, дверь отворилась, вошел черный человек в полушубке, с лицом обреченным, назвал себя:

— Крыскин Иван, огородник, — и спросил председателя.

Савин рассказал ему, что Персук повстречался с ним в поле, скоро будет, и тут на другом диване можно его подождать, а сам он — библиотекарь. Этими словами Крыскин совсем успокоился, присел на диван и сказал:

— Пришел садиться.

— В холодный амбар?

— В холодный.

— Вот крест!

— Да, подобное, только хорошего или какого будущего я тут не вижу. Был тут учитель Алпатов, хотел на этом основаться и помер с голоду.

— Жив!

— Помер.

— Помер, ну, так воскреснет, что скажете?

— Ничего не скажу: он воскреснет, а я все равно пойду в холодный амбар. Вот если бы он воскрес и спас нас от холодного амбара, это я бы признал. А то мало ли что для себя образованный человек на досуге придумает, взял и воскрес.

— Да разве можно так?

— Отчего же нельзя, свободный человек выход для себя может придумать какой угодно, а мне должно идти в холодный амбар неминуемо.

— То же говорил разбойник Христу: «Спаси себя и нас».

— И говорил правильно, оттого что ему жить хотелось на земле, а не на небе.

— Хотите жить на земле, почему же вы не с пролетариями?

— Потому, что я огородник, просто развожу рассаду, раз душевой земли у меня нет и равенства с прочими крестьянами нет, как я с утра до вечера копал землю и так

что шесть раз огород перекопал лопатой и продал капусту, а они неверно рассчитали мой доход и контрибуцию в десять тысяч я не могу уплатить, то неминуемо мне попасть в холодный амбар. Какое же тут будущее: огород мой на мне прекращается, я — конец, а после меня человечество будет копать огород не лопатой, а паровым плугом, один будет пахать, а девяносто девять заниматься чтением книг, одна баба полоть паровым способом, а девяносто девять заниматься с детьми, как обещает Фомкин брат, — нет!

— Чего это Фомкин брат? — сказал, появляясь в дверях, Персюк. — Э, Крыска пожаловал, ну, что принес?

— Придет весна, капусту посажу, придет осень, продам, шей похлебаю и принесу.

— Не бреши, Крыска, есть деньги?

— Есть на куме честь.

— Говори без притчи.

— Издохла кума, никому не дала.

— Эй, Кириллыч, запри его, черта, знаешь, туда, где намедни Кобылка сидел.

— Рядом с нужником?

— Да, в нужник.

Спустя время Савин прошел в новую дощатую пристройку к дворцу и там из ледяного кабинета в пустой сучок увидел чулан, наполненный архивами волости, полузанесенными снегом, во все щели тесовых стенок несет снежную пыль, и на этом снежном полу сидит Крыскин, обхватив колени обеими руками, и смотрит в одну точку, где небо и земля одинаково белые, и черный ворон летит, не поймешь как, по небу или по земле.

Долго Савин возился еще в охотничьем кабинете, укладывал в ящики поэтов усадебного быта и, когда возвратился погреться в зал около чугунки, там на канцелярских столах сидели все члены Исполкома, Райкома, Чрезвычайкома и сам Персюк, все хохотали над сказками Кириллыча. Принесли огонь, завели граммофон, собрались разные деревенские гости и между ними даже безногий солдат. Пели, плясали, топали, хохотали до полуночи.

— Крыскин замерзает, — шепнул мальчик.

— Чего? — спросил Персюк.

— Хрипит.

— Пускай хрипит.

Савин уснул, не раздеваясь, тут же на диване возле чугунки. В эти страшные дни по ночам у людей редко бывали сновидения, как будто душа покрылась пробкой от ударов дня или тучи закрыли небо души. Но в эту ночь завеса открылась, и свою собственную душу увидел спящий, как чашу, из нее пили, ели и называли эту душу **МИРСКОЮ ЧАШЕЙ**. Больше ничего не виделось Савину до раннего утра, когда он услышал голос Кириллыча:

— Ну и мороз, вышел до ветру и конец отморозил, что теперь скажет старуха?

У чугунки волостные комиссары жарили сало на сковороде и кричали Савину:

— Иди, ешь, чего упираешься, где наша не была, все народное, ешь, не считайся.

— Мороз и метель! — сказал Савин. — Как же тут ехать?

— Не так живи, как хочется, — ответил Кириллыч, — а так живи, ну как теперь сказать, бог велит?

— Не «бог велит», — сказали у чугунки, — а как нос чувствует.

— А кто же метель посылает?

— Это причина, так сказать.

— Ну, Иисус Христос.

— И это не причина.

— А тебя как зовут?

— Ну, Иваном.

— Врешь, не Иван, а причина.

Посмеялись, почавкали сало, еще кто-то сказал:

— Еще говорится *судьба*.

— Пустое, — ответил Кириллыч, — поезжай сто человек спасать и твое дело с ними связано, это будет судьба, а ежели я в такую страсть кинусь — это моя дурь и пропадать буду, услышат, никто не поможет, скажет: «Зачем его в страсть такую несло».

Савин не послушался Кириллыча и поехал в такую погоду. На прощанье зашел в ледяной кабинет и заглянул в пустой сучок: Крыскина там не было, или уплатил налог — выпустили, или замерз — вынесли. Лошадь уже тронулась, как Савин услышал, кто-то зовет его, — это Иван Петрович, пожилой седеющий человек, резво догонял его:

— Пьесок, пьесок, — говорил он на ходу, — расстарайтесь для нас, не обижайте деревню!

В поземке исчез скоро Иван Петрович, как несчастный эллин, затерявшийся в Скифии, потерялся амфирный дворец и парк с павильонами, но наверху было ясно и солнечно, правильным крестом расположились морозные столбы вокруг солнца, как будто само Солнце было распято. Все сыпалось, все двигалось вниз, виднелась только верхняя половина лошади, а ноги совсем исчезали, и в поле далеко что-то показывалось и пряталось в поземке, какие-то серые тени с ушами, лошадь храпнула, и стало понятно, что волки. И еще черный ворон пересек диск распятого солнца, летел из Скифии клевать грудь Прометея, держал путь на Кавказ.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1914-1923
ГОДОВ**





ПО ГРАДАМ И ВЕСЯМ

СЛУГА ВРЕМЕНИ

Необоримая сила снегов завалила наши леса и поля, изменила очертания приметных перелесков; камней, канав, ручьев как не бывало; на огромных еловых лядинах, на месте подрастающих елей, теперь были только холмики, белые с зелеными крестиками. А главное — засыпало изгороди, и лыжа по всему этому пространству шла, как по нетронутой цельной пустыне Новой Земли. Я не узнавал местности, запутался и вечером пришел ночевать в чужую деревню. Только утром узнал я, что у приютившего меня хозяина вся семья недавно вымерла от горячки. Вечером затрепала меня лихорадка, вспомнилась ночевка в тифозной избе, и стало плохо совсем. В эту глушь не добиться доктора, и некому помогать мне в одинокой избушке: если тиф, то пропадать. Одно оставалось: не медля ни минуты, идти в деревню, искать лошадь и скорее бежать к свету фонарей, к теплу, к рельсам. Я с трудом приподнялся, но тут вдруг налетел на сосновый бор тот ужасный ураган, что в Петербурге как-то изо льда среди зимы выгнал воду и чуть не затопил все. Этот самый ураган и ударил по лесу, и началось, и началось! Бессильный, з лихорад-

ке, я повалился на кровать, и мне стало так, будто я погрузился куда-то в темное бушующее чрево океана: шум бора в ураган был как от волн, и падающие на избушку сучья — как сломанные мачты; и были тут пушечные выстрелы далеких погибающих судов, и голоса о помощи, и стоны. А сам я был где-то глубже, внутри, во чреве океана.

Прошло так сколько-то времени, и вот слышу: зовут меня наяву, по-настоящему. Это пришел Николай, наш почтальон, спрашивает, не нужно ли мне завтра что-нибудь к почте. Так мне, будто утопающему в океане, подали руку и тянут в лодку. Завтра этот пешеходный почтальон с большою палкой и клеенчатым портфелем, то исчезая в ухабе, то показываясь на перевале, длинный, сухой, вылезет из снегов в посад и вызовет доктора. Только вот как бы его теперь задержать, как бы ему все это растолковать, — такой уж он у нас, что не скоро и растолкуешь.

— Господи, господи, — повторяет Николай, — барин, барин, да что же это такое? Болезнь, говорите... какая болезнь?.. Пошава и — больше ничего.

— Пошава, это горячка?

— Нет, какая горячка... пошереть такая ходит, пришла и уйдет; это пошереть.

— А пошереть не горячка?

— Нет, просто пошава.

И смотрит на меня так, что не поймешь, где он стоит, близко ли тут у двери или бог знает где: такие у него глаза, не то голубые, не то белые, как недужные северные звезды белою ночью. Хочет согреть мне воды на керосинке, наливает полный большой чайник, зажигает фитиль, садится в ожидании на корточки. И так сидеть ему тут всю ночь, это я знаю; такая уж моя керосинка: на стакан воды — час, на два стакана — часа два, а полный чайник не вскипит до утра. Сидит Николай возле керосинки, весь погруженный мыслью в коптящий фитиль, а чуть только я пошевелился или охну в кошмарном сне, сейчас же отвечает:

— Господи, господи! Барин, барин, да что же это такое?

Знал я этого Николая, когда он еще был пастухом, в дурачках: не то чтобы он был дурак, а так, маленько слов не договаривал, да и должность пастуха не высокая; считали, что он как бы пыльным мешком был стегнут. Но это неправда, это была на нем только божья отмета, что не быть ему простым мужиком. Помню я, раз застал его на лесной поляне: спит, калачом свернулся, и рядом с ним пес, тоже спит. А мне очень нужно было знать, село солнце или еще

не садилось. На небе была густая наволочь. Вот я и спрашиваю Николая, как он думает — село солнце или еще не садилось. Смотрит на меня пастух и всей силой своей души старается разгадать, как мне нужно, чтобы село солнце или чтобы не садилось. Думал, думал и наконец спрашивает:

— А вам зачем?

— Да так, — говорю, — дожидаюсь, чтобы солнце село.

Только я сказал это — «Село, село!» — воскликнул пастух.

А солнце как раз тут и покажись.

— Что же это, или не солнце?

— Это ничего, не беспокойтесь, оно сядет, сейчас сядет.

Так, я думаю, у него это было врожденное назначение — служить человеку прямо, а не как многим другим крестьянам — возиться возле животного и потом уже выводить, что животное — человеку, значит, и он человеку служит. Как-то раз пришло нашему священнику в голову, что как бы это хорошо было для нашей местности иметь своего почтальона, чтобы шла почта не через волость за тридцать верст, а прямо бы за ней ходил раза три в неделю в посад свой человек. Мысль эта крестьянам очень понравилась, и они взялись даже батюшке человека такого представить и скоро представили Николая-дурачка, пастуха неграмотного.

— Да знаешь ли ты, хоть какой теперь год? — спросил батюшка.

— Двенадцатый, — твердо сказал тогда Николай.

— А в тысячах?

В тысячах ничего не понимал пастух и даже заспорил, что двенадцатый год считается не от Рождества Христова, а от Кирика. И сколько ему лет, и какой теперь месяц и день недели, ничего не знал пастух: человек был без времени.

— А мы все такие, — говорили крестьяне батюшке, — праздники знаем, а что прочее...

— Так ведь он же почтальоном будет; это значит, так сказать, слуга времени.

— Так водится, — отвечали священнику, — сапожник живет без сапог, портной без жилетки, а почтальон без часов.

Не по-настоящему, а так, для опыта и смеха послали Николая в посад за почтой; не верили, что принесет, не думали, что отдадут ему. А Николай всех перехитрил: когда на почте не выдали, отправился к приставу, рассказал

все, и пристав ему выдал записочку. Принес всю почту исправно, раз и два, и пошло, и пошло его дело; стали к нему обращаться помещики, дачники всякие здешние и с той заречной стороны, — пошло и пошло все к лучшему; и такой он стал важный, такой почтенный, со всеми за руку. Да нельзя и не подать руку: пока не подашь, писем он все равно из сумки не вынет. Это у него не просто все, что вот взял, сунул в кружку, как у них в городе, — да и пошел себе, не видя хозяина. Деревенский почтальон, весь залитый дождем или занесенный снегом, появляется в дверях для всех жданный и желанный. Нетерпеливо спрашиваешь:

— Письмо есть?

А он спрашивает веник — отряхнуть валенки или вытереть сапоги. Не спеша вытирает, входит, крестится на икону и, тут самое главное, кланяется, приветствует и подает руку. Нетерпение разгорается бог знает как, а он спрашивает, как здоровье.

— Есть письма?..

— Е!

И вынимает первое.

— Это к бабушке, а мне есть?

— Е!

Твердо знает, что есть, но которое — спуталось. Там ему приятель-чиновник разложил все по порядку, а вот в сумке все перепуталось. Теперь он вываливает на стол все письма — и здешние, и заречные, просит каждое письмо назвать, изучает конверт. Наконец удастся приняться за чтение своего. При чтении почтальон всегда следит за выражением лица; если радостное, то скоро встает и говорит, подавая руку:

— Ну, всего хорошего!

Если печальное, то печальным голосом скажет:

— Господи, господи! Барин, барин, да что же это такое?

И, бывает, при таком участии и расскажешь ему, в чем беда. Он слушает и повторяет:

— Господи, господи! Барин, барин, да что же это такое?

Таков наш слуга времени. Служит с любовью, но и с твердостью. Попробуйте поступить против почтового закона! Я раз в присутствии Николая завертывал в бандероль Конька-Горбунка с надписью.

— В бандерольной посылке писать ничего нельзя! — строго сказал Николай. — Что вы тут написали?

— Я написал: «Милому Яше!»

— Нельзя, не примут, зачеркните!

— Как же зачеркнуть: возможно, что второпях дома сорвут бандероль, и будет неизвестно, кому посылается «Конек-Горбунок».

— Тогда заче кните «милому» и оставьте «Яше». Нельзя же так... закон строгий, а вы пишете «милому».

Таков наш слуга времени.

Ураган всю ночь бушевал в сосновом бору, и я в своем кошмарном сне мчался на каком-то сумасшедшем судне по океану. Ночь казалась мне столетием; я тысячи раз просыпался, открывал глаза, видел Николая возле керосинки на корточках, но не успевал ему крикнуть, чтобы он ложился спать, ураган снова уносил мое судно в океан. А ехали мы по океану, чтобы открыть Северный полюс: везде с величайшим трудом измеряли широту и долготу, устанавливали всякие точки на картах, и все как-то у нас ничего не выходило, все было ни к чему. Одна оставалась надежда на Полюс, что вот, как увидим Полюс, так все и откроется: для чего мы едем и мерим. Впереди нас была огромная ледяная фигура капитана Гаттераса, и он все нам собой заслонял. Нам нужно было обогнуть эту фигуру: как только мы обогнем и заглянем ему в лицо, так все сразу и откроется. После долгих новых ужасных мучений мы обогнули огромную фигуру, посмотрели на капитана Гаттераса, а он нам и говорит:

— Полюс я давно уж открыл: тут нет ничего. Напрасно ехали!

Ужасно было это слышать, я застонал.

— Ох! — ответил мне, как эхо, чужой голос.

Это бывает иногда, что свой голос слышишь, как чужой, отдельно: он и свой, и чужой. Ужасно это бывает страшно, просыпаешься весь ледяной.

— Ох! — опять услышал я совсем явственно ответ на свой собственный «ох».

Я открыл глаза: лампа горела у потолка в железной дужке; керосинка потухла, — видно, керосин выгорел, и Николай ушел, никого в избе не было. Тут уж я, чтобы вернуть себя к действительности, утвердиться в себе, нарочно сказал:

— Ох!

— Ох! — ответил мне тоненьким тенорком другой голос. — Ох, господи, господи! Барин, барин, да что же это такое?

И тут на печи я разглядел Николая; он спал, сопел, спал крепким сном. Ураган все по-прежнему ломал огромные

сосны, швырял на крышу сучья, вся избушка ходуном ходила, пыхла, свистела — ничего этого не слышал Николай и спал глубоко-непробудным сном. Но стоило мне только тихонько простонать: «Ох!» — как из спящих уст его вылетало:

— Ох! Господи, господи! Барин, барин, да что же это такое?

В эту ночь ураган совершенно, с окном, занес мою избушку, и, собственно, все, что я рассказываю, происходило в обыкновенном снежном сугробе.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РЕНЕССАНС



Одна избушка в деревне, где я жил этим летом, была как зачумленная: никогда никто не сидит возле нее на лавочке; двор обнесен высоким непроницаемым тыном, так что с улицы видна только верхушка березы; и никто никогда через сени не выходит на улицу. Часто, особенно в праздники, слышно бывает, как за тыном возле березки плачет, причитывает женщина, жалуясь березе на судь-

бу свою: брошенная девушка — как береза, позабытая дождиком; смотрит березка на тучу, дожидает на себя дождика, а тучка чуть брызнула и мимо проходит; так и молодцы мимо девушки, и нет для нее настоящего мужа, как нет у березки постоянного дождика...

Ходила девушка по людям, прижила себе от разных отцов богданычей и привезла их в деревню растить, — вот за что и зовут ее Кругосветною, а богданычей ее — семибатьюшными или просто подкрапивниками. Бывает, к годовому празднику приезжает из Питера в деревню на родину погостить мамзель, раздушенная, расфранченная, и никто ей слова дурного не скажет: мамзель и мамзель. И есть в деревне своя такая гулящая бабенка, и опять ничего: приедет швейный агент и уедет, только разве посмеются немного, что на бабьей губе, как на воде, следа не видно. Но вот беда, когда девица станет женщиной и матерью где-то на стороне и привезет в родную деревню растить своих богданычей!

Никогда я не видел, чтобы Татьяна прямо с крыльца выходила, как все, на улицу, — всегда она ходит кругом, через двор и задами, загушенной дорожкой в поле и в лес. И даже настоящую осаду Татьяниной избушки не раз приходилось мне видеть: когда на улице выйдет у ребят что-нибудь из-за Татьянинных богданычей, разъяренные матери обступают зачумленную избушку, стучат в окна, двери и ругают непотребными словами Кругосветную. Где же тут одной силу найти заступиться за своих ребят: такой обиженной женщине одна только березка утешительница. В будни, и особенно часто в праздники, слышно, как за высоким тыном причитывает бедная, что нет у ней верного заступника, как нет у березки постоянного своего дождика.

Было так вечно, с испокон веков и во всяких местах, но то, что я хочу рассказать о Татьяне, могло случиться только в наше, самое последнее время. Хочу я рассказать, как вдруг у Татьяны получились такие волшебные вещицы, вроде шапки-невидимки или скатерти-самобранки, что, захочет — и вмиг соберутся к ее окошку все деревенские женщины и все вместе будут с ней плакать и причитывать о печальной судьбе Татьяны, девушки-матери.

Избушка моя в стороне от деревни, спиною стоит к лесу, глазами смотрит на Пьяную дорогу — есть у нас такая дорога на моховых болотах и в топком лесу; старички мне говорили, что будь эта дорога проложена для хорошего дела, так уж давно бы леший затопил ее всякими своими мочагами, ну, а как для пьяного она дела, так лешему это и на руку: по этой дороге возят вино из казенки, оттого и называется Пьяной, и за то леший хранит ее. Сидел я на лавочке возле своей избушки и посматривал, как везли мужики на телегах из посада угощение к годовому празднику, Петрову дню. Поскрипывают телеги. Там и тут, смотришь, отвернулась рогожа и блестит на солнце громадная бутылка казенного вина: все к празднику везут; а вокруг-то мошок, деревца голодные, нищие, с такою завистью смотрят на мужицкое вино: их житье на болоте у лешего куда хуже мужицкого. Смотрю я на весь этот «пейзаж» и вот, когда все телеги проехали, вижу, по этой же самой Пьяной дороге, между маленькими кривыми деревцами, идет господин в новом блестящем цилиндре, в новом английском пальто модного желтого цвета; в одной руке сверкает серебряная ручка тросточки, в другой — труба граммофона, и все-таки по всему видно, что идет это не настоящий господин, а так, ряженный. Настоящего

господина даже и вообразить-то нельзя пешком на болоте. В городе и простой мужик, надень цилиндр или котелок, все равно сойдет за барина: оттого что где-то в центре города живет настоящий господин, творец всяких мод, по нем все в городе и строится. Тут же, на болоте, сразу видно, что не сам господин идет; кажется тут, на болоте, будто идет это только господская вешалка в пальто и в цилиндре. Конечно, я остановил его, заговорил, и он мне представился: Мартынов. А поняв, что я человек образованный, бывалый, он прибавил:

— Из Ренессанса.

— Как так?

— Я стою в Ренессансе.

Тут я всмотрелся в его лицо и вдруг вспомнил, что в Эрмитаже видел нечто похожее, и именно в зале итальянского Возрождения. Понял я, что передо мною был *патошник*. Знают у нас этих людей по Эрмитажу: там возле величайших памятников искусства стоят эти особенные люди. Но и в каждом дворце, возле каждой важной особы непременно стоит свой патошник. Их множество, и живут они своим миром, в особых казенных квартирах, получая места по наследству. Когда-то их предки, настоящие мужики, усвоили возле природы закон повторения, — что весна, так и опять соловей, пахота и опять пахота. Привыкнув к городу, они этот закон переиначили: цилиндр, так и опять цилиндр, хоть и плохенький, котелок, так и опять котелок, хоть и дешевенький, лишь бы сохранить подобие с настоящим господином, создателем мод. И, должно быть, это самые счастливые люди на свете, недаром же им и прозвище дали *патошники*, значит — любители сладкого.

— Как же это вы попали сюда? — спросил я Мартынова.

— По сердечной слабости, — ответил мне Мартынов.

И, спросив разрешения, сел ко мне на лавочку и рассказал о себе, и я его как-то почувствовал. Как же: восемь лет стоял возле памятника величайшего мирового праздника и все не мог забыть обыкновенного своего деревенского праздника. Другим патошникам непонятно это чувство: родились в городе. А Мартынова все тянуло в деревню. Пробовал раз к годовому празднику съездить в родную деревню — не понравилось, перестало тянуть, и думал, что уж кончено: привык совсем к городу. Нет! Была у него давно в этой деревне приятельница Татьяна; раньше письма ему писала, звала его; не мог собраться

и стал забывать. И вот слышит в трактире, такая чувствительная пластинка поет: «Онегин, я скрывать не стану: безумно я люблю Татьяну». Услыхал, и захотелось увидеть свою Татьяну. Купил граммофон в подарок и даже эту самую пластинку нашел, так что во всякое время, когда захочешь, можно завести, и пластинка поет человеческим голосом: «Люблю Татьяну и не скрываю».

Праздник вышел, как все теперешние деревенские годовые праздники. На речном кряжу, возле бора, такого высокого, такого молитвенного, установили палатку с орехами, семечками и пряниками; сначала собрались тут девушки, набеленные, нарумяненные, тихие парни и спокойные деды с бабушками, и все было хорошо до вечера, когда начали показываться здешние бойцы *держаны* и заречные бойцы *проглоты*. И с чего это началось! Пьяный Шалдыр говорил Петру Ивановичу:

— Я такой человек, Петр Иванович, что сказать не скажу и ударить не ударю, но уж ежели мне скажут и меня ударят, так и я тоже скажу и я тоже ударю. Вот я какой человек!

— И я такой же! — ответил Петр Иванович.

— Ну, спасибо же, спасибо тебе за твои слова, — вдруг на что-то обиделся Шалдыр, — благодарю тебя за такие слова.

— Какие слова? — переполохнулся Петр Иванович.

— А что ты меня проглотом назвал, кислая твоя шерсть. Ну, подходи ближе, ну, ударь меня! Я такой человек, что ударить не ударю, а ежели меня...

С этого спора все началось: проглоты стали за Шалдыра, держаны за Петра Ивановича, и пошло. Когда немые отчего-нибудь сильно взволнуются, вдруг из уст их начинает вылетать какой-то рев, ни на что не похожий в природе: ни волчий вой, ни собачий лай, ни птичье гоготанье, — так же ревели, только во сто раз сильнее, проглоты и держаны на высоком кряжу. А по тому же самому кряжу возле того самого места, откуда исходит ужасающий рев, вьется изящная сухая тропинка, и по ней в новых калошах, с зонтиками, в узких юбках, с узелками подсолнухов в руках, набеленные и нарумяненные, парами проходят деревенские красавицы и, жеманно помахивая носовыми белыми платочками и прислушиваясь к реву, узнают в нем какие-то любезные голоса и в ответ похихикивают, как ни в чем не бывало. Тут, возле девушек, увидел я Мартынова в цилиндре и в английском пальто: видно, не

такую он застал свою Татьяну, чтобы гулять с ней на празднике. Мартынов говорил одной девушке:

— А может быть, вы уже дамочка?

— Нет,— отвечала она,— я еще барышня; скоро буду и дамочка.

— Как же вас называть: дамочка или барышня?

— Зовите барышней: дамочкой еще успеете, я всю жизнь буду дамочка, а барышней осталось немного.

И похвалилась, что не за простого мужика замуж выходит, а за писаря.

Только успела она эти слова вымолвить, вдруг перед ней как из земли вырос писарь сам и с проглотами. Кинулись на Мартынова, а держаны кинулись на писаря.

Дальше мне трудно рассказывать: я бежал вместе с девушками, и последнее, что осталось в глазах белою ночью, был высоко над рекою летящий черный цилиндр.

Вскоре после этого ездил я в Петербург и видел Мартынова; ему дали повышение: он стоит возле голландцев, вполне довольный и счастливый. Видно, что повышение и последние неудовольствия на годовом празднике погасили в нем деревенскую искру, и стал он теперь настоящим патошником и забыл о деревне. Но деревня Мартынова не забыла. Та же самая плакучая березка стоит на Татьянинном дворе в ожидании постоянно-го своего дождика, а Татьяна Кругосветная уж больше не советуется с ней, как с родной сестрой. Да и вовсе ее теперь не зовут Кругосветной: она теперь в большом почете, у нее есть граммофон. Зря, для потехи, она его никогда не заводит, а только в особенные минуты, когда раньше хотелось с березкой советоваться. В эти священные минуты, как будто совершая обряд, начинает она осторожно крутить граммофонную ручку и надевать пластинку. Все пластинки хороши для нее, но одна особенная и называется в деревне плакучею. Как только эта пластинка запоет, в голос начинает Татьяна причитывать, и те самые бабы, что раньше так лаялись, теперь собираются под окно Татьяны и голосят с ней вместе. Вся деревня плачет о Мартынове, а пластинка пост:

Онегин, я скрывать не стану:
Безумно я люблю Татьяну.



Рассветало что-то очень медленно, и медленно показывались очертания каких-то незнакомых предметов возле того дома, похожего на дупло. Наконец я увидел, что это была желтая крышка гроба, прислоненная к дому, и на столбиках против дома сидели неподвижно какие-то темные люди, как воронята, ожидающие добычи. Один из этих сидящих людей поднялся и громко, на всю улицу, стал бить

ладонью в ворота. Не торопясь открылись ворота, началась пчелиная суeta, и наконец вынесли покойника с открытым лицом, как это обыкновенно в провинции. Желтый гроб установили на дроги и медленно повезли по мерзлой, кочковатой дороге. Стало совсем светло. Видно, как в воздухе летят сверху белые мухи, а голова покойника, старичка с рыжей бородкой, болтается от сотрясений в разные стороны, словно эти летящие белые мухи беспокоят ее: мухи направо — голова налево, мухи налево — голова направо, качается и качается...

— Будет покой, когда запоют «со святыми упокой», — говаривал этот покойный теперь Иван Алексеевич, и вот теперь его несут и поют «со святыми упокой», а голова все болтается и болтается — какой же это покой! Всю жизнь человек этот суетливо беспокоился, и так странно теперь думать, что смерть, роковой предел всякой жизненной суеты, как будто для Ивана Алексеевича не имела этого своего единственно хорошего значения: успокоения. Был он, вообще говоря, человек обыкновенный, но до такой степени редкий в этой своей обыкновенности, что я хотел бы назвать его породу людей как обыкновенно-необыкновенную. Он был по своей профессиональной подготовке к жизни скорее механиком, а все его звали *химиком*. Бывают изобретатели, умирающие за идею своего изобретения и покрывающие славой свое имя и свою родину. Иван Алексеевич по своим способностям мог бы стать в ряду этих изобретателей, но чего-то ему не хватало. Бог знает чего, какого-то общего вывода; и так он всю жизнь изобретал, суетился, исключительно для поддержания существования своего собственного большого семейства, и при всех своих

огромных способностях и скромнейших целях все-таки в конце концов был неудачником, оттого что не хватало ему какого-то вывода. И был он механиком, а все звали его «химиком».

Так стою я у окна в ожидании полного рассвета, перед глазами моими голова Ивана Алексеевича с рыженькой бородашкой болтается из стороны в сторону, словно падающие холодные белые мухи щекочут и беспокоят ее.

Я говорил ему не один раз:

— Иван Алексеевич, когда же вы перестанете быть обывателем, предметом обложения по Щедрину?

— Моя жизнь особенная,— отвечал он,— если бы у меня время было писать, так я бы вас своим романом за пояс заткнул, а вот только нет времени: ведь у меня одиннадцать номеров, извольте их всех прокормить; попробуйте, и вы будете обывателем. Хорошо смеяться над обывателем тем, у которых детей парочка, но ведь я-то размножаюсь, я человек не резиновый.

Был у нас этот разговор как раз в то самое время, когда посетители торговых бань Ивана Алексеевича устроили забастовку: перебили все шайки, окна, изломали души, ванны и в конце концов совсем отказались их посещать из-за грязи и высоких цен. А тут еще, на грех, конкурент явился, выстроил новые бани, а Иван Алексеевич стал разоряться и до того дошел, что хоть по миру иди с ребятами.

— Смотрю я на образованных людей,— говорил мне в это время Иван Алексеевич,— удивляюсь: как образованный и состоятельный, так детей парочка, словно эти люди не как мы, из плоти и крови, а из резинки сделаны. Подумайте только: одиннадцать номеров у меня... куда я с ними теперь деваться буду?

Положение было, конечно, не завидное, но что значит быть химиком: в эту самую трудную полосу жизни неудержимо овладела Иваном Алексеевичем идея, казалось бы, совершенно невыполнимая: устроить в городе большой электрический театр «Модерн». Чем хуже были дела, тем сильнее и сильнее трудился химик над выполнением своей необычайной идеи: при полном отсутствии денег создать электрический театр. В это время случилось так, что у местных евреев отобрали здание, в котором помещалась их священная миква, никто не хотел давать евреям помещения для миквы; и только за большие деньги согласился Иван Алексеевич уступить им половину своих бань. Так случилось в нашем городе, что русские торговые

бани с отдельными номерами очутились рядом, дверь с дверью, со священной миквой и в ведении одного лица, химика Ивана Алексеевича. Идея кинематографа при поддержке евреев быстро стала подвигаться к осуществлению, и скоро все городские заборы были покрыты цветными афишами о всевозможных сильных французских драмах. Публика валом повалила в театр «Модерн», русские бани от неизвестной причины тоже сильно оживились, а еврейская священная миква, как основной капитал, продолжала неизменно приносить свои солидные доходы. Это время было, кажется, самое лучшее в жизни Ивана Алексеевича. Радостный, он пригласил меня однажды в свою «Модерну». Шла обыкновенная французская «сильная» драма, с карьерой и любовниками; герои были в сюртуках и цилиндрах, героини в узких, как перчатки, обтянутых юбках, а в публике было много неграмотных паозеров, приехавших в город с озера продавать снетки.

— Почему вы не дадите им что-нибудь близкое, русское?

— Я не в своей власти, — ответил хозяин, — ленты мне присылают из Петербурга, да я думаю, что русское не будет занимательно, русского и так много...

По окончании французской драмы Иван Алексеевич отыскал для меня русскую ленту и поставил «Падение Великого Новгорода». Изумительна была смерть Марфы Посадницы, когда настоящий палач тяпнул ее по шее и, отрубив голову, взял за волосы и показал публике: голова была настоящая, женская. Публике очень понравилось.

— Сильное место! — воскликнул Иван Алексеевич.

— Но ведь Марфу Посадницу вовсе не казнили, она была сослана в Нижний Новгород и там умерла своей смертью. Зачем же вы неправду показываете?

Это очень задело хозяина.

— Господа! — воскликнул он. — Это я не в первый раз слышу: меня упрекают образованные люди в отсутствии принципиальности. Хорошо так говорить, а попробуйте, сделайте. Есть дела и дела; одно дело — бог, другое дело — маммона, одно дело — спектакль, другое дело — зрелище. Это дело — зрелище, не спектакль, а вы смешиваете и хотите всякую вещь подвести под принципиальность. Нельзя смешивать бога с маммоной, — это для бога обидно и в человеке только производит путаницу понятий. Напрасно вы меня упрекаете, не всякая вещь имеет принципиальность!

Сказав это сильно и выразительно, Иван Алексеевич вдруг спохватился, ему представилось, что он обидел меня, человека, как он думал, принципиального и образованного. А может быть, его самого испугало это сопоставление его любимого дела с маммоной и захотелось как-то поправиться.

— Господа, — сказал он, — вы обвиняете меня, считая, будто это я действую. А я вовсе не я! Разве я делаю ленты, разве я имею свой голос? Ленты делают в Париже, а я только ставлю. И даже не Париж, а, можно сказать, цивилизация, всеобщее колесо. Чтобы меня отвергать, вы должны отвергнуть цивилизацию, а нуте-ка, попробуйте ее отвергнуть! Вот, например, пантера. Кто у нас на Севере в России видел пантеру? И вдруг настоящая пантера прыгает из настоящего леса и — цап! — унесла человека в кусты, как котенка. Разве это не поучительно? Кончилась пантера — начинаются швейцарские виды, пейзаж, растительность, апельсиновые деревья, Италия и Везувий. Показали географию — французская драма и самые нежные чувства любви и всевозможные препятствия к осуществлению этой любви. Кончилась любовь, началась анатомия: режут ногу, у всех на глазах вынимают из колени чашку, а публика, — что делается с публикой! Я часто смотрю не на экран, а на свою публику: как она ужасается, как она смеется и даже негодует, так негодует, будто не лента перед ней, а самая настоящая действительность. Ну, где же это, скажите, она там у себя это переживет? Нет, господа, цивилизацию нельзя отвергать. И нельзя всякую вещь подвести под принципиальность, потому что тогда ничего не будет веселого. Есть спектакль и есть зрелище, есть бог и есть маммона, — нельзя одно с другим смешивать.

— Кому же вы служите, богу или маммоне? — спросил я Ивана Алексеевича.

— Я служу своему семейству, — ответил он, — считаю, что в семействе моем самое мое лучшее; семья есть мое государство, и ему я служу.

В городе пустили кукушку, будто у Ивана Алексеевича есть секретные ленты и ими он потихоньку разжигает в своей «Модерне» любителей женского пола и потом устраивает им свидания в своих банях с отдельными номерами. Оттого, говорили в городе, и дела его так хорошо идут: с одной стороны — священная миква; с другой — парижские секретные ленты; с третьей — русские бани,

и все это связано в один узелок «для развращения местного населения». Каждому в городе всегда завидны успехи соседа, каждый хотел бы химиком быть, но не каждый способен на это и потому всегда выдумывает какую-нибудь причинку: без причинки, говорят, не съешь ветчинки. Так и про Ивана Алексеевича пустили эту кукушку по городу. Прилетела кукушка к губернаторше и возмутила высокую даму; кстати, вспомнила, что это Иван Алексеевич распустил слух, будто она деньги, собранные с белого цветка, истратила на свои бархатные юбки. Напрасно теперь Иван Алексеевич предлагал свои услуги в деле распространения славянских флагов, напрасно обещал от себя крупное пожертвование: губернаторша была неумолима и убедила начальника края закрыть кинематограф или же перенести в ту часть города, где помещаются исключительно только дома свиданий и ни один порядочный человек там не бывает. Случилось как раз в это время, что и евреи, выстроив наконец собственное здание для священной миквы, отказались платить Ивану Алексеевичу ренту за бани. Все это вместе было так неожиданно для Ивана Алексеевича, что и его «химия» не помогла: разорился в неделю.

Были как раз в это время выборы, и один местный политический деятель захотел воспользоваться разоренным и ожесточенным Иваном Алексеевичем как материалом: нужно было, чтобы кто-нибудь осмелился громко заявить о беззакониях, совершаемых губернатором.

— Что вы ходите по трактирам,— сказал деятель,— и жалуетесь всем на свою обиду. Вот взяли бы да и приняли к сердцу общую обиду.

— То есть, как же это я от своей обиды к общей перейду? Это не путь! — ответил Иван Алексеевич.

— У других такие же обиды, слейте обиду с общей. Вот вам и будет путь.

Иван Алексеевич задумался. Может быть, первый раз в своей жизни встретился он с тяжким вопросом: как от своей обиды перейти к общей обиде и почувствовать общее как свое.

— Понимаю,— воскликнул он,— понимаю: вы хотите от меня *вывода*!

И до того взволновался Иван Алексеевич, что сеть синих жилок на его седеющих висках вдруг стала багровою. Говорили потом, что от этих багровых жилок он и умер, но мне приходит в голову вопрос: «А может — от этого вывода?»

Ведь я же был свидетелем, что именно от сознания необходимости «вывода» вдруг жилки эти стали багровыми, а не наоборот: не от багровых жилок явилась необходимость вывода.

— Вы хотите от меня вывода? — воскликнул Иван Алексеевич. — Не могу... Если бы я понимал, что из-за большого и единственного я протестую... Как бы это вам объяснить? Ну, что вот из-за того, что один-единственный раз к человеку приходит, — я — видит бог — первый пойду. А как вы говорите, то я должен на свое место человека поставить; пусть он кормит мое семейство, а я, стало быть, взовьюсь. Войдите в мое положение, посудите сами, будет ли это вывод, если я загублю все свое семейство — одиннадцать номеров — детей и жену? Ведь я же раб своего семейства, я — не я, я — во множественном числе.

— Рабы освобождаются!

— То есть меняют свое положение, — ответил Иван Алексеевич, — а на что же я могу свое положение переменить? Я человек семейный, семья — мое государство! Не на что мне менять-то семью, вывода не будет.

Невозможно! Остается только терпеть и менять свой характер. Терпишь, смотришь, узнаешь и видишь, что вот все было худое, а стоит разобраться — и видишь, что худое было к лучшему, и тут двояко: вперед смотреть — все виноваты во мне, а назад — я во всем виноват, и что чаша терпения пьется горько, а выходит сладко. А как только испытал эту сладость, то и смотришь осторожно на будущее и мало-помалу приходишь к тому, что не задирай заусениц, а погладь с другой стороны.

— Зачем же гладить? Вы сделайте вывод.

— Вот то-то, что страшно. О прошлом, конечно, я могу формулировать, а сделать вывод о будущем... Как я сделаю вывод, а маммона? Я должен тогда от маммоны отказаться; а откажусь вовсе, ну, хоть уйду в монастырь, семья опять-таки умрет с голода; ведь я же семейный, у меня одиннадцать номеров, я — раб своего семейства, я — не я.

Последний раз я встретил Ивана Алексеевича в «Копилке», — так называется у нас учреждение, подобное чистилищу, где люди еще не совсем разорвали связь с жизнью, чтобы перейти в иное бытие, а в ожидании этого проводят время за картами.

— Что это такое? — сказал Иван Алексеевич. — Все

думаю, думаю, кто скажет, что это: сидят люди взрослые и целую ночь перекидывают листики. А знаете, что это? Это жизнь! Это жизнь продолжается. Как в жизни, так и тут сразу характер человека узнается до мельчайшей черточки, до волоска; люди все как на ладони, сидят и ждут своего счастья. Это жизнь! И есть тут умные и глупые, терпеливые и быстрые, рассудительные и поспешные, рассеянные и сосредоточенные. Казалось бы, просто: умный, рассудительный, терпеливый, сосредоточенный выиграет, а глупый проиграет. Нет! выходит часто наоборот. Что это? Что это еще тут действует! Вот что: *повезло* или *не повезло*. У одного все данные, и ему не повезло; у другого никаких данных, а ему повезло; ну, скажите, пожалуйста, что это?..

Заинтересованный вопросами «полевения страны», я осторожно спросил Ивана Алексеевича, как же это он решился подать голос за Смоляного, как это он свою обиду с общей сочел и сделал вывод.

— Это не вывод! — усмехнулся Иван Алексеевич. — Это я так; вижу, что все так делают, что это необходимо, — и формулировал, а настоящего вывода я не сделал. Как я могу сделать вывод? Вот карты, одному повезло, другому не повезло, и ничем тут не поможешь; так же и жизнь: я живу, кормлю свое семейство — мне везет, а вдруг — не повезет? Ведь я не могу об этом вперед сказать, и кто — бог тут действует или маммона? Одно знаю, что надо уйти в монастырь, но опять, как я уйду? Ведь я — раб своего семейства, я — не я, я во множественном числе...

— Утешались на ложе своем, вот вам и последствие! — сказал кто-то из освободившихся картежников.

Иван Алексеевич на это ничего не ответил, но только жилки его на висках как-то уж очень подозрительно надулись, как канаты стали.

А вот теперь вижу я, как везут Ивана Алексеевича по мерзлой, каменистой дороге; виски по-прежнему седые, а жилок не видно, нос заострился, но лицо не успокоилось; вся голова болтается из стороны в сторону, словно летящие белые мухи щекоцут и беспокоят ее: мухи направо — голова налево; мухи налево — голова направо; качается и качается...

Умер без вывода. Неба не видел.

Был только химиком.

РАДИЙ



— Кому это памятник поставлен? — спросил кто-то сзади меня.

— Петру Великому, — не глядя на спрашивающего, ответил я.

— А змея зачем? Какую это он змею давит? — продолжал интересоваться неизвестный.

Не хотелось говорить, и некогда было: что-то буркнул о змее любопытному.

— Да куда это вы все спешите? Что бы нам как следует поговорить... Я не здешний.

Что-то мне понравилось в лице провинциала, я остановился, разговорился.

— Очень хороший памятник, — оглядывая Петра Великого, говорил купец. — Вот Александру Третьему... — он махнул досадливо рукой, — пропащее дело!

Пошли рядом к Английской набережной, сначала молча. Я не хотел спорить с купцом о памятнике. Мне лично памятник Александру III на Знаменской площади как произведение искусства, без отношения к существующим теперь вкусам и требованиям народа, нравится. Но стоит мне только представить себя на минуту не гражданином мира, а русским купцом, как вся эстетика исчезает, и памятник извращается в злую насмешку.

— Изуродовали царя! — сказал купец и, помолчав, продолжал: — Я на минутку приехал в Петербург... Был сейчас у митрополита; очень хороший человек! Жалеет белое духовенство: «Надо, — говорит, — возвысить этот класс, чтобы не попрошайничали у народа; только уж очень денег много нужно для этого; где денег достать?» Я отвечаю митрополиту: «Денег у монахов много, взять у монахов и отдать попам. На что деньги монаху? Монах должен быть живой мертвец между нами». Улыбнулся митрополит и отвечает: «Вы — самородок, вашими устами бы да мед пить».

«У митрополита бывает!» — удивился я словам Самородка. Вид у него — человека такого серьезного, делового и прямого; непохоже, кажется, чтобы он мог прихвастнуть и сболтнуть лишнее, а пальтишко старенькое, каракуль молью изъеден, карманы блестят, — подрядчик или прасол из провинции; невероятно, чтобы митрополит пускался с ним в такие разговоры.

— На пальто мое коситесь? — заметил Самородок. — К этому я вам расскажу про себя, как я в Государственную думу попал на заседание. Гостил у меня на Волге министр и позвал к себе в Петербург в гости: «Приезжайте, — говорит, — я вам дам билет в свою ложу на все заседания Государственной думы». Вскоре я приезжаю сюда, захожу к министру, он и в самом деле дает мне конверт со своей подписью. Спрашиваю в Думе: как пройти в министерскую ложу? Тут меня обступают со всех сторон, глядят на мое пальтишко. «Подавай, — говорят, — билет!» Меня это задело. «Захочу, — отвечаю, — дам, а захочу — и не дам!» И зашумели, и завозились возле меня! «Не шумите! — говорю. — А вот посмотрите конвертик». Глянули они, чья рука на конверте, и, как тараканы, в щель! А я дальше иду, наверх, опять спрашиваю чиновников, где тут ложа министра-президента? Опять меня обступают, сердятся. Я им опять конверт в зубы. Их! они вокруг меня пляшут, как тридцать три беса... Хамство, батюшка мой, истинное хамство: не человеку, а конверту поклоняются в этом вашем Петербурге. А вы как думаете?

Самородку очень понравилось мое сочувствие, и стал он мне рассказывать о друге своем, министре, как он приезжал в его родной город и жил у него. Умный был человек и хороший; хотел он и царя отстоять, и народу чтобы хорошо было. Умный человек и добра хотел, а поди, вон что вышло! Вышло это оттого, что один он с врагами,

заклевали... Положение дел такое: вышло — вышло, а не вышло, так дышло.

Шли мы возле самого Зимнего дворца. Желая из осторожности переменить тему разговора на более спокойную, я спросил, как думает Самородок об аграрных реформах.

— Беда, разорение, — прямо ответил он, — наших мужиков согнали в степь: там без церкви, без школы, без начальства дичают. Что тут хорошего? Богатый скупает, бедный идет в хулиганы. Удивляюсь я, как такой умный человек и такой глупый закон мог сочинить: чтобы размножить нищих и хулиганов.

— Может быть, вы судите только по вашему краю, может быть, закон только для ваших мест не приходится: нельзя же всем угодить, для новой жизни всегда отчасти приходится жертвовать старым...

— А я на это вот что вам скажу. У нас в России четыре стороны: Сибирь, юг, запад и север. И во всех этих четырех странах климат, и почва, и вся жизнь разная. А если разная, то как же может быть общий закон? Как можно из Петербурга всем угодить? Невозможно, вот тут и есть вся потычка!.. Общий закон! — взволновался Самородок, — да мало ли было у нас общих законов. Вот государь Александр Третий, думаете, за грехи наши или в наказание дал нам земских начальников? Нет, батюшка, он святое дело задумал: он хотел дать нам, мужикам, *начальника*, слышите, что я говорю вам, какое слово я произношу: на-чаль-ника! Да знаем ли мы, что такое начальник? Я это вот как понимаю: мужик — ребенок, значит, что же надо мужику-ребенку? Три вещи неопровержимые нужно ребенку: первое — это отец. Вы согласны с этим? Что молчите, или без отца хотите народ оставить?

— Нет, я согласен; отец нужен ребенку.

— Отец, а второе — нужен лекарь, если заболит ребенок, и третье — нужен учитель. Эти три вещи неопровержимые. И все эти три вещи — в начальнике. Ведь вот какое святое дело-то задумал покойный государь, а что вышло из этого?

— Вы думаете, земские начальники не удались оттого, что закон о них вышел из Петербурга?

— Нет, — ответил Самородок, — никакой бы закон им не помог, оттого что класс этот кончился, у них настоящих семян нет. Этот класс, я считаю, ни закон, ни науки, ни чины, ни наказание исправить не могут. Им нужны

здоровые семена и больше ничего. Но уж поздно! Среди их класса нигде уж не найти мать натуральную...

Самородок остановил свою речь и показал мне какой-то глубокий рубец на мякоти возле большого пальца.

— Это я серпом срезал себе, когда мальчиком рожь жал. А теперь вот купец; не могу сказать, чтобы богатый, но и средним назваться не могу: так, в год на полмиллиончика обертываю. Вы вот на мне пальтишко худое заметили, — я мог бы носить получше, да к чему? Мужиком я родился, переписался в купцы, а что из этого? Другой раз и придет что-нибудь такое шальное в голову, да вот как посмотрю на это...

Опять Самородок оглядел срезанное серпом место и, словно читая по своей изуродованной ладони, стал говорить:

— Вы знаете, что теперь нужно России? Найти новый класс людей с кровью здоровой, выискать такой класс и поставить во главе. Я расскажу про себя, сейчас вы поймете, в чем тут штука. С основания расскажу и так, что у вас надолго останется. Вы не торопитесь?

Мы шли по Дворцовой набережной. Дорогие автомобили, мягко журча, проносились мимо нас. В них были часто красивые лица.

— Тунеядцы! Катятся, катятся и прокатятся. Кровь надо беречь, кровь должна быть натуральная, это первое дело. Вот у меня так она настоящая! Не поверите: семья была наша — сорок восемь душ! На три стола обедать садились: мужики, бабы, дети. Разделились не по ссоре, — боже упаси! — а вот, как пчелы роятся, так и мы на четыре улья стали жить. Батюшка завещал нам жить по примеру отца Филарета. При конце своем, помню, велел принести березовых прутиков, связал в пучок и подает: «Сломайте!» Ничего не понимаем, хотим сломать, не можем. А он смеется: «Ну, теперь, — говорит, — возьмите по пруту; сломалось? Вот так и вы: будете вместе жить, никто вас не ломает, а поодиночке вы все как пруты». И вот еще что завещал батюшка: «Берегите честь, пока есть; одежду с-нова, а разум с измладости. И если хотите счастливо жить, то особенно берегите свой *радий*!»

— Как радий, какой радий? — изумился я.

— Я, к примеру, по-своему называю; отец говорил: «Берегите свои драгоценнейшие капли жизни», — а я перевожу на радий, драгоценнейший металл. Нет ничего драгоценнее металла радия, а капли, семена жизни,

я считаю, еще дороже. «Если хотите, — говорил батюшка, — счастливо жить, то после таинства брака воздержитесь до сорока дней сочетаться с женой». Мы свято исполняли волю отца. Как после причастия пощусь сорок дней, так и тут после венчания сорок дней пальцем не коснулся жены. И для себя хорошо, как воздержание: знаете, когда воздержишься Великим постом, как сладко бывает красное яичко! И для ней хорошо: девушка молоденькая привыкла ко мне, обмялась. А то ведь, как звери кидаются: прямо из церкви пьянствовать и пьяные к спящей жене! И вот весь секрет жизни, скажу вам, и состоит в том, что драгоценнейшие капли жизни беречь и расходовать умеренно: что можно в двадцать пять лет, того нельзя в сорок, и что можно в сорок, того нельзя в пятьдесят. Мне теперь шестьдесят, я еще мог бы потомство дать, но берегу эту мою драгоценность. Вот отчего у меня и память такая. Вы думаете, я хвалюсь? Нет, слушайте, вот что я ребенком заучил и что теперь, увидите, до последнего слова прочту и не запнусь.

Самородок повернулся лицом к Зимнему дворцу, прислонился к гранитному барьеру набережной и громко, не стесняясь публики, стал читать:

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Англичанка, проходившая мимо с двумя детьми, посмотрела на читавшего псалом такими странными глазами, как мы иногда смотрим на животных, стараясь хоть сколько-нибудь разгадать, когда они что-то по-своему говорят, для нас новое и непонятное.

— «И путь нечестивых погибнет!» — читал Самородок.

А потом, после молитвы, опять о подробностях тех способов, какими сохраняется «радий».

— Видите, какая у меня память! И все оттого, что я берегу. И вам говорю, более всего говорю вам об этом самом: берегите свой радий!

И все это без малейшей улыбки и с какой-то необычайно трогательной верой в мое сочувствие, будто чужой, неизвестный ему человек — тоже его родственник, не то брат, не то сын, и весь его опыт в семье и мне пригодится, потому что человечество по существу своему — одна огромная семья. Тут были и советы усердно говеть, и какие блюда есть Великим постом, и раз в месяц очищать свой желудок, потому что желудок должен работать, как «боевые часы», и пить по утрам морковный сок, вместо кофе, и много,

много всего... все это и сберегает радий, драгоценнейшие капли жизни.

— А они не берегли,— указал Самородок на проезжавших в автомобилях богатых людей.— Их дни сочтены... Эх, если бы только можно было мне царю с глазу на глаз это сказать!..

— Отчего же вы не поговорите, раз вы были другом министра, знакомы с митрополитом? Вам это могут устроить.

— Что устроить! Мне с глазу на глаз нужно. А так, при людях сказать — силы в слове не будет. Вы думаете, я жертвы боюсь? Нет, я не боюсь жертвы, я боюсь напрасной жертвы. А с глазу на глаз меня не допустят.

Мы гуляли по набережной вблизи Зимнего дворца. Мне так странно вдруг припомнились глухие места, леса, болота архангельские, ветлужские, новгородские, где встречались мне нищие мужики с несбыточной мечтой попасть к царю. И вот она сказка и чудо жизни: мужик стал миллионером, мужик попал в Петербург, стал другом министра-президента, дает совет митрополиту, а мечта поговорить с царем по душе остается такой же несбыточной, как в пустыне у простых мужиков.

— Что же вы хотели бы сказать царю? — спросил я купца.

— Я ему сказал бы такое... такое бы сказал я ему, что века бы прошли, а мое слово осталось.

— Ну откройте же, откройте: что вы хотели сказать, какое это слово, о чем?

— О хулиганах,— твердо сказал Самородок,— я бы сказал ему, что вся Россия хулиганами полна, и осталась только, может быть, небольшая часть людей с настоящей кровью, но только с этой частью теперь уж никто и разговаривать не может,— язык другой. Наш язык получился от фундамента: за три пуда пшеницы выучил меня дьячок аз-буки, Псалтырь, каноны, вот и вся наука, а какой фундамент! Куда бы я ни пошел, что бы ни стал делать — не пошатнусь: я на фундаменте. Делаю, а за спиной своей словно голос какой слышу во всяком деле: так и так, а это не так, не нужно. А ведь они-то все говорят с нами без фундамента. Чему они учат — язык другой. Так бы вот и я сказал царю о хулиганах: уничтожить все нужно, их науку, школы, открытки с голыми бабами и их самих.

— Казнить?

— Нет, зачем казнить... Нужно дать свободу всем натуральным отцам и матерям, чтобы они могли вопить ужасным воплем по своим детям, и тогда этим воплем наполнятся все четыре стороны России. Это первое. А потом я сказал бы, что есть, есть на Руси такой класс, с готовыми для царя объятиями и с великими слезами, и если докопаться до того живого больного места, то всю эту площадь слезами залиют.

Прослезился Самородок, взволнованный своей собственной речью. Вспомнил какой-то удивительной красоты полянку за лесным хребтом у себя на родине, где он всегда, проезжая, останавливает лошадь и размышляет о премудрости царя Соломона, и ясно видит там, что все эти березки, ели и сосны не что иное, как божий ковер, и что земное устроено по-небесному, а небесное по-земному: на небе царствует бог, на земле правит мудрый царь Соломон...

Волшебная полянка! Земная заповедь «плодитесь и размножайтесь», небесная «блаженни нищие» — все там одно в другом. Есть время радости земной, и есть время иной радости, когда от земного нужно отвергнуться. Ручьем льются слезы у старинного человека, и кажется ему, — вот теперь навеки обрел слезный дар, и все теперь будет по-хорошему. Но только тронул лошадь, съехал с волшебной полянки, все пропало: земное живет по-земному, небесное по-небесному, связи нет никакой, сердце ожесточается, сохнут глаза.

Радостно вспоминая об этой чудесной светлой поляне за лесным хребтом, Самородок, умиленный, захотел непременно угостить меня чаем в трактире. А шли мы в это время по Дворцовой площади, где нет трактиров. И пришли на Морскую — все не было трактира. Как-то и в голову не приходило, что мы в Петербурге на главных улицах, что в этих местах немыслим купеческий трактир. В конце концов мы очутились в автоматическом ресторане и, опустив гривенники в автомат, добыли себе два стакана чаю.

— Приезжайте ко мне на Волгу гостить, — предложил мне Самородок, — вот где я вас настоящим чаем угощу.

— Непременно приеду, мне очень хочется посмотреть класс людей, о котором вы говорите. Вы дадите мне рекомендательные письма? Много ли их?

— Много-то много, и писем отчего не дать. Только ничего, пожалуй, не увидите, народ-то все... — Плюнул и махнул рукой: — Опачканный народ... Смотреть нечего: невидимый класс.

АСТРАЛЬ

(Возле процесса «Охтенской богородицы»)



От суммы и тюрьмы, говорят, никогда не отказывайся.

Забегал я в окружной суд на минутку посмотреть, что там творится вокруг «Охтенской богородицы», известной мне Дарьи Васильевны Смирновой. Знакомый адвокат, защитник Смирновой, подвернулся тут как-то под руку, выпросил меня, что я знаю о ней. Рассказал все начисто и не успел одуматься, не успел даже опреде-

ленно выразить желание защищать «богородицу», как уже был внесен в список свидетелей. Потихоньку прокрадываюсь в зал суда, сообразив, что дело мое как свидетеля плохо: и не знаю ничего фактического, и ужасно расстраиваются мои личные дела от затяжного процесса; ищу адвоката, хочу решительно отказаться, а он даже и разговаривать со мной не хочет: нельзя свидетелю разговаривать с защитником. Минуту тому назад все было можно, теперь нельзя, все кончено, я свидетель, и судебный пристав, ужаснувшись моему появлению в зале, отдает меня в руки солдат. В свидетельской я отрезан от мира, я сижу здесь от десяти утра до десяти вечера, совершенно как в тюрьме, и вся разница, что выйти не сам просишься, а время от времени входит солдат и объявляет:

— Желающие, не более двух!

Чего, чего только не передумалось за эти двенадцать часов неожиданного, вынужденного сидения в свидетельской вместе со всеми действующими лицами в драме «Охтенской богородицы», кроме нее самой. Но я знал ее лично, живо представляю ее между другими: вся драма здесь у нас, в свидетельской.

С Дарьей Васильевной Смирновой встречался я несколько лет тому назад в то время, когда многие очень искали сближения с хлыстами. Я знал ученых людей, которым хотелось повертеться немного с хлыстами, и подыскивал почву, чтобы полюбоваться интересным зрелищем, как пляшут в религиозном экстазе барин и мужичок. Опыты мои были естественным продолжением поездки на Светлое озеро, где я встретился с совершенно

новым для меня миром мистического сектантства. Я видел там, как наивная народная вера в бога — дедушку с седой бородой и в Христа — адвоката грешников перед строгим Судьей исчезала у простых людей и заменялась верой в божественность своего личного «я» и как это «я» совершенно так же, как у наших декадентов, не достигая высшего «я», равного «мы», где-то на пути своего развития застревало, и каждый такой «сознательный человек» делался маленьким богом, царем своего маленького царства. Меня поразило, что это высшее «я», найденное простым деревенским мужиком, каким-нибудь немолякой Дмитрием Ивановичем, становится совершенно пассивным к внешнему миру «кесареву»: для кесаря такой человек (хотя бы на словах) может повесить невинного человека, ничуть этим не задевая себя, он это делает для кесаря, а не для себя. Получалось как бы два человека в одном: один механический кесарев и другой в футляре кесарева человека настоящий, божественного происхождения. Это было состояние, совершенно противоположное староверскому, где дух и плоть слиты в единую сущность. Старинное крепкое православие этих людей казалось мне в Ветлужских лесах берегом обетованной земли, от которого почему-то отчаливал богоскатель-немоляка. Куда он приплывет, этот маленький бог, где его маленькое «я» сольется с другим, третьим и станет большим, сильным, созидающим новую землю? С этим вопросом я приехал в Петербург и сошелся с так называемыми хлыстами. Теперь я думаю, что поиски мои на этом пути безнадежны: желанный берег обетованной земли всегда назади, как мечта о золотом веке, а берег будущего весь в островах, и уж тут, чтобы судить, какой остров лучше, нужна вера собственная и полная. Оказалось, например, что и хлыстовство не есть цельная религия, как представлялось мне раньше, община верующих, где эти разъединенные немоляческие «я» сливаются в общее: хлыстовство все в движении, все в искании, все в островах. Нет никакой определенности в очертании хлыстовского материка, и самое главное отличие хлыста от православного, на мой взгляд, состоит в том, что для православного Христос один раз воплотился, для хлыста этого Христа воплощенного не было; главное состоит в том, что в мироощущении православного Христос был и мир им спасен раз навсегда, для хлыста мир не спасен, а нужно сделать личное усилие для спасения от мира, который пребывает в состоянии

неподвижности и косности. Совершенно другое понимание: для одних мир спасен, для других мир как сотворен, так и остался, у одних главное, что был Христос, у других главное, что будет Христос, когда я сделаю усилие уйти от мира. Православие — покой и смирение, хлыстовство — движение, внутреннее строительство и гордость. Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его страшный двойник, это подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в темное будущее.

Для человека, как я в свидетельской, внезапно лишенного книг и вдруг паделенного досугом, каждое лицо свидетеля становится книгой. Если бы на моем месте сидел судья и тоже без всяких фактов смотрел бы в лица свидетелей, его поразила бы чистота и одухотворенность лиц сторонников обвиняемой. Так странно, почему настоящие исследователи сект не обратят на это внимание как на исходный пункт исследования, а почти всегда начинают с какой-то ни на чем не основанной грязи половых отношений, с фантазий о свальном грехе. Сколько мне известно, единственно Розанов чистоту хлыстовства возводит в принцип. Не будь у хлыстов, — говорит Розанов, — учения (точнее, необузданного порыва) об абсолютном, обожествленном, незагрязняемом девстве — нет самой секты, не с чем полемизировать, нет хлыстов! На этом противоречии двух тезисов, исповедуемых согласно миссионерами: 1) у хлыстов есть свальный грех, 2) хлысты абсолютно девственны — лучше всего можно видеть, до чего младенчески полемика их, до чего не установлен самый «аз», как постижения ими наших сект, так и борьбе с ними... Из страшной затаенности радений и из всемирной связанности застенчивости и пола, стыдливости и чувственности возбуждения, вероятнее всего предположить, что на радениях происходят, начинаясь танцами, какие-нибудь обряды поклонения, почитания, умиления в отношении их «христов» — но как именно девственников, и «богородиц» — но как именно девственниц же.

К сожалению только, Розанов часто, поймав какую-нибудь верную мысль, развивает до абсурда. В этом случае он предлагает воспользоваться девственностью хлыстов для уменьшения населения, которое размножается по закону Мальтуса больше, чем растут средства жизни. Он при этом забывает другую особенность хлыстовства: их духовное

пьянство. Это же не обыкновенные люди, живущие одною жизнью. Хлысты похожи на запойных пьяниц, только пьющих не простое, а духовное пиво. Минет порыв, и хлыст, как самый обыкновенный человек, живет и с женою «по плоти», и размножается, как и все другие потомки Адама. В том-то и ужас хлыстовства, что у него разделение человеческого существа не скорбь, как у нас, а вполне сознательная мера. И никаких законов общественных, государственных и всяких других для нас, природных людей, из их учения нельзя вывести. Нашу жизнь они живут по нашим законам, свою духовную по совсем особым законам духа.

Мне приходилось слышать от самих хлыстов, что «из языческих религий» более совершенной они считают православие. Но язычество, как поклонение идолам, относится к внешнему миру, и хлысты, как ко всему внешнему, равнодушны к православию. Так как громадная масса хлыстов прошла через православие, то многие из них и сохраняют унаследованные привычки от «языческой религии»: имеют иконы, ходят молиться в православные храмы. И вот мы видим иногда хлыстов, молящихся в православном храме, ничем не отличающихся от других молящихся. Но это одна только оболочка православия, внутри яблочко совершенно иное. Так, внутри самой же православной церкви, не колебля с виду пламени восковой свечи, возникает огромное царство хлыстов неуловимых, неопределенных. Учение, пришедшее из глубины веков церковной истории, пустило корни в России и до того утвердилось, до того обжилося, что не узнать, где начинается хлыстовство и где кончается православие. И самое страшное для стражей церковных, что там, где вспыхивает наибольшим светом православие, тут же курится и хлыстовство: Иоанн Кронштадтский — и тут же ионниты. И вот почему, когда вы видите православнейшего братца Иванушку, проповедующего трезвость в народе, — смотрите, тут же где-нибудь в толпе людей стоит миссионер и собирает материал, чтобы объявить братца хлыстом.

Хлысты считают православие «религией языческой», как древние христиане считали господствующую религию Римской империи, но теперь нам представляется, что те христиане как будто с неба упали и открыто вступили в борьбу. У нас же хлысты вовсе не борются, а молятся вместе с «язычниками», ничуть не нарушая законов своей собственной религии, новое «христовство» имеет всю

видимость православной религии, но разрезал яблочко — и все не то. Хлыстовство не выступает, а заводится внутри, как рак, и оттого оно так страшно для всякого верующего в единство православной церкви.

Маленький богоискатель заводится от разных причин, больше всего от природы: таким беспокойным уж он родился. В Петербурге такой богоискатель выучивает азбуку религии у Фетлера (баптист). Если его искания неглубоки и все сводится к ближайшему успокоению себя, то он так и остается у Фетлера в числе верующих овец рационалистической секты. Мистик предпочитает щелку братца Иванушки: сунет в щелку записку и получит спасающее маслице. Тут выучивается своя мистическая азбука, но природный богоискатель не останавливается на этом, идет в трактиры, где тоже беседуют русские люди о боге, и там уж неминуемо соприкасается с каким-нибудь царством хлыстов.

Разделение хлыстовства на царства сводится, наверно, к тем же причинам, как у нас, например, разделение социал-демократов: вожди между собою расходятся. Это только на улице называют хлыстовских проповедников «христом» или «богородицей». Настоящему вождю никак нельзя самому называться «христом» или принять это имя от других, как дар. Христос через него говорит, но он не Христос. Соблазны бывают, однако, очень большие. Мне рассказывали, что в Костромской губернии народ поверил в одного проповедника, как в бога, и тот до того сам уверился в том, что обещал свое вознесение. Проходят годы, народ ему поклоняется, носит дары, а он все не возносится. Народ наконец требует его вознесения, и вот он восходит на колокольню, бросается в воздух и разбивается. То же было, я знаю, и в Задонском монастыре. Так что в России время от времени люди падают с колокольни. Каждый хлыстовский вождь назовет таких людей дураками, а сам всегда на этом пути. У одного больше «пророческий дар», у другого меньше, к одному идет больше людей, к другому меньше: говорят, что таких царств, часто враждующих друг с другом, великое множество. Так вышло и с «бывшим новодеревенским христом»: все его поклонники перешли к его ученице Дарье Васильевне Смирновой, «Охтенской богородице». В числе свидетелей по делу Смирновой есть несколько хлыстовских вождей, враждующих между собою, совершенно по-разному понимающих хлыстовство, но все они собрались сюда защищать «богородицу», значит,

есть же между ними и нечто общее. Здесь тоже и сам обиженный своей ученицей «новодеревенский христос», и, кажется, он даже больше других прославляет и мудрость, и нравственную чистоту «богородицы».

Я был бы совершенно неправ, если бы все современное «религиозно-философское движение» в интеллигенции характеризовал бы психологически как стремление повернуться с хлыстами. Совсем даже напротив, тем оно и отличается от всех прежних движений, что стремится отстоять внецерковную культуру, которой тайно враждебно православие и явно враждебно хлыстовство, но для живого человека и нетерпеливого крайне тягостна эта ученая религия, в которой «Христос и Антихрист» обратились в героев исторического романа. Признавая разумом всю огромную ценность задач людей, взявших на себя крест спасти во Христе мировую культуру, втайне, сердцем, я, как понимаю теперь, был с людьми, протестующими этому движению, и горел любопытством посмотреть, как они, такие ученые люди с лысыми и в очках, будут вертеться с хлыстами. У меня были кое-какие связи у хлыстов, но при моем настроении нечего было и думать, чтобы меня допустили к каким-нибудь радениям: притворяться я не умел. «А вот они, эти специальные мистики, — думал я, — наверное же, имеют что-нибудь общее». Слух о моих связях распространился, и вот однажды приятель мой подвел ко мне главного мистика.

— У вас какая платформа? — спросил он.

Я растерялся. С самого начала знакомства моего с декадентами поразил меня их обыкновенный рассудочный язык: пишут таинственно, говорят и живут обыкновенно. Я уже заметил такое странное явление, но ничего подобного я не мог ожидать: «Какая ваша платформа?»

— Языческая или христианская? — подсказал мистик.

Дело мое было совсем плохо, но приятель, хорошо понимавший меня, выручил:

— Христианская, конечно, христианская!

И подошли еще другие подобные люди с христианской платформой, и все мы тут же условились ехать к «богородице».

Все было необыкновенно в нашем путешествии к Дарье Васильевне: и как собрались в моей комнате, я то есть, и как мы в шубах сидели молча, дожидаясь остальных членов экспедиции, — все-таки же это была ученая экспедиция, хотя и протестующая крайней учености

главной струи религиозно-философского общества. И как потом ехали на извозчиках по цветущему саду — белыми цветами представлялся иней деревьев, освещенный электричеством уличных фонарей. Было очень много этих белых деревьев, и потому только я теперь догадываюсь, что это было в Лесном, а не на Охте, как почему-то представляется. В это время «Охтенская богородица» жила в Лесном на какой-то глухой улице: тянулись серые заборы, и всюду были эти зимние деревья в белых цветах. Постучались прямо в забор, и оттуда мужской голос спросил нас, кто мы такие и зачем. Только было как-то неловко от этой таинственности, до того уж все были почтенные люди. Я очень боялся рассмеяться в самый главный момент. По скрипучей деревянной лестнице с половиками ввели нас в необыкновенно чистую комнату и оставили сидеть и дожидаться. В полной пригородной зимней тишине куковала кукушка на старинных часах. Кот вышел к нам какой-то особенный, подосланный. Только что приятель мой высказал потихоньку одно свое предположение о подосланном коте, как вдруг показалась «богородица».

Не знаю, оттого ли, что настоящую богородицу я всегда себе представляю старушкой, или чистота комнаты напомнила мне строгую опрятность старообрядческих скитов, только я представлял ее себе суриковской старухой. Вышла же к нам совсем не старая, красивая женщина в зеленом платье, с черной косынкой и чуть-чуть напудренная. Начались вопрошания мистиков из области астрального мира, в котором я ничего не понимал, она отвечала строго, обдуманно и так, главное, значительно и как-то верно, очень верно. Спрашивали все по очереди, и со страхом ожидал я, что очередь неминуемо должна подойти ко мне. У меня вертелся в голове только что прочитанный роман Ропшина «Конь бледный»; когда очередь дошла до меня, я спросил «богородицу» на тему романа: вот я, положим, русский революционер и хочу бросить бомбу, я должен убить... как отнесетесь ко мне, как вы спасете меня?

— Убить? — сказала «богородица». — Что же, и убейте, это ваше дело. Это природа, внешнее... Я думала, что вы приехали посоветоваться со мной, как нужно управлять людьми, а не убивать их.

Вот и на все так отвечала, точно, умно, сильно. И совсем не географически вспоминаются мне эти зимние деревья в белых цветах.

Получив известные впечатления от «богородицы», я лично не в состоянии принять обвинение в ее безнравственности и решительно присоединяюсь к ее защитникам. Вся свидетельская разделяется на совершенно отличные породы людей. Во главе одной группы «плотский» муж «богородицы», за которого она некогда вышла замуж, как все выходят, и потом его прогнала. У него и вид такой, мужа прогнанного и большого прехитрейшего домогателя: все шепчется, все поглядывает туда и сюда. Он предводитель мирской части свидетельской, неверующий в «богородицу», вождь фавнов и сатиров. Невдалеке от них великолепный православный батюшка «режет» какого-то безбородого, безусого юношу, должно быть, скопца:

— Знаем мы вас! У нас одна богородица, у вас сколько хочешь, знаем мы вас!

— И у вас не одна: Тихвинская, Казанская.

— Молчите, богохульник!

Я выбираю себе одного свидетеля со стороны мужа «богородицы», человека скромного, с усталым лицом, спрашиваю, в чем, по его мнению, виновата «богородица».

Выходило из его рассказа, что виновата она была в том, что он в нее верил.

— Вы ученые люди,— говорил он,— вам легко не поверить, а нам, темным людям, все верится.

Работал несколько лет на фабрике и отдавал деньги ей для общины, а она вон себе дома выстроила.

— Перестали веровать из-за домов?

— Из-за этого. И потом она меня с женой разлучила: я ушел, а жена осталась.

— Почему же ей дома не мешают?

— Женщина...

И правда, верующая половина свидетельской состоит больше из женщин, сидят овечками, светятся, как восковые свечи. Какая из них жена неверующего мужа, трудно сказать: все одинаковы в чем-то главном, так что и не замечашь черт их внешнего лица. Зато у фавнов и сатиров все разные лица, а уж у самого главного мужа так все и движется в разные стороны: очень беспокоен.

Третья, самая интересная, группа свидетелей — это представители разного царства петербургских хлыстов: бывший «новодеревенский Христос», учитель «Охтенской богородицы», старичок светящийся, но сильно запивающий. Великан Рябов, косая сажень в плечах, красавец с горящими глазами. Несколько лет тому назад он,

я помню, подавал митрополиту Антонию прошение, чтобы допустить его с проповедью христианства к хулиганам в притоны и вертепы, обещался всех их собрать «под голубое христианское знамя», приговаривая постоянно: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного!» Настоящий Стенька Разин, только вот мешает эта какая-то его особенная религия. Совсем особенный человек Легкобытов, основатель, быть может, самой интересной во всем свете секты «Начало века» и признаваемый некоторыми, как Рябов, за антихриста. Все эти различные, враждебные в своих толках хлыстовства люди пришли сюда защищать «богородицу». Не было между ними только замечательного человека А. Г. Щетинина, кочующего между хлыстами, революционерами и сыскным отделением департамента полиции. Все они мне были хорошо знакомы по прежним продолжительным с ними беседам. Рябов теперь уже совсем по-дружески подходит ко мне и, глядя на мою вечно дымящуюся трубку, говорит:

— Брось ты свой самовар!

Я отвечаю, что трубка один только из бесчисленных моих пороков и что вообще оставил надежду спастись этим путем.

Другие «цари» поддержали меня.

— Ничего в этом нет дурного, — сказал бывший «новодеревенский Христос», — коптит, вот и все.

— Ветхого Адама коптит! — поддержали другие. — Внутреннего человека это не коснется.

— Все-таки ж внутренний человек его преклонился перед страстью, — возразил Рябов.

— А почему ты думаешь, что он преклонился: внутренний человек, может быть, об этом у него и не думает, от ветхого Адама до внутреннего далеко.

— Огромная дистанция! — согласились все.

Только упрямый Рябов по-прежнему настаивал на своем:

— Лежат мертвецы рядом, разлагаются, друг другу не пахнут, а подходит живой человек и не может терпеть.

— Отойди в сторону; пусть мертвые с мертвыми, какое нам до этого касательство.

Так мало-помалу от моей трубки и ветхого Адама перешли вообще к обсуждению связи внутреннего мира с внешним, личного и общественного, к «божественному делу» Дарьи Васильевой и к суду над ней.

— Суд? — говорил «новодеревенский Христос», — вот

мы сейчас здесь внутри сидим и все глазом видим, кто прав, кто виноват, а суд за каменной этой стеной, между ним и нами непреходимая пропасть.

Эту пропасть он почему-то назвал словом «Астраль» и объяснил ее так, что в каждом из нас три человека: плотский, душевный и духовный, пропасть Астраль лежит между средними людьми, где каждый знает только себя, а другого не видит. Так и судья не может увидеть нас: между судьей и нами пропасть Астраль.

— Эту пропасть судья перейдет, когда установит «я» внутреннего человека, а когда он установит, то увидит это свое «я» в другом человеке, в обвиняемом, и когда он это увидит, то признает виновным себя самого и, значит, судить ему будет некого: сам виноват. Поэтому сказано: «Не судите и не судимы будете».

На это я сказал, как же нам теперь при таком признании судить: вот сейчас нас позовут всех к присяге.

— Что же, — ответили мне, — и будем судить, как люди плотские и греховные, внутреннего человека это не касается, суд есть сила греха.

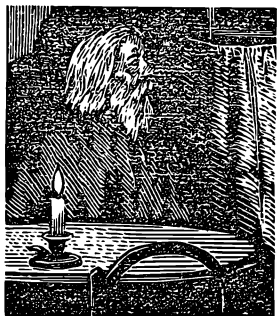
И, в самом деле, через несколько минут после этого разговора, все эти люди принимали присягу, целовали крест и Евангелие совершенно так же, как верующие православные люди. Как и обыкновенных людей, их вела к этому «сила греха».

Исключительный по суровости приговор суда над «Охтенской богородицей» не вызвал во мне обычного чувства сострадания, потому что я уже предвижу торжество внутреннего человека «Охтенской богородицы». Сострадание бывает там, где поруганная плоть ищет заступничества духа на стороне, наивно веря в соседа, восклицая: «Братцы, помогите!» А у хлыстов давно уже в себе самом найдено заступничество. Они вообще неистребимы ни с какой стороны. Хлыстовство — это другой конец староверства. Это — неумирающая душа протопопа Аввакума, теперь уже глубоко равнодушная к своей казненной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть.

Есть ли выход из хлыстовского порочного круга в широкую мировую жизнь? Я долго думал, что выхода нет, но вот на моих глазах в одной из сект, происходящих прямо от хлыстовства, совершилось воскресение мертвой гре-

ховной плоти. Внезапно, после долгих мучительных переживаний, у сектантов душа соединилась с плотью, и секта превратилась в социалистическую общину. Поучительную историю этой попытки перейти пропасть Астраль по близости впечатлений мне еще очень трудно передать.

ОТЕЦ СПИРИДОН



Перед войной, когда жили мы не спеша, удалось мне до самого океана пройти весь Северный край, все это государство, умершее и ныне не существующее, как сказка, внутри живого, обыкновенного. Встречи с людьми далеких времен бывали в лесах, на берегах порожистых рек и спокойных озер. Мешались по воле сказителей времена и сроки, но одно было у всех:

— Близок час,— говорили они,— скоро Хозяин будет собирать урожай, плоды падают зрелые, нивы давно побелели.

С улыбкой, как сказку, слушали мы тогда о признаках конца этого света: что телеграфная проволока опутала землю, что люди стали ходить под крышами-зонтиками, что всё сосчитали, и землемерная цепь антихриста пролегла по всем заповедным лесам Севера. Теперь, во время войны, без улыбки оглядываешься в ту сторону и думаешь: «Уж и вправду ли не сбывается, не Хозяин ли это у нас собирает свой урожай?!»

Обойдя все это умершее государство так, будто шел по земле, бывшей некогда морским дном, под конец я посетил древний город, столицу этого государства. Город остановил меня красотой великого множества древних храмов, а в лике всюду изображенного Христа было странное сходство с чертами суровых лиц поморов, и как будто он говорил, как поморы:

— Близок час, скоро Отец мой начнет собирать урожай, ветви склонились от зрелых плодов, нивы давно побелели.

Жизнь настоящего времени была в этом городе жалкая, как рубище нищего. Но терялась мера текущего времени

в этом древнем городе, и часто я здесь забывал даже часы завести. Время тут люди считали по звону к заутрене, к обедне, к вечерне.

— Ну, что ваши говорят? — спросит один.

Другой отвечает:

— Стоят, да вот сейчас к вечерне звонили.

Сколько сказаний, легенд и преданий сохранилось в городе: вот камень, на котором один святой приплыл сюда из Рима, вот умывальник, куда святой заключил черта и потом ездил на нем верхом, — это всем известно. А сколько тут неизвестного — ни перечесть, ни пересказать, двор каждого жителя неразрытый курган. Особенно нравилось мне одно сказание в мертвом городе, как некогда из оскверненного места в лесную глушь церковь ушла с семью праведниками и там теперь пребывает: умирает один из семи, на его место является новый, и так вечно, до скончания мира эти семь молятся, и этим держится, не обрываясь, род человеческий.

Есть в этом городе священник отец Спиридон, человек старый. Живет он, как обыкновенный священник, в одном из деревянных церковных домиков, женат, имеет детей. Матушка, тоже старая, еще с ним, дети разбрелись по свету. Когда я захожу к старику, то всегда вспоминаю сказание о семи праведниках. Стою на ступеньке дома, зимой заваленной снегом, без следа человеческого, с волнением ожидаю: «Жив ли, не ушел ли?» Вытягиваю из ворот проволоку, пускаю, что-то звенит, лает собака, а калитка все не отворяется. Я уже привык к этому долгому ожиданию, знаю, что матушка в это время мечется, ищет что-нибудь накинуть на себя. Открывается форточка: показывается лицо ее: отец Спиридон еще с нами. Гремят, звенят крючки, замки, всякие тяжелые запоры-засовы: за семью затворами живет человек, мимоходом пройдешь, ничего не увидишь. Я, хорошо знакомый, и то сколько привыкаю к тишине, окружающей старца.

— Матка! — зовет время от времени отец Спиридон свою матушку.

Она появляется с подносом, вся в ровных мелких морщинках и с таким вещным взглядом, что ничего от нее не укроется: пролети паутинка — дунет, проползи пау-чишка в булавочную головку — схватит. Заметила нагар на свечке, ни за что не успеешь разобрать, как она его удалила,

только видишь — меркнет свеча без черного крючка в пламени.

— Ты что это? — рассеянно спрашивает отец Спиридон.

И матушка на это всегда отвечает каким-то «фигаро». Я долго не понимал, что бы значило это «фигаро», и, по правде, до сих пор не знаю, только думаю, что «фи», значит, скверно, потом еще гарь, и вместе выходит приличное для гостя название французской газеты «Figaro», а главное, сокращает сложную фразу: «Ничего, ничего, это я так, беседуйте, дрянь тут нагорела, так вот я ее...»

Шмыгнула матушка; и опять у нас с отцом Спиридоном не ладится разговор, у меня мелькает разное такое «фигаро», а он рождает слова, как детей, в муках.

Великую свою тайну открыл мне отец Спиридон в одну из таких минут: раз открыл мне отец Спиридон, за кого он вынул частицу в проскомидии, за Льва Толстого, за Льва! Слово за слово, разговорились, и еще узнал я: за папу римского давно уж молится отец Спиридон, за Лютера, за князя Кропоткина; как шла жизнь, о чем думал — находил лиц тех и вынимал частицу, и так их много, живых и мертвых людей, скопилось в церкви отца Спиридона. Тут были французы, немцы, и евреи, и христиане, и язычники, и кого, кого тут не было. Для всех них отец Спиридон строил великий храм, подобный храму Соломонову. Это храм Святой Троицы, где весь мир сходится во имя отца, и сына, и святого духа.

В начале войны я посетил отца Спиридона. «Как-то он теперь молится, — думал я, — во время войны за соединение всех людей в одну церковь?» И вот снова я сижу у знакомого круглого столика. Отец Спиридон подходит к окну, всматривается, вслушивается. Новые, необычайные звуки врываются в тишину его жилища: вопли женщин, как на похоронные заплачки, скрип телеги смерти и песни солдат. В этот вечер окончились там какие-то большие приготовления и все двигалось вперед. Мы видели, как по улице прямой к выходу из города на запад, где садилось теперь солнце, с песнями двигались войска, рядом с ними шли с узелками в руках плачущие женщины, и там дальше, за городом, куда хватит глаз, до самого солнца все были штыки. Там все пели, а здесь плакали.

В необычайном волнении отец Спиридон сказал:

— Я на минутку был с ними, и меня потянуло... меня... Это было начало нашего разговора, и в этот вечер я узнал, что храм Святой Троицы все строится и отец Спиридон теперь молится за виновника войны.

— За Вильгельма? — спросил я.

Неверно и некстати вышел мой вопрос. Нет, не за Вильгельма: отец Спиридон нашел в себе силу помолиться...

— За то существо, — как выразился отец Спиридон.

И, будучи не в силах выговорить «дьявол», рассказал мне, как он понимает «то существо» — причину войны.

В этот раз опять, как будто про отца Спиридона, я записал в этом древнем городе другое сказание: в одной церкви служил священник живым людям обедни; когда плохо стало между этими живыми, священник скрылся и, невидимый, стал ночью служить людям умершим. Так и говорят в этом городе старые люди, когда слышат звон среди ночи: «Это невидимый батюшка служит обедню покойникам».

ВЛАСТЬ И ПАХАРИ



Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время что-то скрывать от народа. Хуже ничего нет, потому что сам же народ больше всяких властей его хочет победы, наивнее ничего нет, потому что, как ни малограмотен народ, но в такое время все становятся как бы грамотными. Как будто можно бросить камень в пруд и запретить воде волноваться.

Живу я в довольно глухом месте, нарочно посылаю в город за газетами три раза в неделю, и все-таки, если что-нибудь совершается выдающееся, большей частью узнаю я от кого-нибудь из местных малограмотных людей. Так вот и в этот раз чуть ли не раньше газет узнал я от простых мужиков про события возле Государственной думы. Понятие, выработанное парламентской историей и произнесенное теперь у нас, вызвало из недр простого народа широкий отклик совести. И еще бы не вызвать, когда каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а *внутрен-*

ность, снабжающая армию. Можно себе представить, какое впечатление на простой народ на почве этой больной «внутренности» вызвало известие о министерстве общественного доверия. Ответственное министерство в народе называется просто *ответственность*. Спросишь говорящего об ответственности, кто и перед кем должен отвечать.

Ответят — *сподручники*.

Так называется правительство.

А на вопрос, перед кем отвечают сподручники, говорят: — Перед государем, народом и Думой.

Иногда прибавят, что Государственный совет — это лишнее, от него только путаница.

Иногда, кроме сподручников, называют хищников-купцов, всех, кто наживается на несчастии войны, а то даже назовут какое-нибудь лицо, более других виноватое в недостаточном снабжении армии.

Странно бывает слушать, как этот народ, мирный и малосведущий в истории, начинает теперь по-своему обсуждать понятия, выработанные историей других народов.

Первую весть об этой «ответственности» занес ко мне Хорь. Мне уже приходилось писать здесь, что у меня есть сосед-хуторянин, тот самый тургеневский неумирающий Хорь, который, в противоположность самоуглубленному Калинычу, занят вопросами общественности.

— В Думе заявили ответственность! — сказал Хорь. И сейчас же прибавил: — Теперь ему пощады не будет.

«Его» Хорь назвал по имени главного виновника в недостаточном снабжении армии.

— Испитилась вовсе Россия, — продолжал Хорь, — но, может быть, теперь у нас будет настоящая власть.

— Какая же это будет власть? — спросил я.

— Административная, — ответил Хорь.

Конечно, я был поражен: в другое время кто же больше Хоря этого бранил нашу административную власть; слушая его беспощадную критику, можно бы долго считать его за отчаянного революционера, говори он свои речи не на своем уединенном хуторе, а в селе, так давно бы ему в кутузке сидеть, и тут вдруг этот же Хорь понимает ответственное министерство как торжество административной власти!

— Что эти суды и пересуды! — говорил Хорь. — Таскался я много лет по судам, нам нужна власть твердая, короткая, неукоснительная и справедливая.

— Может быть, такая божественная власть?

— Божественная власть, конечно, такая, только до бога далеко, а у нас на земле власть административная.

Понятно было одно, что это не та наша обыкновенная власть, а новая, идеальная, — пахарь взалкал по хорошей власти.

Я залюбовался клеверным полем.

— Какая благодать!

— Благодать-то благодать, — усмехнулся Хорь, — да недалеко уйдешь с этой благодатью.

Он хотел сказать, что нет ничего лучше клевера, да вот приходится оберегать его.

— Народ не может оберегать себя, — сказал Хорь, — народ этим не любит заниматься и не может. Нужна власть! Наше правительство слабое: не знает времени. Правительству нужно время знать. Теперь время такое, что каждого надо выслушать, понять, исполнить, что желает народ. Время сейчас народное. А вот дай перейдет срок — и он опять всунется к полям, замолчит: пожалуйста тогда, делайте, что хотите, ваше от вас не ушло и не уйдет во веки веков, потому что народ власть не любит. Ихнее от них не уйдет.

— Вернется народ в поля, — сказал я, — опять произвол?

— И опять произвол, а потом опять чистка!

— И так до скончания века одно и то же?

— До скончания века, до последнего Страшного Суда.

— И потом?

— Потом так и останется: власти больше не будет, и народ будет сам, последние будут первыми, и первые — в огонь. Только до того времени далеко, сейчас народ без власти не может.

Так вот и в самых глухих местах по-своему разговаривают о всем, что пишут в газетах, разговаривают грамотные и неграмотные; время такое, что все тайное становится явным.



СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

І. ГРОЗА

Вечером я прохожу мимо одного холма и там, между прочим, замечаю наверху тучку кровавого цвета и к ней по холму медленно подбирается пахарь.

Заметная была тучка, многие потом ее вспоминали и говорили, что тучка была перед войной. Старый летописец и начал бы с этой тучки кровавого цвета писать о войне.

Еще бы летописец поведал о горящих на сотни верст лесах, о солнце, желтом, померкнувшем от дыма, о небывалом на Севере зное, о большой забастовке в столице.

Вздорожали неслыханно продукты; в русской деревне стало дороже жить, чем за границей, пьяные, нищие, всякий бродячий люд появился в громадном числе, и стало среди состоятельных людей обыкновением от всего этого уезжать за границу на летнее время, а в Государственном совете беспомощно ломали голову над изысканием средств спасения от *пьяного бюджета*.

Почти уже накануне войны один старообрядец перечислил мне все эти признаки конца, присоединил сюда шесть пролетевших над селом аэропланов и архиерея, благословляющего народ, стоя в аэроплане, в соответствии с этим привел текст из старинных книг, что будто бы перед самым концом мира полетит по воздуху какой-то монах...

В последние часы я слушал песню кузнечиков в спелых полях: это была последняя песня природы. В эту ночь наконец все разрешилось страшной грозой. Сквозь тонкий сон я слышал громыхание на небесах и тут же под окном человеческий крик:

— Старосту, старосту!

При свете молнии вижу на улице всадника и вокруг него, как силой молнии, пораженных людей. Это, как сила молнии, поражающее слово было самое ужасное в мире:

— Война!

II. ТЕЛЕГА СМЕРТИ

После первой суеты наступило молчание, казалось, будто все чувствуют себя виноватыми. По дороге, мимо моего окна, в несметном числе из разных деревень и сел катятся телеги. С утра до вечера и в сумерках северной ночи, среди всеобщего молчания, катится телега смерти. Напрасно я открываю окно, стараясь увидеть что-нибудь особенное,— все то же самое: обыкновенная крестьянская телега и в ней осужденный. Раз в телеге смерти я увидел одного мужика с семью малыми детьми...

— Куда? — спросил я.

— Все туда же, — отвечает, — иду себя и вас защищать. Больно уколол: «и вас».

— А дети?

— И дети туда же. Померла жена, не с кем оставить, везу и детей.

Больно укололо «и вас защищать». И вот я сам на телеге. Со мной на войну едет угрюмая старая акушерка с волосатой бородавкой на щеке. Возле дороги стояли мелкие болотные сосны. Я начинаю разговор с акушеркой об этих болотных соснах.

— Сосны будто игрушечные!

— Это не сосны! — отрезала акушерка. — Сосна не растет на болоте.

Но я осторожно настаиваю; я очень хорошо знаю — это сосна.

— Сосна не растет на болоте,— отрезала акушерка окончательно и замолчала.

Немного погодя наша лошадь остановилась, ямщик посвистал, еще посвистал, нет: лошадь не за тем остановилась. Я вслух сказал:

— Уморилась!

Акушерка отрезала:

— Нет!

— В чем же дело?

— Теперь все лошади останавливаются,— сказала акушерка будто немного помягче.

Я обрадовался, согласился: вероятно, их мобилизация напугала, измучила.

— Нет,— отрезала опять акушерка,— всегда лошади во время войны вдруг останавливаются.

И кучер согласился с ней: у кучера с акушеркой было как будто соглашение против меня. И я вдруг понял все: это они, бессловесные труженики, так передавали свои глубокие, щемящие чувства. А вокруг-то все болота, мелкие сосны и ни одной птицы.

— Ни одной птицы!

— Птицы все на войне,— сказала акушерка.

И ямщик вслед за ней:

— Вороны улетели все до одной, ястреба, сорочье...

III. МАШИНА СМЕРТИ

Сердца раскрываются в каких-то нечеловеческих образах, какие-то странные чувства животных — лошади останавливаются, какие-то странные птицы — за тысячу верст чуют войну.

Без ружья и шашки, неся в руках что-то, остановился солдат. Он сказал нам, что несет молоко на позиции, и указал рукой на ближайшую рощицу: там будто бы и была эта позиция.

Когда свистнула одна пуля, и другая, и третья, мне стало так, будто на меня напали и кричат: «Руки вверх!» — но я навсегда решил рук не поднимать; я очень боюсь, ожидаю со страхом следующего свиста, но рук не поднимаю и все иду по тропинке за солдатом. Вдруг он повернул круто

вбок, и мы увидели недалеко от нас большие орудия и людей.

Чье-то строгое лицо глянуло на нас с земли и приковало на месте.

И мы тоже легли...

Наши в этот же день взяли город, и вдруг все стало обыкновенно и буднично. Встречается знакомый профессор-хирург и говорит:

— Господин писатель, для вас любопытный экспериментик.

Едем с профессором в лазарет.

— Пожалуйста, — говорит он, — десяточек рук.

Нам дают в автомобиль мертвые руки.

Мы едем за город, профессор велит солдату стрелять в мертвые кисти в упор. Газы входят в маленькое пулевое отверстие и разрывают кисть. Фотографическое изображение дает звезду на ладони.

Стрельба на далеком расстоянии дает только маленькое отверстие.

«Звезда» есть доказательство самострела.

По пути на место применения найденного метода профессор говорит:

— Я сторонник гуманного отношения к «пальчикам» (так называются самострельщики). Комплекс социальных условий не всякого делает героем. Потому я предлагаю не расстреливать их, а по излечении отправлять на передовые позиции, на самые опасные места.

Так приезжаем мы на большой вокзал, заваленный ранеными, тут сидят, там лежат, стонут и корчатся тысячи. Между ними профессор — как огромный чугунный столб. Мы с профессором подходим только к «пальчикам».

— Сестра Алиса, развяжите.

И пока развязывается рука:

— Господин писатель, вы должны быть психологом, этот раненый, по-вашему, герой или «пале́чик»?

Это трус.

На ладони у «пальчика», как на фотографии, самострельная звезда, очерченная кровью и порохом.

— Ну, господин писатель, вы, я вижу, привыкаете, вы теперь психолог.

Профессор был прав: я привыкал и, привыкая, слеп. И нас, слепых, кто-то взял на Голгофу.

Кто же видел и кто творил эту слепую Голгофу?

АВГУСТОВСКИЕ ЛЕСА

1. СИБИРСКИЕ ВОЛКИ



Наша задача была — как можно скорей проехать в автомобиле Августовские леса и встретить идущий на верную гибель по занятому немцами шоссе передовой санитарный конно-автомобильный отряд. Перед самым лесом наша дорога вилкой расходилась на две: по одной густой массой двигались части отступающих войск, по этой дороге нам немислимо было скоро проехать; другая уходила в леса,

совершенно свободная, но только мы наверно не знали, не отрезана ли она с другого конца немцами. Сильно темнело, мы зажгли фонари автомобиля и у фонарей, с картой в руках, составили свой собственный штаб. Уполномоченный отряда, разудалый наш князь — советовал ехать, саперный полковник, раненный в спину осколком «чемодана», как-то жался, не то от раны, не то из осторожности, молодой лейб-гусар с раздробленной ногой молчал, контуженный артиллерийский капитан говорил так и так. Долго мы совещались, не зная, что предпринять, наконец князь сказал:

— Едемте по свободной дороге. Будет счастье, живо пролетим, нет — от своей пули не уйдешь!

— Еже писах — писах! — согласился капитан. — Пилот! и все расчеты.

Согласились и с зажженными фонарями покатили в эти знаменитые теперь леса Августовские.

Леса эти в прежнем Царстве Польском были то же, что теперь для нас Сибирь, — место ссылки преступников. Их глухие озера, речки, мхи и доныне питают тот суеверный дух, почивающий на белорусах и литовцах, населяющих край. Но что нам суеверия века прошедшего. Больше всех этих суеверий были для нас отчетливо видные при свете прожекторов на стволах огромных сосен прибитые временными хозяевами леса, немцами, аккуратные дощечки с надписью на их языке, со стрелками, с перстом указующим. Там написано на дощечке: «100 verwundete

Russen»¹, — и перст указывает куда-то, вероятно, туда, где лежат эти брошенные раненые. Там другая дощечка с указанием, что вот там-то зарыто «100 gestorbene Deutschen»². И сколько рассказов о недавней борьбе нашего погибшего корпуса в этих лесах вспоминается при взгляде на эти дощечки! Расстреляв все патроны, наши части разбрелись по лесу, другие, не зная, продолжали сражаться в лесу и даже брать в плен. Взяли так наши солдаты сколько-то обессилевших, голодных немцев, покормили их, повели куда-то за собой. Бродили они так с пленными по лесу и день, и два, пищи самим уже мало оставалось, — что же делать с пленными? Стали отпускать, но пленные не идут, они хотят лучше идти за куском хлеба, чем оставаться одним в лесу. И кто тут свои в лесу? Волки идут по следам немцев и русских. Пленные не хотят уходить, их прогоняют. Тогда издали, следуя за русскими, не зная, что сами они победители, идут немцы, за немцами-победителями идут сибирские волки.

Много я слышал подобных рассказов, спрашивал, неужели так много голодных волков в этих лесах? Мне отвечали:

— Это сибирские волки.

— Как могли прийти сибирские волки в Августовские леса?

— Друг по дружке шли волки, чуют и перебираются. Все равно как птицы, — летят же птицы со всех краев на войну, как они знают? Так же и волки идут.

Нет, не простые волки живут в Августовских лесах, волки живут там сибирские. Новые суеверия вошли в заповедные литовские леса: хочется людям, чтобы все их птицы улетели и звери убежали на войну, чтобы ответила природа беде человеческой, свет переставился, завеса церковная разодралась.

II. СТАРУХА

Едем как можно скорей по скрипучей, мерзлой лесной дорожке, впереди в лучах прожектора вечно тот же обставленный гигантскими соснами спящий круг на снегу. Из круга, кажется, нет выхода, но мы с большой скоростью едем, и все перед нами тот же самый светлый круг в лесу, какая-то сказочная скатерть-самобранка.

¹ Сто раненых русских (нем.).

² Сто убитых немцев (нем.).

И уж как все это военное тяжело давит на душу, а нет! — вырвалась душа на минутку, — этот светлый круг на снегу, похожий на скатерть-самобранку, вызывает в памяти и все другое, заученное в детстве: как на этой скатерти появилось вино, как пили вино мужики и как чьи-то руки служили мужикам и они спорили, кому живется весело, вольготно на Руси.

Чуть отдохнул на воспоминании, и опять выплывает только что пережитое военное, и по светлой полянке, где только что за счастьем шли мужики, опять выходят сибирские волки. Вдруг исчезает светлая полянка, огни прожектора внезапно загашены.

— Кажется, люди.

— Немцы?

— Какие-то люди.

В темноте впереди вспыхнул огонек, там было видно, как чья-то рука потянулась к этой дощечке, прибитой на стволе дерева, и потом сразу все загамкало по-русски. У нас опять загорелись прожекторы, двинулась машина, и теперь мы видим, как возле этой скатерти-самобранки стоят русские мужики, гамят, напрасно стараясь разобрать немецкую надпись с перстом указующим. Спорят, не зная, куда им идти, как у Некрасова, «попу, попу, попу», «купчине толстопузому», «а Пров сказал — «царю».

Это бредут куда-то легко раненные, и с ними еще две белые собачки. Мы советуем им вернуться на более безопасную дорогу, где отступают обозы и войска, но им хочется поскорее дойти, спорят между собой, их собачки гонятся долго с лаем за нашим автомобилем.

На минуту развлекла эта встреча, но потом, когда опять все стихло, стало еще как-то неприятнее в этом лесу. Мы болтали, дремали, курили, но у каждого втайне курилась душа. При наступлении, атаке пожаром вспыхивают все эти деревянные подстройки души отдельной, перегородки; созданная временем нашего «вооруженного мира» обнаженная общая душа творит мощное дело. При отступлении каждая душа отступает отдельно, ищет себе квартиру и курится.

Немецкие разъезды, конечно, были в лесу, и возможно даже, что путь отступления нашего через лес уже отрезан. Каждый момент из-за этих серых в освещении электричества сосновых стволов могли показаться каски. И большую машину невозможно скоро повернуть на узкой лесной дороге. Два-три человека легко могли взять нас в плен.

И первый раз я почувствовал, что в плен попасться значит не меньше, чем получить пулю в свое тело.

Молодой гусар, раненный в ногу и левую руку, все обещался нам правой рукой стрелять «до последнего патрона». Какая уж там его стрельба, но если он будет стрелять, то и те будут стрелять, и плен придет уж после расстрела — нет! — плен был хуже смерти.

Слушая гусара, мы почему-то встречались глазами с пожилым инженером-полковником; думал ли он то же, что и я?

Я видел инженера и гусара в самый момент ранения: пролетело что-то и разорвалось возле костела, и оба упали. Когда перевязывали руку гусару, не шевельнулось во мне чувство сострадания, гусар был весь насыщен боем, и казалось, что он свое заслужил. Инженер был немолодой человек; когда открыли его желтую спину, на ней оказалась против легкого маленькая, но опасная ранка.

— Пустяки! — говорил он. — Я еще ничего не сделал, я только приехал. — По-детски улыбнулся. Так часто бывает, по-младенчески плачут во время перевязок, по-детски улыбаются и отвечают.

Третий наш спутник — капитан, веселый и скромный человек. Слушая гусара, он говорил нам, что вот хорошо бы на всякий случай достать револьвер. Мы предлагали капитану переложиться и достать револьвер, но он говорил: «Не стоит, револьверишко-то плохенький, ворон пугать».

Как-то само собой вышло, что все мы стали разговаривать о плене, что, по-настоящему, права сдаваться в плен военный не имеет, что тело его — как военный корабль, — в крайнем случае, командир должен его уничтожить. Поднялись споры о всяких бесчисленных случаях на практике, когда невозможно не сдаться, и о противоречиях закона. Наш капитан тогда рассказал нам, как он был несколько минут в плену и как это просто вышло.

— Еду я в лесу, — сказал капитан, — темно, холодно, и вдруг из-за деревьев стрельба. Бежит трубач, кричит: «Слезайте, убьют!» Обругал я его и еду дальше, а пули свистят, и сучки с деревьев падают. Еду я так, а из-за деревьев руки показываются, хватают мою лошадь, ведут к дереву, ну, и вот я в плену.

— Когда руки протянулись. почему же вы не ударили шашкой?

— Да как-то настроился в лесу не так, не подошло; раз, темно. мы измучены, воевать невозможно, так пригото-

вился, чтобы ехать и не обращать внимания, пусть лают, черт с ними, — и вдруг эти руки за повод хватают, а шашка висит где-то, болтается...

— А револьвер?

— Револьверншко тоже плохенький, висит где-то на животике...

— Куда же делись солдаты?

— Митюхи мои рассыпались между деревьями, стреляют где-то, ничего не видно, не поймешь, где и кто стреляет, вокруг меня все каски — что я с ними сделаю? Ведут меня к дереву, и что-то им тут показалось в лесу — дали залп, как вскинется мой конь, я — шпоры. Лечу, за мной погоня, стрельба. Дальше, дальше, скакал, скакал. Вижу — редееет лес. «Слава богу!» — говорю себе, и — бух! — в трясину. Бился я, бился в трясине, не могу достать лошадь, промерз, оледенел. Бросил коня, пошел куда-то, и так дня три скитался в лесу. Раз как-то слышу, собачка лает — деревня. Иду я в деревню, огонек показывается, халупы. иду, стучусь в крайнюю избушку, не знаю, выйдут русские или немцы, мне все равно, мне теперь только нужен знаменатель, немец или русский, жизнь, или смерть, или плен — все равно, только чтобы знаменатель вышел. И выходит на стук знаменатель.

— Русские?

— Выходят не русские, не немцы, выходит ко мне старая, бородатая старуха.

Капитан помолчал немного, и от этого для нас борода у старухи как будто прибавилась, и так мы поняли, что не простая это старуха вышла встречать обледенелого капитана.

— Так ожидалось знаменателя: смерть или плен, а выходит ни то, ни другое, бородатая старуха. Оправился я, спрашиваю старуху: «Немцы у вас?» — «Спят!» — отвечает старуха. «Немцы?» — говорю. «Немцы, батюшка, немцы». — «Спрячь, — прошу, — бабушка, меня от немцев» — «Ну, что ж, — говорит, — полезай ко мне в кладовку».

Хотел я уж прятаться, гляжу, — наши митюхи выходят, радуются.

«Какие же это немцы, — говорю старухе, — это русские». — «Русские, — говорит, — батюшка, русские, а я запомнявала: то немцы придут, то русские, вот я и запомнявала».

Ей было все равно, и мне было тоже все равно, и такой он похожий знаменатель, весь как бородатая старуха.

III. ЗАВАЛ

Кто блуждал в лесу, знает, как это выходит: то взялось откуда-то на пути сухое дерево, которого раньше не было, то ручей и неизвестная канава, — все становится вокруг неизвестным, чуждым, страшным, потому что все эти предметы оказывают теперь свое живое и влиятельное существование.

— Господа, вы не замечаете, дорога все вправо завертывает, не едем ли мы к немцам в Августов?

Тогда вдруг путь нам оказывается намеренно прегражденным: поперек дороги лежит громадное, свежесрезанное дерево.

— Завал, скорее назад!

Машина качнулась в одну сторону, в другую, качнулась еще раз и уже была на повороте, но шофер забрал слишком вперед, колеса забуксовали в снегу; с погашенными огнями, как черный гроб, застряла наша машина между деревьями.

Расстилаем на снегу одеяла, укладываем на них раненых, все, кто может, наваливаемся на что-то горячее, медное впереди машины — ни с места. Надеваем на колеса цепи, пускаем, — цепи рвутся. Выдумали положить под колеса веток — ветки полетели, как из барабана солома. И нечем подрываться — лопат нет. Так много проходит времени, часы проходят в напрасных усилиях. Глаза давно освоились с темнотой, в морозную звездную ночь на снегу просеки далеко видны какие-то живые черные фигурки, скрылись за деревьями, опять показались, опять скрылись. И, кажется, каски на них, что это немцы теперь, как охотники, поймали нас в капкан, и теперь идут за добычей. В этом все мы согласны. Наш гусар с трудом приподнялся на одеяле, сел, вынул револьвер. Капитан же вовсе не потому, что хотел защищаться, — какая тут защита, почти все убогие, и револьверишко его плохенький! — но ему неловко перед гусаром, и он тоже торопливо разыскивает в темноте под одеялами свой револьвер.

Прошло, может быть, четверть часа, а показалось! Последнее усилие, последнюю разведку захотелось мне сделать по ту сторону завала, не удастся ли там найти место, где бы нам спрятаться можно. Иду я так зачем-то по следам человеческим вокруг завала, все по следам, по следам вперед. Много я исходил лесов по лисьим и заячьим

следам, но по человеческим, таким человеческим никогда не ходил. Там идешь по следам и делаешь открытия: лисица ступала в заячий след — удивительно, и две лисицы ступали в заячий след — еще удивительней. И тут люди шли, и по их следам другие шли, дальше, дальше; вот разошлись следы, много следов, все утопано, пепел погасшего костра, у пепла русский телеграфист лежит, возле него лежат и обрывки проволоки, — лежит, будто спит, а носа нет, нос отъели эти сибирские волки...

Ему, вероятно, стало холодно, принялся разводить потухший костер, но не мог развести огня замерзшими руками, и так он до утра сидел в лесу, щелкая зубами, приглядываясь в тьму, где сверкали волчьи глаза. Жизнь вокруг него была голая, доисторическая, дочеловеческая. И он застыл в этой доисторической жизни.

А между тем, если писать его биографию, то непременно написать надо, что смерть его была прекрасная, он стоял на посту у связи, и умер у связи, не покидая своей проволоки.

Только не я напишу, теперь я такой же, как он, небо для меня низкое, мутное, звезды блещут, но, как мишура на богатой рождественской елке, не настоящие, и умереть мне вовсе не страшно, мне все равно.

А в биографии моей, наверно, напишут, что умер героем, спасая раненых, что вот какой был человек прекрасный. Портрет мой сделают с юношеской карточки, а про нос мой забудут, что нос достался волкам.

Совершенно равнодушный и готовый возвращаюсь к своим: все молчат, гусар все сидит на одеяле с готовым револьвером, князь нашел какое-то орудие и подкапывается под колеса. Полковник кому-то странно улыбается... Неожиданно мне приходит в голову: «Так немцы не ходят!»

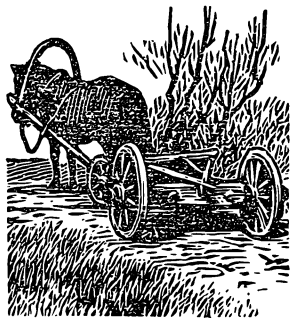
— Да они сами прячутся!

— Да это наши!

— Слышите, собачки лают. Это те раненые идут с собачками.

Вот они тоже узнали нас и опять гамят, как у Некрасова: «Купчине толстопузому, попу, попу, попу!»

Раненые помогли нам разобрать завал, машину наладили, проехали благополучно леса Августовские, догнали отряд наш, и задачу нашу мы выполнили вполне хорошо.



Какая теперь охота! Но мы пошли и охотились в краю Тургенева с Косычем-монополющиком. Зайцев было очень много, потому что охотники ушли на войну, гончие работали отлично, а перехватить зайца нам почему-то все не удавалось. И уже близился вечер. кончалась охота, как вдруг по дороге из одного перелеска к нашему, прямо на Косыча выкатился русак, над русаком, как поддуж-

ный, летел ястреб, позади «по зрячему» в облаке пыли неслась вся стая гончих с великим гомоном. Времена были совсем не тургеневские и не охотничьи, но это на охоте забывается: сердце охотника одинаково во все времена. Сердце замерло, сжалось в ожидании. Дело было верное: Косыч сидел в кусте, невидимый зайцу, и целился. И вот я глазам и ушам своим не верил: целясь, он так и застыл с наведенным в зайца ружьем, выстрела не было, и осечки не было. Косыч был как соляной столб. Огромный русак пронесся возле него, и за русаком в отчаянии и ужасе промчались все гончие.

Косыч что-то бормотал о дороговизне пороха.

— Десять рублей фунтик, извольте его покушать!

— Зачем же шли на охоту?

— Тридцать копеек выстрел, а там убьешь, не убьешь — неизвестно. А может быть, он вернется на вас. Становитесь на место, бежит!

Но это не заяц возвращался, а молодая гончая, заяц так и не вернулся. Измученные, скоро прибежали все гончие; вечерело, охота окончилась, и на небе заваривалась звездная каша.

Печально было наше возвращение на Косычов хутор. Поля были убраны, а что на помещичьих землях оставалось необранным, то так и оставалось совсем, это теперь мыши обрашали в труху. Мышей в этом году! Что ни шаг, то двести. Усталому нельзя было присесть на копну — копны от мышей были как живые. Потемневший от дождя не

перевезенный хлеб, развеянное ветром просо, картошка, уже побитая морозами, никому теперь не нужная, брошенная в поле, и, главное, эти полчища мышей, заступившие место человека, — неловко было нести ружье, забаву барских времен.

Хутор был возле самого большака, где и теперь, запечатанная, стоит «винополия». Косыч тут был сидельцем чуть ли не с основания монополии. Когда вино прекратилось, Косыч купил рядом в развалившемся дворянском гнезде двенадцать усадебных десятин, открыл лавочку, хозяйствовал и торговал очень бойко.

На месте сгоревшего в забастовку дома он выстроил из парковых деревьев новый дом. Вчера между грядками лука и капусты я нашел чудом уцелевшие маргаритки и бессмертники — остатки распаханых клумб.

С этими цветами в руках я перенесся, будто за сто лет, в свое детство, вспомнил, как мы сюда съезжались на елку в Рождество и ночевали вповалку на сенных матрацах, как раз ночью старый отставной полковник вздумал зачем-то пройти через дамскую комнату, и оттуда крик раздался: «Адама вижу», — и голос полковника: «Еву слышу!» — и потом хохот был у них и у нас долго, и я слышал смеющийся голос *ее*, а она, вероятно, слышала мой.

Странно мне было, когда мы подходили к усадьбе теперь, во время войны. Казалось, будто те милые покойники дворянского гнезда теперь уже второй раз умирали. Спутник мой говорил о своем хозяйстве с достоинством, что все у него есть: две коровы, две лошади, десяток овец, всякие птицы, две свиньи. На свиньях хозяин остановился особенно.

— К чему дело идет, неизвестно, — говорил он, — а с этими свиньями я отсижусь от немцев, года два могу просидеть: вместо мяса кусочек сала, — сало свое! — горсточку пшена, — пшено свое! — выходит отличный кулеш, кусочек хлеба, — мука своя! — и сыт человек, а больше что ему надо. На бога не жалуюсь, нет, на бога не жалуюсь!

— Вы будто в крепости! — сказал я.

— Не в крепости, а в неизвестности, — ответил он. — Вы газеты читаете, ну, как теперь, что? Правда, говорят, турка с англичанкой помирилась?

Я сказал, что не слыхал этого и вообще надежды на скорый мир нет никакой.

— Вот и я так думаю, — живо подхватил Косыч, — а знаете, как я это узнал? Намедни мужичок едет.

«Куда?» — спрашиваю. «В город, к жене». — «Зачем жена в городе?» — «Штаны шьет на армию». — «Какие, — спрашиваю, — штаны?» — «Стеганные!» Как сказал стеганные, я понял: теплые штаны шьют, значит, зимовать собираются, и мира не будет. Вот я тут и порадовался за себя.

И он снова надоедливо стал перечислять свое добро.

— Нуте-с, — говорил он, — дровец я себе хороший сделал запас, дубовые, шкуреные, года на три хватит, гречиха у меня родилась, — каша будет гречневая; а главное, просо, вот чудо-то просо какое у меня вышло, у всех пустое, а у меня умолот! Зерно я теперь не выпущу, ни одного зернышка не выпущу: буду свиней кормить, потому теперь расчета нет кормить человека.

И еще он говорил о своем подвале, что запаса картошкой, свеклой, капустой свежей и соленой, огурцами и даже мочеными яблоками.

Так мы подходили к хутору, вошли в его новый бревенчатый дом. Хозяин пошел в кухню сам варить кулеш: ни жены, ни детей у него не было. Я остался один с своими воспоминаниями. В окна были видны, как и в те времена, те же не измененные временем деревни Кибавка и Шибавка. Из-за гумна Крыски Задирина месяц всходил. Такое безлюдье в деревне — ни человека, ни звука. Казалось, что люди уже все ушли туда, к заставе земли и неба, где жило это чудище призрачное.

II

Луна всходила. Но с лунным светом не вставали покойники. Так всходила луна над голой землей, и я был один на сырой земле. Потом вошел с дымящейся пищей другой человек, и все это наваждение кончилось, и все стало обыкновенным.

— Сахаром я вполне обеспечен, — говорил другой человек.

— Да будет вам, — остановил я его, — может быть, завтра же и вас позовут туда.

Он открыл рот.

— Двадцати зубов не хватает.

— На это теперь не посмотрят.

Он согнул голову так, что шея стала дугой, и по дуге этой чесал — знак какого-то хитрейшего обхода-маневра.

— Опоздаете, пропустите!

— Не пропущу-с!

Согнул голову на другую сторону и почесал с другой стороны.

Я пожелал ему покойной ночи и лег на диван. Он с большими хлопотами, принимая какие-то меры от насекомых, лег в кровать и, пожелав мне еще раз покойной ночи, загасил лампу.

Скоро я увидел перед собой красный огонек, перед огнем сидел нагой человек, огонек близился, близился. Я открыл глаза: Косыч сидел перед лампой и пересматривал свою ночную рубаху.

— Блох боюсь, — сказал он, — а вас тоже это разбудило?

Я отвернулся к спинке дивана, попробовал вновь заснуть, но не мог и скоро сидел сам перед огнем.

— Я каждую ночь так мучусь, — говорил Косыч, — засыпаю только под утро.

— И ничего не находите?

— Редко нахожу.

И их действительно не было, я уверен теперь, что их не было, что это все создавала ночная фантазия в отместку за правду-неправду дневную, а меня Косыч заразил своей фантазией, как автор читателя. Я метался в бессоннице, то видел паразитов огромными, как в микроскопе, то уверял себя, что это воображение создает их. Но дело не менялось: воображаемые огромные насекомые мучили больше действительных. От бессонницы, от нечего делать и читать я стал развивать свои мысли вслух: что ничего нет вообще на свете, и все это нам кажется, словом, говорил, как у Шопенгауэра, и разъяснял примерами нашей обыкновенной жизни.

— А как же земля? — спросил внезапно Косыч.

— Земля и земля: такая же разница, как между действительной ничтожностью блохи и нашим воображаемым огромным, в сто тысяч раз увеличенным насекомым. Устаньте получше — и нет блохи. Продайте хутор — и нет земли.

— Не может быть, — воскликнул он, — если бы так, почему же война?

Я хотел и о войне сказать в том же роде, но он уже не слушал, а думал по-своему:

— Из-за земли же идет война и во все времена была из-за земли.

Тогда мне вдруг стало ясно, отчего он такой скупой и скучный, почему создал себе эту свою крепость-хутор во

время войны и так за нее держится, — он верил в землю, как в твердыню, как в причину всех причин, как в мир в себе.

— Из-за земли же война! — повторял он.

— Пусть так, — отвечал я, — но представьте себе, что после войны землю не станут делить и она будет общей собственностью. Тогда ясно будет, что ваша твердыня тоже от воображения.

— Этого не будет, — сказал он, — я не отдам...

— Все согласятся, вы останетесь один со своими двенадцатью десятинами.

— И моя земля будет моя. Я не отдам: купил — и кончено. Силой возьмут? Но это будет несправедливость, и люди опять раздерутся, и все пойдет с начала.

— Причиной этого все-таки будете вы, а не земля, — говорил я.

— Нет, земля, нет, господа, тут что-то есть и в самой земле. Я еще мальчишкой деньги копил, чтобы землю купить. Купил и стал другим человеком. Захотелось раз мне пересадить одно большое дерево, стал я подкапываться. Копаю, — черная земля, как деготь; вот, думаю, какая моя земля! Копаю дальше — земля стала серая: думаю, как же, купил черную верхнюю землю, а это чья? Да моя же, моя и серая! А потом пошла желтая — и желтая моя! И красная земля пошла — тоже моя! А там уж я и не знаю что: камни, и, может быть, драгоценные, — мои камни! И золото, и железо, и вода, и огонь — все мое! И до самой внутренности. Глубина и непостижимость, а вы говорите — облигации.

— Я про облигации ничего не говорил.

— Все равно, так думаете. Сила, говорите, в том и власть, что немец обезьянку к пулемету приставил? Нет, сила во внутренности земли, кто понимает ее внутренность.

III

Разговор этот был очень полезен: воображаемые блохи исчезли, мы скоро уснули. Но сон был странный. Ветер в эту ночь взревелся в саду и на улице, как будто там все наше с поверхности земли сметалось, летело, проваливалось и там попадало на огромные черные колеса чертовой мельницы. Так исчезли надежды, — будущее рухнуло, и вкус исчез, настоящее рухнуло, и уже окончательно умерли покойники. А дом прежней этой дворянской

усадыбы будто стоит, как тогда. Я вхожу в этот дом — дом пустой. Ни портретов, ни мебели, нет ничего. Только в одном углу будто бы горой насыпаны яйца. Полюбопытствовал я, подхожу к этим яйцам, и вдруг Косыч орет:

— Не смейте трогать мои яйца!

И как загудит опять, как загремит там внизу, где-то на черных колесах! Яйца и провалились.

— Хотите, — говорит Косыч, — посмотреть, что у нас там, под землей, делается?

Мы опускаемся и видим серую, как Нева осенью, реку.

— Река, — объясняет мне Косыч, — это отработанный дух человеческий, мы его переделываем в прежнее состояние и упражняем на вещах чисто материальных: вот, посмотрите на ту сторону мельницы.

Глянул я на ту сторону, увидел великую силу народа, и все что-нибудь тащат, кто куль с мукой, кто бочонок с маслом, кто ящик с макаронами, и чего-чего только не тащат. Лица же у всех отнюдь не печальные, напротив, довольно веселые.

— Это их укрепляет и веселит! — объяснял Косыч.

Разговоры же у них были самые обыкновенные, совершенно такие же, как и у нас теперь.

— С вазелином надо покончить! — кричал один. — А то вдруг мир, так с ним и останешься!

— Зерно придержите, советую зерно придержать.

— Постное масло? — спрашивал кто-то по телефону.

— Зерно придержите: кормите свиней, свинья теперь дороже всего в мире.

— А с вазелином советую совсем дело покончить!

По ту сторону мельницы стоит множество корабликов, грузят их, и они в несметном числе уплывают по серой реке. А я будто бы прошусь у Косыча постранствовать на кораблике.

— Странников, — отвечает он, — теперь нет, все чем-нибудь заняты, если хотите узнать что-нибудь, станьте в какой-нибудь хвост. Странствовать теперь нечего, да это и не река, это отработанный дух человеческий, мы его возвращаем в первоначальное состояние и упражняем в вещах простых, материальных.

Всю ночь снилось-чудилось, всю ночь свистел ветер, бесилось что-то на черных колесах мельницы, а утром, когда рассвело, неузнаваем был сад: убитые еще раньше морозом листья сразу, в одну ночь, разлетелись по ветру, яблони стояли какими-то многорогими серыми животными,

все было серо, обнаженно, и осины, и клены, и ясени торчали бревнами, все было кончено, голо, и только в вишневом саду на верхних тончайших ветвях последние редкие огненно-красные листики над всем этим серым умершим были как сходящие из воздуха пламенные языки над бездною.

АДАМ

I



Сидит на раките у летнего пруда кобчик, царь маленьких птиц, и думает: «Какая глубина в воде, какое вечное смирение и в отраженных».

А воды в пруду всего на два вершка.

Под ракитой сидит старый ходок деревенский, Никита.

«Какая большая земля русская, — думает Никита, — сколько за нее крови пролито, а нет человеку места на ней, и почему это так? Едешь по дороге, конца нет чугунной дороге, конца-краю нет земле, а остановишься, подойдешь к человеку: «Мало, — говорит человек, — земли, курицу выгнать некуда». Так выходит, будто сотворил бог второго Адама и за грех его обыкновенный, Адамов грех, выгнал опять из рая и заповедь прежнюю дал: в поте лица своего добывай хлеб. А про землю забыл, прежняя земля вся занята».

Сидит на раките кобчик и думает: «Как глубоко!» А старик Никита знает, что воды всего на два вершка, и та последняя вот-вот сбежит по худому спуску. И молодежь деревенская так зарится на землю, будто вот сейчас царство небесное, а Никита знает, разделить по живым душам — и достанется в нашем краю на живую душу всего по восьминнику. И тут же по своему старомужицкому чутью знает, что не может так быть, где-то есть выход на белый вольный свет человеку, и выйдет он непременно, и земли будет, сколько захочется, и одна будет забота, чтобы справиться и осилить землю.

Вот лежит сто десятин барской земли, снимают ее двадцать зажиточных мужиков, и с самой ранней весны из-

за этой земли смута идет великая: одни говорят, надо землю у богатых брать и делить по живым душам, другие — подождать. А земля лежит — усаживается, зарастает бурьяном: не смеют пахать ее хозяева, и не смеет делить и брать ее все общество.

Приезжает оратор, думали, вот он о земле все укажет правильно, а он кругами-колесами говорит о каком-то Константинополе. И к этому еще приговаривает:

— Раньше вы на четвереньках ходили, а теперь поднялись на ноги. — Да еще проверяет: — Понял, Никита?

Хитрый старик наш Никита Васильев любит дурачка свалять.

— Понял, — отвечает, — раньше на четвереньках воровать ходили, а теперь поднялись на задние лапы.

— А нужен нам Константинополь?

— Стало быть, нужен!

Рассердился оратор.

— Я вам, — говорит, — об этом битых три часа толковал, а вы все нужен да нужен, совсем он нам незачем.

Сколько-то времени проходит, другой приезжает оратор и опять не о настоящем деле, а все о том же Константинополе тоже часа три говорил и тоже Никиту спросил под конец.

— Не нужен, — отвечает Никита.

— Как не нужен! — кричит.

И еще часа на два завел.

Потом стали приезжать и о земле говорить, и тоже надвое: одни говорят — отбирать, а другие — подождать.

Потерял тогда Никита всякую веру в ораторов, спрашивает одного:

— Как же так выходит, что один одно говорит, а другой ни на что не похоже, а все от одного правительства; мы к этому не привыкли, дай нам конец и начало.

— Конец и начало, — объясняет оратор, — лежит в вас самих, и все устанавливает общественное ораторство.

Так и поняли окончательно из всего и вывели, что законов нет никаких, а нет законов — стало быть, нужно счищать богатых мужиков и так землю делить, чтобы хоть по ноготку, а всем безобидно.

II

Осторожный страдалец и политик Иван Шибай, нынче каменщик, завтра стрелочник, а то просто бродяга лесной, водяга ночной, — за тридевять земель учуял дележ.

С палочкой-костыликом идет себе, весело насвистывает:

— Отрешимся от старого мира!

Говорят ему встречные люди:

— Скорбь великая залегла везде, а ты, милый человек, идешь и весело посвистываешь?

— Иду,— отвечает,— землю искать.

— Ну и пахарь! — смеются.

— Ну что ж, землю не придется пахать, так деньгами возьму, им земля, а мне будет воля.

Ближе к родным местам узнавать начинают Ивана, и как увидят, узнают — бежать! Давно считали покойником, а вот словно воскрес и показывается.

Там Иван подсобит камень поднять на телегу — спасибо скажут, там оглоблю вырубит в чужом лесу — покормят, там покажет бабам диковинку — угостят самогоном.

— Омертвили, омертвили меня, бабочки милые, на родной земле,— жалится бабам,— везде живого за покойника принимают.

Так подходит к самой своей деревне Иван, к колодезю. Баба и ведра бросила:

— Покойник пришел!

Все бабы попрытались, а мужиков нет никого, все ушли землю делить, и далеко слышно, как они там на полях и шумят, и галдят, и ругаются.

— Живыми,— сказали арендаторы,— мы не дадимся, землю себе отстоим и, ежели помереть надо — померем и оттуда, от господ, к вам с своими правами придем!

— Православные люди,— ставит им вопрос старый ходок Никита,— бог сотворил землю и сказал Адаму: «В поте лица трудись!» Бог это сказал?

— Бог сказал, вот мы исполняем и трудимся. Мы — настоящий Адам, а вы безобразите!

— И мы — Адам! — закричали малоземельные и безлошадные.

— Не шумите,— успокоил Никита второго Адама,— заповедь божия всем одна, всему Адаму со всем потомством сказал господь, а не то чтобы выделил: тебе, Иван,— на! а тебе, Семен, нет ничего. Земля вся божья!

Посмотрели искоса арендаторы на второго Адама: велик Адам, не справиться, изобьет.

— Правильно,— ответили,— ты говоришь, старик, что земля божья, ну, а как скотина, своя?

— Скотину приобрел человек.

— Так вот же, братья, бог с вами, делите землю по живым душам, оставьте только нам лишнего на скотину по одной полнине.

Согласились на этом, стали делить. Конечно, опять шум и спор. Тому недомерили, там промерили, один жалуется, что ему бугром, другой ендовой, у третьего на полосе дерник растет. Делятся и день, и два, и три делятся. И стали уж к концу подходить, вдруг откуда ни возьмись приходят барские работники.

— Вы, барские холопы, идите к своим господам.

— Господ, — отвечают, — теперь нет, теперь все граждане, и нас от них сняли, мы тоже Адам!

Приняли в часть и господских. А там приходят из города. Приплелся портной хромоногий, дворник, извозчик, человек пять сапожников и шесть кожемяк.

— Не хотим, — говорят, — кожи мять, давайте земли! И мы тоже Адам!

Делят землю на всех по живым душам, и неделю делят, и две, — все земля не дается пахать. Забурела уж и рожь, а мужики все не разделятся.

И высохла земля, и стала земля трескаться. Белым полднем покончили. И только стали было богу молиться, вдруг из куста покойником выходит Иван Шибай.

— По живым душам делите? Примите, крещеные, и мою мертвую, я тоже Адам!

И опять делить.

III

Дошло до усадьбы. Представили барину выдворительную. Он сразу выехал. Проводив навсегда хозяина, ночной сторож Петр Петров подошел к колодезю, вытянул бадью, припал к воде, долго пил, как лошадь, и остальную воду по привычке перелил в корыто лошадям, хотя ни одной лошади, ни одной коровы, даже овцы, даже курицы в усадьбе не было. Пожевал корочку, подошел к дому, поднялся по приступочкам вверх. В передней хрипло кашлянул, но никто не отозвался, не спросил, как бывало:

— Тебе что, Петр Петров?

Постоял в передней и пошел в столовую, оставляя валенками на полу огромные медвежьи следы. Столовую он много раз видел из передней, и гостиная с мягкой мебелью

не удивила его, но в зале остановился и стал все разглядывать. Тут на стенах висели портреты прежних, тургеневского времени, владельцев Колодезей, на полу было разное: поломанная мебель красного дерева, мешки с гречей, и горки ржи, и сбруя, и грабли, — чего-чего только тут не было. А в углу стояло старинное трюмо, такое высокое, такое широкое, что в нем, как в тихом озере, отражалось все, что в зале было, и за окнами зала сад, и даже неба кусочек.

Петр Петров уставился на портреты в мундирах: все они ему казались одинаково прекрасны и все на одно лицо, и лицо это одно было — царское. Досмотрев портреты до угла, где стояло большое трюмо, Петр Петров вдруг увидел, что там в углу стоит брат его Иван Петров и удивленно, разинув рот, смотрит на него. Иван Петров был точно такой же, как брат: всклопоченные, с соломинами, волосы, густая, черная, словно ветром взметенная вбок борода, сутулый, руки висят почти до колен, и полущубченко такой же старый, платанный новыми шкурками. Не ударило в голову Петру Петрову, что брат его уже лет пять тому назад помер в Питере: стоит живой, стало быть, и живой. Петр Петров смутился не этим, а что брат его, такой нечистый, посмел забраться в хоромы.

— Ты зачем тут? — прохрипел он громко. И махнул рукой в сторону людской. — Уходи, уходи!

Иван Петров тоже рот открыл:

— Уходи, уходи!

Братья пошли в разные стороны: Петр Петров по черному, Иван Петров по парадному. В людскую с парадного было много ближе, потому в людской Петр Петров спросил Акулину и Косычей:

— А куды же брат мой, Иван Петров, прошел?

Акулина сказала:

— Перекрестись!

Косычи уши наострили.

Рассказал Петр Петров все по порядку, что ночью он под балконом на соломе дремал, а сука всю ночь кость глодала. Рано барин велел запрягать лошадь. «Я, — говорит, — бросаю вас, будь вместо хозяина». И уехал. А он, Петр Петров, напился дюже воды из бадьи и в хоромы пошел. Стал в хоромах царские портреты разглядывать, дошел до угла, а там брат. Махнул ему рукою в людскую: «Туды, туды!» И пошли: он по черному ходу, а брат по парадному.

Перепаала Акулина от рассказа. Косычи же зарадова-

лись, что вот наконец-то барина выжили. Все, кроме робкой Акулины, пошли в барский дом, будто бы поглядеть, как ходит там хозяином Иван Петров, покойник. И когда в залу пришли и показалось трюмо...

— Вот он! — сказал Петр Петров.

Смеясь, легли Косычи животами на гречу в мешках. Дивились и Косычи, дворовые люди, на барского человека, что всю жизнь свою спал под балконом ученого барина и ни разу еще не видал себя в зеркале. Живо смекнули дворовые люди свое дело: высыпали гречу на пол, набили мешки новыми, серебром отделанными уздечками, шлеями — ничего нет нынче дороже ремня! — и, взвалив мешки на плечи, садом и логом пустились к себе в Косычевку. А Петр Петров так и остался у зеркала, удивляясь все больше и больше его отражениям.

IV

Акулина бабам рассказывала про явление покойника в барских хоромах, а бабы Акулине рассказывали, будто кто-то видел на базаре барина в мужицком тулупе. И говорит будто бы барин:

— Все рубите в саду, оставьте одно только дерево — вам пригодится. Грабьте все амбары, только оставьте один амбар с веревками — пригодится вам.

Еще рассказали бабы, что на рассвете, с бубенцами на тройке, завернутый в медвежью шубу, как настоящий барин старых времен, проскакал какой-то мужик, — не покойник ли это Иван Петров все баламутит?

От Акулины узнали бабы, что барин бросил усадьбу и что Косычи уже это пронюхали. Не успели Косычи обернуться в усадьбу с подводами, слух бежал все окрестные деревни. Пока запрягали Косычи лошадей и выбрались, навстречу им валил народ со всяким добром: две столетние старухи диван тащили, пронесут немного и сядут, еле живые, маленькие дети дрались за портреты и за книжки с картинками; одна женщина икону несла — в одной руке Николай Угодник, в другой лампадка, со всем — с маслом и поплавком.

Как увидели умные Косычи бабу с лампадкой, поняли, какое это глупое дело, вернулись назад, захватили ломы-топоры и вскачь пустились в Колодези. Вот теперь бабье-дурачье делит внизу господское белье, всякую шуру-муру, а Косычи наверху крышу ломают.

Далеко, на всю округу слышно, как гремят железо — жуть! — и как гомонят-дерутся на барском дворе — жуть! — будто звери у падали.

Сняли крышу, сбросили стропила, стали разбирать ряд за рядом кирпичные стены, и когда сняли какой-то ряд — вдруг на солнце весеннем засверкало своей верхушкой трюмо.словно из плена господского вырвалось зеркало, и не одни портреты и старый хлам, а весь божий мир отразился в нем. Никто не хотел брать трюмо, не было ни одного домика вокруг, ни одной избы, куда бы можно было втащить такое огромное зеркало. Вытащили из-под него половицы, поставили на землю, понизилось трюмо, скрылось, но стену все разбирали. И вот опять оно сверкает над развалинами, и все отраженное в нем прекрасно; и сад казался такой густой и дивный, будто рай, созданный богом для первого человека.

Всему дивится Петр Петров, что видит в зеркале, а мелочи эти, как люди за добро дерутся и что сам он тут между ними такой нечистый, не замечает: смотрит на вербы речные, на весеннее небо с облаками-гроздами, на зеленые озими, и большое, и малое, — даже что погожие комарики мак толкут, — все видно в зеркале, и все так прекрасно, будто господь бог первого Адама только-только что в рай впустил.

V

Тут не было ни правых, ни виноватых, просто время переходило. По старой привычке для оправданий говорили о будущем счастье народа, но тайне знали, что нет правды, не будет счастья, и с отчаянья громили имения, вырубали сады и леса, и землю, без того бедную, оголяли до последнего оголения, до первой глины, из которой слеплен был человек.

Наступившая ночь не дала увезти последний воз кирпичей из Колодезей, а так уже все было голо: парк вырублен до последнего дерева, и склон, на котором он рос, теперь оказался оврагом. Нет следа на том месте, где на черном дворе стояла людская, конюшни, амбары, нет служб на красном дворе, и дома нет, только стоит еще огромное трюмо и возле него последний, не увезенный воз кирпичей — ночь не дала увезти этот последний воз, и хозяин сго отложил до утра свое дело.

Под балконом, хотя и следа нет от балкона, на старой

солومه лежит с собаками последнюю ночь сторож Колодезей Петр Петров. Слышит он в ночной тишине, как весенние птицы — гнездовики этой усадьбы, — прилетая, выются над пустым местом и, не узнавая его, пролетают неизвестно куда. И видит человек, которому нечего делить с человеками, какой чудесный в зеркале восходит месяц. Вокруг месяца ночью собираются семь звезд больших и семь малых и до утра сияют-блестят. Утром побледнел ущербленный месяц, и, когда солнце показалось, заметил сторож, как оно еще кусочек отъело от месяца, и он, белый, скрылся со своею звездою.

Когда месяц скрылся, приехал за кирпичами второй Адам, наложил воз, стал смотреть в зеркало на лошадь. И говорит, ослабившись:

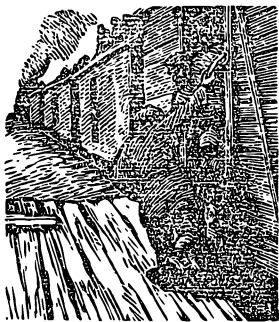
— Вот раньше барыня смотрелась, а теперь кобыла! Подбежала собака, он опять:

— Раньше барыня смотрелась, а теперь сука!

Взял кирпич, ударил в зеркало. Взял другой и еще ударил — все разбил в мелкие кусочки. Изломал красное дерево, уложил на кирпичи и уехал.

Поднял один кусочек зеркала первый Адам, посмотрелся, каким господь бог его выгнал из рая, бросил кусок разбитого зеркала на голую землю и пошел. Оглянулся назад — нет ничего, посмотрел вперед — одни овраги-глинища, да на них кровью плачут весенней пни молодых и старых берез.

СЫР



Моя жена очень сыр любит. «Вот, — подумал я, — где-нибудь хоть бы фунтик достать», — но задумался: не до сыру было, когда ели мякину. И вижу, на пороге у меня стоит Ходя, китаец, и в руке у него целая голова красного голландского сыру.

Поторговались немного, и сыр, такая редкость в то время, стал моим.

Весь последний месяц я обдумывал, как запаковать свои вещи, чтобы возможно было пудов шесть нести самому: извозчиков в то время, конечно, не

было. Необдуманно я купил теперь еще сыр, уложить его невозможно, и так, круглый, занимает обе руки.

— Нет,— сказал я Ходу,— так вещи мне на вокзал не донести.

Спокойно ответил Ходя — чудные они:

— Я помогу.

Верно, ему по дороге было. Я согласился, и мы пошли.

Вагон, конечно, красный, телячий, пришлось брать с боя. В нашей партии были винтовки, мы победили, залезли и закатали за собой тяжелую дверь — конечно! Пусть там на платформе ревет партия неудачников, нам хорошо.

— Сподобил господь,— к чему-то сказал старичок, сидящий у меня на коленях.

И только мало-мальски успел я себе пот с лица стереть и передохнуть после жестокого боя за место, как вдруг — т-р-р-р... Откатилась дверь, показались люди с винтовками. Мы было подумали,— это вторая партия вооружилась, что еще, быть может, отобьемся, но их предводитель кратко и бесповоротно сказал:

— Вылезай, женский вагон.

Поняли: это власть.

— Граждане,— взревел какой-то герой,— не подчинимся, стой крепко на своем, все, как один, не пойдем — и крышка!

Сотни уст согласно прогремели:

— Не пойдем!

Но кто-то ближайший к предводителю, верно, узнав у него, что в составе есть пустой вагон, быстро соскочил и пустился бежать по платформе, за ним другой, третий, все, и я, конечно, со всеми под шестипудовой тяжестью вещей бежал, падал, меня подхватывали, помогали, да, помогали, все-таки это было немного человечней атаки. Итак, мы взяли второй вагон и разместились там, конечно, тесно, на полу, вплотную. Мой сосед старичок опять был возле меня и опять сказал свою поговорку:

— Сподобил господь!

И вот, чуть бы еще немного, и поехали бы,— нет! Слышим — опять бегут, слышим — ревут. Глянули в щелку: вся та партия расчихала и мчится к нашему вагону. Узнав сразу нас, крикнули:

— Мости!

Показались длинные доски, и над самыми нашими головами стали мостить второй ярус.

Расселись над нашими головами, поливали сверху, посыпали подсолнухами. Новая партия прибыла с досками, и опять был голос:

— Мости!

Расселись на третий ярус, остальные полезли на крышу, и она затрещала под тяжестью четвертого яруса.

Я сидел в самой гуще посередине пола, и, когда намостили третий ярус, темно стало, хоть выколи глаз. Мне было, будто повесил я петельку сердца своего на гвоздик, а все остальное — ученость свою, идеи, тело, вещи, — все это брошено как-нибудь. В сердце же моем была жена, ребятишки и с ними такой покой, такое блаженство, и будто бы я им прежде всего по приезде показываю сыр. Так было в сердце, но мысль, как разделенная часть змеи, сама шевелилась, в той отдельной части было:

«Если ты вместе с китайцем едва мог дотащить свои вещи, то как же теперь их один дотащил?»

Взыгралось мое сердце и соскочило с гвоздика:

«Ты сыр забыл в том вагоне!»

Я вздрогнул, но у меня счастливая натура, потерянное всегда открывает во мне новую цельную почву. Я посмеялся над пустяками и сказал соседу моему, старичку:

— А сыр-то я забыл в том вагоне.

Эти слова меня погубили: мой сыр, круглый, красный, был очень заметен. сыр, целая голова в такое время, — какое счастье! Кто его не видал, кто им не любовался! Не успел я сказать «забыл», кругом меня ахнули, по всему темному подполью побежало «сыр забыл», и ко мне вернулось решение — приговор, бесповоротное, неизменное:

«Бежи!»

Будь у меня вторая голова сыра, я охотно отдал бы ее, чтобы вернуть назад вылетевшие у меня о забытом сыре слова, только бы не двигаться, только бы сидеть.

Я пробормотал какую-то чепуху, что теперь уж поздно, теперь мне не пролезть, и на эти слова весь муравейник закопошился, открылось свободное место передо мной.

— Бежи! — повелительно крикнул кто-то сзади и с силой толкнул меня вперед, и там тоже пропихнули, и если бы я теперь пожелал вернуться назад, мне пришлось бы бороться с силой всего вагона или бы истеричным голосом крикнуть: «Не в сыре дело!» — и получить прощение, как дурачок или сумасшедший. Я предпочел отдаться воле

народа, полез, давя женщин, детей, дверь сама откатилась, и, как бомба, я вылетел на свет, на платформу.

Все было так на платформе, как бывает в последний момент отхода поезда. Но я сразу узнал тот женский вагон, схватился за ручку, и мужской голос изнутри мне крикнул:

— Нельзя! Вагон женский.

— Сыр,— крикнул я,— сыр забыл!

Дверца откатилась.

— Сыр здесь, товарищ,— сказал военный человек,— ваш ли он?

— Его, его! — крикнули из вагона.

Все знали по сыру меня.

И я видел, как там, внутри вагона, быстро запрыгало круглое, красное, понеслось над головами; военный у двери ловко его подхватил, поддал вверх, как лаптой, и я бы, конечно, схватил сыр, но как раз в этот момент свистнул паровоз, рука моя дрогнула, и сыр, упав с платформы под колеса, весело покатился вниз под рельсами.

Я сделал движение бежать к своему вагону, но это мгновенно заметили, и опять, как тогда стало, будто сыр был не мой, а государственная или общественная собственность, порученная мне на хранение, мне крикнули неумолимо и строго.

— Куда, куда, лезь, успеешь!

Десятки людей стояли у двери, и, брось я сыр, как хотел, все бы эти десять ринулись под колеса...

— Успеешь, успеешь,— очень спокойно, со знанием дела, как-то хорошо, почти по-родственному говорили мне сверху.

Все это было, конечно, одно мгновение, сыр еще двигался, когда я схватил его правой рукой и, прижимая к груди, левой подперся о каменный выступ платформы и выскочил.

Отечески спокойный голос был сверху:

— Вот видишь, успел.

Из глубины вагона были голоса:

— Поймал?

Отеческий голос ответил:

— Выбрался.

И поезд тронулся.

О, как страшно было наяву исполнение моего повторного через всю жизнь кошмарного сна.

Будто бы загорается край неба, начинается светопре-ставление, архангел трубит в последний раз последнему

поезду, праведники, ликуя, глядят в окошки, а я чемодан-то свой сунул, чемодан мой на поезд приняли, а меня не пускают. Я бы согласился с радостью гореть на земле вместе со своими бумагами, но так, чтобы праведники мои бумаги читали на небе, а я один без дел своих, без дум, голый горел на земле,— нет, нет...

Ужасный сон исполнялся, поезд двигался, я рядом бежал, прижимая к груди дурацкую голову голландского сыра.

Был один момент, дверь вагона была у самого конца платформы, после которого начиналась земля, и тогда бы там, снизу, уже невозможно бы было вскочить в очень высоко поднятую дверцу товарного вагона, но десятки рук меня отдельно и сыр отдельно подхватили, и потом в темноте, как самодвижущийся танк по трупам, я полез и остановился на своем месте. Сыр двигался отдельно, и, когда я прибыл, старик держал его на руках, как ребенка, и ласково говорил мне:

— Вот и сподобил господь!

Нет, я не завидую тому, кто в том году не испытал этих ужасных путешествий и избежал слепой пропасти жизни. На верхней полке яруса умирал, хрипя, человек, в углу на среднем — рожала женщина, в щелки сверху лилось и сыпались подсолнухи. Двадцать восемь часов в полной тьме я лежал, задавленный чужими вещами, и одна радость была — зажечь спичку и покурить. Один раз при вспышке света я видел, как задремавший старик держал мой сыр. И что меня поразило, в лице его была совершенно материнская улыбка. Я не пытался взять у него сыр, для меня сыр перестал существовать как моя собственность, не я спасал его, сыр в моем кошмарном сознании принадлежал всему народу. Другой раз, помню, какой-то человек наклонился к старику, взял у него сыр, поднес к уху и стал нажимать, как арбуз.

— Хлюпает,— сказал он.

И передал другому любопытному, и тот тоже, выслушав, сказал:

— Здорово хлюпает.

После того сыр не возвращался в нашу сторону, и я, решив, что его съели голодные, забыл о нем совершенно.

После двадцати восьми часов полной тьмы, корчей и страшной вони — как было радостно выйти на волю: каждый листик на дереве мне казался живым существом и все дерево — большим государством зеленых жителей,

я шел под солнцем в большой толпе, и шестипудовая ноша моя в то время была мне легка. Вдруг кто-то крикнул:

— Эй, ты, в шляпе, стой!

— Стой, стой! — кричала масса голосов.

Я оглянулся и увидел: над черной толпой под солнцем, как огненный пал по суходолу, летит прямо ко мне от руки к руке мучитель — мой сыр.

ВЕРНИСАЖ



Вчера, друзья мои, выезжал в Царское Село, стыдно сказать зачем: покупать черный хлеб. Возвращаюсь из Царского с хлебом, а на столе у меня лежит почетный билет на вернисаж выставки «Мира искусства». По простоте своей роздал я хлеб жильцам голодным и себе оставил только на раз. Утром съел остаток черного хлеба, надел смокинг и — на вернисаж.

Вернисаж, нужно вам знать, происходит от слова *vernis* — полировать: художники полируют картины, и вообще вернисаж значит праздник художников. Раньше, во времена белого хлеба, я почему-то презирал все эти вернисажи и премьеры, теперь на черном хлебе меня затрепало: каждый день куда-нибудь, — до того, что некогда сходить к зубному врачу. И так замечаю, что не я один, а как-то все теперь больше, чем прежде, без толку треплются.

Судьба одной картины потянула меня на вернисаж. Я видел ее в мастерской художника и принимал участие в совещании, выставлять ее теперь или погодить. Казалось, с одной стороны, что эту картину, по сюжету военную, публика неминуемо будет судить по войне, а не по искусству. А с другой стороны, выходило и так, что если пережитое нами во время войны сольется с замыслом художника, что если это не Петрова-Водкина, а наша собственная картина окажется, то как же ее не выставлять?

Как-то раз говорю одному знакомому, что вот картина есть замечательная, три года сидел над ней художник.

— Сюжет?

— Война.

— И он приемлет войну?

Такой человек был решительный, что я побоялся, и говорю:

— Нет, не приемлет.

И стал об этом раздумывать. Пушек на картине нет, аэропланов, убитых, и всего только два раненых: вождь — прапорщик, центральная фигура, смертельно и один солдатик, который, можно думать, потом вылечится. Словом, батального очень мало, но сказать, что вовсе нет, тоже не совсем верно: линия солдат со сверлящими глазами, с ружьями наперевес идет в атаку. А в то же время и не батально: земля под ними не та земля, из-за которой дерутся, а чудесно преображенная земля, мать-пустыня. Лицо у смертельно раненного — лицо существа высокого на земле: человека.

Мой собеседник спросил:

— Так он войну не приемлет?

— Нет, — говорю, — войну не приемлет.

Не согласился он со мной. Одним словом, волнение художника перед выставкой передалось мне. И, как узнал, что картина выставляется, как же тут не идти на вернисаж.

Иду на выставку и представляю себе перед картиной толпу приемлющих и неприемлющих в согласии: один будет толковать ее батально — и что же? — там батально все верно; а неприемлющим тоже хорошо: не радость же войны изображена на картине. Мастерство остановит эстетов. Среди всех них какая-нибудь женщина в трауре узнает своего любимого и... «Вот, может быть, из-за этого картину надо бы подождать выставлять», — раздумывал я.

И оказалось совершенно другое, потому что я никогда не бывал на вернисажах. Собралось тут народу столько, что картин почти совершенно не видно. И какой народ? И разговор не о картинах, а о разном, что вчера видели и слышали, о премьере в одном театре, в другом, о «Маскараде», о Мейерхольде, об оккультизме.

С трудом нахожу я «нашу картину», мало толпятся возле нее.

— Что это? — говорят о смертельно раненном.

— Дон Кихот!

— Лицо иконографическое.

— А какое художественное разрешение?

— Война!

И переходят к другому. Но другое тоже только на

мгновенье показывается, заслонили, переходят к третьему, к четвертому. И так как-то все кругом, и кажется, что вернисаж значит водоворот.

Картина в этот водоворот не попала, завтра ее узнают, оценят другие, но в этот водоворот она не попала: она слишком серьезна.

Вышло не так, как хотелось, но вышло к хорошему. Вы меня поймете, если представите любимое произведение, как любимое существо в водовороте: сегодня оно предстало на мгновенье, удивило, но кого удивило? Предстало и погрузилось, а потом вынырнуло вверх тормашками, потом боком, потом рука, нога, нос. И главная беда в том, как хорошенько подумаешь, что не любимое это существо ныряет в водовороте, а сам ныряешь в этой праздной толпе.

Уходя с выставки, говорю знакомому, что никогда в жизни своей не приду на вернисаж.

— Придете! — спокойно говорит он.

И, должно быть, приду: затянуло меня.

На Марсовом поле вспоминаю что-то, где-то тут было похожее...

Ах да! скэтинг-ринк.

Тут было это. Скэтинг-ринк и вернисаж — это очень похоже. Там тоже шло все кругом. Толпа, залитая светом электричества, в пыли мастики, пахнувшая пудрой, потом, духами, мчится очень скоро по кругу, не находя себе выхода: свыше было велено неким злым существам вселиться в них и низвергнуться, но выхода не было нигде, чтобы низвергнуться, и одержимые мчались по кругу, не находя себе выхода.

Так что нового, друзья мои, о вернисаже я сказать вам ничего не могу: был скэтинг-ринк, а теперь вернисаж... Но поистине ново то, что завтра я опять за черным хлебом должен выезжать в Царское Село.

ГОЛУБОЕ ЗНАМЯ

I



Любимое наше, бывало, с Семеном Иванычем в железном ряду кубари гонять. Расчистим ледок, запустим кубарь и ну его коровьими хвостами нахлестывать. Самое разлюбозное дело: Семену Иванычу погреться, а нам, ребятишкам, потеха. Мы свой кубарь гоняем, а рядом дядюшка Митрофан Сергеевич живот кушаком подтянет, бородину упрячет под воротник, поплюет, поплюет на руку — и тоже греться; за лавкой дядюшки братья Кожуховы, потом Ершовы, Абрамовы и компания — все знакомые и, посчитаться, — все родня, и все гоняют зимой кубари плетями из коровьих хвостов.

Куда все теперь девалось! В железном рядке разве десятая лавка цела, в рыбном остались только Черемухины, и то не свежей икрой и стерлядью торгуют, а только на голом соленом сазане сидят. Против других дела у Семена Иваныча были еще ничего; другие взяли в своем природном деле: кто махоркой торговал — с махоркой погиб, кто по мучной части — становился вместе с мельницами, а Семен

Иваныч все перебегал с дела на дело, как еврейчики, и только в самые последние дни закручинился. — никаких товаров не стало. Прошел слух, будто немцы уже навезли в Питер свои дешевые товары, но ехать в ад крошечный за дешевыми немецкими товарами Семен Иваныч не решался и мысль эту даже отгонял от себя, как непристойную. Выехал же он в Петербург не из одной корысти и как бы вне себя и совсем неожиданно: ехал на похороны в Лебедянь, а попал в Питер за дешевыми немецкими товарами

На Филипповках случилось, скончалась в Лебедяни его племянница Сонечка, как в телеграмме было — скоропостижно. Знал Семен Иваныч эту Сонечку девочкой, лет пятнадцать тому назад, любил с ней возиться и звал Козочкой. С тех пор не видел ее; доходили только слухи, что Козочка его теперь уж с актерами путалась и даже ездила в Париж танцевать. Почему Семену Иванычу при нынешних-то путях вздумалось ехать на похороны полузабытой родственницы — трудно сказать: то ли делать стало нечего и забродило в человеке странное, — Семена Иваныча у нас считали всегда немного странным, — то ли что в семье неладно: старший мальчик стал воровством заниматься, — или эта разруха со всех концов к тому привела, что наперекор всему новому, красному, как бы голубым знаменем раскинулось старое и захотелось по-старому, старинному свой родственный долг отдать маленькой Козочке, дочери несчастного брата своего, прогоревшего в торговле ливенскими гармониями. Как бы там ни было, а на похороны Семен Иваныч быстро собрался и выехал.

На узловой станции, где одни поезда идут в направлении Петербурга, другие в Лебедянь, во время пересадки встретила Семену Иванычу знакомая лебедянская акушерка и бух ему прямо про Сонечку: сама покончила с собой его Козочка выстрелом в сердце.

Трех вещей на свете боялся Семен Иваныч: первое — горных пропастей, которых он, степняк, никогда не видал, но снилось ему часто, будто он подходит к пропасти и пропасть тянет его. Второй страх имел перед фокусниками, — что если бы фокусники и магнетизеры не оказались на деле, как все говорят, обманщиками, а, правда, могут это, — так вот, как подумаешь об этом, кажется, сходишь с ума, — очень страшно! А третье — самоубийство: мысль об этом, как пропасть, утягивает, и одно тут средство спасения: не думая, бежать, как от пропасти.

На станции, в сторонке, притулился Семен Иваныч, руки сложил на животике, а большими пальцами, как в купеческом быту часто видишь, палец о палец крутит мельницей, и час, и два, и сколько угодно так прокрутит, пока не перемелется и не выйдет новое решение.

Так вот был человек ясный, прозрачный, торговал, грелся — гонял коровьими хвостами кубари, и тут была ему от всех и цена, и учет, и дань, но вот, поди, узнай его на узловой станции, одинокого, когда он часами сидит, крутит пальцами и выкручивает ни с чем не сообразное: собрался ехать на похороны, а узнав, что покойница сама с собой покончила, поехал в Петербург за дешевыми немецкими товарами.

II

Приехать-то приехал Семен Иваныч в Петербург, а выбраться оказалось труднее: заказал билет — обещали к пятнадцатому декабря, сиди целую неделю без всякого дела в этом аду. Никаких дешевых немецких товаров не оказалось, пустяки всякие — кремешки, зажигалки, немного какао, и то все продается по ужасной цене; делать купцу вовсе нечего. Громят винные погреба, всюду стрельба и такие лица у людей, что заглянуть страшно. Днем еще туда-сюда, а вечером в номере все страхи к Семену Иванычу собираются, хуже, чем во всяких снах и предчувствиях.

«Положим, — размышляет, — это не наш народ русский разделявает, а разные фокусники и магнетизеры».

А старинный страх Семена Иваныча перед фокусниками другое нашептывает:

«Вдруг это и есть такая настоящая правда и такая новая жизнь сложится до второго пришествия?»

Второй страх, пропастной, тоже постоянно мучит в номере: то светло и тепло в комнате, а то вдруг без всякого предупреждения свет электрический погаснет, и с тоненькой восковой свечкой сидишь, как над пропастью.

И третий страх лезет тогда, самоубийственный страх, и вышел бы на черную улицу, расстегнул бы волосатую грудь: «Валите, ребята, в меня, — один конец!».

Но боже сохрани выйти на улицу; чуть засмеркается, бегом бежит Семен Иваныч в свой номер и там один, со своими страхами, кружится, как заяц на залитом водою голодном острове.

Утром пятнадцатого мальчик принес билет на поезд в десять часов вечера. Обрадовался Семен Иванович. Выхал на вокзал засветло, для экономии на трамвае, и ящик с чаем очень удобно устроил в ногах, никому не помешал. За десять рублей солдат выбил для него окно в первом классе, и оказался хороший, честный солдат: сохранил ящик с чаем и занял место в уборной на ящике.

Семен Иванович устроился, перекрестился: донеси, господи! Вдруг около десяти вечера объявляют: «Не пойдет!» Метель засыпала всю рассыпанную Русь и соединила в одно прежнее белое необъятное царство.

На обратный трамвай номер пять со Знаменской площади на Васильевский остров опять с чайным ящиком очень удобно устроился Семен Иванович, никому не помешал. Слышно было, как из пулемета стреляли, но в трамвае на людях было не страшно. Переехав уже Николаевский мост, номер пять вдруг остановился, и свет в трамвае погас, и номер восемнадцать, который вплотную шел за пятым, тоже погас, и все трамваи в столице, где какой шел, на том месте остановились и погасли: тока не было. Пождали час и два, — кому охота в метель под выстрелами пешком идти?! Но, делать нечего, один за другим разошлись пассажиры, исчезая в метели, и, наконец, кондуктор ушел.

С тяжелым ящиком — пятьдесят фунтов чая! — выходит последним Семен Иванович, озирается: света — огонька не видно кругом, и ни одного человека нигде, и, кажется, если бы и появился где-нибудь человек, так страшнее был бы самого лютого зверя. Вот если бы много людей — тогда ничего. В надежде встретить много людей на Большом проспекте, спешит Семен Иванович так, будто за ним гонятся, во весь дух бежит, задыхается под тяжестью ящика. А на Большом еще хуже, — на проспекте пусто, как в сибирской пустыне, и даже пустее, чем там: там от веку положено, а тут проспект, огромные дома — и никого!

Частую перестрелку донес ветер с Гавани, и так близко кажется, вот сейчас тут, на чужбине, и останешься совсем. Тогда явственно предстала Семену Ивановичу его Козочка-покойница, Сонечка-племянница, снежно-белая, и жалится, зачем он бросил ее в Лебедяни и ее маленькие похороны променял на такие большие и все равно такие несправедливые. Покачнулось видение, разлетелось, и показалось в метели огромное серое чудище: то понизится, то вырастет, и машет, машет, прямо на Семена Ивановича.

Выронил ящик, посторонился, перекрестился, и огром-

ное выбежало из метели маленькой черной собачкой прямо на Семена Иваныча.

Потом выросли какие-то три горы и вышли к Семену Иванычу тремя штатскими, с ружьями. Осмотрели крышку, взломали, — чай!

— Мародер!

И повели куда-то Семена Иваныча.

III

В той комнате, где грезили когда-то благородные девицы, записанные в бархатную книгу, сидят два генерала и в шашки играют, третий генерал замечает комнату. Каждый час вводят новых арестованных. Два старичка — были когда-то директорами департамента — пробуют уснуть и, холеные, не могут уснуть от всякого шума, вскакивают, узнают место, и опять ложатся, и опять вскакивают, как заводные. Полковник, пожилой человек с офицерским «Георгием», бормочет что-то без перерыва про митрополита Антония. За полночь слышится в коридоре:

— Мародера поймали!

И вводят Семена Иваныча. Дико обводит горящими глазами грузный, черный, с проседью, всклокоченный, занесенный снегом человек и тяжело садится на табуретку.

Руки у Семена Иваныча на животике, большие пальцы неустанно крутятся один возле другого и час, и два. Безумный полковник с «Георгием» ему, как другу, рассказывает о средствах спасения родины: завтра он подаст прошение митрополиту Антонию, чтобы ему разрешил митрополит идти во все притоны хулиганские и вертепы и собирать хулиганов под голубое Христово знамя.

— Это завели их не туда, а в наших хулиганах много божественного!

Слушает внимательно полковника Семен Иваныч, а глазами косится на генералов, играющих в шашки, замечает, как загоняется пешка, запирается.

— Завели народ не туда! — бормочет полковник.

— Кончена, заперта! — объявляет генерал.

Семен Иваныч что-то промычал и очень обрадовал полковника: все-таки голос подал.

— Я, — говорит, — соберу для митрополита всех хулиганов под голубое знамя, приведу всех под благословение к митрополиту, и Россия будет спасена.

Глубинеет ночь. Где почивали смольные благородные девицы, записанные в бархатную книгу, вповалку спят теперь арестованные генералы, и бывший член Государственной думы, и член Учредительного собрания, разные социалисты, чиновники, только не спит один Семен Иванович и все крутит пальцами.

Смольная Грeziца коридорами-арками переходит в зал с двойным светом, где принцессой танцевала Екатерина Великая с последним польским королем, и скрывается в верхних голубеющих окнах.

Голубеет утро. Просыпаются заключенные один за другим и все на Семена Ивановича смотрят: как сел вчера на табуретку, так и теперь не шелохнется, сидит и только пальцами крутит. Хозяйственный генерал готовится к чаю; встают, оправляются директор департамента, социалисты, депутаты.

Часы бьют десять, одиннадцать, двенадцать... В первом часу объявляют Семену Ивановичу:

— К допросу!

Так подумал Семен Иванович, когда привели его к допросу, что это судьи сидят, и очень удивился им: знакомые, такие хорошо знакомые, как жил всю жизнь с ними, такие же точно и тут — на том свете — сидят.

— Здравствуйте, приятели!

Хмурые, молчат судьи.

— Зазнались, черти, не узнаете?!

И хохотать.

Велели Семена Ивановича вывести, но под послед он успел им ввернуть:

— Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного!

Какой-то секрет от всей заворошки открылся Семену Ивановичу в эту затворную ночь, и все его страхи прошли, как будто он забежал дальше всякого страха и сам стал как страх. В самое пекло идет, в самую гущу бесповоротную, где возле винного склада красногвардейцы третьи сутки стреляются с пьяницами. Без всякого страха под пулями идет, идет Семен Иванович к пьяницам.

— Здорово, ребята!

Пьяницы отвечают:

— Наше превосходительство!

Рыжий, растрепанный, вовсе пьяный солдатик подносит вина.

— Под голубое знамя, шагом марш! — командует Семен Иваныч.

— Точно так! — отвечает рыжий.

Безумный и пьяный выступают под пули, и пули не берут их: никакого страха не имеют безумные и пьяные, они сами как страх. Свертывают сани, грузовики, автомобили, останавливаются трамваи, пропускают безумного идти с войском.

Так Семену Иванычу и представляется, будто не один пьяница за ним идет, а все полки, вся пьяная Русь шествует под голубое знамя. Семен Иваныч больше ничего не боится, — Семен Иваныч сам теперь как страх. В ужасе сторонятся прохожие, обыкновенные люди, издали смотрят, как шествуют: безумный впереди, пьяный позади, в странном обманном согласии.

КОММЕНТАРИИ



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ИМЛИ — Архив А. М. Горького Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького, Москва.

Горький — А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1949—1955.

ЛН — «Литературное наследство».

Собр. соч. 1929—1931 — М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М.—Л., ГИХЛ, 1929—1931.

Собр. соч. 1935—1939 — М. М. Пришвин. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1935—1939.

Собр. соч. 1956—1957 — М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956—1957.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ

Рождение замысла автобиографического романа М. М. Пришвина «Кашеева цепь» относится, по-видимому, еще к дореволюционному времени, но вплотную к работе над этим произведением он приступил в декабре 1922 года после окончания повести «Мирская чаша». В «Кашеевой цепи» Пришвин совершает «прыжок в прошлое» героя «Мирской чаши» — Михаила Алпатова, обращаясь к его детским, отроческим и юношеским годам. Начало романа писалось Пришвиным в деревне Дубровка близ Талдома Московской области.

«Кашееву цепь» Пришвин называл «очерком своей жизни». Хронологические рамки романа намечались автором от конца царствования Александра II (1870-е — начало 1880-х годов) и до современности. «Мирская чаша» должна была войти в роман как одна из его составных частей.

Воссоздавая картину русской социальной и общественной жизни конца XIX — начала XX века, Пришвин, верный исторической правде, с большим художественным мастерством создает в «Кашеевой цепи» образы разоряющихся, теснимых «банком» дворян-помещиков и богатейших сибирских купцов-колонизаторов, батраков, безземельных крестьян и духовенства, провинциальных интеллигентов-народников и первых марксистов-подпольщиков. Примыкая к таким классическим в русской литературе образцам «семейных жизнеописаний», как трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность» Л. Н. Толстого, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Кашеева цепь» имеет и весьма существенное отличие от них. Это философский роман, в котором на первый план вынесена личность автобиографического героя, проходящего трудный путь познания себя и окружающего его мира. Что же касается отраженной в «Кашеевой цепи» предреволюционной эпохи, характеризующей ломкой всего старого уклада жизни, то ей в романе отведена роль социального и бытового фона. Историческая действительность со всеми ее реалиями и подробностями предстает в произведении Пришвина сквозь призму восприятия ее Курымушкой-Алпатовым — художественно одаренной натурой, обостренно воспринимающей всякую несправедливость и верящей в силу добра. Автор романтизирует своего героя, приподнимает его над будничностью «бытия», в какой-то мере любит его им. Жизнь Курымушки-Алпатова — это, по словам Пришвина, «медленно, путем следующих одна за другой личных катастроф, нарастающее сознание». Движущей пружиной сюжета «Кашеевой цепи» является с большой тщательностью прослеживаемый автором самый процесс движения мысли героя романа, который «ставит свою лодочку на волну великого движения» и чье личное «хочется» определяется «в океане необходимости всего человека» (М. Пришвин. Незабудки. М., «Художественная литература», 1969, с. 35). Надо отметить, что образ Курымушки-Алпатова это не фотография молодого Пришвина, а более высокая, философски осмысленная ступень художественного обобщения и типизации конкретного автобиографического материала. Художественное своеобразие «Кашеевой цепи» в том, что познание будущим писателем Курымушкой-Алпатовым социальной действительности и своего места в ней представляет собой акт творчества, выражающийся в преобразовании результатов наблюдений героя над жизнью и его выводов в систему обобщенных символических художественных образов. Символический смысл имеет уже заглавие романа. «Кашеева цепь» у Пришвина — это, во-первых, собирательный образ социального зла, а во-вторых — условное обозначение всего дрябло-

го, слабого, безвольного, что таится в душе человека и мешает ему выявить свое «я». В соответствии с философской концепцией романа, Пришвин называет его части «звеньями» той злой «Кашеевой цепи», которые Курымушка-Алпатов на своем пути к свободе должен разорвать. «Из своего детства, отрочества и раннего юношества я сделал сказку, которая еще не совсем пережила мной, радует меня», — писал Пришвин в 1925 году в «Автобиографии». Курымушке-мальчику близок мир народной фантазии, который он населяет персонажами, взятыми из действительности. Неудачный побег Курымушки-гимназиста в таинственную и далекую «Азию» и развеянная при столкновении с действительностью наивная мечта о сказочной стране «Золотых гор» — начало проходящей через весь роман темы любви к Родине. Детство Пришвина прошло в небольшом имении в Елецком уезде. Наблюдения над жизнью малоземельных крестьян в сознании Курымушки оформляются в легенду о «втором Адаме», который пришел на землю, когда «первый Адам», изгнанный богом за грехи из рая, уже заселил ее, и для «второго Адама» свободной земли не оказалось. Поиски счастливой страны «Золотых гор» для себя Курымушка в легенде о «втором Адаме» связывает с мечтой крестьянина-хлебопашца о свободном труде на своей земле. Впоследствии легенду о «втором Адаме» Пришвин называл одной из «главных» своих «жизненных тем». Прекрасная страна «Золотых гор» из сказки у героя романа конкретизируется в поэтический образ зачарованной злым Кашеем, опутанной его цепями Родины, с ее несметными природными богатствами, с ее ширью, привольем, красотой, очищающей и возрождающей душу Михаила Алпатова. Вообще реальная действительность в «Кашеевой цепи» сопряжена со сказкой, и наряду с реальным миром в романе Пришвина как бы сосуществует другой, отраженный, сотканный из фантазии. Так, когда Алпатов читает работу К. Маркса «К критике политической экономии», для него приобретает особый, «сказочный» смысл образное выражение К. Маркса о «золотой куколке», в которую превращаются все товары, а когда Алпатов переводит книгу Августа Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», то женщина будущего ассоциируется у него со сказочным образом Марьи Моревны. В этом смысле роман Пришвина дает материал для уяснения роли народного миропонимания и фольклора в становлении личности героя (см.: П. С. Выходцев. Народно-поэтическая основа философской прозы М. М. Пришвина. — «Русская литература», 1980, № 1, с. 49—72).

Особо следует остановиться на сложных взаимоотношениях героя «Кашеевой цепи» с природой. Не случайно многие главы романа носят такие названия, как «Аромат земли», «Светлолюбивая береза», «Флора и фауна», «Ток». Для Курымушки окружающий его с детства мир природы одухотворен, полон внутреннего очарования и тайны и, пробуждая фантазию мальчика, связывает его «сказку» с действительностью. Впоследствии Алпатов, с его сознанием «среднего интеллигента-материалиста»,

порвавший с практикой революционной борьбы («марксизм» его, по существу, был доктринерским пересказом чужих мыслей!) и переживший разрыв с невестой Инной Ростовцевой, обращается к природе как воплощению «естественных законов» бытия, где «нет существенной разницы между человеком и зверем». Привнесение же в эти законы природы «чуда» Любви и является началом творчества. Агроном Алпатов хочет осушить озеро, превращенное Кашеем в болото, и вернуть людям забытую ими легендарную «Золотую луговину». Картина весеннего ледохода на реке, которую видит Алпатов, вернувшийся на родину из Германии, приобретает аллегорический, иносказательный смысл. Это и напоминание Алпатову о детстве (из глубины его сознания всплывают сказочные образы Снегурочки и царя Берендея), и предвещание будущего (грязные льдины кажутся Алпатову разбитыми звеньями Кашеевой цепи).

В рукописях Пришвина сохранился набросок первоначального плана «Кашеевой цепи»: «Звено 1-е. Голубые бобры. Звено 2-е. Каинов путь. Звено 3-е. Продолжение Каинова пути: студенчество, бардак и женщина будущего. Звено 4-е. Любовь и начало творчества (захватить 1-ю революцию). Звено 5-е. Свой дом и война. Звено 6-е. Воскресение отцов» (ЦГАЛИ). В процессе работы над романом план его усложнился, хотя Пришвин, несмотря на переживаемые им сомнения и возражения некоторых критиков, остался верен поставленной им вначале задаче. Постепенно автор пришел к заключению, что «Кашеева цепь» должна состояться из трех романов, объединенных композиционно и личностью автобиографического героя. Проследившая эволюцию центрального персонажа, Пришвин писал в 1933 году: «В романе Алпатов посредством любовной катастрофы со своих теоретических высот сведен вниз, к грубейшей жизни, где все его лишнее, не свое, мечтательное, нереальное уплывает весной в виде старых льдин, а сам Алпатов, присоединяясь чувством к реву весенней торжествующей жизни, принимается за дело» (*Собр. соч.* 1956—1957, т. 4, с. 13). Автор предполагал закончить «Кашееву цепь» и проститься со своим героем в тот момент его жизни, когда Михаил Алпатов «понял себя самого как художника». К сожалению, этот замысел остался нереализованным. Из трех задуманных книг написаны были лишь две. Работу над третьей книгой Пришвин начал в 1943 году, но вскоре прервал ее, отвлеченный другими творческими планами («Повесть нашего времени», «Кладовая солнца»). Хранящиеся в архиве Пришвина черновые наброски третьей книги романа посвящены периоду первой мировой войны. В 1954 году, завершая вторую книгу «Кашеевой цепи» главой «Искусство как поведение», Пришвин пояснял: «Где уж тут в мои восемьдесят лет написать мне роман до конца! Но мне кажется возможным рассказать здесь об Алпатове, как он сделался писателем после того, как «ушел в природу».

Первое звено «Кашеевой цепи» — «Голубые бобры» — было закончено Пришвиным 12 февраля 1923 года. Первая книга «Кашеевой цепи»

(три звена), с подзаголовком «Хроника» стала печататься в 1923 году в журнале «Красная новь» (кн. 3, 4, 5 и 7).

М. Горький взволнованно писал Пришвину 20 ноября 1923 года из Берлина: «Кашеева цепь» тоже — превосходно! Не потому, что я хочу ответить комплиментом на Ваш мне комплимент, а — по совести художника говорю. Особенно понравилась мне глава «Кум». «Курымушка» — удивительная *личность*. И прекрасный Ваш язык говорит через разум читателя прямо душе его» (Горький, т. 29, с. 417—418).

Начало печатания «Кашеевой цепи» было одобрительно отмечено в прессе. Критик А. Черновский, делая обзор содержания «Красной нови», писал: «Прекрасную <...> автобиографическую вещь дал большой мастер языка М. Пришвин. Два «звена» его хроники «Кашеева цепь» <...>, совершенно очевидно, не сочинены автором, не «написаны», а «рассказаны» (см. «Звезда», 1924, № 1, с. 289).

5 января 1924 года Пришвин обратился с письмом к редактору «Красной нови» А. К. Воронскому: «...Напечатанное у Вас мое сочинение «Кашеева цепь» представляет из себя вполне законченную повесть «Курымушка», и под таким заглавием я очень бы хотел ее издать» (ИМЛИ). Под названием «Курымушка. Повесть в 3-х частях» три первых звена «Кашеевой цепи» были выпущены в 1924 году издательством «Новая Москва». Готовя «Кашееву цепь» для отдельного издания, Пришвин заменил название третьего звена «Второй Адам» на «Золотые горы».

Критика дала о «Курымушке» самые положительные отзывы. «В повести этой, — писал Юрий Соболев о Пришвине, — вскрывает он нужную правду не только о себе (поскольку есть «Кашеева цепь» *автобиография*), но и о целом поколении, зачатом в «светлую эпоху» российского либерализма, отрочество и юность проведенные под гнетом реакции 80-х годов и под убаюкивающую ложь 90-х годов с их проповедью «малых дел». Но вместе с тем «Кашеева цепь» обнимает и правду о поколении, на плечи которого пала тяжесть революции, которую оно приняло через испытание «огнем и мечом» («Россия», 1924, № 1, с. 207). «Курымушка», — продолжал Юрий Соболев в другой рецензии, — это рассказ о росте формирующего сознания. Все этапы духовного роста Курымушки показаны на очень широко взятом общественном фоне. В этом еще большая значительность книги» («Известия», 1924, № 222, 28 сентября).

В письме к Леониду Леонову 12 декабря 1924 года Горький спрашивал: «Пришвина не видите? Не вышел ли «Курымушка» отдельным изданием?» (Горький, т. 29, с. 426). Посылая «Курымушку» М. Горькому, автор сделал на книге такую надпись: «Юному сердцу Алексея Максимовича с родственным чувством. Михаил Пришвин. 3.III.25, Москва» (ЛН, т. 70).

«Будете ли Вы продолжать «Курымушку»? Это удивительно хорошо сделано, Михаил Михайлович!» — интересовался М. Горький в письме от

1 февраля 1925 года (*Горький*, т. 29, с. 427). «Я сейчас работаю над продолжением «Кашеевой цепи», — ответил Пришвин 1 декабря 1925 года, — то был Курымушка гимназистом, теперь будет студентом — эпоха начала марксизма (золотая валюта, винная монополия и т. д.). Мне представляется, что если я напишу это, то вся современность так и раскроется, но это, Вы знаете, всегда что-то представляется, а выходит то, что надо. Трудная работа, упрямая, но, судя по первым трем книгам, все-таки дело свое проверну» (*ЛН*, т. 70, с. 328). «С большущим нетерпением буду ждать продолжения «Курымушки», что очень хорошо у Вас вышло», — отозвался на это М. Горький в письме из Неаполя от 16 января 1926 года (там же, с. 327).

Дальнейшее печатание «Кашеевой цепи» из «Красной нови» было перенесено в журнал «Новый мир».

В рецензии на «Юность Алпатова» Юрий Соболев, прослеживая развитие Пришвиным «темы о внутреннем росте человека», писал о герое «Кашеевой цепи»: «Он приехал в родную усадьбу со смутными чаяниями молодой души, которая должна решить для себя окончательно и раз навсегда вопрос о своем месте в ряду подневольных человеческих жизней <...>. В дальнейших главах <...> Алпатов столкнется с народниками и с марксистами. Он станет апологетом того учения, которое раскроют ему Маркс и Плеханов» («Комсомольская правда», 1926, 4 апреля). С Юрием Соболевым не согласился И. Нусинов, полагавший, что «ценность романа именно в том, что это — одна из последних дворянских семейных хроник в русской литературе» и что Пришвин «рядом новых деталей <...> вскрыл обреченность и никчемность обитателей усадьбы». Критик назвал тривиальными и скучными, «по ошибке вклеенными из чужой книги», те страницы «Юности Алпатова», где герой говорит о марксизме и народничестве. В очень важном для Пришвина «предисловии о зайце» И. Нусинов увидел лишь удачную орнаментику и «невинное кокетничанье мистическим, которое не следует принимать всерьез» («Книгоноша», 1926, № 34, с. 6).

Нужно отметить, что и сам Пришвин был не удовлетворен «Юностью Алпатова». 3 октября 1926 года он признался в письме М. Горькому: «Через месяц в Госиздате выйдет «Юность Алпатова» вместе с «Курымушкой», как звено 4-е «Кашеевой цепи». Эта «Юность» меня раздражает: она «рациональна», скучновата, необходима, однако, перед звеном «Любовь». Я должен создать в этом лучшую вещь, и вот выйдет роман с окончанием на худшем <...>. А «Любовь» эту я хочу написать так, чтобы избежать в ней ошибок моей действительной любви: я не понимал в юности, что женщине, которую любишь, надо *служить*. Но, боже, как я усложняю свое писание, как далеко все от современности...» (*ЛН*, т. 70, с. 334).

2 апреля 1927 года Пришвин известил М. Горького о выходе «Кашеевой цепи» в Госиздате. Теперь уже четырем звеньям романа в книге

предпослано лаконичное предисловие автора. «Кашеева цепь», — пояснял он, — задумана как цикл повестей, объединенных нарастанием событий в жизни Михаила Алпатова». Оставив без изменений текст первых трех звеньев («Курымушка»), Пришвин пересмотрел журнальный текст «Юности Алпатова», заменив заглавие четвертого звена на «Бой». Возможно, полемизируя с И. Нусиновым, автор переносит эпизод о зайце в начало книги и делает его своеобразным «зачином» уже для всего романа. В журнальной публикации «Юность Алпатова», отвечая читателям «Курымушки», принявшим ее «как автобиографию и семейную хронику», Пришвин писал: «Я против этого ничего не имею, лишь бы только с интересом читалась эта повесть без настоящих героев и без фабулы. А чтобы еще больше походило на жизнь, я назову в дальнейшем Курымушку настоящим человеческим именем: пусть это будет Михаил Алпатов, младший из четырех сыновей когда-то небезызвестной в Черноземной полосе замечательной хозяйки Марии Ивановны Алпатовой». Поясняя символику эпизода о зайце, Пришвин называет свой роман «сказкой», и очень близкой к его собственной жизни, и очень далекой. Во всех дальнейших переизданиях «Кашеевой цепи» Пришвин каких-либо изменений в программный для него «зачин» романа не вносил.

Завершение Пришвиным первой книги «Кашеевой цепи» (четыре звена) позволило критикам проверить свои первые впечатления и прогнозы. «Михаил Пришвин, — отмечал Геннадий Фиш, — дал русской литературе, современному читателю превосходный роман, глубоко волнующий своей тонкой лиричностью, четкостью письма, меткостью психологических наблюдений и любовью к человеку» («Ленинградская правда», 1927, 24 марта). С Г. Фишем соглашался И. Нович (см.: «Молодая гвардия», 1927, № 8, с. 190). Все рецензенты особо выделяли высокие художественные достоинства «Кашеевой цепи». Разногласия же возникали по вопросу об «общественной ценности» произведения. «Роман ли это?» — спрашивал Павел Медведев и отвечал: «Нет. Это — именно цикл повестей, «звеньев», объединенных фигурой центрального героя — Курымушки, Миши Алпатова <...>. В результате получилась яркая и цельная, несмотря на свою фрагментарность, вещь типа «семейных хроник», заключающая в себе превосходные зарисовки из жизни старой русской интеллигенции, буржуазии и крестьянства. В этом — общественная ценность «Кашеевой цепи», в то время как в изображении формирования личности Михаила Алпатова — ее психологический интерес» («Красная газета», 1927, 24 мая, веч. вып.). Борис Киреев подчеркивал, что Курымушка «говорит и думает от имени Пришвина». Критику особенно нравится, как показана в романе дореволюционная средняя школа: «лучшее, пожалуй, в нашей литературе художественное свидетельство, как калечились дети в казенных гимназиях» («Книги и профсоюзы», 1927, вып. 3—4, с. 63). В рецензии Н. Замошкина характеристика образа Алпатова соотнесена

с изображенной в романе исторической эпохой. Для Н. Замошкина «Кашеева цепь» — «произведение с большим бытовым и философским содержанием. Мысли и образы в нем настолько спрессованы, что иногда требуют расшифровки (...)». Сказки не получилось, ибо в романе преобладает не фантазия, а художественный расчет и автобиографизм, взвешенный (и это очень важно) на весах позднейшего жизненного опыта писателя. Поэтому-то жизнь Курымушки логически последовательна, закономерна, целесообразна (...). Настойчиво писатель разворачивает идею романа: *человек должен утвердить самого себя...* Дальнейшие звенья «цепи» еще впереди. Но главное в романе определилось: эгоцентризм и гордость героя... Герой ясен до последней черты: «цепь» разрывается им исключительно для самого себя, а мужики, революционная работа и даже «звезды» — необходимый автору материал для выработки «миросозерцания» («Печать и революция», 1927, № 4, с. 192—193).

До начала работы над второй книгой «Кашеевой цепи» Пришвин философски осмысливает факты своей личной биографии в наброске, озаглавленном им «Книга любви. Материалы»: «Начало мое исходит, конечно, от Вары с Курымушкой, но самый процесс, брак с жизнью осуществляется через Павловну. Если бы ее не было, то Курымушка превратился бы в хлыста или в трагическое лицо с умом порывистым и неправильным. Через Павловну произошла материализация духовного процесса и его универсальность... Может быть, для искусства именно моего характера необходим был разрыв женщины и потом его соединение: разрыв дал искру, как разрыв провода электрического тока. И, может быть, разрыв этот необходим для всякого искусства» (ЦГАЛИ). Варя — это Варвара Петровна Измалкова, прототип Инны Ростовцевой. Закончившийся разрывом роман Пришвина с Измалковой оставил очень глубокий след в душе писателя и нашел отражение во многих его произведениях. Павловна — первая жена Пришвина Ефросинья Павловна (1888—1953).

В № 1 «Нового мира» за 1927 год Пришвин публикует пятое звено — «Весна света», которое мыслится им первой частью второй книги «Кашеевой цепи» (роман «Любовь»). Звено состоит из восьми глав. 25 января 1927 года М. Горький писал автору: «Вчера с восхищением прочитал «Любовь», да и все мои читают ее также с радостью. Чудеснейший Вы художник (...). Особенно значительны те страницы «Любви», где Вы изображаете тюрьму» (ЛН, т. 70, с. 338—339). По-видимому, в том же году, посылая Ольге Форш первую книгу «Кашеевой цепи», «остановленную на невыгодном месте», Пришвин приложил журнальный оттиск «Любви». «Я очень боюсь с «Кашеевой цепью» залезть пока в не дозволенный мне мир, перешагнуть свой предел и стать скучным, холодным» («Русская литература», 1973, № 2, с. 187).

Некоторые представления о плане второй книги «Кашеевой цепи» дает письмо Пришвина В. Полонскому, датированное 17 мая 1927 года: «Вчер-

не у меня готово звено «Зеленая дверь», которая представляет из себя такую же цельную повесть листа в $2\frac{1}{2}$, как и «Тюрьма». Я эту повесть представляю Вам, как говорил, точно 1 августа <...>. Я остерегаюсь давать ее раньше, потому что в связи с работой над дальнейшими частями все более и более является необходимость в маленьких переменах <...>. Надеюсь, что, сдавая 1 августа «Зеленую дверь», я буду в том виде, как сейчас «Зеленая дверь», иметь новое звено «Vir ornatissimus russus», а когда это сдам — новое любовное и, наконец, брачное (все должно кончиться свадьбой). Мои звенья печатайте между другими романами, когда хотите, ведь роман мой весь разрывной и по замыслу, вспомните, что он начался («Кашеева цепь») года 4 тому назад в «Красной нови» («Новый мир», 1964, № 10, с. 199).

Следующее, шестое звено «Кашеевой цепи» — «Зеленая дверь» появилось в №№ 11 и 12 «Нового мира» за 1927 год. В № 4 «Нового мира» за 1928 год печатается седьмое звено «Юный Фауст» с авторским примечанием: «Хотя роман «Кашеева цепь» пишется так, что каждое звено его может считаться самостоятельным, все-таки не лишним считаю напомнить общее его содержание. В первом томе формируется личность с детских лет до эпохи убийства Александра II и до вступления юноши в цикл марксистских идей. Второй том «Любовь» — начинается изображением тюрьмы, в которой сидит Алпатов за свое «государственное преступление». К нему является невеста и предвещает ему скорое освобождение. Она зовет его по освобождении уехать учиться за границу и там ее разыскать...» До конца 1927 года в «Новом мире» публикуются восьмое звено «Брачный полет» (№ 5), девятое звено «Положение» (№ 6) — и завершающее вторую книгу десятое звено «Живая ночь» (№ 7). Изучение рукописей Пришвина показывает, что вторая книга «Кашеевой цепи» должна была завершиться звеном «Алпатов у берендеев». «Это последнее звено, — писал Пришвин 27 сентября 1927 года, — должно быть все пронизано детской открытостью к жизни (мотив из «Родников Берендея»)»... Далее Пришвин в сжатой и конспективной форме излагает содержание этого звена. «Алпатов на службе у Бобринского. Граф хочет спасти имение. Алпатов, узнав секрет «Золотой луговины», может это, но старик Григорий советует ему: «Похрани, время твое придет». И вот тут-то, может быть, пригодятся на службу злые силы болот. Ребенок Алпатов и тайна Золотой луговины... Вначале Берендей является Алпатову как своя поэтическая мечта... Потом постепенно сгущается мечта и воплощается в овчинника. Тот же самый процесс воплощения будет и с Инной: он ее постепенно будет узнавать и в жене, и в цвете болот <...>. Итог — разбивает Кашееву цепь творчество, которое себе кажется призванием, а со стороны отдачей себя <...>. Итак, 3 части любви, остается: 1) Брачный полет, 2) Свое малое, 3) Берендей» (ЦГАЛИ). Позже материал этого не написанного Пришвиным звена «Кашеевой цепи» был использован автором в «Журавлиной родине».

Обе книги «Кашеевой цепи» вошли в издававшееся в 1927—1930 годах Собрание сочинений Пришвина (т. 5 и 6). Текст первой книги полностью соответствует изданию «Кашеева цепь» (М.—Л., Госиздат, 1927), в котором из второго звена («Маленький Каин») была исключена и никогда не восстанавливалась глава «Бабы». Что же касается второй книги «Кашеевой цепи», то она была подвергнута некоторой авторской правке. Пятое звено «Любовь. Весна света» получило новое название — «Государственный преступник». Выпущенная из этого звена пятая глава «Иван-да-Марья» печаталась в сборниках Пришвина («Рассказы егеря Михал Михалыча». М.—Л., Госиздат, 1928, и др.). В заключительной главе «На волю» автором вычеркнут конец. В звене «Зеленая дверь» глава «Русский» названа «Русский жучок», и, наконец, внесены незначительные исправления стилистического характера в текст входящей в восьмое («Брачный полет») звено главы «Бахрома».

21 апреля 1928 года Пришвин сообщил М. Горькому из Сергиева Посада: «Был в Питере для сдачи в ГИЗ законченного 2-го тома «Кашеевой цепи»...» (ЛН, т. 70, с. 357). Рецензировавший это издание романа Б. Пятовский (Б. С. Вальбе) назвал «Кашееву цепь» всамделишной историей «нашей общественной мысли». Переходя далее к образу Алпатова, критик писал: «Ярко показана двойственность этого интеллигента-девяностидесятника, так метавшегося «от марксизма к идеализму». По мнению рецензента, Пришвин «романист и историк часто пасует перед лириком и пейзажистом» и что «во всем этом столько художественного очарования, пьянящих ароматов сказки и приключенческой легенды, что теряешь канву, хронику исторических событий» («Красная газета», 1929, 14 февраля, веч. вып.).

Во втором издании Собрания сочинений М. Пришвина (М.—Л., ГИХЛ, 1929—1931) «Кашеева цепь» вышла с послесловием М. Григорьева «Пришвин и Берендеево царство». Без изменений «Кашеева цепь» (в двух томах) выпущена Издательством писателей в Ленинграде в 1932—1933 годах. В новом Собрании сочинений Пришвина (Гослитиздат, 1935—1939) автор дополнил роман циклом рассказов «Журавлиная родина» (1933), предложив их читателю в качестве третьей книги «Кашеевой цепи», но позже переменил свое решение.

За год до смерти Пришвин перечитывает свой роман. Дневниковые записи 1953 года свидетельствуют о глубоких размышлениях писателя как над своей творческой биографией, так и над судьбой автобиографического героя «Кашеевой цепи» Алпатова. Личная биография Пришвина и биография Алпатова никогда не были для автора равнозначны. Но по мере того, как герой Пришвина вырос, разрыв между ним и автором все более и более сокращался. И перед писателем встала очень сложная задача: все так же используя факты своей (теперь уже писательской) биографии, избежать неизбежного «слияния» автора и героя «Кашеевой цепи». Дело в том, что, повествуя о жизни Курымушки-Алпатова, подводя героя к при-

роде «как родине талантов», Пришвин предполагал для него иной вид творчества, не литературный. Третья книга «Кашеевой цепи» должна была рассказать о творчестве Алпатова инженера-торфмейстера, осушающего озеро-болото и превращающего его в Золотую луговину. Теперь, заново перечитав роман, Пришвин решает написать к нему автокомментарий. 19 мая 1953 года он заносит в дневник: «Автобиографию, как предисловие, как смысл и вывод «Кашеевой цепи», начал было сочинять И понял, что «Кашеева цепь» есть песня мальчика о своей родине (...). Конец «Кашеевой цепи»: костер сгорел, началась открываться родина» (*Собр. соч. 1956—1957*, т. 6, с. 704). 2 июня 1953 года в дневнике появляется новая запись: «Отдамся работе над автобиографией, большой, включающей, как часть, всю «Кашееву цепь» (там же, с. 707). И еще, 24 июля 1953 года: «Надо приниматься за «Кашееву цепь», утопить эту книгу в автобиографии» (там же, с. 733). Но Пришвина не могло не волновать и другое. Возвратившись к «Кашеевой цепи» после большого перерыва, писатель спрашивал себя — насколько художественный образ Курымушки-Алпатова близок и понятен современному читателю. Сумеет ли он, читатель, рассмотреть за тем, что обусловлено в этом образе временем, ушедшей исторической эпохой (метания интеллигента в поисках личного счастья в революционной работе, в любви и, наконец, в природе) то, что составляет его главное содержание? 4 августа 1953 года Пришвин пишет в дневнике: «Начал внимательно читать «Кашееву цепь» и своими глазами уверился, что это очень ценная вещь и в своем роде единственная. И что самое главное, это роман не в прошлом, а скорее в будущем, что новой своей собственной редакцией я могу обратить на него внимание» (там же, с. 735). «Дочитываю «Кашееву цепь», — продолжает он развивать свою мысль в дневнике 24 августа 1953 года, — и понимаю так, что далеко я забежал в моем романе и что признание настоящее его еще впереди» (там же, с. 747). Вывод автора: «Правда написанного гораздо фактичней, чем правда сама по себе — правда не одетая» (там же, с. 747). И, наконец, запись от 25 августа 1953 года: «Начинаю не читать, а писать новую «Кашееву цепь» (там же). Размышления над судьбой героя романа Пришвин записывает в дневнике 9 сентября 1953 года: «Алпатов ушел от себя самого в природу. Вот это, наверно, и было моей главной ошибкой в романе, что от себя самого невозможно уйти никуда и тем более куда-то «в природу» (там же, с. 755). «Вчера до конца понял себя и своего Алпатова, — запись от 6 октября 1953 года, — в патриотическом творчестве и лично понятый марксизм обратился в патриотизм» (там же, с. 766). Отказавшись писать третью книгу «Кашеевой цепи», Пришвин дополнил опубликованный текст романа двумя заключительными звеньями — «Искусство как поведение» и «Как я стал писателем», явившимися своеобразным послесловием к этому произведению.

Для последнего издания «Кашеевой цепи» (вышло уже после смерти автора, в 1956 году) Пришвин подверг существенной правке весь текст

романа, напечатанный в *Собр. соч.*, 1935—1939, т. 2. Исключенная из первого звена глава «Абиссинская невеста» заменена двумя новыми: «Веточка малины» и «Хрущево». Для второго и третьего звеньев добавлены написанные в 1954 году предисловия (а для второго звена еще и послесловие «От автора»). В четвертом звене полностью снята глава «Теорема». Сокращены главы «Золотые горы» (третье звено) и «Акушер» (четвертое звено). Опущена глава «Чан», ранее занимавшая место в четвертом звене между главами «Клавесины» и «Одумка». Кроме того сличение текстов обнаружило еще тридцать четыре авторских исправления (вычерки, замены, устранение опечаток и проч.). Пометки Пришвина на листах наборного экземпляра «Кашеевой цепи» указывают на то, что и текст последнего прижизненного издания «Кашеевой цепи» автор не считал окончательным.

Под именем Ефима Несговорова в романе выведен революционер-большевик, «первейший» друг Пришвина, «очень хороший человек, честнейший до ниточки», будущий нарком здравоохранения Н. А. Семашко. Готовясь к написанию «Кашеевой цепи», Пришвин в одном из писем рассказывал: «Я отражу события нашего времени. Чем проще писать, тем, конечно, труднее, но я всех богов прошу помочь мне, прийти на помощь, и быть как можно проще. Раскрываю вперед Вам свои материалы. Алпатов, живой герой, Вы его уже знаете, и другой, похож(ий) на него, но с иной судьбой, доктор, не знаю еще, как его назову. Множество людей других войдут сами, когда условимся о месте и времени» (*ЦГАЛИ*). Н. А. Семашко позже изображен Пришвиным в рассказах «Охота за счастьем» и «Старый гриб».

Среди многих других реальных персонажей «Кашеевой цепи» назовем руководителя нелегальных марксистских групп в Ельце и Риге В. Д. Ульриха («Данилыч»), мать писателя (Мария Ивановна Игнатова), его дядю Ивана Ивановича Игнатова (Иван Астахов), двоюродную сестру народоволку Евдокию Николаевну Игнатову (Дунечка), философа и публициста В. В. Розанова (гимназический учитель географии по прозвищу «Козел»). Упоминаемый в четвертом звене (глава «Италия») безымянный художник, который «ушел в Италию», — родственник Пришвина по отцовской линии М. Н. Горшков (см. поздние рассказы Пришвина «Наш сад» и «Загадка»).

В настоящем издании «Кашеева цепь» печатается по тексту: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 1, сверенному с рукописями и всеми предшествующими изданиями.

Стр. 6. ...там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию... — В последние годы жизни Н. В. Гоголь, переживавший глубокий душевный кризис, характеризовавшийся, в частности, усилением религиозно-мистических настроений, в поисках душевного покоя посещал Оптиную Пустынь в Козельском уезде Калужской губернии. Церковный

проповедник, иеромонах, старец этой пустыни Амвросий (А. М. Гренков, 1812—1891) впоследствии послужил прототипом образа старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 13. ...*знаменитым в то время художником Сверчковым*. — Речь идет о художнике, академике Н. Е. Сверчкове (1817—1898), получившем известность своими жанровыми картинами «Масленица в деревне», «Тройка», «Грузный экипаж с пассажирами, едущий в знойный летний день» и проч.

Стр. 18. ...*почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян*. — Имеется в виду подписанный Александром II в 1861 г. манифест об отмене крепостного права и «Положение» об устройстве крестьян.

Стр. 19. «*Жандарм с усами в аршин // И рядом с ним какой-то бледный, // Полуиссохший господин*». — Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Еще тройка» (1868). У Некрасова: «Лет в девятнадцать господин».

«*Ах ты воля, моя воля...*» — Псевдонародная песня неизвестного автора, прославлявшая «освободителя» крестьян Александра II.

Стр. 20. «*Добрый папаша! К чему в обаянии...*» — Из поэмы Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864).

Стр. 21. «*И звук его песни в душе молодой...*» — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831), положенного на музыку А. Е. Варламовым (1831) и А. Г. Рубинштейном (1852).

Скородил (о б л.) — Скородить — бороновать.

Приотзынул (м е с т н.) — Приотзынуть — приоткрыть.

Э н т и посильнее. — Этот же эпизод описан Пришвиным в «Заворошке» (см. т. 1 наст. изд.).

Стр. 23. ...*под работу в кружок*... — Здесь: в значении обработать участок земли, примыкающий к уже обработанному.

Стр. 26. ...*притаиться под глудкой!* — Глуда, глудка (м е с т н.) — комочек земли.

Стр. 27. ...*на чекмене*... — Чекмень — род кафтана.

Стр. 40. *Не Балда ли это?..* — Из «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина (1831).

Стр. 41. *Царя убили!* — Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной 1 марта 1881 г. народовольцами.

Стр. 59. ...*в мантильках с гарусом*... — Мантилька — короткая накидка без рукавов, отделанная сученой белой или цветной пряжей.

Стр. 68. ...*у него есть своя книга*. — Речь идет о книге: В а с. Р о з а н о в. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886. Экземпляр этой книги хранится в личной библиотеке Пришвина. На книге экслибрис Пришвина и его пометка: «Завет В. В. Розанова мне: — Поближе к лесам, подальше от редакций». В сентябре 1922 г. Пришвин в письме к издателю Ященко

вспоминал: «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов, Василий Васильевич (писатель), был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения, но сам же потом из четвертого класса меня исключил за пустяковину. Нанес он мне этим исключением рану такую, что носил я ее незажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощение («впрочем, — сказал, — это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло») (ЦГАЛИ). Мемуарные записи писателя уточняют: новая встреча Пришвина и Розанова состоялась в Петербурге в 1909 г. на заседании Религиозно-философского собрания, а книга, которую Пришвин преподнес Розанову, была: «За волшебным колобком. Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии». СПб., изд-во А. Девриена, 1908. «Мальчик, — писал Пришвин, — выгнанный из гимназии, носивший всю жизнь по этому случаю уязвленное самолюбие, находит своего врага в религиозно-философском собрании, вручает ему свою книгу с ядовитейшей надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю» и выслушивает от него комплимент. Вот победа! А он-то и не подозревал, с кем имеет дело». 28 сентября 1909 г., во время свидания, Розанов дарит Пришвину свою книгу (заглавие не установлено) с надписью: «С большим уважением на память о Ельце и Петербурге». Впоследствии, в декабре 1922 г., Пришвин напишет, что Розанов «вдохнул» в него «священное благоговение к тайнам человеческого рода» (ЦГАЛИ).

Стр. 82. *«Наша жизнь коротка...»* — Популярная студенческая песня-вальс.

Стр. 85. *«Так жизнь молодая проходит бесследно...»* — Романс, слова и музыка Л. Д. Малашкина (1879).

Стр. 86. *...попробуй-ка ты одолеть Бокля...* — Английский социолог Г.-Т. Бокль (1821—1862), автор монументального исследования «История цивилизации в Англии» (1857—1861), считал движущей силой истории «рассудок» и утверждал, что исторический процесс следует изучать методами естественных наук и статистики. Популярность Бокля в 60—70-х годах XIX в. у русской либеральной и народнической интеллигенции в значительной мере объяснялась резкими выпадами его против рабства и деспотизма.

Стр. 97. *...ударил колокол Крестопоклонной недели.* — По церковному календарю — четвертая неделя Великого поста перед Пасхой.

Стр. 102. *...трудное время набега генерала Мамонтова на Елец...* — Во время гражданской войны в 1919 г. белогвардейский генерал К. К. Мамонтов (1869—1920), командовавший конным корпусом в Вооруженных силах Юга России, совершил рейд по тылам советских войск Южного фронта. Ворвавшиеся в Елец мамонтовцы хотели без суда расстрелять

Пришвина, и только чудом он остался жив. См. об этом в кн.: В. Пришвина. Наш дом, изд. 2. М., «Молодая гвардия», 1980, с. 19.

Стр. 110. *Есть малый словарь Павленкова*. — Речь идет об однотомном «Энциклопедическом словаре» прогрессивного издателя Ф. Ф. Павленкова (1839—1900). Словарь был напечатан в 1899 г. в Петербурге и до 1913 г. выдержал пять изданий.

...кричат «под табак»... — Табак — деревянный набалдашник на упорном шесте, которым отталкиваются ото дна. Возглас «под табак» означает, что шест достиг дна.

Стр. 111. *Маргарит-книга* — древнерусский сборник поучений, составленный преимущественно из проповедей константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста (347—407).

Стр. 118. ...раскинулась степь, но совсем не такая, как у Кольцова... — Имеется в виду стихотворение А. В. Кольцова «Русская песня» («Светит солнышко, да осенью...»; 1840).

Стр. 121 *Дрепер* (Д.-У Дрепер; 1811—1882) — американский естествоиспытатель и историк культуры, создатель биологической теории исторического прогресса, автор труда «История умственного развития Европы»; Г. Спенсер (1820—1903) — английский философ и социолог: в труде «Система синтетической философии» (1862—1896) развивал вульгарно-механистические взгляды на природу.

...роман «Что делать?» таинственного автора... — Речь идет о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», впервые опубликованном в журнале «Современник» за 1863 г. После расправы самодержавия с Н. Г. Чернышевским имя его запрещалось упоминать в печати. Перепечатать роман «Что делать?» стало возможным лишь в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского, вышедшем в революционные 1905—1906 гг.

«Знамения времени». — Имеется в виду роман в двух частях писателя Д. Л. Мордовцева (1830—1905), напечатанный в 1869 г. и запрещенный царской цензурой (был переиздан лишь в 1900 г.). Роман отразил настроения умеренного народничества.

...Ренан «Жизнь Христа»... — Книга французского историка и философа Э. Ренана (1823—1892) «Жизнь Иисуса» (1863) подверглась цензурным гонениям.

Кеннан — американский журналист и путешественник Джордж Кеннан (1845—1924). В 1886 г. изучал положение заключенных в русских тюрьмах и ссылке. Собранные материалы изложил в своей книге «Сибирь и ссылка» (русский перевод — в 1890 г.), запрещенной царской цензурой (см.: Е. И. Меламед. Джордж Кеннан против царизма. М., «Книга», 1981.).

...запрещенная «Крейцера соната» Толстого... — Повесть Л. Н. Толстого «Крейцера соната» в России впервые, с сокращениями по цензурным причинам, была напечатана в т. XIII «Сочинений» Л. Н. Толстого (М., 1891). Полный текст повести с 1890 г. публиковался за

рубжом (издательства М. К. Элпидина в Женеве, книжного магазина Б. Бэра в Берлине и др.).

Стр. 126. *...скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник, и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь.* — В 1891 г. будущий царь Николай II, возвращаясь через Сибирь из путешествия по Дальнему Востоку, присутствовал во Владивостоке при начале работ по сооружению Великого Сибирского пути. Строительство Сибирской железной дороги протяженностью свыше 7400 километров было завершено в 1905 г.

Стр. 132. *...первым идет Алпатов в гимназии...* — В 1890 г. Пришвин был принят в четвертый класс Александровского реального училища в Тюмени. В архиве писателя сохранилось его экзаменационное сочинение, датированное 6 июня 1890 г.:

«Гулявши много смолоду — умрешь под старость с голоду».

Это было давно, очень давно, тогда меня и на свете не было, а если и был, то очень маленький.

Тогда было еще у помещиков крепостное право. По этому праву помещики могли распоряжаться над людьми, им подчиненными, как им было угодно: могли их бить, покупать, продавать, словом, судьба бедных крестьян была в руках их владельцев.

В это время жила в глуши Орловской губернии одна помещица; она была очень богата: имела до пятисот душ крестьян, а земли — и пересчитать трудно. Она жила скромно, лишних денег не тратила, а богатство ее все прибавлялось да прибавлялось. Муж ее умер лет пять тому назад; долго плакала бедная вдова, и не знаю, что с ней бы было, если бы не маленький сын Андрюша, в котором она и души не чаяла. Но сын не оправдал надежду матери: то отколотит крестьянского мальчика, то мучит дворовых собак и кошек. Но мать не наказывала мальчика, очень любила она его!

Начал мальчик подрастать, надо было его учить грамоте. Позвала мать дьячка, что так громко да умильно апостола по воскресеньям читает... Начал дьячок его обучать; учил, потел, но научить ничему не мог — больно мальчик-то непослушен: иной раз прямо линейкой и отколотит.

Но вырос мальчик, возмужал, из маленького Андрюши сделался уже Андрей Иванович. Стал он от матери потихоньку деньги воровать да, видно, пропивать. Заметила это мать, хотела побранить его, да ничего не вышло из этого, сын так ее отрезал, что мать в другой раз и подступаться-то боялась.

Но вот мать начала болеть: грубость сына еще больше усилила болезнь, и скоро она умерла. Похоронил ее Андрей да после похорон так напился, что на другой день едва вспомнил, что похоронил мать, а как вспомнил, так призадумался. Не над смертью матери он задумался — ничуть ему не жалко было ее, — а думал он о том, как будет заниматься хозяйством?

На другой день пошел он на поле, а сам овса от пшеницы отличить не может. Стали мужики над ним смеяться, а он их пороть, да так изрядно, что одного или двух до смерти заporол. Но понял он, что плохой он хозяин, много лучше знает толк в пьянстве да распутстве. Вечером созвал он соседей да устроил с ними пирушку. На пирушке его уговорили ехать в город жить, а в имении поставить управляющего. Понравилось это Андрею, поехал он в город и стал жить по-иному.

Каждый день вечера устраивал, жил в роскошной квартире и ездил в карете на прекрасных лошадях. А друзья-приятели не дремлют, а тянут у него денежки да тянут. Наконец денег с имения стало ему не хватать на подобное житие. Занял он, сначала немного, потом еще и еще. Написал он управляющему собрать двойной оброк, выпутался кое-как из долгов, а крестьян разорил.

Тут Андрей начал опять деньги занимать, да так, что и двойной оброк не помог. Пошло все имение с молотка, да и то не хватило на долги,— и посадили Андрея в тюрьму.

Говорят, что выпустили его через несколько месяцев, но дальше перестал и народ расспрашивать о нем, сам понял, что с ним сделалось.

Много ходит по улице полуодетых людей, так называемых студентов золотой орды, которые пьяным голосом орут: «Когда я был Аркадским принцем» и т. д. Это все по большей части Андрей, и их участь самая плачевная: все они, напившись в кабаке, умирают на улице, кто говорит — с голоду, а бог знает, может, и с холоду».

На сочинении пометы: «Такой слог в ученической работе не уместен. В году в семестровых работах ничего подобного не встречалось в работах Пришвина». «Содержание неприличное для ученика; написано грамотно» («Вопросы архивоведения», 1965, № 3, с. 95—96).

Стр. 133. *Он занимался статистикой по книге Николая-она... —* Псевдоним экономиста, народника, переводчика «Капитала» К. Маркса Н. Ф. Даниельсона (1844—1918). По-видимому, речь идет о его книге «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» (1893), служившей главным экономическим обоснованием либерального народничества.

Стр. 134. *...нужно прочитать книгу Сеченова «Рефлексы головного мозга».*— Книга основоположника русской физиологии И. М. Сеченова (1829—1905) дала обоснование рефлекторной природы сознательной и бессознательной деятельности. Первым изданием вышла в 1869 г.

Стр. 152. *Для говенья Марии Ивановне пришлось уехать в Шамордино пустынь.*— Имеется в виду женский монастырь в селе Шамордино, расположенном неподалеку от Оптиной Пустыни.

Стр. 156. *Акциз* — в царской России косвенный налог на предметы потребления (табак, соль, спиртные напитки и др.), производимые внутри страны, и на однородные предметы, вывозимые из-за границы. Взиманием

налога ведали губернские и областные акцизные управления, непосредственно подчиненные министерству финансов.

Стр. 157. ...нового романа Потапенки *«На действительной службе»?* — Имеется в виду получившая широкую известность повесть И. Н. Потапенко (1856—1929), впервые опубликованная в 1890 г. в «Вестнике Европы»; пропагандировала либерально-народническую теорию «малых дел», культурническую работу интеллигенции в деревне.

Стр. 158. ...я смотрю на тот портрет, где он пашет... — Речь идет о картине И. Е. Репина «Л. Н. Толстой на пашне» (1878).

Стр. 159. ...все сочувствуют царю в его недоверии к Германии... — Заключенный в 1882 г. между Германией, Австро-Венгрией и Италией военный Тройственный союз затрагивал интересы России. Отношения между Россией и Германией еще более ухудшились после вступления в 1888 г. на престол Вильгельма II и отставки в 1890 г. рейхсканцлера О. Бисмарка, считавшего войну Германии с Россией гибельной. Для противодействия Германии Александр III искал сближения с Францией. В 1893 г. им был одобрен проект секретной франко-русской конвенции о совместных действиях в случае нападения Германии на Францию или Россию.

Стр. 162. *Назывался художником, всю Россию обошел...* — Речь идет о родственнике Пришвина М. Н. Горшкове. См. рассказ «Загадка» (наст. изд., т. 5).

Соломон — в 965—968 гг. до н. э. царь Израильско-Иудейского царства (см. коммент. к с. 121).

Стр. 165. ...читая социологию... Максима Ковалевского... — Основные труды по социологии М. В. Ковалевского (1851—1916) — «Современные социологи» (1905) и «Социология» (в 2-х томах; 1910). В данном случае, возможно, имеется в виду работа Ковалевского «Экономический строй России» (1899).

...искусство не расплывалось бы в одно удовольствие, а служило бы, как у Шиллера, высоким целям. — По-видимому, речь идет о статье Ф. Шиллера «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» (1784). «Театр, — пишет он, — есть учреждение, где удовольствие сочетается с поучением, спокойствие с возбуждением, забава с образованием...» (Фридрих Шиллер. Сочинения, т. 6. М., Гослитиздат, 1957, с. 24).

Стр. 171. ...братья, похожие на братьев Иосифа... — В Библии рассказывается о молодом пастухе Иосифе, проданном его братьями купцам, направлявшимся в Египет. Своему отцу Иакову братья показали одежды Иосифа, измазанные кровью козла, и сказали, что Иосиф якобы был растерзан хищным зверем (Книга Бытия, 37, 28—32).

Стр. 172. *Духов день* — по православному календарю, праздник, отмечающийся на следующий день после Троицы, то есть в пятьдесят первый день после Пасхи.

Стр. 175. ...монах... стал Парисом, старец с веткой в руке — Приамом. — В древнегреческой мифологии Парис — сын царя Трои Приама.

Стр. 179. ...в «Илиаде» бой описывается... — Речь идет об описании в «Илиаде» Гомера (кн. 23) кулачного боя между Эпеем и Эвриалом на погребальных играх в честь Патрокла.

Стр. 180. «Народная воля»... «Черный передел» — революционно-народнические организации, возникшие в Петербурге в 1879 г. Были разгромлены самодержавием.

Стр. 182. Мише вспомнились бабы у старца Зосимы из Достоевского... — Имеется в виду глава «Верующие бабы» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 1, кн. 2). Одна из баб кается старцу Зосиме, что убила больного мужа-пьяницу.

Стр. 184. ...голосовали против ассигновки на флот, все Бебель разделяет и Либкнехт. — Организаторы и руководители социал-демократической партии Германии А. Бебель (1840—1913) и В. Либкнехт (1826—1900) неоднократно избирались депутатами германского рейхстага. Имеются в виду дебаты в рейхстаге при обсуждении проекта закона об усилении военного флота. Несмотря на оппозицию депутатов социал-демократов, закон об усилении военного флота был принят рейхстагом в 1898 г.

Ты... Бельтова... еще не читал? — Под псевдонимом «Бельтов» в 1895 г. вышла в Петербурге книга Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Стр. 188. «Эрфуртская программа» — программа германской социал-демократической партии, принятая на партийном съезде в Эрфурте в октябре 1875 г.

...Раменова. — Фамилией Раменовы в романе «Кашеева цепь» названа семья крупных орловских помещиков и буржуазно-либеральных общественных деятелей Стаховичей.

...о биметаллизме... — Биметаллизм — денежная система, при которой законным платежным средством являются два металла (например, золото и серебро).

Мы ему подсунули социал-демократа Шиппеля. — Речь идет о М. Шиппеле (1859—1928), немецком социал-демократе, ревизионисте, в 1887—1890 гг. редакторе газеты «Берлинская народная трибуна».

Стр. 189. ...похож на доброго учителя в известной картине Богданова-Бельского. — Известностью пользовались картины художника-передвижника Н. П. Богданова-Бельского (1868—1945), посвященные дореволюционной русской сельской школе. Очевидно, имеется в виду его картина «У больного учителя» (1897).

Стр. 190. ...научился по Туссену, самоучителю. — Имеется в виду книга: А. П. Редкии. Самоучитель французского языка для взрослых. Метода Туссэна и Лангеншейдта. Курс 1, вып. 1—18. СПб, 1886.

Стр. 191. ...студента Петровской академии. — Петровская академия —

высшее учебное заведение в Москве; готовила специалистов по сельскому хозяйству. Основана в 1865 г. (ныне Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева).

Стр. 192. *...как у Иловайского: борьба добрых и злых индивидуально-стей.* — Такой взгляд на историю излагался в официальном учебнике по русской истории для средних учебных заведений Д. И. Иловайского (1832—1920), выдержавшем с 1860 по 1912 г. тридцать шесть изданий.

Стр. 193. *Вы ведь, конечно, знаете социологическую формулу Михайловского?* — Очевидно, имеется в виду формула теоретика либерального народничества Н. К. Михайловского (1842—1904). «Что такое прогресс?» (1869). «Прогресс, — писал он, — есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 1, изд. 4-е, СПб, 1906, с. 166).

Прозелит — новый, ревностный приверженец какого-либо учения или веры.

Стр. 196. *...табатерки идут с фабрики.* — Табатерки — работницы табачной фабрики.

Стр. 198. *...взял себе институтку, и еще смольную институтку, и с шифром даже...* — Смольный институт — закрытое женское учебно-воспитательное заведение для дочерей дворян. Основано в Петербурге в 1764 г. Шифр — резной вензель царицы, получаемый наиболее отличившимися воспитанницами института на выпускном акте; являлся одновременно знаком фрейлинского звания.

Стр. 202. *Понятно и у Толстого...* — Речь идет об «Исповеди» Л. Н. Толстого, опубликованной в 1884 г.

Стр. 203. *...спор какого-то Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное.* — Выражение «скачок в неизвестное» является перифразой последних слов философа-материалиста Томаса Гоббса (1588—1679): «Теперь я собираюсь сделать великий скачок в темноту». Ссылка Пришвина на Ф. Энгельса не точна. В работе Энгельса «Анти-Дюринг» (отд. 3, гл. 2), направленной против немецкого философа и экономиста Евгения Дюринга (1833—1921), употреблено выражение: «прыжок из царства необходимости в царство свободы».

Стр. 208. *«Как дело измены, как совесть тирана...»* — Стихотворение поэта-революционера И. И. Гольц-Миллера «Слу-шай!» (1864), положенное на музыку П. П. Сокальским.

...вроде сожжения Содомы... — По Библии, город у устья реки Иордан или на побережье Мертвого моря, сожженный за грехи жителей небесным огнем (Книга Бытия, 19, 24—25).

Стр. 211. *...когда настала тьма, земля содрогнулась, и завеса церковная разодралась.* — По Евангелию, в момент смерти Христа на кресте (Евангелие от Луки, 23, 44—45).

Стр. 213. *«Да минует меня чаша сия»*. — Слова из молитвы Христа (Евангелие от Матфея, 26, 39).

Стр. 214. *Царь умер*. — Александр III умер в Ливадии 20 октября 1894 г.

Стр. 215. *...как в басне о лягушках, полезли узнать, царь это или чурбан*. — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809).

Стр. 215. *...он назвал претензии дворян на конституцию бессмысленными мечтаниями*. — Из речи Николая II на приеме депутации дворян, земств, городов и казачьих войск 17 января 1895 г. Зачитывая составленный К. П. Победоносцевым текст речи, царь «усилил» ее смысл (в оригинале было: «беспочвенные мечтания»).

Стр. 220. *Елду выгадал...* — Елда (о б л.) — ссора.

...притчу о евангельском браке, на котором не хватило вина. — На брачном пиру в Кане Галилейской Иисус превратил воду в вино. Не зная об этом, распорядитель торжества, отведав воды, ставшей вином, сказал жениху: «Всякий человек подаст сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе» (Евангелие от Иоанна, 2, 1—10).

Стр. 225. *...у Гоголя черт луну в карман спрятал*. — Речь идет о повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832).

Стр. 226. *...и это стало похоже на известную картину в Третьяковской галерее...* — Имеется в виду картина художника-передвижника Н. А. Ярошенко (1846—1898) «Заклученный» (1878).

Стр. 231. *Меринг* (1846—1898) — философ, историк, литературный критик, один из руководителей левого революционного крыла германской социал-демократии, *Каутский* (1854—1938) — был одним из теоретиков германской социал-демократии и с 1883 г. редактор журнала «Нойе цайт».

Стр. 233. *...книгу Шекспира «Кинг Джон»...* — Подразумевается историческая хроника В. Шекспира «Король Джон» (1596).

Стр. 235. *Я принес вам новую, интереснейшую книгу Бернштейна*. — Речь идет о книге правого социал-демократа, теоретика ревизионизма и реформизма Эдуарда Бернштейна (1850—1932) «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899).

Стр. 238. *...Израиль вышел*. — Имеется в виду включенная в библейский ветхозаветный канон вторая книга Пятикнижия «Исход», рассказывающая о возвращении евреев из египетского плена в Палестину («страну обетованную»).

Стр. 242. *Прекрасная Дама* — цикл стихотворений А. А. Блока «О Прекрасной Даме» (1905).

«Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано». — Строка из стихотворения советской писательницы М. К. Шкапской (1891—1952), опубликованного в ее поэтическом сборнике «Кровь — руда» (1922).

Прочитывая начало стихотворения в дневнике 26 октября 1925 г., Пришвин писал: «Романтическая любовь — и Алпатова тоже (и есть) попытка иметь детей от Прекрасной Дамы: затея должна окончиться распадением Незнакомки на Прекрасную Даму (исчезающую) и на проститутку» (ЦГАЛИ).

Стр. 253. ...*ко всей славе земли*. — Далее в журнальном тексте («Новый мир», 1927, № 1, с. 163) следовало: «Ему теперь все помогает, и слово, которого напрасно пришлось бы всю жизнь искать у мудрецов мира, оказывается бессмысленно маленькой частицей. — Лю-би! — поет дрозд. К этому человек прибавляет «те», и вместе выходит: — Лю-би-те! Так освобожденный человек присоединяется к хору».

Стр. 255. *Котильон* — бальный танец, объединяющий несколько самостоятельных танцев (вальс, польку, мазурку и др.).

Стр. 256. ...*закат Европы*. — Это выражение восходит к заглавию книги немецкого философа Освальда Шпенглера (1880—1936).

...*рассказ о Венере Милосской, как она выпрямила душу страдающего человека*. — Из рассказа Г. И. Успенского «Выпрямил (Отрывок из записок Тяпушкина)» (1885). Герой рассказа — «скомканный» русской действительностью народник Тяпушкин испытывает эмоциональное потрясение, когда видит в Лувре скульптуру Венеры Милосской, которую воспринимает как идеальный образ гармонии и красоты, очищающий душу.

Стр. 257. ...*привозили нам в детстве фотографии отца с сыновьями*... — Имеется в виду скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья, обвитые змеями», выполненная жившими на острове Родос мастерами Агесандром, Полидором и Афинодором (ок. 50 г. до н. э.). Жрец бога Аполлона Лаокоон помогал троянцам в войне с греками и за это вместе со своими сыновьями был задушен двумя вышедшими из моря змеями, посланными Афиной-Палладой.

...*об умирающем гладиаторе*. — Имеется в виду стихотворение М. Ю. Лермонтова «Умирающий гладиатор» (1836), ставшее хрестоматийным.

«*Какой обед нам подавали!*» — Ария Периколы из оперетты французского композитора Жака Оффенбаха «Перикола» (1868).

Стр. 258. «*Форвертс*» (не м. «Вперед») — газета, центральный орган германской социал-демократической партии. Выходила с перерывами с 1878 по 1933 г. До 1900 г. редактировалась В. Либкнехтом.

Стр. 262. *В Берлине уже давно была круговая железная дорога*... — Движение по окружной берлинской дороге было открыто в 1877 г.

Стр. 265. ...*разве не знаете вы, что пишет Лев Толстой о войне?* — Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «Одумайтесь!» (1904), написанная в связи с начавшейся русско-японской войной. «Все знают, не могут не знать главного, — писал Л. Н. Толстой, — что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей»

(Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное издание), т. 36, с. 102).

Стр. 271. ...*слышали о Паульсене*... — Немецкий философ-неокантианец Фридрих Паульсен (1846—1908).

Так и у Вагнера, и у Шмоллера. — Речь идет о немецких экономистах Адольфе Вагнере (1835—1917) и Густаве Шмоллере (1838—1917). Последний преподавал в Берлинском университете с 1887 г.

Стр. 279. ...*вспомнился пудель из «Фауста»*... — В первой части «Фауста» В. Гёте искушающий Фауста Мефистофель появляется в облике пуделя.

Стр. 280. ...*адвокат Гейне* — Вольфганг Гейне (1861—?), правый социал-демократ, депутат рейхстага.

Стр. 282. *И показался Вильгельм* — Вильгельм II Гогенцоллерн (1851—1941), с 1888 г. германский император.

Стр. 287. ...*имматрикуляция новых студентов*... — занесение в списки.

Стр. 288. *Там, в Йене, теперь читает Геккель, в Лейпциге — Оствальд и Вундт*. — Э. Геккель (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, биолог-дарвинист. По книгам немецкого физико-химика и философа-идеалиста В. Оствальда (1853—1932) Пришвин учился в Риге. С разрешения ученого Пришвин и другой студент Рижского политехнического училища, С. Бродский, записали и опубликовали лекции В. Оствальда «Научные основания аналитической химии» (Рига, 1896). В. Вундт (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ-идеалист.

...*о замечательной работе Бюхера «Работа и ритм»*. — Книга немецкого экономиста и статистика Карла Бюхера (1847—1930) «Работа и ритм» была издана в Лейпциге в 1896 г.

Стр. 295. *Разманный* (о б. л.) — смирный, простоватый, тихий.

Стр. 298. ...*желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер*... — Вольфрам и Тангейзер — певцы в опере Р. Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845). По свидетельству В. Пришвиной, будучи студентом, Пришвин прослушал эту любимую им оперу тридцать семь раз (см.: В. Пришвина. Наш дом, изд. 2-е. М., «Молодая гвардия», 1980, с. 205).

Стр. 300. ...*Бисмарк, объединивший все провинции*... — Первый рейхсканцлер Германской империи Отто Бисмарк (1815—1888) осуществил объединение Германии под главенством помещичьей Пруссии.

Стр. 301. ...*веймарский герцог с поэтами Гёте и Шиллером*. — Гёте приехал в Веймар по приглашению восемнадцатилетнего герцога Карла-Августа в 1775 г. и остался там до конца жизни. Ф. Шиллер жил в Веймаре с декабря 1787 г. до смерти в 1805 г.

Стр. 302. ...*читает по-немецки вслух его «Ифигению»*. — Имеется в виду драма В. Гёте «Ифигения в Тавриде» (1787). Впервые показана на веймарской сцене в 1779 г.

...*что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла*... — По библейскому сказанию, во время скитаний евреев по безводной пустыне в по-

исках «земли обетованной» Моисей ударом жезла «извел воду» из скалы (Книга Чисел, 20, 8—11).

...что жезл Аарона расцвел... — По библейскому сказанию, Моисей, исполняя волю бога, просил начальников племен принести в святилище свои жезлы из сухого дерева, на которых были написаны их имена. К ним был добавлен жезл с именем Аарона, старшего брата Моисея, и только его жезл «расцвел» — на нем появились почки, цвет. Это был знак избранничества Аарона богом (там же, 17, 1—8).

Стр. 304. ...египетский Апис... — священный бык у древних египтян, почитавшийся как «живое подобие» бога Пта в Мемфисе.

Стр. 305. *Цвингер* — дворцовый ансамбль в Дрездене (1711—1722), художественный музей.

...вспомнил... сказку-поэму о юноше Нолли и какой-то девушке... — Имеется в виду сказка Кота Мурлыки (псевдоним писателя Н. П. Вагнера; 1829—1907) «Мина и Нолли», вошедшая в его книгу: «Сказки», изд. 2-е. СПб., 1881.

Стр. 307. ...в яловочных... сапогах... — В сапогах из коровьей шкуры.

Стр. 309. ...бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы... — Имеется в виду житель древнегреческого города Эфеса Герострат, поджегший в 356 г. до н. э. храм Дианы, чтобы прославиться.

Стр. 311. Какой-то итальянец... украл из Лувра «Джиоконду»... — «Джиоконда» — картина Леонардо да Винчи, написана им в 1503—1506 гг. С 1871 г. хранилась в Лувре. Была похищена из музея 8(21) августа 1911 г., обнаружена в декабре 1913 г. во Флоренции и возвращена в Лувр.

Стр. 312. ...тихонько попевает «Лорелею»... — Лорелея, в немецком фольклоре, сказочная дева-сирена, обитающая в водах Рейна и заманивающая своим пением плывущих по реке на подводные скалы. Здесь имеется в виду стихотворение Г. Гейне «Лорелея», ставшее народной песней.

Стр. 314. ...к профессору Рейну... — Вильгельм Рейн (1847—1929) — автор трудов по методике и практике преподавания в школах для народа.

Стр. 317. ...летописец Нестор... — Нестор (XI — начало XII вв.) монах Киево-Печерского монастыря, которому приписывается первая редакция «Повести временных лет».

Стр. 321. ...не знал ни Риле, ни Зиммеля... — Речь идет о немецких философах-неокантианцах А. Риле (1844—1924) и Г. Зиммеле (1858—1941).

...понятия не имел о гносеологии... — Гносеология — теория познания, раздел философии.

Стр. 326. ...послушать... Лампрехта... — Имеется в виду немецкий историк, автор многотомной «Истории Германии» Карл Лампрехт (1856—1915).

Стр. 327. ...«Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. — «Прологмены» — предварительное изучение. Речь идет о труде И. Канта «Пролого-

мены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» (1783), в которой, признавая существование вещей вне нас, И. Кант утверждает, что человек может судить об этих вещах лишь по тем представлениям, которые возникают у нас в результате воздействия вещей на наши органы чувств. Главный труд голландского философа-материалиста Б. Спинозы (1632—1677) «Этика» был закончен в 1675 г. и в 1677 г. опубликован в его «Посмертных сочинениях», запрещенных за «кощунственные и безбожные учения».

Стр. 330. *Kirche, Kinder, Küche* — в переводе: церковь, дети, кухня. Выражение, определяющее круг обязанностей немецкой женщины. В таком значении стало крылатым.

Стр. 333. *Так говорил Заратустра* — название известного произведения Ф. Ницше (1844—1900), написанного в 1883—1884 гг. В России отрывки из этой книги впервые были напечатаны в 1898 г.

Стр. 334. ...он подвигает к себе книгу «По ту сторону добра и зла»... — Одно из основных сочинений Ницше (1886).

Стр. 337. *Бурш* (н е м. «парень») — в Германии студент старших курсов университета, принадлежащий к студенческой корпорации.

...на... заседании буршенгерихта... — Буршенгерихт — суд чести студентов-корпорантов.

...не со всяким вильдером... — Вильдер (от н е м. «дикарь») — презрительное прозвище студентов-иностранцев.

...на шлегерах... — Шлегер — род оружия для фехтования, предназначенного для нанесения рубящего удара.

Стр. 340. ...в... турухтаньих... боях... — Турухтан — птица из семейства бекасовых, обитает на болотистых равнинах Северной Европы.

«Высоко в небе ясно...» — «Марш Буденного». Музыка Д. Я. Покрасса, слова А. д'Актиля (1920).

Стр. 341. ...расставляют по всему столу зейдели... — Зейдель (н е м.) — пивная кружка.

...разные филистры... — Филистр (н е м.) — член корпорации, закончивший курс учения.

...на коммершах своей юности... — Коммерш (н е м.) — студенческая пирушка.

Стр. 349. *Ендова* — здесь: котловина, овраг.

Стр. 361. *Микарэм* — у католиков четверг на третьей неделе Великого поста.

Стр. 379. ...начиная от Гераклита... — Древнегреческий философ-диалектик (конец VI — начало V в. до н. э.).

Стр. 388. ...кончает Сорбонну... — Сорбонна — второе название Парижского университета, получило распространение с XVII в. (по имени духовника короля Людовика IX Р. де Сорбона).

Стр. 400. ...чтобы сказать о мире всего мира всем — всем! — Речь идет о первом документе Советской власти — Декрете о мире, написанном

В. И. Лениным и принятом II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г.

Стр. 403. ...*приклеивает синдетиконом*. — Синдетикон — жидкий рыбий клей.

Стр. 406. *Замарьяжить* — залучить поклонника.

Стр. 407. ...*крендель булочной, описанный Блоком*... — Имеется в виду стихотворение А. Блока «Незнакомка» («Чуть золотится крендель булочной...»; 1906).

Стр. 415. ...*профессора Кайгородова*... — Речь идет о профессоре Петербургского Лесного института, орнитологе и ботанике, Д. Н. Кайгородове (1846—1924).

Стр. 419. ...*когда безумный Евгений грозил: «Ужо тебе!»* — Из поэмы А. С. Пушкина «Медный Всадник» (1833).

Стр. 422. ...*похоронили на литературных мостках*. — Место погребения общественных деятелей, ученых, писателей, мастеров искусств. Расположено в северной части Волкова кладбища в Петербурге (Ленинграде).

Стр. 436. *Осечище* (о б л.) — участок леса, вырубленного и сожженного на месте под пашню.

Стр. 437. ...*шунял ее*... — Шунять (м е с т н.) — журить, увещевать.

Стр. 438. ...*пошел к лядам*... — Ляда (м е с т н.) — пустошь, покинутая и заросшая лесом земля.

Стр. 449. ...*Грибоедов чудесно сказал: «Пишу, как живу, и живу, как пишу»*. — Неточная цитата из письма А. С. Грибоедова П. А. Катенину от 1827 г. У А. С. Грибоедова: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно». См.: А. С. Г р и б о е д о в. Сочинения. М.—Л., Гослитиздат, 1959, с. 558.

Стр. 451. ...*гораздо легче раскрываться самому в своих грехах, как делал Руссо*... — Речь идет об «Исповеди» (1766—1778) французского писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778). Отстаивая ценность душевной жизни, автор порой вступает в спор с самим собою, не скрывая отрицательных черт своего характера.

Стр. 457. ...*страдание, на которое шел человек за человека, начиная с Калева*. — За убийство 4 февраля 1905 г. в Москве генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича член боевой организации партии эсеров И. П. Каляев (1877—1905) был приговорен к смертной казни через повешение.

Стр. 459. ...*от самого разбойника Чуркина*. — Имеется в виду лубочный роман Н. И. Пастухова (1822—1911) «Разбойник Чуркин. Народное сказание «Старого знакомого» (1883—1884).

...*уничтожить на виноградниках филлоксеру*... — Филлоксера — вид тли, поражающей корни виноградной лозы.

В. А. Старосельский (1860—1916) — участник революционного движения, в 1905—1906 гг. исполнял обязанности губернатора Кутаисской

губернии. С 1907 г. — большевик. Видный специалист по виноградарству.

Стр. 460. ...как вы ее описываете в «Детстве»... жажда чистоты воплощается в бабушке. — В воспоминаниях о М. Горьком «Любимая земля» Пришвин писал: «...Я в его бабушке, главной героине его «Детства», узнавал черты матери-родины с такой силой, какой не дает даже воспоминание о любимой моей покойной матери» (сб.: «М. Горький в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1955, с. 355).

Стр. 462. А. Смит (1723—1790) — шотландский экономист и философ; Риль Алоиз (1844—1924) — немецкий философ-неокантианец.

...черствый Рикардо... — По-видимому, имеется в виду труд английского буржуазного экономиста Давида Рикардо (1772—1823) «Начала политической экономии» (1816), на который неоднократно ссылается К. Маркс в «Капитале».

Стр. 463. ...Марксова Золотая куколка, в которую превращаются все товары... — Образное сравнение из работы К. Маркса «К критике политической экономии» (1859), гл. 2 — «Деньги, или простое обращение» (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1959, с. 75).

...известный потом Трусевич... — Речь идет о сенаторе А. И. Трусевиче, бывшем товарище прокурора Петербургской судебной палаты, в 1906—1910 гг. директоре департамента полиции и с начала 1917 г. члене Государственного совета.

Стр. 466. ...позвонил к профессору Мержеевскому. — Врач-психиатр И. П. Мержеевский (1838—1908), в 1877—1893 гг. профессор и директор клиники душевных болезней.

Стр. 478. ...редактор журнала «Новый мир». — Речь идет о критике В. П. Полонском (1886—1932), редактировавшем «Новый мир» в 1926—1931 гг.

МИРСКАЯ ЧАША

Впервые (в сокращении, без X главы) — журнал «Север», 1979, № 8.

Весной 1917 года Пришвин, унаследовавший после смерти матери небольшой хутор, уехал на родину под Елец с целью применить на практике свои знания ученого-агронома. Несколько позже он перебирается с семьей на родину жены, в Смоленскую губернию, в деревню Следово под Дорогобужем. Пришвин преподает в сельской школе, организует в селе Алексине, бывшем имении И. С. Барышникова, музей усадебного быта, работает на сельскохозяйственной станции, основанной еще до революции известным ученым-почвоведом А. Н. Энгельгардтом.

Повесть «Мирская чаша» была начата Пришвиным 15 апреля и закончена 29 июня 1922 года. В том же году в газете «Московский понедельник» (№ 14, 14 сентября) была напечатана глава из повести «Чан»,

а в газете «Новости» (№ 1, 9 октября) главы «Музей усадебного быта» и (в сокращении и без заглавия) «Раб обезьяний».

Имеющая подзаголовок «19-й год XX в.» автобиографическая повесть Пришвина отразила настроение писателя, его размышления над судьбой родины в первые годы советской власти. На страницах «Мирской чаши» сохранено много примет того неповторимого времени, переданных через восприятие их автобиографическим героем повести интеллигентом-демократом Алпатовым.

В первое время, поселившись в глухой провинции, в деревне, отрезанной снежными заносами от ближайшего города, Пришвин заносит в дневник, с которым никогда не расставался, свои наблюдения над жизнью крестьян, по существу еще далеких от понимания смысла победы Великой Октябрьской социалистической революции, но приветствовавших ниспровержение старой, угнетавшей их власти. Оказавшись в самой гуще народной жизни, герой «Мирской чаши» Алпатов стремится связать свои гуманистические убеждения с реальным «делом» строительства новой жизни. Однако окрашенный в евангельские, христианские тона гуманизм самого Алпатова явно усложняет и драматизирует совершающийся в нем самом процесс перехода на позиции гуманизма социалистической революции. Нужно отметить, что переезд Пришвина в 1917 году из Петербурга в глухую провинцию объяснялся не только конкретными обстоятельствами жизни писателя. Главным было стремление Пришвина в переломную историческую эпоху связать свою жизнь и судьбу с жизнью народа, проникнуться «народным сознанием» и в нем найти для себя опору. Причем носителем этого подлинного «народного сознания» для Пришвина был не пролетариат, а многомиллионное русское крестьянство. 26 мая 1920 года Пришвин записывает в дневник: «Нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь и слезы, и новые души, возвращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в новом свете» («Контекст 1974. Литературно-теоретические исследования». М., «Наука», 1975, с. 323). Повесть «Мирская чаша» и должна была стать ответом Пришвина-художника на поставленную им же самим творческую задачу.

Замысел «Мирской чаши» относится к осени 1921 года, когда Пришвин задумывает написать книгу в форме дневника, в который были бы «вкраплены» художественные произведения. 11 декабря 1921 года Пришвин, продолжая размышлять над будущей своей книгой, пишет, что хотел бы изобразить в ней себя самого в «образе хранителя Музея усадебного быта, помещенного в пяти уцелевших от разгрома комнатах большого Алексинского дома». В той же дневниковой записи Пришвин пытается для себя определить, как в его новом произведении субъективное «Я» автобиографического рассказчика, от лица которого будет вестись повествование, должно сочетаться с объектом отображения. Для Пришвина это проблема соотношения духовного

и материального. «Я,— размышляет он,— как бы сторонний среди оседлых местных людей, мне кажется (эта теория мне очень помогает), что это Я находится и в каждом из оседлых, только в постоянных заботах о существовании они забывают это Я и подменяют его другим, противоположным существом, которое мне представляется как Не-Я (...). Конечно, и я соприкасаюсь с миром полезностей, а они не сознают и даже презирают и ненавидят свое бесполезное (духовное) Я». Однако в процессе работы Пришвина над «Мирской чашей» соотношение между автобиографическим героем Алпатовым и изображаемой Пришвиным средой претерпевает существенные изменения. В этой связи любопытно отметить, что, хотя автор и относит изображаемые в «Мирской чаше» события к 1919 году, конкретный материал таких глав, как «Ампиный дворец», «Музей усадьбыного быта», «Сфинкс», «Чан», «О хлебе едином», относится к 1921 году, что подтверждается дневником писателя. Именно эти главы повести свидетельствуют о том, что Пришвин, отмечавший даже малейшие перемены в жизни деревни и в сознании крестьянства, освобождается от некоторых мучивших его сомнений. Так, например, в главе «Раб обезьяний» Пришвин высказывает опасение, что народ, освобожденный Великим Октябрем от векового рабства, долгое время не сможет перейти от труда «рабьего», подневольного — к труду свободному. Социалистическая революция в России избавила крестьян от гнета помещиков, но как скоро народ осознает себя новым хозяином? Этот вопрос очень волновал Пришвина. Еще в рассказе «Адам» (1918) он изображает бессмысленный разгром мужиками покинутой барином помещицкой усадьбы. Особенно тревожит Пришвина проблема охраны природы и разумного, бережного использования ее богатств. С этого и начинается повествование. Однако довольно скоро Пришвин убеждается, что возникший в его сознании образ «Раба обезьяньего» (так первоначально Пришвин хотел назвать свою повесть) все более и более вступает в противоречие с тем конкретным жизненным материалом, которым наполняется его новое произведение. И Пришвин дает повести иное заглавие — «Мирская чаша», символизирующее братство, единство людей, которые через страдания, муки, лишения идут к новой, счастливой жизни.

Пришвин изображает в «Мирской чаше» крестьянскую массу неоднородной, настороженно присматривающейся к новой, советской власти в «городе», к которому крестьянин издавна испытывал неприязнь, поскольку «город» и олицетворял для него старую власть. Размышляя о перспективах утверждения в России нового, социалистического строя, Пришвин обращает внимание на то, что ненависть крестьянства к уничтоженному Великой Октябрьской революцией буржуазно-помещицкому строю ставит перед новой, советской властью ряд сложных задач. И одна из них — это преодоление анархических настроений среди значительной части крестьянства, неприемлющей всякую власть, исходящую из «города». В главе «Чан» писатель, создавая выразительный образ злейшего

противника советской власти барона Кыша (сына попа, бывшего семинариста), отцовскую хитрость развивающего «на пути демократическом и прогрессивном», отмечает, что анархические настроения «безвластия» среди крестьянства — это то оружие, которое побежденный, но еще не сметенный полностью Великим Октябрем старый мир пытается обратить против строительства новой жизни в деревне. С большой художественной силой Пришвин изображает в «Мирской чаше» раскол в самом крестьянстве, обусловленный отношением к советской власти. В главе «Контрибуция» представитель советской власти в деревне матрос Персюк, ассоциируемый в сознании Алпатова с образом Петра I, карающего стрельцов, убивает родного брата Фомку — связанного в банде барона Кыша. Создавая один из ранних в советской литературе образ коммуниста, Пришвин остро полемизировал с романом Бориса Пильняка «Голый год». «Это не быт революции, — возмущался Пришвин в дневнике (запись от 9 августа 1922 года), — а картинки, связанные литературным приемом, взятым напрокат из Андрея Белого. Автор не смеет стать лицом к лицу к факту революции и, описывая гадость, ссылается на великие революции». Продолжая спор с Б. Пильняком, Пришвин писал ему 24 августа 1922 года: «Главный пункт нашего разногласия в оценке Персюка. Персюк мой вовсе не дурной человек, он высоко чтит образование (...), он ценит «гуманность» и человек долга (...), кроме того он человек воли и дела («похож на Петра Великого», — что подчеркнуто)» (ЦГАЛИ). Вместе с тем следует признать, что сомнения, мучительные борения с самим собой героя повести «Мирская чаша» Алпатова, отрицающего насилие вообще, были близки настроениям самого Пришвина той поры. Поэтому в повести он, Алпатов, противопоставляет Персюку как идеальная личность, пытающаяся идти по крестному пути страдающего Христа. Для Пришвина, как и для его автобиографического персонажа, не все вопросы строительства новой жизни, подсказываемые реальной действительностью, находили удовлетворявшие писателя ответы. Это не могло не сказаться и на «Мирской чаше», пестрый и многообразный фактический материал которой получил разную степень художественного осмысления. В первой главе повести («Ампирный дворец») ставится проблема охраны культурных ценностей и приобщения к ним еще находящегося на низкой ступени духовного, культурного развития крестьянства. Автор стоит над изображаемым, иронический тон повествования (павлин, разгуливающий по бывшей барской усадьбе; баба, желающая, чтобы ее дочь училась говорить «по-французски»; ветхий генерал, словно сошедший с фамильного портрета, рассказывающий посетителям музея о дворянских гнездах и проч.), конечно, проистекает в данном случае от четкости, определенности авторской позиции, верно улавливающей историческую перспективу. И, напротив, другие главы повести, когда Пришвин еще не может разрешить своих сомнений, представляют собой как бы стенографические записи споров, разговоров, размышлений с самим собой. Для автора это был материал,

взятый из жизни, но еще требующий соответствующего осмысления и художественной обработки: «Мирская чаша» — хорошо подготовленный материал (не больше), — записал он впоследствии, — для создания предпоследнего звена «Кашеевой цепи», за которой должно следовать «Воскресенье Алпатова...» (ЦГАЛИ).

Приметы времени, изображение событий в их движении, становлении, постоянной изменчивости — все это в «Мирской чаше» создает тот конкретный и реальный фон, на котором выделяется фигура центрального персонажа повести — Алпатова. «Мирская чаша» — своеобразное житие русского интеллигента, проходящего разные испытания и искушения на своем пути к народу. Важное значение в повести приобретает глава «Мистерия» (бред больного Алпатова), являющаяся своего рода пародией на поэму Андрея Белого «Христос воскрес» (1918), в которой Октябрьская революция изображена как «мировая мистерия». В больном сознании Алпатова вновь возникают образы крестьян, пытающихся осмыслить происходящее, слышится разногласие споров, суждений, в которых надо разобраться и самому Алпатovu. В его подсознании все больше уясняется смысл активного, жизнеутверждающего гуманизма, который принесла и утверждала в глухой русской деревне социалистическая революция. По словам автора, «Алпатov, человек после смертельной болезни, принимает мир со всей печалью и радостью, готовый всегда умереть, преодолевает животный страх смерти и через это обретает счастье» (ЦГАЛИ).

Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ), сверенной с автографом.

Стр. 486. ...как Соломон о своей лилии... — Имеется в виду Песнь Песней — собрание любовных песнопений, приписываемых царю Израильско-Иудейского царства Соломону и включенных в Библию (Книга Песни Песней Соломона, 2, 2). В одной из песней обращение: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами».

Дворец... признали высокохудожественным памятником искусства и старины... — Архитектурный ансамбль бывшей барской усадьбы в селе Алексино, расположенном в восемнадцати километрах от Дорогобужа. Памятник архитектуры конца XVIII — начала XIX в. Дворец, церковь и другие сооружения на территории усадьбы возведены по проектам М. Ф. Казакова, Д. И. Жилярди и крепостных архитекторов Якова Жданова и Дмитрия Полякова. Над украшением усадьбы работал также и Ф. И. Шубин. В первые годы советской власти в усадьбе размещалась школа второй ступени (позже преобразованная в педагогический техникум), в которой с 1 августа 1920 г. Пришвин работал учителем русской словесности. Знакомый Пришвина архитектор-реставратор П. Д. Барановский, уроженец тех мест, вспоминал: «Замечательный памятник архитектуры! Я его застал в сравнительно хорошем состоянии. В парке еще

последний павлин бродил... Однако все приходило в запустенье... Я пытался создать в Болдине Музей народной деревянной скульптуры, а он (Пришвин.— В. Ч.) был хранителем Музея усадебного быта в Алексине. В имении сохранялась прекрасная библиотека, старинная мебель и посуда, роспись, лепка, драпировка...» (В л а д и м и р Ч и в и л и х и н. Память.— Роман-газета, 1982, № 16, с. 90).

Стр. 489. ...кто Библию читать умеет, тому известно число.— В одной из книг Нового завета говорится, что перед концом света на чело или правую руку людей положено будет число имени Антихриста, равное 666 (Откровение Иоанна Богослова, 13, 16 и 18).

Стр. 492. «Да воскреснет бог!..» — Первые слова молитвы, произносимые перед концом вечерней службы (Псалтырь, 67, 2).

Стр. 495. «Как хороши, как свежи были розы». — Начальная строфа стихотворения И. П. Мятлева «Розы» (1835), использованная И. С. Тургеневым для одноименного стихотворения в прозе (1878) и получившая таким образом широкую известность.

Стр. 496. *Первым пришел сюда генерал с известной фамилией...* — В дневнике 17—19 сентября 1921 г. Пришвин записывает: «Генерал Гурский, судивший Стесселя, поступает к нам в конторщики, говорит, что умрет с буквой Ъ. Очень доволен, что его никто не трогает» (ЦГАЛИ).

Стр. 497. ...причинает корова телушку.— Причинает — (о б л.) — рождает.

Стр. 504. *Рогонда* — верхняя теплая женская одежда без рукавов.

Стр. 506. *Канун*. — Здесь в значении «поминки».

Стр. 516. *Одалиться* — отойти в сторону (м е с т н.).

Стр. 522. ...*весь похожий на Лазаря, только что выходящего на свет из могилы*. — Согласно Евангелию, Лазарь был воскрешен Христом из гроба на четвертый день после смерти (Евангелие от Иоанна, 11, 1—44).

Пан — в греческой мифологии покровитель пастухов. Бог стад. Изображался в виде человека с козлиными ногами, бородой и копытами.

Стр. 537. *Со святыми упокой*. — Из православного чина погребения.

Стр. 546. *Газета «Соха и молот»* — орган Елецкого укома ВКП(б) и уисполкома. Под таким заглавием газета выходила с 4 марта 1919 г. по 1 июля 1922 г.

Стр. 547. *Спиридон-солнцеворот*. — Спиридон — православный святой. Церковь отмечает день его памяти 12 декабря. По народным приметам, в этот день «солнце на лето, зима на мороз», «после солнцеворота, хоть на воробьиный скок, да придует дня» (см.: В. Д а л ь. Пословицы русского народа. М., Гослитиздат, 1957, с. 899).

ПО ГРАДАМ И ВЕСЯМ СЛУГА ВРЕМЕНИ

Впервые — журнал «Заветы», 1914, № 2. Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. IV.

Стр. 560. ...что двенадцатый год считается не от Рождества Христова, а от Кирика. — Православная церковь отмечает день памяти христианского мученика Кирика 15 июля. Герой рассказа, возможно, путает его с другим Кириком (XII в.) — дьяконом и domestikом новгородского монастыря Антония Римлянина, математиком, автором исследования «Учение им же ведати человеку числа всех лет».

Стр. 562. *Впереди нас была огромная ледяная фигура капитана Гаттераса...* — Имеется в виду герой научно-фантастического романа Жюль Верна об исследовании Арктики «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» (1864).

ДЕРЕВЕНСКИЙ РЕНЕССАНС

Впервые — под заглавием «Граммфон в деревне» в журнале «Заветы», 1914, № 1. Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. IV

ХИМИК

Впервые — под заглавием «Старый год» в журнале «Заветы», 1913, № 1. Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. IV.

Стр. 569. ...со священной миквой... — Миква — у верующих евреев — бассейн для ритуального купания.

РАДИЙ

Впервые — под заглавием «Невидимый класс» в журнале «Заветы», 1913, № 2. Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. IV.

Стр. 575. *Кому этот памятник поставлен?* — Имеется в виду монумент Петру I работы французского скульптора М. Фальконе, открытый в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.

Вот Александру III... — Памятник Александру III работы П. П. Трубецкого был установлен в Петербурге перед Николаевским (Московским) вокзалом в 1909 г. Царь изображен Трубецким в круглой шапке городского, восседающим на грузном коне. Памятник был воспринят демократической общественностью как ядовитая сатира на самодержавие и получил наименование «пугало».

Стр. 577. *Потычка.* — Здесь в значении «спотыкнуться», «допустить осячку».

...дал нам земских начальников. — По закону 1889 г. назначаемые

и смещаемые министром внутренних дел земские начальники из дворян контролировали деятельность органов крестьянского общественного управления, а также являлись для крестьян первой судебной инстанцией.

Стр. 579. *Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...* — Псалтырь, 1, 1.

И путь нечестивых погибнет!.. — Там же, 1, 6.

Стр. 580. *Каноны.* — В данном случае особая группа песнопений, прославляющих того или иного святого или события из Евангелия. Исполняются во время утреннего богослужения.

Стр. 581. *...плодитесь и множитесь...* — С этими словами, по Библии, бог обратился к рыбам и птицам, сотворенным им (Книга Бытия, 1, 22).

...блажени нищие... — Слова Христа, обращенные к ученикам (Евангелие от Матфея, 5, 3).

АСТРАЛЬ

(Возле процесса «Охтенской богородицы»)

Впервые — в журнале «Заветы», 1914, № 4. Печатается по этому изданию.

Получившее широкую известность дело «Охтенской богородицы» началось слушанием в III отделении Петербургского окружного суда 7 марта 1914 года. Места на скамье подсудимых заняли: крестьянка деревни Царево, Московской губернии, Д. В. Смирнова, в прошлом содержательница чайного трактира, а позже богатая домовладелица, основательница религиозной сектантской общины, искавшей «живого бога»; крестьянин деревни Недолгое, Орловской губернии, плотник по профессии, Денис Шеметов и сын Смирновой Петр, учившийся в четырехклассном училище и готовившийся к званию частного поверенного. Д. Шеметов и П. Смирнов относились к ближайшему окружению Д. В. Смирновой, были ее апостолами. Члены секты поклонялись Д. В. Смирновой как воплощенной «богородице», Д. Шеметов почитался как «апостол Петр», а Петр Смирнов выступал под именем библейского «царя Соломона». Всем подсудимым было предъявлено обвинение в совращении в 1900—1912 годах ряда лиц православного вероисповедания в «изуверную» секту и вымогательстве денег. Д. Смирнова, кроме того, обвинялась в поношении святынь и хуле на православную церковь. Формально судебный процесс был возбужден мужем «Охтенской богородицы» Абрамом Смирновым, обвинившим ее в «плотском сожителстве» с Д. Шеметовым, находившимся полностью на содержании Д. Смирновой и двенадцать лет служившим у нее управляющим домами. Однако действительными инициаторами суда над Д. Смирновой, Д. Шеметовым и П. Смирновым были церковные власти. 17 марта 1914 года подсудимые были признаны виновными по первым двум пунктам обвинения. Д. Смирнова и Д. Шеметов были приго-

ворены к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь, а П. Смирнов к восьми месяцам арестантского отделения.

Стр. 582. *Но я знал ее лично...* — В 1908 г., став членом Религиозно-философского общества в Петербурге, М. М. Пришвин знакомится с писателем-символистом Д. С. Мережковским, его женой поэтессой З. Н. Гиппиус и публицистом Д. Ф. Filosoфовым, проповедовавшими обновленное христианство и принадлежавшими к религиозно-философскому направлению в среде русской интеллигенции, получившему название богоискательства. Однако скоро М. М. Пришвин разочаровывается в богоискательстве. 7 октября 1908 г. после знакомства с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус он записывает в дневник: «Мне кажется, у них много надуманности... Я не чувствую пути к этим идеям». 21 октября 1908 г. М. М. Пришвин продолжает в дневнике: «Вера мужика мне недоступна. Вера Мережковского тоже (...). По-мужицки верить нельзя. По Мережковскому тоже нельзя. По-своему? Но я не религиозный человек. Мне хочется самому жить, творить не бога, а свою собственную нескладную жизнь. Это моя первая святая обязанность. Я не религиозный человек» (ЦГАЛИ). Богоискатели проявляли особый интерес к секте «духовных христиан» (хлысты, скопцы, духоборы и др.), веривших в воплощение «святого духа» в живых людей. В дневнике М. М. Пришвина сохранилась интересная запись о посещении им и другими участниками религиозно-философских собраний Д. В. Смирновой. Запись эта, по-видимому, сделана в начале января 1909 г.

«У Охтенской богородицы. Это вторая Гиппиус по уму.

— Как с вами говорить, — спросила она, — по букве или по духу?

Я сказал, что в букву не верю, а по духу мне непонятно. Условились говорить смешанно, частью по букве, частью по духу. Говорили про мир видимый и невидимый, «астральный».

— Вы близкий, — сказала она мне комплимент.

Богородица слегка нарумянена и напудрена, может быть поэтому и напоминает Гиппиус. Нет, вот еще что: те же холодные глаза.

А рост! А груди! У богородицы два собственных дома. Премудрость свою она получила не от человека, нет — она так родилась. Больше всего меня в ней поразило ясное разграничение науки и астрального мира (...). Тут было кое-что сказано, чему могли бы многие «ученые» поучиться. Потом хороша эта самородная интеллигентность.

Говорят, ей кланяются в ноги, но сама она себя богородицей не считает (а может быть, врет?). Я показал на икону.

— Этому вы не придавайте значения, — ответила она мне.

Интересно, что калитку в заборе не видно. Открывают, спрашивая пароль.

Хорошо она мне рассказала про то, что, где бы она ни начинала говорить, везде замолкают и просят больше не ходить. Очень умная, одинокая и сильная личность нарисовалась в моем воображении. Именно «личность», о чем я так много думаю теперь» (ЦГАЛИ).

Стр. 582. ...естественным продолжением поездки на Светлое озеро... — В 1940 г., вспоминая этот период своей биографии, М. М. Пришвин писал в наброске для третьей книги романа «Кашеева цепь»: «Новые люди, выросшие в годы революции, не поверят, скажут, что я сочиняю. Но я сам тогда, приехав на родину из Германии, ходил в Невидимый град <...> Меня поразило тогда в России как чудо, что в наше промышленное время люди жили в России, как жила Европа в средневековые ремесленные годы. Я был влюблен тогда в эти души, устремленные в Невидимый град Китеж <...> Смутно я чувствовал тогда какую-то ужасную неправду жизни и радовался, как ребенок, людям, идущим с пудовыми книгами в Невидимый град. Себя самого я в то время искал, мало понимая...» (ЦГАЛИ).

Стр. 583. ...каким-нибудь немолякой... — Немоляки — один из толков течения в старообрядчестве, получившего название беспоповства. Враждебно относясь к официальной церкви, немоляки отвергали молитву, считая, что в мире, где воцарился антихрист, духовное спасение человека зависит только от милости божьей.

Стр. 583. ...к внешнему миру «кесареву»... — «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу» (Евангелие от Матфея, 22, 21).

Стр. 584. ...Розанов чистоту хлыстовства возводит в принцип... — Речь идет о книге В. Розанова «Апокалипсическая секта (хлысты, скопцы)», СПб., 1914.

...по закону Мальтуса... — Т.-Р. Мальтус (1766—1834) — английский экономист, основатель антинаучной теории, согласно которой соответствие численности населения уровню развития производительных сил должно поддерживаться истребительными войнами, голодом и другими бедствиями.

Стр. 585. Иоанн Кронштадтский (И. И. Сергеев; 1829—1908) — протоперей Андреевского собора в Кронштадте.

Ионниты — религиозная секта, основанная почитателями Иоанна Кронштадтского в 80-х годах прошлого века. Издававшийся в 1906—1912 гг. журнал ионнитов «Кронштадтский маяк» называл И. Кронштадтского воплотившимся Христом.

...братца Иванушку... — Речь идет об основателе секты трезвенников Иване Чурикове. Его проповедническая деятельность началась в 1890-х годах в Самаре, а затем была перенесена в Петербург и Москву. И. Чуриков поддерживал среди членов его секты веру в себя, как в человека, наделенного «божественной силой».

Стр. 586. ...выучивает азбуку религии у Фетлера... — В. А. Фетлер — баптистский пастор в Петербурге. Издатель и редактор религиозных журналов «Вера» (1909) и «Гость» (1910—1914), автор назидательных брошюр «Отвержение бога» (1908), «Расти или умалеться?» (1908) и др. Фетлеру принадлежит также сборник статей и докладов «Свобода совести и веротерпимость» (СПб., 1909).

...«бывшим новодеревенским Христом»... — Подразумевается глава секты хлыстов Петр Обухов (1854—?). Д. Смирнова примкнула к его секте в конце 1900 г., но довольно скоро переманила на свою сторону приверженцев П. Обухова.

Стр. 587. ...«Христос и Антихрист» обратились в героев исторического романа. — Речь идет о трилогии Д. С. Мережковского «Христос и антихрист» (1896—1905), состоящей из романов «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи» и «Петр и Алексей».

...у меня были кое-какие связи у хлыстов... — М. М. Пришвин был знаком с посещавшим религиозно-философские собрания видным деятелем хлыстовства Рябовым. 28 января 1909 г. М. М. Пришвин записал в дневнике: «Мелькнула такая мысль: как близко хлыстовство к тому, что проповедуют теперь декаденты: все «царства» Легкобытова, Иванова, Рябова. И процесс одинаков: Я — Бог. И потом образование царства. Ты больше Я» (ЦГАЛИ).

...подвел ко мне главного мистика. — 28 ноября 1908 г. на одном из собраний литераторов и сектантов-хлыстов А. М. Ремизов представил М. М. Пришвина поэту-символисту Вячеславу Иванову (1866—1949).

Стр. 588. ...только что прочитанный роман Ропшина «Конь бледный»... — В. Ропшин — псевдоним Б. В. Савинкова (1879—1925) — эсера-террориста. В романе «Конь бледный» (первая публикация — в журнале «Русская мысль», 1909, № 1) отразилось разочарование автора в террористической борьбе.

Стр. 590. ...митрополит Антоний — А. В. Вадковский (1846—1912), с 1898 г. митрополит Петербургский и Ладожский, член Государственного совета.

...замечательного человека А. Г. Щетинина. — Привлекавшийся в качестве свидетеля на процессе «Охтенской богородицы» Алексей Щетинин за опубликование «кощунственной» брошюры находился в доме предварительного заключения. М. Пришвин, по-видимому, в данном случае имеет в виду характеристику А. Г. Щетинина, данную ему газетой «Новое время»: «...хорошо известный охранному и сыскному отделению и сектантам, перешедший из хлыстов в революционеры, а оттуда в провокаторы и вернувшийся снова к сектантству...» («Новое время», 1914, 12 марта).

ОТЕЦ СПИРИДОН

Печатается по сохранившимся в архиве Пришвина (ЦГАЛИ) гранкам, с учетом незначительной авторской правки.

Стр. 593. ...вот камень, на котором один святой приплыл сюда из Рима... — Подразумевается один из вариантов легенды о посещении

апостолом Андреем Новгорода, впервые записанной в «Повести временных лет» (XII в.).

...*вот умывальник, куда святой заключил черта и потом ездил на нем верхом...* — Имеется в виду повесть XV в. «О путешествии Иоанна Новгородского на бесу в Иерусалим». Герой повести — канонизированный православной церковью в 1547 г. новгородский архиепископ Иоанн, живший в XII в., в продолжение одной ночи совершает чудесное путешествие на черте в Иерусалим и обратно.

Стр. 594. *Проскомидия* — часть литургии, во время которой готовятся для освящения хлеб и вино.

...*за князя Кропоткина...* — П. А. Кропоткин (1842—1921) — русский революционер, теоретик анархизма.

...*строил великий храм, подобный храму Соломонову.* — Речь идет о царе Израильско-Иудейского царства Соломоне (965—928 гг. до н. э.), построившем в Иерусалиме на холме Мориа храм, в сооружении и украшении которого принимали участие мастера, приглашенные Соломоном из Финикии (Третья Книга Царств, 6). Храм Соломона был разрушен захватившим Иерусалим в 587 г. до н. э. царем Вавилонии Навуходоносором II, но позже восстановлен.

Стр. 595. *За Вильгельма?*.. — Имеется в виду Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), с 1888 г. последний германский император.

ВЛАСТЬ И ПАХАРИ

Очерк предназначался для газеты «Речь» и был запрещен цензурой. В архиве Пришвина сохранились перечеркнутые цензором гранки газеты (сентябрь 1914 г.) с текстом очерка, озаглавленного «Отзвуки войны. Власть и пахари». Печатается по изданию: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 4, с. 187—189.

Стр. 596. ...*известие о министерстве общественного доверия.* — После объявления Германией 19 июля (1 августа) 1914 г. войны России на экстренном заседании IV Государственной думы 26 июля лидеры буржуазных партий в своих выступлениях заявили о безоговорочной поддержке правительства. Велись разговоры о создании из представителей буржуазных партий так называемого «министерства доверия». Созданный в августе 1915 г. в IV Государственной думе буржуазными партиями «Прогрессивный блок» настаивал на образовании такого министерства (его предполагаемый состав был опубликован 13 августа 1915 г. в газете «Утро России»), но по приказу Николая II 3 сентября 1915 г. дальнейшие заседания Государственной думы были прекращены.

СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

Точная дата первой публикации не установлена. Позднее было напечатано в журнале «Огонек», 1924, № 40. В таком виде вошло в издание: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 4. Печатается по этому изданию.

АВГУСТОВСКИЕ ЛЕСА

Впервые — под заглавием «В Августовских лесах (Отзвуки войны)» в газете «Биржевые ведомости», 1915, 4 и 17 апреля. В собрания сочинений включалось автором в цикл очерков под общим заглавием «Слепая Голгофа». Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. 4.

Стр. 602. ...*Еже писах — писах!*.. — Ответ Понтия Пилата иудейским первосвященникам, недовольным тем, что в надписи Пилата на кресте, на котором был распят Иисус, последний именовался «Царь Иудейский» (Евангелие от Иоанна, 19, 19—22). В переносном смысле выражение означает невозможность изменить уже сделанное или предотвратить то, что должно произойти в будущем: «Что написал, то написал!»

КОСЫЧ

Впервые — под заглавием «Чертова ступа» в газете «Речь», 1916, 30 октября. В собрания сочинений включалось автором в цикл очерков под общим заглавием «Слепая Голгофа». Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. 4.

Стр. 610. ...*с основания монополии.* — Монополия — казенная винная лавка.

АДАМ

Впервые — в газете «Жизнь», 1918, 12 мая. В собрания сочинений включалось автором в цикл очерков под общим заглавием «Слепая Голгофа». Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. 4.

СЫР

Впервые — в газете «Заря Востока» (Тифлис), 1924, 17 августа. В собрания сочинений включалось автором в цикл очерков под общим заглавием «Слепая Голгофа». Печатается по изданию: *Собр. соч. 1929—1931*, т. 4.

Впервые — под псевдонимом Михаил Хрущевский в газете «День», 1917, 21 февраля (отдел «Письма в провинцию»). Печатается по изданию: *Собр. соч. 1956—1957*, т. 4.

Стр. 627. *...что если это не Петрова-Водкина...* — Речь идет о картине «На линии» К. С. Петрова-Водкина (1878—1939), советского живописца, графика, театрального художника и педагога.

Стр. 628. *...о «Маскараде», о Мейерхольде...* — Имеется в виду первая сценическая редакция драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад», поставленная известным советским режиссером В. Э. Мейерхольдом (1874—1940) на сцене Александринского театра. Премьера состоялась 25 февраля 1917 г.

ГОЛУБОЕ ЗНАМЯ

Впервые — в газете «Раннее утро», 1918, 28 января. Печатается по тексту газеты.

Рассказ «Голубое знамя» был одним из ранних откликов Пришвина на победу Великой Октябрьской социалистической революции. Революционный Петроград ноября — декабря 1917 года, ожесточенное сопротивление новой, советской власти со стороны объединяющихся сил контрреволюции изображены в рассказе глазами провинциального торговца Семена Иваныча, который попадает в Петроград, привлеченный слухами о дешевых «немецких товарах», но неожиданно для самого себя оказывается в водовороте событий. Вот как рассказывает об этом времени другой очевидец — американский журналист Джон Рид: «В конце ноября разразились «винные погромы» (...) Улицы наполнились пьяными солдатами... Во всем этом была видна рука контрреволюционеров, распространявших по всем полкам планы города, на которых были отмечены винные склады. Комиссары Смольного выбивались из сил, уговаривая и убеждая, но таким путем не удалось прекратить беспорядки, за которыми последовали ожесточенные схватки между солдатами и красногвардейцами... Наконец Военно-революционный комитет разослал несколько рот матросов с пулеметами. Матросы открыли безжалостную стрельбу по погромщикам и многих убили. После этого особые комиссии согласно приказу отправились по всем винным погребам, разбивая бутылки топорами или взрывая эти погреба динамитом...» (Д ж о н Р и д. 10 дней, которые потрясли мир. М., Госполитиздат, 1957, с. 225). 6 декабря 1917 года. Комитет по борьбе с погромами при Исполкоме Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов объявил Петроград на осадном положении и предупредил, что по погромщикам будет открываться стрельба из пулеметов без предупреждения.

дения («Правда», 1917, 6 декабря). Вооруженные краспогвардейцы останавливают на улице потрясенного и напуганного героя рассказа Пришвина. Приняв Семена Иваныча за грабителя, они препровождают его в Смольный для допроса. Надо отметить, что Семен Иваныч у Пришвина — фигура трагикомическая. Автор показывает растерянность русского обывателя перед совершающейся революцией, тщетность его попыток укрыться под «голубое знамя» невмешательства в происходящие события. Интересно отметить, что услышанные еще в 1908 году от сектанта-хлыста Рябова слова: «Хулиганчики, сколько в вас божественного» (см. наст. том, «Астраль»), Пришвин в «Голубом знамени» вкладывает в уста бывшего царского полковника, который сочиняет «проект» спасения России от революции пьяными погромами и грабежами.

Стр. 631. *На филипповках случилось...* — Филипповки — другое название сорокадневного рождественского поста, начинающегося 14 ноября. В этот день православная церковь отмечает память апостола Филиппа.

Стр. 634. *...записанные в бархатную книгу.* — Речь идет о так называемом «Государеве Родословце», составленном после указа 1682 г. об уничтожении местничества. «Бархатная книга» содержит сведения о 331 княжеском и знатных дворянских родах.

...про митрополита Антония. — Имеется в виду Антоний Волинский (А. П. Храповицкий; 1863—1936) — один из вожakov церковной реакции, с 1912 г. член Святейшего Синода и в 1917 г. на поместном соборе один из кандидатов в патриархи. После Октябрьской революции — белоэмигрант.

СОДЕРЖАНИЕ

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ	5
КНИГА ПЕРВАЯ	
КУРЫ МУШКА	
ЗВЕНО ПЕРВОЕ	
Голубые бобры	9
ЗВЕНО ВТОРОЕ	
Маленький Каин	54
ЗВЕНО ТРЕТЬЕ	
Золотые горы	100
ЗВЕНО ЧЕТВЕРТОЕ	
Бой	147
КНИГА ВТОРАЯ	
БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ	
ЗВЕНО ПЯТОЕ	
Государственный преступник	214
ЗВЕНО ШЕСТОЕ	
Зеленая Дверь	254
ЗВЕНО СЕДЬМОЕ	
Юный Фауст	317
ЗВЕНО ВОСЬМОЕ	
Брачный полет	352
ЗВЕНО ДЕВЯТОЕ	
Положение	385
ЗВЕНО ДЕСЯТОЕ	
Живая ночь	427
ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ	
Искусство как поведение	447
ЗВЕНО ДВЕНАДЦАТОЕ	
Как я стал писателем	455
МИРСКАЯ ЧАША. 19-й год XX века	484
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1914—1923 ГОДОВ	
ПО ГРАДАМ И ВЕСЯМ	
Слуга времени	558
Деревенский ренессанс	563
Химик	568
Радий	575
Астраль (<i>Возле процесса «Охтенской богородицы»</i>)	582
Отец Спиридон	592
Власть и пахари	595

СЛЕПАЯ ГОЛГОФА

Слепая Голгофа	598
Августовские леса	602
Косыч	609
Адам	615
Сыр	622
Вернисаж	627
Голубое знамя	630
Комментарии	638

Пришвин М. М.

П77 Собрание сочинений: В 8-ми т. — М.: Худож. лит., 1982. —

Т. 2. Кашеева цепь; Мирская чаша; Произведения 1914—1923 годов. Коммент. В. Н. Чувакова. Подготовка текстов В. Н. Чувакова и Л. Н. Платоновой. Ил. Ф. В. Домогацкого, 1982. 679 с.

Во второй том Собрания сочинений М. М. Пришвина входят автобиографический роман писателя «Кашеева цепь» и повесть «Мирская чаша», а также рассказы, написанные в 1914 — 1923 гг.

П 4072010200-017 подписное
028(01)-82

Р2

Михаил Михайлович Пришвин

Собрание сочинений, том 2

Редактор Т. Беднякова. Художественный редактор Г. Масляненко. Технический редактор О. Ярославцева. Корректор Д. Эткина

ИБ № 2662

Сдано в набор 14.04.81. Подписано к печати А 10841 13.07.82. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,7. Усл. кр.-отт. 35,7. Уч.-изд. л. 38,14. Тираж 150 000 экз. Изд. № П-1402. Зак. № 1892. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Ep. 301